



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для итомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иередает в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все иометки, иримечания и другие заиси, существующие в оригинальном издании, как наиминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредирияли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заироны.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.

Мы разработали иrogramму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заироны.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заироны любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.

В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомоши иrogramмы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.

Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единаых иравил, иозволяющих определить, можно ли в определенном случае исиользовать определенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск и этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com>

UC-NRLF



B 3 723 368

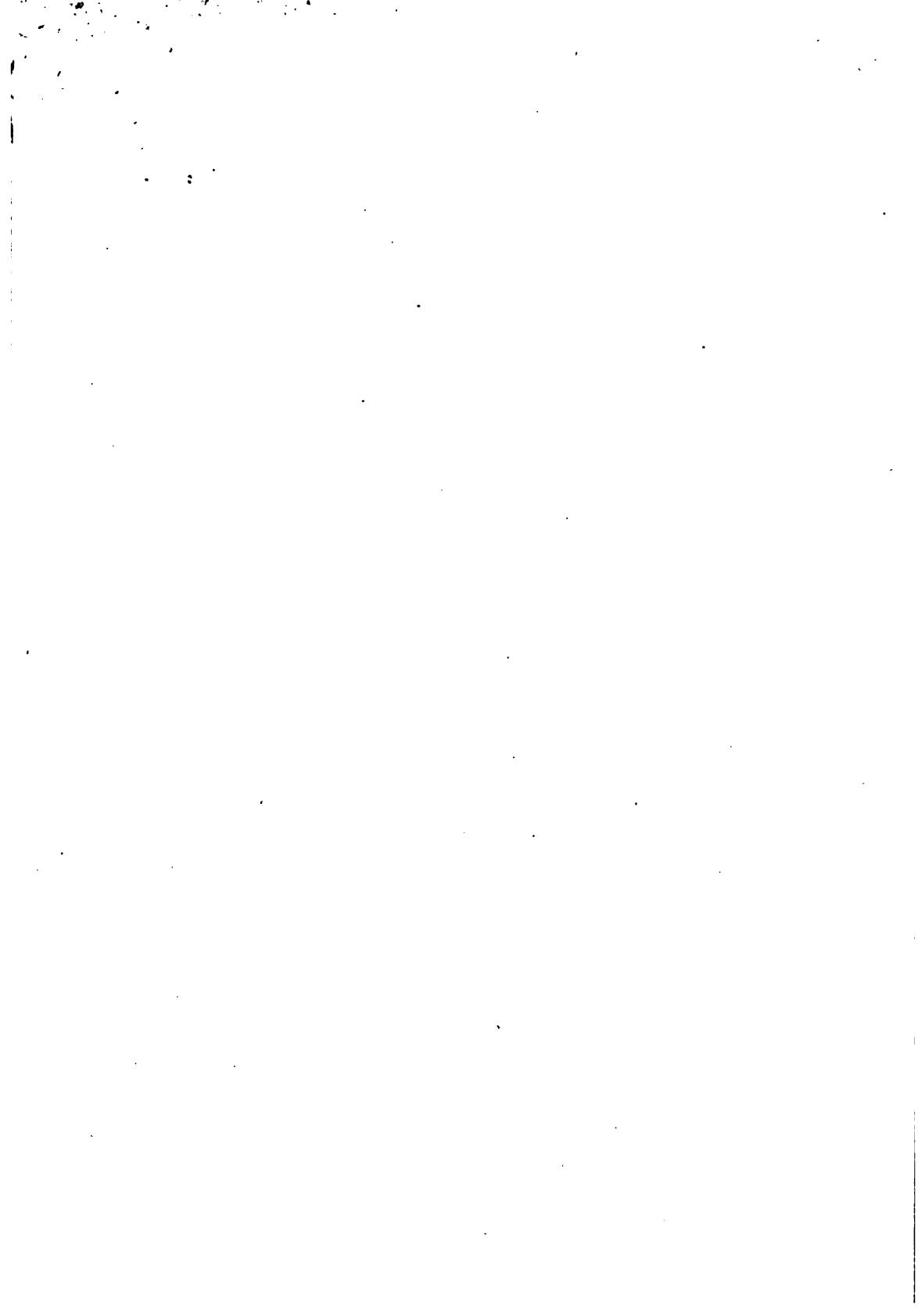
AMERICAN INFORMATION  
ON INVESTIGATIVE  
TECHNIQUES

Volume 1, Number 1, January 1970

---



A. Wagner



Въ продажѣ имѣются сочиненія прив.-доц. Ипп. Спб.  
Университета В. В. Сиповскаго:

1) **ИСТОРИЯ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ**, ч. I, вып. 1-й, „Народная словесность“, изд. 3-е; вып. 2-й, „Исторія русской письменности отъ XI до XVIII в.“, изд. 3-е; ч. II, „Русская литература XVIII-го, начала XIX в.“, изд. 2-е; ч. III, вып. 1-й, „Пушкинъ, Гоголь и Бѣлинскій“, вып. 2-й, „Русская литература послѣ Пушкина и Гоголя“.

Ученымъ Комитетомъ М. Н. Пр. это сочиненіе допущено въ качествѣ РУКОВОДСТВА въ старшіе классы мужскихъ и женскихъ гимназій и реальныхъ училищъ.

## 2) **ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРЕСТОМАТИЯ.**

Первое изданіе было допущено Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Пр. въ качествѣ учебнаго пособія въ старшіе классы мужскихъ и женскихъ гимназій и реальныхъ училищъ.

Томъ I-й, вып. 1-й, „Народная словесность“; вып. 2-й, „Русская литература до Петра“; вып. 3-й, „Русская литература отъ Петра до Карамзина“; томъ II, вып. I, „Русская литература XVIII—XIX в.“: Сентиментальное направление (Карамзинъ, Чулковъ, В. и А. Измайлова, Ка. Шаликовъ); Народническое направление (Ив. Дмитріевъ, Нелединскій-Мелецкій, Н. Львовъ, Чулковъ, Аблесимовъ и др.); вып. 2-й, „Русская литература 20—30-ыхъ годовъ XIX ст.“: Романтическое направление (Каменевъ, Жуковскій); Классическое направление (Озеровъ, Батюшковъ); вып. 3-й, „Русская литература 20—30-хъ годовъ“: Реалистическое направление (И. Дмитріевъ, А. Измайлова, И. Крыловъ, А. Грибоѣдовъ, Нарѣжный); Народническое направление (Мераляковъ, Ершовъ, Растопчинъ); вып. 4-й, „Русская литература 20—40-хъ годовъ“ (Пушкинъ и Гоголь); вып. 5-й, „Русская литература 30—40-хъ годовъ“ (Кольцовъ, Лермонтовъ, Бѣлинскій); т. III, „Русская литература 40—70-хъ годовъ“ (Майковъ, Полонскій, Фетъ, Тютчевъ, Ал. Толстой, Некрасовъ, Тургеневъ, Гончаровъ, Островскій, Л. Толстой и Достоевскій).

3) **ПУШКИНЪ, ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО.** Содержаніе: Вмѣсто предисловія: „Русская литература до Пушкина“; „Въ родной семье“; „Въ Царскомъ Селѣ“; „Въ Петербургѣ“; „На югѣ“; „Въ селѣ Михайловскомъ“; „На волѣ“; „Въ тихой пристани“; „Русланъ и Людмила“; „Пушкинъ; Байронъ и Шатобріанъ“; „Полтава“ и „Борисъ Годуновъ“; „Исторія села Горохина“; „Онѣгинъ“, „Ленскій“, „Татьяна“. 617 стр. Ц. 3 р. 50 к.

Сочиненіе это включено въ каталогъ книгъ, рекомендуемыхъ Мин. Нар. Пр. въ составъ ученическихъ библіотекъ.



ІЯ  
от  
ти.

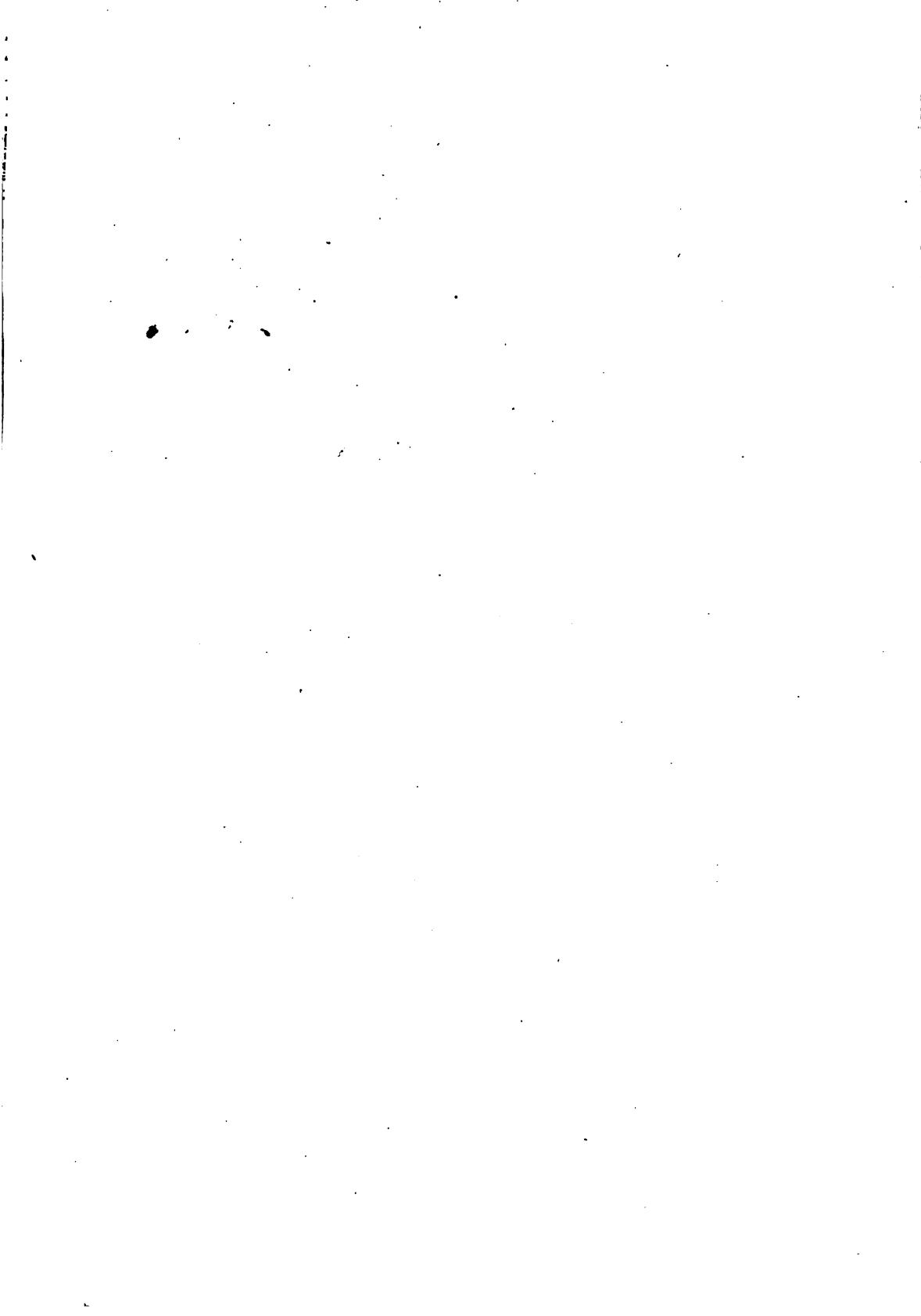
С-ыхъ годовъ

КІЙ.

и  
ой.

Прое. въ качествѣ  
ір. Прое.; вслѣдствіе  
еби. завед. Впд. Имп-  
Торговли и Промыш-

ОВЫХЪ.



Сирожский, В. В.

Историческая

ИСТОРИЧЕСКАЯ

хрестоматия

# ХРЕСТОМАТИЯ

по истории русской словесности.

Составилъ В. В. СИРОЖСКИЙ.

Т. II, вып. 5-й: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 30—40-ыхъ годовъ  
XIX в.

КОЛЬЦОВЪ, ПЕРМОНТОВЪ, БЪЛИНСКІЙ.

ПРИМѢНИТЕЛЬНО КЪ „ИСТОРИИ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ“  
ТОГО ЖЕ АВТОРА ч. III вып. 1-ый и ч. III вып. 2-ой.

Томъ I былъ допущенъ Ученымъ Комит. Мин. Нар. Пром. въ качествѣ  
учебнаго пособія въ среднѣучебныя заведенія Мин. Нар. Пром.; вслѣдствіе  
такого постановленія книга эта допускается и въ учебн. завед. Вѣд. Имп-  
раторицы Маріи Федоровны и учебн. заведенія Мин. Торговли и Промыш-  
ленности.

Цена въ переплѣте 1 р. 40 к.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.  
ИЗДАНИЕ Бр. БАШМАКОВЫХЪ.  
1908.

~~JOAN STAGE~~

~~JOAN STAGE~~

Типографія Спб. Т-ва Печ. и Изд. д'ла „Трудъ". Фонтанка, 86.

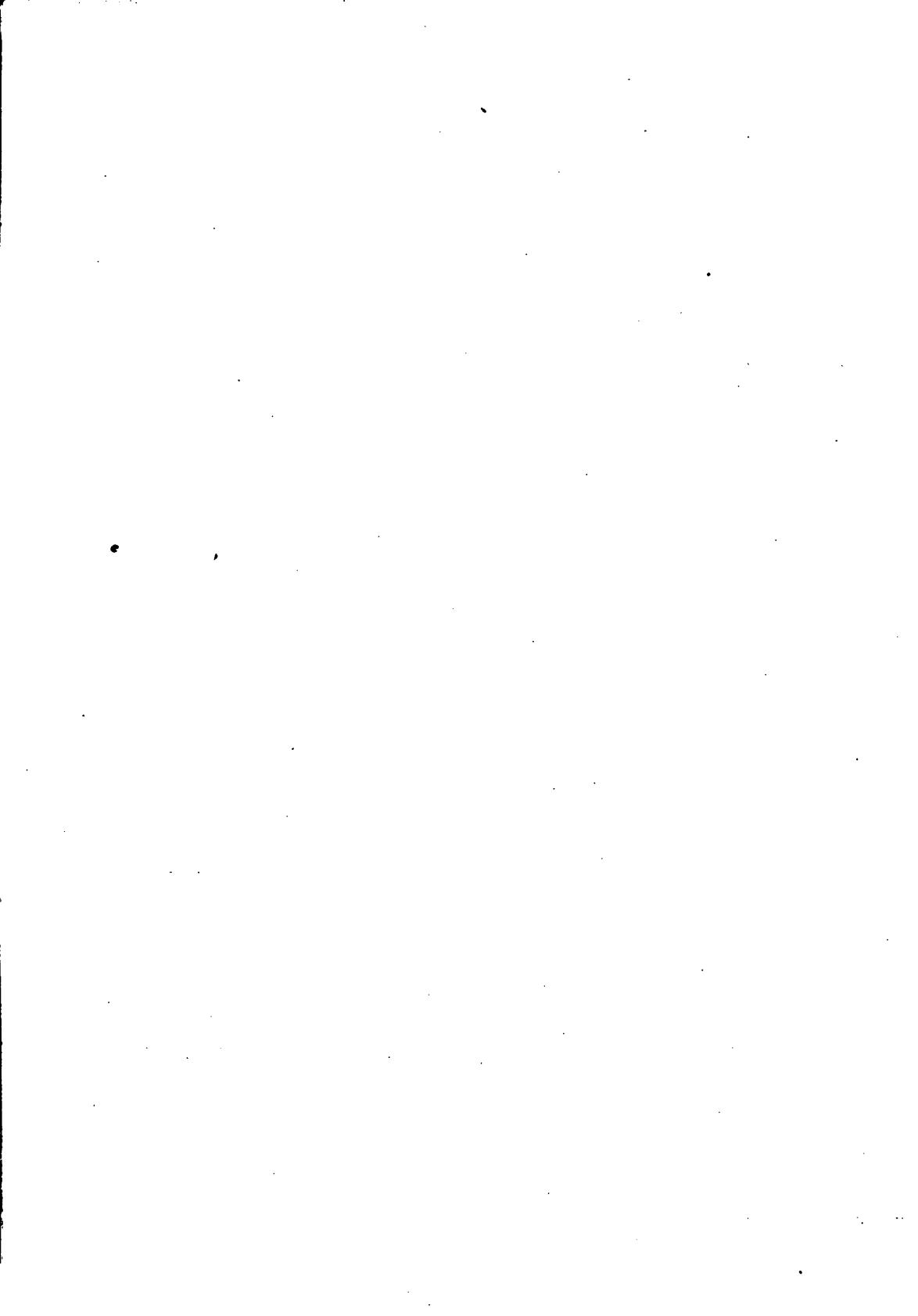
РГ 2950  
55  
1908  
V. 2; 5

## Предисловіе.

Выпуская въ свѣтъ пятый выпускъ II-ой части своей „Исторической Хрестоматіи“, я считаю долгомъ выяснить тѣ соображенія, которыя заставили меня издать сочиненія Лермонтова, Кольцова и Бѣлинского въ *сокращенномъ видѣ*. Прежде всего, я полагалъ бы, что, съ педагогической точки зрењія, не все для учениковъ необходимо въ полныхъ собраніяхъ названныхъ авторовъ, а многое даже едва ли полезно (нѣкоторыя стихотворенія Лермонтова). Затѣмъ на свою Хрестоматію я смотрю, какъ на „пособіе“ при прохожденіи учебниковъ по истории русской словесности (въ частности—моей „Исторіи русской словесности“, ч. III, вып. 1-й и 2-й),—и, съ этой точки зрењія, считаю себя въ правѣ дѣлать изъ сочиненій Кольцова, Лермонтова и Бѣлинского выборъ тѣхъ произведеній, которыя особенно характерны и для школы необходимы. Наконецъ, думаю, что для учениковъ гораздо удобнѣе имѣть подъ рукой весь нужный матеріалъ въ одной небольшой книгѣ, чѣмъ въ нѣсколькихъ томахъ; иногда приходится носить сочиненія писателя въ классъ,—это представляеть для дѣтей большое неудобство. Думаю, что и въ этомъ случаѣ мое изданіе можетъ сослужить службѣ.

Считаю своимъ долгомъ поблагодарить уважаемаго В. И. Короленко за то, что онъ взялъ на себя трудъ корректировать этотъ выпускъ.

*Составитель.*



## Оглавление.

	СТРАН.
<b>Кольцовъ</b> . . . . .	1—10.
„Пѣсня“ (Ты не пой, соловей)—1; „Не шуми ты, рожь...“—1; „Молодая жница“—1; „Косарь“—2; „Пѣснь разбойника“—3; „Пѣс- ня“—(Ахъ, зачѣмъ меня...)—3; „Лѣсь“—4; „Пѣсня пахаря“—5; „Урожай“—5; „Раздумье селянина“—6; „Крестьянская пирушка“ —7; Что ты спиши, мужичокъ?...“—7; „Первая пѣсня Лихача-Ку- дрявица“—8; „Вторая пѣсня Лихача - Кудрявица“—8; „Горькая доля“ — 9; „Передъ образомъ Спасителя“ — 9; „Божій міръ“ — 9; „Нераагаданная истина“—10; „Молитва“—10; „Поѣтъ“—10.	
<b>Лермонтовъ</b> . . . . .	11—152.
<b>ЛИРИКА.</b>	11—43.
„Цѣвица“—11; „Портрѣтъ“—11; „Панъ“—12; „Жалоба тур- ка“—12; „Два сокола“ — 12; „Мой демонъ“ — 12; „Къ другу“ — 13; „Монологъ“ — 13; „Молитва“—13; „Пѣсня“—13; „Люблю я цѣпи синихъ горъ...“—14; „Какъ въ ночь авѣзы падучей пламень...“—14; „Къ ***“—14; „Романсъ“—15; „Эпитафія“—15; „Кавказъ“—15; „Отры- вокъ“—15; „Къ ***“—16; „10 Іюля 1830 года“—16; „Привѣтствую тебя...“—16; „У вратъ обители святой...“—16; „Парижъ 30 Іюля 1830 года“—17; „Не говори...“—17; „Къ Л***“—17; „Смерть“—17; „Рас- каянье“—18; „Ангель“—18; „1831 Января“—18; „Вверху одна...“—18; „Толпѣ“—18; „1831 года Іюня 11“—19; „Къ **“—23; „Желаніе“—23; „7-го Августа“ — 23; „Воля“ — 24; „Сентября 23“ — 24; „Небо и авѣзы“—24; „Когда-бѣ въ покорности незнанья...“—25; „Я видѣлъ тѣнь блаженства...“—25; „Ужасная судьба...“—25; „Стансы“—26; „На картину Рембрандта“—26; „Волны и люди“—27; „Ты мо- лодъ...“—27; „Нѣть, я не Байронъ...“—27; „Потокъ“—27; „Къ ***“—27; „Мой демонъ“—28; „Хоть давно измѣнила мнѣ радость...“—28; „Стансы“—28; „Къ себѣ“—29; „Душа моя должна прожить...“—29; „Къ ***“—29; „Сонетъ“—29; „Къ ***“—30; „Послушай, быть мо- жетъ...“—30; „Парусъ“—30; „Опять народные витія...“—30; „Евре- ская мелодія“—31; „Желаніе“—31; „Гляжу на будущность съ боязно...“—31; „Молитва“—31; „На смерть Пушкина“—32; „Вѣтка	



*A. Wagner*

Голова со плечь  
На грудь клонится,  
Колосъ срѣзанный  
Изъ рукъ валится..  
Не съ-проста ума  
Жница жнетъ—не жнетъ,  
Глядитъ въ сторону,  
Забываетъся.

Охъ, болить у ней  
Сердце бѣдное,  
Заронилось въ немъ  
Небывалое!

Она шла вчера—  
Нерабочимъ днемъ,  
Лѣсомъ шла себѣ  
По малинушку;  
Повстрѣчался ей  
Добрый мѣлодецъ;  
Ужъ не въ первый разъ  
Повстрѣчался онъ...

### К о с а ръ.

Не возьму я въ толкъ,  
Не придумаю...  
Отчего же такъ  
Не возьму я въ толкъ?  
Охъ, въ несчастный день,  
Въ безтѣланный часъ,  
Безъ сорочки я  
Родился на свѣтъ!  
У меня лѣплю себѣ  
Шире дѣдова;  
Грудь высокая—  
Моей матушки;  
На лицѣ моемъ  
Кровь отцовская  
Въ молокѣ захгла  
Зорю красную;  
Кудри черныя  
Лежать скобкою;  
Чтобъ работало—  
Все мнѣ спорится!...  
Да, въ несчастный день,  
Въ безтѣланный часъ,  
Безъ сорочки я  
Родился на свѣтъ!  
Прошлой осенью,  
Я за Груньюшку,

Дочку старости,  
Долго сватался;  
А онъ, старый хрѣнъ,  
Заупрямился!  
За кого же онъ  
Выдастъ Груньюшку?—  
Не возьму я въ толкъ,  
Не придумаю...  
Я лѣ за тѣмъ гонюсь,  
Что отецъ ея  
Богачомъ сливѣтъ?  
Пускай домъ его—  
Чаша полная!  
Я ее хочу,  
Я по ней крушусь;  
Лицо бѣлое—  
Заря алая,  
Щеки полныя,  
Глаза темные  
Свѣли молодца  
Съ ума-разума...  
Ахъ, вчера по мнѣ  
Ты такъ плакала!  
Наотрѣзъ стариkъ  
Отказалъ вчера...  
Охъ, не свыкнуться  
Съ этой горестью!..  
Я куплю себѣ  
Косу новую;  
Отбью ее,  
Наточу ее—  
И прости-прощай,  
Село родное!  
Не плачь, Груньюшка,—  
Косой вострою  
Не подрѣжусь я...  
Ты прости, село,  
Прости, староста:  
Въ края дальниe  
Пойдеть мѣлодецъ:  
Что внизъ по Дону,  
По набережью  
Хороши стоять  
Тамъ слободушки!  
Степь раздольная  
Далеко вокругъ,  
Широко лежитъ,  
Ковылемъ-травой  
Разстилается!..  
Ахъ ты, степь моя,

Степь привольная!  
Широко ты, степь,  
Пораскинулась,  
Къ морю Черному  
Понадвинулась!  
Въ гости я къ тебѣ  
Не одинъ пришелъ:  
Я пришелъ самъ-другъ  
Съ косой вострою;  
Мнѣ давно гулять  
По травѣ степной  
Вдолъ и поперекъ  
Съ ней хотѣлся...

Раззудись, плечо!  
Размахнись, рука!  
Ты пахни въ лицо,  
Вѣтеръ съ полудня!  
Освѣжи, взволнуй  
Степь просторную!  
Зажужжи, коса,  
Засверкай кругомъ!  
Зашуми, трава,  
Подкошоная,  
Поклонись, цвѣты,  
Головой землѣ!  
Нариду съ травой  
Вы засохнете,  
Какъ по Грунѣ я  
Сохну, мѣлодецъ!  
Нагребу коненъ,  
Намечу стоговъ,—  
Дасть казачка мнѣ  
Денегъ пригоршн.   
Я зашлю казну,  
Сберегу казну;  
Ворочусь въ село—  
Прямо къ старостѣ:  
Не разжалобилъ  
Его бѣдностью,  
Такъ разжалоблю  
Золотой казной!..

---

### Пѣсня разбойника.

Не страшна мнѣ, добру мѣлодцу,  
Волга-матушка широкая,  
Лѣса темные, дремучіе,  
Выюги зимнія, крещенскія...

Ужъ какъ было: по темнымъ лѣсамъ  
Пирожаль я зими круглы;  
По чужимъ краямъ, на свой талантъ,  
Погулялъ я, поохотился.

А по Волгѣ—моей матушкѣ,  
По родимой, по кормилицѣ,  
Вмѣстѣ съ братьями, за добычью  
На край сѣта леталъ соколомъ.

Но не Волга, лѣса темные,  
Выюги зимнія—крещенскія  
Погубили мою голову,  
Сокрушили мочь желѣзную...

Въ некрещеномъ славномъ городѣ,  
На крутомъ, высокомъ островѣ,  
Живеть дѣвушка-красавица,  
Дочка гостя новгородскаго...

Она въ теремѣ, что зорюшка,  
Подъ окномъ сидѣть растиоренимы:  
Поетъ пѣсни задушевныя,  
Наши братскія-отцовскія.

„Ахъ, душа лъ моя ты, душенька!  
Что сидишъ ты! чтѣ ты думаешьъ?  
Али рѣчъ моя не по сердцу?  
Али батюшка спесивится?..

Не сиди, не плачь;—ты кинь отца,  
Ты бѣги ко мнѣ изъ терема;  
Мы съ тобою, птицы вольныя,  
Жить пойдемъ въ Москву красную“.

Отвѣчаетъ ему дѣвица:  
„За любовь твою, мой милый другъ,  
Рада кинуть отца съ матерью;  
Но боюсь суда я страшнова!“

Забушуй же, непогодушка,  
Разгульяйся, Волга-матушка!  
Ты возьми мою кручинушу,  
Размечи волной по бережку...

---

### Пѣсня.

Ахъ, зачѣмъ меня  
Силой выдали  
За немилова—  
Мужа старова?  
Небось весело  
Теперь матушкѣ  
Утиратъ мои  
Слезы горькія!  
Небось весело  
Глядѣть батюшкѣ

На жить-бытье  
Горемычное!  
Небось сердце въ нихъ  
Разрывается,  
Какъ приду одна  
На великий день;  
Отъ дружка дары  
Принесу съ собой:  
На лицѣ—печаль,  
На душѣ—тоску!  
Поздно, рѣдные,  
Обвинять судьбу,  
Ворожить-гадать,  
Сулить радости!  
Пусть изъ-за моря  
Корабли плынутъ,  
Пущай золото  
На полѣ сыпется:  
Не растя травы  
Послѣ осени;  
Не цвѣсти цвѣтамъ  
Зимой по снѣгу!

Лѣсъ.

Памяти А. С. Пушкина.  
Что, дремучій лѣсъ,  
Призадумался,  
Грустью темно  
Затуманился?  
Что, Бова-силачъ  
Заколдованный,  
Съ непокрытою  
Головой въ бою—  
Ты стоишь—поникъ  
И не ратуешь  
Съ мимолетною  
Тучей-бурею?  
Густолистственный  
Твой зеленый шлемъ  
Буйный вихрь сорвалъ—  
И развѣялъ въ прахъ;  
Плащъ упалъ къ ногамъ  
И разсыпался...  
Ты стоишь—поникъ  
И не ратуешь.  
Гдѣ жъ лѣвалася  
Рѣчъ высокая,  
Сила гордая,  
Доблѣсть царская?

У тебя лѣ, было,  
Въ ночь безмолвную  
Заливная пѣснь  
Соловычная...  
У тебя лѣ, было,  
Дни—роскошество:  
Другъ и недругъ твой  
Прохлаждаются.  
У тебя лѣ, было,  
Поздно вечеромъ  
Грозно съ бурею  
Разговоръ пойдетъ;  
Распахнетъ она  
Тучу черную,  
Обойметъ тебя  
Вѣтромъ-холодомъ...  
И ты молвишь ей  
Шумнымъ голосомъ:  
“Вороти назадъ!  
Держи около!”  
Закружить она,  
Разыграется...  
Дрогнѣть грудь твоя,  
Зашатаешься;  
Встрешенувшися,  
Разбушуешься;  
Только свистъ кругомъ,  
Голоса и гулъ...  
Буря всплачется  
Лѣшимъ, вѣдьмою,—  
И несетъ свои  
Тучи за море.  
Гдѣ жъ теперь твоя  
Мочь зеленая?  
Почернѣлъ ты весь,  
Затуманился...  
Одичалъ, замолкъ...  
Только въ непогодѣ  
Воешь жалобу  
На безвременье...  
Такъ-то, темный лѣсъ,  
Богатырь-Бова!  
Ты всю жизнь свою  
Маялъ битвами;  
Не осилили  
Тебя сильные,  
Такъ дорѣзала  
Осень черная.  
Знать, во время сна  
Къ безоружному

Силы вражія  
Понахлынули;  
Съ богатырскихъ плечъ  
Сняли голову—  
Не большой горой,  
А соломенкой...

Пѣсня пахаря.

Ну, тащися, сивка,  
Пашней десятиной!  
Выѣлимъ желѣзо  
О сырую землю.  
Красавица-зорька  
Въ небѣ загорѣлась;  
Изъ большова лѣса  
Солнышко выходитъ.  
Весело на пашнѣ...  
Ну! тащися, сивка!  
Я самъ-другъ съ тобою,  
Слуга и хозяинъ.  
Весело я лажу  
Борону и соху,  
Тельгу готовлю,  
Зерна насыпаю.  
Весело гляжу я  
На гумне, на скирды,  
Молочу и вѣю...  
Ну! тащися, сивка!  
Пашенку мы рано  
Съ сивкою распашемъ,  
Зернышку готовимъ  
Колыбель святую.  
Его вспоить, вскормить  
Мать-земля сырая;  
Выйтѣть въ полѣ травка...  
Ну! тащися, сивка!  
Выйтѣть въ полѣ травка—  
Вырастѣть и колось,  
Станѣть спѣть, рядиться  
Въ золотыя ткани.  
Заблеститъ нашъ сергъ здѣсь,  
Зазвенятъ здѣсь косы;  
Сладокъ будетъ отдыхъ  
На снопахъ тяжелыхъ!  
Ну! тащися, сивка!  
Накормлю досыта,  
Напою водою—  
Водой ключевою.

Съ тихою молитвой  
Я вспашу, посѣю:  
Уроди мнѣ, Боже,  
Хлѣбъ—мое богатство!

У р о ж а й.

Краснымъ полымѣмъ  
Заря вспыхнула;  
По лицу земли  
Туманъ стелется.  
Разгорѣлся день  
Огнемъ солнечнымъ,  
Подобравъ туманъ  
Выше темя горъ,  
Нагустилъ его  
Въ тучу чернью.  
Туча черная  
Понахмурилась,  
Понахмурилась,  
Что задумалась,  
Словно вспомнила  
Свою родину...  
Понесутъ ее  
Вѣтры буйные  
Во всѣ стороны  
Свѣта бѣлова...  
Ополчается  
Громомъ, бурею,  
Огнемъ, молніей,  
Дугой-радугой;  
Ополчилася—  
И расширилась,  
И ударила,  
И пролилася  
Слезой крупною—  
Проливнымъ дождемъ  
На земную грудь  
На широкую.  
И съ горы небесъ  
Глядѣть солнышко;  
Напилась воды  
Земля досыта.  
На поля, сады,  
На зеленые,  
Люди сельскіе  
Не насмотрятся.  
Люди сельскіе  
Божьей милости

Ждали съ трепетомъ  
И молитвою.  
Заодно съ весной  
Пробуждаются  
Ихъ завѣтныя  
Думы мирныя.  
Дума первая:  
Хлѣбъ изъ зѣкрома  
Насыпать въ мѣшки,  
Убирать воза.  
А вторая ихъ  
Была думушка:  
Изъ села гужомъ  
Впору выѣхать.  
Третью думушку  
Какъ задумали,—  
Богу-Господу  
Помолились;  
Чѣмъ-свѣтъ по полю  
Всѣ разѣхались,—  
И пошли гулять  
Другъ за дружкою,  
Горстью полною  
Хлѣбъ раскидывать.  
И давай пахать  
Землю плугами,  
Да кривой сохой  
Перепахивать,  
Бороны зубѣмъ  
Порасчесывать...  
Посмотрю пойду,  
Полюбуюся,  
Чтѣ послалъ Господь  
За труды людямъ?  
Выше пояса  
Рожь зернистая  
Дремитъ колосомъ  
Почти дѣ земли;  
Словно Божій гость,  
На всѣ стороны  
Дню веселому  
Улыбается;  
Вѣтерокъ по ней  
Плыветъ-лоснится,  
Золотой волной  
Разбѣгается...  
Люди сѣмьями...  
Принялися жать,  
Косить подъ корень  
Рожь высокую

Въ копны частыя  
Сноши сложены;  
Отъ возовъ всю ночь  
Скрипить музыка.  
На гумнахъ вездѣ,  
Какъ князья, скирды  
Широко сидѣть,  
Поднявъ головы,  
Видѣть солнышко—  
Жатва кончена:  
Холодный оно  
Пошло къ осени;  
Но жарка свѣча  
Поселянина  
Предъ иконою  
Божіей Матери.

### Раздумье селянина.

Сяду я за столъ—  
Да подумаю:  
Какъ на свѣтѣ жить  
Однокому?  
Нѣть у мѣлодца  
Молодой жены,  
Нѣть у мѣлодца  
Друга вѣрного,  
Золотой казны,  
Угла теплова,  
Бороны-сохи,  
Коня-пахаря...  
Вмѣстѣ съ бѣдностью,  
Далъ мнѣ батюшка  
Лишь одинъ таланъ—  
Силу крѣпкую;  
Да и ту какъ разъ  
Нужда горькая  
По чужимъ людямъ  
Всю истратила.  
Сяду я за столъ—  
Да подумаю:  
Какъ на свѣтѣ жить  
Однокому?

### Крестьянская пирушка.

Ворота тесовы  
Растворилися;  
На коняхъ, на саняхъ  
Гости вѣхали;  
Имъ хозяинъ съ женой  
Низко кланялись,  
Со двора повели  
Въ свѣтлу горенку.  
Передъ Спасомъ святымъ  
Гости молятся;  
За дубовы столы,  
За избраные,  
На сосновыхъ скамьяхъ  
Сѣли званные.  
На столахъ куръ, гусей  
Много жареныхъ.  
Широговъ, ветчины  
Блюда полныя.

Бахромой, кисеей  
Приняржена,  
Молодая жена,  
Чернобровая,  
Обходила подругъ  
Съ подѣлями,  
Разносила гостямъ  
Чашку горькова;  
Самъ хозяинъ, за ней,  
Брагой хмельною  
Изъ ковшей вырѣзныхъ  
Родныхъ потчуетъ;  
А хоайская дочь  
Медомъ сыченымъ  
Обносила кругомъ,  
Съ лаской дѣвичьей.

Гости пьютъ и ёдятъ,  
Рѣчи гуторятъ—  
Про хлѣба, про покосъ,  
Про старинушку:  
Какъ-то Богъ и Господь  
Хлѣбъ уродить намъ?  
Какъ-то сѣно въ степи  
Будетъ зелено?

Гости пьютъ и ёдятъ,  
Забавляются  
Отъ вечерней зари  
До полуночи.  
По селу пѣтухи

Перекликнулись;  
Призатихъ говоръ, шумъ  
Въ темиой горенкѣ,—  
Отъ воротъ поворотъ  
Виденъ по снѣгу.

\* \* \*

Что ты спиши, мужичокъ?  
Вѣдь весна на дворѣ;  
Вѣдьсосѣди твои  
Работаютъ давно.

Встань, проснись, подымись,  
На себя погляди:  
Чтѣ ты былъ? и чтоѣ сталъ?  
И чтоѣ есть у тебя?

На гумнѣ—ни снопа,  
Въ закромахъ—ни зерна;  
На дворѣ, по травѣ—  
Хоть шаромъ покати.

Изъ кѣтей домовой  
Соръ метлою посмѣль,  
И лошадокъ, за долгъ,  
По сосѣдямъ развелъ.

И подъ лавкой сундукъ  
Опрокинутъ лежитъ;  
И, погнувшись, изба,  
Какъ старушка, стоитъ.

Вспомни время свое:  
Какъ катилось оно  
По полямъ и лугамъ  
Золотою рѣкой,

Со двора и гумна  
По дорожкѣ большой,  
По селамъ, городамъ,  
По торговымъ людямъ!

И какъ двери ему  
Растворяли вѣдѣ,  
И въ почетномъ углу  
Было мѣсто твое!

А теперь подъ окномъ  
Ты съ нуждою сидишъ,  
И весь день на печи  
Безъ просыпу лежишъ;

А въ поляхъ, сиротой,  
Хлѣбъ нескошенъ стоитъ:  
Вѣтеръ точить зерно,  
Птица клюетъ его!

Что ты спишь, мужичокъ?  
Вѣдь ужъ лѣто прошло,  
Вѣдь ужъ осень на дворъ  
Черезъ прясло глядитъ.

Вслѣдъ за нею зима  
Въ теплой шубѣ идетъ,  
Путь снѣжкомъ порошить,  
Подъ санями хрустить.  
Всѣ сосѣди на нихъ  
Хлѣбъ везутъ, продаютъ,  
Собираютъ казну,  
Бражку ковшикомъ пьютъ.

#### Первая пѣсня Лихача-кудрявича.

Съ радости-веселья  
Хмелемъ кудри вьются;  
Ни съ какой заботы  
Онъ не сѣкутся.

Ихъ не гребень чешетъ—  
Золотая доля,  
Завиваетъ въ кольца  
Молодецка удаль.

Не родись богатымъ,  
А родись кудрявымъ:  
По щучью вельнью  
Все тебѣ готово.

Чего душа хочетъ—  
Изъ земли родится:  
Со всѣхъ сторонъ прибыль  
Ползетъ и валится.

Чтѣ шутя задумалъ,—  
Пошла шутка въ дѣло;  
А тряхнулъ кудрями,—  
Въ одинъ мигъ поспѣло.

Не возьмутъ гдѣ лоскомъ,  
Возьмутъ кудри силой;  
А что худо,—смотришь,  
По водѣ поплыло!

Любо жить на свѣтѣ  
Молодцу съ кудрями,  
Весело на бѣломъ  
Съ черныи бровями!

Во-время да впору  
Медомъ рѣчи лютятся,  
И съ утра до ночи  
Пѣсенки поются.

Про тѣ рѣчи, пѣсни  
Дѣвушки всѣ знаютъ—

И о кудряхъ зиму,  
Ночь не спать,—гадають.  
Честь и слава кудрямъ!  
Пусть ихъ волосъ вѣтъ!  
Съ ними все на свѣтѣ  
Ловко удастся!

Не подъ шапку горе  
Головѣ кудрявой!  
Разливайтесь, пѣсни!  
Ходи, парень, браво!

#### Вторая пѣсня Лихача-кудрявича.

Въ золотое время  
Хмелемъ кудри вьются;  
Съ горести-печали  
Русыя сѣкутся.

Ахъ, сѣкутся кудри!  
Любить ихъ забота;  
Полюбить забота,—  
Не чешетъ и гребень!

Не родись въ сорочкѣ,  
Не родись таланливъ:  
Родись терпѣливъ  
И на все готовъ.

Вѣкъ прожить—не поле  
Пройти за союю;  
Кручину, чтѣ тучу,  
Не уносить вѣтромъ.

Зла бѣда—не буря:  
Горами качаетъ,  
Ходитъ невидимкой,  
Губитъ безъ разбору.

Отъ ея напасти  
Не уйти на лыжахъ:  
Въ чистомъ поле найдеть,  
Въ темномъ лѣсѣ сыщеть;

Чуешь только сердцемъ:  
Придеть, сядеть рядомъ,  
Объ руку съ тобою  
Пойдеть и пойдеть...

И щемить, и ноеть,  
Болитъ ретивое:  
Все—изъ руки вонъ плохо,  
Нѣть ни въ чёмъ удачи.

То—скосило градомъ,  
То—сняло пожаромъ...  
Чистъ кругомъ и легокъ,  
Никому не нуженъ...

Къ старикамъ на сходку  
Выти приневолять,—  
Старыя лаптишки  
Безъ онучъ обуешь;  
Кафтанишка рваный  
На плеча натянемъ;  
Бороду вскосматиши,  
Шапку нахлобучиши...  
Тихомолкомъ станешь  
За чужія плечи...  
Пусть не видять люди  
Прожитова счастья!

Горькая доля.

Соловьемъ залетнымъ  
Юность пролетѣла;  
Волной въ непогоду  
Радость прошумѣла.  
Пора золотая  
Была, да скрылась;  
Сила молодая  
Съ тѣломъ износилась;  
Отъ кручины-думы  
Въ сердцѣ кровь застыла;  
Что любилъ, какъ душу,—  
И то измѣнило.  
Какъ былинку, вѣтеръ  
Молодца шатаетъ;  
Зима лицо знобитъ,  
Солнце—сожигаетъ.  
До поры—до времія  
Всѣмъ я весь изжился,  
И кафтанъ мой синій  
Съ плечъ долой свалился!  
Безъ любви, безъ счастья  
По міру скитаюсь:  
Разойдусь съ бѣдою,—  
Съ горемъ повстрѣчаюсь!  
На крутой горѣ  
Росъ зеленый дубъ;  
Подъ горой теперь  
Онъ лежитъ—гниетъ...

Передъ образомъ Спасителя.

Предъ Тобою, мой Богъ,  
Я свѣчу погасиль;

Премудрую книгу  
Предъ Тобою закрыль.  
Твой небесный огонь  
Негасимо горитъ;  
Безконечный твой міръ  
Предъ очами раскрыть;  
Я съ любовью къ Тебѣ  
Погружаюся въ немъ;  
Со слезами стою  
Передъ свѣтымъ лицомъ!  
И напрасно весь міръ  
На Тебя возвставаъ,  
И напрасно на смерть  
Онъ Тебя осуждаъ:  
На крестѣ, подъ вѣнцомъ,  
И спокоенъ, и тихъ,  
До конца Ты молилъ  
За злодѣевъ своихъ!

Божій міръ.

Отець свѣта—вѣчность;  
Сынъ вѣчности—сила;  
Духъ силы есть жизнь:  
Міръ жизнью кипить.  
Вездѣ Тріединій,  
Воззвавшій все къ жизни!  
Нѣть вѣка Ему!  
Нѣть мѣста Ему!  
Съ величества трона,  
Съ престола чудесъ  
Божій образъ—солнце  
Къ намъ съ неба глядить,  
И днемъ повѣраеть  
Всемірную жизнь.  
Въ другомъ мѣстѣ неба  
Оно отразилось,—  
И мѣсяцемъ землю  
Всю ночь сторожить.  
Тьма, на лонѣ ночи  
И живой прохлады,  
Всѣ стихіи міра  
Сномъ благословляетъ.  
Въ царствѣ Божіей воли,  
Въ переливахъ жизни,  
Нѣть безсильной смерти,  
Нѣть бездушной жизни!

### Неразгаданная истина.

Цѣлый вѣкъ я рылся  
Въ таинствахъ вселенной,  
До сѣдинъ учился  
Мудрости священной.

Всѣ вѣка бывшіе  
Съ новыми повѣриль;  
Чудеса земныя  
Опытомъ измѣриль.

Мелкія причины  
Тѣшились людьми;  
Кары-властелины  
Двигали мірами.

Райскія долины  
Кровью обливались;  
Кары-властелины  
Въ бездну низвергались.  
Гдѣ пройдетъ коварство  
Съ злобою людскою—  
Тамъ въ обломкахъ царство  
Зарастеть травою...

Племена другія  
На нихъ поселятся,  
Города большия  
Людьми разродятся.

Сторона пустая  
Снова зацарюетъ—  
И жизнь молодая  
Шумно зипиуретъ!

Подсѣку жь я крылъ  
Дерзкому сомнѣнью,  
Прокляну усилия  
Къ тайнамъ Провидѣнья!

Умъ нашъ не шагаетъ  
Мира за границу,—  
Наобумъ мѣшаетъ  
Съ былью небылицу.

### Молитва.

Спаситель, Спаситель!  
Чиста моя вѣра,  
Какъ пламя молитвы!  
Но, Боже, и вѣрѣ  
Могила темна!  
Чтобъ слухъ мой замѣнить?  
Потухшія очи?  
Глубокое чувство  
Остывшаго сердца?

Что будетъ жизнь духа  
Безъ этого сердца?

На крестъ, на могилу,  
На небо, на землю,  
На точку начала  
И цѣли твореній  
Творецъ Всемогущій  
Накинулъ завѣсу,  
Печать наложилъ...

Печать та навѣки;  
Ея не расторгнуть  
Міры, разрушаюсь,  
Огонь не растопить,  
Не смоетъ вода!..

Прости жъ мнѣ, Спаситель,  
Слезу моей грѣшной  
Вечерней молитвы:  
Во тьмѣ она свѣтить  
Любовью къ Тебѣ...

### Поэтъ.

Въ душѣ человѣка  
Возникаютъ мысли,  
Какъ въ дали туманной  
Небесныя звѣзды...

Міръ есть тайна Бога,  
Богъ есть тайна жизни;  
Цѣлая природа—  
Въ душѣ человѣка.

Проникнуты чувствомъ,  
Согрѣты любовью,  
Изъ нея всѣ силы  
Въ образахъ выходятъ...

Властелинъ-художникъ  
Создаетъ картину—  
Великую драму,  
Исторію царства.

Въ нихъ духъ вѣчной жизни,  
Самъ себя сознавши,  
Въ видахъ безконечныхъ  
Себя проявляеть;

И живеть стольѣтъ,  
Умъ нашъ поражая,  
Надъ бездушной смертью  
Вѣчно торжествуя.

Дивныя созданья  
Мысли всемогущей!  
Весь міръ передъ вами  
Со мной исчезаетъ

# Лермонтовъ.

## Лирическія стихотворенія.

### Цѣвиця.

На склонѣ горъ, близъ водъ, проходжай, зрѣль ли ты  
Бесѣдку тайную, гдѣ грустныя мечты  
Сидѣть, задумавшись? Надъ ними сводъ  
акацій:  
Тамъ нѣкогда стоялъ алтарь и музъ,  
и грацій;  
И кустъ прелестныхъ розъ, взалѣянныхъ весной,  
Тамъ нѣкогда кругомъ черемухи млечной  
Струилъ свой ароматъ; шумя, съ прибрежной ивой  
Шутилъ подчасъ зефиръ и рѣзвый, и  
игривый;  
Тамъ нѣкогда моя послѣднія любовь  
Питала сердце миѣ и волновала кровь!..  
Сокрылось все теперь, какъ поутру  
туманы  
Отъ солнечныхъ лучей рѣдѣютъ средь  
поляны.  
Исчезло все теперь! и нынѣ осталась мнѣ,  
Утѣха страждущихъ, спасеніе въ тишинѣ,  
О милое, души святое вспоминанье!  
Тебѣ жь, о мирный кровъ, тѣхъ дней,  
когда страданье  
Не вѣдало меня, я сохранилъ залогъ,  
Который умертвить не можетъ грозный рокъ—

Мое веселіе, ужъ взятое гробницей,  
И ржавый предковъ мечъ съ задумчивой цѣвицей.

### Портретъ.

Онъ не красивъ, онъ не высокъ,  
Но взоръ горитъ, любовь сулитъ;  
И на чѣлѣ оставилъ рокъ,  
Средь юныхъ дней, печать страстей.  
Власы на немъ какъ смоль черны;  
Блѣдны всегда его уста;  
Открыты лѣ, сомкнуты лѣ они,  
Ліютъ безъ словъ языки боговъ!...  
И пылокъ онъ, когда надъ нимъ  
Грозить бѣдой перунъ земной!  
Не любить онъ и славы дымъ:  
Средь тайныхъ мукъ, свободы другъ,  
Смѣется рѣдко; чаще—вновь  
Клянеть онъ міръ, гдѣ вѣчно сиръ,  
Коварность, зависть и любовь.  
Все проклять онъ, какъ лживый сонъ,  
Какъ призракъ дымныхъ мечты.  
Холодный умъ, средь мрачныхъ думъ,  
Не тронуть слезы красоты.  
Вездѣ одинъ, природы сынъ,  
Не зналъ онъ друга межъ людей;  
Такъ бури токъ сухой листокъ  
Мчитъ жертвой посреди степей!...

### Панъ.

Въ древнемъ родѣ.

Люблю, друзья, когда за рѣчкой гаснетъ день,  
Укрывшися лѣсовъ въ таинственную  
сѣнь,  
Или подъ вѣтвями пустынныя рябины,  
Смотрѣть на синяя туманныя равнины.  
Тогда приходитъ Панъ съ толпою  
пастуховъ  
И пляшетъ вкругъ меня на бархатѣ  
луговъ.  
Но чаще богъ овецъ ко мнѣ въ уединеніе  
Является, ведя святое вдохновеніе:  
Главу рогатую ласкаетъ легкій хмель,  
Въ одной рукѣ его—стаканъ, въ другой  
глазъ. Онъ учитъ пѣть меня, а я въ тиши  
дубравы  
Играю и пою, не зная жажды славы.

### Жалоба турка.

Отрывокъ.

Ты знать ли дикий край, подъ знойными лучами,  
Гдѣ рощи и луга поблекшіе цвѣтутъ,  
Гдѣ хитрость и безпечность злобѣ дань  
несутъ,  
Гдѣ сердце жителей волнуемо страстями,  
И гдѣ являются порой  
Умы и хладные, и твердые, какъ камень,  
Но мощь ихъ давится безвременной  
тоской  
И рано гаснетъ въ нихъ добра спокойный пламень.  
Тамъ рано жизнь тяжка бываетъ для  
людей,  
Тамъ за успѣхами несется укоризна,  
Тамъ стонеть человѣкъ отъ рабства  
и цѣней!..

Другъ! этотъ край—моя отчизна!..

### Два сокола.

Степь, синяя, разстилалась  
Близъ азовскихъ береговъ;  
Западъ гасъ и ночь спускалась;  
Вихрь скользилъ между холмовъ.  
И, тряхнувшись, въ полѣ дикомъ  
Сѣрий соколъ тихо сѣлъ;  
И къ нему съ отвѣтнымъ крикомъ  
Братъ стрѣлою прилетѣлъ.  
„Братецъ, братецъ, что ты видѣлъ?  
Расскажи мнѣ поскорѣй!“

—Ахъ! я свѣтъ возненавидѣлъ  
И безжалостныхъ людей.  
„Что жъ ты видѣлъ тамъ худого?“  
—Кучу каменныхъ сердецъ:  
Дѣвѣ—смѣхъ тоска милого,  
Для дѣтей—тиранъ отецъ.  
Дѣвы мукой слезъ правдивыхъ  
Веселятся, какъ игрой,  
И у ногъ самолюбивыхъ  
Гибнутъ юноши толпой!..  
Братецъ, братецъ, ты что жъ видѣлъ?  
Расскажи мнѣ поскорѣй!  
„Свѣтъ и я возненавидѣлъ  
И измѣнчивыхъ людей.  
Ношаю обмановъ скрытыхъ  
Юность тамъ удручена,  
Вспоминаній ядовитыхъ  
Старость мрачная полна.  
Гордость, вѣрь ты мнѣ, прекрасной  
Забываетъ порой;  
Но измѣна дѣвы страстной—  
Ножъ для сердца вѣковой!..“

### Мой демонъ.

Собранье золъ—его стихія.  
Носясь межъ дымныхъ облаковъ,  
Онъ любить бури роковыя  
И пѣну рѣкъ, и шумъ дубровъ.  
Межъ листьевъ жѣлтыхъ, облетѣвшихъ,  
Стоить его недвижный тронъ;  
На немъ, средь вѣтровъ онѣмѣвшихъ,  
Сидѣть уныль и мраченъ онъ...  
Онъ недовѣрчивость вселяетъ,  
Онъ прѣзрѣлъ чистую любовь.

Онъ всѣ моленія отвергаетъ,  
Онъ равнодушно видѣть кровь;  
И звукъ высокихъ ощущеній  
Онъ давить голосомъ страстей,  
И муга кроткихъ вдохновеній  
Страшится неземныхъ очей.

Нъ другу.

Отрывокъ.

Стремится медленно толпа людей  
До гроба самаго отъ самой колыбели,  
Игралищемъ и рока, и страстей,  
Къ одной святой, неизъяснимой цѣли.  
И я къ высокому, въ порывѣ думъ  
живыхъ,  
И я душой летѣль во дни былые;  
Но мнѣ милѣй страданія земныя—  
Я къ нимъ привыкъ, я не оставлю  
ихъ!...

Монологъ.

Повѣрь, ничтожество есть благо въ  
здѣшнемъ свѣтѣ!...  
Къ чему глубокія познанья, жажда  
славы,  
Талантъ и пылкая любовь свободы,  
Когда мы ихъ употребить не можемъ?  
Мы, дѣти сѣвера, какъ здѣшнія ра-  
стенія,  
Цвѣтемъ недолго, быстро увядаемъ...  
Какъ солнце зимнее на сѣромъ небо-  
склонѣ,  
Такъ пасмурна жизнь наша, такъ не-  
долго  
Ея однообразное теченіе...  
И душно кажется на родинѣ,  
И сердцу тяжко, и душа тоскуетъ,  
Не зная ни любви, ни дружбы сладкой,  
Средь бурь пустыхъ томится юность  
наша,  
И быстро злобы ядъ ее мрачить,  
И намъ горька остылой жизни чаша,  
И ужъ ничто души не веселить.

Молитва.

Не обвиняй меня, Всесильный,  
И не карай меня, молю,  
За то, что мракъ земли могильный  
Съ ея страстями я люблю;  
За то, что рѣдко въ душу входитъ  
Живыхъ ручей Твоихъ струя;  
За то, что въ заблужденіи бродить  
Мой умъ далеко отъ Тебя;  
За то, что лава вдохновенія  
Клокочеть на груди моей;  
За то, что дикія волненія  
Мрачать стекло моихъ очей;  
За то, что міръ земной мнѣ тѣснъ,  
Къ Тебѣ жъ проникнуть я боюсь,  
И часто звукомъ грѣшныхъ пѣсень  
Я, Боже, не Тебѣ молюсь.  
Но угаси сей чудный пламень—  
Всесожигающій костеръ,  
Преобрази мнѣ сердце въ камень,  
Останови голодный взоръ;  
Отъ страшной жажды пѣснопѣнья  
Пускай, Творецъ, освобожусь;  
Тогда на тѣсный путь спасенія  
Къ Тебѣ я снова обращусь.

Пѣсня.

Желтый листъ о стебель бьется  
Передъ бурой;  
Сердце бѣдное трепещетъ  
Предъ несчастьемъ.  
Что за важность, если вѣтеръ  
Мой листокъ одинокій  
Унесетъ далеко, далеко...  
Пожалѣть ли объ немъ  
Вѣтка сирил?  
Зачѣмъ грустить молодцу,  
Если рокъ судилъ ему  
Угаснуть въ краю чужомъ?  
Пожалѣть ли объ немъ  
Красна дѣвица?

\* \* \*

Люблю я цѣпи синихъ горъ,  
Когда, какъ южный метеоръ,  
Ярка безъ свѣта и красна  
Вспыльваетъ изъ-за нихъ луна,  
Царица лучшихъ думъ пѣвца  
И лучшій перлъ того вѣнца  
Которымъ сводъ небесъ порой  
Гордится, будто царь земной.  
На западѣ вечерній лучъ  
Еще горитъ на ребрахъ тучъ  
И уступить все медитъ онъ  
Лунѣ—угрюмый небосклонъ.  
Но скоро гаснетъ лучъ зари...  
Высоко мѣсяцъ... Двѣ иль три  
Младыя тучки окружать  
Его сейчасъ... Вотъ весь нарядъ,  
Которымъ бѣлое чело  
Ему убрать позволено.—  
Кто не зналъ такіхъ ночей  
Въ ущельяхъ горъ иль средъ степей?  
Однажды, при такой лунѣ,  
Я мчался на лихомъ конѣ  
Въ пространствѣ голубыхъ долинъ,  
Какъ вѣтеръ, воленъ и одинъ.  
Туманный мѣсяцъ и меня,  
И гриву, и хребетъ коня  
Сребристымъ блескомъ осыпалъ;  
Я чувствовалъ, какъ онъ дышалъ,  
Бахъ онъ, ударивши ногой,  
Отбрасывалъ быль землей;  
И я въ чудесномъ забытьи  
Движенія сковывалъ свои,  
И съ нимъ себя желалъ я слить,  
Чтобъ этимъ бѣгъ нашъ ускорить.  
И долго такъ мой конь летѣлъ...  
И вокругъ себя я поглядѣлъ:  
Все та же степь, все та же луна...  
Свой взоръ ко мнѣ склонивъ, она,  
Казалось, упрекала въ томъ,  
Что человѣкъ съ своимъ конемъ  
Хотѣлъ владычество степей  
Въ ту ночь оспаривать у ней!..

\* \* \*

Какъ въ ночь звѣзды падучей пламень,  
Не нуженъ въ мірѣ я;

Хотъ сердце тяжело, какъ камень.  
Но все подъ нимъ змѣя.  
Меня спасало вдохновеніе  
Отъ мелочнѣхъ суетъ;  
Но отъ своей души спасены  
И въ самомъ счастли иѣть.  
Молю о счастіи, бывало...  
Дождался наконецъ—  
И тягостно мнѣ счастье стало,  
Какъ для царя вѣнецъ.  
И, всѣ мечты отвергнувъ, снова  
Остался я одинъ,  
Какъ замка мрачнаго, пустого  
Ничтожный властелинъ.

Къ \*\*\*

Я не унижусь предъ тобою:  
Ни твой привѣтъ, ни твой укоръ  
Не властны надъ моей душою.  
Знай, мы чужие съ этихъ поръ.  
Ты позабыла: я свободы  
Для заблужденья не отдашь:  
И такъ пожертвовалъ я годы  
Твоей улыбкѣ и глазамъ,  
И такъ я слишкомъ долго видѣлъ  
Въ тебѣ надежду юныхъ дней,  
И цѣлый міръ возненавидѣлъ,  
Чтобы тебя любить сильнѣй!  
Какъ знатъ? Быть можетъ, тѣ мгно-  
венья,

Чтѣ пропекли у ногъ твоихъ,  
Я отнималъ у вдохновенія!  
А чѣмъ ты замѣнила ихъ?..  
Быть можетъ, мыслю небесной  
И силой духа убѣжденъ,  
Я далъ бы міру даръ чудесный,  
А мнѣ за то—бесмертье онъ?..  
Зачѣмъ такъ нѣжно обѣщала  
Ты замѣнить его вѣнецъ,  
Зачѣмъ ты не была сначала,  
Какою стала наконецъ?..

Я былъ готовъ на смерть и муку,  
И цѣлый міръ на битву звать,  
Чтобы твою младую руку—  
Безумецъ!—лишній разъ пожать.  
Не зная коварную намѣну,  
Тебѣ я душу отдавалъ;

Такой души ты знала ль цѣну?  
Ты знала — я тебя не зналъ.

\* \* \*

Но свѣтъ чего не уничтожить,  
Чтѣ благородное снесетъ,  
Какую душу не сожжетъ,  
Чѣ самолюбье не умножить,  
И чѣхъ не обольстить очей  
Нарядной маскою своей?

### Романсъ.

Стояла сѣрая скала  
На берегу морскомъ.  
Однажды на чело ея  
Слетѣлъ небесный громъ,  
И раздвоилъ ее ударъ —  
И новою тропой  
Между разрозненныхъ камней  
Течетъ потокъ сѣдой.  
Вновь двумъ утесамъ не сойтись,  
Но все они хранятъ  
Союза прежняго сѣды —  
Глубокихъ трещинъ рядъ.  
Такъ мы съ тобою разлучены  
Злословіемъ людскимъ,  
Но для тебя я никогда  
Не сдѣлаюсь чужимъ.  
И мы не встрѣтимся опять,  
И если предъ тобой  
Меня случайно назовутъ,  
Ты спросишь: кто такой?  
И, проклиная жизнь мою,  
На память приведешь  
Былое... и одну себя  
Невольно проклянешь,  
И не изгладишь ты никакъ  
Изъ памяти своей  
Не только чувствъ и словъ моихъ —  
Минуты прежнихъ дней!..

### Эпітафія.

Прости! увидимся ль мы снова?  
И смерть захочетъ ли свести  
Двѣ жертвы жребія земного!  
Какъ знать! Итакъ, прости, прости!  
Ты далъ мнѣ жизнь, но счастья не  
далъ;

Ты самъ на свѣтѣ былъ гонимъ,  
Ты въ людяхъ только зло извѣдалъ,  
Но понимаешь быть однимъ.  
И тотъ одинъ, когда, рыдая,  
Толпа склонялась надъ тобой,  
Стоялъ, очей не отирая,  
Небрежный, хладный и нѣмой.  
И всѣ, не вѣдая причины,  
Винили дерзостно его,  
Какъ будто мигъ твоей кончины  
Былъ мигомъ счастья для него.  
Но чѣмъ ему ихъ воскликанья?  
Безумцы! не могли понять,  
Что легче плакать, чѣмъ страдать,  
Безъ всякихъ признаковъ страданья!

### Кавказъ.

Хотя я судьбой, на зарѣ моихъ дней,  
О, южные горы, отторгнуть отъ васъ!  
Чтобъ вѣчно ихъ помнить, тамъ надо  
быть разъ.  
Какъ сладкую пѣсню отчизны моей,  
Люблю я Кавказъ.  
Въ младенческихъ лѣтахъ я мать  
потерялъ,  
Но мнилось, что въ розовый вечера  
часть  
Та степь повторяла мнѣ памятный  
глазъ.  
За это люблю я вершины тѣхъ скалъ,  
Люблю я Кавказъ.  
Я счастливъ быть съ вами, ущелія  
горъ!  
Пять лѣтъ пронеслось, все тоскую по  
васъ.  
Тамъ видѣлъ я нару божественныхъ  
глазъ —  
И сердце лепечеть, воспомни тотъ  
взоръ:  
Люблю я Кавказъ!

### Отрывокъ.

...Теперь я вижу: пышный свѣтъ  
Не для людей быть сотворенъ.  
Мы сгибнемъ — наше сотрется сѣдѣ,  
Таковъ нашъ рокъ, таковъ законъ.

Нашъ духъ вселенной вихъ умчить  
Къ безбрежнымъ, мрачнымъ сторонамъ;  
Нашъ прахъ лишь землю умягчить  
Другимъ, чистѣйшимъ существамъ.

Не будуть проклинать они;  
Межъ нихъ ни злата, ни честей  
Не будетъ, стануть течь ихъ дни  
Невинные, какъ дни дѣтей;  
Межъ нихъ ни дружбу, ни любовь  
Приличья цѣли не сожмутъ,  
И братъевъ праведную кровь  
Они со смѣхомъ не прольютъ!...

Къ нимъ стануть (какъ всегда могли)  
Слетаться ангелы. А мы  
Увидимъ этотъ рай земли,  
Окованы надъ бѣдной тьмы.  
Укоры зависти, тоска  
И вѣчность съ цѣллю одной:  
Вотъ казнь за цѣлые вѣка  
Злодѣйствъ, кипѣвшихъ подъ луной.

Къ \*\*\*.

Прочитавъ жиенъ Байрона, написанную  
Муромъ.

Не думай, чтобы я былъ достоинъ  
сожалѣнья,  
Хотя слова мои печальны—нѣтъ!  
Нѣтъ! всѣ мои жестокія мученія—  
Одно предчувствіе гораздо большихъ  
бѣдъ.

Я молодъ; но кипять на сердцѣ  
звуки,  
И Байрона достигнуть я бѣ хотѣлъ.  
У насъ одна душа, однѣ и тѣ же  
муки,

О, если бѣ одинаковъ былъ удѣлъ!..  
Какъ онъ, ищу забвенья и свободы,  
Какъ онъ, въ ребячествѣ нылъ ужъ  
я душой,  
Любилъ закатъ въ горахъ, пѣнящіяся  
воды,  
И бурь земныхъ, и бурь небесныхъ  
вой.

Какъ онъ, ищу спокойствія напрасно,  
Гонимъ повсюду мыслю одной.  
Гляжу назадъ—прошедшее ужасно,  
Гляжу впередъ—тамъ нѣтъ души  
родной.

10-ое июля 1830.

Опять вы, горды, возвстали  
За независимость страны,  
И снова передъ вами пали  
Тиранства низкіе сыны,  
И снова знамя вольности кровавой  
Явилося—побѣды мрачной знакъ;  
Оно любимо прежде было славой;  
Суворовъ былъ его сильнѣйший врагъ...

\* \*

Привѣтствуя тебя, воинственныхъ  
славянъ  
Святая колыбель. Пришелъ изъ чу-  
ждыхъ странъ,  
Съ восторгомъ я взиралъ на сумрач-  
ныя стѣны,  
Черезъ которыхъ столѣтій перемѣны  
Безвредно протекли, гдѣ вольности  
одной  
Служилъ тотъ колоколъ на башнѣ вѣ-  
чевой,  
Который отзвонилъ ея уничтоженіе  
И столько гордыхъ думъ увлекъ въ  
своемъ паденьи!  
Скажи мнѣ, Новгородъ, ужель ихъ  
больше нѣтъ?  
Ужели Волховъ твой не Волховъ преж-  
нихъ лѣтъ?

\* \*

У вратъ обители святой  
Стоять—просащій подаянья,  
Бессильный, блѣдный и худой  
Отъ глада, жажды и страданья.  
Куска лишь хлѣба онъ просилъ  
И взоръ явилъ живую муку,  
И кто-то камень положилъ  
Въ его протянутую руку!  
Такъ я молилъ твоей любви,  
Съ слезами горькими, съ тоскою;  
Такъ чувства лучшія мои  
Навѣкъ обмануты тобою.

Парижъ 30 июля 1830 года.

Черновой набросокъ.

Ты могъ быть лучшимъ королемъ,  
Ты не хотѣлъ—ты полагалъ  
Народъ унизить подъ ярмомъ,  
Но ты французовъ не узналъ!...  
И загорѣлся страшный бой...  
И пламя вольности, какъ духъ,  
Идеть предъ гордою толпой—  
И звукъ одинъ наполнилъ слухъ,  
И брызнула въ Парижъ кровь...  
Когда архангела труба  
Судъ страшный съ неба возвѣстить,  
Когда откроются гроба  
И прахъ твой прежний приметъ видъ,  
Твои дѣянья на вѣсы  
Положить Вѣчный Судія...

—  
\* \* \*

Не говори: однимъ высокимъ  
Я на землѣ воспламененъ—  
Къ нему лишь съ чувствомъ я глубо-  
кимъ  
Бужу забытой лиры звонъ.  
Повѣрь—великое земное  
Различно съ мыслями людей:  
Свершилъ съ успѣхомъ дѣло злое—  
Великъ, не удалось—злодай.  
Среди дружинъ необозримыхъ  
Былъ чуть не Богъ Наполеонъ;  
Разбитый на снѣгахъ родимыхъ—  
Безумцемъ нарицаемъ онъ!  
Внимая шумъ волны прибрежной  
Въ изгнанъи дальнемъ онъ погасъ,  
И что жъ? Конецъ его матежный  
Не отуманилъ нашихъ глазъ.

—  
Къ Л \*\*\*

Подражаніе Байрону.

У ногъ другихъ не забывалъ  
Я взоръ твоихъ очей;  
Любя другихъ, я лишь страдалъ  
Любовью прежнихъ дней.

Т. II, вып. 5.

Такъ память, демонъ-властелинъ,  
Все будить старину,  
И я твержу одинъ, одинъ:  
Люблю, люблю одну!

Принадлежиши другому ты,  
Забыть пѣвецъ тобой;  
Съ тѣхъ поръ влекутъ меня мечты  
Прочь отъ земли родной;  
Корабль умчить меня отъ нея  
Въ безвѣстную страну,  
И повторить волна морей:  
Люблю, люблю одну!  
И не узнаетъ шумный свѣтъ,  
Кто вѣжно такъ любимъ;  
Какъ я страдалъ и сколько лѣтъ  
Я памятью томимъ;  
И гдѣ бы я ни сталъ искать  
Былую тишину,  
Все сердце будетъ мнѣ шептать:  
Люблю, люблю одну!

—  
Смѣрть.

Закать горитъ огнестой полосою;  
Любуюсь имъ безмолвно подъ окномъ.  
Быть можетъ, завтра онъ заблещеть  
надо мною—  
Безжизненнымъ, холоднымъ мертвѣ-  
цомъ.  
Одна лишь дума въ сердцѣ опустѣломъ,  
То мысль объ ней... О! далеко она;  
И надъ моимъ недвижимъ, блѣднѣмъ  
тѣломъ  
Не упадетъ слеза ея одна!  
Ни другъ, ни братъ прощальными  
устами  
Не подѣлуетъ здѣсь моихъ ланитъ,  
И сожалѣнью чуждыми руками  
Въ сырую землю буду я зарытъ.  
Мой духъ утонетъ въ безднѣ безко-  
нечной...  
Но ты... О! пожалѣй о мнѣ, краса моя!  
Никто не могъ тебя любить, какъ я,  
Такъ пламенно и такъ чистосердечно.

### Раскаяніе.

Къ чѣму мятежное роптанье,  
Укоръ владѣющей судѣй?...  
Она была добра къ тебѣ—  
Ты создалъ самъ свое страданье.  
Безсмысленный! ты обладаешь  
Душою чистой, откровенной,  
Всеобщимъ зломъ незараженной—  
И этаотъ кладъ ты потерялъ!

Огонь любви первоначальной  
Ты въ ней рѣшился зародить  
И долѣ не могъ любить,  
Достигнувъ цѣли сей печальной;  
Ты преврѣлъ все; между людей  
Стоишь, какъ дубъ въ странѣ пу-  
стынной,  
И тихій плачъ любви невинной  
Не могъ потрясть души твоей.  
Не дважды Богъ даетъ намъ радость,  
Взаимной страстью веселя;  
Безъ утѣшения, томя,  
Пройдетъ и жизнь твоя, какъ младость.  
Ея лобзанья встрѣтилъ ты  
Въ устахъ обманщицы прекрасной,  
И будуть предъ тобой всечасно  
Предмета первого черты.  
О! вымоли ея прощенье,  
Пади, пади къ ея ногамъ!  
Не то—ты приготовиши самъ  
Свой адъ, отвергнувъ примиреніе.  
Хоть будешь ты еще любить,  
Но прежнимъ чувствамъ нѣть возв-  
рату:  
Ты вѣчно первую утрату  
Не будешь въ силахъ замѣнить.

### Ангель.

По небу полуночи ангель летѣлъ  
И тихую пѣсню онъ пѣлъ;  
И мѣсяцъ, и звѣзды, и тучи толпой  
Внимали той пѣснѣ святой.  
Онъ пѣлъ о блаженствѣ безгрѣшныхъ  
духовъ  
Подъ кущами райскихъ садовъ,  
О Богѣ великому онъ пѣлъ—и хвала  
Его непрѣтворна была.

Онъ душу младую въ объятіяхъ несъ  
Для мира печали и слезъ,  
И звукъ его пѣсни въ душѣ молодой  
Остался безъ словъ, но живой.

И долго на свѣтѣ томилась она,  
Желаніемъ чуднымъ полна,  
И звуковъ небесъ замѣнить не могли  
Ей скучныя пѣсни земли.

1831 января...

Рѣдѣютъ блѣдные туманы  
Надъ бездной смерти роковой,  
И вновь стоять передо мной  
Вѣковъ протекшихъ великаны.  
Они зовутъ, они манятъ,  
Поютъ, и я пою за ними  
И, полный чувствами живыми,  
Страшуся поглядѣть назадъ,—  
Чтобъ бытія земного звуки  
Не замѣшались въ пѣснѣ мою,  
Чтобъ лучшей жизни на краю  
Не вспомнилъ я людей и муки;  
Чтобъ я не вспомнилъ этотъ свѣтъ,  
Гдѣ носить все печать проклятья,  
Гдѣ полны ядомъ всѣ обѣтія,  
Гдѣ счастья безъ обмана нѣть.

\* \* \*

Вверху одна  
Горитъ звѣзда,  
Мой взоръ она  
Манитъ всегда;  
Мои мечты  
Она влечетъ  
И съ высоты  
Меня зоветъ.

Таковъ же былъ  
Тотъ свѣтлый взоръ,  
Чтобъ я любилъ  
Судѣй въ укорѣ.  
Мукъ никогда  
Онъ зрѣть не могъ;  
Какъ та звѣзда,  
Онъ былъ высокъ.  
Усталыхъ вѣждъ

Я не смыкалъ  
И безъ надеждъ  
Къ нему взывалъ.

Т о л т.

Безумецъ я! вы правы, правы!  
Смѣшно бессмертье на землѣ!  
Какъ смыль желать я громкой славы,  
Когда вы счастливы въ пыли?  
Какъ могъ я цѣль предубѣжденій  
Умомъ свободнымъ потрясать  
И пламень тайныхъ угрызеній  
За жаръ поэзія принять!  
Нѣтъ, не похожъ я на поэта!  
Я обманулся, вижу самъ;  
Пускай, какъ онъ, я чуждъ для свѣта,  
Но чуждъ зато и небесамъ!  
Мои слова печальны, знаю,  
Но смысла ихъ вамъ не понять,  
Я ихъ отъ сердца отрываю,  
Чтобъ муки съ ними оторвать!  
Нѣтъ... мнѣ ли властвовать умами,  
Всю жизнь на то употребя?  
Пускай возвышусь я надъ вами,  
Но удалось ли отъ себя,  
И позабуду ль самовластно  
Мою погибшую любовь,  
Все то, чему я вѣрилъ страстно,  
Чему не смѣю вѣрить вновь?...

1831 года июня 11.

1.

Моя душа, я помню, съ дѣтскихъ  
лѣтъ  
Чудеснаго искала. Я любилъ  
Всѣ обольщенья свѣта, но не свѣтъ,  
Въ которомъ я минутами лишь жилъ;  
И тѣ мгновенія были мучь полны,  
И населяль таинственные сны  
Я этими мгновеніями... Но сонъ,  
Какъ міръ, не могъ быть ими омраченъ.

2.

Какъ часто силой мысли въ краткій  
часть  
Я жилъ вѣка и жизнью иной,

И о землѣ позабывалъ. Не разъ,  
Встревоженный печальною мечтой,  
Я плакалъ; но вся образы мои,  
Предметы мнімой злобы иль любви,  
Не походили на существъ земныхъ.  
О нѣтъ, все было адъ иль небо въ нихъ!

3.

Холодной буквой трудно объяснить  
Боренье думъ. Нѣтъ звуковъ у людей  
Довольно сильныхъ, чтобы изобразить  
Желаніе блаженства. Цыль страстей  
Возвышенныхъ я чувствую; но словъ  
Не нахожу, и въ этотъ мигъ готовъ  
Пожертвовать собой, чтобы какъ-ни-  
будь  
Хоть тѣнь ихъ перелить въ другую  
грудь.

4.

Извѣстность, слава, что онѣ?—А есть  
У нихъ и надо мною власть: они  
Велятъ себѣ на жертву все принести,  
И я влечу мучительные дни  
Безъ цѣли, олеветанъ, одиночъ;  
Но вѣрю имъ! Невѣдомый пророкъ  
Мнѣ обѣщалъ бессмертье, и живой—  
Я смерти отдалъ все, чтобъ даръ земной.

5.

Но для небеснаго могилы нѣть.  
Когда я буду прахъ, мои мечты,  
Хоть не пойметъ ихъ, удивленный  
свѣтъ  
Благословить; и ты, мой ангель, ты  
Со мною не умрешь: моя любовь  
Тебя отдать бессмертной жизни вновь;  
Съ моимъ названьемъ станутъ повторять  
Твое: на что имъ мертвыхъ разлучать?

6.

Къ погибшимъ люди справедливы;  
Сынъ  
Боготворить, чтобъ проклиналь отецъ.  
Чтобы въ этомъ убѣдиться, до сѣдинъ  
Дожить не нужно: есть всему конецъ;  
Немногого долголѣтній человѣкъ

Цвѣтка; въ сравненьи съ вѣчностью  
ихъ вѣкъ  
Равно ничтожень. Пережить одна  
Душа лишь колыбель свою должна.

7.

Такъ и ея созданье. Иногда  
На берегу рѣки, одинъ, забыть,  
Я наблюдалъ, какъ быстрая вода,  
Синяя, гнется въ волны, какъ шипитъ  
Надъ ними пѣна бѣлой полосой:  
И я глядѣль, и мыслию иной  
Я не былъ занятъ, и пустынныи шумъ  
Разсѣевалъ толпу глубокихъ думъ.

8.

Тутъ былъ я счастливъ... О, когда бъ я могъ  
Забыть, чтѣ незабвенно... женскій взоръ!  
Причину столькихъ слезъ, безумствъ,  
Тревогъ!  
Другой владѣеть ею съ давнихъ поръ,  
И я другую съ вѣчностью люблю,  
Хочу любить—и небеса молю  
О новыхъ мукахъ; но въ груди моей  
Все живъ печальный призракъ преж-  
нихъ дней.

9.

Никто не дорожитъ мной на землѣ  
И самъ себѣ я въ тягость, какъ дру-  
гимъ;  
Тоска блуждаетъ на моемъ члѣ.  
Я холоденъ и гордъ, и даже злымъ  
Толпѣ кажуся; но ужель она  
Проникнуть дерзко въ сердце мнѣ  
должна?  
Зачѣмъ ей знать, что въ немъ заклю-  
чено?  
Огонь иль сумракъ тамъ—ей все равно!

10.

Темна проходитъ туча въ небесахъ,  
И въ ней таится пламень роковой:  
Онъ, вырываясь, обращаетъ въ прахъ  
Все, что ни встрѣтить. Съ дивной  
быстротой  
Блеснетъ—и снова въ облакѣ укрыть;

И кто его источникъ объяснить,  
И кто заглянетъ въ нѣдра облаковъ?  
Зачѣмъ? Они исчезнутъ безъ слѣдовъ.

11.

Грядущее тревожить грудь мою:  
Какъ жизнь я кончу, гдѣ душа моя  
Блуждать осуждена, въ какомъ краю  
Любезные предметы встрѣчу я?..  
Но кто меня любилъ, кто голосъ мой  
Услышитъ—и узнаетъ... И съ тоской  
Я вижу, что любить, какъ я,—порокъ,  
И вижу... я слабѣй любить не могъ.

12.

Не вѣрять въ мірѣ многіе любви,  
И тѣмъ счастливы; для иныхъ она  
Желанье, порожденное въ крови,  
Разстройство мозга иль видѣніе сна.  
Я не могу любовь опредѣлить,  
Но эта страсть сильнѣйшая!—Любить  
Необходимо мнѣ, и я любиль  
Всѣмъ напряженіемъ душевныхъ силъ.

13.

И отучить меня не могъ обманъ.  
Пустое сердце ныло безъ страстей,  
И въ глубинѣ моихъ сердечныхъ ранъ  
Жила любовь, богиня юныхъ дней;  
Такъ въ трещинѣ развалинѣ иногда  
Береза вырастаетъ—молода  
И зелена, и взоры веселить,  
И украшаетъ сумрачный гранить.

14.

И о судьбѣ ея чужой пришлецъ  
Жалѣть. Беззащитно предана  
Порыву бурь и зною, иаконецъ  
Уянеть преждевременно она;  
Но съ корнемъ не истогнеть никогда  
Мою березу вихрь: она тверда;  
Такъ лишь въ разбитомъ сердцѣ можетъ  
страстъ  
Имѣть неограниченную власть.

15.

Подъ иошней бытія не устаетъ  
И не хладѣеть гордая душа;

Судьба ее такъ скоро не убьетъ,  
А лишь взбунтуется; мщеніемъ дыша  
Противъ непобѣдимой, много зла  
Она свершить готова, хоть могла  
Составить счастье тысячи людей:  
Съ такой душой ты Богъ, или злодѣй...

16.

Какъ нравились всегда пустыни мнѣ!  
Люблю я вѣтеръ межъ изгихъ холмовъ,  
И коршуна въ небесной вышинѣ,  
И на равнинѣ тѣни облаковъ.  
Ярма не знаетъ рѣзвый здѣсь табунъ,  
И кровожадный тѣшится летунъ  
Подъ синевой, и облако степей  
Свободный какъ-то мчится и свѣтлый.

17.

И мысль о вѣчности, какъ великанъ,  
Умъ человѣка поражаетъ вдругъ,  
Когда степей беображенъ океанъ  
Синѣеть предъ глазами; каждый звукъ  
Гармоніи вселенной, каждый часъ  
Страданья или радости—для наслѣдъ  
Становится понятенъ, и себѣ  
Отчѣть мы можемъ дать въ своей  
судьбѣ.

18.

Кто посѣщалъ вершины дикихъ горъ  
Въ тогъ свѣжій часъ, когда садится  
день:  
На западѣ свѣтило видѣть взоръ  
И на востокѣ близкой ночи тѣнь,  
Внизу туманъ, уступы и кусты,  
Кругомъ все горы чудной высоты,  
Какъ послѣ бури облака, стоять  
И странные верхи въ лучахъ горятъ.

19.

И сердце полно, полно прежнихъ  
лѣтъ,  
И сильно бѣтъся; пылкая мечта  
Приводитъ въ жизнь минувшаго скептическаго  
лѣтъ,  
И въ немъ почти все та же красота.  
Такъ любимъ мы глядѣть на свой порт  
третъ,

Хоть съ нами въ немъ ужъ сходства  
больше нѣть,  
Хоть на холстѣ хранится блескъ очей,  
Погаснувшій отъ времія и страстей.

20.

Что на землѣ прекрасный пирамидъ  
Природы, этихъ гордыхъ синѣнныхъ  
горъ?  
Не перемѣнить ихъ надменный видъ  
Ничто: ни слава царствъ, ни ихъ по-  
зоръ;  
О ребра ихъ дробятся темныхъ тучъ  
Толпы, и молній обвиваетъ луچъ  
Вершины скаль: ничто не вредно имъ.  
Кто близъ небесъ, тотъ не сраженъ  
земнымъ.

21.

Печаленъ степи видѣть, гдѣ безъ пре-  
понъ,  
Волнуя лишь серебряный ковыль,  
Скитаются летучій аквилонъ  
И предъ собой свободно гонятъ пыль,  
И гдѣ кругомъ, какъ зорко ни смотри,  
Встрѣчаетъ взглядъ березы дѣвъ иль  
три,  
Которыя подъ синеватой мглой  
Чернѣютъ вечеромъ въ дали пустой.

22.

Такъ жизнь скучна, когда боренья  
нѣть.  
Въ минувшее проникнувъ, различить  
Въ ней мало дѣлъ мы можемъ: въ  
цвѣтѣ лѣтъ  
Она души не будетъ веселить.  
Мнѣ нужно дѣйствовать, я каждый  
день  
Бессмертнымъ сдѣлать бы желанѣе, какъ  
тѣнь  
Великаго героя, и понять  
Я не могу, чѣмъ значить отдыкатъ.

23.

Всегда кипитъ и зрѣеть что-нибудь  
Въ моемъ умѣ. Желанье и тоска  
Тревожать безпрестанно эту грудь.

Но что жь? Мнѣ жизнь все какъ-то коротка  
И все боюсь, что не успѣю я  
Свершить чего-то. Жажды бытія  
Во мнѣ сильный страданій роковыхъ,  
Хотя я презираю жизнь другихъ.

24.

Есть время—леденѣть быстрый умъ;  
Есть сумерки души, когда предметъ  
Желаній мраченъ; усыпленіе думъ;  
Межъ радостью и горемъ полуслѣть;  
Душа сама собою стѣснена,  
Жизнь ненавистна, но и смерть  
страшна—  
Находишь корень муки въ себѣ самомъ  
И небо обвинить нельзя ни въ чёмъ.

25.

Я къ состоянью этому привыкъ,  
Но ясно выразить его бѣ не могъ  
Ни ангельскій, ни демонскій языки:  
Они такихъ не вѣдаютъ тревогъ;  
Въ одномъ все чисто, а въ другомъ  
все зло.  
Лишь въ человѣкѣ встрѣтиться могло  
Священное съ порочнымъ. Всѣ его  
Мученія происходятъ оттого.

26.

Никто не получалъ, чего хотѣлъ  
И что любилъ; и если даже тотъ,  
Кому вполнѣ счастливый данъ удѣлъ,  
Въ умѣ своемъ минувшее пройдеть—  
Увидѣть онъ, что могъ счастливѣй  
быть,  
Когда бы не успѣла отравить  
Судьба его надежды. Но волна  
Ко брегу возвратиться не сильна.

27.

Когда, гонима бурей роковой,  
Шипитъ и мчится съ пѣною своей...  
Она все помнить тотъ заливъ родной,  
Гдѣ нѣжилась въ приютахъ камышей,  
И, можетъ быть, она опять придетъ  
Въ другой заливъ, но тамъ ужъ не  
найдетъ

Себѣ покоя: кто въ моряхъ блуждалъ,  
Тотъ не заснетъ въ тѣни прибрежныхъ  
скаль.

28.

Я предузналъ мой жребій, мой ко-  
нечъ,  
И грусти ранняя на мнѣ печать;  
И какъ я мучусь, знать лишь Тво-  
рецъ;  
Но равнодушный міръ не долженъ  
знатъ.  
И незабыть умру я. Смерть моя  
Ужасна будетъ; чуждые края  
Ей удивятся, а въ родной странѣ  
Всѣ проклянутъ и память обо мнѣ.

29.

Всѣ?.. нѣть, не всѣ!.. Созданье есть  
одно,  
Способное любить—хоть не меня;  
До этихъ порь не вѣрить мнѣ оно,  
Однако сердце, полное огня,  
Не увлечется мнѣньемъ, и мое  
Пророчество припомнить умъ ея,  
И взоръ, теперь веселый и живой,  
Напрасной отуманится слезой.

30.

Кровавая меня могила ждеть  
Могила безъ молитвъ и безъ креста,  
На дикомъ берегу ревущихъ водъ  
И подъ туманнымъ небомъ; пустота  
Кругомъ. Лишь чужестранецъ молодой,  
Невольнымъ сожалѣнемъ и мольбой,  
И любопытствомъ приведенъ сюда,  
Сидѣть на камнѣ станетъ иногда.

31.

И скажетъ: отчего не понялъ свѣтъ  
Великаго, и какъ онъ не нашелъ  
Себѣ друзей, и какъ любви привѣтъ  
Къ нему надежду въ сердце не при-  
велъ?  
Онъ былъ ея достоинъ.—И печаль  
Его встревожить, онъ посмотрѣтъ вдали:  
Увидѣть облака съ лазурью волни  
И бѣлый парусъ, и бѣгущій членъ,

32.

И мой кургант!—Любимыя мечты  
Мои подобны этимъ; сладость есть  
Во всемъ, чтд не сбылось; есть красоты  
Въ такихъ картинахъ, — только пере-  
нестъ  
Ихъ на бумагу трудно: мысль сильна,  
Когда размѣромъ словъ не стѣснена,  
Когда свободна какъ игра дѣтей,  
Какъ арфы звукъ въ молчаніи ночей!

Нъ \*\*\*.

Всевышній произнесъ свой приговоръ—  
Его ничто не перемѣнить;  
Межъ нами руку мести онъ прости, —  
И безпристрастно все опѣнить.  
Онъ знаетъ, и Ему лишь можно знать,  
Какъ нѣжно пламенно любилъ я,  
Какъ безотвѣтно все, что только могъ  
отдать,  
Тебъ на жертву приносилъ я.  
Во зло употребила ты права,  
Пріобрѣтенный надъ мною,  
И мнѣ, польстивъ любовю сперва,  
Ты измѣнила—Богъ съ тобою!  
О, нѣтъ! я бъ не рѣшился проклянуть!..  
Все для меня въ тебѣ святое:  
Волшебные глаза и эта грудь,  
Гдѣ бѣтъ сердце молодое.  
Я помню, сорвалъ я обманомъ разъ  
Цѣтокъ, хранившій ядъ стра-  
данья:  
Съ невинныхъ усть твоихъ въ про-  
шальной часъ  
Непринужденное лобзанье;  
Я зналъ: то не любовь—и перенесъ;  
Но отгадать не могъ я тоже,  
Что всѣхъ моихъ надеждъ и муки, и  
слезъ  
Веселый мигъ тебѣ дороже!  
Будь счастлива несчастiemъ моимъ  
И, услыхавъ, что я страдаю,  
Ты не томись раскаяньемъ пустымъ.  
Прости!—вотъ все, что я желаю...  
Чѣмъ заслужилъ я, чтобы твоихъ очей  
Затмился свѣжій блескъ слезами?

Ко смѣху пріучить себя нужай:  
Вѣдь жизнь смѣется же надъ  
нами!

Желаніе.

Зачѣмъ я не птица, не воронъ степной,  
Пролетѣвшій сейчасъ надо мной?  
Зачѣмъ не могу въ небесахъ я парить  
И одну лишь свободу любить?  
На западъ, на западъ помчался бы я,  
Гдѣ прѣтуть моихъ предковъ поля,  
Гдѣ въ замкѣ пустомъ, на туман-  
ныхъ горахъ,  
Ихъ забвенный покояится прахъ.  
На древней стѣнѣ ихъ наслѣдствен-  
ный щитъ  
И заржавленный мечъ ихъ виситъ.  
Я сталь бы летать надъ мечомъ и щи-  
томъ—  
И смахнулъ бы я пыль съ нихъ кри-  
ломъ.  
И арфы шотландской струну бы за-  
дѣль—  
И по сводамъ бы звукъ полетѣлъ:  
Внимаемъ однимъ и однимъ пробу-  
жденъ,  
Какъ раздался, такъ смолкнулъ бы  
онъ.

Но тщетны мечты, бѣзполезны мольбы  
Противъ строгихъ законовъ судьбы.  
Межъ мной и холмами отчизны моей  
Разстилаются волны морей.

Послѣдний потомокъ отважныхъ бой-  
цовъ  
Увядаетъ средь чуждыхъ сѣтговъ;  
Я здѣсь былъ рожденъ, но неадѣш-  
ний душой...  
О, зачѣмъ я не воронъ степной!..

7-го августа.

Въ деревнѣ, на холмѣ у забора.

... Жалокъ міръ!  
Въ немъ каждый средь толпы за-  
быть и сиръ,  
И люди всѣ къ ничтожеству спѣ-  
шатъ.

Но хоть природа презираетъ ихъ,  
Любимцы есть у ней, какъ у царей  
другихъ.  
И тотъ, на комъ лежитъ ея печать,  
Пускай не ропщетъ на судьбу свою,  
Чтобы никто, никто не смѣлъ сказать,  
Что у груди своей она змѣю  
Согрѣла. „О, когда бъ одно „люблю“  
Изъ устъ прекрасныхъ могъ подслу-  
шать я,  
Тогда бы люди, даже жѣзнъ мой  
Въ однообразномъ сѣверномъ краю,  
Все бъ въ новый блескъ одѣлось!“ такъ  
мечталъ  
Безпечный... но просить онъ Небо не  
желалъ!

Воля.

Моя мать—злая кручинка,  
Отцомъ же была мнѣ судьбина,  
Мои братья, хоть люди,  
Не хотятъ къ моей груди  
Прижаться;  
Имъ стыдно со мною,  
Съ бѣднымъ сиротою,  
Обняться.  
Но мнѣ Богомъ дана  
Молодая жена—  
Воля-волюшка,  
Вольность милая,  
Несравненная.  
Съ ней нашлись другіе у меня—  
Мать, отецъ и семья;  
А моя мать—стѣпь широкая,  
А мой отецъ—небо далекое;  
Они меня воспитали,  
Кормили, поили, ласкали;  
Мои братья въ лѣсахъ—  
Березы да сосны...  
Несусь ли я на конѣ,  
Стѣпь отвѣчаетъ мнѣ;  
Брожу ли поздней порой—  
Небо свѣтить мнѣ луной;  
Мои братья въ лѣтній день,  
Призываю подъ тѣнь,  
Машутъ издали руками,  
Киваютъ мнѣ головами;  
И вольность мнѣ гнѣздо свила,  
Какъ міръ—необъятное!

Сентября 28.

Опять, опять я видѣлъ взоръ твой  
милый!  
Я говорилъ съ тобой!  
И мнѣ былое, взятое могилой,  
Напомнилъ голосъ твой.  
Къ чѣму?.. Другой лобзаетъ эти очи  
И руку жметъ твою;  
Другому голосъ твой во мракѣ ночи  
Твердитъ: люблю, люблю!  
Откройся мнѣ: ужели непрѣтворны  
Лобзанія твои?  
Они правамъ супружества покорны,  
Но не правамъ любви.  
Онъ для тебя не созданъ; ты роди-  
лась  
Для пламенныхъ страстей;  
Отдавъ ему себя, ты не спросилась  
У совѣсти своей!  
Онъ чувствовалъ ли трепетъ потаен-  
ный  
Въ присутствіи твоемъ?  
Умѣль ли презирать онъ міръ прерѣн-  
ный,  
Чтобъ мыслить объ одномъ?  
Встрѣчалъ ли онъ съ молчаньемъ и  
слезами  
Привѣтъ холодный твой?  
И лучшими ль онъ жертвовалъ го-  
дами—  
Мгновеніямъ съ тобой?  
Нѣть! я увѣренъ: твоего блаженства  
Не можетъ сдѣлать тотъ,  
Кто красоты наружной совершенства  
Одни въ тебѣ найдетъ.  
Такъ!.. ты его не любишь!.. Тайной  
властью  
Прикована ты вновь  
Къ душѣ печальной, незнакомой сча-  
стью,  
Но нѣжной, какъ любовь.

Небо и звѣзды.

Чисто вечернее небо,  
Ясны далекія звѣзды,  
Ясны, какъ счастье ребенка;  
О, для чего мнѣ нельзѧ и подумать:

Звезды, вы ясны, какъ счастье мое!  
Чѣмъ ты несчастливъ?  
Скажутъ мнѣ люди.  
Тѣмъ я несчастливъ,  
Добрые люди, что звѣзды и небо—  
Звѣзды и небо!—а я—человѣкъ!..  
Люди другъ къ другу  
Зависть питаютъ;  
Я же, напротивъ,  
Только завидую звѣздамъ прекраснымъ,  
Только ихъ мѣсто занять бы хотѣлъ.

\* \* \*

Когда бъ въ покорности незнанья  
Насъ жить Создатель осудилъ,  
Неисполнимыя желанья  
Онъ въ нашу душу бъ не вложилъ;  
Онъ не позволилъ бы стремиться  
Къ тому, что не должно свершиться,  
Онъ не позволилъ бы искать  
Въ Себѣ и въ мірѣ совершенства,  
Когда бъ намъ полнаго блаженства  
Не должно вѣчно было знать?

Но чувство есть у насъ святое—  
Надежда, богъ грядущихъ дней;  
Она въ душѣ, гдѣ все земное,  
Живетъ наперекоръ страстей,  
Она залогъ, что есть понятъ  
На небѣ, иль въ другой пустынѣ,  
Такое мѣсто, гдѣ любовь  
Предстанетъ намъ, какъ ангель нѣж-  
ный,  
И гдѣ тоски ея мятежной  
Душа узнать не можетъ вновь.

\* \* \*

Я видѣлъ тѣнь блаженства; но вполнѣ,  
Свободно отъ людей и отъ земли,  
Не суждено имъ насладиться мнѣ.  
Быть можетъ, манилъ только издали  
Оно надежду; получивъ—какъ знать?—  
Быть можетъ, я бъ его сталъ прези-  
ратъ;  
И увидалъ бы, что ни слезъ, ни муки  
Не стоитъ счастье, ложное, какъ звукъ.

Кто скажетъ мнѣ, что звукъ ея рѣчей  
Не отголосокъ рая? что душа  
Не смотрить изъ живыхъ ея очей,  
Когда на нихъ смотрю я, чутъ дыша?  
Что для мученія моего она,  
Какъ ангель казни, Богомъ создана?  
Нѣтъ! чистый ангель не виновенъ въ  
томъ,

Что есть пятно тоски въ умѣ моемъ.  
И съ каждымъ годомъ шире то пятно,  
И скоро все поглотить, и тогда  
Узнаю я спокойствіе; оно,  
Навѣрно много причинить вреда  
Моимъ мечтамъ и пламеніи чувствъ  
убить,  
Зато безъ бурь напрасныхъ приве-  
деть

Къ уничтоженью; но до этихъ дней  
Я воленъ, даже—если рабъ страстей!  
Печалью вдохновенный, я пою  
О ней одной, и все, что чуждо ей,  
То чуждо мнѣ; я родину люблю  
И больше многихъ; средь ея полей  
Есть мѣсто, гдѣ я горесть началь  
знать;

Есть мѣсто, гдѣ я буду отдыхать,  
Когда мой прахъ, смѣшавшися съ  
землей,  
Навѣки прежній видъ оставить свой.  
О! мой отецъ! гдѣ ты? гдѣ мнѣ найти  
Твой гордый духъ, бродящій въ небе-  
сахъ?

Въ твой міръ ведутъ столь разные  
пути,  
Что избирать мѣшаетъ тайный страхъ.  
Есть рай небесный, звѣзды говорятъ;  
Но гдѣ же? вотъ вопросъ—и въ немъ-  
то ядъ:  
Онъ сдѣлалъ то, что въ женскомъ  
сердцѣ я  
Хотѣлъ сыскать отраду бытія.

\* \* \*

Ужасная судьба отца и сына—  
Жить розно и въ разлукѣ умереть,  
И жребій чуждаго изгнанника имѣть  
На родинѣ съ названьемъ гражданина.  
Но ты совершилъ свой подвигъ, мой  
отецъ;

Постигнуть ты желанною кончиной!  
Дай Богъ, чтобы, какъ твой, спокоенъ  
быть конецъ  
Того, кто былъ вѣхъ мукъ твоихъ  
причиной!  
Но ты простишь мнѣ! Я лъ виновенъ  
въ томъ,  
Что люди угасить въ душѣ моей хотѣли  
Огонь божественный, отъ самой ко-  
лыбели  
Горѣвшій въ ней, оправданный Твор-  
цомъ?  
Однакожъ тщетны были ихъ желанья:  
Мы не нашли вражды одинъ въ дру-  
гомъ,  
Хоть оба стали жертвою страданья!  
Не мнѣ судить, виновенъ ты иль нѣтъ?  
Ты свѣтомъ осужденъ... А что такое  
свѣтъ?  
Толпа людей, то злыхъ, то благосклон-  
ныхъ.  
Собраніе похвалъ незаслуженныхъ  
И столькихъ же насмѣшилыхъ кле-  
вѣть.  
Далеко отъ него, духъ ада или рая,  
Ты о землѣ забылъ, какъ былъ забыть  
землей;  
Ты счастливѣй меня: передъ тобой,  
Какъ море жизни, вѣчность роковая  
Неизвѣримою открылась глубиной.  
Ужели вовсе ты не сожалѣешь нынѣ  
О дняхъ, потерянныхъ въ тревогѣ и  
слезахъ,  
О сумрачныхъ, но вмѣстѣ милыхъ  
дняхъ,  
Когда въ душѣ искалъ ты, какъ въ  
пустынѣ,  
Остатки прежнихъ чувствъ и прежнія  
мечты?  
Ужель теперь совсѣмъ меня не лю-  
бишь ты?..  
О, если такъ! то небо не сравняю  
Я съ этою землей, гдѣ жизнь влагу  
мою:  
Пускай на ней блаженства я не знаю,  
По крайней мѣрѣ я—люблю!

### Стансы.

Гляжу впередъ сквозь сумракъ лѣтъ,  
Сквозь лучъ надеждъ, которымъ нѣтъ  
Опредѣленья, и они  
Мнѣ обѣщаютъ годы, дни,  
Подобные минувшимъ днямъ:  
Ни мукъ, ни радостей, а тамъ  
Конецъ—ожиданный конецъ...  
Какая будущность, Творецъ!  
Пусть я кого-нибудь люблю,  
Любовь не краситъ жизнь мою:  
Она, какъ чумное пятно  
На сердцѣ, жжетъ—хотя темно...  
Враждебной силою гонимъ,  
Я тѣмъ живу, что смерть другимъ,  
Живу—какъ неба властелинъ—  
Въ прекрасномъ мірѣ, но одинъ!  
Я сынъ страданья. Мой отецъ  
Не зналъ покоя по конецъ:  
Въ слезахъ угасла мать моя;  
Отъ нихъ остался только я,  
Ненужный членъ въ пиру людскомъ,  
Младая вѣтвь на пнѣ сухомъ;  
Въ ней соку нѣтъ, хоть зелена,  
Дочь смерти—смерть ей суждена.

### На картину Рембрандта.

Ты понимаешь, о мрачный гений!  
Тотъ грустный безотчетный тонъ,  
Порывъ страстей и вдохновеній,  
Все то, чѣмъ удивлялъ Байронъ.  
Я вижу—лицъ полуоткрытый  
Означенъ рѣзкою чертой...  
То не бѣглецъ ли знаменитый  
Въ одѣждѣ инока святой?  
Быть можетъ тайнымъ преступленьемъ  
Высокой умъ его убить;  
Все темно вокругъ; тоской, сомнѣніемъ  
Надменный взглядъ его горить.  
Быть можетъ, ты писалъ съ природы,  
И этотъ ликъ—не идеалъ;  
Или въ страдальческие годы  
Ты самъ себя изображалъ?—  
Но никогда великой тайны  
Холодный не проникнетъ взоръ,  
И этотъ трудъ необычайный  
Бездушнымъ будетъ злой укоръ.

### Волны и люди.

Волны катятся одна за другую  
Съ плескомъ и шумомъ глухимъ;  
Люди проходять ничтожной толпой  
Также одинъ за другимъ.

Волнамъ ихъ воля и холодъ дороже  
Знойныхъ полудня лучей;  
Люди хотять имѣть души... и что  
же?

Души въ нихъ—волны холодны!

\* \* \*

Ты молодъ, цвѣтъ твоихъ кудрей  
Не уступаетъ цвѣту ночи;  
Какъ день твои блестаютъ очи  
При встречѣ радостныхъ очей.

Ты, отъ души смѣясь смѣшному,  
Какъ скучу, гонишь прочь печаль,  
Чтоб бредъ ребяческій другому,  
То все тебѣ покинуть жаль.

Волнами жизни унесенный  
Далеко отъ надеждъ былыхъ,  
Какъ путешественникъ забвенный,  
Я чуждымъ сталъ между родныхъ.

Предъ мною носятся видѣнья,  
Жизнь обманувшія мою,  
И, не рожденный для забвенья,  
Я вновь черты ихъ узнаю,

И время ихъ не измѣнило:  
Они все тѣ же!—я не тотъ:  
Зачѣмъ же гибнетъ все, что мило?  
А что жалѣть, то живетъ?

\* \* \*

Нѣтъ, я не Байронъ, я другой,  
Еще невѣдомый, избраникъ—  
Какъ онъ, гонимый міромъ странникъ,  
Но только съ русскою душой.  
Я раньше началъ, кончу ранѣ,  
Мой умъ не много совершилъ;  
Въ душѣ моей, какъ въ океанѣ,  
Надеждъ разбитыхъ грузъ лежитъ.  
Кто можетъ, океанъ угрюмый,  
Твои извѣдѣть тайны? Кто  
Толпѣ мои разскажетъ думы!  
Или поэть—или никто!..

### Потокъ.

Источникъ страсти есть во мнѣ,  
Великій и чудесный:

Потокъ серебряный на днѣ.  
Поверхность—лицъ небесный.

Но безпрестанно быстрый токъ  
Воротить и крутить песокъ,  
И небо надъ водами  
Одѣто облаками.

Родится съ жизнью этотъ ключъ  
И съ жизнью исчезаетъ;  
Въ иномъ онъ слабъ, въ другомъ  
могучъ,

Но всѣхъ онъ увлекаетъ;  
И первый счастливъ, но такой  
Я нраѣдный отдалъ бы покой  
За нѣсколько мгновеній

Блаженства иль мученій.

Пускай же мчится мой потокъ,  
Неистовый и бурный,  
Пускай отъ берега цвѣтокъ  
Отмоетъ онъ лазурный  
И увлечетъ съ собою въ путь,  
И съ нимъ погибнетъ гдѣ-нибудь,  
Вдвоемъ, забыть вселенной,  
Въ пустынѣ отдаленной.

Къ \*\*\*.

О, полно извинять развратъ!  
Ужель злодѣямъ щить ....?  
Пусть ихъ глупцы боготворятъ,  
Пусть имъ звучить другая лира;  
Но ты остановись, пѣвецъ,—  
Златой вѣнецъ не твой вѣнецъ.

Изгнаньемъ изъ страны родной  
Хвались повсюду, какъ свободой!  
Высокой мыслью и душой  
Ты рано одаренъ природой;  
Ты видѣлъ зло и передъ зломъ  
Ты гордымъ не поникъ чѣломъ.  
Ты пѣлъ о вольности, когда  
Тиранъ гремѣлъ, грозилъ казни;  
Боясь лишь вѣчнаго суда  
И чуждый на землѣ боязни,  
Ты пѣлъ,—и въ этомъ есть краю  
Одинъ, кто понялъ пѣсни твою.

Мой демонъ.

1.

Собранные золь—его стихія:  
Носясь межъ темныхъ облаковъ,  
Онъ любить бури роковыя,  
И пѣну рѣкъ, и шумъ дубровъ;  
Онъ любить пасмурныя ночи,  
Туманы, блѣдную луну,  
Улыбки горькія и очи,  
Безвѣстныя слезамъ и сну.

2.

Къ ничтожнымъ, хладнымъ толкамъ  
свѣта  
Привыкъ прислушиваться онъ,  
Ему смѣшны слова привѣта  
И всякий вѣрящий смѣшонъ;  
Онъ чуждъ любви и сожалѣнья,  
Живеть онъ пищею земной,  
Глотаетъ жадно дымъ сраженія  
И паръ отъ крови пролитой.

3.

Родится ли страдалецъ новый,  
Онъ беспокоить духъ отца,  
Онъ тутъ съ насмѣшкою суровой  
И съ дикой важностью лица.  
Когда же кто-нибудь инсходить  
Въ могилу съ трепетной душой,  
Онъ часъ послѣдній съ нимъ прово-  
дить,  
Но не утѣшень имъ болѣй.

4.

И гордый демонъ не отстанетъ,  
Пока живу я, отъ меня,  
И умъ мой озарять онъ станетъ  
Лучомъ чудеснаго огня;  
Покажеть образъ совершенства  
И вдругъ отниметъ навсегда,  
И, давъ предчувствіе блаженства,  
Не дастъ мнѣ счастья никогда.

\* \* \*

Хоть давно измѣнила мнѣ радость,  
Какъ любовь, какъ улыбка людей,

И померкнуло прежде, чѣмъ младость,  
Свѣтило надежды моей;  
Но судьбу я и міръ презираю,  
Но нельзя имъ унизить меня,  
И я хладно приходъ ожидаю  
Кончины, иль лучшаго днія.  
Словамъ моимъ вѣрить не станутъ,  
Но, клянуся въ нелживости ихъ,  
Кто самъ былъ такъ часто обманутъ,  
Обмануть не захочетъ другихъ.  
Пусть жизнь моя въ буряхъ несется,  
Я беспечень, я знаю давно:  
Нока сердце въ груди моей бѣется,  
Не увидѣть блаженства оно.  
Одна лишь сырья могила  
Успокоить того, можетъ быть,  
Чья душа слишкомъ пылко любила,  
Чтобы могъ его міръ полюбить.

Стансы.

Не могу на родинѣ томиться,  
Прочь отсель, туда—въ кровавый бой!  
Тамъ, быть можетъ, перестанетъ биться  
Это сердце, полное тобой.  
Нѣть, я не прошу твоей любови,  
Нѣть, не знай губительныхъ стра-  
стей;  
Видѣть смерть мнѣ надо, надо крови,  
Чтобъ залить огонь въ груди моей.  
Пусть паду, какъ ратникъ въ бран-  
номъ полѣ,—  
Не оплаканъ свѣтомъ буду я,  
Никому не будеть въ тягость болѣ  
Буря чувствъ моихъ и жизни мои.  
Юныхъ лѣтъ святыя обѣщанья:  
Прекратить судьба на мѣстѣ томъ,  
Гдѣ безъ думъ, безъ воспія, безъ  
роптанья  
Я усну давно желаннымъ сномъ.  
Такъ, но если я не позабуду  
Въ этомъ снѣ любви печальный сонъ,  
Если образъ твой всегда, повсюду  
Я носить съ собою осужденъ?  
Если тамъ, въ предѣлахъ отдален-  
ныхъ,  
Гдѣ душа должна блаженство пить,  
Тяжкихъ язвъ, на ней напечатлѣн-  
ныхъ,

Невозможно будетъ испѣлить?  
О, взгляни привѣтно въ часъ раз-  
лукъ  
На того, кто, съ гордою душой,  
Не боится ни людей, ни муки,  
Кто умреть за честь страны родной;  
Кто, бывало, въ тайномъ упоенъ  
На тебя вперивъ свой влажный  
взглядъ,  
Возбуждалъ людское сожалѣнъ  
И твоей улыбкѣ былъ такъ радъ.

Къ себѣ.

Какъ я хотѣлъ себя увѣрить,  
Что не люблю ее,—хотѣлъ  
Неизмѣримое измѣрить,  
Любви безбрежной дать предѣлъ!  
Мгновенное пренебреженіе  
Ея могущества опять  
Мнѣ доказало, что влеченъ  
Души нельзя намъ избѣжать;  
Что цѣль моя несокрушима;  
Что мой теперешній покой  
Лишь гласть замѣтный херувима  
Надъ сонной демоновъ толпой.

\* \* \*

Душа моя должна прожить въ зем-  
ной неволѣ  
Недолго, можетъ быть,—я не увижу  
болѣ  
Твой взоръ, твой милый взоръ, столь  
нѣжный для другихъ,  
Звѣду привѣтную соперниковъ моихъ;  
Желаю счастья имъ—тебя винить без-  
божно,  
За то, что мнѣ нельзя все, все, что имъ  
возможно;  
Но если ты ко мнѣ любовь хотѣла  
скрыть,  
Казаться хладною и въ тишинѣ лю-  
бить,  
Но если ты при мнѣ смѣялась надо  
мною,  
Тогда какъ внутренно полна была  
тоскою,

То мрачный мой тебѣ пускай пока-  
жетъ взглядъ,  
Кто болѣе страдалъ, кто болѣ виноватъ.

Къ \*\*\*.

Дай руку мнѣ, склонись къ груди  
поэта,  
Свою судьбу соедини съ моей,—  
Какъ ты, мой другъ, я не рожденъ  
для свѣта  
И не умѣю жить среди людей;  
Я не имѣлъ ни времія, ни охоты  
Дѣлить ихъ шумъ, ихъ мелкія заботы,  
Любовь мое все сердце заняла,  
И что жъ?—взгляни на блѣдный цвѣтъ  
чела!..  
На немъ ты видишь слѣдъ страстей  
уснувшихъ,  
Такъ рано обуянныхъ жизнь мою;  
Не лѣстить мнѣ вспоминанье дней  
минувшихъ,  
Я одинокъ надъ пропастью стою,  
Гдѣ все мое подавлено судьбою,—  
Такъ кустъ растетъ надъ бездною  
морскою  
И листъ, грозой оборванный, плыветъ  
По произволу странствующихъ водъ.

Сонетъ.

Я памятью живу съ увядшими ме-  
чтами,  
Видѣнья прежнихъ лѣтъ толпятся  
предо мной,  
И образъ твой межъ нихъ, какъ мѣ-  
сяцъ въ часъ ночной  
Между бродящими блестаетъ облаками.  
Мнѣ тягостно твое владычество по-  
рой—  
Твоей улыбкою, волшебными глазами!  
Порабощенъ мой духъ и скованъ,  
какъ цѣпями—  
Что жъ пользы для меня? — я не  
любимъ тобой...  
Я знаю, ты любовь мою не презираешь,  
Но холодно ея моленіямъ внимашь;  
Такъ мраморный кумиръ на берегу  
морскомъ

Стоить,—у ногъ его волна кипить,  
  клюкочеть,  
А онъ, безчувственнымъ исполненъ  
  божествомъ,  
Не внемлетъ, хоть ее отталкивать  
  не хочетъ...

Къ \*\*\*.

Мы случайно сведены судьбою,  
Мы себя нашли одинъ въ другомъ,  
И душа сдружилася съ душою,  
Хотъ пути не кончить имъ вдвоемъ!  
Такъ потокъ весенній отражаетъ  
Сводь небесъ далекій, голубой,  
И въ волнѣ спокойной онъ сияетъ  
И трепещетъ съ бурною волной.  
Будь, о будь моими небесами,  
Будь товарищъ грозныхъ бурь моихъ,  
Пусть тогда гремятъ они межъ нами:  
Я рожденъ, чтобы не жить безъ нихъ.  
Я рожденъ, чтобы цѣлый міръ былъ  
  зритель  
Торжества иль гибели моей;  
Но съ тобой, мой луть-нуневодитель,  
Чтоб хвала иль гордый смѣхъ людей!  
Души ихъ пѣвца не постигали,  
Не могли душой его любить,  
Не могли понять его печали,  
Не могли восторговъ раздѣлить.

\* \* \*

Послушай, быть можетъ, когда мы  
  покинемъ  
На вѣкъ этотъ міръ, гдѣ душою мы  
  стынемъ,  
Быть можетъ, въ странѣ, гдѣ не  
  знаютъ обману,  
Ты ангеломъ будешь, я демономъ стану!  
Клянися тогда позабыть, дорогая,  
Для прежняго друга все счастіе раг!  
Пусть мрачный изгнаникъ, судьбой  
  осужденный,  
Тебѣ будеть раемъ, а ты мнѣ — все-  
  ленной!

Парусъ.

Бѣльеть парусъ одинокій  
Въ туманѣ моря голубомъ...  
Чтѣ ищеть онъ въ странѣ далекой?  
Чтѣ кинулъ онъ въ краю родномъ?  
Играютъ волны; вѣтеръ свищетъ  
И мачта гнется и скрипить...  
Увы! онъ счастія не ищеть  
И не отъ счастія бѣжитъ!  
Подъ нимъ струя свѣтлый лазури,  
Надъ нимъ лучъ солнца золотой;  
А онъ, мятежный, просить бури,  
Какъ будто въ бурахъ есть покой!

\* \* \*

Опять, народные витія,  
За дѣло падшее Литвы  
На славу гордую Россіи  
Опять, шумя, возстали вы!  
Ужъ вѣсъ казнилъ могучимъ словомъ  
Поѣть, возставшій въ блескѣ новомъ  
Отъ продолжительного сна,  
И порицанія покровомъ  
Одѣлъ онъ ваши имена.

Чтѣ это: вызовъ ли надменный,  
На битву бѣшеный призыть?  
Иль голось зависти смущенной,  
Безсилъя злобнаго порывъ?  
Да, хитрой зависти ехидна  
Васъ пожираетъ; вамъ обидна  
Величья нашего заря;  
Вамъ солнца Божьяго не видно  
За солнцемъ русскаго царя!  
Давно привыкшіе вѣнцами  
И уваженiemъ играть,  
Вы мните грязными руками  
Вѣнецъ блестящій запятнать.  
Вамъ непонятно, вамъ несрдно  
Все, чтѣ высоко, благородно;  
Не знали вы, что грозный щить  
Любви и гордости народной  
Отъ вѣсъ вѣнцъ тотъ сохранить!  
Безумцы жалкіе! вы правы,—  
Мы чужды ложнаго стыда:  
Такъ, нераздѣльны въ дѣлѣ славы  
Народъ и царь его всегда.  
Велѣньямъ власти благотворной  
Мы повинуемся покорно

И вѣримъ нашему царю,  
И будемъ всѣ стоять упорно  
За честь его, какъ за свою!..  
Но честь Россіи невредима,  
И вамъ, смѣясь, внимаешь свѣтъ!  
Такъ въ дни воинственные Рима,  
Во дни торжественныхъ побѣдъ,  
Когда триумфомъ шелъ Фабрицій  
И раздавался по столицѣ  
Восторга благодарный кликъ,  
Бѣжалъ за свѣтлой колесницей  
Одинъ наемный клеветникъ!

Еврѣйская мелодія.

Изъ Вайрона.

Душа моя мрачна. Скорый, пѣвецъ,  
скорый!  
Вотъ арфа золотая:  
Пускай персты твои, промчавшися по  
ней,

Пробудятъ въ струнахъ звуки рая.  
И если не навѣкъ надежды рокъ унесъ—  
Онъ въ груди моей проснется.  
И если есть въ очахъ застывшихъ  
 капли слезъ—

Онъ растаютъ и пролются.  
Пусть будетъ пѣснь твоя дика. Какъ  
мой вѣнецъ,  
Мнѣ тягостны веселья звуки!  
Я говорю тебѣ: я слезъ хочу, пѣвецъ,  
Иль разорвется грудь отъ муки.  
Страданьями была упитана она;  
Томилась долго и безмолвно;  
И грозный часъ насталъ—теперь она  
полна,  
Какъ кубокъ смерти, яда полный.

Желаніе.

Отворите мнѣ темницу,  
Дайте мнѣ сіянье днія,  
Черноглазую дѣвицу,  
Черногриваго коня!  
Дайте разъ по синю полю  
Проскакатъ на томъ конѣ;  
Дайте разъ на жизнь и волю,  
Какъ иа чуждую мнѣ долю,  
Посмотрѣть поближе мнѣ.

Дайте мнѣ членокъ досчатый  
Съ полусгнившою скамьей,  
Парусъ сѣрый и косматый,  
Ознакомленный съ грозой.  
Я тогда пущуся въ море,  
Беззаботенъ и одинъ;  
Разгуляюсь на просторѣ  
И потѣшусь въ буйномъ спорѣ  
Съ дикой прихотью пучинъ.

Дайте мнѣ дворецъ высокій  
И кругомъ зеленый садъ,  
Чтобъ въ тѣни его широкой  
Зрѣлъ янтарный виноградъ,  
Чтобъ фонтанъ, не умолкая,  
Въ залѣ мраморномъ журчалъ,  
И меня, въ мечтаньяхъ рая,  
Хладной пылью орошая,  
Усыплять и пробуждалъ...

\* \* \*

Гляжу иа будущность съ боязнью,  
Гляжу на прошлое съ тоской,  
И, какъ преступникъ передъ казнью,  
Ищу кругомъ души родной!..  
Придетъ ли вѣстникъ избавленья  
Открыть мнѣ жизни назначенье,  
Цѣль упований и страстей;  
Повѣдать, что мнѣ Богъ готовилъ,  
Зачѣмъ такъ горько прекословилъ  
Надеждамъ юности моей?

Землѣ я отдалъ дань земную  
Любви, надеждѣ, добра и зла.  
Начать готовъ я жизнь другую...  
Молчу и жду... Пора пришла...  
Я въ мірѣ не оставлю брата;  
И тѣмой, и холодомъ обѣята  
Душа усталая моя:  
Какъ ранній плодъ, лишенный сока,  
Она увяла въ буряхъ рока  
Подъ знойнымъ солнцемъ бытія

Молитва.

Я, Матерь Божія, нынѣ съ молитвою  
Предъ твоимъ образомъ, яркимъ сіяніемъ,  
Не о спасеніи, не передъ битвою,  
Не съ благодарностью, иль покаяніемъ,

Не за свою молю душу пустынную,  
За душу странника въ свѣтѣ без-  
родного;

Но я вручить хочу дѣву невинную  
Теплой Заступницѣ мѣра холоднаго.  
Окружи счастіемъ счастія достойную,  
Дай ей сопутниковъ, полныхъ вниманія,  
Молодость свѣтлую, старость покойную,  
Сердцу незлобному миръ упованія.

Срокъ ли приблизится часу прощаль-  
ному,  
Въ утро ли шумное, въ ночь ли  
безгласную,  
Ты воспріять пошли къ ложу пе-  
чальному  
Лучшаго ангела душу прекрасную.

### На смерть Пушкина.

Погибъ поэтъ, невольникъ чести,  
Палъ оклеветанный моловой,  
Съ свинцомъ въ груди и съ жаждой  
мести,  
Поникнувъ гордой головой.  
Не вынесла душа поэта  
Позора мелочныхъ обидъ;  
Возсталъ онъ противъ мнѣній свѣта  
Одинъ, какъ прежде—и убить!  
Убить!.. Къ чему теперь рѣданья,  
Похвалъ и слезъ ненужный хоръ,  
И жалкій лепетъ оправданья—  
Судьбы свершился приговоръ!  
Не вы ль сперва такъ долго гнали  
Его свободный, чудный даръ  
И, для потѣхи, возбуждали  
Чуть затаившійся пожаръ...  
Что жъ? Веселитесь!.. Онъ мученій  
Послѣднихъ перенестъ не могъ.  
Угасъ, какъ свѣточъ, дивный геній,  
Увялъ торжественный вѣнокъ!..

Его убійца хладнокровно  
Навѣль ударъ—спасенія нѣть:  
Пустое сердце бѣтъся ровно,  
Въ рукѣ не дрогнетъ пистолетъ.  
И что за диво?... Издалека,  
Подобно сотнямъ бѣглецовъ,  
На ловлю счастія и чиновъ  
Заброшены къ намъ по волѣ рока,  
Смѣясь, онъ дерзко презиралъ

Земли чужой языкъ и нравы:  
Не могъ щадить онъ нашей славы,  
Не могъ понять въ сей мигъ кровавый  
На что онъ руку подымалъ!

И онъ погибъ и взять могилой,  
Какъ тотъ пѣвецъ невѣдомый, но  
милый,  
Добыча ревности чѣмой,  
Воспѣтый имъ съ такою чудной силой,  
Сраженный, какъ и онъ, безжалостной  
рукой,  
Зачѣмъ отъ мирныхъ нѣгъ и дружбы  
простодушной  
Вступилъ онъ въ этотъ свѣтъ, зави-  
стливый и душный  
Для сердца вольнаго и пламенныхъ  
страстей?  
Зачѣмъ онъ руку далъ клеветникамъ  
безбожнымъ,  
Зачѣмъ повѣрилъ онъ словамъ и ла-  
скамъ ложнымъ—  
Онъ, съ юныхъ лѣтъ постигнувшій  
людей!  
И прежній снявъ вѣнокъ, они вѣнецъ  
терновый,  
Увитый лаврами, надѣли на него;  
Но иглы тайныя суроно  
Язвили славное чело...  
Отравлены его послѣднія мгновенія  
Коварнымъ шопотомъ безчувственныхъ  
невѣдѣй,  
И умеръ онъ съ глубокой жаждой  
мщенія,  
Съ досадой тайною обманутыхъ на-  
деждъ...  
Замолкли звуки дивныхъ пѣсень,  
Не раздаваться имъ опять,  
Приють пѣвеца угрюмъ и тѣсень  
И на устахъ его печать!

А вы, надменные потомки  
Извѣстной подлостью прославленныхъ  
отцовъ,  
Пятою рабскою поправшіе обломки  
Игрою счастія обиженныхъ родовъ!  
Вы, жадною толпою стоящіе у трона,  
Свободы, генія и славы палачи!  
Таитесь вы подъ сѣнью закона,  
Предъ вами судь и правда—все молчи!

Но есть и Божий судь, наперсники  
разврата,  
Есть грозный Судья,—Онъ ждетъ,  
Онъ недоступенъ звону злата,  
И мысли, и дѣла Онъ знаетъ напередъ.  
Тогда напрасно вы прибѣгнете къ злому:  
словью:  
Оно вамъ не поможетъ вновь,  
И вы не смоете сей вашей черной кровью  
Поэта праведную кровь!

Вѣтка Палестины.

Скажи мнѣ, вѣтка Палестины:  
Гдѣ ты росла, гдѣ ты цвѣла?  
Какихъ холмовъ, какой долины  
Ты украшенніемъ была?  
У водь ли чистыхъ Іордана  
Востока лучъ тебя ласкалъ,  
Ночной ли вѣтру въ горахъ Ливана  
Тебя сердито колыхалъ?  
Молитву ль тихую читали,  
Иль пѣли пѣсни старины,  
Когда листы твои сплетали  
Солима бѣдные сыны?  
И пальма та жива ль понынѣ?  
Все также ль манить въ лѣтній зной  
Она прохожаго въ пустынѣ  
Широколиственной главой?  
Или въ разлукѣ безотрадной  
Она увяла, какъ и ты,  
И дольній прахъ ложится жадно  
На пожелтѣвшіе листы?..  
Повѣдай: набожной рукою  
Кто въ этотъ край тебя занесъ?  
Грустить онъ часто надъ тобою?  
Хранишь ты сльдь горючихъ слезъ?  
Иль Божьей рати лучшій воинъ  
Онъ былъ, съ безоблачнымъ челомъ,  
Какъ ты, всегда небесь достоинъ  
Передъ людьми и божествомъ?..  
Заботой тайною хранима,  
Передъ иконой золотой  
Стоишь ты, вѣтвь Ерусалима,  
Святыни вѣрный часовей!  
Прозрачный сумракъ, лучъ лампады,  
Кивотъ и крестъ, символъ святой...  
Все полно мира и отрады  
Вокругъ тебя и надъ тобой.

Узникъ.

Отворите мнѣ темницу,  
Дайте мнѣ сіянье дня,  
Черноглазую дѣвицу,  
Черногриваго коня.  
Я красавицу младую  
Прежде сладко поцѣлую,  
На коня потомъ вскочу,  
Въ степь, какъ вѣтеръ, улечу.  
Но окно тюрьмы высоко;  
Дверь тяжелая съ замкомъ;  
Черноокая далеко  
Въ пышномъ теремѣ своемъ;  
Добрый конь въ зеленомъ полѣ,  
Безъ узды, одинъ, по волѣ  
Скачеть, весель и игравъ,  
Хвостъ по вѣтру распустить.  
Одиночъ я—нѣть отрады:  
Стѣны голыя кругомъ;  
Тускло свѣтить лучъ лампады  
Умирающимъ огнемъ;  
Только слышно: за дверями,  
Звучномѣрными шагами  
Ходить въ тишинѣ ночной  
Безотвѣтный часовой.

\* \* \*

Когда волнуется желтѣющая нива  
И свѣжій лѣсь шумитъ при звукѣ вѣ-  
терка,  
И прячется въ саду малиновая слива  
Подъ тѣнью сладостной зеленаго листка;  
Когда росой обрызганный душистой,  
Румяной вечеромъ, иль утра въ  
часть златой,  
Изъ-подъ куста мнѣ ландышъ сере-  
бристый  
Привѣтливо киваетъ головой;  
Когда студеный ключъ играетъ по  
оврагу  
И, погружая мысль въ какой-то смут-  
ный сонъ,  
Лепечетъ мнѣ таинственную сагу  
Про мирный край, откуда мчится онъ,—  
Тогда смиряется душа моей тревога,  
Тогда расходятся морщины на челѣ,

И счастье я могу постигнуть на земль,  
И въ небесахъ я вижу Бога...

### Д у м а.

Печально я гляжу на наше поколѣнье!  
Его грядущее—иль пусто, иль темно;  
Межъ тѣмъ подъ бременемъ познанья  
и сомнѣнья,  
Въ бездѣствіи состарится оно.  
Богаты мы, едва изъ колыбели,  
Ошибками отцовъ и позднимъ ихъ  
умомъ,  
И жизнь ужъ настъ томить, какъ ров-  
ный путь безъ цѣли,  
Какъ пиръ на праздникъ чужомъ.  
Къ добру и злу постыдно равнодушны,  
Въ началѣ поприща мы вянемъ безъ  
борьбы;  
Передъ опасностью позорно-малодушны,  
И передъ властію презрѣнныя рабы.  
Такъ тошній плодъ, до времени созрѣ-  
лый,  
Ни вкуса нашего не радуя, ни глазъ,  
Виситъ между цѣтовъ, пришлецъ оси-  
ротѣлый,  
И часть ихъ красоты—его паденяя часть!  
Мы изсущили умъ наукою безплод-  
ной,  
Такъ завистливо отъ ближнихъ и  
друзей  
Надежды лучшія и голосъ благо-  
родный  
Невѣріемъ осмѣянныхъ страстей.  
Едва касались мы до чаши наслажденія,  
Но юныхъ силъ мы тѣмъ не сбе-  
регли;  
Изъ каждой радости, бояся пресыщенія,  
Мы лучшій союзъ навѣки извлекли.  
Мечты поэзіи, созданія искусства  
Восторгомъ сладостнымъ нашъ умъ не  
шевелить;  
Мы жадно бережемъ въ груди остатокъ  
чувствія—  
Зарытый скучностью и бесполезный  
кладъ.

И ненавидимъ мы, и любимъ мы слу-  
чайно,  
Ничѣмъ не жертвя ни злобѣ, ни любви,  
И царствуетъ въ душѣ какой-то холодъ  
тайный,  
Когда огонь кипить въ крови.  
И предковъ скучны намъ роскошныя  
забавы,  
Ихъ добросовѣстный, ребяческій раз-  
вратъ;  
И къ гробу мы спѣшимъ безъ счастья  
и безъ славы,  
Глядя насмѣшило назадъ.  
Толпой угрюмою и скоро позабытой  
Надъ міромъ мы пройдемъ безъ  
шума и слѣда,  
Не бросивши вѣкамъ ни мысли пло-  
довитой,  
Ни геніемъ начатаго труда.  
И прахъ нашъ, съ строгостью суды  
и гражданина,  
Потомокъ оскорбить презрительнымъ  
стихомъ,  
Насмѣшкой горькою обманутаго сына  
Надъ промотавшимся отцомъ.

### Ребенку.

О грезахъ юности томимъ воспоми-  
наньемъ,  
Съ отрадой тайною и тайнымъ содро-  
ганьемъ,  
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю...  
О, если бъ зналъ ты, какъ я тебя  
люблю!  
Какъ милы мнѣ твои улыбки молодыя,  
И быстрые глаза, и кудри золотые,  
И звонкій голосокъ!—Не правда ль,  
говорять,  
Ты на нее похожъ?—Увы! года летять;  
Страданія ее до срока измѣнили,  
Но вѣрныя мечты тотъ образъ сохра-  
нили  
Въ груди моей; тотъ взоръ, исполнен-  
ный огня,  
Всегда со мной. А ты, ты любишь ли  
меня?  
Не скучны ли тебѣ непрошеннныя ласки?  
Не слишкомъ часто ль я твои цѣлью  
глазки?

Слеза моя ланить твоихъ не обожгла лъ?  
Смотри жъ, не говори ни про мою пе-  
чаль,  
Ни вовсе обо мнѣ. Къ чему? Ее, быть  
можеть,  
Ребяческій разсказъ разсердить иль  
встревожить...  
Но мнѣ ты все повѣрь. Когда въ  
вечерній часъ,  
Предъ образомъ съ тобой заботливо  
склоняясь,  
Молитву дѣтскую она тебѣ шептала  
И въ знаменіе креста персты твои  
скимала,  
И всѣ знакомыя, родныя имена  
Ты повторялъ за ней—скажи, тебя  
она  
Ни за кого еще молиться не учила?  
Блѣдила, можетъ быть, она произ-  
носила  
Название, теперь забытое тобой...  
Не вспоминай его... Чѣмъ?—звукъ  
пустой!  
Дай Богъ, чтобъ для тебя оно осталось  
тайной.  
Но если, какъ-нибудь, когда-нибудь,  
случайно  
Узнаешь ты его—ребяческіе дни  
Ты вспомни, и его, дитя, не прокляни!

---

### Молитва.

Въ минуту жизни трудную,  
Тѣснится лъ въ сердцѣ грусть:  
Одну молитву чудную  
Твержу я наизусть.  
Есть сила благодатная  
Въ созвучы словъ живыхъ,  
И дышеть непонятная,  
Святая прелестъ въ нихъ.  
Съ души какъ бремя скатится,  
Сомнѣніе далеко—  
И вѣрится, и плачется,  
И такъ легко, легко...

---

### Не вѣрь себѣ.

Que nous font aprѣs tout les vulgaires abois  
De tous ces charlatans, qui donnent de la voix,  
Les marchands, de pathos et les faiseurs d'empahse  
Et tous les baladins qui dansent sur la phrase?

А. Barbier.

Не вѣрь, не вѣрь себѣ, мечтатель мо-  
лодой,  
Какъ язвы, бойся вдохновенія...  
Оно тяжелый бредъ души твоей боль-  
ной,  
Иль пѣнной мысли раздраженіе.  
Въ немъ признака небесъ напрасно  
не ищи:  
То кровь кипить, то силь избытокъ!  
Скорѣжь жизнь свою въ заботахъ истощи,  
Разлей отравленный напитокъ!

Случится ли тебѣ въ завѣтный, чуд-  
ный мигъ  
Открыть въ душѣ давно безмолвной,  
Еще невѣдомый и дѣственій род-  
никъ,  
Простыхъ и сладкихъ звуковъ пол-  
ный,—  
Не вслушивайся въ нихъ, не пре-  
давайся имъ,  
Набрось на нихъ покровъ забвенья:  
Стихомъ размѣреннымъ и словомъ  
ледянымъ  
Не передашь ты ихъ значенья.  
Закрадется лъ печаль въ тайникъ души  
твоей,  
Зайдеть ли страсть съ грозой и  
вьюгой—  
Не выходи тогда на шумный пиръ  
людей  
Съ своею бѣшеной подругой;  
Не унизай себя. Стыдися торговать  
То гнѣвомъ, то тоской послушной,  
И гной душевныхъ ранъ надменно  
выставлять  
На диво черни простодушной.  
Какое дѣло намъ, страдалъ ты или  
нѣть?  
На чѣмъ намъ знать твои волненія,  
Надежды глупыя первоначальныхъ  
хѣть,  
Разсудка злыя сожалѣнья?

Взгляни: передъ тобой, играючи,  
идеть  
Толпа дорогою привычной;  
На лицахъ праздничныхъ чуть ви-  
день слѣдъ заботъ,—  
Слезы не встрѣтишь неприличной.  
А между тѣмъ изъ нихъ едва ли есть  
одинъ,  
Тяжелой пыткой не измѣтый,  
До преждевременныхъ добрavшійся  
морщинъ  
Безъ преступленья иль утраты!..  
Повѣрь: для нихъ смѣшонъ твой плачъ  
и твой укоръ  
Съ своимъ напѣвомъ заучѣннымъ,  
Какъ разрумяненный трагический  
актеръ,  
Махающій мечемъ картоннымъ.

---

Памяти Александра Ивановича Одоевского.

Я зналъ его: мы странствовали съ  
нимъ  
Въ горахъ Востока, и тоску изгнанья  
дѣлили дружно; но къ полямъ роднымъ  
Вернулся я, и время испытанья  
Промчалося законной чередой;  
А онъ не дождался минуты сладкой:  
Подъ бѣдною походною палаткой  
Болѣзнь его сразила, и съ собой  
Въ могилу онъ унесъ летучій рой  
Еще незрѣлыхъ, темныхъ вдохновеній,  
Обманутыхъ надеждъ и горькихъ со-  
жалѣній!  
Онъ былъ рожденъ для нихъ, для  
тѣхъ надеждъ,  
Поэзии и счастья... Но безумный —  
Изъ дѣтскихъ рано вырвался одѣждъ  
И сердце бросилъ въ море жизни  
шумной.  
И свѣтъ не пощадилъ, и Богъ не  
спасъ!  
Но до конца, среди волненій трудныхъ,  
Въ толпѣ людской и средь пустынь  
бездѣлныхъ  
Въ немъ тихій пламень чувства не  
угасъ:  
Онъ сохранилъ и блескъ лазурныхъ  
глазъ,

И звонкій дѣтскій смѣхъ, и рѣчъ  
живую,  
И вѣру гордую въ людей и жизнь  
иную.  
Но онъ погибъ далеко отъ друзей...  
Миръ сердцу твоему, мой милый Саша!  
Покрытое землей чужихъ полей,  
Пусть тихо спитъ оно, какъ дружба  
наша  
Въ иѣмомъ кладбищѣ памяти моей!  
Ты умеръ, какъ и многіе, безъ шума,  
Но съ твердостью. Таинственная дума  
Еще блуждала на челѣ твоемъ,  
Когда глаза закрылись вѣчнымъ сномъ;  
И то, что ты сказалъ передъ кончиной,  
Изъ слушавшихъ тебя не понялъ ни  
единый...

И было ль то — привѣтъ странѣ  
родной,  
Название ли оставленнаго друга,  
Или тоска по жизни молодой,  
Иль, просто, крикъ послѣдняго не-  
дуга,  
Кто скажетъ намъ?.. Твоихъ послѣд-  
нихъ словъ  
Глубокое и горькое значеніе  
Потеряно. Дѣла твои, и мнѣнья,  
И думы — все исчезло безъ слѣдовъ,  
Какъ легкій паръ вечернихъ обла-  
ковъ:  
Едва блеснутъ, ихъ вѣтеръ вновь  
уносить —  
Куда они? зачѣмъ? откуда? — кто ихъ  
спросить...

И послѣ ихъ на небѣ нѣть слѣда,  
Какъ отъ любви ребенка безнадежной,  
Какъ отъ мечты, которой никогда  
Онъ не вѣрялъ заботамъ дружбы нѣж-  
ной...  
Что за нужда? Пускай забудетъ свѣтъ  
Столь чуждое ему существованье:  
Зачѣмъ тебѣ вѣнцы его вниманья  
И терпія пустыхъ его клеветъ?  
Ты не служилъ ему. Ты съ юныхъ  
лѣтъ  
Коварныя его отвергнуль цѣпи:  
Любиль ты моря шумъ, молчанье синей  
степи —  
И мрачныхъ горъ зубчатые хребты...  
И вѣругъ твоей могилы неизвѣстной

Все, чѣмъ при жизни радовался ты,  
Судьба соединила такъ чудесно:  
Нѣмая степь синѣеть, и вѣнцомъ  
Серебрянымъ Кавказъ ее объемлетъ;  
Надъ моремъ онъ, нахмурясь, тихо  
дремлетъ,  
Какъ великанъ склонившись надъ  
щитомъ,  
Рассказамъ волнѣючихъ внимай,  
А море черное шумить, не умолкая.

П о э тъ.

Отдѣлкой золотой блестаетъ мой  
кинжалъ:  
Клинокъ надежный, безъ порока;  
Булатъ его хранить таинственный  
закалъ,  
Наслѣдье браннаго Востока.  
Наезднику въ горахъ служилъ онъ  
много лѣтъ,  
Не зная платы за услугу;  
Не по одной груди провелъ онъ страш-  
ный слѣдъ  
И не одну порвалъ кольчугу.  
Забавы онъ дѣлилъ послушнѣе раба;  
Звенѣль въ отвѣтъ рѣчамъ обиднымъ;  
Въ тѣ дніи бывалъ ему богатая рѣзьба  
Нарядомъ чуждымъ и постыднымъ.  
Онъ взялъ за Терекомъ отважнѣй-  
казакомъ  
На хладномъ трупѣ господина,  
И долго онъ лежалъ, заброшенный  
потомъ,  
Въ походной лавѣ армянина.  
Теперь родныхъ ноженъ, избитыхъ на  
войнѣ,  
Лишенъ героя спутникъ бѣдный;  
Игрушкой золотой онъ блещетъ на  
стѣнѣ—  
Увы! безславный и безвредный!  
Нието привычно, заботливой рукой  
Его не чистить, не ласкаеть,  
И надписи его, молясь передъ зарей,  
Никто съ усердьемъ не читаетъ...

\*

Въ нашъ вѣкъ изнѣженный не такъ ли  
ты, поэтъ,  
Свое утратилъ назначенье,

На злато промѣнявъ ту власть, которой  
свѣтъ  
Внималъ въ нѣмомъ благовѣніѣ?  
Бывало, мѣрный звукъ твоихъ могучихъ  
словъ  
Воспѣмѣніемъ бойца для битвы;  
Онъ нуженъ былъ толпѣ, какъ чаша  
для пироръ,  
Какъ еніамъ въ часы молитвы.  
Твой стихъ, какъ Божій духъ, носился  
надъ толпой,  
И отзывъ мыслей благородныхъ  
Звучалъ, какъ колоколь на башнѣ  
вѣчевой  
Во дни торжествъ и бѣдъ народныхъ.  
Но скученъ намъ простой и гордый  
твой языкъ,  
Насъ тѣшутъ блестки и обманы;  
Какъ ветхая краса, нашъ ветхій міръ  
привыкъ  
Морщины прятать подъ румяны...  
Проснешься ль ты опять, осмѣянный  
пророкъ,  
Иль никогда на голось мщенья,  
Иль золотыхъ ноженъ не вырвешь свой  
кинокъ,  
Покрытый ржавчиной презрѣнья?

Казачья колыбельная пѣсня.

Спи младенецъ мой прекрасный,  
Баюшки-баю.  
Тихо смотрѣть мѣсяцъ ясный  
Въ колыбель твою.  
Стану сказывать я сказки,  
Пѣсенку спою;  
Ты жъ дремли, закрывши глазки,  
Баюшки-баю.  
По камнямъ струится Терекъ,  
Плещетъ мутный валъ;  
Злой чечень ползетъ на берегъ,  
Точить свой кинжалъ;  
Но отецъ твой — старый воинъ,  
Закаленъ въ бою;  
Спи, малютка, будь спокоенъ,  
Баюшки-баю.  
Самъ узнаешь — будеть время—  
Бранное житѣ;

Смѣло вѣнчай ногу въ стремя  
И возьмешь ружье.  
Я сѣдѣльце боевое  
Шолкомъ разошлю...  
Спи, дитя мое родное,  
Баюшки-баю.  
Богатырь ты будешь съ виду  
И казакъ душой.  
Провожать тебя я выйду—  
Ты махнешь рукой...  
Сколько горькихъ слезъ украдкой  
Я въ ту ночь пролью!..  
Спи, мой ангель, тихо, сладко,  
Баюшки-баю.  
Стану я тоской томиться,  
Безутѣшино ждать;  
Стану цѣлый день молиться,  
По ночамъ гадать;  
Стану думать, что скучаешь  
Ты въ чужомъ краю...  
Спи жъ, пока заботъ не знаешь,  
Баюшки-баю.  
Дамъ тебѣ я на дорогу  
Образокъ святой;  
Ты его, моляся Богу,  
Ставь передъ собой;  
Да, готовясь въ бой опасный,  
Помни мать свою...  
Спи, младенецъ мой прекрасный,  
Баюшки-баю.

**Журналистъ, читатель и писатель.**

Les poëtes ressemblent aux ours, qui  
se nourrissent en suçant leur patte.  
Inedit.

Комната писателя; опущенные шторы. Онъ сидит въ большихъ креслахъ передъ каминомъ. Читатель съ сигарой стоит спиной къ камину. Журналистъ входитъ.

**Писатель.**

О чѣмъ писать?.. Бываетъ время,  
Когда заботъ спадаетъ бремя,  
Дни вдохновленнаго труда,  
Когда и умъ и сердце полны,  
И риоемы дружныя, какъ волны,  
Журчя, одна вослѣдъ другой  
Несутся вольной чередой.  
Восходить чудное свѣтило  
Въ душѣ проснувшейся едва:

На мысли, дышащія силой,  
Какъ жемчугъ, нижутся слова...  
Тогда съ отвагою свободной  
Поѣть на будущность глядѣть,  
И міръ мечтою благородной  
Предъ нимъ очищенъ и обмытъ.  
Но эти странныя творенія  
Читаетъ дома онъ одинъ,  
И ими послѣ, безъ заэрѣнья,  
Онъ затопляетъ свой каминъ.  
Ужель ребяческія чувства,  
Воздушный безотчетный бредъ  
Достойны строгаго искусства?  
Ихъ осмѣять, забудеть свѣтъ..

Бывають таѣстныя ночи:  
Безъ сна, горячъ и плачутъ очи,  
На сердцѣ—жадная тоска;  
Дрожа, холодная рука  
Подушку жаркую объемлетъ;  
Невольный страхъ власы подъемлетъ;  
Бользненныи, безумныи крикъ  
Изъ груди рвется—и языкъ  
Лепечетъ громко, безъ сознанья,  
Давно забытыя названья;  
Давно забытыя черты  
Въ сіяннѣ прежней красоты  
Рисуетъ память своевольно:  
Въ очахъ любовь, въ устахъ обманъ—  
И вѣришь снова имъ невольно,  
И какъ-то весело и больно  
Тревожить язвы старыхъ ранъ...  
Тогда пишу. Диктуетъ совѣсть,  
Перомъ сердитый водить умъ:  
То соблазнительная повѣсть,  
Сокрытыхъ дѣлъ и тайныхъ думъ;  
Картины хладная разврата,  
Преданья глупыхъ юныхъ дней,  
Давно безъ пользы и возврата  
Погибшихъ въ омутѣ страстей,  
Средь битвъ незримыхъ, но упорныхъ,  
Среди обманщицъ и невѣждъ,  
Среди сомнѣній ложно-черныхъ  
И ложно-радужныхъ надеждъ.  
Судья безвѣстный и случайный,  
Не дорожа чужою тайной,  
Приличьемъ скрашеннаго порокъ  
Я смѣло предаю позору;  
Неумолимъ я и жестокъ...  
Но, право, этихъ горькихъ строкъ  
Неприготовленному взору

Я не рѣшуся показать...

Скажите же, мнѣ о чём писать?  
Къ чому толпы неблагодарной  
Мнѣ злость и ненависть навлечь,  
Чтобъ бранью назвали коварной  
Мою пророческую рѣчь?

Чтобъ тайный ядъ страницы знай-  
ной  
Смутить ребенка сонъ покойный  
И сердце слабое увлечь  
Въ свой необузданый потокъ?  
О нѣтъ! преступною мечтою  
Не ослѣпляя мысль мою,  
Такой тяжелую цѣною  
Я вашей славы не куплю...

Подъ арестомъ на арсенальной гауптвахтѣ.

### И скучно и грустно.

И скучно, и грустно, и некому руку  
подать  
Въ минуту душевной невзгоды...  
Желанья!.. Чѣмъ пользы напрасно и  
вѣчно жалеть?..  
А годы проходятъ—всѣ лучшіе годы!  
Любить... но кого же?.. На время—не  
стоитъ труда,  
А вѣчно любить невозможно.  
Въ себя ли заглянешь?—Тамъ про-  
шаго нѣть и слѣда;  
И радость, и муки, и все тамъ  
ничтожно...  
Чѣмъ страсти?—Вѣдь рано иль поздно  
ихъ сладкій недугъ  
Исчезнеть при словѣ разсудка;  
И жизнь, какъ посмотрѣши съ холод-  
нымъ вниманьемъ вокругъ—  
Такая пустая и глупая шутка...

### Изъ Гёте.

Горныя вершины  
Спятъ во тьмѣ ночной;  
Тихія долины  
Полны свѣжей мглой;  
Не пылить дорога,  
Не дрожать листы...  
Подожди немногого,  
Отдохнешь и ты.

### Ту чи.

Тучки небесныя, вѣчные странники!  
Степью лазурною, цѣпью жемчужною  
Мчитесь вы, будто, какъ я же, изгнан-  
ники,  
Съ милаго сѣвера въ сторону южную.  
Кто же васъ гонить: судьбы ли  
рѣшенье?  
Зависть ли тайная? Злоба ль от-  
крыта?  
Или на васъ тяготить преступлѣніе?  
Или друзей клевета ядовитая?  
Нѣтъ, вамъ наскучили нивы безплод-  
ныя...  
Чужды вамъ страсти и чужды стра-  
данія;  
Вѣчно холодныя, вѣчно свободныя,  
Нѣтъ у васъ родины, нѣтъ вамъ из-  
гнанія.

### Сосна.

Изъ Гейне.

На сѣверѣ дикомъ стоитъ одиноко  
На голой вершинѣ сосна,  
И дремлетъ, качаясь, и снѣгомъ сы-  
пучимъ  
Одѣта, какъ ризой, она.  
И снится ей все, что въ пустынѣ  
далекой,  
Въ томъ краѣ, гдѣ солнца восходъ,  
Одна и грустна на утесѣ горючемъ  
Прекрасная пальма растетъ.

### Изъ альбома.

Софія Николаевна Карамзиной.

Любиль и я въ былые годы,  
Въ невинности души моей,  
И бури шумныя природы,  
И бури тайныя страстей  
Но красоты ихъ безобразной  
Я скоро таинство постигъ,  
И мнѣ наскучилъ ихъ несвязный  
И оглушающей языкъ.  
Люблю я больше, годъ отъ году,  
Желаньямъ мирнымъ давъ просторъ,

Поутру ясную погоду,  
Подъ вечеръ—тихій разговоръ...

\* \* \*

Слышу ли голосъ твой,  
Звонкій и ласковый,—  
Какъ птичка въ клѣткѣ  
Сердце запрыгаетъ.  
Встрѣчу ль глаза твои,  
Лазурью глубокіе,—  
Душа на встрѣчу имъ  
Изъ груди просится!  
И какъ-то весело!  
И плакать хочется...  
И такъ на шею бы  
Тебѣ я кинулся...

\* \* \*

Есть рѣчи—значенье  
Темно иль ничто жно:  
Но имъ безъ волненія  
Внимать невозможно.  
Какъ полны ихъ звуки  
Безумствомъ желанья!  
Въ нихъ слезы разлуки,  
Въ нихъ трепетъ свиданья.  
Не встрѣтить отвѣта  
Средь шума мірского  
Изъ пламя и свѣта  
Рожденное слово;  
Но въ храмѣ, средь боя,  
И гдѣ я ни буду,  
Услышавъ, его я  
Узнаю повсюду;  
Не кончивъ молитвы,  
На звукъ тотъ отвѣчу  
И брошусь изъ битвы  
Ему я навстрѣчу.

#### Оправданіе.

Когда одни воспоминанья  
О заблужденіяхъ страстей,  
На мѣсто славнаго названья,  
Твой другъ оставилъ межъ людей—

И будетъ спать въ землѣ безгласно  
То сердце, гдѣ кипѣла кровь,  
Гдѣ такъ безумно, такъ напрасно  
Съ враждой боролася любовь;  
Когда предъ общимъ приговоромъ  
Ты смолкнешь, голову склоня,  
И будетъ для тебя погоромъ  
Любовь безгрѣшная твоя—  
Того, кто страстью и порокомъ  
Затмилъ твои младые дни,  
Молю, язвительнымъ упрекомъ  
Ты въ оный часъ не помяни!  
Но предъ судомъ толпы лукавой  
Скажи, что судить настѣй Иной,  
И что прощать святое право  
Страданье куплено тобой.

#### Родина.

Люблю отчизну я, но странною любовью;  
Не побѣдить ея разсудокъ мой!  
Ни слава, купленная кровью,  
Ни полный гордаго довѣрія покой,  
Ни темной старины завѣтныя преданья  
Не шевелить во мнѣ отраднаго  
мечтанья.  
Но я люблю—за что, не знаю самъ—  
Ея степей холодное молчанье,  
Ея лѣсовъ безбрежныхъ колыханье,  
Разливы рѣкъ ея, подобные морямъ;  
Проселочнымъ путемъ люблю скакать  
въ тѣлѣвъ  
И, взоромъ медленнымъ пронзая ночи  
тѣнь,  
Встрѣтить по сторонамъ, вздыхая о  
ночлегѣ,  
Дрожащіе огни печальныхъ деревень.  
Люблю дымокъ спаленной живыи,  
Въ степи кочующій обозъ,  
И на холмѣ средь желтой нивы,  
Чету бѣлѣющихъ березъ.  
Съ отрадой, многимъ незнакомой,  
Я вижу полное гумно,  
Избу, покрытую соломой,  
Съ рѣзными ставнями окно;  
И въ праздникъ, вечеромъ росистымъ,  
Смотрѣть до полночи готовъ  
На пляску съ топаньемъ и свистомъ,  
Подъ говоръ пьяныхъ мужиковъ.

### Кинжалъ.

Люблю тебя, булатный мой кинжалъ,  
Товарищъ свѣтлый и холодный.  
Задумчивый грузинъ на мѣсть тебя  
коваль,  
На грозный бой точилъ черкесъ сво-  
бодный.  
Лилейная рука тебя мнѣ поднесла  
Въ знакъ памяти, въ минуту раз-  
ставанья,  
И въ первый разъ не кровь вдоль  
по тебѣ текла,  
Но свѣтлая слеза—жемчужина стра-  
данья.  
И черные глаза, остановясь на мнѣ,  
Исполнены таинственной печали,  
Какъ сталь твоя, при трепетномъ огнѣ,  
То вдругъ тускнѣли, то сверкали.  
Ты данъ мнѣ въ спутники, любви  
залогъ нѣмой,  
И страннику въ тебѣ примѣръ не  
безполезный:  
Да, я не измѣнюю и буду твердъ  
душой,  
Какъ ты, какъ ты, мой другъ же-  
лѣзный.

### Плѣнnyй рыцарь.

Молча сижу подъ окошкомъ темницы,  
Синее небо отсюда мнѣ видно:  
Въ небѣ играютъ все вольные птицы;  
Гляди на нихъ, мнѣ и больно, и стыдно.  
Нѣть на устахъ моихъ грѣшной  
молитвы,  
Нѣту ни пѣсни во славу любезной;  
Помню я только старинныя битвы,  
Мечъ мой тяжелый да панцырь же-  
лѣзный.  
Въ каменный панцырь я нынѣ за-  
кованъ,  
Каменный шлемъ мою голову давить,  
Щить мой отъ стрѣль и меча за-  
колдованъ,  
Конь мой бѣжитъ, и никто имъ не  
править.  
Быстрое время — мой конь неиз-  
мѣнnyй,

Шлема забрало—рѣшетка бойницы,  
Каменный панцырь—высокія стѣны,  
Щить мой—чугунныя двери тем-  
ницы.

Мчись же быстрѣе, летучее время!  
Душно подъ новой бронею мнѣ стало!  
Смерть, какъ прѣдѣмъ, подержать  
мнѣ стремя;  
Слѣзу и сдерну съ лица я забрало.

\* \* \*

Я не хочу, чтобы свѣтъ узналъ  
Мою таинственную повѣсть,  
Какъ я любилъ, за что страдалъ:  
Тому судья лишь Богъ да совѣсть.

Имъ сердце въ чувствахъ дастъ  
отчетъ,  
У нихъ попросить сожалѣнья—  
И пусть меня накажетъ Тотъ,  
Кто изобрѣлъ мои мученья.  
Укоръ невѣждъ, укоръ людей  
Души высокой не печалить;  
Пускай шумить волна морей—  
Утесъ гранитный не повалить:  
Его чело межъ облаковъ;  
Онь двухъ стихій жилецъ угрюмый,  
И, кромѣ бури да громовъ,  
Онь никому не вѣрить думы.

\* \* \*

Не смѣйся надъ моей пророческой  
тоскою.  
Я зналъ—ударъ судьбы меня не обой-  
детъ,  
Я зналъ, что голова, любимая тобою,  
Съ твоей груди на плаху перейдетъ.  
Я говорилъ тебѣ: ни счастія, ни славы  
Мнѣ въ мірѣ не найти. Настанетъ  
часть кровавый,  
И я паду—и хитрая вражда  
Съ улыбкой очернить мой недопѣт-  
шій геній,  
И я погибну, безъ слѣда  
Моихъ надеждъ, моихъ мученій...  
Но я безъ страха жду довременій  
конецъ;  
Давно пора мнѣ мірѣ увидѣть новый.

Пускай толпа растопчеть мой вънецъ,  
Вънецъ пѣвца, вънецъ терновый—  
Пускай! я имъ не дорожилъ!..

Сонъ.

Въ полдневный жаръ, въ долинѣ Да-  
гестана,  
Съ свинцомъ въ груди лежалъ недви-  
жимъ я;  
Глубокая еще дымилась рана,  
По каплѣ кровь точилася моя.  
Лежалъ одинъ я на пескѣ долины,  
Уступы скалъ тѣснилися кругомъ,  
И солнце жгло ихъ желтыхъ вершинъ,  
И жгло меня—но спать я мертвымъ  
сономъ.  
И снился мнѣ сияющій огнями  
Вечерній пиръ въ родимой сторонѣ;  
Межъ юныхъ женъ, увѣнчанныхъ цвѣ-  
тами,  
Шелъ разговоръ веселый обо мнѣ.  
Но, въ разговорѣ веселый не вступая,  
Сидѣла тамъ задумчиво одна,  
И въ грустный сонъ душа ея мла-  
дая  
Богъ знаетъ чѣмъ была погружена.  
И снилась ей долина Дагестана;  
Знакомый трупъ лежалъ въ долинѣ  
той,  
Въ его груди, дымясь, чернѣла рана  
И кровь лилась хладѣющей струей...

Утесъ.

Ночевала тучка золотая  
На груди утеса-великана  
Утромъ въ путь она умчалася рано,  
По лазури весело играя.  
Но остался влажный слѣдъ въ мор-  
щинахъ  
Старого утеса. Одноко  
Онъ стоитъ; задумался глубоко  
И тихонько плачетъ онъ въ пусты-  
нѣ...

Изъ Гейне.

Они любили другъ друга такъ долго  
и нѣжно,  
Съ тоскою глубокой и страстью без-  
умно-мятежной,  
Но, какъ враги, избѣгали призванья и  
встрѣчи,  
И были пусты и хладны ихъ краткія  
рѣчи.  
Они разстались въ безмолвномъ и гор-  
домъ страданіѣ  
И милый образъ во снѣ лишь порою  
видали;  
И смерть пришла, наступило за гро-  
бомъ свиданье—  
Но въ мірѣ новомъ другъ друга они  
не узнали.

\* \* \*

Дубовый листокъ оторвался отъ вѣтки  
родимой  
И въ степь укатился, жестокою бурей  
гонимый;  
Засохъ и увяль онъ отъ холода, зноя и  
горя,  
И вотъ, наконецъ, докатился до Чер-  
наго моря.  
У Чернаго моря чинара стоитъ  
молодая,  
Съ ней шепчется вѣтеръ, зеленая  
вѣтвь лаская;  
На вѣтвяхъ зеленыхъ качаются рай-  
скія птицы—  
Поютъ онъ пѣсни про славу морской  
царь-дѣвицы.  
И странникъ прижался у корня чинары  
высокой:  
Пріюта на-время онъ молитъ съ тоскою  
глубокой.  
И такъ говорить онъ: „Я бѣдный  
листочекъ дубовый,  
До срока созрѣлъ я и выросъ въ отчинѣ  
сuroвой.  
„Одинъ и безъ цѣли по свѣту ношуся  
давно я,  
Засохъ я безъ тѣни, увяль я безъ  
сна и покоя.

Прими же пришельца межъ листьевъ  
своихъ изумрудныхъ—  
Немало я знаю рассказовъ мудреныхъ  
и чудныхъ”.

— „На чѣ мнѣ тебѣ! отвѣчаетъ младая  
чинара:  
Ты пыленъ и желтъ, и сынамъ моимъ  
свѣжимъ не пара.  
Ты много видалъ,—да къ чѣму мнѣ твои  
небылицы?  
Мнѣ слухъ утомили давно ужъ и рай-  
скія птицы...  
„Иди себѣ дальше, о странникъ! тебѣ  
я не знаю.  
Я солнцемъ любима, цвѣту для него  
и блистаю;  
По небу я вѣтви раскинула здѣсь  
на просторѣ,  
И корни мои умываетъ холодное  
море.

\* \* \*

Выхожу одинъ я на дорогу:  
Сквозь туманъ кремнистый путь  
блестить:  
Ночь тиха, пустыня внемлетъ Богу,  
И звѣзда съ звѣздою говорить.  
Въ небесахъ торжественно и чудно!  
Спитъ земля въ сіянѣй голубомъ...  
Что же мнѣ такъ больно и такъ  
трудно:

Жду ль чего? жалѣю ли о чѣмъ?  
Ужъ не жду отъ жизни ничего я,  
И не жаль мнѣ прошлаго иначѣ;  
Я ищу свободы и покоя;  
Я бѣ хотѣлъ забыться и заснуть...  
Но не тѣмъ холоднымъ сномъ  
могилы—  
Я бѣ желалъ на вѣки такъ заснуть,  
Чтобъ въ груди дремали жизни силы,  
Чтобъ, дыша, вздыхалась тихо грудь;  
Чтобъ всю ночь, весь день, мой слухъ  
лелѣя,  
Про любовь мнѣ сладкій голосъ пѣлъ;  
Надо мнай чтобъ, вѣчно зеленѣя,  
Темный дубъ склонялся и шумѣлъ.

### Пророкъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ Вѣчный Судія  
Мнѣ далъ всевѣдѣніе пророка,  
Въ очахъ людей читаю я  
Страницы злобы и порока.

Провозглашать я сталъ любви  
И правды чистыя ученья:  
Въ меня всѣ близкіе мои  
Бросали бѣшено каменія.  
Посыпалъ пепломъ я главу,  
Изъ городовъ бѣжалъ я нищій,  
И, вотъ, въ пустынѣ я живу,  
Какъ птицы—даромъ Божьей пищи.  
Завѣтъ Предвѣчнаго храня,  
Мнѣ тварь покорна тамъ земная,  
И звѣзды слушаютъ меня,  
Лучами радостно играя.

Когда же черезъ шумный градъ  
Я пробираюсь торопливо,  
То старцы дѣтамъ говорятъ  
Съ улыбкою самолюбивой:  
„Смотрите: вотъ примѣръ для васъ!  
Онъ гордъ былъ, не ужился съ нами;  
Глупецъ—хотѣлъ увѣрить нась,  
Что Богъ гласить его устами!  
„Смотрите жъ, дѣти, на него,  
Какъ онъ угрюмъ, и худъ, и блѣденъ!  
Смотрите, какъ онъ нагъ и бѣденъ!  
Какъ презираютъ всѣ его!”

### Умирающій Гладіаторъ.

I see before me the gladiator lie...  
By god.

Ликуетъ буйный Римъ... торжественно  
гримитъ  
Рукоцѣсканьями широкая арена—  
А онъ, произенный въ грудь, безмолвно  
онъ лежитъ,  
Во прахѣ и крови скользятъ его колѣна...  
И молитъ жалости напрасно мутный  
взоръ:  
Надменный временщикъ и льстецъ его,  
сенаторъ,  
Вѣнчаютъ похвалой победу и позоръ...  
Что яростной толпѣ сраженный гла-  
діаторъ?  
Онъ презрѣнъ и забытъ... освистанный  
актеръ!

И кровь его течеть—послѣднія мгно-  
венья  
Мелькаютъ—близокъ часъ... Вотъ лучъ  
воображенія  
Сверкнулъ въ его душѣ... предъ нимъ  
шумитъ Дунай...  
И родина цвѣтеть—свободой жизни  
край;  
Онъ видѣтъ кругъ семьи, оставленной  
для брани,  
Отца простершаго нѣмѣющія длані,  
Зовущаго къ себѣ опору дряхлыхъ  
дней...  
Дѣтей играющихъ — вовлѣбленныхъ  
дѣтей!  
Всѣ ждутъ его назадъ съ добычою и  
славой...  
Напрасно: жалкій рабъ, онъ палъ какъ  
звѣрь лѣсной,  
Безчувственной толпы минутною за-  
бавой...  
„Прости, развратный Римъ!—прости,  
о край родной!“

---

### Два великаны.

Въ шапкѣ золота литого  
Старый русскій великанъ  
Поджидалъ къ себѣ другого  
Изъ далекихъ чуждыхъ странъ.  
За горами, за долами  
Ужъ гремѣлъ о немъ разсказъ,  
И помѣряться главами  
Захотѣлось имъ хоть разъ.  
И пришелъ съ грозой военной  
Трехнедѣльный удалецъ,  
И рукою дерзновенной  
Хватъ за вражескій вѣнецъ.  
Но улыбкой роковою  
Русскій витязь отвѣчалъ—  
Посмотрѣлъ, тряхнулъ главою:  
Ахнулъ дерзкій—и упалъ...  
Но упалъ онъ въ дальнемъ морѣ  
На нѣвѣдомый гранитъ,  
Тамъ, гдѣ буря на просторѣ  
Надъ пучиною шумитъ.

---

### Бородино.

„Скажи-ка, дядя, вѣдь недаромъ  
Москва, спаленная пожаромъ,  
Французу отдана?  
Вѣдь были жъ схватки боевые?  
Да, говорятъ, еще какія!  
Недаромъ помнить вся Россія  
Про день Бородина!“  
— Да, были люди въ наше время,  
Не то, что нынѣшнее племя:  
Богатыри—не вы!  
Плохая имъ досталась доля:  
Немногіе вернулись съ поля...  
Не будь на то Господня воля,  
Не отдали бъ Москвы!  
Мы долго молча отступали.  
Досадно было, боя ждали,  
Ворчали старики:  
„Что жъ мы? На зимня квартиры?  
Не смѣютъ что ли командиры  
Чужіе изорвать мундиры  
О русскіе штыки?“  
И вотъ—нашли большое поле:  
Есть разгуляться гдѣ на волѣ!  
Построили редутъ.  
У нашихъ ушки на макушкѣ!  
Чуть утро освѣтило пушки  
И лѣса синяя верхушка—  
Французы тутъ-каѣ-тутъ.  
Забылъ зарядъ я въ пушку туго  
И думалъ: угощу я друга!  
Постой-ка, братъ мусью!  
Чтѣ тутъ хитрить, пожалуй къ бою;  
Ужъ мы пойдемъ ломить стѣною,  
Ужъ постоимъ мы толовою  
За родину свою!  
Два дня мы были въ перестрѣлкѣ.  
Чтѣ толку въ этакой бездѣлкѣ?  
Мы ждали третій день.  
Повсюду стали слышны рѣчи:  
„Пора добраться до картечи!“  
И вотъ на полѣ грозной сѣчи  
Ночная пала тѣнь.  
Прилегъ вздрогнуть я у лафета,  
И слышно было до разсвѣта,  
Какъ лиловаль французы.  
Но тихъ былъ нашъ бивакъ открытый:  
Кто киверъ чистилъ весь избитый,  
Кто штыкъ точилъ, ворча сердито,

Кусая длинный усь.  
И только небо засвѣтилось,—  
Все шумно вдругъ зашевелилось,  
Сверкнуль за строемъ строй.  
Полковникъ нашъ рожденъ быль  
хватомъ:  
Слуга царю, отецъ солдатамъ..  
Да, жаль его: сражень булатомъ,  
Онь спить въ землѣ сырой.  
И молвиль онъ, сверкнувъ очами:  
„Ребята! не Москва ль за нами?  
Умремте жъ подъ Москвой,  
Какъ наши браты умирали!“—  
И умереть мы обѣщали,  
И клятву вѣрности сдержали  
Мы въ Бородинскій бой.  
Ну жъ, быль денекъ!.. Сквозь дымъ  
летучій  
Французы двинулись, какъ тучи,  
И все на нашъ редутъ.  
Уланы съ пестрыми значками,  
Драгуны съ конскими хвостами—  
Всѣ промелькнули передъ нами,  
Всѣ побывали тутъ.  
Вамъ не видать такихъ сраженій!..  
Носились знамена, какъ тѣни,  
Въ дыму огонь блестѣлъ,  
Звучалъ булатъ, картечъ визжала,  
Рука бойцовъ колотъ устала,  
И ядрамъ пролетать мѣшала  
Гора кровавыхъ тѣлъ.  
Извѣдалъ врагъ въ тотъ день немало,  
Что значитъ русскій бой удалый,  
Нашъ руконашный бой!..  
Земля тряслась, какъ наши груди;  
Смѣшились въ кучу кони, люди;  
И залпы тысячи орудій  
Слились въ протяжный вой...  
Вотъ смерклось. Были всѣ готовы  
Заутра бой затѣять новый  
И до конца стоять...  
Вотъ затрещали барабаны—  
И отступили басурманы.  
Тогда считать мы стали раны,  
Товарищѣй считать.  
Да, были люди въ наше время,  
Могучее, лихое племя:  
Богатыри—не вы!  
Плохая имъ досталась доля:  
Немногіе вернулись съ поля...

Когда бъ на то не Божья воля,  
Не отдали бъ Москвы!

Три пальмы.

Восточное сказание.

Въ песчаныхъ степяхъ аравійской  
земли  
Три гордыя пальмы высоко росли.  
Родникъ между ними изъ почвы без-  
плодной,  
Журча, пробивался волною холодной,  
Хранимый подъ сѣнью зеленыхъ ли-  
стовъ  
Отъ знойныхъ лучей и летучихъ  
песковъ.  
И многіе годы неслышно прошли;  
Но странникъ усталый, изъ чуждой  
земли,  
Пылающей грудью ко влагѣ студе-  
ной  
Еще не склонялся подъ кущей зе-  
леной.  
И стали ужъ сохнуть отъ знойныхъ  
лучей  
Роскошные листья и звучный ручей.  
И стали три пальмы на Бога роптать:  
„На то ль мы родились, чтобы здѣсь  
увядать?  
Безъ пользы въ пустынѣ росли и  
цвѣли мы,  
Колеблемы вихремъ и зноемъ палимы,  
Ничай благосклонный не радуя взоръ?..  
Не правъ твой, о Небо, святой приго-  
воръ!..“  
И только замолкли—въ дали голубой  
Столбомъ ужъ крутился песокъ зо-  
лотой,  
Звонковъ раздавались нестройные  
звуки,  
Пестрѣли коврами покрытые выюки,  
И шель, колыхаясь, какъ въ морѣ  
членокъ,  
Верблюдъ за верблюдомъ, взрывая  
песокъ.  
Мотаясь, висѣли межъ твердыхъ гор-  
бовъ  
Узорные полы походныхъ шатровъ;  
Ихъ смуглыя ручки порой подымали,

И черные очи оттуда сверкали...  
И, стань худощавый въ лукъ наклоня,  
Арабъ горячилъ вороного коня.  
И конь на дыбы подымался порой,  
И прыгалъ, какъ барсъ, пораженный  
стрѣлой;  
И бѣлой одеждѣ красивыя складки  
По плечамъ фариса вились въ без-  
порядкѣ;  
И, съ крикомъ и свистомъ несясь  
по песку,  
Бросаль и ловиль онъ копье на скаку.  
Вотъ къ пальмамъ подходитъ, шумя,  
караванъ;  
Въ тѣни ихъ веселый раскинулся станъ.  
Кувшинны, звуча, налились водою,  
И, гордо кивая махровой главою,  
Привѣтствуютъ пальмы нежиданныхъ  
гостей,  
И щедро поить ихъ студеный ручей.  
Но только-что сумракъ на землю  
упалъ,  
По корнямъ упругимъ топоръ за-  
стучалъ—  
И пали безъ жизни питомцы столѣтій!  
Одежду ихъ сорвали малыя дѣти,  
Изрублены были тѣла ихъ потомъ,  
И медленно жгли ихъ до утра огнемъ.  
Когда же на западъ умчался туманъ,  
Урочный свой путь совершалъ кара-  
ванъ;  
И слѣдомъ печальнымъ на почвѣ без-  
плодной  
Виднѣлся лишь пепель сѣдой и хо-  
лодный;  
И солнце остатки сухіе дожгло,  
А вѣтромъ ихъ въ степи потомъ раз-  
несло.  
И нынѣ все дико и пусто кругомъ—  
Не шепчутся листья съ гремучимъ  
ключемъ:  
Напрасно пророка о тѣни онъ про-  
сить—  
Его лишь песокъ раскаленный за-  
носить,  
Да коршунъ хохлатый, степной не-  
людимъ,  
Добычу терзаетъ и щиплетъ надъ  
нимъ.

### Дары Терека.

Терекъ воетъ, дикъ и злобенъ,  
Межъ утесистыхъ громадъ,  
Буръ плачь его подобенъ,  
Слезы брызгами летятъ.  
Но, по степи разбѣгаясь,  
Онъ лукавый принялъ видъ,  
И, привѣтливо ласкаясь,  
Морю Каспію журчить:  
„Разступись, о старецъ-море,  
Дай пріютъ моей волнѣ!  
Погулялъ я на просторѣ,  
Отдохнуть пора бы мнѣ.  
Я родился у Каабека,  
Всвормленъ грудью облаковъ,  
Съ чуждой властью человѣка  
Вѣчно спорить былъ готовъ.  
Я, сынамъ твоимъ въ забаву,  
Разорилъ родной Дарьяль,  
И вадуновъ имѣ, на славу,  
Стадо цѣлое пригналь“.  
Но, склоняясь на мягкий берегъ,  
Каспій стихнулъ, будто спитъ,  
И опять, ласкаясь, Терекъ  
Старцу на ухо журчить:  
„Я привезъ тебѣ гостинецъ!  
То гостинецъ не простой:  
Съ поля битвы кабардинецъ,  
Кабардинецъ удалой.  
Онъ въ кольчугѣ драгоцѣнной,  
Въ налокотникахъ стальныхъ:  
Изъ Корана стихъ священный  
Писанъ золотомъ на нихъ.  
Онъ угрюмо сдвинулъ брови,  
И усовъ его края  
Обагрила знойной крови  
Благородная струя;  
Взоръ открытый, безотвѣтный,  
Полонъ старою враждой:  
По затылку чубъ завѣтный  
Вѣтется черною космой“.  
Но, склоняясь на мягкий берегъ,  
Каспій дремлетъ и молчитъ;  
И, волнуясь, буйный Терекъ  
Старцу снова говорить:  
„Слушай, дядя: даръ безцѣнныи!  
Чтобъ другое всѣ дары!

Но его отъ всей вселенной  
Я таилъ до сей поры.  
Я примчу къ тебѣ съ волнами  
Трупъ казачки молодой,  
Съ томно-блѣдными плечами,  
Съ свѣтло-русою косой.  
Грустенъ ликъ ея туманный,  
Взоръ такъ тихо, сладко спить,  
А на грудь изъ малой раны  
Струйка алая бѣжитъ.  
По красотѣ-молодицѣ  
Не тоскуетъ надъ рѣкой  
Лишь одинъ во всей станицѣ  
Казачина гребенской.

„Осѣдалъ онъ вороного,  
И въ горахъ, въ ночномъ бою,  
На кинжалъ чеченца злого  
Сложить голову свою“.  
Замолчалъ потокъ сердитый,  
И надъ нимъ, какъ снѣгъ бѣла,  
Голова съ косой размытой,  
Колыхаясь, всплыла.  
И стариkъ во блескѣ власти  
Всталъ, могучій какъ гроза,  
И одѣлись влагой страсти  
Темно-синіе глаза.  
Онъ взыгралъ, веселъя полный,  
И въ объятія свои  
Набѣгающія волны  
Принялъ съ ропотомъ любви.

---

### Воздушный корабль.

Изъ Зейдлица.

По синимъ волнамъ океана,  
Лишь звѣзды блеснутъ въ небесахъ,  
Корабль одинокій несется,  
Несется на всѣхъ парусахъ.  
Не гнутся высокія мачты,  
На нихъ флюгера не шумятъ,  
И, молча, въ открытые люки  
Чугунныя пушки глядятъ.  
Не слышно изъ немъ капитана,  
Не видно матросовъ на немъ;  
Но скалы и тайныя мели,  
И бури ему нипочемъ.

Есть островъ на томъ океанѣ—  
Пустынныи и мрачныи гранитъ;  
На островѣ томъ есть могила,  
А въ ней императоръ зарытъ.  
Зарытъ онъ безъ почестей бранныхъ  
Врагами въ сыпучій песокъ;  
Лежитъ на немъ камень тяжелый,  
Чтобъ встать онъ изъ гроба не могъ.  
И въ часъ его грустной кончины,  
Въ полночь, какъ совершается годъ,  
Къ высокому берегу тихо  
Воздушный корабль пристаетъ.  
Изъ гроба тогда императоръ,  
Очиuvшись, является вдругъ;  
На немъ треугольная шляпа  
И сѣрый походный сюртукъ.  
Скрестивши могучія руки,  
Главу опустивши на грудь,  
Идеть и къ рулю онъ садится,  
И быстро пускается въ путь.  
Несется онъ къ Франціи милой,  
Гдѣ славу оставилъ и тронъ,  
Оставилъ наследника-сына  
И старую гвардію онъ.  
И только-что землю родную  
Завидить во мракѣ ночномъ,  
Опять его сердце трепещетъ  
И очи пылаютъ огнемъ.  
На берегъ большими шагами  
Онъ смѣло и прямо идетъ,  
Соратниковъ громко онъ кличетъ  
И маршаловъ грозно зоветъ.  
Но спать усачи-grenадеры—  
Въ равнинѣ, гдѣ Эльба шумитъ,  
Подъ снѣгомъ холодной Россіи,  
Подъ знайнымъ пескомъ пирамидъ.  
И маршалы зова не слышать:  
Иные погибли въ бою,  
Другіе ему измѣнили  
И продали шпагу свою.  
И, топнувъ о землю ногою,  
Сердито онъ взадъ и впередъ  
По тихому берегу ходить,  
И снова онъ громко зоветъ:  
Зоветъ онъ любезнаго сына—  
Опору въ превратной судьбѣ;  
Ему обѣщаетъ полміра,  
А Францію только—себѣ.  
Но въ цѣлѣ надежды и силы  
Угасъ его царственныи сынъ,

И долго, его поджидал,  
Стоитъ императоръ одинъ.  
Стоитъ онъ и тяжко вздыхаетъ,  
Пока озарится востокъ,  
И капаютъ горькія слезы  
Изъ глазъ на холодный песокъ.  
Потомъ на корабль свой волшебный,  
Главу опустивши на грудь,  
Идетъ и, махнувши рукою,  
Въ обратный пускается путь.

### С п о р ь.

Какъ-то разъ передъ толпою  
Соплеменныхъ горъ  
У Казбека съ Шатъ-городу  
Былъ великий споръ.  
"Берегись!" сказалъ Казбеку  
Сѣдовласый Шатъ:  
"Покорился человѣку  
Ты недаромъ, братъ!  
Онъ настроить дымныхъ келій  
По уступамъ горъ;  
Въ глубинѣ твоихъ ущелій  
Загремитъ топоръ;  
И желѣзная лопата  
Въ каменную грудь,  
Добывая мѣдь и золото,  
Врѣжеть страшный путь.  
"Ужъ проходять караваны  
Черезъ тѣ скалы,  
Гдѣ носились лишь туманы,  
Да цари-орлы.  
Люди хитры! Хоть и труденъ  
Первый былъ скакочъ—  
Берегися! многолюденъ  
И могучъ Востокъ!"  
— "Не боюся я Востока!"  
Отвѣчалъ Казбекъ:  
"Родъ людской тамъ спить глубоко  
Ужъ девятый вѣкъ.  
Посмотри: въ тѣни чинары,  
Пѣну сладкихъ винъ  
На узорные шальвары  
Сонный льетъ грузинъ;  
И, склоняясь въ дыму кальяна  
На цвѣтной диванъ,  
У жемчужнаго фонтана  
Дремлетъ Тегеранъ.

Вотъ у ногъ Ерусалима,  
Богомъ сожжена,  
Безглагольна, недвижима  
Мертвая страна.  
Дальше: вѣчно чуждый тѣни,  
Моетъ желтый Нилъ  
Раскаленные ступени  
Царственныхъ могилъ.  
Бедуинъ забылъ наѣзы  
Для цвѣтныхъ шатровъ,  
И поетъ, считая звѣзды,  
Про дѣла отцовъ.  
Все, что вѣдѣсь доступно оку,  
Спить, покой цвѣния.  
Нѣть! не дряхому Востоку  
Покорить меня!—  
"Не хвались еще заранѣ!"  
Молвилъ старый Шатъ:  
"Вотъ на сѣверѣ въ туманѣ  
Что-то видно, братъ!"  
Тайно былъ Казбекъ огромный  
Вѣстью той смущенъ;  
И, смутясь, на сѣверъ темный  
Взоры кинулъ онъ;  
И туда въ недоумѣнѣ  
Смотрѣть полный думъ:  
Видѣть странное движенье,  
Слышить звонъ и шумъ.  
Отъ Урала до Дуная,  
До большой рѣки,  
Колыхаясь и сверкая,  
Движутся полки;  
Вѣютъ бѣлые сultаны,  
Какъ степной ковыль;  
Мчатся пестрые уланы,  
Подымая пыль;  
Боевые батальоны  
Тѣсно въ рядъ идутъ,  
Впереди несутъ знамена,  
Въ барабаны бьютъ;  
Батареи мѣднымъ строемъ  
Скачутъ и гремятъ,  
И, дымясь, какъ передъ боемъ,  
Фитили горятъ.  
И, испытанный трудами  
Бури боевой,  
Ихъ ведеть, грозя очами,  
Генераль сѣдой.  
Идутъ всѣ полки, могучи,  
Шумны какъ потокъ,

Страшно-мiserии, какъ тутъ.  
Прямо на востокъ.  
И, помнътъ ахънътъ гудъ.  
Полный черныхъ санокъ.  
Стать считать Красокъ гумены.  
И не счѣль волчка.  
Грустныи воротъ изъ изгубъ.  
Шлемъ гудъ тихъ.  
Шапку изъ сини валимътъ—  
И волкъ зевакъ.

## Porter's Five Forces Analysis

100

Я къ вами искамъ грамъ.  
Не знаю вами и для чьихъ.  
Я потерпѣть ужъ эту пытку.  
И чѣмъ скажу вами? — Искамъ...  
Что можно вѣстъ? — Вѣдь Боже грамъ!  
Вы это знаете вѣже...  
И вами, конечно, все разошлись.  
И знать вами также вѣже грамъ...  
Гдѣ я, чтобъ я, въ вами вѣже?  
Душою ми другъ душу чужакъ...  
Да вѣдь ли есть разъгнѣвъ грамъ?  
Странцы прошагаютъ чужакъ.  
Иль по коридору разбѣгаютъ.  
Теперь останусять чужакъ.  
Разуѣриться я во всемъ.  
Сѣмъ же сердцемъ искамъ грамъ.  
Передъ собою стоять вѣже.  
Добро бѣ, еще жарочитъ вѣже...  
Да и притомъ, что вѣже вѣже.  
Тому, чѣмъ ужъ болѣе вѣже...  
Безумно жадно любыи вѣже.  
Въ вѣже вѣже вѣдь пытка вѣже...  
Вѣдь пытка вѣже вѣдь вѣже...

Но я есть можно—да и тутъ.  
Я есть пытъ забыть ее и тутъ.  
Во-первыхъ, потому чо' макъ.  
И долго, долго есть любить.  
Потомъ страданье и тутъ.  
За днъ блаженства жалеть,  
Потомъ въ раскаянъи тутъ.  
Влечъи съѣхъ пытъ тутъ.  
И размноженъи холода.  
Убий восторгъ живъ тутъ.

Шальная пуля... славный звукъ...  
Вотъ крикъ—и снова все вокругъ  
Затихло... Но жара ужъ спала,  
Ведутъ коней на водопой,  
Зашевелилась пѣхота;  
Вотъ проскакалъ одинъ, другой...  
Шумъ, говоръ... „Гдѣ вторая рота?“  
„Что? Вьючить?“— „Что же кали-  
танъ?“  
„Повозки выдвигайте живо!“  
„Савельичъ!...“ — Ой ли? — „Дай  
огниво!“  
Подъемъ ударили барабанъ;  
Гудить музыка полковая;  
Между колоннами вѣжая,  
Звенять орудья; генералъ  
Впередъ со свитой поскакалъ;  
Разсыпались въ широкомъ полѣ,  
Какъ пчелы, съ гикомъ казаки;  
Ужъ показались значки  
Тамъ, на опушкѣ—два и болѣ.  
А вотъ въ чалмѣ одинъ мюридъ  
Въ черкесскѣ красной ѿдѣть важно,  
Конь свѣтло-срѣдній весь кипитъ;  
Онъ машетъ, кличетъ... Гдѣ отваж-  
ный?  
Кто выйдетъ съ нимъ на смертный  
бой?...  
Сейчасъ... Смотрите: въ шапкѣ чер-  
ной  
Казакъ пустился гребенской,  
Винтовку выхватилъ проворно,  
Ужъ близко... выстрѣль... легкій  
дымъ...  
„Эй вы, станичники, за нимъ!...  
„Что? раненъ?—Ничего, беадѣлка!..“  
И завязалась перестрѣлка...  
Но въ этихъ сшибкахъ удалихъ  
Забавы много, толку мало;  
Прохладнымъ вечеромъ, бывало,  
Мы любовались на нихъ  
Безъ кровожаднаго волненія,  
Какъ на трагическій балетъ;  
Зато видѣлъ я представленья,  
Какихъ у насть на сценѣ нѣтъ...  
Разъ—это было подъ Гехами—  
Мы проходили тѣмный лѣсъ.  
Огнемъ дыша, пылалъ надъ нами  
Лазурно-яркій сводъ небесъ.  
Намъ былъ обѣщанъ бой жестокій.

Изъ горъ Ичкеріи далекой  
Уже въ Чечню на бранный ѿвъ  
Толпы стекались удальцовъ.  
Надъ допотопными лѣсами  
Мелькали маяки кругомъ  
И дымъ ихъ то вился столбомъ,  
То разстился облаками.  
И оживились лѣса,  
Скликались дико голоса  
Подъ ихъ зелеными шатрами...  
Едва лишь выбрался обозъ  
Въ поляну—дѣло началось,  
Чу! въ арьергардѣ орудье просить;  
Вотъ ружья изъ кустовъ выносятъ;  
Вотъ ташутъ за ноги людей  
И кличутъ громко лекарей...  
И вотъ изъ лѣса, изъ опушки,  
Вдругъ съ гикомъ кинулись на  
пушки...  
И градомъ пуль съ вершинъ деревъ  
Отрядъ осыпанъ... Впереди же  
Все тихо... Тамъ, между кустовъ  
Бѣжалъ потокъ; подходимъ ближе;  
Пустили нѣсколько гранатъ;  
Еще подвинулись... молчать...  
Но вотъ подъ бревнами завала  
Ружье какъ будто заблистало,  
Потомъ мелькнуло шапки двѣ—  
И вновь все спрятались въ травѣ.  
То было грозное молчанье...  
Недолго длился оно,  
Но въ этомъ страшномъ ожиданіѣ  
Забилось сердце не одно...  
Вдругъ залпъ... глядимъ: лежать  
рядами.  
Что нужды? Здѣшніе полки  
Народъ испытанный... Въ штыки!  
Дружнѣ!—раздалось за нами.  
Кровь загорѣлася въ груди!  
Всѣ офицеры впереди...  
Верхомъ помчался на завалы,  
Кто не успѣлъ спрыгнуть съ коня...  
Ура!—и смолкло... Вонъ кинжалы...  
Въ приклады... и пошла рѣзня.  
И два часа въ струяхъ потока  
Бой длился; рѣзались жестоко,  
Какъ звѣри, молча, съ грудью грудь.  
Ручей тѣлами запрудили.  
Хотѣлъ воды я засечь—  
И зной, и битва утомили

Меня—но мутная волна  
Была тепла, была красна...  
На берегу, подъ тѣнью дуба,  
Пройдя заваловъ первый рядъ,  
Стоялъ кружокъ. Одинъ солдатъ  
Былъ на колѣняхъ; мрачно, грубо  
Казалось выраженье лицъ,  
Но слезы капали съ рѣсницъ,  
Покрытыхъ пылью. На шинели,  
Спиною къ дереву, лежалъ  
Ихъ капитанъ... Онъ умиралъ:  
Въ груди его едва чернѣли  
Двѣ ранки: кровь его чуть-чуть  
Сочилась; но высоко грудь  
И трудно подымалась; взоры  
Бродили страшно; онъ шепталъ:  
„Спасите, братцы!.. Тащутъ въ горы!...  
Постойте!.. Гдѣ же генералъ?...  
Не слышу...“ Долго онъ стоналъ,  
Но все слабѣй, и понемногу  
Затихъ—и душу отдалъ Богу.  
На ружья опершись, кругомъ  
Стояли усачи сѣдые  
И тихо плакали... потому  
Его останки боевые  
Накрыли бережно плащомъ  
И понесли... Тоской томимый,  
Имъ вслѣдъ смотрѣлъ я, недвижимый.  
Уже затихло все; тѣла  
Стянули въ кучу; кровь текла  
Струею дымной по каменьямъ;  
Ея тяжелымъ испаренiemъ  
Былъ полонъ воздухъ. Генералъ  
Сидѣлъ въ тѣни на барабанѣ  
И донесенія принималъ.  
Окрестный лѣсъ, какъ бы въ ту-  
манѣ,  
Синѣлъ въ дыму пороховомъ.  
А тамъ вдали—грядой нестройной,  
Но вѣчно гордой и спокойной,  
Въ своемъ нарядѣ снѣговомъ  
Тянулись горы—и Казбекъ  
Сверкалъ главой островонечной.  
И съ грустью тайной и сердечной  
Я думалъ: жалкій человѣкъ!  
Чего онъ хочетъ?... Небо ясно;  
Подъ небомъ мѣста многое всѣмъ:  
Но безпрестанно и напрасно  
Одинъ враждуетъ онъ... Зачѣмъ?...  
Галубъ прервалъ мое мечтанье,

Ударивъ по плечу—онъ былъ  
Кунацъ мой—я его спросилъ,  
Какъ мѣсто этому названье?  
Онъ отвѣчалъ мнѣ: „Валерикъ—  
А перевѣстъ на нашъ языкъ,  
Такъ будетъ—рѣчка смерти;  
вѣрно,  
Дано старинными людьми!“  
— А сколько ихъ дрались, примѣрно,  
Сегодня?— „Тысячу до семи“.  
— А много горцы потеряли?  
„Какъ знатъ! зачѣмъ вы не счи-  
тали?“  
— Да, будетъ, кто-то тутъ сказалъ,  
Имъ въ память этотъ день кро-  
вавый!—  
Чеченецъ посмотрѣлъ лукаво  
И головою покачалъ...  
Но я боюся вамъ наскучить.  
Въ забавахъ свѣта вамъ смѣши  
Тревоги дикія войны;  
Свой умъ вы не привыкли мучить  
Тяжелой думой о концѣ;  
На вашемъ молодомъ лицѣ  
Слѣдовъ заботы и печали  
Не отыскать, и вы едва ли  
Вблизы когда-нибудь видали,  
Какъ умираютъ... Дай вамъ Богъ  
И не видать! Иныхъ тревогъ  
Довольно есть. Въ самозабвѣніи  
Но лучше ль кончить жизни путь,  
И безпробуднымъ сномъ заснуть  
Съ мечтой о близкомъ пробужденьи?  
Теперь прощайтѣ!—Если васъ  
Мой безыскусственный разсказъ  
Рзвеселить, займетъ хоть малость—  
Я буду счастливъ; а не такъ...  
Простите мнѣ его, какъ шалость,  
И тихо молвите: чудакъ!

Измаиль-Бей.  
ВОСТОЧНАЯ ПОВѢСТЬ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.  
I.

Привѣтствуя тебя, Кавказъ сѣдой!  
Твоимъ горамъ я путникъ не чужой;  
Онъ меня въ младенчествѣ носили

И къ небесамъ пустыни пріучили.  
И долго миѣ мечтались съ этихъ поръ  
Все небо юга да утесы горъ.  
Прекрасенъ ты, суроый край свободы,  
И вы, престолы вѣчные природы,  
Когда, какъ дымъ синія, облака  
Подъ вечеръ къ вамъ летать издалека,  
Надъ вами вьются, шепчутся какъ  
тѣни,  
Какъ надъ главой огромныхъ при-  
видѣній  
Колеблемыя перья—и луна  
По синимъ сводамъ странствуетъ одна.

II.

Какъ я любилъ, Кавказъ мой вели-  
чавый,  
Твоихъ сыновъ воинственные нравы,  
Твоихъ небесъ прозрачную лазурь  
И чудный вѣтъ мгновенныхъ, громкихъ  
бурь,  
Когда пещеры и холмы крутые  
Какъ стражи откликаются ночные;  
И вдругъ проглянетъ солнце, и потокъ  
Озлотится, и степной цвѣтокъ,  
Душистую головку поднимая,  
Блистаетъ, какъ цвѣты небесъ и рай..  
Въ вечерній часъ дождливыхъ облаковъ  
Я наблюдалъ разодранный покровъ:  
Лиловыя, съ багряными краями  
Одни еще грозятъ, и надъ скалами  
Волшебный замокъ, чудо древнихъ  
дней,  
Растеть въ минуту; но еще скорѣй  
Его разсѣть вѣтра дуновенье.  
Такъ прерываетъ рѣзкій звукъ цѣпей  
Преступного страдальца сновидѣніе,  
Когда онъ зритъ холмы своихъ полей...  
Межъ тѣмъ бѣлѣй, чѣмъ горы снѣговыя,  
Идутъ на западъ облака другія  
И, проводивши день, тѣсняся въ рядъ,  
Другъ черезъ друга свѣтлыя глядятъ  
Такъ весело, такъ пышно и безопасно,  
Какъ будто жить и нравиться имъ  
вѣчно!...

III.

И дики тѣхъ ущелій племена;  
Имъ Богъ—свобода, ихъ законъ—  
война;

Они растутъ среди разбоевъ тайныхъ,  
Жестокихъ дѣль и дѣль необычайныхъ.  
Тамъ въ колыбели пѣсни матерей  
Пугаютъ русскимъ именемъ дѣтей;  
Тамъ поразить врага не преступленье;  
Вѣрна тамъ дружба, но вѣрнѣе—мощь;  
Тамъ за добро—добро, и кровь—за  
кровь,  
И ненависть безмѣрна, какъ любовь.

Однажды въ горахъ ѿхалъ всадникъ,  
одѣтый черкесомъ. Это былъ Измаиль-бей,  
который, послѣ продолжительной жизни  
въ Россіи, возвращается въ родныя горы;  
онъ отыскиваетъ родное селеніе, но его  
нѣтъ; жители, боясь русскихъ, ушли въ  
горы.

XI.

Кто жъ этотъ путникъ? русскій?  
Нѣтъ.

На немъ чекмень, простой бешметъ,  
Чело подъ шапкою косматой;  
Ножны кинжала, пистолетъ  
Блестятъ насѣчкой небогатой;  
И перетянутъ онъ ремнемъ,  
И шапка чуть звенитъ на немъ;  
Ружье, мотаясь за плечами,  
Бѣлѣтъ въ шерстяномъ чехлѣ;  
И какъ же горца на сѣдѣ  
Не различить мнѣ съ казаками?  
Я не ошибся—онъ черкесъ.  
Но смуглый цвѣтъ почти исчезъ  
Съ его ланитъ; сѣнга и выюга  
И холодъ сѣверныхъ небесъ,  
Конечно, смыли краску юга,  
Но видно все, что онъ черкесъ.  
Густыя брови, взглядъ орлиный,  
Рѣсницы длинны и черны,  
Движенія быстры и вольны.  
Отвергнуль онъ обрядъ чужбины,  
Не сбрылъ бородки и усовъ,  
И блещетъ бѣлый рядъ зубовъ,  
Какъ брызги пѣни у бреговъ.  
Онъ, сколько могъ, привычекъ, правиль  
Своей отчизны не оставилъ...  
Но горе, горе, если онъ,  
Храня людей суроныхъ мнѣнія,  
Развратомъ, ядомъ просвѣщенія  
Въ Европѣ душной зараженъ!  
Старикъ для чувствъ и наслажденія,

Безъ съдьиы между волость,  
Зачѣмъ въ страну, гдѣ все такъ живо,  
Такъ непокойно, такъ играво,  
Онъ сердце мертвое принесъ?

### XIII.

Какъ наши юноши, онъ молодъ,  
Но хладенъ блескъ его очей;  
Поверхность темную морей  
Такъ покрываетъ ранній холодъ  
Корой ледяною своей  
До первой бури. Чувства, страсти,  
Въ очахъ навѣки дологъ вѣвъ,  
Таятся, какъ въ пещерѣ левъ,  
Глубоко въ сердцѣ, но ихъ власти  
Оно никакъ не избѣжитъ.  
Пусть будетъ это сердце камень—  
Ихъ пробужденный адскій пламень  
И камень углемъ раскалитъ.

### XVII.

Куда черкесь направилъ путь?  
Гдѣ отдохнетъ младая грудь  
И усмирится думъ волненіе?  
Черкесь не хочетъ отдохнуть:  
Ужели отдыхаетъ мщеніе?  
Ауль, гдѣ дѣтство онъ провелъ,  
Мечети, крови мирныхъ сель—  
Все уничтожилъ русскій воинъ.  
Нѣтъ, нѣтъ, не будетъ онъ спокоенъ,  
Пока изъ бѣлыхъ ихъ костей,  
Вѣкамъ грядущимъ въ поученіе,  
Онъ не воздвигнетъ мавзолей  
И такъ отмститъ за униженіе  
Любезной родины своей.  
„Я знаю васъ, онъ шепчетъ, знаю!  
И вы узнаете меня;  
Давно ужъ васъ я презираю;  
Но вашу кровь пролить желаю  
Я только съ нынѣшняго дня...“  
Онъ бѣть и дергаєтъ коня,  
И конь летить, какъ вѣтеръ степи;  
Надулись ноздри, блещетъ взоръ,  
И ужъ въ виду зубчаты цѣпи  
Кремнистыхъ безконечныхъ горъ,  
И Шать подъемлется за ними  
Съ двумя главами снѣговыми,  
И путникъ мнитъ: „недалеко:  
Въ часъ прискаку я къ нимъ легко“.

### XIX.

Но вотъ его, подобно тучѣ,  
Встрѣчаетъ крайняя гора:  
Пестрый восточного ковра  
Холмы кругомъ, все выше, кручѣ.  
Покрытый шиной до ушей,  
Здѣсь началь конь дышать вольный;  
И дѣтскихъ лѣтъ воспоминанья  
Передъ черкесомъ пронеслись,  
Въ груди проснулися желанья,  
Во взорахъ слезы родились.  
Погасла ненависть на время,  
И думъ неотразимъ бремя  
Отъ сердца, мнилось, отлегло;  
Онъ поднялъ сѣтлое чело,  
Смотрѣть и внутрени гордился,  
Что онъ черкесь, что здѣсь родился.  
Межъ скалъ незыблемыхъ, одинъ,  
Забылъ онъ жизни скоротечность,  
Онъ, въ мысляхъ міра властелинъ,  
Присвоить бы желалъ ихъ вѣчность.  
Забылъ онъ все, чтобъ испытать:  
Друзей, враговъ, тоску изгнанья  
И, какъ невѣсту въ часъ свиданья,  
Душой природу обнималъ.

Усталый путникъ находитъ пріютъ въ  
саклѣ горца.

### XXIII.

Межъ тѣмъ привѣтно въ саклѣ  
дымной  
Проѣзжій встрѣченъ старикомъ;  
Сажая гостя предъ огнемъ,  
Онъ руку жметъ гостепріимно.  
Блистаєтъ по стѣнамъ кругомъ  
Богатство горца: ружья, стрѣлы,  
Кинжалы съ набожнымъ стихомъ,  
Въ углу башлыкъ убійцы бѣлый,  
И плеть межъ буркой и сѣдломъ.  
Они заводятъ рѣчъ о волѣ,  
О прежнихъ дняхъ, о бранномъ полѣ;  
Кипитъ, кипитъ бесѣда ихъ  
И носятся въ мечтахъ живыхъ  
Они къ грядущему, былому;  
Проходитъ непримѣтно часъ—  
Они сидятъ, и въ первый разъ,  
Внимая странника разсказъ,  
Старикъ дивится молодому.

XXIV.

Онъ самъ лезгинецъ: ужъ давно  
(Такъ было небомъ суждено)  
Не зрѣть отечества. Три сына  
И дочь младая съ нимъ живутъ.  
При нихъ молчать еще кручина  
И бѣдный милъ ему приютъ.  
Когда горятъ ночные звѣзды,  
Тогда пускаются въ раззѣзы  
Его лихіе сыновья:  
Живеть добычей вся семья.  
Они повсюду страхъ приносятъ;  
Украсть, отнять—имъ все равно;  
Чихирь и медъ кинжаломъ просятъ  
И пулей платить за пшено.  
Изъ табуна ли, изъ станицы  
Любого уведутъ коня;  
Они боятся только дня,  
И ихъ владѣньямъ нѣть границы.  
Сегодня дома лишь одинъ  
Его любимый, старшій сынъ.  
Но словъ хозяина не слышить  
Пришелецъ; онъ почти не дышеть,  
Остановился быстрый взоръ,  
Какъ въ мигъ паденія метеоръ:  
Предъ нимъ, подъ видомъ дѣвы горъ,  
Созданіе земли и раю,  
Стояла пери молодая.

XXV.

И кто бъ, ее увидѣвъ, молвилъ: нѣть!  
Кто прелести небесъ иль даже сльдъ  
Небеснаго, разсѣянный лучами  
Въ улыбкѣ усть, движеньи черныхъ  
глазъ—  
Все, что такъ дружно съ первыми  
мечтами,  
Все, что встрѣчаемъ въ жизни только  
разъ—  
Не отличить отъ красоты ничтожной,  
Отъ красоты земной, нерѣдко ложной?  
И кто, кто скажетъ, совѣсть заглуши:  
Прелестный ликъ, но хладная душа!  
Когда онъ вдругъ увидитъ предъ собою  
То, что сперва почтѣ бы онъ душою  
Освобожденныхъ отъ земныхъ цѣпей,  
Слетѣвшихъ въ міръ, чтобы утѣшать  
людей.  
Пусть, подойдя, леагинку онъ узнаетъ:

Въ ея чертахъ земная жизнь играеть,  
Восточная видна въ ланитахъ кровь;  
Но только удалится образъ милый—  
Онъ станеть сомнѣваться въ томъ,  
что было,  
И заблужденью онъ повѣрить вновь.

XXVI.

Нѣжна, какъ пери молодая,  
Созданіе земли и раю;  
Мила—какъ намъ въ краю чужомъ  
Межъ звуковъ языка чужого  
Знакомый звукъ, родныхъ два слова;  
Такъ утѣшительно мила,  
Какъ древле узнику была  
На сумрачномъ окнѣ темницы  
Простая пѣсня вольной птицы,  
Стояла Зара у огня.  
Чело немножко наклоня,  
Она стояла гордо, ловко;  
Въ ея нарядѣ простота,  
Но также вкусъ. Ея головка  
Платкомъ прилежно обвита;  
Изъ-подъ него до груди нѣжной  
Двѣ косы темныя небрежно  
Бѣгутъ—ужъ, вѣрно, часъ она  
Ихъ расплетала, заплетала;  
Она поправиться желала—  
Какъ въ этомъ женщина видна!

XXIX.

Ужъ милой Зары въ саклѣ нѣть.  
Черкесъ глядитъ ей долго вслѣдъ  
И мыслить: „Нѣжное созданье!  
Едва изъ дѣтскихъ вышла лѣтъ,  
А есть ужъ слезы и желанья!  
Бесѣдѣній, свѣтлый лучъ зари  
На темной тучѣ не гори:  
На ней твой блескъ лишь помрачится.  
Ей ждать нельзя, она умчится.

XXX.

„Еще не знаешь ты, кто я.  
Утѣшись! нѣть, не мирной долѣ,  
Но битвамъ, родинѣ и волѣ  
Обречена судьба моя.  
Я бъ могъ нѣжнѣйшою любовью  
Тебя любить, но надѣй тобой

Хранитель, вѣрио, неземной;  
Рука, обрыганныя кровью,  
Должна твою ли руку жать?  
Зара влюбллась въ Измаила; но онъ  
отвергъ ея любовь такими словами:

### XXXVI.

„Не обвиняй меня такъ строго;  
Скажи, чего ты хочешь—слезъ?  
Я ихъ имѣль когда-то много:  
Ихъ міръ изъ зависти унесъ.  
Но не рѣшусь судьбы мятежной  
Я раздѣлять съ душою нѣжной;  
Свободный, рабъ иль властелинъ,  
Пускай погибну я одинъ.  
Все, что меня хоть малость любить,  
За мною вслѣдъ увлечено;  
Мое дыханье радость губить;  
Щадить—мнѣ власти не дано.  
И не простого человѣка  
(Хотя въ одѣждѣ я простой),  
Утѣшься, Зара, предъ собой  
Ты видишь брата Росламбека.  
Я въ жертву счастье долженъ прі  
нести...  
О, не жалѣй о томъ... Прости, прости!..“

Измаиль Бей находить родной народъ;  
его братъ Росламбекъ книжитъ тамъ въ го-  
рахъ.

### ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

#### IV.

У Росламбека братъ когда-то былъ;  
О немъ жалѣютъ шайки удалыхъ;  
Отцомъ въ Россію посланъ Измаиль,  
И ихъ надежду отняла Россія.  
Четырнадцати лѣтъ оставилъ онъ  
Края, гдѣ былъ воспитанъ и рожденъ,  
Чтобъ знать законы и права чужіе.  
Не подъ персидскимъ шолковымъ ков-  
ромъ  
Родился Измаиль, не пѣснью нѣжной  
Онъ усыпленъ былъ въ сумракѣ но-  
чнѣ:  
Его баюкалъ бури вой мятежный;  
Когда онъ въ первый разъ открылъ  
глаза,

Его улыбку встрѣтила грова;  
Въ пещерѣ темной—гдѣ, гонимый бра-  
томъ,  
Убійцою коварнымъ, Бей-Булатомъ,  
Его отецъ таился много лѣтъ—  
Изгнанникъ новый, онъ увидѣлъ свѣтъ.

#### V.

Какъ лишній межъ людьми, своимъ  
рожденiemъ  
Онъ душу не обрадовалъ ничью,  
И, хоть невинный, началь жизнь свою,  
Какъ многіе кончаютъ—преступле-  
ніемъ.  
Онъ материнской ласки не знавалъ.  
Не у груди—подъ буркою согрѣтый,  
Одинъ провелъ младенческія лѣта;  
И вѣтеръ колыбель его качалъ,  
И мѣсяцъ полуночи съ нимъ игралъ;  
Онъ выросъ межъ землей и небесами,  
Не зная принужденья и заботъ;  
Привыкъ онъ тучи видѣть подъ ногами,  
А надъ собой одинъ лазурный сводъ,  
И лишь орлы, да скалы величавы  
Съ нимъ раздѣляли юныя забавы.  
Онъ для великихъ созданъ былъ стра-  
стей,  
Онъ обладалъ пылающей душою,  
И бури юга отразились въ ней  
Со всей своей ужасной красотою...  
Но къ русскимъ посланъ онъ своимъ  
отцомъ,  
И съ той поры извѣстъя нѣтъ о немъ...

Неожиданное появленіе забытаго Из-  
маила вызываетъ восторгъ; на первыхъ  
порахъ всѣ позабыли даже Росламбека и  
занялись однимъ Измаиломъ.

#### XI.

И по долинѣ восклиданья  
Восторга дикаго гремятъ;  
Благословляя часть свиданья,  
Вокругъ Измаила старъ и младъ  
Тѣснятся, шепчутъ. Поднимая  
На плечи маленькихъ ребята,  
Ихъ жены смуглыя, зѣвавы,  
На князя новаго глядятъ.  
Гдѣ жъ Росламбекъ, кумиръ народа?  
Гдѣ тотъ, кѣмъ славится свобода?—

Одинъ, забыть, передъ огнемъ,  
Поодаль, съ пасмурнымъ челомъ,  
Стоялъ онъ, жертва злой досады.  
Давно ли привлекалъ онъ самъ  
Всѣ помышленія, всѣ взгляды?  
Давно ли по его слѣдамъ  
Вся эта чернь, шумя, бѣжала?  
Давно ль, дивясь его дѣламъ,  
Ихъ мать ребенку повторяла?  
И что же вышло?—Измаиль,  
Враговъ отечества служитель,  
Всю эту славу погубилъ  
Своимъ прѣздомъ—и властитель,  
Вчерашній гордый полубогъ,  
Вниманья черни безотлковой  
Къ себѣ привлечь уже не могъ.  
Ей все пѣнительно, что ново.  
„Простынетъ!“ мыслить Росламбекъ.  
Но если злобный человѣкъ  
Узналъ ужъ зависть, то не можетъ  
Совсѣмъ забыть ее никакъ:  
Ея насмѣшилый призракъ  
И днемъ и ночью духъ тревожитъ.

## XII.

Война!.. знакомый людямъ звукъ  
Съ тѣхъ поръ, какъ братъ отъ братъ-  
нихъ руѣзъ  
Предъ алтаремъ погибъ невинно...  
Гремя, черезъ Кавказъ пустынныи  
Промчался кликъ: война! война!  
И пробудились племена;  
На смерть идутъ они охотно.  
Умолкъ аулъ, гдѣ беззаботно  
Недавно слушали пѣвца;  
Оружья звонъ, движенье стана—  
Вотъ нынѣ пѣсни молодца,  
Вотъ удовольствія байрана!  
„Смотри, какъ всякий биться радъ  
За дѣло чести и свободы!..  
Такъ точно было въ наши годы,  
Когда настъ вель Ахметъ-Булатъ!“  
Съ улыбкой гордою шептали  
Между собою старики,  
Когда дорогой наблюдали  
Отважныхъ юношей полки.  
Пора! кипятъ они досадой,  
Что русскихъ нѣтъ: имъ крови надо!

Росламбекъ совѣтуетъ врасплохъ на-  
пастъ на русскихъ.

## XV.

Согласны всѣ на подвигъ ратный,  
Но не согласенье Измаиль.  
Взмахнулъ онъ шашкою булатной  
И шумно съ мѣста онъ вскочилъ;  
Окинулъ вмигъ летучимъ взглядомъ  
Онъ узденей, сидѣвшихъ рядомъ,  
И, опустивши свой булатъ,  
Такъ отвѣчаетъ брату братъ:  
„Я не разбойникъ потаенный;  
Я видѣть, видѣть кровь люблю;  
Хочу, чтобы мною пораженный  
Зналъ руку грозную мою!  
Какъ ты, я русскихъ ненавижу,  
И даже болѣе, чѣмъ ты;  
Но подъ покровомъ темноты  
Я чести князя не унижу!  
Иную месть родной странѣ,  
Иную славу надо мнѣ!..“  
И поединка ожидали  
Межъ братьевъ молча уздени;  
Не смѣли тронуться они.  
Онъ вышелъ—всѣ еще молчали...

## XVI.

Ужасна ты, гора Шайтанъ,  
Пустыни старый великанъ;  
Тебя злой духъ, гласитъ преданье,  
Построилъ дерзостной рукой,  
Чтобъ хоть на мигъ свое изгнанье  
Забыть межъ небомъ и землей.  
Здѣсь, три стольства очарованъ,  
Онъ тяжкой цѣпью былъ прикованъ,  
Когда, надменный, съ новыхъ скаль  
Стрѣлой Пророку угрожалъ.  
Какъ буркой, ельникомъ покрыта,  
Сосѣднихъ горъ она чернѣй.  
Тропинка желтая прорыта.  
Слезой отчаянья по ней;  
Она ни мохомъ, ни кустами  
Не зарастаетъ никогда;  
Пестрѣя чудными слѣдами,  
Она ведеть Богъ-вѣсть куда.  
Олень съ вѣтвистыми рогами,  
Межъ высокими цѣтами,  
Одѣтый хмелемъ и плющомъ.  
Лежитъ, полуобъятый сномъ,  
И вдругъ знакомый лай онъ слышитъ

И чуетъ близкаго врага;  
Поднявши медленно рога,  
Минуту свѣжестью подышать,  
Росу съ могучихъ плечъ страхнеть,  
И вдругъ однимъ прыжкомъ махнетъ  
Черезъ утесь—и вотъ онъ мчится,  
Терновъ ключихъ не боится  
И хмель коварный грудью рветъ—  
Но, вольный путь пересѣкая,  
Предъ нимъ троинка роковая...  
Никѣмъ незримая рука  
Царя лѣсовъ останавливаетъ,  
И онъ, какъ гибель ни близка,  
Свой прежній путь не продолжаетъ...

### XVII.

Кто жъ подъ ужасною горой  
Зажегъ огонь сторожевой?  
Треща, краснѣя и сверкая,  
Кусты вокругъ онъ озарилъ.  
На камень голову склоняя,  
Лежитъ поодаль Измаилъ.  
Его приверженцы хотѣли  
Идти за нимъ—но не посмѣли.

### XVIII.

Вотъ что ему родной готовилъ край!  
Сбылись мечты: увидѣлъ онъ свой рай,  
Гдѣ міръ такъ юнъ, природа такъ  
богата;  
Но люди, люди—что природа имъ?  
Едва успѣлъ обнять изгнанніе брата,  
Ужъ клевета и зависть—все надѣлъ  
нимъ!

Друзей улыбка, иѣжное свиданье,  
За что бѣ другой Творца благодарилъ,  
Все то ему дается въ наказанье...  
Но для терпѣнья лѣ созданъ Измаилъ?  
Бываютъ люди: чувства—имъ стра-  
данья,  
Причуда злой судьбы—ихъ бытіе;  
Чтобъ самовластье показать свое,  
Она порой кидаетъ ихъ межъ нами.  
Такъ, древле, въ море кинулъ царь  
алмазъ:

Но горный камень въ свой урочныи  
часъ  
Ему обратно отданъ былъ волнами...  
И дѣтямъ рока мѣста въ мірѣ нѣть;

Они его пугаютъ жизнью новой,  
Они блеснутъ—и сладится ихъ слѣдъ,  
Какъ въ темной тучѣ слѣдъ стрѣлы  
громовой.  
Толпа дивится часто ихъ уму,  
Но чаще обвиняетъ, потому  
Что въ морѣ бѣдъ, какъ вихри ихъ  
ни носятъ,  
Они пособій отъ рабовъ не просятъ;  
Хотѣть ихъ превзойти въ добрѣ и злѣ,  
И власти знаѣтъ на гордомъ ихъ челѣ.

### XIX.

„Бесмысленный! зачѣмъ отвергнулъ  
ты  
Слова любви, моленья красоты?  
Зачѣмъ, когда такъ долго съ ней сра-  
жался,  
Своей судьбы ты дѣтски испугался?  
Все прежніе, незнамѣй молвой,  
Ты бѣ могъ забыть близъ Зары моло-  
дой,  
Забыть людей близъ ангела въ пу-  
стынѣ,  
Ты бѣ могъ любить, но не хотѣль—  
и нынѣ

Картины счастья живо предъ тобой  
Проходятъ укоряющей толпой.  
Ты жмешь ей руку; грудь ея и плечи  
Цѣлуюшь въ упоеніи; ласки, рѣчи,  
Исполненные счастья и любви,  
Ты чувствуешь, ты слышишь; образъ  
милый,  
Волшебный взоръ—все предъ тобой,  
какъ было  
Еще недавно; всѣ мечты твои  
Такъ вѣроятны, что душа боится,  
Не вѣря имъ, вторично ошибиться...  
А чѣмъ ты это счастье замѣнилъ?  
Передъ огнемъ такъ думалъ Измаилъ.  
Вдругъ выстрѣль, два, и много: онъ  
вскочилъ.  
И слушаетъ... но все утихло снова.  
И говоритъ онъ: „Это сонъ больного!“

### XX.

Души волненіемъ утомленъ,  
Опять на землю князь ложится;  
Трещитъ огонь и дымъ клубится...

И что же? Призракъ видить онъ:  
Передъ огнемъ стоитъ спокоенъ,  
На саблю опершись рукой,  
Въ фуражкѣ бѣлой, русскій воинъ,  
Печальный, блѣдный и худой.  
Спросить хотѣлось Измаилу:  
Зачѣмъ оставилъ онъ могилу?  
И свѣтъ дрожащаго огня,  
Упавъ на смуглыя ланиты,  
Черкесу придалъ видъ сердитый.  
— Чего ты хочешь отъ меня?  
„Гостепріимства и защиты“.  
Пришелъ безстрашно отвѣчалъ.  
„Свой путь въ горахъ я потерялъ,  
Черкесы вслѣдъ за мной спѣшили  
И казаковъ моихъ убили,  
И вѣрный конь подъ мною палъ.  
Спасти, убить врага ночнова  
Равно ты можешь. Не боюсь  
Я смерти: грудь моя готова.  
Твоей я чести предаюсь!“  
— Ты правъ: на честь мою надѣйся!  
Вотъ мой огонь—садись и грѣйся.

### XXI.

Тиха, прозрачна ночь была;  
Свѣтила на небѣ блистали,  
Луна за облакомъ спала,  
Но люди ей не подражали.  
Передъ огнемъ враги сидѣть,  
Хранять молчанье и не спать.  
Черты пришельца возбуждали  
У князя новыя мечты:  
Онъ ему напоминали  
Давно знакомыя черты.  
То не игра воображенія!  
Онъ долженъ разрѣшить сомнѣнія...  
И такъ пришельцу говорилъ  
Нетерпѣливый Измаиль:  
— Ты молодъ, вижу я. За славой  
Привыкнуть гнаться, ты забылъ,  
Что славы нѣтъ въ войнѣ кровавой  
Съ необразованной толпой.  
За что завистливой рукой  
Вы возмутили нашу долю?  
За то, что бѣдны мы, и волю,  
И степь свою не отдадимъ  
За злато роскоши нарядной;  
За то, что мы боготворимъ,

Что презираете вы хладно!  
Не бойся, говори смѣлѣй:  
Зачѣмъ ты насъ возненавидѣлъ,  
Какою грубостью своей  
Простой народъ тебя обидѣлъ?

### XXII.

„Ты ошибаешься, черкесъ!“  
Съ улыбкой русскій отвѣчаетъ.  
„Повѣрь: меня, какъ васъ, плѣняетъ  
И водопадъ, и темный лѣсъ;  
Съ восторгомъ ваши лыды я вижу,  
Встрѣчаю пышную зарю,  
И ваше племя я люблю;  
Но одного я ненавижу:  
Черкесъ онъ родомъ, не душой,  
Ни въ чемъ, ни въ чемъ не схожъ съ  
тобой—  
Себѣ, иль князю Измаилу  
Клялся я здѣсь найти могилу...  
Къ чому опять ты мрачный взоръ  
Мохнатой шапкой закрываешь?  
Твое молчанье мнѣ укоръ;  
Но выслушай, ты все узнаешь,  
И самъ досадой запылаешь...

### XXIII.

„Ты знаешь, вѣрно, что служилъ  
Въ россійскомъ войскѣ Измаиль,  
Но, недовольный между нами,  
Родными бредилъ онъ полями,  
И все черкесъ въ немъ видѣнъ былъ.  
Въ пирахъ и битвахъ отличался  
Онъ передъ всѣми; томный взглядъ  
Восточной нѣгой отзывался:  
Для нашихъ женщинъ въ немъ былъ  
ядъ!  
Воспоминивъ воображеніе,  
Повѣривъ онъ безъ труда,  
И за проступокъ—наслажденіе  
Не почиталъ онъ никогда;  
Не знаю, было то превѣрѣніе  
Къ законамъ стороны чужой,  
Или испорченныя чувства...  
Любовью женщинъ, ихъ тоской  
Онъ веселился какъ игрой;  
Но избѣжать его искусства  
Не удаляся ни одной.

Измаиль, между прочимъ, обольстилъ  
невѣсту этого русскаго, и онъ явился ему  
мстить, Измаиль выслушалъ разсказъ  
гостя и на прощанье сказалъ ему.

### XXXI.

„Прощай, ты можешь безопасно  
Теперь идти въ шатры свои.  
Но, если вѣришь мнѣ, напрасно  
Ты хочешь потопить въ крови  
Свою печаль! Страшись; быть можетъ,  
Раскаяннѣе прибавиши къ ней.  
Болѣзни этой не поможетъ  
Ни кровь врага, ни рѣчъ друзей!  
Напрасно здѣсь, въ краю далекомъ,  
Ты губиши прелестъ юныхъ дней.  
Нѣть! не достать враждѣ твоей  
Главы, постигнутой ужъ рокомъ!  
Онъ палачамъ судей земныхъ  
Не уступаетъ жертвъ своихъ!  
Твоя бѣ рука не устрашила  
Того, кто борется съ судьбой:  
Ты худо знаешь Измаила;  
Смотри жъ: онъ здѣсь передъ тобой!“  
И съ видомъ гордаго презрѣнья  
Отвѣта князь не ожидалъ;  
Онъ скрылся межъ уступовъ скалъ...  
И долго русскій, безъ движенья,  
Одинъ, какъ вкопанный, стоялъ.

Зара, влюбленная въ Измаила, перебѣгавшая въ мужской костюмъ, следила, неизвестная, за Измаиломъ подъ именемъ Селима.

### ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

#### III.

Въ аулѣ дальнемъ Росламбекъ  
угрюмый

Сокрылся вновь, не ужасомъ обѣять,  
Но у него коварны есть думы—  
Имъ помѣшать теперь не можетъ братъ.  
Гдѣ жъ Измаиль?—Безвѣстными го-

рами

Блуждаетъ онъ, дерется съ казаками  
И, заманивъ толпы ихъ за собой,  
Пустыню усыпаетъ ихъ костями,  
И манить новыхъ по дорогѣ той.

За нимъ устали русскіе гоняться,  
На крѣпости природныи взбираться;  
Но отдохнуть черкесы не даютъ,  
То скроются, то снова нападутъ;  
Они—какъ тѣнѣ, какъ дымное видѣннѣе:  
И далеко и близко въ то же мгновеніе.

### IV.

Но въ бурякѣ битвѣ не думалъ  
Измаиль  
Сыскать самозабвенья и покоя.  
Не за отчизну, за друзей онъ мстилъ,  
И не пѣннялся именемъ героя;  
Онъ вѣдалъ цѣну почестей и словъ,  
Изобрѣтенныхъ только для глупцовъ.  
Недолгій жаръ погасѣ; душой усталый,  
Его бы не желалъ онъ воскресить:  
И не родной аулъ—родныи скалы  
Рѣшился онъ отъ русскихъ защитить.

### VI.

Одинъ... такъ точно—Измаиль.  
Безвѣстной думой угнетаемъ,  
Онъ солнце тусклое слѣдилъ,  
Какъ мы нерѣдко провожаемъ  
Гостей докучливыхъ; на немъ  
Черкесскій панцирь и шеломъ,  
И пятна крови омрачали  
Мѣстами блескъ военной стали.  
Младую голову Селимъ  
Вождю склоняется на колѣни;  
Онъ всюду слѣдуетъ за нимъ,  
Хранительной подобно тѣнѣ:  
Никто ни ропота, ни пени  
Не слышалъ на его устахъ...  
Боится онъ, или устанетъ,  
На Измаила только взглянетъ—  
И весель трудъ ему и страхъ.

Подслушавъ любовный бредъ спящаго Селима, Измаиль рѣшилъ, что этоѣ юноша въ кого-то влюбленъ.

### X.

“ Не знаю... но въ другихъ онъ чувствъ  
Судить отвѣкъ ужъ по своимъ.

Не разъ, лицою искусства,  
Слезой и сердцемъ ледянымъ,  
Когда обмановъ самъ чуждался,  
Обмануть былъ онъ—и боялся  
Онъ вѣрить только потому,  
Что вѣрилъ нѣкогда всему...  
И презиралъ онъ этотъ міръничтож-  
ний,  
Гдѣ жизнь—измѣнъ взаимныхъ вѣч-  
ный рядъ;  
Гдѣ радость и печаль—все призракъ  
ложный;  
Гдѣ память о добрѣ и злѣ—все ядъ;  
Гдѣ льстить намъ зло, но болѣе тре-  
вожить;  
Гдѣ сердце утѣшать добро не можетъ,  
И гдѣ они, покорствуя страстиамъ,  
Раскаяніе одно приносятъ намъ...

Во время горячаго боя русскій про-  
рвался къ Измаилу, чтобы его убить.

### XXIII.

Кто этотъ русскій съ саблею въ руѣ,  
Въ фуражкѣ бѣлой? Страха онъ не  
знаетъ;  
Онъ между всѣхъ отличенъ вдалекѣ  
И казаковъ примѣромъ ободряетъ;  
Онъ ищетъ Измаила—и нашелъ,  
И вынулъ пистолетъ свой, и навель,  
И выстрѣлилъ... напрасно; обманулся  
Его свинецъ!—но выстрѣль роковой  
Услышалъ князь, и мигомъ обернулся,  
И задрожалъ: „Ты вновь передо мной!...“  
Свидѣтель Богъ: не я тому виной!...“  
Воскликнулъ онъ, и шашка зазвенѣла,  
И отдѣлясь отъ трепетнаго тѣла,  
Какъ зрѣлый плодъ отъ вѣтки молодой,  
Скатилась голова, и конь ретивый,  
Вставъ на дыбы, заржалъ, мотая гри-  
вой;  
И скоро обезглавленный сѣдокъ  
Свалился на растоптанный песокъ.  
Недолго это сердце увядало,  
И міръ ему! въ единій мигъ оно  
Любить и ненавидѣть перестало:  
Не всѣмъ такое счастье суждено.

Бой оказался неудачнымъ для Изма-  
ила; шайка его была разбита, самъ онъ  
раненъ.

### XXVI.

Онъ раненъ; кровь его течетъ,  
А онъ не чувствуетъ, не слышитъ;  
Въ опасный путь его несетъ  
Ретивый конь, храпитъ и пышетъ;  
Одинъ Селимъ не отстаетъ:  
За гриву ухватясь руками,  
Едва сидѣть онъ на сѣдлѣ:  
Боязни блѣдность на челѣ;  
Онъ очи, полны слезами,  
Порой кидается на того,  
Кто все на свѣтѣ для него,  
Кому надежду жизни милой  
Готовъ онъ въ жертву принести,  
И чье послѣднѣе „прости“  
Его бы съ жизнью разлучило.  
Будь передъ міромъ онъ злодѣй—  
Чтѣмъ для любви слова людей?  
Чтѣмъ ей небесъ опредѣленье?  
Нѣтъ, охладить любовь—гоненѣе  
Еще ни разу не могло:  
Она сама свое добро и зло.

### XXVIII.

Ужъ полдень. Измаиль слабѣетъ...  
Пылаетъ солнце высоко...  
Но есть надежда: дымъ синѣть,  
Родной аулъ недалеко...  
Тамъ, гдѣ, кустарникомъ прикрыты,  
Встаютъ красивые граниты  
Какимъ-то пасмурнымъ вѣнцомъ,  
Есть поворотъ и путь, прорытый  
Арбы скрипучимъ колесомъ.  
Оттуда кровы земляные,  
Мечеть, бѣлѣющій заборъ,  
Аргуны воды голубыя,  
Какъ подъ ногами, встрѣтить взоръ...  
Достигнуть поворотъ желанный:  
Вотъ и вѣнецъ горы туманной,  
Вотъ слышенъ рѣчки ревъ глухой;  
И бѣлый конь сильный рванулся...  
Но вдругъ переднею ногой  
Онъ оступился, спотыкнулся,  
И на скаку, между камней,  
Упалъ всей тяжестью своей.

### XXIX.

И всадникъ, кровью истекая,  
Лежалъ безъ чувства на землѣ;  
Въ устахъ недвижность гробовая  
И блѣдность муки на челѣ;  
Казалось, часъ его кончины  
Ждалъ знакъ условный въ небесахъ,  
Чтобы слетѣть и въ мигъ единый  
Изъ человѣка сдѣлать прахъ.  
Ужель степная лишь могила  
Ничтожный въ мірѣ будеть слѣдъ  
Того, чѣмъ сердце столько лѣтъ  
Мысль о ничтожествѣ томила?  
Нѣтъ! нѣтъ! вѣдь здѣсь еще Селимъ...  
Склоняясь въ отчаянны надѣй нимъ,  
Какъ въ бурю ива молодая  
Надѣй падшимъ гнется алтаремъ—  
Снималъ онъ панцырь и шеломъ;  
Но сердце къ сердцу прижимая,  
Не слышитъ жизни ни въ одномъ.  
И если бъ страшное мгновеніе  
Всѣ мысли не убило въ немъ,  
Судиться сталь бы онъ съ Творцомъ  
И проклиналь бы Провидѣніе...

### XXXI.

Очнулся блѣдный Измаилъ,  
Вздохнулъ, потомъ глаза открылъ.  
Онъ слабъ: другую ищетъ руку  
Его дрожащая рука;  
И, каждому внимая звуку,  
Онъ пѣть дыханье вѣтерка,  
И все, что близко, отдалено,  
Предъ нимъ яснѣеть постепенно...  
Гдѣ жъ другъ послѣдній, гдѣ Селимъ?  
Глядѣть... и что же передъ нимъ?  
Глядѣть... уста оледенѣли,  
И мысли зѣрнѣемъ овладѣли...  
Не могъ бы описать подобный мигъ  
Ни ангельскій, ни демонскій языки.

### XXXII.

Селимъ... и кто теперь не отгадаетъ?  
На немъ мохнатой шапки больше нѣтъ:  
Раскрылась грудь, на шелковый беш-  
метъ

Волна кудрей, чернѣя, ниспадаетъ—  
Въ печали женщина лучшій ихъ уборъ.  
Молитва стихла на устахъ... а взоръ...  
О, небо, небо! есть ли въ кущахъ рай  
Глаза, гдѣ слезы, робость и печаль  
Оставить — страшно, уничтожить—  
жала?

Скажи мнѣ: есть ли Зара молодая  
Межъ дѣвъ твоихъ, и плачетъ ли она,  
И любить ли? Но понять я молчанье!  
Не встрѣтить мнѣ подобное созданье:  
На небѣ неумѣстно подражанье,  
А Зара на землѣ была одна.

### XXXIII.

Узналъ, узналъ онъ образъ позабы-  
тый  
Среди душевныхъ бурь и бурь войны:  
Поцѣловалъ онъ нѣжныя ланиты—  
И краски жизни имъ возвращены.  
Она чело на грудь ему склонила;  
Смушаютъ Зару ласки Измаила,—  
Но сердцу какъ ума не соблазнить?  
И какъ любви стыда не побѣдить?  
Ихъ рѣчи—пламень; вѣчная пустыня  
Восторгомъ и блаженствомъ ихъ полна.  
Любовь для неба и земли святыня  
И только для людей порокъ она;  
Во всей природѣ дышать сладострастье,  
И только люди покупаютъ счастье.

Однажды Росламбекъ, завидуя славѣ  
Измаила, самъ его застрѣлилъ.

Дымъ вавилсѣ, бѣлъ,  
Вѣрна рука и вѣренъ глазъ злодѣя!  
Съ свинцомъ въ груди, простертый на  
землѣ  
Съ печатью смерти на крутомъ челѣ,  
Друзьями окружонъ, любимецъ браны  
Лежаль, наѣви нѣмъ для ихъ при-  
званій.  
Послѣдній лучъ зари еще игралъ  
На пасмурныхъ чертахъ и придавалъ  
Его лицу румянецъ; и казалось,  
Что въ немъ отъ жизни что-то оста-  
валось;  
Что мысль, которой угнетенъ былъ  
умъ,

Послѣдняя его тяжелыхъ думъ,  
Когда душа отторгнулась отъ тѣла—  
Его лица оставить не успѣла.  
Небесный судъ да будетъ надъ тобой,  
Жестокий братъ, завистникъ вѣролом-  
ный;

Ты самъ намѣтилъ выстрѣль роковой;  
Ты не нашелъ въ горахъ руки наем-  
ной...

Гремучій ключъ катился невдали.  
Къ его струямъ черкесы принесли  
Кровавый трупъ. Разстегнуть ихъ  
рукою

Чекмень, пробитый пулей роковою,  
И грудь омыть они уже хотятъ...  
Но почему ихъ омрачилъ взглядъ?  
Чего они такъ явно ужаснулись?

Зачѣмъ, вскочивъ, такъ хладно отвер-  
нулись?

Зачѣмъ? Какой-то локонъ золотой  
[Конечно, талисманъ земли чужой],  
Подъ грубою одеждой измятый,  
И бѣлый крестъ на лентѣ полосатой  
Блистали на груди у мертвѣца...

— „И кто бы отгадалъ!—джауръ про-  
клятый!

Нѣть, ты не стоилъ лучшаго конца;  
Нѣть, мусульманинъ вѣрный—Измаилу,  
Отступнику, не выроетъ могилу!..  
Того, кто презиралъ людей и рокъ,  
Кто смертію игралъ такъ своенравно,  
Лишь ты низвергнуть смѣль, святой

Пророкъ!

Пусть, не оплаканъ, онъ сгнѣтъ без-  
славно,  
Пусть кончить жизнь, какъ началъ,  
одинокъ!..“

### Хаджи-Абренъ.

Великъ, богатъ аулъ Джематъ,  
Онъ никому не платить дани;  
Его стѣна—ручной булатъ,  
Его мечеть—на полѣ браны,  
Его свободные сыны  
Въ огняхъ войны закалены;  
Дѣла ихъ громки по Кавказу,  
Въ народахъ дальнихъ и чужихъ,

И сердца русскаго ни разу  
Не миновала пуля ихъ.

Старикъ леагинъ разсказываетъ, какъ  
Бей-Булатъ укралъ его дочь, и просить  
удальцовъ помочь ему въ дѣлѣ мести.

Съ кровавымъ мщеніемъ, вотъ здѣсь  
скрытымъ,  
Безъ силъ отмстить за свой позоръ,  
Влачусь я по горамъ съ тѣхъ поръ,  
Какъ змѣй, раздавленный коньтромъ.

И нѣть покоя для меня  
Съ того мучительнаго дня...

Сюда, наѣздники Джемата!  
Откройте удаль мнѣ свою!  
Кто знаетъ князя Бей-Булаты?  
Кто привезетъ мнѣ дочь мою?“  
„Я!“ молвилъ витязь черноокій,  
Схватившись за кинжалъ широкій.  
И въ изумлѣніи нѣмомъ

Толпа раздвинулась кругомъ

„Я знаю князя. Я рѣшился!..  
Двѣ ночи здѣсь ты жди меня:  
Хаджи безстрашный не садился  
Ни разу даромъ на коня.  
Но если я не буду къ сроку,  
Тогда обѣть мой позабудь,  
И о душѣ моей Пророку

Ты помолись, пускаясь въ путь“.

Взошла заря. Изъ-за тумановъ,  
На небосклонѣ голубомъ  
Главы гранитныхъ великановъ  
Встаютъ, увѣнчанныя льдомъ.  
Въ ѿщель облако проснулось,  
Какъ парусъ розовый надулось  
И понеслось по вышинѣ.

Все дышетъ утромъ. За оврагомъ,  
По косогору ѿдѣть шагомъ  
Черкесъ на борзомъ скакунѣ.  
Еще лѣнивое свѣтило

Росы холмовъ не осушило.  
Со скаль высокихъ надъ путемъ  
Склонился дикий виноградникъ,  
Его серебрянымъ дождемъ  
Осыпанъ часто конь и всадникъ;  
Небрежно бросивъ повода,  
Красивой плеткой онъ махаетъ  
И пѣсни дѣдовъ иногда,  
Склонясь на гриву, запѣваетъ;  
И дальний отзывъ за горой  
Уныло вторитъ пѣснѣ той.

Есть поворотъ и путь, прорытый  
Арбы скрипучимъ колесомъ,  
Тамъ, гдѣ красивые граниты  
Зубчатымъ сходятся вѣнцомъ.  
Оттуда онъ, какъ подъ ногами,  
Смиренный различить аулъ,  
И пыль, поднятую стадами,  
И пробужденья первый гуль;  
И на краю крутого ската  
Отмѣтить сакю Бей-Булата,  
И, какъ орелъ, съ вершины горъ  
Вперить на крышу свѣтлый взоръ...  
Въ тѣни прохладной, у порога,  
Леэгинка юная сидѣть.

Это была Леила; влюбленная въ Бей-  
Булата, она ждѣть его пріѣзда съ нетер-  
пѣніемъ.

Легко надежда утѣшаетъ;  
Легко обманываетъ глазъ;  
Ужъ близко путникъ подъѣзжаетъ...  
Увы! она его не знаетъ  
И видѣть только въ первый разъ.  
То странникъ, въ полѣ запоздалый,  
Гостепріимный ищетъ кровь.

Хаджи-Абрекъ передаетъ ей привѣтъ  
отца и спрашиваетъ, не грустить ли она  
адѣсь, вдали отъ родины.

Леила. Къ чѣму? Мнѣ лучше, веселѣй  
Среди нагорнаго тумана.  
Вездѣ прекрасенъ Божій свѣтъ.  
Отечества для сердца нѣть!  
Оно насилия не боится:  
Какъ птичка вырвется, умчится...  
Повѣрь мнѣ—счастье только тамъ,  
Гдѣ любять нась, гдѣ вѣрять намъ!  
Хаджи-Абрекъ. Любовъ!.. Но  
знаешь ли, какое  
Блаженство на землѣ второе  
Тому, кто все похоронилъ,  
Чему онъ вѣрилъ, чтобъ любилъ?  
Блаженство то вѣрнѣй любови,  
И только хотѣть слезъ да крови...  
Въ немъ утѣшенье для людей,  
Когда умреть другое счастье;  
Въ немъ преступленій сладострастье,  
Въ немъ адъ и рай души моей.  
Оно при нась всегда, безсмѣнно;  
То мучить, то ласкаетъ нась...

Нѣть, за единый мѣшенья часть,  
Клянусь, я не взялъ бы вселенной!  
Леила. Ты блѣденъ?  
Хаджи-Абрекъ. Выслушай.

Давно

Тому назадъ, имѣлъ я брата;  
И онъ—такъ было суждено—  
Погибъ отъ пули Бей-Булата;  
Погибъ безъ славы, не въ бою,  
Какъ звѣрь лѣсной—врага не зная;  
Но месть и ненависть свою  
Онъ завѣщалъ мнѣ, умирая.

И я убийцу отыскаль:  
И занесенъ былъ мой кинжалъ,  
Но я подумалъ: „это лѣ мѣшенье?  
Чтѣ смерть! Ужель одно мгновеніе  
Заплатить мнѣ за столько лѣтъ  
Печали, грусти, мукъ?.. О, нѣть!  
Онъ что-нибудь да въ мірѣ любить:  
Найду любви его предметъ,  
И мой ударъ его погубить!“  
Свершилось иаконецъ. Пора!  
Твой часъ пробилъ еще вчера.  
Смотри, ужъ блещетъ луть заката!..  
Пора! я слышу голосъ брата...  
Когда сегодня въ первый разъ  
Я увидалъ твой образъ нѣжный,  
Тоскою горькой и мятежной  
Душа, какъ адомъ, вся взяглась.  
Но это чувство улетѣло...  
Валлахъ! исполню клятву смѣло!

Онъ отрубаетъ ей голову и съ этимъ  
страшнымъ подаркомъ спѣшитъ къ я отцу.  
Старикъ съ горя умеръ.

Промчался годъ. Въ глухой тѣснинѣ  
Два трупа смрадные, въ пыли,  
Блуждая, путники нашли  
И скоронили на вершинѣ.  
Облиты кровью были оба,  
И ярко начертала злоба  
Проклятие на ихъ челѣ.  
Обнявшись крѣпко, на землѣ  
Они лежали, костенѣя,  
Два друга съ виду—два злодѣя!  
Быть можетъ, то одна мечта,—  
Но бѣднымъ странникамъ казалось,  
Что ихъ лицо порой мѣнялось,  
Что все грозили ихъ уста.  
Одежда ихъ была богата;

Башлыкъ ихъ шапки покрывалъ;  
Въ одномъ узнали Бей-Булата,  
Никто другого не узналъ.

### Бояринъ Орша.

#### ГЛАВА I.

Then burst her heart in one long shriek  
And to the earth she fell like stone  
As statue from its base o'erthrown.  
Byron.

Во время оно жилъ да былъ  
Въ Москвѣ бояринъ Михаилъ,  
Прозваньемъ Орша.—Важный сань  
Даль Оршѣ Грозный Иоаннъ;  
Онъ даль ему съ руки своей  
Кольцо—наслѣдіе царей;  
Онъ даль ему, въ веселый мигъ,  
Соболью шубу съ плечъ своихъ;  
Въ день Воскресенія Христа  
Попѣловалъ его въ уста,  
И обѣжался въ тотъ же день  
Дать тридцать царскихъ деревень,  
Съ тѣмъ, чтобы Орша до конца  
Не отлучался отъ дворца.

Но Орша нравомъ былъ угрюмъ:  
Онъ не любилъ придворный шумъ;  
При видѣ трепетныхъ листцовъ  
Щипалъ концы сѣдыхъ усовъ,  
И разъ, опричнымъ огорченъ,  
Такъ Иоанну молвили онъ:  
„Надѣжа-царь! пусти меня  
На родину—я день отъ дня  
Все старѣ; даже не могу  
Обиду вымстить врагу.  
Есть много слугъ въ дворцѣ твоемъ.  
Пусти меня! Мой старый домъ  
На берегу Днѣпра кругомъ,  
Близъ рубежа Литвы чужой,  
Обросъ могильною травой;  
Пробудь я здѣсь еще хоть годъ,  
Онъ догніетъ—и упадетъ.  
Дай поклониться мнѣ Днѣпру...  
Тамъ я родился—тамъ умру!“

И онъ узрѣлъ свой старый домъ.  
Покой темные кругомъ  
Уставилъ златомъ и серебромъ;  
Икону въ ризѣ дорогой,

Въ алмазахъ, въ жемчугѣ, съ рѣзь-  
бой,  
Повѣсили въ каждомъ онъ углу,  
И запестрѣлись на полу  
Узоры шолковыхъ ковровъ.  
Но лучшіе царскихъ всѣхъ даровъ  
Былъ Божій даръ—младая дочь;  
О ней онъ думалъ день и ночь;  
Въ его глазахъ она росла  
Свѣжа, невинна, весела.  
Цвѣтость грядущаго святой,  
Былого памятникъ живой!  
Такъ средь развалинъ иногда  
Растетъ береза: молода,  
Мила надѣя плитами гробовъ  
Игрою шепчущихъ листовъ...  
И та холодная стѣна  
Ея красой оживлена!..

Однажды вечеромъ долго не могъ уснуть  
Орша.

Все въ домѣ спить—не спить одинъ  
Его угрюмый властелинъ  
Въ покой пышномъ и большомъ,  
На ложѣ бархатномъ своемъ.  
Полусгорѣвшая свѣча  
Предъ нимъ, сверкая и треща,  
Порой на каждый лѣтъ предметъ  
Какой-то странный полусвѣтъ.  
Висятъ надѣя ложемъ образа;  
Ихъ ризы блещутъ, ихъ глаза  
Вдругъ оживаютъ, глядѣть—  
Но съ чѣмъ сравнить подобный  
ваглядъ?

Онъ непонятный и страшный  
Всѣхъ мертвыхъ и живыхъ очей!  
Томить боярина тоска.  
Ужъ поздно. Подъ окномъ рѣка  
Шумитъ, и съ бурей заодно  
Гремучій дождь стучитъ въ окно.  
Чернѣеть тѣнь во всѣхъ углахъ,  
И—странно—Оршу обнялъ страхъ!  
Бывалъ онъ въ битвахъ, хоть и  
старъ,  
Противъ поляковъ и татаръ;  
Слыхалъ онъ грозный царскій гласъ,  
Встрѣчалъ и взоръ въ недобрый часъ:  
Ни разу духъ его крутой

Не ослабѣлъ передъ бѣдой;  
Но тутъ—онъ свистнулъ, и вошелъ  
Любимый рабъ его, Соколь.

Соколь рассказываетъ сказку о томъ, какъ  
одна царская дочь обманула отца, сплю-  
бившись съ молодымъ конюхомъ, какъ  
отецъ случайно напечь его въ ея свѣт-  
лицѣ.

И по морщинамъ старика,  
Какъ тѣни облака, слегка  
Промчались тѣни черныхъ думъ.  
Встревоженный и быстрый умъ  
Вблизи предвидѣлъ много бѣдъ.  
Онъ жилъ: онъ зналъ людей и свѣтъ,  
Онъ зломъ не могъ быть удивленъ  
Добру жъ давно не вѣрилъ онъ,  
Не вѣрилъ только потому,  
Что вѣрилъ нѣогда всему!..

И вспыхнулъ въ немъ остатокъ силъ.  
Онъ съ ложа мягкаго вскочилъ,  
Соболю шубу на плеча  
Накинулъ онъ; въ рукѣ свѣтча;  
И вогъ, дрожа, идеть скорѣй  
Къ свѣтлицѣ дочери своей.  
Ступени лѣстницы крутой  
Подъ тяжкою его стопой  
Скрипѣть и свѣтчка раза два  
Изъ рукъ не выпала едва.

Онъ видитъ: няня въ уголѣ  
Сидитъ на старомъ сундуѣ  
И спить глубоко, и порой  
Во снѣ качаетъ головой.  
На ней, предчувствіемъ обѣять,  
На мигъ онъ удержалъ свой взглядъ  
И мимо; но, послыша стукъ,  
Старуха пробудилась вдругъ,  
Перекрестилась и потомъ  
Опять заснула крѣпкимъ сномъ  
И, занята своей мечтой,  
Вновь закачала головой.  
Стоитъ бояринъ у дверей  
Свѣтлицы дочери своей  
И чуткимъ ухомъ онъ приникъ:  
Къ замку—и думаетъ старики:  
„Нѣть! непорочна дочь моя!  
А ты, Соколь, ты рабъ, змѣя,  
За дерзкій, хитрый твой iamенъ  
Получишь гибельный урокъ!“  
Но вдругъ... о горе! о позорѣ!  
Онъ слышитъ тихій разговоръ...

И голоса замолкли вдругъ.  
И слышить Орша тихій звукъ,  
Звукъ поцѣлую... и другой...  
Онъ вспыхнулъ, дверь толкнулъ рукой  
И, изступленный и нѣмой,  
Предсталъ предъ блѣдною четой...

Бояринъ сдѣлалъ шагъ назадъ,  
На дочь онъ кинулъ злобный взглядъ,  
Глаза ихъ встрѣтились—и вмигъ  
Мучительный ужасный крикъ  
Раздался, пролетѣлъ—и стихъ.  
И тотъ, кто крикъ сей услыхалъ,  
Подумалъ, вѣрно, иль сказалъ,  
Что дважды изъ груди одной  
Не вылетаетъ звукъ такой.

У дочери Орши былъ Арсеній, молодой  
монастырскій послушникъ; Орша заклю-  
чила его въ темницу, а свѣтлицу дочери  
заперъ на ключь, который потомъ бросилъ  
въ Диѣпѣръ. Дочь оказалась обреченной на  
голодную смерть.

## ГЛАВА II.

Народъ кипитъ въ монастырѣ;  
У вратъ святыхъ и на дворѣ  
Рабы боярскіе стоять.  
Ихъ юпъя мѣдныя горятъ,  
Ихъ шапки длинныя кругомъ  
Опушены густымъ бобромъ,  
За кушакомъ блестять у нихъ  
Ножны кинжаловъ дорогихъ...  
Межъ нихъ стремянный молодой,  
За граву правою рукой  
Держа боярскаго коня,  
Стоитъ; повременамъ, звения,  
Стремена бьются о бока;  
Истерть ногами сѣдока,  
Въ пыли малиновый чепракъ;  
Весь въ мылѣ, сѣрый аргамакъ  
Мотаетъ гравою густой,  
Бьется землю жилистой ногой,  
Грызетъ съ досады удила,  
И пѣна легкая—бѣла,  
Чиста какъ первый снѣгъ въ поляхъ,  
Съ желѣза падаетъ на прахъ.

Но воть обѣдня отошла;  
Гудать, ревутъ колокола;  
Воть слышно пѣнье—изъ дверей  
Мелькаеть длинный рядъ свѣчей,  
Вослѣдъ игумену-отцу  
Монахи сходять по крыльцу  
И прямо въ трапезу идутъ;  
Тамъ грозный судъ, послѣдній судъ  
Произнесетъ отецъ святой  
Надъ бѣдной, грѣшной головой.  
Безмолвна трапеза была.  
Къ стѣнѣ нальво два стола  
И пышныхъ креселъ полуокругъ—  
Издѣлье иноческихъ рукъ—  
Блистали тканью парчевой;  
Въ большія окна свѣтъ дневной,  
Врываюсь бѣлой полосой,  
Дробяясь въ искры по стѣклу,  
Игралъ на каменномъ полу,  
Рѣзьбою мелкою етъна  
Была искусно убрана,  
И на двери въ кружахъ златыхъ  
Блистали образа святыхъ.  
Тяжелый, низкій потолокъ  
Расписывалъ, какъ зналъ, какъ могъ,  
Усердный инохъ... жалкій трудъ,  
Отнявшій множество минутъ  
У Бога, думъ святыхъ и дѣлъ...  
Искусства горестный удѣлъ!..  
На мягкихъ креслахъ предъ сто-  
ломъ  
Сидѣлъ въ бездѣствіи нѣмомъ  
Бояринъ Орша. Иногда  
Усы сѣдые, борода,  
Съ игравымъ встрѣтившимися лучомъ,  
Вдругъ отливались серебромъ,  
И часто кудри старика  
Отъ дуновенія вѣтерка  
Приподымалися слегка.  
Движеніемъ пасмурныхъ очей  
Нерѣдко онъ искалъ дверей,  
И, въ нетерпѣніи, порой  
Онъ по столу стучалъ рукой.  
Въ концѣ противномъ залы той  
Одинъ, въ цѣпяхъ, къ нему спиной,  
Покрытъ одеждой раба,  
Стоялъ Арсеній у столба.  
Но въ молодомъ лицѣ его  
Вы не нашли бѣ ни одного  
Изъ чувствъ, которыхъ смутный рой

Кружится, вѣется надъ душой  
Въ часъ разставанія съ землей.  
Хотѣлъ ли онъ передъ врагомъ  
Предстать съ безчувственнымъ че-  
ломъ,  
Съ холодной важностью лица,  
И мстить хоть этимъ до конца?  
Иль онъ невольно въ этотъ мигъ  
Глубокой мыслю постигъ,  
Что онъ въ цѣпи существъ давно  
Едва ль не лишнее звено?...  
Задумчивъ онъ смотрѣлъ въ окно  
На голубыя небеса:  
Его манила ихъ краса...  
И кудри легкихъ облаковъ,  
Небесъ серебряный покровъ,  
Неслись свободно, быстро тамъ,  
Кидая тѣни по холмамъ.  
И онъ увидѣлъ: у окна,  
Заботой рѣзвою полна,  
Летала ласточка—то внизъ,  
То вверхъ, подъ каменный карнизъ  
Кидалась съ дивной быстротой  
И въ щели пряталась сырой;  
То, взвившись на небо стрѣлой,  
Тонула въ пламенныхъ лучахъ...  
И онъ вздохнулъ о прежніхъ дняхъ,  
Когда онъ жилъ, страсти чужой,  
Съ природой жизнью одной;  
Блеснули тусклые глаза,  
Но этотъ блескъ былъ—не слеза;  
Онъ улыбнулся, но жестокъ  
Въ его улыбкѣ былъ упрекъ.

Начался судъ.

Арсеній. Ты слушать исповѣдь мою  
Сюда пришелъ—благодарю.  
Не понимаю, что была  
У вѣсъ за мысль?—Мои дѣла  
И безъ меня ты долженъ знать,  
А душу можно ль разсказать?  
И если бъ могъ я эту грудь  
Передъ тобою развернуть,  
Ты вѣрно не прочель бы въ ней,  
Что я безсовѣтный злодѣй!  
Пусть монастырскій вашъ законъ  
Рукою Бога утвержденъ,  
Но въ этомъ сердцѣ есть другой,  
Ему не менѣе святой:  
Онъ оправдалъ меня—одинъ

Онъ сердца полный властелинъ!  
Когда бъ сквозь бѣдный мой нарядъ  
Не проникаль до сердца ядъ,  
Тогда я быль бы виноватъ.  
Но всѣхъ равно влечеть судьба:  
И подъ одеждю раба,  
Но полный жизнью молодой,  
Я человѣкъ, какъ и другой.  
И ты, и ты, слѣпой старикъ,  
Когда бъ ея небесный ликъ  
Тебѣ явился хоть во снѣ,  
Ты позавидовалъ бы мнѣ  
И, въ изстupлены, можетъ быть,  
Рѣшился бъ также согрѣшить,  
И клятвы бъ грозныя забыть,  
И перенестъ бы счастливъ быть  
За слово, ласку или взоръ  
Мое мученье, мой позоръ!...

Орша. Не поминай теперь о ней!  
Напрасно!—У груди моей,  
Хоть нынѣ поздно вижу я,  
Согрѣлась, выросла змѣя!...  
Но ты заплатишь мнѣ теперь  
За хлѣбъ и соль мою, повѣръ.  
За сердце жъ дочери моей  
Я заплачу тебѣ, злодѣй—  
Тебѣ, найденышъ безъ креста,  
Презрѣнныи рабъ и сирота!...

Арсений. Ты правъ: не знаю, гдѣ  
рожденъ,  
Кто мой отецъ и живъ ли онъ?  
Не знаю... Люди говорятъ,  
Что я тобой ребенкомъ ваять,  
И быль я отданъ съ ранихъ поръ  
Подъ строгій иноковъ надзоръ,  
И выросъ въ тѣсныхъ я стѣнахъ,  
Душой дитя—судьбой монахъ!  
Никто не смѣлъ мнѣ здѣсь сказать  
Священныхъ словъ „отецъ“ и „мать“.  
Конечно, ты хотѣлъ, старикъ,  
Чтобъ я въ обители отвыкъ  
Отъ этихъ сладостныхъ именъ?  
Напрасно: звукъ ихъ быль рожденъ  
Со мной. Я видѣлъ у другихъ  
Отчизну, домъ, друзей, родныхъ,  
А у себя не находилъ.  
Не только милыхъ душъ—могилъ!  
Но нынче самъ я не хочу  
Предать ихъ имя палачу,  
И все, чтѣ славно было въ немъ,

Облить и кровью, и стыдомъ.  
Умру, какъ жиль, твоимъ рабомъ!...  
—Нѣть, не грози, отецъ святой:  
Чего бояться намъ съ тобой?  
Обоихъ насть могила ждеть...  
Не все лѣ равно, что день, что годъ,  
Никто ужъ намъ не господинъ;  
Ты въ рай, я въ адъ—но путь одинъ!  
Съ тѣхъ поръ, какъ длится жизнь  
моя,

Два раза быль свободенъ я:  
Послѣдній—нынѣ... Въ первый разъ,  
Когда я жилъ еще у васъ,  
Среди молитвъ и нынѣхъ книгъ,  
Пришло мнѣ въ мысли хоть на мигъ  
Взглянуть на пышныя поля,  
Узнать, прекрасна ли земля,  
Узнать, для воли иль тюрьмы  
На этотъ свѣтъ родимся мы...  
И въ часъ ночной, въ ужасный часъ,  
Когда гроза пугала васъ,  
Когда, столпясь при алтарѣ,  
Вы ницъ лежали на землѣ,  
При блескѣ молній роковыхъ  
Я уѣжалъ изъ стѣнъ святыхъ;  
Боязнь съ одеждой кинула прочь,  
Благословилъ и хладъ, и ночь,  
Забылъ печали бытія  
И бурю братомъ назвалъ я.  
Восторгомъ бѣшенымъ обять,  
Съ ней унастись я быль бы радъ;  
Глазами тучи я сѣдилъ,  
Рукою молнію ловилъ!  
О старецъ! что средь этихъ стѣнъ  
Могли бы дать вы мнѣ взамѣнъ  
Той дружбы краткой и живой  
Межъ буринъмъ сердцемъ и гровой?..

Суды требуютъ, чтобы онъ открылъ  
сообщниковъ.

Арсений. Послушай, я забылся  
сномъ  
Вчера въ темницѣ. Слышу вдругъ  
Я приближающійся звукъ,  
Знакомый, милый разговоръ,  
И будто вижу ясный взоръ...  
И, пробудясь, во тьмѣ скорѣй  
Ищу тѣхъ звуковъ, тѣхъ очей...  
Увы! они въ груди моей!  
Они на сердцѣ, какъ печать,

Чтобъ я не смыть ихъ забывать,  
И жгутъ его, и вновь живятъ...  
Они—мой рай, они—мой адъ!  
Для вспоминанія о нихъ  
Жизнь—ничего, а вѣчность—мигъ!..  
И гуменъ. Богохулитель, удер-  
жись!

Пади на землю, плачь, молись,  
Прими святую въ грудь боязнь...  
Мечтанья злых—Божья казнь...  
Молись ему...

Арсеній. Напрасный трудъ!

Не говори, что Божій судъ  
Опредѣляетъ мнѣ конецъ:  
Все люди, люди, мой отецъ!  
Пускай умру... но смерть моя  
Не продолжить ихъ бытія,  
И дни грядущіе мои  
Имъ не присвоить—и въ крови,  
Неправой казнью пролитой,  
Въ крови безумца молодой  
Имъ разогрѣть не сужено  
Сердца, увядшія давно;

И гробъ безъ камня и креста,  
Какъ жизнь ихъ ни была свята,  
Не будетъ слабымъ ихъ ногамъ  
Ступенемъ новой къ небесамъ;  
И тѣнь несчастнаго, повѣръ,  
Не отопретъ имъ рая дверь...  
Меня могила не страшить:  
Тамъ, говорять, страданье спить  
Въ холодной вѣчной тишинѣ...  
Но съ жизнью жаль разстаться мнѣ:  
Я молодъ, молодъ—зналъ ли ты,  
Чтѣзначить молодость, мечты?  
Или не зналъ? или забылъ,  
Какъ ненавидѣлъ и любилъ,  
Какъ сердце билося живѣй  
При видѣ солнца и полей  
Съ высокой башни угловой,  
Гдѣ воздухъ свѣжъ и гдѣ, порой,  
Въ глубокой трещинѣ стѣны,  
Дитя невѣдомой страны,  
Прижавшись, голубь молодой  
Сидѣть, испуганный грозой?..  
Пускай теперь прекрасный свѣтъ  
Тебѣ постыль... ты слѣпъ, ты сѣдъ,  
И отъ желаній ты отвыкъ...  
Чтѣза нужда? ты жиль, старикъ;  
Тебѣ есть въ мірѣ чѣзъ забыть...

Ты жиль—я также могъ бы жить!..

Арсеній бѣжалъ изъ монастыря и етимъ  
спасъ себя отъ пытокъ и казни.

### ГЛАВА III.

Литовцы сдѣлали набѣгъ на русскіе  
предѣлы; боярину Оршѣ пришлось съ  
ними биться; онъ былъ разбитъ и смер-  
тельно раненъ.

Умчался далѣ шумный бой,  
Оставая сдѣль багровый свой...  
Между поверженныхъ коней,  
Обломковъ коній и мечей  
Въ то время всадникъ разѣжалъ;  
Чего-то, мнилось, онъ искалъ,  
То низко голову склоня  
До гривы чернаго коня,  
То вдругъ привставъ на стременахъ...  
Кто же онъ? не русскій и не ляхъ—  
Хоть плаТЬе польское на немъ  
Пестрѣло ярко серебромъ,  
Хоть сабля польская, звоня,  
Стучала по ребрамъ коня;  
Чела крутого смуглый цвѣтъ,  
Глаза, въ которыхъ мракъ и свѣтъ  
Въ борьбѣ смыкалися не разъ,  
Почти могли бъ увѣрить въасъ,  
Что въ немъ кипѣла кровь татаръ...  
Онъ былъ немолодъ и не старъ.  
Но, разсмотрѣвъ его черты,  
Не чуждыя той красоты  
Невыразимой, но живой,  
Которой блескъ печальный свой  
Мысль неизмѣнная дала,  
Гдѣ все, что есть добра и зла  
Въ душѣ, прикованной къ землѣ,  
Отражено какъ на стеклѣ,—  
Вдохнувшіи, всякий бы сказалъ,  
Что жиль онъ меньше, чѣмъ страдалъ.

Это былъ Арсеній; онъ видѣть въ бою  
Оршу и теперь ищетъ его тѣла.

И вдругъ онъ внемлетъ слабый стонъ,  
Подходитъ, смотрѣть: „это онъ!“  
Главу, омытую въ крови,  
Бояринъ приподнялъ съ земли  
И слабымъ голосомъ сказалъ:  
„И я узналъ тебя! узналъ!“

Ни время, ни чужой нарядъ  
Не измѣнить зловѣштій взглядъ  
И это гордое чело,  
Гдѣ преступленіе и зло  
Печать оставили свою.  
Арсеній!—Такъ! я узнаю,  
Хотя могилы на краю,  
Улыбку прежнюю твою,  
И въ ней шипящую змѣю!  
Я узнаю и голосъ твой  
Межъ звуковъ стороны чужой,  
Которыми ты, можетъ быть,  
Его желаешь измѣнить.  
Твой умыселъ постигъ я весь,  
Я знаю, для чего ты вѣдьсъ.  
Но, вѣрный родинѣ моей,  
Не отверну теперь очей,  
Хоть ты бѣ желалъ, измѣнникъ-ляхъ,  
Прочесть въ нихъ близкой смерти  
стражъ  
И сожалѣніе и печаль...  
Но знай, что жизни мнѣ не жаль,  
А жаль лишь то, что часть мой биль,  
Покуда я не отомстиль;  
Что не могу поднять меча,  
Что на рукахъ моихъ, съ плеча  
Омытыхъ кровью до локтей  
Злодѣевъ родины моей,  
Ни капли крови нѣть твоей!"

Арсений просить Оршу сказать ему, где  
его дочь. Орша отвечает.

„Скачи скорый въ мой старый домъ,  
Тамъ дочь моя; ни ночь, ни днемъ  
Не ѳсть, не спить: все ждеть да  
ждеть,

Покуда милый не придетъ.  
Спѣши... Ужъ близокъ мой конецъ...  
Теперь обиженный отецъ  
Для вѣсть лишь страшенъ—какъ мер-  
твѣцы..“

Онъ дальше говорить хотѣлъ,  
Но вдругъ языки опѣпенѣлъ;  
Онъ сдѣлать знакъ хотѣлъ рукой,  
Но пальцы сжались межъ собой,  
Тѣнь смерти мрачной полосой  
Промчалась на его челъ;  
Онъ обернулъ лицо къ землѣ,  
Вдругъ протянулся, захрипѣлъ,  
И—духъ отъ тѣла отлетѣлъ.

Къ нему Арсеній подошель,  
И руки сжатыя развелъ,  
И поднялъ голову съ земли:  
Двѣ яркія слезы текли  
Изъ побѣлѣвшихъ мутныхъ глазъ,  
Собой лишь свѣтлы какъ алмазъ.  
Спокойны были всѣ черты,  
Исполнены той красоты,  
Лишенной чувства и ума,  
Таинственной, какъ смерть сама.

Арсений мчится къ терему Орши, вѣгаєтъ по лѣстницѣ, подбѣгаєтъ къ дверямъ знакомой свѣтлицы.

Увы, знакомыя мѣста!  
Налѣво дверь—но заперта.  
Какъ кровью, ржавчиной покрытъ,  
Большой замокъ на ней виситъ.  
И, вынувъ ножъ изъ кушака,  
Онъ всунулъ въ скважину замка,  
И, затрещавъ, распался тотъ...  
И тихо дверь толкнувъ впередъ,  
Онъ входитъ робкою стопой  
Въ свѣтлицу лѣвы молодой.

Громаду бѣлую костей  
И желтый черепъ безъ очей,  
Съ улыбкой вѣчной и нѣмой—  
Вотъ что узрѣлъ онъ предъ собой.  
Густая длинная коса,  
Плечь бѣломраморныхъ краса,  
Разсыпавшись, къ сухимъ костямъ  
Кой-гдѣ прилипнула... и тамъ,  
Гдѣ сердце чистое такой  
Любовью билось огневой,  
Давно безъ пищи ужъ бродилъ  
Кровавый червь—жилецъ могилъ...

„Такъ вотъ все то, что я любилъ!  
Холодный и бездушный прахъ,  
Горѣвшій на моихъ устахъ,  
Теперь безъ чувства, безъ любви  
Сожмутъ объятія земли!  
Душа прекрасная ея,  
Принявъ другое бытіе,  
Теперь парить въ странѣ святой,  
И, какъ укоръ передо мной,  
Ея минутной жизни сльдь.  
Она погибла въ прѣтѣ лѣтъ,  
Средь тайныхъ мукъ, иль безъ тре-  
вогъ,

Когда и какъ—то знаеть Богъ.  
Онъ бытъ отецъ, но бытъ мой врагъ:  
Тому свидѣтель этотъ прахъ,  
Лишенный сѣни гробовой,  
На свѣтѣ признанный лишь мной!  
„Да! я преступникъ, я злодѣй—  
Но казнь равна лѣ винѣ моей?  
Ни на землѣ, ни въ свѣтѣ томъ  
Намъ не сойтись однимъ путемъ...  
Разлуки первый грозный часъ  
Сталъ вѣкомъ, вѣчностью для насть.  
О, если бъ рай передо мной  
Открыть бытъ властю неземной—  
Клянусь, я бъ, прежде чѣмъ всту-  
пить,  
У вратъ священныхъ бы спросилъ:  
Найду ли тамъ, среди святыхъ,  
Погибшій рай надеждѣ моихъ?  
Творецъ! отдай ты мнѣ назадъ  
Ея улыбку, иѣжній взглядъ;  
Отдай мнѣ свѣжія уста  
И голось, сладкій, какъ мечта,  
Одинъ лишь слабый звукъ отдай!..  
Что безъ нея земля и рай?  
Одни лишь звучныя слова,  
Блестящій храмъ—безъ божества!..  
Теперь осталось мнѣ одно:  
Иду!—куда? Не все лѣ равно  
Та иль другая сторона?  
Здѣсь прахъ ея, но не она!  
Иду отсюда навсегда  
Безъ думъ, безъ цѣли и труда,  
Одинъ, съ тоской во тьмѣ ночной,  
И выюга слѣдъ завѣтъ мой!..“

—  
Пѣсня.

Про царя Ивана Васильевича, молодого  
опричника и удалого купца Калашникова.

Охъ ты гой еси, царь Иванъ Ва-  
сильевичъ!  
Про тебя нашу пѣсню сложили мы,  
Про твово любимаго опричника,  
Да про смѣлаго купца, про Калашни-  
кова;  
Мы сложили ее на старинный ладъ,  
Мы пѣвали ее подъ гуслярный звонъ,  
И причитывали, да присказывали,  
Православный народъ ею тѣшился,

А бояринъ Матвѣй Ромодановскій  
Намъ чарку поднесъ меду пѣниаго;  
А боярыня его бѣлолицая  
Поднесла намъ на блюдѣ серебряномъ  
Полотенце новое, шокомъ шитое.  
Угощали насъ три дня, три ночи,  
И все слушали—не наслушались.

I.

Не сияеть на небѣ солнце красное,  
Не любуются имъ тучки синія:  
То за трапезой сидѣтъ во златомъ  
вѣнцѣ,  
Сидѣтъ грозный царь Иванъ Василье-  
вичъ.

Позади его стоять столъники,  
Супротивъ его все бояре да князья,  
По бокамъ его все опричники;  
И пируетъ царь во славу Божію,  
Въ удовольствіе свое и веселіе.

Улыбаясь, царь повелѣлъ тогда  
Вина сладкаго заморскаго  
Нацѣдить въ свой золоченый ковшъ  
И поднести его опричникамъ.  
— И всѣ пили, царя славили.

Лишь одинъ изъ нихъ, изъ опрични-  
ковъ,  
Удалой боецъ, буйный молодецъ,  
Въ золотомъ ковшѣ не мочилъ усовъ;  
Опустилъ онъ въ землю очи темныя,  
Опустилъ головушку на широку грудь—  
А въ груди его была дума крѣпкая.  
Вотъ нахмурилъ царь брови че-  
рные

И навелъ на него очи зоркія,  
Словно ястребъ взглянулъ съ высоты  
небесъ  
На младого голубя сизокрылаго—  
Да не поднять глазъ молодой боецъ.  
— Вотъ объ землю царь стукнулъ  
палкою,  
И дубовый поль на полчетверти  
Онъ желѣзнымъ пробилъ оконечни-  
комъ—  
Да не вздрогнулъ и тутъ молодой  
боецъ.  
— Вотъ промолвилъ царь словно  
грозное—  
И очнулся тогда добрый молодецъ.

„Гей ты, вѣрный нашъ слуга, Кири-  
бѣевичъ,  
Аль ты думу затаилъ нечестивую?  
Али славѣ нашей завидуешь?  
Али служба тебѣ честная прискучила?  
Когда всходитъ мѣсяцъ—звѣзды раду-  
ются,  
Что свѣтлый имъ гулять по под-  
небесью;

А которая въ тучку прячется—  
Та стремглавъ на землю падаетъ...  
Неприлично же тебѣ, Кирибѣевичъ,  
Царской радостью гнушатися;  
А изъ рода ты вѣдь Скуратовыхъ  
И семью ты вскормлень Малютиной!..“  
Отвѣчаетъ такъ Кирибѣевичъ,  
Царю гравому въ поясъ кланяясь:  
— Государь ты нашъ, Иванъ Василье-

вичъ!  
Не кори ты раба недостойнаго:  
Сердца жаркаго не залить виномъ,  
Думу черную—не закотчивать!  
А прогнѣвалъ я тебя—воля царская!  
Прикажи казнить, рубить голову:  
Тяготить она плечи богатырскія  
И сама къ сырой землѣ она клонится.

И сказалъ ему царь Иванъ Василье-  
вичъ:  
„Да обѣ чемъ тебѣ, молодцу, кру-  
чиниться?  
Не истерся ли твой парчевой каф-  
танъ?

Не измѣялась ли шапка соболиная?  
Не казна ли у тебя поистратилась?  
Иль зазубрилась сабля закаленая?  
Иль конь захромалъ худо-кованый?  
Или стъ ногъ тебя сбились на кулач-  
номъ бою,

На Москвѣ-рѣкѣ, сынъ купеческій?“  
Отвѣчаетъ такъ Кирибѣевичъ,  
Покачавъ головою кудряво:

— Не родилась та рука заколдован-  
ная  
Ни въ боярскомъ роду, ни въ ку-  
печескомъ;  
Аргамакъ мой степной ходить ве-  
село;  
Какъ стекло горитъ сабля вострая;  
А на праздничный день, твоей ми-  
лостью,

Мы не хуже другого нарядимся.  
— Какъ я сяду, пойду на лихомъ  
конѣ  
За Москву-рѣку покататися,  
Кушачкомъ подтянуся шолковымъ,  
Заломлю на бочокъ шапку бархатную,  
Чернымъ соболемъ отороченную—  
У воротъ стоять у тесовыхъ  
Красны дѣвушки да молодушки,  
И любуются, глядя, перешоптываясь;  
Лишь одна не глядитъ, не любуется,  
Полосатой фатой закрываетъ...

— На святой Руси, нашей матушкѣ,  
Не найти, не сыскать такой краса-  
вицы:

Ходить плавно—будто лебедушка,  
Смотрить сладко—какъ голубушка,  
Молвить—словно соловей поеть;  
Горять щеки ея румяны,  
Какъ заря не небѣ Божиѣмъ;  
Косы русны, золотистыя,  
Въ ленты яркія заплетенные,  
По плечамъ бѣгутъ, извиваются,  
Съ грудью бѣлою цѣлюются.  
Во семьѣ родилась она купеческой,  
Прозывается Аленой Дмитріевной.

— Какъ увижу ее, я и самъ не свой:  
Опускаются руки сильныя,  
Помрачаются очи бойкія;  
Скучно, грустно мнѣ, православный  
царь,  
Одному по свѣту маяться.  
Опостыли мнѣ кони легкіе,  
Опостыли наряды парчевые  
И не надо мнѣ золотой казны:  
Съ кѣмъ казною своей подѣлюсь тѣ-  
перь?

Предъ кѣмъ покажу удачство свое?  
Предъ кѣмъ я нарядомъ похвастаюсь?..  
Отпусти меня въ степи приволжскія,  
На житье на вольное, на казацкое.  
Ужъ сложу я тамъ буйную головушку  
И сложу на копье басурманское;  
И раздѣлять по себѣ злы татаровъ  
Коня доброго, саблю острую  
И съдѣльце бранное черкасское.  
Мои очи слезныя коршунъ выклиютъ,  
Мои кости сирѣя дождикъ вымоетъ,  
И безъ похоронъ горемычный прахъ  
На четыре стороны развѣтится...

И сказалъ, смѣясь, Иванъ Василье-

вичъ:

„Ну, мой вѣрный слуга! я твоей  
бѣдѣ,

Твоему горю пособить постараюся.  
Вотъ возьми перстенекъ ты мой

яхонтовый,

Да возьми ожерелье жемчужное.

Прежде свахѣ смышеной поклѣ-  
нялся,

И пошли дары драгоцѣнныя

Ты своей Аленѣ Дмитревнѣ:

Какъ полюбиша—празднуй сва-  
дебку,

Не полюбиша—не прогнѣвайся“.

— Охъ ты гой еси, царь Иванъ Ва-  
сильевичъ!

Обманула тебя твой лукавый рабъ,  
Не сказалъ тебѣ правды истинной,  
Не повѣдалъ тебѣ, что красавица  
Въ церкви Божией перевѣнчана,  
Перевѣнчана съ молодымъ купцомъ  
По закону нашему христіанскому...

\* \* \*

Ай, ребята, пойте—только гусли  
стройте!

Ай, ребята, пейте—дѣло разумѣйте!  
Ужъ потѣште вы добраго боярина  
И боярнико его бѣлолицую!

## II.

За прилавкою сидить молодой ку-  
пецъ,  
Статный мѣлодецъ Степанъ Парамоно-  
вичъ,

По прозванию Калашниковъ;  
Шелковые товары раскладываетъ,  
Рѣчью ласковой гостей онъ замани-  
ваетъ,

Злато, серебро пересчитываетъ.  
Да не добрый день задался ему:  
Ходить мимо баре богатые,  
Въ его лавочку не заглядываютъ.

Отзвонили вечернико во святыхъ цер-  
квахъ;

За Кремлемъ горитъ заря туманная,  
Набѣгаютъ тучки на небо—

Гонитъ ихъ метелица, распѣвающи;  
Опустѣлъ широкій гостинный дворъ.

Запираетъ Степанъ Парамоновичъ

Свою лавочку дверью дубовою

Да замкомъ нѣмецкимъ со пружи-  
ною;

Злого пса-ворчуна зубастаго

На желѣзную цѣпь привязываетъ.

И пошелъ онъ домой, призадумав-  
шись,

Къ молодой хозяйкѣ, за Москву-рѣку.

И приходитъ онъ въ свой высокій  
домъ,

И дивится Степанъ Парамоновичъ:

Не встрѣчаетъ его молода жена,

Не накрытъ дубовый столъ бѣлой ска-  
тертью,

А свѣча передъ образомъ еле-теплится.

И кличетъ онъ старую работницу:

„Ты скажи, скажи, Еремѣевна,

А куда дѣвалась, затаилася

Въ такой поздній часъ Алена Дми-  
тревна?

А что дѣтки мои любезныя—

Чай забѣгались, заигралися,

Споваранку спать уложилися?“

— Господинъ ты мой, Степанъ Пара-  
моновичъ!

Я скажу тебѣ диво дивное:

Что къ вечернѣ пошла Алена Дми-  
тревна;

Вотъ ужъ пошь прошелъ съ молодой  
попадѣй,

Засѣвили свѣчу, сѣли ужинать—

А по-сю-пору твоя хозяйка

Изъ приходской церкви не вернулася.

А что дѣтки твои малыя

Почивать не легли, не играть пошли—

Плачомъ плачутъ, все не унимаются.

И смутился тогда думой крѣпкою  
Молодой купецъ Калашниковъ.

И онъ сталъ къ окну, глядѣть на  
улицу—

А на улицѣ ночь тѣмнѣонька;

Валитъ бѣлый снѣгъ, разстилается,  
Заметаетъ сѣдѣ человѣческій.

Вотъ онъ слышитъ, въ сѣняхъ дверью  
хлопнули,

Потомъ слышитъ шаги торопливые;

Обернулся, глядѣть—сила крестная!

Передъ нимъ стоитъ молода жена,

Сама блѣдная, простоволосая,

Косы русыя расплетенные  
Снѣгомъ-инеемъ пересыпаны,  
Смотрѣть очи мутныя, какъ безумныя;  
Уста шепчутъ рѣчи непонятныя.

„Ужъ ты гдѣ, жена, жена, шаталася,  
На какомъ на дворѣ, на площади,  
Что растрепаны твои волосы,  
Что одежа вся твоя изорвана?  
Ужъ гуляла ты, пировала ты,  
Чай, съ сынками все боярскими?...  
Не на то предъ святыми иконами  
Мы съ тобой, жена, обручились,  
Золотыми кольцами мѣнялися!...  
Какъ запру я тебя за желѣзный за-  
мокъ,

За дубовую дверь окованную,  
Чтобы свѣту Божьяго ты не видѣла,  
Мое имя честное не порочила...“  
И, услышавъ то, Алена Дмитрѣвна  
Задрожала вся, моя голубушка,  
Затряслась, какъ чисточекъ осиновый,  
Горько-горько она восплакала,  
Въ ноги мужу повалилася.

„Государь ты мой, красно-солнышко,  
Иль убей меня, или выслушай!  
Твои рѣчи—будто острый ножъ;  
Отъ нихъ сердце разрывается.  
Не боюся смерти лютыя,  
Не боюся я людской молвы,  
А боюсь твоей немилости.  
Отъ вечерни я домой шла ионече  
Вдоль по улицѣ одицешенъка.  
И послышалось мнѣ, будто снѣгъ хру-  
стить;

Оглянулася—человѣкъ бѣжитъ.  
Мои ноженъки подкосились,  
Шолковой фатой я закрылася.  
И онъ сильно схватилъ меня за руки  
И сказалъ мнѣ такъ тихимъ шепотомъ:  
— Что пужаешься, красная красавица?  
Я не воръ какой, душегубъ лѣсной,  
Я слуга царя, царя грознаго,  
Прозываюся Кирибѣчемъ,  
А изъ славной семьи изъ Малютиной...

„Испугалась я пуще прежняго;  
Закружилася моя бѣдная головушка.  
И онъ сталъ меня цѣловать-ласкать,  
И, цѣля, все приговаривалъ:  
— Отвѣчай мнѣ, чего тебѣ надобно,  
Моя милая, драгоцѣнная!

Хочешь золота, али жемчугу?  
Хочешь яркихъ камней, аль цвѣтной  
парчи?

Какъ царицу, я наряжу тебя,  
Стануть вѣтъ тебѣ завидовать.  
Лишь не дай мнѣ умереть смертью  
грѣшною:

Полюби меня, обними меня  
Хоть единый разъ на прощаніе!  
И ласкалъ онъ меня, цѣловалъ меня:  
На щекахъ моихъ и теперь горятъ,  
Живымъ пламенемъ разливаются  
Поцѣлуи его окаянныя...  
А смотрѣли въ калитку сосѣдушки;  
Смѣючись, на насъ пальцемъ показы-  
вали...

„Какъ изъ рукъ его я рванулася  
И домой стремглавъ бѣжать броси-  
лася;  
И остались въ рукахъ у разбойника  
Мой узорный платокъ—твой подаро-  
чекъ,

И фата моя бухарская.  
Опозорилъ онъ, осрамилъ меня,  
Меня, честную, непорочную—  
И что скажутъ злыясосѣдушки?  
И кому на глаза покажусь теперь?  
„Ты не дай меня, свою вѣрную жену,  
Злымъ охульникамъ въ поруганіе!  
На кого, кроме тебѣ, мнѣ надѣяться?  
У кого просить стану помощи?  
На бѣлобѣдъ свѣтѣ я сиротинушка;  
Родной батюшка ужъ въ сырой землѣ,  
Рядомъ съ нимъ лежитъ моя матушка;  
А мой старшій братъ, самъ ты вѣдаешь,  
На чужой сторонушкѣ пропалъ безъ  
вѣсти;

А меньшой мой братъ—дитя малое,  
Дитя малое, неразумное...“

Говорила такъ Алена Дмитрѣвна;  
Горючими слезами заливалася.  
Посылаетъ Степанъ Парамоновичъ  
За двумя меньшими братьями;  
И пришли его два брата, поклонилися,  
И такое слово ему молвили:  
„Ты повѣдай намъ, старшой нашъ  
брать,  
Чтѣ съ тобой случилось, приключилось,  
Что послалъ ты за нами во темную  
ночь

Во темную ночь морозную?“

— Я скажу вамъ, братцы любезные,  
Что лиха бѣда со мною приключи-  
лася:

Опозорилъ семью нашу честную  
Злой опричникъ царскій, Кирибѣ-  
вичъ;

А такой обиды не стерпѣть душѣ,  
Да не вынести сердцу молодецкому.  
Ужъ какъ завтра будетъ кулачный  
бой

На Москвѣ-рѣкѣ при самомъ царѣ,  
И я выйду тогда на опричника.  
Буду на-смерть биться, до послѣд-  
нихъ силъ;

А побьетъ онъ меня—выходите вы  
За святую правду-матушку.

Не срѣбѣйте, братцы любезные!  
Вы моложе меня, свѣжѣй силою,  
На вѣсъ менѣше грѣховъ накопилось,  
Такъ авось Господь вѣсъ помилуетъ!

И вѣтъ ему братья молвили:  
“Куда вѣтеръ дуетъ вѣ поднебесъ,  
Туда мчится и тучки послушныя;  
Когда сизый орелъ зоветъ голосомъ  
На кровавую долину побоища,  
Зоветъ пиръ пировать, мертвѣцовъ  
убирать,

Къ нему малые орлята слетаются:  
Ты нашъ старшій братъ, намъ второй  
отецъ;  
Дѣлай самъ, какъ знаешь, какъ вѣ-  
даешь;  
А ужъ мы тебя, роднаго, не выдадимъ!”

\* \* \*

Ай, ребята, пойте — только гусли  
стройте!

Ай, ребята, пейте—дѣло разумѣйте!  
Ужъ потѣште вы доброго боярина  
И боярню его бѣлолицую!

### III.

Надъ Москвой великой, златоглавою,  
Надъ стѣнной кремлевской, бѣлокамен-  
ной,  
Изъ-за дальнихъ лѣсовъ, изъ-за си-  
нихъ горъ,

По тесовымъ кровелькамъ играючи,  
Тучки сѣрыя разгоняючи,  
Заря алая подымается;  
Разметала кудри золотистыя,  
Умывается снѣгами разсыпчатыми;  
Какъ красавица, глядя въ зеркальцо,  
Въ небо чистое смотрить, улыбается.  
Ужъ зачѣмъ ты, алая заря, просыпа-  
лася?

На какой ты радости разыгралася?  
Какъ сходилися, собиралися  
Удалые бойцы московскіе  
На Москву-рѣку, на кулачный бой,  
Разгуляться для праздника, потѣ-  
шиться.

И пріѣхалъ царь со дружиною,  
Со боярами и опричниками,  
И велѣлъ растянуть цѣпь серебря-  
ную,  
Чистымъ золотомъ въ кольцахъ  
спаянную.  
Опѣли мѣсто вѣ двадцать пять  
саженъ  
Для охотничьаго боку, одиночнаго.  
И велѣлъ тогда царь Иванъ Василье-  
вичъ

Кличь кликать звонкимъ голосомъ:  
“Ой, ужъ гдѣ вы, добрые молодцы?  
Вы потѣште царя, нашего батюшку!  
Выходите-ка во широкій кругъ;  
Кто побьетъ кого, того царь награ-  
дить,  
А кто будетъ побить, тому Богъ  
простить!”

И выходитъ удалой Кирибѣвичъ,  
Царю вѣ поясь молча кланяется,  
Скидаетъ съ могучихъ плечъ шубу  
бархатную.  
Поднершился вѣ бокъ рукою правою,  
Поправляетъ другой шапку алую,  
Ожидаетъ онъ себѣ противника...  
Трижды громкій кличъ прокликали—  
Ни одинъ боецъ и не тронулся,  
Лишь стоять, да другъ друга потал-  
киваютъ.

На просторѣ опричникъ похаживаетъ,  
Надъ плохими бойцами подсѣмѣ-  
ваетъ:  
“Присмирѣли, не бойсь, призадума-  
лись!

Такъ и быть, обѣщаюсь, для празд-  
ника,  
Отпущу живого съ покаяніемъ,  
Лишь потѣшу царя, нашего батюшку".  
Вдругъ толпа раздалась на обѣ сто-  
роны—  
И выходитъ Степанъ Парамоновичъ,  
Молодой куцецъ, удалой боецъ,  
По прозванию Калашниковъ.  
Поклонился прежде царю гроаному,  
Послѣ бѣлому Кремлю да святымъ  
церквамъ,  
А потомъ всему народу русскому.  
Горятъ очи его соколиные,  
На опричника смотрятъ пристально.  
Супротивъ него онъ становится,  
Боевые рукавицы натягиваются,  
Могутныя плечи распрямливаются,  
Да кудряву бороду поглаживается.  
И сказалъ ему Кирибѣевичъ:  
„А повѣдай мнѣ, добрый молодецъ,  
Ты какого рода, племени,  
Какимъ именемъ прозываешься?  
Чтобы знать, по комъ панихиду слу-  
жить,  
Чтобы было чѣмъ и похвастаться".  
Отвѣчаетъ Степанъ Парамоновичъ:  
„А зовутъ меня Степаномъ Калашни-  
ковымъ,  
А родился я отъ честнова отца.  
И жилъ я по закону Господнemu:  
Не позорилъ я чужой жены,  
Не разбойничалъ ночью темною,  
Не таился отъ свѣта небеснаго...  
И промолвилъ ты правду истинную:  
По одному изъ нась будуть панихиду  
пѣть,  
И не позже, какъ завтра въ часъ по-  
луденный;  
И одинъ изъ нась будетъ хвастаться,  
Съ удалыми друзьями пирующи...  
Не шутку шутить, не людей смѣшить  
Къ тебѣ вышелъ я теперь, басурман-  
скій сынъ,  
Вышелъ я на страшный бой, на по-  
слѣдній бой!"  
И, услышавъ то, Кирибѣевичъ  
Поблѣднѣлъ въ лицѣ, какъ осенний  
снѣгъ;  
Бойки очи его затуманились,

Между сильныхъ плечъ пробѣжалъ  
морозъ,  
На раскрытыхъ устахъ слово за-  
мерло...  
Вотъ молча оба расходятся,  
Богатырскій бой начинается.  
Размахнулся тогда Кирибѣевичъ  
И ударилъ въ-первой купца Калаш-  
никова,  
И ударилъ его посередь груди—  
Затрещала грудь молодецкая,  
Поматнулся Степанъ Парамоновичъ,  
На груди его широкой висѣлъ мѣд-  
ный крестъ  
Со святыми мощами изъ Киева;  
И погнулся крестъ, и вдавился въ  
грудь;  
Какъ роса изъ-подъ него кровь за-  
капала.  
И подумалъ Степанъ Парамоновичъ:  
„Чему быть суждено, то и сбудется;  
Постою за правду до-послѣднія!"  
Изловчился онъ, приготовился,  
Собрался со всему силою  
И ударилъ своего ненавистника  
Прямо въ лѣвый високъ со всего  
плеча.  
И опричникъ молодой застоналъ слегка,  
Закачался, упалъ замертью;  
Повалился онъ на холодный снѣгъ,  
На холодный снѣгъ, будто сосенка,  
Будто сосенка, во сыромъ бору  
Подъ смолистый подъ корень подру-  
бленная.  
И, увидѣвъ то, царь Иванъ Василье-  
вичъ  
Прогнѣвался гнѣвомъ, топнулъ о землю  
И нахмурилъ брови черныя;  
Повелѣлъ онъ схватить удалого купца  
И привести его предъ лицо свое.  
Какъ возговорилъ православный царь:  
„Отвѣчай мнѣ по правдѣ, по совѣ-  
сти,  
Вольной волею, или нехотя  
Ты убилъ на смерть мово вѣрнаго  
слугу,  
Мово лучшаго бойца, Кирибѣевича?"  
— Я скажу тебѣ, православный царь:  
Я убилъ его вольной волею,  
А за что, про что—не скажу тебѣ;

Скажу только Богу единому.  
Прикажи меня казнить—и на плаху  
несть  
Миѣ головушку повинную;  
Не оставь лишь малыхъ дѣтушекъ,  
Не оставь молодую вдову,  
Да двухъ братьевъ моихъ своей ми-  
лостью...

„Хорошо тебѣ, дѣтинушка,  
Удалой боецъ, сынъ купеческій,  
Что отвѣтъ держалъ ты по совѣсти.  
Молодую жеиу и сиротъ твоихъ  
Изъ казны моей я пожалую,  
Твоимъ братьямъ велю отъ сего же  
дня  
По всему царству русскому широ-  
кому

Торговать бездакно, беспощадно.  
А ты самъ ступай, дѣтинушка,  
На высокое мѣсто лобное,  
Сложи свою буйную головушку.  
Я топоръ велю наточить-навострить,  
Палача велю одѣть-нарядить,  
Въ большой колоколь прикажу зво-  
нить,  
Чтобы знали всѣ люди московскіе,  
Что и ты не оставленъ моей мило-  
стью...“

Какъ на площади народъ собирается;  
Заунывный гудить-воетъ колоколь,  
Разглашаетъ всюду вѣсть недобрую;  
По высокому мѣstu лобному,  
Во рубахѣ красной съ яркой запонкой,  
Съ большимъ топоромъ, навострен-  
нымъ,

Руки голыя потираючи,  
Палачъ весело похаживаетъ,  
Удалова бойца дожидается;  
А лихой боецъ, молодой купецъ,  
Со родными братьями прощается:  
„Ужъ вы, братцы мои, други кров-  
ные,

Поцѣлуетесь, да обниметесь  
На послѣднее разставаніе.

Поклонитесь отъ меня Аленѣ Дми-  
тревнѣ,  
Закажите ей меныше печалиться,  
Про меня моимъ дѣтушкамъ не ска-  
зывать.

Поклонитесь дому родительскому,

Поклонитесь всѣмъ нашимъ товари-  
щамъ,  
Помолитесь сами въ церкви Божіей  
Вы за душу мою, душу грѣшную!”  
И казнили Степана Калашникова  
Смертью лютую, дозворною;  
И головушка безтаканная  
Во крови на плаху покатилася.  
Схоронили его за Москвой-рѣкой,  
На чистомъ полѣ промежъ трехъ  
дорогъ:  
Промежъ тульской, рязанской, вла-  
димирской,  
И бугоръ земли сырой тутъ насы-  
пали,  
И кленовый крестъ тутъ поставили.  
И гуляютъ, шумятъ вѣтры буйные  
Надъ его безыменной могилкою.  
И проходить мимо люди добрые:  
Пройдетъ старъ человѣкъ—перекре-  
стится,  
Пройдетъ молодецъ—пріосанится,  
Пройдетъ дѣвица—пригорюнится,  
А пройдутъ гусляры—споютъ пѣ-  
сенку.

\* \* \*

Гей вы, ребята удалые,  
Гусляры молодые,  
Голоса заливные!  
Красно начинали—красно и кончайте;  
Каждому правдою и честью воздайте.  
Тароватому боярину слава!  
И красавицѣ боярынѣ слава!  
И всему народу христіанскому  
слава!

### М ы р и.

Вкусная вкусихъ мало меда,  
и се азъ умираю.  
И Книга Царствъ.

Русскій генераль нашелъ въ горахъ маленькаго горскаго мальчика; онъ взялъ его умирающаго отъ голода и передалъ монахамъ одного монастыря; мальчикъ сначала не хотѣлъ даже принимать пищи,—онъ гордо умиралъ, но потомъ понемногу успокоился, остался въ монастырѣ и здѣсь росъ. Но счастья и душев-

ной тишины онъ адѣсь не нашелъ,—его постоянно тянуло къ родныхъ горамъ. Однажды онъ исчезъ на нѣсколько дней. Монахи нашли его недалеко отъ монастыря умирающимъ. Вотъ его разсказъ о жизни на волѣ:

### III.

„Ты слушать исповѣдь мою  
Сюда пришелъ,—благодарю.  
Все лучше передъ кѣмъ-нибудь  
Словами облегчить мнѣ грудь;  
Но людямъ я не дѣлалъ зла,  
И потому мои дѣла  
Не много пользы вамъ узнать—  
А душу можно лѣ разсказать?  
Я мало жилъ, и жилъ въ плѣну.  
Такихъ двѣ жизни за одну,  
Но только полную тревогъ,  
Я промѣнялъ бы, если бъ могъ.  
Я зналъ одной лишь думы власть,  
Одну—но пламенную страсть:  
Она какъ червь во мнѣ жила,  
Изгрызла душу и сожгла.  
Она мечты мои звала  
Отъ келій душныхъ и молитвъ  
Въ тотъ чудный міръ тревогъ и битвъ,  
Гдѣ въ тучахъ прячутся скалы,  
Гдѣ люди волны какъ орлы.  
Я эту страсть во тьмѣ ночной  
Вскормилъ слезами и тоской;  
Ее предъ небомъ и землей  
Я нынѣ громко признаю  
И о прощеньи не молю.

### IV.

„Старикъ, я слышалъ много разъ,  
Что ты меня отъ смерти спась—  
Зачѣмъ?.. Угрюмъ и одинокъ,  
Грозой оторванный листокъ,  
Я выросъ въ сумрачныхъ стѣнахъ,  
Душой дитя, судьбой монахъ.  
Я никому не могъ сказать  
Священныхъ словъ „отецъ“ и „мать“.  
Конечно, ты хотѣлъ, старикъ,  
Чтобъ я въ обители отвыкъ  
Отъ этихъ сладостныхъ именъ—  
Напрасно звуки ихъ былъ рожденъ  
Со мной. Я видѣлъ у другихъ

Отчизну, домъ, друзей, родныхъ,  
А у себя не находилъ  
Не только милыхъ душъ—могилъ!  
Тогда, пустыхъ не трата слезъ,  
Въ душѣ я клятву произнесъ:  
Хотя на мигъ когда-нибудь  
Мою пылающую грудь  
Прижать съ тоской къ груди другой,  
Хоть не знакомой, но родной.  
Увы! теперь мечтанья тѣ  
Погибли въ полной красотѣ,  
И я, какъ жиль въ землѣ чужой,  
Умру рабомъ и сиротой.

### V.

„Меня могила не страшить:  
Тамъ, говорить, страданье спить  
Въ холодной вѣчной тишинѣ.  
Но съ жизнью жаль разстаться мнѣ.  
Я молодъ, молодъ... зналъ ли ты  
Разгульной юности мечты?

### VI.

„Ты хочешь знать, что видѣлъ я  
На волѣ?—Пышные поля,  
Холмы, покрытые вѣнцомъ  
Деревъ, разросшихся кругомъ,  
Шумящихъ свѣжею толпой,  
Какъ братья, въ пляскѣ круговой.  
Я видѣлъ груды темныхъ скалъ,  
Когда потокъ ихъ раздѣлялъ,  
И думы ихъ я угадалъ:  
Мнѣ было свыше то дано!  
Простерты въ воздухѣ давно  
Обѣтая каменные ихъ  
И жаждутъ встречи каждый мигъ;  
Но дни бѣгутъ, бѣгутъ года—  
Имъ не сойтися никогда!  
Я видѣлъ горные хребты,  
Причудливые какъ мечты,  
Когда въ часъ утренней зари  
Курились, какъ алтари,  
Ихъ высі въ небѣ голубомъ,  
И облачко за облачкомъ,  
Покинувъ тайный твой ночлегъ,  
Къ востоку направляло бѣгъ—  
Какъ будто бѣлый караванъ  
Залетныхъ птицъ изъ разныхъ странъ!

Вдали я видѣлъ сквозь туманъ,  
Въ снѣгахъ, горящихъ какъ алмазъ,  
Сѣдой, незыблемый Кавказъ—  
И было сердцу моему  
Легко, не знаю почему.  
Мнѣ тайный голосъ говорилъ,  
Что нѣкогда и я тамъ жилъ,  
И стало въ памяти моей  
Прошедшее яснѣй, яснѣй...

Онъ говорить, что на волѣ яснѣе вспомнилъ отцовскій домъ и вольную жизнь горцевъ.

### VIII.

„Ты хочешь знать, что дѣлалъ я  
На волѣ? Жилъ—и жизнь моя  
Безъ этихъ трехъ блаженныхъ дней  
Была бъ печальнѣй и мрачнѣй  
Безсильной старости твоей.  
Давнымъ-давно задумалъ я  
Взглянуть на дальняя поля;  
Узнать, прекрасна ли земля;  
Узнать, для воли иль тюрьмы  
На этотъ свѣтъ родимся мы,—  
И въ часъ ночной, ужаснѣй часъ,  
Когда гроза пугала васъ,  
Когда, стоянья при алтарѣ,  
Вы ницъ лежали на землѣ,  
Я убѣжалъ. О! я какъ братъ  
Обняться съ бурей былъ бы радъ!  
Глазами тучи я слѣдилъ,  
Рукою молнію ловилъ...  
Скажи мнѣ, что средь этихъ стѣнъ  
Могли бы дать вы мнѣ взамѣнъ  
Той дружбы краткой, но живой,  
Межъ бурнымъ сердцемъ и грозой?..

### IX.

„Бѣжалъ я долго—гдѣ? куда?  
Не знаю! Ни одна звѣзда  
Не озаряла трудный путь.  
Мнѣ было весело вдохнуть  
Въ мою измученную грудь  
Ночную свѣжестъ тѣхъ лѣсовъ—  
И только.  
Я самъ, какъ звѣрь, былъ чуждъ людей,  
И ползъ и прятался какъ змѣй.

### XI.

„Кругомъ меня цвѣлъ Божій садъ;  
Растеній радужный нарядъ  
Хранилъ слѣды небесныхъ слезъ,  
И кудри виноградныхъ лозъ  
Вились, красуясь, межъ деревъ  
Прозрачной зеленью листовъ;  
И грозды полные на нихъ,  
Серегъ подобье дорогихъ,  
Висѣли пышно, и порой  
Къ нимъ птицы леталъ пугливый рой.  
И снова я къ землѣ припалъ,  
И снова вслушиваться сталъ  
Къ волшебнымъ, страннымъ голосамъ;  
Они шептались по кустамъ,  
Какъ будто рѣчъ свою вели  
О тайнахъ неба и земли;  
И всѣ природы голоса  
Сливались тутъ; не раздался  
Въ торжественный хваленія часъ  
Лишь человѣка гордый гластъ.  
Все, что я чувствовалъ тогда,  
Тѣ думы—имъ ужъ нѣть слѣда—  
Но я бъ желалъ ихъ разсказать,  
Чтобъ жить, хоть мысленно, опять.  
Въ то утро былъ небесный сводъ  
Такъ чистъ, что ангела полетъ  
Прилежный взоръ слѣдить бы могъ;  
Онъ такъ прозрачно былъ глубокъ,  
Такъ полонъ ровной синевой!  
Я въ немъ глазами и душой  
Тонулъ, пока полдневный зной  
Мои мечты не разогналъ,  
И жаждой я томиться сталъ.

### XII.

„Тогда къ потоку съ высоты,  
Держась за гибкие кусты,  
Съ плиты на плиту я, какъ могъ,  
Спускаться началъ. Изъ-подъ ногъ  
Сорвавшись, камень иногда  
Катился внизъ—за нимъ бразда  
Дынилась, прахъ вился столбомъ;  
Гудя и прыгая, потомъ  
Онъ поглощаемъ былъ волной;  
И я висѣлъ надъ глубиной—  
Но юность вольная сильна,

И смерть казалась не страшна!  
Лишь только я съ крутыхъ высотъ  
Спустился, свѣжесть горныхъ водъ  
Повѣяла на встрѣчу мнѣ,  
И жадно я припалъ къ волнѣ.  
Вдругъ голосъ—легкій шумъ шаговъ...  
Мгновенно скрывшись межъ кустовъ,  
Невольнымъ трепетомъ облыть,  
Я поднялъ боязливый взглядъ  
И жадно вслушиваться сталъ:  
И ближе, ближе все звучаль  
Грузинки голосъ молодой,  
Такъ безъискусственно живой,  
Такъ сладко вольный, будто онъ  
Лишь звуки дружескихъ именъ  
Произносить былъ пріученъ.  
Простая пѣсня то была,  
Но въ мысль она мнѣ залегла,  
И мнѣ, лишь сумракъ настаетъ,  
Незримый духъ ее поетъ.

### XIII.

„Держа кувшинъ надъ головой,  
Грузинка узкою тропой  
Сходила къ берегу. Порой  
Она скользила межъ камней,  
Смѣясь неловкости своей.  
И бѣденъ былъ ея нарядъ;  
И шла она легко, назадъ  
Изгибы длинные чадры  
Откинувъ. Лѣтніе жары  
Покрыли тѣнью золотой  
Лицо и грудь ея; и зной  
Дышалъ отъ устъ ея и щекъ.  
И мракъ очей былъ такъ глубокъ,  
Такъ полонъ тайнами любви,  
Что думы пылкія мои  
Смутились. Помни только я  
Кувшина звонъ—когда струя  
Вливалась медленно въ него—  
И шорохъ... больше ничего.  
Когда же я очнулся вновь  
И отлила отъ сердца кровь,  
Она была ужъ далеко;  
И шла хоть тише—но легко,  
Стройна подъ ношкою своей,  
Какъ тошль, царь ея полей...  
Недалеко въ прохладной мглѣ,  
Казалось, приросли къ скаль

Двѣ сакли дружною четой;  
Надъ плоской кровлею одной  
Дымокъ струился голубой.  
Я вижу будто бы теперь,  
Какъ отперлась тихонъко дверь  
И затворилася опять...  
—Тебѣ, я знаю, не понять  
Мою тоску, мою печаль;  
И если бъ могъ—мнѣ было бъ жаль:  
Воспоминанья тѣхъ минутъ  
Во мнѣ, со мной пускай умрутъ.

### XIV.

„Трудами ночи изнуренъ,  
Я легъ въ тѣнн. Отрадный сонъ  
Сомкнуль глаза невольно мнѣ...  
И снова видѣлъ я во снѣ  
Грузинки образъ молодой.  
И странной, сладкою тоской  
Опять моя заныла грудь.  
Я долго силился вдохнуть—  
И пробудился. Ужъ луна  
Вверху сияла, и одна  
Лишь тучка кралася за ней,  
Какъ за добычею своей,  
Облытья жадныя раскрывъ.  
Міръ теменъ былъ и молчаливъ;  
Лишь серебристой бахромой  
Вершины пѣпи снѣговой  
Вдали сверкали предо мной,  
Да въ берега плескаль потокъ.  
Въ знакомой сакль огонекъ  
То трепеталъ, то снова гасъ:  
На небесахъ въ полночный часъ  
Такъ гаснетъ яркая звѣзда!  
Хотѣлось мнѣ... но я туда  
Взойти не смѣлъ. Я цѣль одну,  
Пройти въ родимую страну,  
Имѣль въ душѣ—и превозмогъ  
Страданье голода, какъ могъ.  
И вотъ дорогою прямой  
Пустился, робкій и нѣмой;  
Но скоро въ глубинѣ лѣсной  
Изъ виду горы потерялъ  
И тутъ съ пути сбиваться сталъ.

### XV.

Но, вѣрь мнѣ, помоши людской  
Я не желалъ... Я былъ чужой

Для нихъ на вѣкъ, какъ звѣрь степной;  
И если бъ хоть минутный крикъ  
Мнѣ измѣнилъ—клянусь, старикъ,  
Я бъ вырвалъ слабый мой языкъ.  
Ночью произошла его встрѣча съ барсомъ.

### XVIII.

„Ко мнѣ онъ кинулъ на грудь;  
Но въ горло я успѣлъ воткнуть  
И тамъ два раза повернуть  
Мое оружье... Онъ завылъ,  
Рванулъ изъ послѣднихъ силъ,  
И мы, сплелись, какъ пара змѣй,  
Обнявшись крѣпче двухъ друзей,  
Упали разомъ, и во мглѣ  
Бой продолжался на землѣ.  
И я былъ страшнѣй въ этотъ мигъ;  
Какъ барсъ пустыннѣй, золъ и дикъ,  
Я пламенѣлъ, визжалъ, какъ онъ:  
Какъ будто самъ я былъ рожденъ  
Въ семействѣ барсовъ и волковъ  
Подъ свѣжимъ пологомъ лѣсовъ.  
Казалось, что слова людей  
Забылъ я—и въ груди моей  
Родился тотъ ужасный крикъ,  
Какъ будто съ дѣтства мой языкъ  
Къ иному звуку не привыкъ...  
Но врагъ мой сталъ изнемогать,  
Метаться, медленнѣй дышать,  
Сдавилъ меня въ послѣдній разъ...  
Зрачки его недвижныхъ глазъ  
Блеснули грозно—и потомъ  
Закрылись тихо вѣчнымъ сномъ;  
Но съ торжествующимъ врагомъ  
Онъ встрѣтилъ смерть лицомъ къ лицу,  
Какъ въ битвѣ слѣдуетъ бойцу!..

Долго онъ блуждалъ въ горахъ.—Наконецъ увидалъ стѣны того монастыря,  
изъ котораго бѣжалъ. Онъ противъ воли  
вернулся къ своей темницѣ. Измученный  
усталостью и голодомъ, онъ изнемогъ.

Палилъ меня  
Огонь безжалостнаго дна.  
Напрасно пряталъ я въ траву  
Мою усталую главу:  
Изохшій листъ ея вѣнцомъ  
Терновымъ надъ моимъ челомъ  
Свивался—и въ лицо огнемъ

Сама земля дышала мнѣ.  
Сверкава быстро въ вышинѣ,  
Кружились искры; съ бѣлыхъ скаль  
Струился паръ. Міръ Божій спалъ,  
Въ опѣнѣніи глухомъ,  
Отчаянья тяжелымъ сномъ.  
Хотя бы крикнулъ коростель,  
Иль стрекозы живая трель  
Посыпалась, или ручья  
Рѣбачій лепеть... Лишь змѣя,  
Сухимъ бурьянномъ шелестя,  
Сверкава желтою спиной,  
Какъ будто надписью златой  
Покрытый до низу клинокъ,  
Браздя разсыпчатый песокъ,  
Скользила бережно; потомъ,  
Играя, нѣжася на немъ,  
Тройнымъ свивалася кольцомъ;  
То, будто вдругъ обожжена,  
Металась, прыгала она  
И въ дальнихъ пряталась кустахъ...

### XXIII.

„И было все на небесахъ  
Свѣтло и тихо. Сквозь пары  
Вдали чернѣли двѣ горы.  
Нашъ монастырь изъ-за одной  
Сверкалъ зубчатою стѣной.  
Внизу Арагва и Кура.

### XXV.

„Прощай, отецъ... дай руку мнѣ:  
Ты чувствуешь, моя въ огнѣ...  
Знай, этотъ пламень, съ юныхъ дней  
Таися, жилъ въ груди моей;  
Но иныѣ пищи нѣтъ ему,  
И онъ прохоргъ свою тюрьму  
И возвратится вновь къ Тому,  
Кто всѣмъ законной чередой  
Даетъ страданье и покой...  
Но чѣмъ мнѣ въ томъ? Пускай въ раю,  
Въ святомъ, заоблачномъ краю,  
Мой духъ найдетъ себѣ пріютъ...  
Увы! за нѣсколько минутъ  
Между крутыхъ и темныхъ скаль,  
Гдѣ я въ ребячествѣ игралъ,  
Я бъ рай и вѣчность промѣнялъ!..

## XXVI.

„Когда я стану умирать,  
И, вѣрь, тебѣ не долго ждать—  
Ты перенесть меня вѣли  
Въ нашъ садъ, въ то мѣсто, гдѣ цвѣли  
Акацій бѣлыхъ два куста...  
Трава межъ ними такъ густа,  
И свѣжій воздухъ такъ душистъ,  
И такъ прозрачно золотистъ  
Играющій на солнцѣ листъ;  
Тамъ положить вѣли меня.  
Сияньемъ голубого дня  
Упьюся я въ послѣдній разъ.  
Оттуда виденъ и Кавказъ!  
Быть можетъ, онъ съ своихъ высотъ  
Привѣтъ прощальныи мнѣ пришлетъ,  
Пришлетъ съ прохладнымъ вѣтеркомъ.  
И близъ меня передъ концомъ  
Родной опять раздастся звукъ!  
И стану думать я, что другъ  
Иль братъ, склонившись надо мной,  
Отеръ внимательной рукой  
Съ лица кончины хладный потъ,  
И что вполногоса поетъ  
Онъ мнѣ про милую страну...  
И съ этой мыслью я засну  
И никого не прокляну...  
—

## П О Э М Ы.

### Д е м о нъ.

Восточная повѣсть.

#### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

##### I.

Печальный Демонъ, духъ изгнанья,  
Леталъ надъ грѣшною землей;  
И лучшихъ дней воспоминанья  
Предъ нимъ тѣснилися толпой—  
Тѣхъ дней, когда въ жилищѣ свѣта  
Блисталъ онъ, чистый херувимъ,  
Когда бѣгущая комета  
Улыбкой ласковой привѣта  
Любила помѣняться съ нимъ;  
Когда сквозь вѣчные туманы,

Познанья жадный, онъ слѣдилъ  
Кочующіе караваны  
Въ пространствѣ брошенныхъ свѣтиль;  
Когда онъ вѣрилъ и любилъ,  
Счастливый первенецъ творенья,  
Не зналъ ни страха, ни сомнѣнья,  
И не грозилъ уму его  
Вѣковъ безплодныхъ рядъ унылый...  
И много, много... и всего  
Припомнить не имѣлъ онъ силы.

##### II.

Давно, отверженный, блуждалъ  
Въ пустынѣ мѣра безъ приюта.  
Вослѣдъ за вѣкомъ вѣкъ бѣжалъ,  
Какъ за минутою минута,  
Однообразной чередой.  
Ничтожной властвую землей,  
Онъ сѣялъ зло безъ наслажденія;  
Нигдѣ искусству своему  
Онъ не встрѣчалъ сопротивленія—  
И зло наскучило ему.

##### III.

И надъ вершинами Кавказа  
Изгнаникъ рая пролеталъ.  
Подъ нимъ Каабекъ, какъ грань алмаза,  
Сиѣгами вѣчными сіялъ,  
И глубоко внизу чернѣя,  
Какъ трещина, жилище змѣя,  
Вился излучистый Дарьялъ,  
И Терекъ, прыгая какъ львица  
Съ косматой гривой на хребтѣ,  
Ревѣлъ,—и хищный звѣрь, и птица  
Кружась въ лазурной высотѣ,  
Глаголу водъ его внимали,  
И золотыя облака  
Изъ южныхъ странъ, издалека,  
Его на сѣверъ провожали;  
И скалы тѣсною толпой,  
Таинственной дремоты полны,  
Надъ нимъ склонялись головой,  
Слѣдя мелькающія волны;  
И башни замковъ на скалахъ  
Смотрѣли грозно сквозь туманы;  
У вратъ Кавказа на часахъ  
Сторожевые великаны!  
И дикъ, и чуденъ былъ вокругъ

Весь Божий міръ, но гордый духъ  
Презрительнымъ окинулъ окомъ  
Творенъя Бога своего,  
И на чель его высокомъ  
Не отразилось ничего.

Онъ пролеталъ надъ Грузіей и уви-  
дѣлъ красавицу Тамару, невѣсту князя  
Синодала; въ послѣдній разъ она, въ обще-  
ствѣ подругъ, утѣшалась пляской.

#### IV.

И вотъ она, одной рукой  
Кружа его надъ головой,  
То вдругъ помчится легче птицы,  
То остановится—глядѣть,  
И влажный взоръ ея блеститъ  
Изъ-подъ завистливой рѣсицы;  
То черной бровью поведеть,  
То вдругъ наклонится немножко,  
И по ковру скользить, плыть  
Ея божественная ножка;  
И улыбается она,  
Веселья дѣтскаго полна.  
И лучъ луны, по влагѣ зыбкой  
Слегка играющій порой,  
Едва ль сравнится съ той улыбкой,  
Какъ жизнь, какъ молодость, живой.

#### VII.

Клянусь полночною звѣздой,  
Лучомъ заката и востока,  
Властитель Персіи златой  
И ни единъ царь земной  
Не цѣловалъ такого ока;  
Гарема брызгущій фонтанъ  
Ни разу, жаркою порою,  
Своей алмазною росою  
Не омывалъ подобный станъ;  
Еще ничья рука земная,  
По милому челу блуждая,  
Такихъ волосъ не расплела.  
Съ тѣхъ поръ, какъ міръ лишился разъ,  
Клянусь, красавица такая  
Подъ солнцемъ юга не цвѣла.

#### IX.

И Демонъ видѣлъ... На мгновеніе  
Неизѣяснимое волненіе

Въ себѣ почувствовалъ онъ вдругъ.  
Нѣмой души его пустыню  
Наполнилъ благодатный звукъ,  
И вновь постигнулъ онъ святыню  
Люби, добра и красоты...  
И долго сладостной картиной  
Онъ любовался—и мечты  
О прежнемъ счастѣ цѣпью длинной,  
Какъ будто за звѣздой звѣзда,  
Предъ нимъ катилися тогда.  
Прикованный незримой силой,  
Онъ съ новой грустью стала знакомъ,  
Въ немъ чувство вдругъ заговорило  
Роднымъ когда-то языкомъ.  
То былъ ли признакъ возрожденья?  
Онъ словъ коварныхъ искушенія  
Найти въ умѣ своемъ не могъ.  
Забыть?—Забвенія не даль Богъ  
Да онъ и не взялъ бы забвенія...

Демонъ погубилъ молодого жениха;  
конь его примчался къ Тамарѣ съ мертвымъ всадникомъ.

#### XV.

На беззаботную семью,  
Какъ громъ, слетѣла Божья кара.  
Упала на постель свою,  
Рыдаетъ бѣдная Тамара;  
Слеза катится за слезой,  
Грудь высоко и трудно дышать...  
И вотъ она какъ будто слышитъ  
Волшебный голосъ надъ собой:  
„Не плачь, дитя, не плачь напрасно!  
Твоя слеза на трупъ безгласный  
Живой росой не упадетъ;  
Она лишь взоръ туманить ясный,  
Ланиты дѣственныя жжетъ!  
Онъ далеко, онъ не узнаетъ,  
Не оѣнить тоски твоей;  
Небесный свѣтъ теперь ласкаетъ  
Безплотный взоръ его очей;  
Онъ слышитъ райскіе напѣвы...  
Чтѣ жизни мелочныя сны,  
И стонъ, и слезы бѣдной дѣвы  
Для гостя райской стороны?  
Нѣтъ, жребій смертнаго творенія,  
Повѣрь мнѣ, ангелъ мой земной,  
Не стоять одного мгновенія  
Твоей печали дорогой!

„На воздушномъ океанѣ  
Безъ руля и безъ вѣтриль  
Тихо плаваютъ въ туманѣ  
Хоры стройные свѣтиль.  
Средь полей необозримыхъ  
Въ небѣ ходятъ безъ слѣда  
Облаковъ неуловимыхъ  
Волокнистыхъ стада.  
Часъ разлуки, часъ свиданья—  
Имъ не радость, не печаль;  
Имъ въ грядущемъ нѣть желанья,  
Имъ прошедшаго не жаль.  
Въ день томительный несчастья  
Ты о нихъ лишь вспомяни,  
Будь къ земному безъ участья  
И беспечна, какъ они!  
„Лишь только ночь своимъ покровомъ  
Верхи Кавказа осѣнить,  
Лишь только міръ, волшебнымъ сло-  
вомъ

Завороженный, замолчть;  
Лишь только вѣтеръ надъ скалою  
Увидшій шевельнеть травою,  
И птичка, спрятанная въ ней,  
Порхнеть во мракѣ веселый;  
И подъ лозою виноградной,  
Росу небесъ глотая жадно,  
Цвѣтокъ распустится ночной;  
Лишь только мѣсяцъ золотой  
Изъ-за горы тихонько встанеть  
И на тебя украдкой взглянетъ,—  
Къ тебѣ я стану прилетать,  
Гостить я буду до денницы,  
И на шелковыя рѣсницы  
Сны золотые навѣтъ...“

## XVI.

Слова умолкли... Въ отдаленіи  
Вослѣдъ за звукомъ умеръ звукъ...  
Она, вскочивъ, глядѣть вокругъ...  
Невыразимое смятенье  
Въ ея груди; печаль, испугъ,  
Восторга пыль—ничто въ сравненьи;  
Всѣ чувства въ ней кипѣли вдругъ.  
Душа рвала свои оковы,  
Огонь по жиламъ пробѣгалъ,  
И этотъ голосъ чудно новый,  
Ей мнилось, все еще звучалъ.  
И передъ утромъ сонъ желанный

Глаза усталые смежиль;  
Но мысль ея онъ возмутиль  
Мечтой пророческой и странной:  
Пришлецъ туманный и нѣмой,  
Красой блестая неземной,  
Къ ея склонился изголовью;  
И взоръ его съ такой любовью,  
Такъ грустно на нее смотрѣль,  
Какъ будто онъ обѣ ней жалѣль.  
То не былъ ангелъ-небожитель,  
Ея божественный хранитель:  
Вѣнецъ изъ радужныхъ лучей  
Не украшаль его кудрей;  
То не былъ ада духъ ужасный,  
Порочный мученикъ—о, нѣть!  
Онъ былъ похожъ на вечеръ ясный:  
Ни день, ни ночь, ни мракъ, ни свѣтъ!..

Этотъ голосъ смутиль Тамару; она то-  
скуетъ; наконецъ, уходить въ монастырь,  
но и тамъ покоя она не находить.

## V.

Но, полно думою преступной,  
Тамары сердце недоступно  
Восторгамъ чистымъ. Передъ ней  
Весь міръ одѣтъ угрюмой тѣнью;  
И все ей въ немъ предлогъ мученью—  
И утра лучъ, и мракъ ночныхъ.  
Бывало, только ночи сонной  
Прохлада землю обойметъ,  
Передъ божественной иконой  
Она въ безумыи упадеть  
И плачеть, и въ ночномъ молчаніи  
Ея тяжелое рыданье  
Тревожить путника вниманье,  
И мыслить онъ: „то горный духъ,  
Прикованный къ пещерѣ, стонеть!“  
И, чуткій напрягая слухъ,  
Коня измученнаго гонить...“

## VI.

Тоской и трепетомъ полна,  
Тамара часто у окна  
Сидѣть въ раздумья одинокомъ  
И смотрѣть въ даль прилежнымъ окомъ,  
И цѣлый день, вздыхая, ждеть...  
Ей кто-то шепчеть: „онъ придетъ!“  
Недаромъ сны ее ласкали,

Недаромъ онъ являлся ей  
Съ глазами полными печали  
И чудной нѣжностью рѣчей.  
Ужъ много дней она томится,  
Сама не зная почему;  
Святымъ захочеть ли молиться,  
А сердце молится ему;  
Утомлена борьбой всегдашней  
Склонится ли на ложе сна—  
Подушка жжетъ, ей душно, страшно,  
И вся, вскочивъ, дрожитъ она;  
Трепещетъ грудь, пылаютъ плечи,  
Нѣть силъ дышать, туманъ въ очахъ,  
Обытая жадно ищутъ встрѣчи,  
Лобзанья таютъ на устахъ...

• • • • • • • • • • • • • • •

Однажды Демонъ проникъ въ келью  
Тамары.

### VIII.

И входить онъ, любить готовый,  
Съ душой открытой для добра;  
И мыслить онъ, что жизни новой  
Пришла желанная пора.  
Неясный трепетъ ожиданья,  
Страхъ неизвѣстности нѣмой,  
Какъ будто въ первое свиданье,  
Спознались съ гордою душой;  
То было злое предвѣщанье...  
Онъ входить, смотрить, передъ нимъ  
Посланникъ рая—херувимъ,  
Хранитель грѣшницы прекрасной,  
Стоить съ блистающимъ чѣломъ,  
И отъ врага съ улыбкой ясной  
Пріосѣнилъ ее крыломъ...  
И лучъ божественного свѣта  
Вдругъ остыпилъ нечистый взоръ,  
И вмѣсто сладкаго привѣта  
Раздался тягостный укоръ:

### IX.

„Духъ беспокойный, духъ порочный,  
Кто звалъ тебя во тьмѣ полночной?  
Твоихъ поклонниковъ здѣсь нѣть;  
Зло не дышало здѣсь понынѣ!  
Къ моей любви, къ моей святынѣ  
Не пролагай преступный слѣдъ!

Кто звалъ тебя?“ Ему въ отвѣтъ  
Злой духъ коварно усмѣхнулся;  
Зардѣлся ревностю взглядъ,  
И вновь въ душѣ его проснулся  
Старинной ненависти ядъ.  
„Она моя!—сказалъ онъ грозно—  
Оставь ее! она моя!  
Явился ты, защитникъ, поздно,  
И ей, какъ мнѣ, ты не судья.  
На сердце, полное гордыни,  
Я наложилъ печать мою;  
Здѣсь больше нѣть твоей святыни;  
Здѣсь я владѣю и люблю!“  
И ангель грустными очами  
На жертву бѣдную взглянуль  
И, медленно взмахнувъ крылами,  
Въ зеирѣ неба потонуль...

### X.

Тамара. О, кто ты? Рѣчъ твоя  
опасна!  
Тебя послалъ мнѣ адъ иль рай?  
Чего ты хочешь?  
Демонъ. Ты прекрасна!  
Тамара. Но кто ты, кто ты?.. Отвѣ-  
чай!..  
Демонъ. Я тотъ, которому внимала  
Ты въ полночной тишинѣ,  
Чья мысль душѣ твоей шептала,  
Чью грусть ты смутно отгадала,  
Чей образъ видѣла во снѣ;  
Я тотъ, чей взоръ надежду губить,  
Едва надежда расцвѣтеть;  
Я тотъ, кого никто не любить,  
Но все живущее клянетъ.  
Ничто пространство мнѣ и годы;  
Я бичъ рабовъ моихъ земныхъ,  
Я царь познанья и свободы,  
Я врагъ небесъ, я зло природы,  
И видишь—я у ногъ твоихъ!  
Тебѣ принесъ я въ умиленыи  
Молитву тихую любви,  
Земное первое мученіе  
И слезы первыя мои.  
О, выслушай изъ сожалѣнья!  
Меня добру и небесамъ  
Ты возвратить могла бы словомъ;  
Твоей любви святымъ покровомъ  
Одѣтый, я предсталъ бы тамъ,

Какъ новый ангель, въ блескѣ новомъ.  
О! только выслушай, молю!  
Я рабъ твой, я тебя люблю!  
Лишь только я тебя увидѣлъ—  
И тайно вдругъ возненавидѣлъ  
Бесмертіе и власть мою.  
Я позавидовалъ невольно  
Неполной радости земной;  
Не жить, какъ ты, мнѣ стало больно,  
И страшно—розно жить съ тобой.  
Въ безкровномъ сердцѣ лучъ неждан-  
ный

Опять затѣпился живѣй,  
И грусть на днѣ старинной раны  
Зашевелилася какъ змѣй.  
Что безъ тебя мнѣ эта вѣчность?  
Моихъ владѣній безконечность?  
Пустыя звучныя слова,  
Обширный храмъ безъ божества!  
Тамара. Оставь меня, о духъ лука-  
вый!

Молчи, не вѣрю я врагу!  
Творецъ!.. увы, я не могу  
Молиться... гибельной отравой  
Мой умъ слабѣющій объясть.  
Послушай, ты меня погубишь;  
Твои слова—огонь и ядъ...  
Скажи, зачѣмъ меня ты любишь?  
Демонъ. Зачѣмъ, красавица? Увы,  
Не знаю! полонъ жизни новой,  
Съ моей преступной головы  
Я гордо снялъ вѣнецъ терновый,  
Я все былое бросилъ въ прахъ,—  
Мой рай, мой адъ въ твоихъ очахъ!  
Люблю тебя не здѣшней страстью,  
Какъ полюбить не можешь ты:  
Всѣмъ упоеніемъ, всей властью  
Бесмертной мысли и мечты.  
Въ душѣ моей съ начала міра  
Твой образъ былъ напечатлѣнъ,  
Передо мной носился онъ  
Въ пустыняхъ вѣчнаго зеира.  
Давно тревожа мысль мою,  
Мнѣ имя сладкое звучало;  
Во дни блаженства мнѣ въ раю  
Одной тебя не доставало.  
О если бъ ты могла понять,  
Какое горькое томленье  
Всю жизнь, вѣка безъ раздѣленья,  
И наслаждаться и страдать,

За зло похвалъ не ожидать,  
Ни за добро вознагражденья;  
Жить для себя, скучать собой,  
И этой вѣчно борьбой  
Безъ торжества, безъ примиренья!  
Всегда жалѣть и не желать,  
Все знать, все чувствовать, все ви-  
дѣть,  
Все противъ воли ненавидѣть,  
И все на свѣтѣ презирать!..  
Лишь только Божіе про克莱тье  
Исполнилось, съ того же днѣ  
Природы жаркія объятья  
Навѣкъ остыли для меня...  
Синѣло предо мной пространство,  
Я видѣлъ брачное убранство  
Свѣтиль знакомыхъ мнѣ давно...  
Они текли въ вѣницахъ изъ золата;  
Но что же?—прежняго собрата  
Не узнавало ни одно:  
Изгнанниковъ, себѣ подобныхъ,  
Я звать въ отчаяніи сталъ,  
Но словъ, и лицъ, и взоровъ злоб-  
ныхъ,

Увы! я самъ не узнавалъ.  
И въ страхѣ я, взмахнувъ крылами,  
Помчался... но куда? зачѣмъ?—  
Не знаю. Прежними друзьями  
Я былъ отвергнутъ; какъ эдемъ,  
Міръ для меня сталъ глухъ и нѣмъ.  
По вольной прихоти теченья,  
Такъ поврежденная ладья  
Безъ парусовъ и безъ руля  
Плынетъ, не зная назначенья;  
Такъ ранней утренней порой  
Обрывокъ тучи громовой,  
Въ лазурной вышинѣ чернѣя,  
Одинъ, нигдѣ пристать не смѣя  
Летить безъ цѣли и слѣда,  
Богъ вѣсть, откуда и куда!  
И я людьми недолго правилъ,  
Грѣху недолго ихъ училъ;  
Все благородное безславилъ  
И все прекрасное хулилъ,  
Недолго... Пламень чистой вѣры  
Легко навѣкъ я залилъ въ нихъ...  
И стояли лѣ трудовъ моихъ  
Одни глупцы, да лицемѣры?  
И скрылся я въ ущельяхъ горь,  
И сталъ бродить, какъ метеоръ,

Во мракѣ полночи глубокой...  
И мчался путникъ одинокій,  
Обмануть близкимъ огонькомъ,  
И, въ бездну падая съ конемъ,  
Напрасно звалъ— и слѣдъ кровавый  
За нимъ вился по крутизѣ...  
Но злобы мрачныя забавы  
Недолго нравились мнѣ.  
Въ борьбѣ съ могучимъ ураганомъ,  
Какъ часто, подымая прахъ,  
Одѣтый молнѣй и туманомъ,  
Я шумно мчался въ облакахъ,  
Чтобы въ толпѣ стихій мятежной  
Сердечный ропотъ заглушить,  
Спастись отъ думы неизбѣжной  
И незабвенное забыть!  
Что повѣстъ тягостныхъ лишеній,  
Трудовъ и бѣдъ толпы людской,  
Грядущихъ, прошлыхъ поколѣній,  
Передъ минутою одной  
Моихъ непризнанныхъ мученій?  
Что люди? что ихъ жизнь и трудъ?  
Они прошли, они пройдутъ!  
Надежда есть: ждеть правый судъ;  
Простить онъ можетъ, хоть осудить!  
Моя же печаль бессмѣнно тутъ  
И ей конца, какъ мнѣ, не будетъ,  
И не вздрогнуть въ могилѣ ей!  
Она—то ластится какъ змѣй,  
То жжетъ и блещетъ будто пламень,  
То давить мысль мою какъ камень—  
Надеждѣ погибшихъ и страстей  
Несокрушимый мавзолей!

Тамара требуетъ отъ Демона, чтобы онъ поклялся, что больше не вернется ко злу.

Демонъ. Клянусь я первымъ днемъ  
творенья,  
Клянусь его послѣднимъ днемъ,  
Клянусь позоромъ преступленья  
И вѣчной правды торжествомъ;  
Клянусь паденія горькой мукой,  
Побѣды браткою мечтой,  
Клянусь свиданіемъ съ тобой  
И вновь грозящею разлукой;  
Клянусь сомніщемъ духовъ,  
Судьбою братій мнѣ подвластныхъ,  
Мечами ангеловъ безстрастныхъ,  
Моихъ недремлющихъ враговъ;

Клянуся небомъ я и адомъ,  
Земной святыней и тобой;  
Клянусь твоимъ послѣднимъ взглядомъ,  
Твою первою слезой,  
Незлобныхъ устъ твоихъ дыханьемъ,  
Волну шелковыхъ кудрей;  
Клянусь блаженствомъ и страданьемъ,  
Клянусь любовью моей—  
Отрекся я отъ старой мести,  
Отрекся я отъ гордыхъ думъ;  
Отнынѣ ядъ коварной лести  
Ничай ужъ не встревожить умъ;  
Хочу я съ небомъ примириться,  
Хочу любить, хочу молиться,  
Хочу я вѣровать добру.  
Слезой раскаянья сотру  
Я на челѣ, тебя достойномъ,  
Слѣды небеснаго огня;  
И міръ въ невѣдѣніи спокойномъ  
Пусть доцвѣтаетъ безъ меня!  
О! вѣрь мнѣ: я одинъ понынѣ  
Тебя постигъ и опѣнилъ.  
Избравъ тебя моей святыней,  
Я власть у ногъ твоихъ сложилъ.  
Твоей любви я жду, какъ дара,  
И вѣчность дамъ тебѣ за мигъ;  
Въ любви, какъ въ злобѣ, вѣрь,  
Тамара,  
Я неизмѣнень и великъ.  
Тебя я, вольный сынъ эаира,  
Возьму въ надзвѣздные края,  
И будешь ты царицей мира,  
Подруга вѣчная моя;  
Безъ сожалѣнья, безъ участья  
Смотрѣть на землю станешь ты,  
Гдѣ нѣтъ ни истиннаго счастья,  
Ни долговѣчной красоты,  
Гдѣ преступленья лишь, да казни,  
Гдѣ страсти мелкой только жить;  
Гдѣ не умѣютъ безъ боязни.  
Ни ненавидѣть, ни любить.  
Иль ты не знаешь, что такое  
Людей минутная любовь?—  
Волненіе крови молодое!—  
Но дни бѣгутъ и стынетъ кровь.  
Кто устоитъ противъ разлукѣ,  
Соблазна новой красоты,  
Противъ усталости и скучи  
И своимъ мечты?  
Нѣтъ! не тебѣ, моей подругѣ,

Узнай, назначено судьбой  
Уянуть молча въ тѣсномъ кругѣ  
Ревнивой грубою рабой,  
Средь малодушныхъ и холодныхъ,  
Друзей притворныхъ и враговъ,  
Боязней и надеждъ безплодныхъ,  
Пустыхъ и тягостныхъ трудовъ!  
Печально за стѣной высокой  
Ты не угаснешь безъ страстей  
Среди молитвъ равно далеко  
Отъ Божества и отъ людей.  
О, нѣть! прекрасное созданье,  
Къ иному ты присуждена;  
Тебя иное ждеть страданье,  
Иныхъ восторговъ глубина!  
Оставь же прежнія желанья  
И жалкій свѣтъ его судѣй:  
Пучину гордаго познанья  
Взамѣнъ открою я тебѣ.  
Толпу духовъ моихъ служебныхъ  
Я приведу къ твоимъ стопамъ;  
Прислужницъ легкихъ и волшебныхъ  
Тебѣ, красавица, я дамъ:  
И для тебя съ звѣзды восточной  
Сорву вѣнецъ я золотой,  
Возьму съ цвѣтовъ росы полночной,  
Его усыплю той росой;  
Лучемъ румяного заката  
Твой станъ, какъ лентой, обовью;  
Дыханьемъ чистымъ аромата  
Окрестный воздухъ напою!  
Всечасно дивною игрою  
Твой слухъ лелѣять буду я;  
Чертоги пышные построю  
Изъ бирюзы и янтаря;  
Я опущусь на дно морское,  
Я полечу за облака,  
Я дамъ тебѣ все, все земное—  
Люби меня!..

## XI.

—И онъ слегка  
Коснулся жаркими устами  
Къ ея трепещущимъ губамъ;  
Соблазна полными рѣчами  
Онъ отвѣчалъ ея мольбамъ.  
Могучій взоръ смотрѣль ей въ очи.  
Онъ жегъ ее. Во мракѣ ночи  
Предъ нею прямо онъ сверкалъ

Неотразимый, какъ кинжалъ.  
Увы! злой духъ торжествовалъ!  
Смертельный ядъ его лобзанья  
Мгновенно въ грудь ея проникъ...  
Мучительный, ужасный крикъ  
Ночное возмутіе молчанье...  
Въ немъ было все: любовь, страданье,  
Упрекъ съ послѣднею мольбой,  
И безнадежное прощанье—  
Прощанье съ жизнью молодой..

Тамара умерла; смерть спасла ея душу  
отъ власти Демона.

## XV.

Въ пространствѣ синяго зеира  
Одинъ изъ ангеловъ святыхъ  
Летѣлъ на крыльяхъ золотыхъ,  
И душу грѣшную отъ мира  
Онъ несъ въ объятіяхъ своихъ;  
И сладкой рѣчью упованья  
Ея сомнѣнья разгонялъ,  
И сльдь проступка и страданья  
Съ нея слезами онъ смывалъ.  
Издалека ужъ звуки рая  
Къ нимъ доносилися—какъ вдругъ,  
Свободный путь пересѣкай,  
Взвился изъ бездны адскій духъ...  
Онъ былъ могучъ какъ вихорь шум-  
ный,  
Блисталь какъ молніи струя,  
И гордо, въ дерзости безумной,  
Онъ говорилъ: „она моя!“  
Къ груди хранителя прижалась,  
Молитвой ужасъ заглуши,  
• Тамары грѣшная душа.  
Судьба грядущаго рѣшалась:  
Предъ нею снова онъ стоялъ.  
Но, Боже! кто бъ его узналъ?  
Какимъ смотрѣль онъ злобнымъ  
взглядомъ,  
Какъ полонъ былъ смертельнымъ  
ядомъ  
Вражды, незнающей конца,  
И вѣяло могильнымъ хладомъ  
Отъ неподвижнаго лица.  
Исчезни, мрачный духъ сомнѣнья“,  
Посланникъ неба отвѣчалъ:  
„Довольно ты торжествовалъ,  
Но часъ суда теперь насталъ,

И благо Божіе рѣшенье!  
Дни испытанія прошли;  
Съ одѣждой бренію земли  
Оковы ала съ нея ниспали.  
Узнай, давно еѣ мы ждали!  
Ея душа была изъ тѣхъ,  
Которыхъ жизнь—одно мгновеніе  
Невыносимаго мученья,  
Недосягаемыхъ утѣхъ;  
Творецъ изъ лучшаго эаира  
Соткалъ живыя струны ихъ,  
Онѣ не созданы для міра,  
И міръ былъ созданъ не для нихъ!  
Цѣнной жестокой искушила  
Она сомнѣнія свои...  
Она страдала и любила—  
И рай открылся для любви!“  
И ангель строгими очами  
На искуителя взглянуль  
И, радостно взмахнувъ крылами,  
Въ сіяніи неба потонуль,  
И проклялъ Демонъ побѣжденный  
Мечты безумныя свои,  
И вновь остался онъ надменный  
Одинъ, какъ прежде, во вселенной  
Безъ упованія и любви!..

## Драматическія произведенія.

### Маскарадъ.

Драма въ четырехъ дѣйствіяхъ, въ стихахъ.

### Дѣйствующія лица:

Арбенинъ, Евгений	Маска.
Александровичъ.	
Нина, жена его.	Чиновникъ.
Князь Звѣздичъ.	Игроки.
Баронесса Штранль.	Гости.
Казаринъ, Афанасій	
Павловичъ.	Служители и
Шприхъ, Адамъ Петровичъ.	служанки.

### ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

#### СЦЕНА ПЕРВАЯ.

##### Выходъ первый.

Игроки, князь Звѣздичъ, Казаринъ и Шприхъ. (За столомъ мечутъ банкъ и поинтируютъ. Кругомъ стоять).

Князь Звѣздичъ проигрался.

##### Выходъ второй.

Арбенинъ и прочіе. (Арбенинъ входитъ, кланяется, подходя къ столу, потомъ дѣлаетъ некоторые знаки и отходить съ Казаринъмъ).

Арбенинъ: Ну, что? Ужъ ты не мечешь—а, Казаринъ?

Казаринъ: Смотрю, братъ, на другихъ.

А ты, любезнѣйшій, женатъ, богатъ, сталъ баринъ

И позабылъ товарищѣй своихъ!

Арбенинъ: Да, я давно ужъ не былъ съ вами.

Казаринъ: Дѣлами занятъ все?

Арбенинъ: Любовью... не дѣлами.

Казаринъ: Съ женой по баламъ?

Арбенинъ: Нѣть.

Казаринъ: Играешь?

Арбенинъ: Нѣть... утихъ.  
Но здѣсь есть новые. Кто этотъ франтишъ?

Казаринъ: Шприхъ,  
Адамъ Петровичъ!.. Я васъ познакомлю разомъ.

(Шприхъ подходитъ и кланяется).  
Вотъ здѣсь пріятель мой, рекомендую

вамъ—

Арбенинъ.

Шприхъ: Я васъ знаю.

Арбенинъ: Помнится, что намъ Встрѣчаться не случалось.

Шприхъ: По разсказамъ—  
И столько я о васъ слыхалъ того-сего,  
Что познакомиться давнимъ-давно же-  
лаю.

Арбенинъ: Про васъ я не слыхалъ,  
къ несчастью, ничего;  
Но многое отъ васъ, конечно, я узнаю.

(Раскланиваются опять. Шпихъ, скор-  
чивъ кислую мину, уходитъ).

Онъ мнѣ не нравится. Видаль я много-  
рохъ,  
А этакой не выдумать нарочно:  
Улыбка злобная, глаза—стеклярусь  
точно;  
Взглянуть—не человѣкъ; а съ чортомъ  
не похожъ.  
Казаринъ: Эхъ, братецъ мой, что  
видъ наружный?  
Пусть будетъ хоть самъ чортъ... да  
человѣкъ онъ нужный.  
Лишь адресуйся—одолжить.  
Какой онъ націи—сказать не знаю  
смѣло:

На всѣхъ языкахъ говорить—  
Вѣрнѣй всего, что жидъ.  
Со всѣми онъ знакомъ, вездѣ ему есть  
дѣло,  
Всё помнить, знать все, въ заботѣ  
цѣлый вѣкъ;  
Быть бить не разъ; съ безбожни-  
комъ—безбожникъ,  
Съ святошой—езуить, межъ нами—  
злой картежникъ,  
А съ честными людьми—пречестный  
человѣкъ.  
Короче, ты его полюбишь, я увѣренъ.  
Арбенинъ: Портретъ хороши—ори-  
гиналь—то скверень!

Ну, а вонъ тотъ высокий и въ усахъ,  
И нарумяненый вдобавокъ?  
Конечно, житель модныхъ лавокъ,  
Любезникъ оставной, и быть въ чу-  
жихъ краяхъ?

Конечно, онъ герой не въ дѣлѣ  
И мастерски стрѣляеть въ цѣль?

Казаринъ: Почти... Онъ изъ полка  
быть выгнанъ за дуэль,  
Или за то, что не быть на дуэли:  
Боялся быть убѣйцемъ, да и мать  
Къ тому жъ строга; потому лѣтъ че-  
резъ пять

Быть вызванъ онъ опять,  
И тутъ дрался ужъ въ самомъ дѣлѣ.  
Арбенинъ: А этотъ маленький ка-  
ковъ?  
Растрапанный, съ улыбкой откровен-  
ной,

Съ крестомъ и табакеркою?

Казаринъ: Трушовъ.

О! малый онъ неопытенный:

Семъ лѣтъ онъ въ Грузіи служилъ,  
Иль посланъ былъ туда съ какимъ-то  
генераломъ,

Изъ-за угла кого-то такъ хватилъ;  
Пять лѣтъ за то былъ подъ нача-  
ломъ,

И крестъ на шею получилъ.

Арбенинъ: Да вы разборчивы на  
новыя знакомства!

Игроки (кричатъ): Казаринъ! Аѳана-  
сій Павловичъ! сюда!

Казаринъ: Иду! (Съ притворнымъ  
участемъ).

Примѣръ ужасный вѣроломства!  
Ха-ха-ха-ха!

1-й понтеръ: Скорѣй!

Казаринъ: Какая тамъ бѣда?

(Живой разговоръ между игроками, по-  
томъ они успокаиваются. Арбенинъ замѣ-  
чає князя Звѣдича и подходитъ).

Арбенинъ: Князь! какъ, вы здѣсь?  
• ужель не въ первый разъ?

Князь (недовольно): Я то же самое  
хотѣлъ спросить у васъ.

Арбенинъ: Я вашъ отвѣтъ преду-  
прежду, пожалуй:  
Я здѣсь давно знакомъ, и часто здѣсь,  
бывало,

Смотрѣлъ съ волненiemъ нѣмымъ,  
Какъ колесо вертѣлось счастья:  
Одинъ былъ вознесенъ, другой раздав-  
ленъ имъ!

Я не завидовалъ, но и не зналъ  
участья.

Видаль я многою юношой, надеждъ  
И чувства полныхъ, счастливыхъ

невѣждъ  
Въ наукѣ жизни, пламенныхъ ду-  
шою,

Которыхъ прежде цѣль была одна  
любовь...

Они погибли быстро предо мною...

И вотъ мнѣ суждено увидѣть это вновь!  
Князь (съ чувствомъ береть его за руку):

Я проигрался!

Арбенинъ: Вижу. Что жъ? топиться?

Князь: О, я въ отчаянъ!

Арбенинъ садится играть за князя.

Шпихъ (лукаво): Столпились въ  
кучку всѣ; кажись, нашла гроза.

Казаринъ: Задасть онъ имъ на мѣ-  
сяцъ страху!

Шпихъ: Видно,  
Что мастеръ.

Казаринъ: Быль.

Шпихъ: Быль? А теперь...

Казаринъ: Теперь?..

Женился и богатъ, сталъ человѣкъ  
солидный;

Глядить ягненочкомъ—а, право, тогдѣ  
же звѣрь...

Мнѣ скажутъ: можно отучиться,  
Натуру побѣдить! Дуракъ, кто гово-  
ритъ!

Пусть ангеломъ и притворится,  
Да чортъ-то все въ душѣ сидитъ.

И ты, мой другъ (ударивъ по плечу),  
хоть передъ нимъ ребенокъ,

А и въ тебѣ сидитъ чертеноно.

Арбенинъ всѣхъ обыгryваетъ, беретъ зо-  
лото и отходить; другіе остаются у стола.  
Казаринъ и Шпихъ также у стола. Ар-  
бенинъ молча беретъ за руку князя и от-  
даетъ ему деньги. Арбенинъ блѣднѣтъ.

Князь: Ахъ, никогда мнѣ это не за-  
быть...

Вы жизнь мою спасли...

Арбенинъ: И деньги ваши тоже.  
(Горько). А право, трудно разѣ-  
шить,

Которое изъ этихъ двухъ дороже.

Князь: Большую жертву вы мнѣ сдѣ-  
лали.

Арбенинъ: Ничуть!  
Я радъ былъ слушаю, чтобы кровь

привѣстъ въ волненіе,  
Тревогою опять наполнить умъ и

грудь.

Я сѣлъ играть—какъ вы пошли бы

на сраженіе.

Князь: Но проиграться вы могли?

Арбенинъ: Я? нѣтъ!.. Тѣ дни bla-

женнѣе прошли!

Я вижу все насквозь, всѣ тонкости  
ихъ знаю,  
И вотъ зачѣмъ я нынче не играю.

Арбенинъ Ѣдетъ съ княземъ въ маска-  
радъ.

## СЦЕНА ВТОРАЯ.

### МАСКАРАДЪ:

#### Выходъ первый.

Маски, Арбенинъ, потомъ князь  
Звѣздичъ. (Толпа проходитъ впередъ и  
впередъ по сценѣ. Налѣво канапѣ).

Арбенинъ (входитъ): Напрасно я  
ищу повсюду развлеченья.  
Пестрѣть и жужжитъ толпа передо  
мной,  
Но сердце холодно и спитъ вообра-  
женіе:  
Они всѣ чужды мнѣ! и я имъ всѣмъ  
чужой!

(Князь подходитъ вѣвѣя).

Вотъ нынѣшнее поколѣніе;  
И то ль я былъ въ его лѣта, какъ по-  
гляжу?  
Что, князь? Не набрели еще на при-  
ключенья?

Князь разговарился съ одной маской;  
она сумѣла его собой заинтересовать.

Князь: Ты маска умная, а тратишь  
много словъ.  
Коль знаешь ты меня, скажи, кто я  
таковъ?

Маска: Ты! безхарактерный, безнрав-  
ственый, безбожный,  
Самолюбивый, злой, но слабый че-  
ловѣкъ;

Въ тебѣ одномъ весь отразился вѣвѣя,  
Вѣвѣя нынѣшний, блестящій, но ни-  
чтожный.

Наполнить хочешь жизнь, а бѣгаешь  
страстей;  
Все хочешь ты имѣть, а жертвовать  
не знаешь;  
Людей безъ гордости и сердца прези-  
раешь,

А самъ игрушка тѣхъ людей.  
О! знаю я тебя...

Князь, заинтересованный разговоромъ съ этой маской, преслѣдуетъ ее; она не знаетъ, какъ уйти отъ него; даетъ ему на память браслетъ, кѣмъ-то оброненный. Князь показываетъ браслетъ Арбенину; тому эта вещь кажется знакомой,—у своей жены Нины видѣлъ онъ такой же.

### СЦЕНА ТРЕТЬЯ.

#### ВЫХОДЪ ПЕРВЫЙ.

Арбенинъ входитъ; слуга.

Арбенинъ: Ну, вотъ и вечеръ кончъ—какъ я радъ!

Пора хотя на мигъ забыться.  
Весь этотъ пестрый сбродъ—весь этотъ

маскарадъ

Еще въ умѣ моемъ кружится,  
И что же я тамъ дѣлалъ, не смыши-  
но лъ?..

Давалъ любовнику совѣты,  
Догадки повѣрялъ, сличалъ браслеты,  
И за другихъ мечталъ, какъ дѣла-  
ютъ поэты.

Ей-Богу, мнѣ такая роль  
Ужъ не подѣ лѣты!

(Слуга). Что, барыня пріѣхала домой?  
Слуга: Нѣть-съ.

Арбенинъ: А когда же будетъ?

Слуга: Обѣщала-съ  
Вѣ двѣнадцатомъ часу.

Арбенинъ: Теперь ужъ часъ вто-  
рой—

Не почевать же тамъ она осталась!

Слуга: Не знаю-съ.

Арбенинъ: Будто бы? Иди! свѣчу  
Поставь на столъ. Какъ будетъ нужно,  
я вскричу.

(Слуга уходитъ; онъ садится въ кресла).

#### ВЫХОДЪ ВТОРОЙ.

Арбенинъ (одинъ):

Богъ справедливъ! и я теперь едва ли  
Не осужденъ нести печали

За всѣ грѣхи минувшихъ дней.

Бывало, такъ меня чужія жены ждали:

Теперь я жду жены своей...

Въ кругу обманщицъ милыхъ я на-  
расно

И глупо юность погубилъ;  
Любимъ былъ часто пламенно и  
страстно,  
И ни одну изъ нихъ я не любилъ.  
Романа не начавъ, я зналъ уже раз-  
вѣзку,  
И для другихъ сердецъ твердилъ  
Слова любви, какъ няня сказку.  
И тяжко стало мнѣ, и скучно жить!  
И кто-то подалъ мнѣ тогда совсѣмъ лу-  
ковый:

Жениться... чтобы имѣть святое  
право  
Ужъ ровно никого на свѣтѣ не лю-  
бить,  
И я нашелъ жену—покорное созданье.  
Она была прекрасна и нѣжна;  
Какъ агнѣцъ Божій на закланье,  
Мной къ алтарю она приведена...  
И вдругъ во мнѣ забытый звукъ про-  
снулся;

Я въ душу мертвую свою  
Взглянуль... и увидалъ, что я ее  
люблю.

И стыдно молвить—ужаснулся!..  
Опять мечты, опять любовь  
Въ пустой груди бушуютъ на просторѣ  
Изломанный членокъ—я снова бро-  
шенъ въ море!  
Вернусь ли къ пристани я вновь?..  
(Задумывается).

#### ВЫХОДЪ ТРЕТЬИЙ.

Арбенинъ и Нина.

Арбенинъ: Послушай. Насъ одной  
судьбы оковы  
Связали навсегда... ошибкой, можетъ  
быть:

Не мнѣ и не тебѣ судить. (Привле-  
каетъ ее къ себѣ на колѣни и цѣлуетъ).

Ты молода лѣтами и душою,  
Въ огромной книжѣ жизни ты прочла  
Одинъ заглавный листъ и предъ то-  
бою

Открыто море счастія и зла.  
Иди любой дорогой,

Надѣйся и мечтай—вдали надежды  
много,

А въ прошломъ жизнь твоя бѣла!

Ни сердца своего, ни моего не зная,  
Ты отдался мнѣ и любишь—вѣрю

я—

Но безогчетно чувствами играя,  
И рѣзвясь, какъ дитя.

Но я люблю иначе: я все видѣлъ,  
Все перечувствовалъ, все понялъ, все  
узналъ;

Любиль я часто, чаще ненавидѣль,  
И болѣе всего страдалъ.

Сначала все любилъ, потомъ все пре-  
зиралъ я;

То самъ себя не понималъ я,  
То міръ меня не понималъ.

На жизни я своей узналъ печать про-  
клятъ,

И холодно закрылъ объятъ  
Для чувствъ и счастія земли...

Такъ годы многіе прошли.

О дняхъ, отравленныхъ вол-  
неніемъ

Порочнай юности моей,  
Съ какимъ глубокимъ отвра-  
щеніемъ

Я мыслю на груди твоей!  
Такъ, прежде я тебѣ цѣны не зналъ,  
несчастный;

Но скоро черствая кора  
Съ моей души слетѣла—міръ пре-  
красный

Моимъ глазамъ открылся не на-  
красно,

И я воскресъ для жизни и добра.  
Но иногда опять какой-то духъ вра-  
жебный

Меня уноситъ въ бурю прежнихъ  
дней,

Стираеть съ памяти моей  
Твой свѣтлый взоръ и голосъ твой  
волшебный.

Въ борьбѣ съ собой, подъ грузомъ  
тяжкихъ думъ,

Я молчаливъ, суровъ, угрюмъ.  
Боюся осквернить тебя прикосно-  
веніемъ;

Боюсь, чтобы тебя не испугалъ ни  
стонъ,

Ни звукъ, исторгнутый мученіемъ.  
Тогда ты говоришь: меня не любить  
онъ!

(Она ласково смотритъ на него и прово-  
дить рукой по волосамъ).

Нина: Ты странный человѣкъ! Когда  
краснорѣчivo  
Ты про любовь свою рассказываешь  
мнѣ

И голова твоя въ огнѣ,  
И мысль твоя въ глазахъ сіяеть  
живо,  
Тогда всему я вѣрю безъ труда;  
Но часто...

Арбенинъ: Часто?..

Нина: Нѣтъ, но—иногда!..  
Арбенинъ: Я сердцемъ слишкомъ  
старъ, ты слишкомъ молода;  
Но чувствовать могли бъ мы ровно.  
И, помнится, въ твои года  
Всему я вѣрилъ безусловно.

Арбенинъ замѣчаетъ, что у жены на  
рукахъ нѣтъ браслета, какъ разъ того, кото-  
рый похожъ быть на браслетъ, получен-  
ный Звѣздичемъ отъ маски. Чувство рев-  
ности овладѣваетъ имъ,—онъ не скры-  
ваетъ этого чувства. Нина увѣряетъ его,  
что она ни въ чемъ передъ нимъ не виновата; онъ ей не вѣрить и оскорбляетъ ее  
подозрѣніями, говоритъ о мести.

Конецъ первого дѣйствія.

## ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

### СЦЕНА ПЕРВАЯ.

Выходъ первый.

Баронесса (сидѣть на креслахъ, въ уста-  
лости, бросаетъ книгу).

Баронесса: Подумаешь: зачѣмъ жи-  
вемъ мы?

Для того ли,  
Чтобъ вѣчно угождать на чуждый нравъ  
И работовать всегда? Жоржъ Зандъ  
почти что правъ.

Чтѣ нынѣ женщина? Созданіе безъ воли,  
Игрушка для страстей иль прихотей  
другихъ!  
Имѣя свѣтъ судьей и безъ защиты въ  
свѣтѣ,

Одна должна таить весь пламень  
чувствъ своихъ,  
Иль удушить ихъ въ полномъ цвѣтѣ.  
Что женщина? Ее отъ юности самой  
Въ продажу выгодамъ, какъ жертву,  
убираютъ.

Винять въ любви къ себѣ одной,  
Любить другихъ не позволяютъ.  
Въ груди ея порой бушуетъ страсть:  
Боязнь, разсудокъ мысли гонить,  
И если какъ нибудь, забывши свѣта  
власть,  
Она покровъ съ нея уронить,  
Предастся чувствамъ всей душой—  
Тогда прости и счастье, и покой!  
Свѣтъ тутъ: онъ тайны знать не хо-  
четь; онъ по виду,  
По платью встрѣтить честность и  
порокъ,—  
Но не снесеть приличіямъ обиду,  
И въ наказаніяхъ жестокъ!... (Хочеть  
читать).  
Нѣтъ, не могу читать... Меня сму-  
тило  
Все это размышеніе; я боюсь  
Его какъ недруга... и, вспомнивъ то,  
что было,  
Сама себѣ еще дивлюсь. (Входитъ  
Нина).

Маской, давшей браслетъ князю, ока-  
зываются баронесса; къ ней пріѣзжаетъ  
Нина; здѣсь встречается она съ княземъ;  
онъ изъ словъ ея догадывается, что  
ея браслетъ у него, и пытается объяс-  
ниться ей въ любви, но она не хочетъ  
его слушать.

Баронесса изъ разговора князя съ Ни-  
ной догадывается, что князь считаетъ  
Нину той дамой, которая заинтересовала  
его на маскарадѣ. Желая спасти свое имѣ-  
ние подозрѣній князя, она приносить  
Нину въ жертву,—распускаетъ сплетню,  
будто Нина и князь любятъ другъ друга.  
Благодаря Шприху, сплетня распространяется.

Арбенинъ перехватилъ письмо князя  
къ Нинѣ: онъ забѣшень и заочно упре-  
каетъ князя въ неблагодарности.

Казаринъ: Я думаю, мой другъ,  
Что благодарность—вещь, которая тѣмъ  
болѣ  
Зависитъ отъ цѣны услугъ,

Что не всегда добро бываетъ въ на-  
шей волѣ.

Вотъ, напримѣръ, вчера опять  
Миѣ Слукинъ проигралъ почти-что ты-  
сячъ пять,

И я, ей-Богу, очень благодаренъ;  
Да вотъ какъ: пью ли, ъмъ, иль сплю,  
Все думаю о немъ.

Арбенинъ: Ты шутишь все, Ка-  
заринъ.

Казаринъ: Послушай. Я тебя люблю  
И буду говорить серьезно.

Но сдѣлай милость, братъ, оставь ты  
видъ свой грозный,

И я открою предъ тобой  
Всѣ таинства премудрости земной.

Мое ты хочешь слышать мнѣніе  
О благодарности... изволь: возьми тер-  
пнѣе.

Что ни толкуй Вольтеръ или Декартъ,  
Миръ для меня—колода картъ,  
Жизнь—банкъ: рокъ мечеть, я  
играю.

И правила игры я къ людямъ при-  
мѣняю.

И вотъ теперъ примѣръ  
Для поясненія этихъ правилъ:

Пусть разомъ тысячу я на туза по-  
ставилъ,

Такъ, по предчувствію—я въ картахъ

суетѣръ—

Положимъ, что случайно, безъ об-  
ману,

Онъ выигралъ—я очень радъ;  
Но все никакъ туза благодарить не

стану

И молча загребу свой кладъ,  
И буду гнуть, да гнуть, покуда не

устану;

А тамъ, итоги свѣль

И карту сматую—подъ столъ!

Чтобы отомстить князю, Арбенинъ са-  
дится съ нимъ играть въ карты и затѣмъ  
публично называется его шуллеромъ; князь  
въ отчаяніи.

Князъ (упадая и закрывая лицо): Честь,  
Честь моя!..

Арбенинъ: Да, честь не возвра-  
тится...

Преграда рушена между добромъ и зломъ,  
И отъ тебя весь свѣтъ съ презрѣньемъ отвратится;  
Отынѣ ты пойдешь отверженца путь, темъ,  
Кровавыхъ слезъ познаешь сладость,  
И счастье близкихъ будетъ въ тягость  
Твоей душѣ; и мыслить объ одномъ  
Ты будешь день и ночь; и постепенно  
чувствъ Любви, прекрасного погаснуть и умрутъ,  
И счастья не отдать тебѣ ничье  
искусство!  
Всѣ шумные друзья, какъ листья, отпадутъ  
Отъ сгнившей вѣтви и, краснѣя,  
Закрывъ лицо, въ толпѣ ты будешь  
проходить,—  
И будетъ больше стыдъ тебѣ томить,  
Чѣмъ преступленіе злодѣя!  
Теперь прощай... (уходя) желаю долго  
жити. (Уходить).

Конецъ второго дѣйствія.

### ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

#### Въходъ второй.

Арбенинъ (одинъ, про себя): Я со-  
мнѣвался—я?

А это всѣмъ извѣстно;  
Намеки колкіе со всѣхъ сторонъ  
Преслѣдуютъ меня... Я жалокъ имъ,  
смѣшонъ!

И гдѣ плоды моихъ усилий?  
И гдѣ та власть, съ которою, порой,  
Казнилъ толпу я словомъ, остротой?..  
— Двѣ женщины ее убили!  
Одна изъ нихъ... О, я ее люблю,  
Люблю—и такъ неистово обмануть!..  
Нѣть, людямъ я ея не уступлю...  
И насы судить они не станутъ;  
Я самъ свершу свой страшный  
судъ...

Я казнь ей отыщу—моя жъ пусть буд-  
детъ тутъ.  
(Показываетъ на сердце).  
Она умреть; жить вмѣстѣ съ нею  
долѣ  
Я не могу... Жить розно? (Какъ бы  
испугавшись себя). Рѣшено:  
Она умреть—я прежней твердой волѣ  
Не измѣню. Ей, видно, суждено  
Во цвѣтѣ лѣтъ погибнуть, быть лю-  
бимой  
Такимъ, какъ я, злодѣемъ и любить  
Другого!... это ясно... какъ же можно  
живѣ  
Ей послѣ этого!... Ты, Богъ незри-  
мый,  
Но Богъ всевидящій! возьми ее, возьми!  
Какъ свой залогъ Тебѣ ее вручаю...  
Прости ее, благослови;  
Но я—не Богъ, и не прощаю...  
(Слышны звуки музыки).

(Ходить по комнатѣ; вдругъ останавливается).

Тому назадъ лѣтъ десять, я всту-  
паль

Еще на поприще разврата;  
Разъ, въ ночь одну, я все до капли  
проигралъ—  
Тогда я зналъ ужъ цѣну золата,  
Но цѣну жизни я не зналъ.  
Я былъ въ отчаяніи—ушель и яду  
Купилъ, и возвратился вновь  
Къ игорному столу; въ груди кипѣла  
кровь.

Въ одной руцѣ держалъ я лимонаду  
Стаканъ, въ другой четверку пикъ:  
Послѣдній рубль въ карманѣ дождался  
Съ завѣтнымъ порошкомъ — рисъ,  
право, былъ великъ;  
Но счастье вынесло—и въ часъ я  
отыгрался!  
Съ тѣхъ поръ хранилъ я этотъ по-  
рошокъ,  
Среди волненій жизни трудной,  
Какъ талисманъ таинственный и  
чудный,  
Хранилъ на черный день—и день тотъ  
не далекъ. (Уходитъ быстро).  
Онъ даетъ женѣ ядъ въ мороженомъ.



Арбенинъ: Остановись! хоть передъ  
Нимъ не лги.

Нина: Нѣтъ, я не лгу—я не нарушу  
Его святыни ложною мольбой.

Ему я предаю страдальческую душу:  
Онъ—твой судья—защитникъ будетъ  
мой.

Арбенинъ (который въ это время ходить по комнатѣ, сложа руки): Теперь  
молиться время, Нина:  
Ты умереть должна чрезъ нѣсколько  
минутъ—

И тайной для людей останется кончина  
Твоя, и нась разсудить только Божій  
судъ.

Нина: Какъ? умереть? теперь? сей-  
часъ?.. нѣтъ, быть не можетъ.

Арбенинъ (смѣясь): Я зналъ заранѣе,  
что это васъ встревожитъ!

Нина: Смерть, смерть! Онъ правъ...  
въ груди огонь, весь адъ...

Арбенинъ Да, я тебѣ на балѣ подалъ  
ядъ. (Молчаніе).

Нина: Не вѣрю, невозможно—нѣтъ!  
ты надо мною (Бросается къ нему)

Смѣешься... ты не извергъ—нѣтъ, въ  
душѣ твоей

Есть искра доброты... Съ холоднотою  
такою

Меня ты не погубишь въ цвѣтѣ  
дней.

Не отворачивайся такъ, Евгений,  
Не продолжай моихъ мученій,  
Спаси меня, разсѣй мой страхъ...

Взгляни сюда... (Смотритъ ему прямо  
въ глаза и отскакиваетъ).

О, смерть въ твоихъ глазахъ!

(Упадаетъ на стулъ и закрываетъ глаза.  
Онъ подходитъ и цѣлуетъ ее).

Арбенинъ: Да, ты умрешь—и я  
останусь тутъ

Одинъ, одинъ... Года пройдутъ,  
Умру—и буду все одинъ... Ужасно!

Но ты не бойся! міръ прекрасный  
Тебѣ откроется, и ангелы возьмутъ  
Тебя въ небесный свой приютъ.

(Плачетъ).

Да, я тебя люблю, люблю... Я все  
забвенью,

Что было, предалъ; есть граница  
мощенъя,  
И вотъ она,—смотри: убійца твой  
Здѣсь, какъ дитя, рыдаетъ надъ  
тобой...  
(Молчаніе).

Нина (вырываются и вскакиваетъ):  
Сюда! сюда!... на помошь!.. умираю...

Ядъ, ядъ!—не слышать... понимаю:  
Ты осторожнѣй... никого... не будь...

Но помни: есть небесный судъ,  
И я тебя, убійца, проклинаю!

(Не добѣжавъ до двери, упадаетъ безъ  
чувствъ).

Она умираетъ, увѣряя мужа, что она не-  
винна.

## ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

### СЦЕНА ПЕРВАЯ.

#### Въходъ первый.

Арбенинъ (сидѣть у стола на диванѣ):  
Я ослабѣлъ въ борьбѣ съ собой  
Среди мучительныхъ усилий...

И чувства наконецъ вкусили  
Какой-то гостиной, обманчивый покой...

Лишь иногда невольно заботой  
Душа тревожится въ холодномъ этомъ  
снѣ

И сердце ноетъ, будто ждеть чего-то.  
Не все ли кончено? Ужели на землѣ  
Страданье новое вкусить осталось мнѣ?

Вадоръ!.. Дни пройдутъ—придѣть  
забвѣніе,  
Подъ тягостью годовъ умреть вообра-  
женіе;

И долженъ же покой когда-нибудь  
Вновь поселиться въ эту грудь...

(Задумывается; вдругъ поднимаетъ  
голову).

Я ошибался?.. Нѣтъ, неумолимо  
Воспоминаніе!.. Какъ живо вижу я  
Ея мольбы, тоску... О! мимо, мимо!  
Ты, пробужденная змѣя!..

(Упадаетъ головою на руки).  
Неизвѣстный и князь явились мстить  
Арбенину.

Выходъ восьмой.

Арбенинъ (со свѣчой).

Арбенинъ: Смерть! Смерть! О, это слово здѣсь, Вездѣ,—я имъ проникнуть вѣс; Оно меня преслѣдуєтъ; безмолвно Смотрѣлъ я цѣлый часъ на трупъ ея нѣмой,

И сердце было полно, полно Невыразимою тоской.

Въ чертахъ спокойствіе и дѣтская безпечность, Улыбка вѣчная тихонько расцвѣла, Когда предъ ней открылась вѣч-

ность, И тамъ свою судьбу душа ея прочла. Ужель я ошибался?—Невозможно!

Мнѣ ошибиться?—кто докажетъ мнѣ Ея невинность?—лжно! лжно!

Гдѣ доказательства?—есть у меня они! Я не повѣрилъ ей—кому же стану вѣрить?

Да, я былъ страстный мужъ, но былъ судья

Холодный.—Кто же разувѣрить Меня осмѣлится?

Неизвѣстный: Осмѣлюсь—я!

Арбенинъ (сначала пугается и, отходя, подносить къ лицу свѣчу). А кто же вы? Неизвѣстный: — Немудрено, Ев- геній,

Ты не узналъ меня—а были мы друзья.

Арбенинъ: Но кто вы?

Неизвѣстный: Я—твой добрый геній. Да! непримѣченный, вездѣ я былъ съ тобою,

Всегда съ другимъ лицомъ, всегда въ другомъ нарядѣ,

Зналъ всѣ твои дѣла и мысль твою порой; Остерегалъ тебя недавно въ маскарадѣ.

Арбенинъ (вздрогнувъ): Пророковъ не люблю и выйти въсѣ

Пропуши немедленно—я говорю серьезно. Неизвѣстный: Все такъ: но не-

смотря на голосъ грозный

И на рѣшительный приказъ,

Я не уйду.—Да, вижу, вижу ясно,

Ты не узналъ меня. Я не изъ тѣхъ людей,

Которыхъ можетъ мигъ опасный Отвлечь отъ цѣли многихъ дней.

Я цѣлъ свою достигъ и здѣсь на мѣстѣ лягу,

Умру—но ужъ назадъ не сдѣлаю ни шагу.

Арбенинъ: Я самъ таковъ, и этимъ, сверхъ того,

Не хвастаюсь. (Садится). Я слушаю. Неизвѣстный (въ сторону): Доселѣ

Мои слова не тронули его.

Иль я ошибся въ самомъ дѣлѣ? Посмотримъ далѣе. (Ему). Семь лѣтъ тому назадъ

Ты узнавалъ меня, Арбенинъ. Я былъ молодъ,

Неопытенъ, и пылокъ, и богатъ. Но ты... въ твоей груди ужъ крылся

этотъ холодъ,

То адское презрѣніе ко всему,

Которымъ ты гордился всюду.

Не знаю, приписать его къ уму, Иль къ обстоятельствамъ—я разбирать

не буду Твоей души—ее пойметъ лишь Богъ, Который сотворить одинъ такую могъ.

Арбенинъ: Дебютъ хорошъ.

Неизвѣстный: Конецъ не будетъ хуже.

Разъ, ты меня уговорилъ, увлекъ Къ себѣ... Мой кошелекъ

Былъ полонъ; и къ тому же Я вѣрилъ счастью. Сѣль играть съ

тобою— И проигралъ. Отецъ мой былъ скопой И строгій человѣкъ... и чтобы не под-

вергаться Упрекамъ, я рѣшился отыграться; Но ты, хоть молодъ, ты меня держацъ Въ когтяхъ — и я все снова про-

игралъ. Я предался отчаянью. Тутъ были— Ты помнишь, можетъ быть,

И слезы, и мольбы... Въ тебѣ же воз- будили

Онъ лишь смѣхъ... О! лучше бы пронзить

Меня кинжаломъ! Но въ то время

Ты не смотрѣль еще пророчески впередъ!

И только нынче злое съмъ  
Произвело достойный плодъ.

(Арбенинъ хочетъ вскочить, но задумывается).

И я покинулъ все съ того мгновеня,  
Все—женщинъ и любовь, блаженство  
юныхъ лѣтъ,  
Мечтанья нѣжныя и сладкія волненя,  
И въ свѣтѣ мнѣ открылся новый  
свѣтъ —

Миръ новыхъ, странныхъ ощущеній,  
Миръ обществомъ отверженныхъ лю-  
дей,  
Самолюбивыхъ душъ и ледяныхъ  
страстей

И увлекательныхъ мученій.

Я увидалъ, что деньги—царь земли,  
И поклонился имъ. Года прошли,  
Все скоро унеслось: богатство и  
здоровье;  
Навѣки предо мной закрылась счастья

дверь;

Я заключилъ съ судьбой послѣднѣе  
условіе—

И вотъ стала тѣмъ, что я теперь...  
А! ты дрожишь, ты понимаешь

И цѣль мою, и то, что я сказалъ!  
Ну, повтори еще, что ты меня не  
знаешь.

Арбенинъ: Прочь! я узналъ тебя—  
узналъ!..

Неизвѣстный: Прочь! Развѣ это  
все? Ты надо мной смѣялся—

И я повеселиться радъ.

Недавно до меня случайно слухъ до-  
мчался,

Что счастливъ ты, женился и богатъ.  
И горько стало мнѣ, и сердце зароптало,

И долго думалъ я: за что жъ

Онъ счастливъ?—и шептало

Мнѣ чувство внятное: „иди, иди,  
встревожь!”

И стала я слѣдоватъ, мѣшавшися съ

толпой,

Безъ устали, всегда, повсюду за тобой,  
Все узнавалъ—и наконецъ

Пришелъ трудамъ моимъ конецъ.

Послушай—я узналъ, и... и открою  
Тебѣ я истину одну... (Протяжно)  
Послушай: ты... убилъ свою жену!..  
(Арбенинъ отскакиваетъ. Князь под-  
ходитъ).

Арбенинъ: Убилъ?—я?—Князь!—О!  
что такое!

Неизвѣстный (отступая): Я все ска-  
заль; онъ скажетъ остальное.

Арбенинъ (приходя въ бѣшенство):  
А! заговоръ!.. прекрасно!.. я у васъ  
Въ рукахъ... Вамъ помѣшать кто  
смѣеть?

Никто... вы здѣсь цари... я смиренъ...  
я сейчасъ

У вашихъ ногъ... душа моя робѣть  
Отъ взглядовъ вашихъ... Я глупецъ,  
дитя,

Я противъ вашихъ словъ отвѣта не  
имѣю.

Я мигомъ побѣжденъ, обманутъ я шутя,  
И подъ топоръ нагнѣ спокойно шеко!..

А вы не разочали, что есть еще во  
мнѣ?

Присутствіе ума, и опытность, и сила?  
Вы думали, что все взяла ея могила?  
Что я не заплачу вамъ всѣмъ по  
старинѣ?

Такъ вотъ какъ я униженъ въ вашемъ  
мнѣи

Коварнымъ лепетомъ молвы!..  
Да! сцена хорошо придумана; но вы  
Не отгадали заключенія.

А этотъ мальчикъ?.. Такъ и онъ со  
мной

Бороться вадумаль? Мало было  
Одной пощечины — нѣтъ, хочется  
другой?

Вы все получите, мой мнѣи!  
Вамъ жизнь наскучила? не странно:

жизнь глупца,  
Жизнь плохаднаго волокита!

Утѣштесь же теперь—вы будете убиты,  
Умрете—съ именемъ исмертью подлеца.

Князь: Увидимъ; но скорѣй...  
Арбенинъ: Идемъ, идемъ!

Князь: Теперь я счастливъ!  
Неизвѣстный (останавливая):  
Да! а главное забыли!..

Князь (останавливая Арбенина): Постойте! Вы должны узнать, что обвинили

Меня напрасно; что ни въ чёмъ  
Не виновата ваша жертва; оскорбили  
Меня вы вовремя: я только обо всемъ

Хотѣлъ сказать вамъ... Но пойдемъ.

Арбенинъ: Что? что?

Неизвестный: Твоя жена невинна;  
слишкомъ строго

Ты обошелся...

Арбенинъ (хочетъ): Да у васъ въ  
запасѣ шутокъ много.

Князь: Нѣтъ, нѣтъ, я не шучу,  
клянусь Творцомъ.

Браслетъ случайною судьбою  
Попался баронессѣ и потому  
Быть отданъ мнѣ ея рукою.  
Я ошибался самъ; но вашею женой

Любовь моя отвергнута была.

Когда бъ я зналъ, что отъ одной  
ошибки

Произойдетъ такъ много зла,  
То вѣрно бъ не искалъ ни взора, ни  
улыбки...

И баронесса этимъ вотъ письмомъ

Вамъ открывается во всемъ.  
Читайте же скорѣй—мнѣ дороги мгно-  
венья...

(Арбенинъ взглядываетъ на письмо и  
читаетъ).

Арбенинъ сходитъ съума.

Неизвестный: Давно хотѣлъ я  
полной мести—

И вотъ вполнѣ я отомщенъ!

Князь: Онъ безъ ума—счастливъ; а  
я навѣкъ лишенъ  
Спокойствія и чести!

## Р О М А Н Ы.

Герой нашего времени.

Предисловіе ко 2-му изданію.

Во всякой книжѣ предисловіе есть первая и вмѣстѣ съ тѣмъ послѣдняя вещь. Оно или служить объясненіемъ цѣли сочиненія, или оправданіемъ и отвѣтомъ на критики. Но обыкновенно читателямъ дѣла нѣтъ до нравственной цѣли и до журнальныхъ нападокъ, и потому они не читаютъ предисловій. А жаль, что это такъ; особенно у насъ! Наша публика такъ еще молода и простодушна, что не понимаетъ басни, если въ концѣ ея не находить нравоученія. Она не угадываетъ шутки, не чувствуетъ ироніи; она, просто, дурно воспитана. Она еще не знаетъ, что въ порядочномъ обществѣ и въ порядочной книжѣ явная брань не можетъ имѣть мѣста; что современная образованность избрала орудіе болѣе острое, почти невидимое, и тѣмъ не менѣе смертельное, которое, подъ одеждой лести, наносить неотразимый и вѣрный ударъ. Наша публика похожа на провинціала, который, послушавъ разговоръ двухъ дипломатовъ, принадлежащихъ къ враждебнымъ дворамъ, остался бы увѣренъ, что каждый изъ нихъ обманываетъ свое правительство въ пользу взаимной, нѣжнѣйшей дружбы.

Эта книга испытала на себя еще недавно несчастную довѣрчивость некоторыхъ читателей и даже журналовъ къ буквальному значенію словъ. Иные ужасно обидѣлись, и не шутя, что имъ ставить въ примѣръ такого безнравственнаго человѣка, какъ „Герой Нашего Времени“; другіе же очень тонко замѣчали, что сочинитель нарисовалъ свой портретъ и портреты своихъ знакомыхъ... Старая и жалкая шутка! Но, видно, Русь такъ ужъ сотворена, что все въ ней обновляется, кромѣ подобныхъ нелѣпостей. Самая волшебная изъ волшебныхъ сказокъ у насъ едва ли избѣгнетъ упрека въ покушеніи на оскорблѣніе личности.

„Герой Нашего Времени“, милостивые государи мои, точно, портретъ, но не одного человѣка: это портретъ, составленный изъ пороковъ всего нашего поколѣнія, въ полномъ ихъ развитіи. Вы мнѣ опять скажете, что человѣкъ не можетъ быть tanto дуренъ; а я вамъ скажу, что если вы вѣрили возможности существованія всѣхъ трагическихъ и романтическихъ влѣдѣвъ, отчего же вы не вѣруете въ дѣйствительность Печорина? Если вы любовались вымыслами, гораздо болѣе ужасными и уродливыми, отчего же этотъ характеръ, даже какъ вымыселъ, не находитъ у васъ пощады? Ужъ не оттого ли, что въ немъ больше правды, нежели бы вы того желали.

Вы скажете, что нравственность отъ этого не выигрываетъ? Извините. Довольно людей кормили сластями: у нихъ отъ этого испортился желудокъ; нужны горькія лекарства, ёдкія истины. Но не думайте, однако, послѣ этого, чтобъ авторъ этой книги имѣлъ когда-нибудь гордую мечту сдѣлаться исправителемъ людскихъ пороковъ. Боже его избави отъ такого невѣжества! Ему, просто, было весело рисовать современнаго человѣка, какимъ онъ его понимаетъ и, къ его и вашему несчастію, слишкомъ часто встрѣчалъ. Будетъ и того, что болѣзнь указана, а какъ ее излечить—это ужъ Богъ знаетъ!—

### I. Б Э Л А.

Я ѿхалъ на перекладныхъ изъ Тифлиса. Вся поклажа моей телѣжки состояла изъ одного небольшого чемодана, который до половины былъ набитъ путевыми записками о Грузіи. Большая часть изъ нихъ, къ счастію для васъ, потеряна, а чемоданъ съ остальными вещами, къ счастію для меня, остался цѣлъ.

Ужъ солнце начинало прятаться за снѣговой хребетъ, когда я ѿѣхалъ въ Койшаврскую долину. Осетинъ-извозчикъ неутомимо погонялъ лошадей, чтобъ успѣть до ночи взобраться на Койшаврскую гору, и во все горло распѣвалъ пѣсни. Славное мѣсто эта долина! Со всѣхъ сторонъ горы неприступныя, красноватыя скалы, обвѣшанные зеленымъ плющемъ и увѣнчанные купами чинаръ, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а тамъ высоко, высоко, золотая бахрома снѣговъ; а внизу Арагва, обнявши съ

другой безыменной рѣчкой, шумно вырывающейся изъ чернаго, полнаго мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает, какъ змѣя своею чешуею.

По дорогѣ авторъ разговаривалъ съ попутчикомъ, пожилымъ офицеромъ.

До станціи оставалось еще съ версту. Кругомъ было тихо, такъ тихо что по жужжанію комара можно было слѣдить за его полетомъ. Надѣво чернѣло глубокое ущелье; за нимъ и впереди насть темносинія вершины горъ, изрытыя морщинами, покрытыя слоями снѣга, рисовались на блѣдномъ небосклонѣ, еще сохранявшемъ послѣдній отблескъ зари. На темномъ небѣ начинали мелькать звѣзды, и странно, мнѣ показалось, что онѣ гораздо выше, чѣмъ у насть на сѣверѣ. По обѣимъ сторонамъ дороги торчали голые, черные камни, кой-гдѣ изъ-подъ снѣга выглядывали кустарники, но ни одинъ сухой листокъ не шевелился, и весело было слышать среди этого мертваго сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякиванье русскаго колокольчика.

Вследствіе дурной погоды автору пришлось заночевать въ саклѣ, не дойхавъ до почтовой станціи.

Сакля была прильпнена однимъ бокомъ къ скалѣ; три скользкія мокрыя ступени вели къ ея двери. Ощущую вошелъ я и наткнулся на корову (хлѣбъ у этихъ людей замѣняетъ лакейскую). Я не зналъ, куда дѣваться: тутъ блеютъ овцы, тамъ ворчитъ собака. Къ счастію, въ сторонѣ блеснулъ тусклый свѣтъ и помогъ мнѣ найти другое отверстіе на подобіе двери. Тутъ открылась картина, довольно занимательная: широкая сакля, которой крыша опиралась на два закопченные столба, была полна народа. Посерединѣ трещалъ огонекъ, разложенный на землѣ, и дымъ, выталкиваемый обратно вѣтромъ изъ отверстія въ крышѣ, разстился вокругъ такой густой пеленою, что я долго не могъ осмотрѣться; у огня сидѣли двѣ старухи, множество дѣтей и одинъ худощавый грузинъ, всѣ въ лохмотьяхъ. Нечего было дѣлать! мы пріютились у огня, закурили трубки, и скоро чайникъ запипалъ привѣтливо.

— Жалкіе люди! сказалъ я штабс-капитану, указывая на нашихъ грязныхъ хозяевъ, которые молча на насть смотрѣли въ какомъ-то остолбенѣніи.

— Преглупый народъ! отвѣчалъ онъ. Повѣрите ли? ничего не умѣть, неспособны ни къ какому образованію! Ужъ по крайней мѣрѣ наши кабардинцы, или чеченцы, хотя разбойники, голыши, за то отчаянныя башки; а у этихъ и къ оружію никакой охоты нѣть: порядочнаго книжала ни на одномъ не увидишь. Ужъ подлинно осетины!

— А вы долго были въ Чечнѣ?

— Да я лѣтъ десять стоялъ тамъ въ крѣпости съ ротою, у Каменнаго Борда—знаете?

— Слыхалъ.

— Вотъ, батюшка, надоѣли намъ эти головорѣзы. Нынче, слава Богу, смириѣ; а бывало, на сто шаговъ отойдешь за валъ, ужъ гдѣ-нибудь кос-

матый дьяволъ сидить и караулить: чуть зазѣвался, того и гляди—либо арканъ на шеѣ, либо пушка въ затылкѣ. А молодцы!..

— А, чай, много съ вами бывало приключений? сказалъ я, подстрекаемый любопытствомъ.

— Какъ не бывать! бывало...

Тутъ онъ началъ щипать лѣвый усъ, повѣсилъ голову и призадумался. Мнѣ страхъ хотѣлось вытянуть изъ него какую-нибудь исторійку—желаніе, свойственное всѣмъ путешествующимъ и записывающимъ людямъ. Между тѣмъ чай поспѣлъ; я вытащилъ изъ чемодана два походные стаканчика, налилъ и поставилъ одинъ передъ нимъ. Онъ отхлебнулъ и сказалъ какъ будто про себя: „да, бывало!“ Это воскликаніе подало мнѣ большія надежды. Я знаю, старые кавказцы любятъ поговорить, поразсказать; имъ такъ рѣдко это удается: другой лѣтъ пять стоить гдѣ-нибудь въ захолустыѣ съ ротой, и цѣлны пять лѣтъ ему никто не скажеть: здравствуйте (потому что фельдфебель говорить здравія желаю). А поболтать было бы о чёмъ: кругомъ народъ дикий, любопытный; каждый день опасность; случаи бываютъ чудные, и тутъ поневолѣ пожалѣешь о томъ, что у насъ такъ мало записываются.

— Я разъ насили ноги унесъ, а еще у мирибого князя былъ въ гостяхъ.

— Какъ же это случилось?

— Вотъ... (онъ набилъ трубку, затянулся и началъ рассказывать), вотъ, изволите видѣть, я тогда стоялъ въ крѣпости за Терекомъ съ ротой—этому скоро пять лѣтъ. Разъ, осенью, пришелъ транспортъ съ провіантомъ; въ транспортѣ былъ офицеръ, молодой человѣкъ лѣтъ двадцати-пяти. Онъ явился ко мнѣ въ полной формѣ и объявилъ, что ему велѣно оставаться у меня въ крѣпости. Онъ былъ такой тоненький, блѣденький; на немъ мундиръ былъ такой новенький, что я тотчасъ догадался, что онъ на Кавказѣ у насъ недавно. „Вы, вѣрно“, спросилъ я его, „переведены сюда изъ Россіи?“

— Точно такъ, господинъ штабс-капитанъ, отвѣчалъ онъ. Я взялъ его за руку и сказалъ: „Очень радъ, очень радъ. Вамъ будетъ немножко скучно... ну, да мы съ вами будемъ жить по-пріятельски. Да, пожалуйста, зовите меня просто Максимъ Максимычъ, и пожалуйста—къ чему эта полная форма? приходите ко мнѣ всегда въ фуражкѣ“. Ему отвели квартиру, и онъ поселился въ крѣпости.

— А какъ его звали? спросилъ я Максима Максимыча.

— Его звали... Григорьевъ Александровичъ Печоринъ мъ. Славный былъ малый, смѣю васъ увѣрить; только немножко страненъ. Вѣдь, напримѣръ, въ дождикъ, въ холодъ, цѣлый день на охотѣ; всѣ изаябнутъ, устанутъ—а ему ничего. А другой разъ сидить у себя въ комнатѣ, вѣтеръ пахнеть, увѣряетъ, что простудился; ставнемъ стукнетъ, онъ вздрогнетъ и побѣднѣтъ; а при мнѣ ходилъ на кабана одинъ-на-одинъ; бывало, по цѣлымъ часамъ слова не добѣшься, за то ужъ иногда какъ начнетъ рассказывать,

такъ животики надорвешь со смѣха... Да-сь, съ большими странностями, и должно быть богатый человѣкъ: сколько у него было разныхъ дорогихъ вещицъ!.. Мы съ Печоринымъ сидѣли на почетномъ мѣстѣ, и вотъ къ нему подошла меньшая дочь хозяина, дѣвушка лѣтъ шестнадцати, и пропѣла ему: какъ бы сказать?—въ родѣ комплимента?..

— А чтѣ жъ такое она пропѣла, не помните ли?

— Да, кажется, вотъ такъ: „Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на нихъ серебромъ выложены, а молодой русскій офицеръ стройнѣе ихъ, и галуны на немъ золотые. Онъ какъ тополь между ними; только не расти, не цвѣсти ему въ нашемъ саду“. Печоринъ всталъ, поклонился ей, приложилъ руку ко лбу и сердцу, и просилъ меня отвѣтить ей; я хорошо знаю по-ихнему, и перевѣль его отвѣтъ.

— Когда она отъ насъ отошла, тогда я шепнула Григорью Александровичу: ну что, какова?—Прелестъ! отвѣчалъ онъ;—а какъ ее зовутъ?—Ее зовутъ Бѣлою, отвѣчалъ я.

— И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, какъ у горной серны, такъ и заглядывали къ вамъ въ душу. Печоринъ въ задумчивости не сводилъ съ нея глазъ, и она частенько исподлобья на него посматривала. Только не одинъ Печоринъ любовался хорошенѣйкой княжною: изъ угла комнаты на нее смотрѣли другіе два глаза, неподвижные, огненные. Я стала вглядываться и узнала моего стараго знакомца Казбича. Онъ, знаете, былъ не то, чтобъ мирнѣй, не то чтобъ немирнѣй. Подозрѣній на него было много, хоть онъ ни въ какой шалости не былъ замѣченъ. Бывало, онъ приводилъ къ намъ въ крѣпость барановъ и продавалъ дешево, только никогда не торговался: чтѣ запросить, давай,—хоть зарѣжь, не уступить. Говорили про него, что онъ любить таскаться за Кубань съ абреками, и, правду сказать, рожа у него была самая разбойничья; маленький, сухой, широкоплечий... А ужъ ловокъ-то, ловокъ-то былъ, какъ бѣсь! Бешметъ всегда изорванный, въ заплаткахъ, а оружіе въ серебрѣ. А лошадь его славилась вѣдѣлой Кабардѣ—и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаромъ ему завидовали всѣ наѣздники, и не разъ пытались ее украсть, только не удавалось. Какъ теперь гляжу на эту лошадь: вороная какъ смоль, ноги—струнки, и глаза не хуже, чѣмъ у Бѣлы; а какая сила! скаки хоть на 50 верстъ; а ужъ выѣзжена—какъ собака бѣгаетъ за хозяиномъ; голосъ даже его знала! Бывало, онъ ее никогда и не привязываетъ. Ужъ такая разбойничья лошадь!..

Максимъ Максимычъ случайно подслушалъ разговоръ Азамата, хозяинскаго сына, съ Казбичемъ.

— „Славная у тебя лошадь! говорилъ Азаматъ: если бъ я былъ хозяинъ въ домѣ и имѣлъ табунъ въ триста кобылъ, то отдалъ бы половину за твоего скакуна, Казбичъ!..

— А! Казбичъ!—подумалъ я, и вспомнилъ кольчугу.

— „Да“, отвѣчалъ Казбичъ послѣ нѣкотораго молчанія: „въ цѣлой Кабардѣ не найдешь такой. Разъ — это было за Терекомъ — я ѿздили съ абреками отбивать русскіе табуны; намъ не посчастливилось и мы разсыпались кто куда. За мной неслісь четыре казака; ужъ я слышалъ за собою крики гуяровъ и передо мною былъ густой лѣсъ. Прилегъ я на сѣдло, поручилъ себѣ Аллаху, и въ первый разъ въ жизни оскорбилъ коня ударомъ плети. Какъ птица нырнула онъ между вѣтвями; острыя колючки рвали мою одежду, сухіе сучья карагача били меня по лицу. Конь мой прыгалъ черезъ шипы, разрывалъ кусты грудью. Лучше было бы мнѣ его бросить у онушки и скрыться въ лѣсу пѣшкомъ, да жаль было съ нимъ разстаться—и пророкъ вознаградилъ меня. Нѣсколько пушъ провизжало надъ моей головою; я ужъ слышалъ, какъ спѣшившіеся казаки бѣжали по скѣдамъ... Вдругъ передо мною рѣтвина глубокая; скакунъ мой призадумался—и прыгнулъ. Заднія его копыта оборвались съ противнаго берега, и онъ повисъ на передніхъ ногахъ. Я бросилъ поводья и полетѣлъ въ оврагъ; это спасло моего коня: онъ выскочилъ. Казаки все это видѣли, только ни одинъ не спустился меня искать; они, вѣрно, думали, что я убился до смерти, и я слышалъ, какъ они бросились ловить моего коня. Сердце мое облилось кровью; поползъ я по густой травѣ вдоль по оврагу—смотрю: лѣсъ кончился, нѣсколько казаковъ выѣжаютъ изъ него на поляну, и вотъ выскакиваетъ прямо къ нимъ мой Карагезъ; всѣ кинулись за нимъ съ крикомъ; долго, долго они за нимъ гонялись, особенно одинъ раза два чуть-чуть не накинулъ ему на шею арканъ; я задрожалъ, опустилъ глаза и началъ молиться. Черезъ нѣсколько мгновеній поднимаютъ ихъ—и вижу, мой Карагезъ летитъ, развѣвая хвостъ, вольный, какъ вѣтеръ; а гиуры далеко одинъ за другимъ тянутся по степени на измученныхъ коняхъ. Валлахъ! это правда, истинная правда! До поздней ночи я сидѣлъ въ своемъ оврагѣ. Вдругъ, что жъ ты думаешьъ, Азаматъ? во мракѣ слышу, бѣгаешь по берегу оврага конь, фыркаетъ, ржетъ и бѣть копытами о землю; я узналъ голосъ моего Карагеза, это былъ онъ, мой товарищъ!.. Съ тѣхъ поръ мы не разлучались“.

— И слышно было, какъ онъ трепалъ рукою по гладкой шей своего скакуна, давая ему разныя нѣжныя названья.

Азаматъ сталъ просить у Каабича, чтобы онъ подарилъ ему своего коня; по-тому сталъ предлагать украдь для него Белу въ обмѣнъ за коня.

— Долго, долго молчалъ Казбичъ; наконецъ, вмѣсто отвѣта, онъ затянулъ старинную пѣсню вполголоса:

Много красавицъ въ аулахъ у насъ,  
Звѣзды сіяютъ во мракѣ ихъ глазъ.  
Сладко любить ихъ—завидная доля;  
Но веселѣй молодецкая воля.

Золото купить четыре жены,  
Конь же лихой не имѣть пѣны:  
Онь и отъ вихря въ степи не отстанеть,  
Онь не измѣнить, онъ не обманеть.

— Напрасно упрашивалъ его Азаматъ согласиться, и плакалъ, и льстилъ ему, и клялся.

Ихъ разговоръ чуть не окончился рѣзней. Азаматъ, выведенный изъ себя упорствомъ Кашибича и его насыпками, ударилъ его кинжаломъ; потомъ онъ вѣжалъ въ саклю, въ разорванномъ бешметѣ, говоря, что Кашибичъ хотѣлъ его зарѣзать.

— Всѣ выскочили, схватились за ружья — и пошла потѣха! Крикъ, шумъ, выстрѣлы; только Кашибичъ ужъ былъ верхомъ и вертѣлся среди толпы по улицѣ, какъ бѣсь, отмахиваясь шашкой. „Плохое дѣло — въ чужомъ пиру похмелье“, сказалъ я Григорью Александровичу, поймавъ его за руку: „не лучше ли намъ поскорѣй убраться?“

Максимъ Максимычъ передалъ Печорину разговоръ Азамата съ Кашибичемъ; Печоринъ помогъ Азамату украсть Карагеза и, въ благодарность за это, получилъ Бѣлу.

— Какъ я только провѣдалъ, что черкешенка у Григорья Александровича, то надѣлъ эполеты, шагу и пошелъ къ нему.

— Онъ лежалъ въ первой комнатѣ на постели, подложивъ одну руку подъ затылокъ, а въ другой держа погасшую трубку; дверь во вторую комнату была заперта на замокъ, и ключа въ замокѣ не было. Я все это тотчась замѣтилъ... Я началъ кашлять и постукивать каблуками о порогъ — только онъ притворялся, будто не слышитъ.

— Господинъ прaporщикъ! сказалъ я какъ можно строже: — развѣ вы не видите, что я къ вамъ пришелъ?

— Ахъ, здравствуйте, Максимъ Максимычъ! Не хотите ли трубку? отвѣчалъ онъ, не приподнимаясь.

— Извините, я не Максимъ Максимычъ: я штабсъ-капитанъ.

— Все равно. Не хотите ли чаю? Если бъ вы знали, какая мучить меня забота!

— Я все знаю, отвѣчалъ я, подошедъ къ кровати.

— Тѣмъ лучше: я не въ духѣ разсказывать.

— Господинъ прaporщикъ, вы сдѣлали проступокъ, за который и я могу отвѣтить...

— И, полноте! что жъ за бѣда? Вѣдь у насть давно все пополамъ.

— Что за шутки? Пожалуйте, вашу шагу!

— Митька, шагу!..

Митька принесъ шагу. Исполнивъ долгъ свой, сѣлъ я къ нему на кровать и сказалъ:

— Послушай, Григорій Александровичъ; признайся, что нехорошо.

— Что нехорошо?

— Да то, что ты увезъ Бэлу... Ужъ эта мнѣ бестія Азамать!.. Ну, признайся, сказалъ я ему.

— Да когда она мнѣ нравится?...

— Ну, что прикажете отвѣтить на это?.. Я сталъ втущикъ. Однакожъ, послѣ нѣкотораго молчанія, я ему сказалъ, что если отецъ станеть ее требовать, то надо будеть отдать.

— Вовсе не надо!

— Да онъ узнаеть, что она здѣсь.

— А какъ онъ узнаеть?

Я опять сталъ втущикъ.

— Да покажите мнѣ ее, сказалъ я.

— Она за этой дверью; только я самъ нынче напрасно хотѣлъ ее видѣть; сидѣть въ углу, закутавшись въ покрывало, не говорить и не смотрѣтъ; пуглива, какъ дикая серна. Я нанялъ нашу духанщицу: она знаетъ по-татарски, будеть ходить за нею и пріучить ее къ мысли, что она моя; потому что она никому не будетъ принадлежать кромѣ, меня! — прибавилъ онъ, ударивъ кулакомъ по столу. — Я и въ этомъ согласился... Что прикажете дѣлать? Есть люди, съ которыми непремѣнно должно соглашаться.

— А чѣмъ? спросилъ я у Максима Максимыча: въ самомъ ли дѣлѣ онъ пріучилъ ее къ себѣ, или она зачахла въ неволѣ, съ тоски по родинѣ?

— Помилуйте, отчего же съ тоски по родинѣ? Изъ крѣпости видны были тѣ же горы, что изъ аула — а этимъ дикарямъ болыше ничего не надо. Да притомъ Григорій Александровичъ каждый день дарилъ ей что нибудь; первые дни, она, молча, гордо отталкивала подарки, которые тогда доставались духанщицѣ и возвуждали ея краснорѣчіе. Ахъ, подарки! чего не сдѣлаетъ женщина за цвѣтную тряпичку!.. Ну, да это въ сторону... Долго бился съ нею Григорій Александровичъ, между тѣмъ училъ по-татарски, и она начинала понимать по-нашему. Мало-по-малу, она пріучилась на него смотрѣть, сначала изподлобья, искоса, и все грустила, напѣвала свои пѣсни вполголоса, такъ что, бывало, и мнѣ становилось грустно, когда слушалъ ее изъ сосѣдней комнаты. Никогда не забуду одной сцены: шель я мимо и заглянула въ окно; Бэла сидѣла на лежанкѣ, повѣсивъ голову на грудь, а Григорій Александровичъ стоялъ передъ нею. „Послушай, моя пери“, говорилъ онъ: „вѣдь ты знаешь, что рано или поздно ты должна быть мою — отчего же только мучишь меня? Развѣ ты любишь какого нибудь чеченца? Если такъ, я тебя сейчасъ отпушу домой“. — Она вздрогнула едва примѣтно и покачала головой. — „Или“, продолжалъ онъ, „я тебѣ совершенно ненавистенъ?“ — Она вздохнула. — „Или твоя вѣра запрещаетъ полюбить меня?“ — Она поблѣднѣла и молчала. — „Повѣрь мнѣ, Аллахъ для всѣхъ племенъ одинъ и тотъ же, и если Онъ мнѣ позволяетъ любить тебя, отчего же запретить тебѣ платить мнѣ взаимностью?“ — Она посмотрѣла ему пристально

въ лицо, какъ будто пораженная этой новой мыслю; въ глазахъ ея выражались недовѣрчивость и желаніе убѣдиться. Что за глаза! они такъ и сверкали, будто два угля.

— „Послушай, милая, добрая Бѣла!“ продолжалъ Печоринъ: „ты видишь, какъ я тебя люблю; я все готовъ отдать, чтобы тебя развеселить! я хочу, чтобы ты была счастлива; а если ты снова будешь грустить, то я умру. Скажи, ты будешь веселѣй?“

Она призадумалась, не спуская съ него черныхъ глазъ своихъ; потомъ улыбнулась ласково и кивнула головой въ знакъ согласія. Онъ взялъ ея руку и сталъ ее уговаривать, чтобы она его поцѣловала; она слабо защищалась и только повторяла: „поджалуста, поджалуста, не надо, не надо“. Онъ сталъ настаивать; она задрожала, заплакала. — „Я твоя пѣнница“, говорила она: „твоя раба; конечно, ты можешь меня принудить!“ — и опять слезы.

Григорій Александровичъ ударилъ себя въ лобъ кулакомъ и выскочилъ въ другую комнату. Я зашелъ къ нему; онъ сложа руки прохаживался, угрюмый, взадъ и впередъ. „Чтѣ, батюшка?“ сказалъ я ему. — „Дьяволъ, а не женщина!“ отвѣчалъ онъ: „только я вамъ даю мое честное слово, что она будетъ моя...“. Я покачалъ головою. „Хотите пари?“ сказалъ онъ: „черезъ недѣлю!“ — Извольте! — Мы ударили по рукамъ и разошлись.

Отъ подарковъ Бѣла сдѣлалась ласковѣе; но совсѣмъ ее покорилъ Печоринъ угрозой, что онъ уѣдетъ искать смерти въ бою.

На слѣдующій день спутники продолжали путь.

Междудѣй чай былъ выпитъ; давно запряженныя кони продрогли на снѣгу; мѣсяцъ блѣднѣлъ на западѣ и готовъ ужъ былъ погрузиться въ черныя свои тучи, висящія на дальнихъ вершинахъ, какъ клочки разодраннаго занавѣса. Мы вышли изъ сакли. Вопреки предсказанію моего спутника, по-тогда прояснилась и обѣщала намъ тихое утро; хороводы звѣздъ чудными узорами сплетались на далекомъ небосклонѣ и одна за другою гасли, по мѣрѣ того какъ блѣдноватый отблескъ востока разливался по темно-лиловому своду, озаряя постепенно крутые отлогости горъ, покрытые дѣвственными снѣгами. Направо и налево чернѣли мрачныя, таинственные пропасти; и туманы, клубясь и извиваясь какъ змѣи, сползали туда по морщинамъ съдникъ скалъ, будто чувствуя и пугаясь приближенія дня.

Тихо было все на небѣ и на землѣ, какъ въ сердцѣ человѣка въ минуту утренней молитвы; только изрѣдка набѣгалъ прохладный вѣтеръ съ востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеемъ. Мы тронулись въ путь; съ трудомъ пять худыхъ клячъ тащили наши повозки по извилистой дорогѣ на Гутъ-гору. Мы шли пѣшкомъ сзади, подкладывая камни подъ колеса, когда лошади выбивались изъ силъ; казалось, дорога вела на небо, потому что, сколько глазъ могъ разглядѣть, она все поднималась и нако-

нечь пропадала въ облакѣ, которое еще съ вечера отдыhalо на вершинѣ Гутъ-горы, какъ коршунъ, ожидающій добычу; снѣгъ хрестъль подъ ногами нашими; воздухъ становился такъ рѣдокъ, что было болѣно дышать: кровь поминутно приливалася въ голову, но со всѣмъ тѣмъ какое-то отрадное чувство распространялось по всѣмъ моимъ жиламъ, и мнѣ было какъ-то весело, что я такъ высоко надъ міромъ — чувство дѣтское, не спорю, но, удаляясь отъ условій общества и приближаясь къ природѣ, мы невольно становимся дѣтьми: все пріобрѣтенное отпадаетъ отъ души, и она дѣлается вновь такою, какой была нѣкогда и, вѣрно, будетъ когда-нибудь опять. Тотъ, кому случалось, какъ мнѣ, бродить по горамъ пустыннымъ и долго-долго всматриваться въ ихъ причудливые образы, и жадно глотать животворящій воздухъ, разлитый въ ихъ ущельяхъ, тотъ, конечно, пойметъ мое желаніе передать, разскaзать, нарисовать эти волшебныя картины. Вотъ наконецъ мы взобрались на Гутъ-гору, остановились и оглянулись: на ней висѣло сѣроѣ облако, и его холодное дыханіе грозило близкой бурею; но на востокѣ все было такъ ясно и золотисто, что мы, то есть я и штабсъ-капитанъ, совершенно о немъ забыли... Да, и штабсъ-капитанъ: въ сердцахъ простыхъ чувство красоты и величія природы сильнѣе, живѣе во стократъ, чѣмъ въ нась, восторженныхъ разскaзчикахъ на словахъ и на бумагѣ.

— Вы, я думаю, привыкли къ этимъ великолѣпнымъ картинамъ? сказaзъ я ему.

— Да-съ, и къ свисту пули можно привыкнуть, то есть привыкнуть скрывать невольное бѣеніе сердца.

— Я слышалъ, напротивъ, что для иныхъ старыхъ воиновъ эта музыка даже пріятна?

— Разумѣется, если хотите, оно пріятно; только все же потому, что сердце бьется сильнѣе. Посмотрите, прибавилъ онъ, указывая на востокъ: — что за край!

И точно, такую панораму врядъ ли гдѣ еще удастся мнѣ видѣть: подъ нами лежала Койшaurская долина, пересѣкаемая Арагвой и другой рѣчкой какъ двумя серебряными нитями; голубоватый туманъ скользилъ по ней, убѣгая въ сосѣднія тѣснины отъ теплыхъ лучей утра; направо и налево гребни горъ, одинъ выше другого, пересѣкались, тянулись, покрытые снѣгами, кустарникомъ; вдали тѣ же горы, но хоть бы двѣ скалы похожія одна на другую — и всѣ эти снѣга горѣли румянымъ блескомъ такъ весело, такъ ярко, что, кажется, тутъ бы и осталася жить навѣки; солнце чуть показалось изъ-за темносиней горы, которую только привычный глазъ могъ бы различить отъ грозовой тучи; но надъ солнцемъ была кровавая полоса, на которую мой товарищъ обратилъ особенное вниманіе. „Я говорилъ вамъ“, воскликнулъ онъ, „что нынче будетъ погода; надо торопиться, а то, пожалуй, она застанетъ нась на Крестовой. Трогайтесь!“ закричалъ онъ ямщикамъ.

Подложили цѣпи подъ колеса вмѣсто тормозовъ, чтобы они не раска-

тывались; вязли лошадей подъ узды и начали спускаться; направо былъ утесь, налево пропасть такая, что пылая деревушка осетинъ, живущихъ на днѣ ея, казалась гибдомъ ласточки; я содрогнулся, подумавъ, что часто здѣсь, въ глухую ночь, по этой дорогѣ, гдѣ двѣ повозки не могутъ разѣхаться, какой-нибудь курьеръ разъ десять въ годъ проѣзжаетъ, не выѣзжая изъ своего трясъкаго экипажа. Одинъ изъ нашихъ извозчиковъ былъ русскій ярославскій мужикъ, другой осетинъ. Осетинъ вѣль коренную подъ узды со всѣми возможными предосторожностями, отпрягши заранѣе уносныхъ — а нашъ безпечный русакъ даже не слѣзъ съ облучка! Когда я ему замѣтилъ, что онъ могъ бы побезпокоиться въ пользу хотя моего чемодана, за которымъ я вовсе не желалъ лазить въ эту бездну, онъ отвѣчалъ мнѣ: „И, баринъ! Богъ дастъ, не хуже ихъ дойдемъ; вѣдь намъ не впервые!“ — и онъ былъ правъ: мы точно могли бы не дойхатъ, однакожъ вое-таки дойхали. И еслибы всѣ люди побольше разсуждали, то убѣдились бы, что жизнь не стоитъ того, чтобы обѣ ней такъ много заботиться...

„Вотъ и Крестовая!“ сказалъ мнѣ штабс-капитанъ, когда мы сѣхали въ Чортову долину, указывая на холмъ, покрытый пеленою снѣга; на его вершинѣ чернѣлся каменный крестъ, и мимо него вела едва-едва замѣтная дорога, по которой проѣзжаютъ только тогда, когда боковая завалена снѣгомъ: наши извозчики объявили, что обваловъ еще не было, и, сберегая лошадей, повезли насъ кругомъ. При поворотѣ встрѣтили мы человѣкъ пять осетинъ; они предложили намъ свои услуги и, уѣхавши за колеса, съ крикомъ принялись тащить и поддерживать нашу телѣжку. И точно, дорога опасная: направо висѣли надъ нашими головами груды снѣга, готовыя, кажется, при первомъ порывѣ вѣтра оборваться въ ущелье; узкая дорога частію была покрыта снѣгомъ, который въ иныхъ мѣстахъ проваливался подъ ногами, въ другихъ превращался въ ледь отъ дѣйствія солнечныхъ лучей и ночныхъ морозовъ, такъ что съ трудомъ мы сами пробирались; лошади падали; — налево зияла глубокая разсѣлина, гдѣ катился потокъ, то скрываясь подъ ледяной корою, то съ гѣюю прыгая по чернымъ камнямъ. Въ два часа едва могли мы обогнуть Крестовую гору — двѣ версты въ два часа! Между тѣмъ тучи спустились, повалилъ градъ, снѣгъ; вѣтеръ, врываюшись въ ущелья, ревѣлъ, свисталъ, какъ Соловей-Разбойникъ, и скоро каменный крестъ скрылся въ туманѣ, котораго волны, одна другой гуще и тѣснѣе, набѣгали съ востока... Кстати: обѣ этомъ крестѣ существуетъ странное, но всеобщее преданіе, будто его поставилъ императоръ Петръ I, проѣзжая черезъ Кавказъ; но, во-первыхъ, Петръ былъ только въ Дагестанѣ, и во-вторыхъ, на крестѣ было написано крупными буквами, что онъ поставленъ по приказанію ген. Ермолова, а именно въ 1824 году. Но преданіе, несмотря на надпись, такъ укоренилось, что, право, не знаешь чѣму вѣрить, тѣмъ болѣе, что мы не привыкли вѣрить надписямъ.

Намъ должно было спускаться еще верстъ пять по обледенѣвшимъ

скаламъ и топкому снѣгу, чтобы достигнуть станціи Коби. Лошади измучились, мы продрогли; метель гудѣла сильнѣе и сильнѣе, точно наша родимая, сѣверная; только ея дикіе напѣвы были печальнѣе, заунынѣе. „И ты, изгнанница“, думалъ я, „плачешь о своихъ широкихъ, раздольныхъ степяхъ! Тамъ есть гдѣ развернуть холодныя крылѣа, а здѣсь тебѣ душно и тѣсно, какъ орлу, который съ крикомъ бѣется о рѣшетку желѣзной своей клѣтки“.

Въ сакѣ спутники остановились, спасая себя отъ дурной погоды; Максимъ Максимычъ продолжалъ свой разсказъ о Бѣлѣ.

Славная была дѣвочка эта Бѣла. Я къ ней наконецъ такъ привыкъ, какъ къ дочери, и она меня любила. Надо вамъ сказать, что у меня нѣтъ семейства: объ отцѣ и матери я лѣтъ двѣнадцать ужъ не имѣю извѣстія, а запастился женой не догадался раньше—такъ теперь ужъ, знаете, и не къ лицу; я и радъ былъ, что нашелъ кого баловать. Она, бывало, намъ поеть пѣсни, иль пляшетъ лезгинку... А ужъ какъ плясала! Видаль я нашихъ губернскихъ барышень, а разъ былъ-сь и въ Москвѣ въ благородномъ соображеніи, лѣтъ двадцать тому назадъ, — только куда имъ! совсѣмъ не то!.. Григорій Александровичъ наряжалъ ее какъ куколку, холилъ и лелеялъ, и она у насъ такъ похорошѣла, что чудо! съ лица и съ рукъ сошелъ загаръ, румянецъ разыгрался на щекахъ... Ужъ какая, бывало, веселая, и все надо мной, проказница, подшучивала... Богъ ей прости!..

Печоринъ скоро заскучалъ; онъ сталъ часто отлучаться изъ дома. Бѣла замѣтила его холодность и горевала.

Она заплакала, потомъ съ гордостью подняла голову, отерла слезы и продолжала:

— Если онъ меня не любить, то кто ему мѣшаетъ отослать меня домой? Я его не принуждаю. А если это такъ будетъ продолжаться, то я сама уйду: я не раба—я княжеская дочь!..

— Я сталъ ее уговаривать. — Послушай, Бѣла, вѣдь нельзя же ему вѣкъ сидѣть здѣсь, какъ пришитому къ твоей юбкѣ: онъ человѣкъ молодой, любить погоняться за дичью — походитъ да и придѣтъ; а если ты будешь грустить, то скорѣй ему наскучишь.

— Правда, правда, отвѣчала она: я буду весела. — И съ хохотомъ схватила свой бубенъ, начала пѣть, плясать и прыгать около меня; только и это не было продолжительно: она опять упала на постель и закрыла лицо руками.

— Чѣмъ было съ нею мнѣ дѣлать? Я, знаете, никогда съ женщинами не обращался; думалъ, думалъ, чѣмъ ее утѣшить, и ничего не придумалъ; нѣсколько времени мы оба молчали... Пренепріятное положеніе-сь!

— Вечеромъ я имѣлъ съ нимъ длинное объясненіе: мнѣ было досадно, что онъ перемѣнился къ этой бѣдной дѣвочкѣ; кромѣ того, что онъ половину дня проводилъ на охотѣ, его обращеніе стало холодно, ласкалъ

енъ ее рѣде, и она замѣтно начинала сохнуть, личико ея вытянулось, большие глаза потускѣли. Бывало спросишь: о чёмъ ты вздохнула, Бѣла! ты печальна? „Нѣтъ“. Тебѣ чего нибудь хочется? „Нѣтъ“. Ты тоскуешь по роднымъ? „У меня нѣтъ родныхъ“. Случалось по цѣлымъ днамъ, кромѣ „да“ да „нѣтъ“, отъ нея ничего больше не добьешься.

— Вотъ обѣ этомъ-то я и стала ему говорить. „Послушайте, Максимъ Максимычъ“, отвѣчалъ онъ; „у меня несчастный характеръ: воспитаніе ли меня сдѣлало такимъ, Богъ ли такъ меня создалъ — не знаю; знаю только то, что если я причиною несчастія другихъ, то и самъ не менѣе несчастливъ. Разумѣется, это имъ плохое утѣшеніе — только дѣло въ томъ, что это такъ. Въ первой моей молодости, съ той минуты, когда я вышелъ изъ опеки родныхъ, я сталъ наслаждаться бѣшено всѣми удовольствіями, которыхъ можно достать за деньги, и, разумѣется, удовольствія эти мнѣ опровергли. Потомъ пустился я въ большой свѣтъ, и скоро общество мнѣ также надоѣло; влюблялся въ свѣтскихъ красавицъ, и былъ любимъ; но ихъ любовь только раздражала мое воображеніе и самолюбіе, а сердце осталось пусто... Я стала читать, учиться — науки также надоѣли; я видѣлъ, что ни слава, ни счастье отъ нихъ не зависятъ никакъ, потому что самые счастливые люди — невѣжды, а слава — удача, и чтобы добиться ея, надо только быть ловкимъ. Тогда мнѣ стало скучно... Вскорѣ перевели меня на Кавказъ: это самое счастливое время моей жизни. Я надѣялся, что скуча не живеть подъ чеченскими пулями — напрасно: черезъ мѣсяцъ я такъ привыкъ къ ихъ жужжанью и къ близости смерти, что, право, обращалъ больше вниманія на комаровъ, и мнѣ стало скучнѣе прежняго, потому что я потерялъ почти послѣднюю надежду. Когда я увидѣлъ Бѣлу въ своемъ домѣ, когда въ первый разъ, держа ее на колѣнѣхъ, пѣловалъ ея черные локоны, я, глупецъ, подумалъ, что она ангель, посланный мнѣ сострадательной судбой... Я опять ошибся: любовь дикарки немногимъ лучше любви знатной барыни; невѣжество и простосердечіе одной также надоѣдаются, какъ и кокетство другой. Если вы хотите, я ее еще люблю, я ей благодаренъ за нѣсколько минутъ довольно сладкихъ, я за нее отдамъ жизнь — только мнѣ съ нею скучно... Глупецъ я, или злодѣй — не знаю; но то вѣрно, что я также очень достоинъ сожалѣнія, можетъ быть больше, нежели она; во мнѣ душа испорчена свѣтомъ, воображеніе беспокойное, сердце ненасытное; мнѣ все мало, къ печали я также легко привыкаю, какъ къ наслажденію, и жизнь моя становится пустѣе день отъ дня; мнѣ осталось одно средство: путешествовать. Какъ только будетъ можно, отправлюсь — только не въ Европу, избави Боже! — пойду въ Америку, въ Аравію, въ Индію — авось гдѣ-нибудь умру на дорогѣ. По крайней мѣрѣ я увѣренъ, что это послѣднее утѣшеніе не скоро истощится, съ помощью бурь и дурныхъ дорогъ“.—Такъ онъ говорилъ долго, и его слова врѣзались у меня въ памяти, потому что въ первый разъ я слышалъ такія вещи отъ двадцати пяти-лѣтнаго человѣка и, Богъ дастъ, въ по-

слѣдній... Чѣд за диво! Скажите-ка, пожалуйста, продолжалъ штабсь-капитанъ, обращаясь ко мнѣ: вы вотъ, кажется, бывали въ столицѣ, и недавно—неужто тамошняя молодежь вся такова?

Я отвѣчалъ, что много есть людей, говорящихъ то же самое; что есть, вѣроятно, и такие, которые говорить правду; что, впрочемъ, разочарование, какъ вся моды, начавъ съ высшихъ слоевъ общества, спустилось къ низшимъ, которые его донашиваютъ, и что нынче тѣ, которые больше всѣхъ и въ самомъ дѣлѣ скучаютъ, стараются скрыть это несчастіе, какъ порокъ.—Штабсь-капитанъ не понялъ этихъ тонкостей, покачалъ головою и улыбнулся лукаво.

— А все, чай, французы ввели моду скучать?

— Нѣтъ, англичане.

— Ага, вотъ что!.. отвѣчалъ онъ: да вѣдь они всегда были отъявленные пьяницы!

Однажды Казбичъ подстерегъ Бѣлу, когда она одна гуляла за валомъ, и похитилъ ее. Печоринъ и Максимъ Максимовичъ погнались за нимъ и ранили его. Онъ убѣжалъ, смертельно ранивъ кинжаломъ Бѣлу.

— И Бѣла умерла?

— Умерла; только долго мучилась, и мы ужъ съ нею измучились по-рядкомъ.

— Ночью она начала бредѣть; голова ея горѣла; по всему тѣлу иногда пробѣгала дрожь лихорадки. Она говорила несвязный рѣчи обѣ отцѣ, братѣ; ей хотѣлось въ горы, домой... Потомъ она также говорила о Печоринѣ; давала ему разныя нѣжныя названія, или упрекала его въ томъ, что онъ разлюбилъ свою джанечку.

— Онъ слушалъ ее молча, опустивъ голову на руки; но только я во все время не замѣтилъ ни одной слезы на рѣсницахъ его: въ самомъ ли дѣлѣ онъ не могъ плакать, или владѣлъ собою—не знаю; что до меня, то я ничего жальче этого не видывалъ.

— Къ утру бредѣ прошелъ; съ часъ она лежала неподвижная, блѣдная, и въ такой слабости, что едва можно было замѣтить, что она дышитъ; потомъ ей стало лучше, и она начала говорить, только, какъ вы думаете, о чѣмъ?.. Этаакая мысль придетъ вѣдь только умирающему!.. Начала печалиться о томъ, что она не христіанка, и что на томъ свѣтѣ душа ея никогда не встрѣтится съ душою Григорія Александровича, и что иная женщина будетъ въ раю его подругой. Мнѣ пришло на мысль окрестить ее передъ смертью: я ей это предложилъ; она посмотрѣла на меня въ нерѣшимости и долго не могла слова вымолвить; наконецъ отвѣчала, что она умретъ въ той вѣрѣ, въ какой родилась. Такъ прошелъ цѣлый день. Какъ она перемѣнилась въ этотъ день! Блѣдныя щеки впали, глаза сдѣлались большие, большие; губы горѣли. Она чувствовала внутренній жаръ, какъ будто въ груди у ней лежало раскаленное желѣзо.

— Настала другая ночь; мы не смыкали глазъ, не отходили отъ ея постели. Она ужасно мучилась, стонала, и только-что боль начинала утихать, она старалась увѣрить Григорья Александровича, что ей лучше, уговаривала его идти спать, цѣловала его руку, не выпускала ея изъ своихъ. Передъ утромъ она стала чувствовать тоску смерти, начала метаться, сбила перевязку и кровь потекла снова. Когда перевязали рану, она на минуту успокоилась и начала просить Печорина, чтобы онъ ее поцѣловалъ. Онъ сталъ на колѣни возлѣ кровати, приподнялъ ея голову съ подушки и прижалъ свои губы къ ея холодѣющимъ губамъ: она крѣпко обвила его шею дрожащими руками, будто въ этомъ поцѣлуѣ хотѣла передать ему свою душу... Нѣтъ, она хорошо сдѣлала, что умерла! Ну, что бы съ ней стало, еслибъ Григорій Александровичъ ее покинулъ? А это бы случилось, рано или поздно.

Я вывелъ Печорина вонъ изъ комнаты, и мы пошли на крѣпостной валъ; долго мы ходили взадъ и впередъ рядомъ, не говоря ни слова, загнувъ руки на спину; его лицо ничего не выражало особенного, и мнѣ стало досадно: я бы, на его мѣстѣ, умеръ съ горя. Наконецъ онъ сѣлъ на землю, въ тѣни, и началъ что-то чертить палочкой на пескѣ. Я, знаете, больше для приличія, хотѣлъ утѣшить его, началъ говорить; онъ поднялъ голову и засмѣялся... У меня морозъ пробѣжалъ по кожѣ отъ этого смѣха... Я пошель заказывать гробъ.

---

## II. МАКСИМЪ МАКСИМЫЧЪ.

На той же Военно-Грузинской дорогѣ авторъ еще разъ встрѣтился съ Максимомъ Максимовичемъ. Они долго разговаривали другъ съ другомъ. Наконецъ, ихъ вниманіе было привлекло къ себѣ щегольская коляска. Около нея шелъ лакей.

— Послушай, братецъ, спросилъ у него штабсъ-капитанъ: — чья эта чудесная коляска?.. а?.. Прекрасная коляска!.. Лакей, не оборачиваясь, бормоталъ что-то про себя, развязывая чемоданъ. Максимъ Максимычъ разсердился: онъ тронулъ неучтивца по плечу и сказалъ: — я тебѣ говорю, любезный...

— Чья коляска?.. Моего господина...

— А кто твой господинъ?

— Печоринъ.

— Что ты? что ты? Печоринъ?.. Ахъ, Боже, мой!.. да не служилъ ли онъ на Кавказѣ?.. воскликнулъ Максимъ Максимычъ, дернувъ меня за руку. У него въ глазахъ сверкала радость.

— Служилъ, кажется, — да я у нихъ недавно.

— Ну, такъ!.. такъ!.. Григорій Александровичъ?.. Такъ вѣдь его зовутъ? Мы съ твоимъ бариномъ были пріятелями, прибывши онъ, ударили дружески по плечу лакея, такъ что заставилъ его пошатнуться...

— Экой ты, братец!.. да знаешь ли, мы съ твоимъ бариномъ были друзья закадычные, жили вмѣстѣ?.. Да гдѣ жъ онъ самъ остался?..

Слуга объявилъ, что Печоринъ остался ужинать и ночевать у полковника Н....

— Да не зайдетъ ли онъ вчера сюда? сказалъ Максимъ Максимычъ: или ты, любезный, не пойдешь ли къ нему зачѣмъ нибудь?.. Коли пойдешь, такъ скажи, что здѣсь Максимъ Максимычъ—такъ и скажи... ужъ онъ знаетъ... Я тебѣ дамъ восьмитриденный на водку...

Лакей сдѣлалъ презрительную мину, слыша такое скромное обѣщаніе, однако увѣрилъ Максима Максимыча, что онъ исполнить его порученіе.

— Вѣдь сейчасъ приѣжжай!.. сказалъ Максимъ Максимычъ съ торжествующимъ видомъ:—пойду за ворота его дожидаться... Эхъ! жалко, что я незнакомъ съ Н....

Максимъ Максимычъ волновался въ ожиданіи скораго появленія Печорина, но толькъ не шелъ. Наступила ночь.

Онъ наскоро выхлебнулъ чашку, отказался отъ второй и ушелъ опять за ворота въ какомъ-то беспокойствѣ: явно было, что старика огорчало небреженіе Печорина, и тѣмъ болѣе, что онъ мнѣ недавно говорилъ о своей съ нимъ дружбѣ и еще часъ тому назадъ былъ увѣренъ, что онъ приѣжжать, какъ только услышитъ его имя.

Ужъ было поздно и темно, когда я снова отворилъ окно и сталъ звать Максима Максимыча, говоря, что пора спать; онъ что-то пробормоталъ сквозь зубы; я повторилъ приглашеніе—онъ ничего не отвѣчалъ.

Я легъ на диванъ, завернувшись въ шинель и оставивъ свѣчу на лежанкѣ, скоро задремалъ и проспалъ бы покойно, еслибы, уже очень поздно, Максимъ Максимычъ, войдя въ комнату, не разбудилъ меня. Онъ бросилъ трубку на столъ, сталъ ходить по комнатѣ, шевырять въ печи, наконецъ легъ, но долго кашлялъ, плевалъ, ворочался...

— Не клопы ли васъ кусаютъ? спросилъ я.

— Да, клопы... отвѣчалъ онъ, тяжело вздохнувъ.

На другой день утромъ я проснулся рано, но Максимъ Максимычъ предупредилъ меня. Я нашелъ его у воротъ сидѣщаго на скамейкѣ. „Мнѣ надо сходить къ коменданту“, сказалъ онъ: „такъ пожалуйста, если Печоринъ придетъ, пришлите за мной...“

Я обѣщался. Онъ побѣжалъ, какъ будто члены его получили вновь юношескую силу и гибкость.

Утро было свѣжее и прекрасное. Золотыя облака громоздились на горахъ, какъ новый рядъ воздушныхъ горъ; передъ воротами разстилалась широкая площадь; за нею базарь кипѣлъ народомъ, потому что было воскресенье: босые мальчики-осетины, неся за плечами котомки съ сотовымъ мѣдомъ, вертѣлись вокругъ меня; я ихъ проклиналъ: мнѣ было не до нихъ—я начиная раздѣлять беспокойство доброго штабс-капитана.

Не прошло десяти минутъ, какъ на концѣ площади показался тотъ, котораго мы ожидали. Онъ шелъ съ полковникомъ Н..., который, доведя его до гостиницы, простился съ нимъ и повернулся въ крѣпость. Я тотчасъ же послалъ инвалида за Максимомъ Максимычомъ.

Онъ былъ средняго роста; стройный, тонкій станъ его и широкія плечи доказывали крѣпкое сложеніе, способное переносить всѣ трудности хочевой жизни и перемѣнны климатовъ, не побѣжденное ни развратомъ столичной жизни, ни бурями душевными; пышный бархатный скортучокъ его, застегнутый только на двѣ нижнія пуговицы, позволялъ разглядѣть ослѣпительно-чистое бѣлье, изобличавшее привычки порядочнаго человѣка; его запачканныя перчатки казались нарочно спичками по его маленькой аристократической рукѣ, и когда онъ снялъ одну перчатку, то я былъ удивленъ худобой его блѣдныхъ пальцевъ. Его походка была небрежна и лѣнива, но я замѣтилъ, что онъ не размахивалъ руками—вѣрный признакъ нѣкоторой скрытности характера. Впрочемъ, это мои собственныя замѣчанія, основанныя на моихъ же наблюденіяхъ, и я вовсе не хочу вѣсть заставить вѣровать въ нихъ слѣпо. Когда онъ опустился на скамью, то прямой станъ его согнулся, какъ будто у него въ спинѣ не было ни одной косточки; положеніе всего его тѣла изобразило какую-то первическую слабость; онъ сидѣлъ, какъ сидѣтъ Бальзакова тридцатилѣтняя кокетка на своихъ пуховыхъ креслахъ послѣ утомительного бала. Съ первого взгляда на лицо его я бы не далъ ему болѣе двадцати-трехъ лѣтъ, хотя послѣ я готовъ былъ дать ему тридцать. Въ его улыбкѣ было что-то дѣтское. Его кожа имѣла какую-то женскую нѣжность; блѣлокурые волосы, выющіеся отъ природы, такъ живописно обрисовывали его блѣдный, благородный лобъ, на которомъ только по долгому наблюденію можно было замѣтить слѣды морщинъ, пересѣкавшихъ одну другую и, вѣроятно, обозначавшихъ гораздо явственнѣе въ минуты гнѣва или душевнаго беспокойства. Несмотря на свѣтлый цвѣтъ его волосъ, усы его и брови были черные—признакъ породы въ человѣкѣ, таихъ какъ черная грива и черный хвостъ у бѣлой лошади. Чтобъ докончить портретъ, я скажу, что у него былъ иемнаго вздернутый носъ, зубы ослѣпительной бѣлизны и каріе глаза; о глазахъ я долженъ сказать еще нѣсколько словъ.

Во-первыхъ, они не смеялись, когда онъ смеялся.—Вамъ не случалось замѣтить такой странности у нѣкоторыхъ людей?.. Это признакъ или злого нрава, или глубокой, постоянной грусти. Изъ-за полуопущенныхъ рѣсницъ они сіяли какимъ-то фосфорическимъ блескомъ, если можно такъ выразиться. То не было отраженіе жара душевнаго или играющаго воображенія: то былъ блескъ, подобный блеску гладкой стали, ослѣпительный, но холодный; взглядъ его—непроложительный, но проницательный и тяжелый, оставлялъ по себѣ непріятное впечатлѣніе нескромнаго вопроса и могъ бы казаться дерзкимъ, еслибы не былъ столь равнодушно-спокойенъ. Всѣ эти замѣчанія пришли мнѣ на умъ, можетъ быть только потому, что я зналъ нѣкоторыя подроб-

ности его жизни, и можетъ быть на другого видъ его произвелъ бы совершенно различное впечатлініе; но такъ какъ вы о немъ не услышите ни отъ кого, кроме меня, то поневолѣ должны довольствоваться этимъ изображеніемъ. Скажу въ заключеніе, что онъ былъ вообще очень недуренъ и имѣлъ одну изъ тѣхъ оригиналныхъ физіономій, которыя особенно нравятся женщинамъ.

Лошади были уже заложены; колокольчикъ повременамъ звенѣть подъ дугою, и лакей уже два раза подходилъ къ Печорину съ докладомъ, что все готово, а Максимъ Максимычъ еще не явился. Къ счастію, Печоринъ былъ погруженъ въ задумчивость, глядя на синіе зубцы Кавказа, и, кажется, вовсе не торопился въ дорогу. Я подошелъ къ нему. „Если вы захотите еще немного подождать“, сказълъ я, „то будете имѣть удовольствіе увидѣться со старымъ пріятелемъ...“

— Ахъ, точно! быстро отвѣчалъ онъ:— мнѣ вчера говорили; но гдѣ же онъ?— Я обернулся къ площади и увидѣлъ Максима Максимыча, бѣгущаго, что было мочи... Черезъ нѣсколько минутъ онъ былъ уже вовлѣ настѣ; онъ едва могъ дышать; потъ градомъ катился съ лица его; мокрые клочки сѣдыхъ волосъ, вырвавшись изъ-подъ шапки, приклеились ко лбу его: колѣни его дрожали... онъ хотѣлъ кинуться на шею Печорину, но тотъ довольно холодно, хотя съ привѣтливой улыбкой, протянулъ ему руку. Штабсъ-капитанъ на минуту осталбенѣлъ, но потомъ жадно схватилъ его руку обѣими руками: онъ еще не могъ говорить.

— Какъ я радъ, дорогой Максимъ Максимычъ! Ну, какъ вы пожи-  
ваете? сказълъ Печоринъ.

— А... ты?.. а вы?.. пробормоталъ со слезами на глазахъ старикъ: сколько лѣтъ... сколько дней... да куда это?..

— Ёду въ Шерсю—и дальше...

— Неужто сейчасъ?.. Да подождите, дражайшій!.. Неужто сейчасъ раз-  
станемся?.. Сколько времени не видались...

— Мнѣ пора, Максимъ Максимычъ,—былъ отвѣтъ.

— Боже мой, Боже мой! да куда это такъ сѣѣштѣ?.. Мнѣ столько-  
бы хотѣлось вамъ сказать... столько разспросить... Ну, что? въ отставкѣ?..  
какъ?.. что подѣливали?..

— Скучалъ! отвѣчалъ Печоринъ, улыбаясь.

— А помните ваше житѣе-бытье въ крѣпости?.. Славная страна для  
охоты!.. Вѣдь вы были страшный охотникъ стрѣлять... А Бѣла?..

Печоринъ чуть-чуть поблѣднѣлъ и отвернулся...

— Да, помню! сказълъ онъ, почти тотчасъ принужденно зѣвнувъ.

Максимъ Максимычъ сталъ его упрашивать остататься съ нимъ еще часа два. „Мы славно пообщаемъ“, говорилъ онъ: „у меня есть два фазана;  
а кахетинское здѣсь прекрасное... разумѣется, не то, что въ Грузіи, однако  
лучшаго сорта... Мы поговоримъ... Вы мнѣ расскажете про свое житѣе въ  
Петербургѣ... А?..“

— Право, мнъ нечего рассказывать, дорогой Максимъ Максимычъ... Однако прощайте, мнъ пора... я спѣшу... Благодарю, что не забыли... прибавилъ онъ, взявъ его за руку.

Старикъ нахмурилъ брови... Онъ былъ печаленъ и сердитъ, хотя старался скрыть это. „Забыть“, проворчалъ онъ: „я-то не забыть ничего... Ну, да Богъ съ вами... Не такъ я думалъ съ вами встрѣтиться...“

— Ну, полно, полно! сказалъ Печоринъ, обнявъ его дружески:—неужели я не тотъ же? Чѣдѣлать?.. всякому своя дорога. Удастся ли ли еще встрѣтиться—Богъ знаетъ!.. Говоря это, онъ уже сидѣлъ въ коляскѣ и ямщикъ ужъ началъ подбирать возки.

— Постой, постой! закричалъ вдругъ [Максимъ Максимычъ, ухватясь за дверцы коляски:—совсѣмъ было забыть... У меня остались ваши бумаги, Григорій Александровичъ... я ихъ таскаю съ собой... думалъ найти васъ въ Грузіи, а вотъ гдѣ Богъ далъ свидѣться... Чѣдѣ съ ними дѣлать?..

— Чѣдѣ хотите! отвѣчалъ Печоринъ.—Прощайте...

— Такъ вы въ Персію?.. а когда вернетесь?.. кричалъ вслѣдъ Максимъ Максимычъ.

Коляска была уже далеко, но Печоринъ сдѣлалъ знакъ рукой, который можно было перевести слѣдующимъ образомъ: врядъ ли! да и незачѣмъ!

Давно уже не слышино было ни звона колокольчика, ни стука колесъ по кремнистой дорогѣ, а бѣдный старикъ еще стоялъ на томъ же мѣстѣ въ глубокой задумчивости.

„Да“, сказалъ онъ наконецъ, стараясь принять равнодушный видъ, хотя слеза досады по временамъ сверкала на его рѣсницахъ: „конечно, мы были пріятели—ну, да чѣдѣ пріятели въ нынѣшнемъ вѣкѣ!.. Чѣдѣ ему во мнѣ? Я небогатъ, нечиковенъ, да и по лѣтамъ совсѣмъ ему не пары... Вишь какимъ онъ франтомъ сдѣлался, какъ побывалъ опять въ Петербургѣ... Что за коляска!.. сколько поклажи!.. и лакей такой гордый!..“ Эти слова были произнесены съ иронической улыбкой. „Скажите, продолжалъ онъ, обратясь ко мнѣ:—ну, чѣдѣ вы обѣ этомъ думаете?.. ну, какой бѣсь несетъ его теперь въ Персію?.. Смѣшно, ей-Богу, смѣшно!.. Да я всегда зналъ, что онъ вѣтреный человѣкъ, на котораго нельзя надѣяться... А, право, жаль, что онъ дурно кончить... да и нельзя иначе!.. Ужъ я всегда говорилъ, что нѣть проку въ томъ, кто старыхъ друзей забываетъ!..“ Тутъ онъ отвернулся, чтобы скрыть свое волненіе, и пошелъ ходить по двору около своей по-возки, показывая, будто осматриваетъ колеса, тогда какъ глаза его помимо наполнялись слезами.

Бумаги Печорина Максимъ Максимычъ передалъ автору.

## Журналъ Печорина.

### Предисловіе.

Недавно я узналъ, что Печоринъ, возвращаясь изъ Персіі, умеръ. Это извѣстіе меня очень обрадовало: оно давало мнѣ право печатать эти записки, и я воспользовался случаемъ поставить свое имя подъ чужимъ произведеніемъ. Дай Богъ, чтобы читатели меня не наказали за такой невинный подлогъ!

Теперь я долженъ нѣсколько объяснить причины, побудившія меня предать публикѣ сердечныя тайны человѣка, котораго я никогда не зналъ! Добро бы я былъ еще его другомъ: коварная нескромность истиннаго друга понятна каждому; но я видѣлъ его только разъ въ моей жизни на большой дорогѣ, следовательно, не могу питать къ нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь подъ личинкою дружбы, ожидаетъ только смерти или несчастія любимаго предмета, чтобы разразиться надъ его головою градомъ упрековъ, совѣтовъ, насмѣшекъ и сожалѣній.

Перечитывая эти записки, я убѣдился въ искренности того, кто такъ безпощадно выставлялъ наружу собственные слабости и пороки. Исторія души человѣческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнѣе и не полезнѣе исторіи цѣлаго народа особенно когда она—следствіе наблюденій ума зрѣлаго надъ самимъ собою и когда она писана безъ тщеславнаго желанія возбудить участіе или удивленіе. Исповѣдь Руссо имѣть уже тотъ недостатокъ, что онъ читалъ ее своимъ друзьямъ.

Итакъ, одно желаніе пользы заставило меня напечатать отрывки изъ журнала, доставшагося мнѣ случайно. Хотя я перемѣнилъ всѣ собственные имена, но тѣ, о которыхъ въ немъ говорится, вѣроятно, себя узнаютъ и, можетъ быть, они найдутъ оправданіе поступкамъ, въ которыхъ до сей поры обвиняли человѣка, уже не имѣющаго отнынѣ ничего общаго съ здѣшнимъ міромъ: мы почти всегда извиняемъ то, что понимаемъ.

Я помѣстилъ въ этой книжѣ только то, что относилось къ пребыванію Печорина на Кавказѣ. Въ моихъ рукахъ осталась еще толстая тетрадь, где онъ разсказываетъ всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на судъ свѣта; но теперь я не смѣю взять на себя эту отвѣтственность по многимъ важнымъ причинамъ.

Можетъ быть, нѣкоторые читатели захотятъ узнать мое мнѣніе о характерѣ Печорина. Мой отвѣтъ—заглавіе этой книги. „Да это злая иронія!“ скажутъ они.—Не знаю.

II. Князька Мери.

11-го Мая.

Вчера я приехалъ въ Пятигорскъ, нанимъ квартиру на краю города, на самомъ высокомъ мѣстѣ, у подошвы Машука: во время грозы облака будуть спускаться до моей кровли. Нынче въ пять часовъ утра, когда я открыть окно, моя комната наполнилась запахомъ прѣтовъ, растущихъ въ скромномъ палисаднике. Вѣтки цвѣтушихъ черешень смотрѣть мнѣ въ окно и вѣтеръ иногда усыпаетъ мой письменный столъ ихъ бѣлыми лепестками. Видъ съ трехъ сторонъ у меня чудесный: на западъ пятиглавый Башту синѣеть, какъ „послѣдняя туча разсѣянной бури“; на сѣверъ поднимается Машукъ, какъ мохнатая персидская шапка, и закрываетъ всю эту часть небосклона; на востокъ смотрѣть веселѣе: внизу передо мною пестрѣть чистенький, новенький городокъ, шумятъ цѣлебные ключи, шумитъ разноязычная толпа,—а тамъ, дальше, амфитеатромъ громоздятся горы все синѣе и туманнѣе, а на краю горизонта тянется серебряная цѣпь сѣнѣговыхъ вершинъ, начинаясь Казбекомъ и оканчиваясь двуглавымъ Эльбугоромъ... Весело жить въ такой землѣ! Какое отрадное чувство разлито во всѣхъ моихъ жилахъ. Воздухъ чистъ и свѣжъ, какъ поцѣлуй ребенка; солнце ярко, не-бо сине—чего бы, кажется, больше? Зачѣмъ тутъ страсти, желанія, сожалѣнія?.. Однако пора. Пойду къ Елизаветинскому источнику: тамъ, говорять, утромъ собирается все водяное общество.

Спустясь въ середину города, я пошелъ бульваромъ, гдѣ встрѣтилъ нѣсколько печальныхъ группъ, медленно подымающихся въ гору; то были большою частью семейства степныхъ помѣщиковъ: обѣ этомъ можно было тотчасъ догадаться по истертымъ старомоднымъ сюртукамъ мужей и по изысканнымъ нарядамъ женъ и дочерей. Видно, у нихъ вся *водяная* моло-дежь была уже на перечетѣ, потому что они на меня посмотрѣли съ тѣж-нымъ любопытствомъ; петербургскій покрой сюртука ввелъ ихъ въ заблу-жденіе, но скоро, узнавъ армейскіе эполеты, они съ негодованіемъ отверну-лись.

Жены мѣстныхъ властей, такъ сказать хозяйки водъ, были благосклон-нѣ; у нихъ есть лорнеты; онѣ менѣе обращаютъ вниманія на мундиры; онѣ привыкли на Кавказѣ встрѣчать подъ нумерованной пуговицей пылкое сердце и подъ бѣлой фуражкой образованный умъ. Эти дамы очень милы, и долго милы! Всякій годъ ихъ обожатели смѣняются новыми, и въ этомъ-то, можетъ быть, секретъ ихъ неутомимой любезности. Подымаясь по узкой тропинкѣ къ Елизаветинскому источнику, я обогналъ толпу мужчинъ стат-скихъ и военныхъ, которые, какъ я узналъ послѣ составляютъ особенный классъ людей между чающими движенія воды. Они пьютъ—однако не воду,

гуляютъ мало, волочатся только мимоходомъ: они играютъ и жалуются на скучу. Они франты: опуская свой оплетенный стаканъ въ колодезь кислосирной воды, они принимаютъ академическія позы; статскіе носятъ свѣтлолюбые галстуки, военные выпускаютъ изъ-за воротника брыжжи. Они исповѣдываютъ глубокое презрѣніе къ провинціальнымъ дамамъ и вздыхаютъ о столичныхъ аристократическихъ гостиныхъ, куда ихъ не пускаютъ.

Здѣсь Печоринъ встрѣтился съ Грушницкимъ.

Грушницкій—юнкеръ. Онъ только годъ въ службѣ; носить, по особому роду франтовства, толстую солдатскую шинель. У него георгіевскій солдатскій крестикъ. Онъ хорошо сложенъ, смуглъ и черноволосъ; ему на видъ можно дать 25 лѣтъ, хотя ему едва ли 21 годъ. Онъ закидываетъ голову назадъ, когда говоритъ, и поминутно крутить усы лѣвой рукой, ибо правою опирается на костиль. Говорить онъ скоро и вычурно; онъ изъ тѣхъ людей, которые на всѣ случаи жизни имѣютъ готовыя пышныя фразы, которыхъ просто прекрасное не трогаетъ и которые важно драпируются въ необыкновенные чувства, возвышенная страсти и исключительная страданія. Производить эффеќтъ—ихъ наслажденіе; они нравятся романтическимъ провинціалкамъ до безумія. Подъ старость они дѣлаются либо мирными помѣщикаами, либо пьяницами; иногда тѣмъ и другимъ. Въ ихъ душѣ часто много добрыхъ свойствъ, но ни на грошъ поэзіи. Грушницкаго страсть была декламировать: онъ закидывалъ вѣсъ словами, какъ скоро разговоръ выходилъ изъ круга обыкновенныхъ понятій; спорить съ нимъ я никогда не могъ. Онъ не отвѣчаетъ на ваши возраженія, онъ вѣсъ не слушаетъ. Только-что вы остановитесь, онъ начинаетъ длинную тираду, повидимому, имѣющую какую-то связь съ тѣмъ, что вы сказали, но которая въ самомъ дѣлѣ есть только продолженіе его собственной рѣчи.

Онъ довольно остеръ; эпиграммы его часто забавны, но никогда не бываютъ мѣтки и злы: онъ никого не убѣтъ однимъ словомъ; онъ не знаетъ людей и ихъ слабыхъ струнъ, потому что занимался цѣлую жизнь однимъ собою. Его цѣль—сдѣлаться героемъ романа. Онъ такъ часто старался увѣрить другихъ въ томъ, что онъ существо несозданное для міра, обреченное какимъ-то тайнымъ страданіямъ, что онъ самъ почти въ этомъ увѣрился. Оттого онъ такъ гордо носить свою толстую солдатскую шинель. Я его понялъ, и онъ за это меня не любить, хотя мы наружно въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ. Грушницкій сливетъ отличнымъ храбрѣцомъ; я его видѣлъ въ дѣлѣ: онъ махаетъ шашкой, кричить и бросается впередъ, захмуря глаза. Это что-то не русская храбрость!..

Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда-нибудь съ нимъ столкнемся на узкой дорогѣ—и одному изъ насъ не сдѣловать.

Приѣздъ его на Кавказъ — также слѣдствіе его романтическаго фанатизма. Я увѣренъ, что наканунѣ отѣзда изъ отцовской деревни онъ гово-

риль съ мрачнымъ видомъ какой-нибудь хорошенькой соседкѣ, что онъ ѓдеть не такъ, просто, служить, но что ищеть смерти, потому что... тутъ онъ, вѣрно, закрывъ глаза рукою, продолжаетъ такъ: „нѣть, вы (или ты) этого не должны знать! Ваша чистая душа содрогнется! Да къ чему? Что я для васъ? Поймете ли вы меня?..“ и такъ далѣ.

Онъ мнѣ самъ говорилъ, что причина, побудившая его вступить въ К. полкъ, останется вѣчною тайною между нимъ и небесами.

Мимо нихъ прошла княгиня Лиговская съ дочерью Мери. Грушницкій вслухъ критиковалъ въ это время пріѣзжее общество. Печоринъ иронически спросилъ его:

— Ты озлобленъ противъ всего рода человѣческаго?

— И есть за что...

— О! право?

Въ это время дамы отошли отъ колодца и поровнялись съ нами. Грушницкій успѣлъ принять драматическую позу съ помощью костыля и громко отвѣчалъ мнѣ по-французски.

— Mon cher, je hais les hommes pour ne pas les mépriser, car autrement la vie serait une farce trop dégoutante.

Хорошенькая княжна обернулась и подарила оратора долгимъ любопытнымъ взоромъ. Выраженіе этого взора было очень неопределенно, но не насмѣшило, съ чѣмъ я внутрѣнно отъ души его поздравилъ.

— Эта княжна Мери прехорошенькая, сказалъ я ему. — У нея такие бархатные глаза — именно бархатные: я тебѣ совсѣмъ присвоить это выражение, говоря объ ея глазахъ; нижнія и верхнія рѣсины такъ длинны, что лучи солнца не отражаются въ ея зрачкахъ. Я люблю эти глаза безъ блеска: они такъ мягки, они будто бы тебя гладятъ. Впрочемъ, кажется, въ ея лицѣ только и есть хорошаго... А что, у нея зубы бѣлы? Это очень важно! Жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу.

— Ты говоришь о хорошенъкѣ женщинѣ, какъ объ англійской лошади, сказаль Грушницкій съ негодованіемъ.

— Mon cher, отвѣчалъ я ему, стараясь поддѣлаться подъ его тонъ:— je méprise les femmes pour ne pas les aimer, car autrement la vie serait un mélodrame trop ridicule.

Грушницкій бытъ очарованъ Мери, когда она подняла уроненный имъ стаканъ, которого поднять она самъ не могъ, такъ какъ рана мѣшала ему нагнуться.

— Ты видѣлъ? сказаъ онъ, крѣпко пожимая мнѣ руку: — это просто ангелъ!

— Отчего? спросилъ я съ видомъ чистъйшаго простодушія.

— Развѣ ты не видаль?

— Нѣтъ, видѣлъ: она подняла твой стаканъ. Еслибы былъ тутъ стражъ, то онъ сдѣлалъ бы то же самое, и еще послѣшнѣе, надѣясь получить

на водку. Впрочемъ, очень понятно, что ей стало тебя жалко: ты сдѣлалъ такую ужасную гримасу, когда ступилъ на прострѣленную ногу...

— И ты не былъ никакъ тронуть, гляди на нее въ эту минуту, когда душа сияла на лицѣ ея?

— Нѣтъ.

Я лгалъ: но мнѣ хотѣлось его побѣсить. У меня врожденная страсть противорѣчить; цѣлая моя жизнь была только цѣль грустныхъ и неудачныхъ противорѣчий сердцу или разсудку. Присутствіе энтузиаста обдаѣтъ меня крещенскимъ холодомъ и, я думаю, частыя сношенія съ вѣлѣмъ флегматикомъ сдѣлали бы изъ меня страстнаго мечтателя. Признаюсь еще, чувство непріятное, но знакомое, пробѣжало слегка въ это мгновеніе по моему сердцу: это чувство было — зависть; я говорю смѣло „зависть“, потому что привыкъ себѣ во всемъ признаваться; и врядъ ли найдется молодой человѣкъ, который, встрѣтивъ хорошенькую женщину, приковавшую его праздное вниманіе и вдругъ явно при немъ отличившую другого, ей равно не знакомаго, врядъ ли, говорю, найдется такой молодой человѣкъ (разумѣется, жившій въ большомъ свѣтѣ и привыкшій баловать свое самолюбіе), который бы не былъ этимъ пораженъ непріятно.

---

13-го мая.

Нынче по утру зашелъ ко мнѣ докторъ; его имя Вернеръ, но онъ русскій. Что тутъ удивительнаго? Я зналъ одного Иванова, который былъ нѣмецъ.

Вернеръ человѣкъ замѣчательный по многимъ причинамъ. Онъ скептикъ и материалистъ, какъ вся почти медици, и вмѣстѣ съ этимъ и поэть не на шутку — поэть на дѣлѣ всегда, и часто на словахъ, хотя въ жизнь свою не написалъ двухъ стиховъ. Онъ изучалъ всю живыя струны сердца человѣческаго, какъ изучаютъ жили трупа, но никогда не умѣлъ онъ воспользоваться своимъ знаніемъ: такъ иногда отличный анатомикъ не умѣть вылечить отъ лихорадки. Обыкновенно Вернеръ исподтишка насыхался надъ своими больными; но я разъ видѣлъ, какъ онъ плакалъ надъ умирающимъ солдатомъ... Онъ былъ бѣдентъ, мечталъ о миллионахъ, а для денегъ не сдѣлалъ бы лишняго шага. Онъ мнѣ разъ говорилъ, что скорѣе сдѣлаетъ одолженіе врагу, чѣмъ другу, потому что это значило бы продавать свою благотворительность, тогда какъ ненависть только усиливается соразмѣрно великодушію противника. У него былъ злой языкъ: подъ выѣскою его эпиграммы не одинъ добрякъ прослылъ пошлымъ дуракомъ; его соперники, завистливые водяные медики, распустили слухъ, будто онъ рисуетъ карикатуры на своихъ больныхъ — больные взблѣнились: почти всѣ ему отказали. Его пріятели, то есть всѣ истинно порядочные люди, служившіе на Кавказѣ, напрасно старались возстановить его упавшій кредитъ.

Его наружность была изъ тѣхъ, которыхъ съ первого взгляда поражаютъ непріятно, но которыхъ нравятся впослѣдствіи, когда глазъ выучится читать въ неправильныхъ чертахъ отпечатокъ души испытанной и высокой. Бывали примѣры, что женщины влюблялись въ такихъ людей до безумія и не промѣняли бы ихъ безобразія на красоту самыхъ свѣжихъ и розовыхъ эдіміоновъ. Надобно отдать справедливость женщинамъ: они имѣютъ инстинктъ красоты душевной; оттого-то, можетъ быть, люди, подобные Вернеру, такъ страстно любятъ женщинъ.

Вернеръ былъ малъ ростомъ и худъ и слабъ, какъ ребенокъ; одна нога была у него короче другой, какъ у Байрона; въ сравненіи съ теловищемъ, голова его казалась огромна; онъ стригъ волосы подъ гребенку, и неровности его черепа, обнаженные такимъ образомъ, поразили бы френолога страннымъ сплетеніемъ противоположныхъ наклонностей. Его маленькие черные глаза, всегда беспокойные, старались проникнуть въ ваши мысли. Въ его одеждахъ замѣты были вкусъ и опрятность; его худощавыя, жилистыя и маленькия руки красовались въ свѣтложелтыхъ перчаткахъ. Его сюртукъ, галстукъ и жилетъ были постоянно чернаго цвѣта. Молодежь прозвала его Мефистофелемъ; онъ показывалъ, будто сердился за это прозваніе, но въ самомъ дѣлѣ оно льстило его самолюбію. Мы другъ друга скоро поняли и сдѣлались пріятелями, потому что я къ дружбѣ неспособенъ: изъ двухъ друзей всегда одинъ рабъ другого, хотя часто ни одинъ изъ нихъ въ этомъ себѣ не признается; рабомъ я быть не могу, а повелѣвать въ этомъ случаѣ—трудъ утомительный, потому что надо вмѣстѣ съ этимъ и обманывать; да притомъ у меня есть лакеи и деньги! Вотъ какъ мы сдѣлались пріятелями: я встрѣтилъ Вернера въ С... среди многочисленнаго и шумнаго круга молодежи; разговоръ принялъ подъ конецъ философско-метафизическое направленіе; толковали объ убѣжденіяхъ: каждый былъ убѣженъ въ разныхъ разностяхъ.

— Чѣмъ до меня касается, то я убѣженъ только въ одномъ... сказалъ докторъ.

— Въ чѣмъ это? спросилъ я, желая узнать мнѣніе человѣка, который до сихъ поръ молчалъ.

— Въ томъ, отвѣчалъ онъ:—что, рано или поздно, въ одно прекрасное утро я умру.

— Я богаче васъ, сказалъ я: у меня, кромѣ этого, есть еще убѣжденіе, именно то, что я въ одинъ прегадкѣ вчера имѣлъ несчастіе родиться.

Всѣ наши, что мы говоримъ вздоръ, а, право, изъ нихъ никто ничего умнѣе этого не сказалъ. Съ этой минуты мы отличили въ толпѣ другъ друга. Мы часто сходились вмѣстѣ и толковали вдвоемъ объ отвлеченныхъ предметахъ очень серьезно, пока замѣчали оба, что мы взаимно другъ друга морочимъ. Тогда, посмотрѣвъ значительно другъ другу въ глаза, какъ дѣлали

римские авгуры, по словамъ Цицерона, мы начинали хохотать и, нахохотавшись, расходились довольные своимъ вечеромъ.

Я лежалъ на диванѣ, устремивъ глаза въ потолокъ и заложивъ руки подъ затылокъ, когда Вернеръ вошелъ въ мою комнату. Онъ сѣлъ въ кресла, поставилъ трость въ уголъ, зѣвнуль и объявилъ, что на дворѣ становится жарко. Я отвѣчалъ, что меня беспокоятъ мухи—и мы оба замолчали.

— Замѣтьте, любезный докторъ, сказалъ я,—что безъ дураковъ было бы на свѣтѣ очень скучно... Посмотрите, вотъ насы двое умныхъ людей; мы знаемъ заранѣе, что обо всемъ можно спорить до безконечности, и потому не споримъ; мы знаемъ почти всѣ сокровенные мысли другъ друга; одно слово—для насы цѣлая исторія; видимъ зерно каждого нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печальное намъ смѣшино, смѣшиное грустно, а вообще, по правдѣ, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самихъ себя. Итакъ, размѣна чувствъ и мыслей между нами не можетъ быть: мы знаемъ однѣ о другомъ все, что хотимъ знать, и знать больше не хотимъ; остается одно средство: рассказывать новости. Скажите же мнѣ какуюнибудь новость.

Докторъ рассказалъ Печорину, что въ домѣ Лиговскихъ о немъ шель разговоръ.

— Княгиня сказала, что ваше лицо ей знакомо. Я ей замѣтилъ, что, вѣрно, она вѣстѣла въ Петербургѣ, гдѣ нибудь въ свѣтѣ... я сказалъ ваше имя. Оно было ей извѣстно. Кажется, ваша исторія тамъ надѣлала много шума... Княгиня стала рассказывать о вашихъ похожденіяхъ, прибавляя, вѣроятно, къ свѣтскимъ сплетнямъ свои замѣчанія... Дочка слушала съ любопытствомъ. Въ ея воображеніи вы сдѣлались героемъ романа въ новомъ вкусѣ... Я не противорѣчилъ княгинѣ, хотя зналъ, что она говоритъ вздоръ.

— Достойный другъ! сказалъ я, протянувъ ему руку.

Докторъ пожалъ ее съ чувствомъ и продолжалъ:

— Если хотите, я васъ представлю...

— Помилуйте! сказалъ я, вслеснувъ руками:—развѣ героевъ представляютъ? Они не иначе знакомятся, какъ спасая отъ вѣрной смерти свою любезную...

Докторъ рассказалъ, между прочимъ, что въ домѣ Лиговскихъ гостить родственница княгини по мужу, очень хорошенькая, но очень, кажется, большая. Не встрѣтили лѣтъ вы ее у колодца?—она средн资料 роста, блондинка, съ правильными чертами, цвѣтъ лица чахоточный, а на правой щекѣ черная родинка: ея лицо меня поразило своею выразительностью.

— Родинка! пробормоталъ я сквозь зубы.—Неужели?

Докторъ смотрѣлъ на меня и сказалъ торжественно, положивъ мнѣ руку на сердце: „Она вамъ знакома!..“ Мое сердце, точно, билось сильнѣе обычненнаго.

— Теперь ваша очередь торжествовать! сказалъ я;—только я на васъ

надѣюсь: вы мнѣ не измѣните. Я ее не видѣла еще, но, увѣренъ, узнаю въ вашемъ портретѣ одну женщину, которую любилъ встарину... Не говорите ей обо мнѣ ни слова; если она спросить, отнеситесь обо мнѣ дурно.

— Пожалуй, сказалъ Вернеръ, пожавъ плечами.

Когда онъ ушелъ, ужасная грусть стѣснила мое сердце. Судьба ли насть свела опять на Кавказъ, или она нарочно сюда пріѣхала, зная, что меня встрѣтить?... и какъ мы встрѣтимся?... и потомъ она ли это?... Меня предчувствія меня никогда не обманывали. Нѣть въ мірѣ человѣка, надъ которымъ прошедшее пріобрѣтало бы такую власть, какъ надо мною. Всякое напоминаніе о минувшей печали или радости болѣзненно ударяетъ въ мою душу и извлекаетъ изъ нея все тѣ же звуки... Я глупо созданъ; ничего не забываю—ничего!

Послѣ обѣда часовъ въ шесть я пошелъ на бульваръ: тамъ была толпа; княгиня съ княжною сидѣли на скамье, окруженнныя молодежью, которая любезничала наперерывъ. Я помѣстился въ нѣкоторомъ разстояніи на другой лавкѣ, остановилъ двухъ знакомыхъ драгунскихъ офицеровъ: и началь имъ что-то рассказывать; видно, было смѣшно, потому что они начали хотѣтъ, какъ сумасшедши. Любопытство привлекло ко мнѣ нѣкоторыхъ изъ окружавшихъ княжну; мало-по-малу и всѣ ее покинули и присоединились къ моему кружку. Я не умолкалъ; мои анекдоты были умны до глупости, мои насыпки надъ проходящими мимо оригиналами были злы до неистовства... Я продолжалъ увеселять публику до заходженія солнца. Нѣсколько разъ княжна подъ ручку съ матерью проходила мимо меня, сопровождаемая какимъ-то хромымъ старичкомъ; нѣсколько разъ ея взглядъ, упадая на меня, выражалъ досаду, стараясь выразить равнодушіе...

— Чѣмъ онъ вамъ разсказывалъ? спросила она у одного изъ молодыхъ людей, возвратившихся къ ней изъ вѣжливости;—вѣрно, очень занимательную исторію — свои подвиги въ сраженіяхъ?... Она сказала это довольно громко и, вѣроятно, съ намѣреніемъ колпнуть меня. „Ага!“ подумалъ я: „вы не на шутку сердитесь, милая княжна; погодите, то ли еще будетъ!“

Грушницкій слѣдилъ за нею, какъ хищный звѣрь, и не спускалъ ее съ глазъ: бѣясь объ закладѣ, что завтра онъ будетъ просить, чтобы его кто-нибудь представилъ княгинѣ. Она будетъ очень рада, потому что ей скучно.

16-го мая.

Въ продолженіе двухъ дней мои дѣла ужасно подвинулись. Княжна меня рѣшительно ненавидитъ; мнѣ уже пересказывали двѣ-три эпиграммы на мой счетъ, довольно колкія, но вмѣстѣ очень лестныя. Ей ужасно странно, что я, который привыкъ къ хорошему обществу, который такъ коротокъ съ ея петербургскими кузинами и тетушками, не стараюсь познакомиться съ нею. Мы встрѣчаемся каждый день у колодца, на бульварѣ; я употребляю

всѣ свои силы на то, чтобы отвлечь ея обожателей, блестящихъ адъютантовъ, блѣдныхъ москвичей и другихъ—и мнѣ почти всегда удается. Я всегда ненавидѣлъ гостей у себя; теперь у меня каждый день полонъ домъ, обѣдають, ужинаютъ, играютъ и, увы! мое шампанское торжествуетъ надъ силою магнитическихъ ея глазокъ!

Чтобы подразнить княжну, Печоринъ перекупилъ коверъ и передъ окнами ея дома приказалъ водить лошадь, покрытую этимъ ковромъ.

Междуд тѣмъ, Грушницкій влюбился все сильнѣе; его смущало только, что онъ—юнкеръ, а не офицеръ. Но Печоринъ по этому поводу трунилъ надъ нимъ.

— Помилуй! да этакъ ты гораздо интереснѣе! Ты, просто, не умѣешь пользоваться своимъ выгоднымъ положеніемъ... Да солдатская шинель въ глазахъ всякой чувствительной барышни тебя дѣлаетъ героемъ и страдальцемъ.

Грушницкій самодовольно улыбнулся.

— Какой вздоръ! сказалъ онъ.

— Я увѣренъ, продолжалъ я,—что княжна въ тебѣ уже влюблена. Онъ покраснѣлъ до ушей и надулся.

О самолюбіе! ты рычагъ, которымъ Архимедъ хотѣлъ приподнять земной шаръ!..

— У тебя все шутки! сказалъ онъ, показывая, будто сердится:— во-первыхъ, она меня еще такъ мало знаетъ...

— Женщины любятъ только тѣхъ, которыхъ не знаютъ.

— Да я вовсе не имѣю претензій ей нравиться; я просто хочу познакомиться съ пріятнымъ домомъ, и было бы очень смѣшно, еслибы я имѣлъ какія-нибудь надежды... Вотъ вы, напримѣръ, другое дѣло: вы, побѣдители петербургскіе, только посмотрите — такъ женщины таютъ... А знаешь ли, Печоринъ, что княжна о тебѣ говорила?..

— Какъ? она тебѣ ужъ говорила обо мнѣ?..

— Не радуйся однако. Я какъ-то вступилъ съ нею въ разговоръ у колодца, случайно; третье слово ея было: „Кто этотъ господинъ, у котораго такой непріятный, тяжелый взглядъ? онъ былъ съ вами, тогда...“ Она покраснѣла и не хотѣла назвать дня, вспомнивъ свою милую выходку. „Вамъ не нужно сказывать дня, отвѣчалъ я ей, онъ вѣчно мнѣ будетъ памятенъ...“ Мой другъ, Печоринъ! я тебя не поздравляю: ты у нея на дурномъ замѣчаніи... А, право, жаль, потому что Мери очень мила!..

Надобно замѣтить, что Грушницкій изъ тѣхъ людей, которые, говоря о женщинахъ, съ которой они едва знакомы, называютъ ее моя Мери, моя Sophie, если она имѣла счастіе имѣть понравиться.

Я принялъ серьезный видъ и отвѣчалъ ему:

— Да, она недурна... Только берегись, Грушницкій! Русскія барышни большою частью питаются только платоническою любовью, не примѣшивая къ ней мысли о замужествѣ; а платоническая любовь самая беспокойная.

Княжна, кажется, изъ тѣхъ женщинъ, которыхъ хотятъ, чтобы ихъ забавляли; если двѣ минуты сраду ейъ будетъ воалъ тѣя скучно — ты погибъ невозвратно! твое молчаніе должно возбуждать ея любопытство; твой разговоръ — никогда не удовлетворялъ его вполнѣ; ты долженъ ее тревожить ежеминутно: она десять разъ публично для тебя пренебрежетъ мнѣніемъ и назоветъ это жертвой, и чтобы вознаградить себя за это, станеть тѣя мучить, а потомъ просто скажетъ, что она тѣя терпѣть не можетъ. Если ты надъ нею не пріобрѣтешь власти, то даже ея первый поцѣлуй не дастъ тебѣ права на второй; она съ тобою накокетничается вдоволь, а года черезъ два выйдетъ замужъ за урода, изъ покорности къ маменькѣ, и станеть себяувѣрять, что она несчастна, что она одного только человѣка и любила, то есть тѣя, но что небо не хотѣло соединить ее съ нимъ, потому что на немъ была солдатская шинель, хотя подъ этой толстой сѣрой шинелью билось сердце страстное и благородное...

Однажды Печоринъ встрѣтился съ давни-любимой Вѣрой, родственницей княгини Лиговской.

— Вѣра! вскрикнулъ я невольно.

Она вздрогнула и поблѣдѣла.

— Я знала, что вы здѣсь, сказала она.

Я съѣлъ воалъ нея и взялъ ее за руку. Давно забытый трепетъ проѣжалъ по моимъ жиламъ при звуки этого милаго голоса; она посмотрѣла мнѣ въ глаза своими глубокими и спокойными глазами; въ нихъ выражалась недовѣрчивость и что-то похожее на упрекъ.

Я ее крѣпко обнялъ, и такъ мы оставались долго. Наконецъ губы наши сблизились и слились въ жаркій упоительный поцѣлуй; ея руки были холодны какъ ледь, голова горѣла. Тутъ между нами начался одинъ изъ тѣхъ разговоровъ, которые на бумагѣ не имѣютъ смысла, которыхъ повторить нельзя и нельзя даже напомнить: значеніе звуковъ замѣняетъ и дополняетъ значеніе словъ, какъ въ итальянской оперѣ.

Она рѣшительно не хочетъ, чтобы я познакомился съ ея мужемъ, тѣмъ хромымъ старичкомъ, котораго я видѣлъ мелькомъ на бульварѣ; она вышла за него для сына. Онъ богатъ и страдаетъ ревматизмами. Я не позволилъ себѣ надъ нимъ ни одной насмѣшки: она его уважаетъ, какъ отца, — и будетъ обманывать, какъ мужа... Странная вещь сердце человѣческое вообще и женское въ особенности!

Мужъ Вѣры, Семенъ Васильевичъ Г...въ, дальний родственникъ княгини Лиговской. Онъ живетъ съ нею рядомъ. Вѣра часто бываетъ у княгини; я ей далъ слово познакомиться съ Лиговскими и волочиться за княжной, чтобы отвлечь отъ нея вниманіе. Такимъ образомъ мои планы ни мало не разстроились и мнѣ будетъ весело...

Весело!.. Да, я ужъ прошелъ тотъ періодъ жизни душевной, когда

ищутъ только счастія, когда сердце чувствуетъ необходимость любить сильно и страстно кого-нибудь; теперь я только хочу быть любимымъ, и то очень немногими; даже, мнѣ кажется, одной постоянной привязанности мнѣ было бы довольно: жалкая привычка сердца!..

Одно мнѣ всегда было странно: я никогда не дѣлалъ рабомъ любимой женщины, напротивъ я всегда пріобрѣталъ надъ ею волей и сердцемъ необходимую власть, вовсе обѣ этомъ не стараюсь. Отчего это? — оттого ли, что я никогда ничѣмъ очень не дорожу, и что онѣ ежеминутно боялись выпустить меня изъ рукъ? или это магнитическое вліяніе сильнаго организма? или мнѣ просто не удавалось встрѣтить женщину съ упорнымъ характеромъ?

Надо признаться, что я, точно, не люблю женщинъ съ характеромъ: ихъ ли это дѣло!..

Правда, теперь вспомнилъ: одинъ разъ, одинъ только разъ я любилъ женщину съ твердою волей, которую никогда не могъ побѣдить... Мы разстались врагами — и то, можетъ быть, еслибъ я ее встрѣтилъ пятью годами позже, мы разстались бы иначе...

Возвратясь домой, я сѣлъ верхомъ и поскакалъ въ степь. Я люблю скакать на горячей лошади по высокой травѣ, противъ пустыннаго вѣтра; съ жадностью глотаю я благовонный воздухъ и устремляю взоры въ синюю даль, стараясь уловить туманные очерки предметовъ, которые ежеминутно становятся все яснѣе и яснѣе. Какая бы горесть ни лежала на сердцѣ, какое бы беспокойство ни томило мысль — все въ минуту разсвѣтается; на душѣ станетъ легко, усталость тѣла побѣдить тревогу ума. Нѣтъ женскаго взора, котораго бы я не забылъ при видѣ кудрявыхъ горъ, озаренныхъ южнымъ солнцемъ, при видѣ голубого неба, или внимая шуму потока, падающаго съ утеса на утесъ.

Печоринъ встрѣтилъ цѣлую кавалькаду.

Впереди ѿхалъ Грушницкій съ княжною Мери.

Дамы на водахъ еще вѣрять нападеніямъ, черкесовъ среди бѣлаго дня; вѣроятно, поэтому Грушницкій сверхъ солдатской щинели повѣсили шашку и пару пистолетовъ; онъ былъ довольно смѣшонъ въ этомъ геройскомъ облаченіи. Высокій кустъ закрывалъ меня отъ нихъ; но сквозь листья его я могъ видѣть все и отгадать по выраженіямъ ихъ лицъ, что разговоръ былъ сантиментальный. Наконецъ они приблизились къ спуску. Грушницкій взялъ за поводъ лошадь княжны, и тогда я услышалъ конецъ ихъ разговора:

— И вы цѣлую жизнь хотите остатся на Кавказѣ? — говорила княжна.

— Что для меня Россія? отвѣчалъ ея кавалеръ, — страна, гдѣ тысячи людей, потому что они богаче меня, будутъ смотрѣть на меня съ презрѣніемъ, тогда какъ здѣсь — здѣсь эта толстая щинель не помѣшала моему знакомству съ вами... .

— Напротивъ... сказала княжна, покраснѣвъ.

Лицо Грушницкаго изобразило удовольствіе. Онъ продолжалъ:

— Здѣсь моя жизнь протечетъ шумно, незамѣтно и быстро, подъ пулами дикарей, и если бы Богъ мнѣ каждый годъ посыпалъ одинъ свѣтлый женискій взглядъ, одинъ, подобный тому...

Въ это время они поровнялись со мной; я ударилъ плетью по лошади и выѣхалъ изъ-за куста...

— Mon Dieu, un circassien!..—вскрикнула княжна въ ужасѣ.

Чтобъ ее совершенно разувѣрить, я отвѣчалъ по-французки, слегка наклоняясь:

— Ne craignez rien, madame, je ne suis pas plus dangereux que votre cavalier...

Она смутилась—но отчего? отъ своей ошибки, или оттого, что мой отвѣтъ ей показался дерзкимъ? Я желалъ бы, чтобъ послѣднее мое предположеніе было справедливо. Грушницкій бросилъ на меня недовольный взглядъ.

Въ разговорѣ съ Грушницкимъ Печоринъ высказалъ предположеніе, что Мери принимаетъ его не за юнкера, а за офицера, разжалованнаго за какую-нибудь вину.

Мѣстное дамское общество недоброжелательно отнеслось къ княжнѣ Мери. На балу рѣшено было ей устроить скандалъ; для этого быть подучентъ одинъ пьяный господинъ. Печоринъ защитилъ ее, и она, благодарная ему, въ отношеніяхъ съ нимъ сбросила съ себя напускную холодность и преврѣтельность.

... Личико ея расцвѣло; она шутила очень мило; ея разговоръ былъ остеръ, безъ притязанія на остроту, живъ и свободенъ; ея замѣчанія иногда глубоки... Я далъ ей почувствовать очень запутанной фразой, что она мнѣ давно нравится. Она наклонила головку и слегка покраснѣла.

— Вы странный человѣкъ,—сказала она потомъ, поднявъ на меня свои бархатные глаза и припужденно засмѣявшись.

— Я не хотѣлъ съ вами познакомиться, продолжалъ я:—потому что васъ окружаетъ слишкомъ густая толпа поклонниковъ, и я боялся въ ней исчезнуть совершенно.

— Вы напрасно боялись: они все пресвучные...

— Всѣ! неужели всѣ?

Она посмотрѣла на меня пристально, стараясь будто припомнить что-то, потомъ опять слегка покраснѣла и наконецъ произнесла рѣшительно:—всѣ!

— Даже мой другъ Грушницкій?

— А онъ вашъ другъ?—сказала она, показывая нѣкоторое сомнѣніе.

— Да.

— Онь, конечно, не входить въ разрядъ скучныхъ...

— Но въ разрядъ несчастныхъ,—сказалъ я, смѣясь.

— Конечно! А вамъ смѣшино? Я бѣ желала, чтобъ вы были на его мѣстѣ...

— Что жъ, я былъ самъ нѣкогда юнкеромъ и, право, это самое лучшее время моей жизни!

— А развѣ онъ юнкеръ?..—сказала она быстро и потомъ прибавила:— а я думала...

— Что вы думали?

— Ничего!.. Кто эта дама?..

Тутъ разговоръ перемѣнилъ направленіе и къ этому ужъ болѣе не возвращался.

Печоринъ былъ вечеромъ въ домѣ Лиговскихъ, дразнилъ Мери равнодушіемъ и бесѣдовалъ съ Вѣрой.

— Послушай, говорила мнѣ Вѣра:—я не хочу, чтобы ты познакомился съ моимъ мужемъ, но ты долженъ непремѣнно понравиться княгинѣ; тебѣ это легко: ты можешь все, что хочешь. Мы вѣдь только будемъ видѣться...

— Только?..

Она покраснѣла и продолжала: — Ты знаешь, что я твоя раба; я никогда не умѣла тебѣ противиться... и я буду за это наказана: ты меня разлюбиши! По крайней мѣрѣ, я хочу сберечь свою репутацію... не для себя— ты это знаешь очень хорошо!.. О, я прошу тебя, не мучь меня попрежнему пустыми сомнѣньями и притворной холоднотью; я, можетъ быть, скоро умру; я чувствую, что слабѣю со дня на день... и, несмотря на это, я не могу думать о будущей жизни, я думаю только о тебѣ... Вы, мужчины, не понимаете наслажденій взора, пожатія руки... а я клянусь тебѣ, я, прислушиваясь къ твоему голосу, чувствую такое глубокое, странное блаженство, что самые жаркие поцѣлуй не могутъ замѣнить его.

---

6-го июня.

Всѣ эти дни я ни разу не отступилъ отъ своей системы. Княжій начинаетъ иравиться мой разговоръ; я рассказалъ ей нѣкоторые изъ странныхъ слuchaевъ моей жизни, и она начинаетъ видѣть во мнѣ человѣка необыкновеннаго. Я смѣюсь надъ всѣмъ на свѣтѣ, особенно надъ чувствами: это начинаетъ ее пугать. Она при мнѣ не смѣеть пускаться съ Грушницкимъ въ сентиментальныя пренія, и уже нѣсколько разъ отвѣчала на его выходки насмѣшливой улыбкой; но я всякий разъ, какъ Грушницкій подходитъ къ ней, принимаю смиренный видъ и оставляю ихъ вдвоемъ; въ первый разъ была она этому рада, или старалась показать; во второй—разсердилаась на меня; въ третій—на Грушницкаго.

— У васъ очень мало самолюбія! сказала она мнѣ вчера.—Отчего вы думаете, что мнѣ веселѣе съ Грушницкимъ?

Я отвѣчалъ, что жертвую счастію пріятеля своимъ удовольствіемъ...

— И моимъ, прибавила она.

Я пристально посмотрѣлъ на нее и принялъ серьезный видъ. Потомъ цѣлый день не говорилъ съ ней ни слова... Вечеромъ она была задумчива; нынче поутру у колодца еще задумчивѣе. Когда я подошелъ къ ней, она разсѣянно слушала Грушницкаго, который, кажется, восхищался природой, но только что завидѣла меня, она стала хохотать (очень неистати), показывая, будто меня не примѣчаетъ. Я отошелъ подальше и украдкой сталь наблюдать за ней; она отвернулась отъ своего собесѣдника и зѣвнула два раза. Рѣшительно, Грушницкій ей надоѣлъ. Еще два дня не буду съ ней говорить.

---

11-го июня.

Я часто себя спрашиваю, зачѣмъ я такъ упорно добивалась любви молоденькой дѣвочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь? Къ чѣму же это женское кокетство? Вѣра меня любить больше, чѣмъ княжна Мери будетъ любить когда нибудь; еслиъ она мнѣ казалась непобѣдимой красавицей, то, можетъ быть, я бы завлекся трудностью предпріятія...

Но ничуть не бывало. Слѣдовательно, это не та беспокойная потребность любви, которая наскъ мучить въ первыѣ годы молодости, бросаетъ насъ отъ одной женщины къ другой, пока мы найдемъ такую, которая наскъ терпѣть не можетъ: тутъ начинается наше постояннство—истинная, безко-нечная страсть, которую математически можно выразить линіей, падающей изъ точки въ пространство; скрѣть этой безконечности—только въ невозможности достигнуть цѣли, то есть конца.

Изъ чего же я хлопочу?—Изъ зависти къ Грушницкому? Бѣдняжка! онъ вовсе ея не заслуживаетъ. Или это слѣдствіе того сквернаго, но непобѣдимаго чувства, которое заставляетъ насъ уничтожать сладкія заблужде-нія близняго, чтобы имѣть мелкое удовольствіе сказать ему, когда онъ въ отчаяніи будетъ спрашивать, чѣму онъ долженъ вѣрить:

— Мой другъ, со мною было то же самое, и ты видишь, однако, я обѣдаю, ужинаю и сплю преспокойно и, надѣюсь, сумѣю умереть безъ крика и слезъ.

А вѣдь есть необъятное наслажденіе въ обладаніи молодой, едва рас-пустившейся души! Она, какъ цвѣтокъ, котораго лучшій ароматъ испа-ряется на встрѣчу первому лучу солнца; его надо сорвать въ эту минуту и, подышавъ имъ до-сыта, бросить на дорогѣ: авось кто-нибудь подниметъ! Я чувствую въ себѣ эту ненасытную жадность, поглощающую все, чтѣ встрѣчается на пути; я смотрю на страданія и радости другихъ только въ отношеніи къ себѣ, какъ на пищу, поддерживающую мои душев-ныя силы. Самъ я больше неспособенъ безумствовать подъ вліяніемъ страсти; честолюбіе у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось въ дру-

гомъ видѣ; ибо честолюбіе есть не что иное, какъ жажды власти, а первое мое удовольствіе—подчинять мѣй волѣ все, чтѣ меня окружаетъ. Возбуждать къ себѣ чувство любви, преданности и страха—не есть ли первый признакъ и величайшее торжество власти? Быть для кого нибудь причиной страданій и радостей, не имѣя на то никакого положительного права—не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастіе? Насыщенная гордость. Еслиъ я почиталъ себя лучше, могущественнѣе всѣхъ на свѣтѣ, я быль бы счастливъ; еслиъ всѣ меня любили, я въ себѣ нашелъ бы безконечные источники любви. Зло порождаетъ зло; первое страданіе даетъ понятіе объ удовольствіи мучить другого. Идея зла не можетъ войти въ голову человѣка безъ того, чтобы онъ не захотѣлъ приложить ее къ дѣйствительности. Идея—созданія органическія, сказалъ кто-то: ихъ рожденіе даетъ уже имъ форму, и эта форма есть дѣйствіе; тотъ, въ чьей головѣ родилось больше идей, тотъ больше другихъ дѣйствуетъ. Отъ этого геній, прикованный къ чиновническому столу, долженъ умереть, или сойти съ ума, точно такъ же, какъ человѣкъ съ могучимъ тѣлосложеніемъ, при сидячей жизни и скромномъ поведеніи, умираетъ отъ апоплексического удара.

Страсти не что иное, какъ идеи при первомъ своемъ развитіи; онъ принадлежность юности сердца, и глупецъ тотъ, кто думаетъ цѣлую жизнь ими волноваться: многія спокойныя рѣки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачетъ и не пѣнится до самаго моря. Но это спокойствіе часто признакъ великой, хотя скрытой силы; полнота и глубина чувствъ и мыслей не допускаетъ бѣшеныхъ порывовъ; душа, страдая и наслаждаясь, даетъ во всемъ себѣ строгій отчетъ и убѣждается въ томъ, что такъ должно; она знаетъ, что безъ грозъ постоянный зной солнца ее изсушить; она проникается своей собственной жизнью—лелѣтъ и наказываетъ себя, какъ любимаго ребенка. Только въ этомъ высшемъ состояніи самопознанія человѣкъ можетъ оцѣнить правосудіе Божіе.

Грушницкій быль произведенъ въ офицеры и ликовалъ. Однажды Печоринъ бесѣдоваль съ Мери, зло выслушивая всѣхъ.

Разговаръ нашъ начался злословіемъ: я сталъ перебирать присутствующихъ и отсутствующихъ нашихъ знакомыхъ; сначала высказалъ смѣшныя, а послѣ дурныя ихъ стороны. Желчь моя взволновалась. Я началъ шутя и окончилъ искренней злостью. Сперва это ее забавляло, а потомъ испугало.

— Вы опасный человѣкъ! сказала она мнѣ:—я бы лучше желала попасться въ лѣсу подъ ножъ убийцы, чѣмъ вамъ на язычокъ... Я васъ прошу не шутя: когда вамъ вздумается обо мнѣ говорить дурно, возьмите лучше ножъ и зарѣжьте меня—я думаю, это вамъ не будетъ очень трудно.

— Развѣ я похожъ на убийцу?..

— Вы хуже...

Я задумался на минуту и потомъ сказалъ, принявъ глубоко-тронутый видъ:

— Да, такова была моя участъ съ самаго дѣтства! всѣ читали на моемъ лицѣ признаки дурныхъ свойствъ, которыхъ не было; но ихъ предполагали—и они родились. Я былъ скроменъ—меня обвинили въ лукавствѣ: я сталъ скрытенъ. Я глубоко чувствовалъ добро и зло—никто меня не ласкалъ, всѣ оскорбляли: я сталъ злопамятенъ; я былъ угрюмъ—другія дѣти веселы и болтливы; я чувствовалъ себя выше ихъ—меня ставили ниже: я сдѣлался завистливъ. Я былъ готовъ любить весь міръ—меня никто не понималъ: и я выучился ненавидѣть. Моя безцвѣтная молодость протекла въ борьбѣ съ собой и свѣтомъ; лучшія мои чувства, боясь насмѣшки, я хорошилъ въ глубинѣ сердца: они тамъ и умерли. Я говорилъ правду—мнѣ не вѣрили: я началъ обманывать. Узнавъ хорошо свѣтъ и пружины общества, я сталъ искусенъ въ наукѣ жизни, и видѣлъ, какъ другіе безъ искусства счастливы, пользуясь даромъ тѣми выгодами, которыхъ я такъ неутомимо добивался. И тогда въ груди моей родилось отчаяніе—не то отчаяніе, которое лечатъ дуломъ пистолета, но холодное, безсильное отчаяніе, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сдѣлался нравственнымъ калѣй: одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла; я ее отрѣзалъ и бросилъ—тогда какъ другая шевелилась и жила къ услугамъ каждого, и этого никто не замѣтилъ, потому что никто не зналъ о существованіи погибшей ея половины: но вы теперь во мнѣ разбудили воспоминаніе о ней, и я вамъ прочелъ ея эпітафію. Многімъ всѣ вообще эпітафіи кажутся смѣшными, но мнѣ—нѣтъ; особенно, когда вспомню о томъ, что подъ ними покоятся. Впрочемъ, я не прошу васъ раздѣлить мое мнѣніе: если моя выходка вамъ кажется смѣшна—пожалуста, смѣйтесь; предупреждаю васъ, что это меня не огорчитъ никако.

Въ эту минуту я встрѣтилъ ея глаза: въ нихъ бѣгали слезы; рука ея, опираясь на мою, дрожала; щеки пылали; ей было жаль меня! Состраданіе—чувство, которому покоряются такъ легко всѣ женщины, впустило свои когти въ ея неопытное сердце. Во все время прогулки она была разсѣянна, ни съ кѣмъ не кокетничала—а это великий признакъ!

Мы пришли къ провалу; дамы оставили своихъ кавалеровъ, но она не покидала руки моей. Остроты здѣшнихъ денди ее не смѣшили; крутизна обрыва, у которого она стояла, ее не пугала, тогда какъ другія барышни пищали и закрывали глаза.

На возвратномъ пути я не возобновлялъ нашего печального разговора, но на пустые мои вопросы и шутки она отвѣчала коротко и разсѣянно.

— Люблили ли вы? спросилъ я ее наконецъ.

Она посмотрѣла на меня пристально, покачала головой и опять впала въ задумчивость: явно было, что ей хотѣлось что-то сказать, но она не

знала, съ чего начать; ея грудь волновалась... Какъ быть!. кисейный рукавъ слабая защита, и электрическая искра пробѣжала изъ моей руки въ ея руку; всѣ почти страсти начинаются такъ, и мы часто себя очень обманы-ваемъ, думая, что настъ женщина любить за наши физическія или нрав-ственныя достоинства; конечно, они приготовляютъ, располагаютъ ея сердце къ принятію священнаго огня, а все-таки первое прикосновеніе рѣшаетъ дѣло.

— Не правда ли, я была очень любезна сего дня? сказала мнѣ княжна съ принужденной улыбкой, когда мы возвратились съ гулянья.

Мы разстались.

Она недовольна собой: она себя обвиняетъ въ холодности... О, это первое, главное торжество!

Завтра она захочетъ вознаградить меня. Я все это ужъ знаю наизусть—вотъ что скучно.

12-го іюня.

Сіяя блескомъ мундира, Грушницкій торопится на балъ, на которомъ онъ разсчитывалъ танцевать съ Мери. Печоринъ задумывается его позлить въ этотъ вечеръ.

Черезъ полчаса и я отправился. На улицѣ было темно и пусто; вокругъ собранія, или трактира, какъ угодно, тѣснился народъ; окна его свѣтились; звуки полковой музыки доносились ко мнѣ вечерній вѣтеръ. Я шелъ медленно; мнѣ было грустно... Неужели, думалъ я, мое единственное назначеніе на землѣ—разрушать чужія надежды? Съ тѣхъ поръ, какъ я живу и дѣйствую, судьба какъ-то всегда приводила меня къ развязкѣ чужихъ драмъ, какъ будто безъ меня никто не могъ бы ни умереть, ни прийти въ отчаяніе! Я былъ необходимое лицо пятаго акта; невольно я разыгрывалъ жалкую роль палача, или предателя. Какую цѣль имѣла на это судьба?.. Ужъ не назначенъ ли я юю въ сочинители мѣщанскихъ трагедій и семейныхъ романовъ—или въ сотрудники поставщику повѣстей, напримѣръ, для „Библіотеки для чтенія“?.. Почемъ знать?.. Мало ли людей, начиная жизнь, думаютъ кончить ее, какъ Александръ Великій или лордъ Байронъ, а между тѣмъ цѣлый вѣкъ остаются титулярными совѣтниками?..

Войдя въ залу, я спрятался въ толпѣ мужчинъ и началъ дѣлать свои наблюденія. Грушницкій стоялъ возлѣ княжны и что-то говорилъ съ большимъ жаромъ: она его разсѣянно слушала, смотрѣла по сторонамъ, приложивъ вѣръ къ губкамъ; на лицѣ ея изображалось нетерпѣніе, глаза ея искали кругомъ кого-то; я тихонько подошелъ сзади, чтобы подслушать ихъ разговоръ.

— Вы меня мучите, княжна! говорилъ Грушницкій:—вы ужасно перемѣнились съ тѣхъ поръ, какъ я васъ не видалъ...

— Вы также перемѣнились, отвѣчала она, бросивъ на него быстрый взглядъ, въ которомъ онъ не умѣлъ разобрать тайной насыпки.

— Я? я перемѣнился?.. О, никогда! Вы знаете, что это невозможно! Кто видѣлъ вѣсъ однажды, тотъ навѣки унесетъ съ собою вѣсъ божественный образъ.

— Перестаньте...

— Отчего же вы теперь не хотите слушать того, чѣму еще недавно, и такъ часто, внимали благосклонно?..

— Потому что я не люблю повтореній, отвѣчала она, смѣясь.

— О, я горько ошибся!.. Я думалъ, безумный, что по крайней мѣрѣ эти эпометы дадутъ мнѣ право надѣяться... Нѣтъ, лучше бы мнѣ вѣкъ остаться въ этой презрѣнной солдатской шинели, которой, можетъ быть, я былъ обязанъ вашимъ вниманіемъ?..

— Въ самомъ дѣлѣ, вамъ шинель гораздо болѣе къ лицу...

Въ это время я подошелъ и поклонился княжнѣ; она немножко покраснѣла и быстро проговорила:

— Не правда ли, мсье Печоринъ, что сѣрая шинель гораздо болѣе идетъ къ мсье Грушницкому?..

— Я съ вами не согласенъ, отвѣчалъ я:—въ мундирѣ онъ еще мѣложавѣе.

Грушницкій не вынесъ этого удара: какъ всѣ мальчики, онъ имѣть претензію быть старикомъ; онъ думаетъ, что на его лицѣ глубокіе слѣды страстей замѣняютъ отпечатокъ лѣтъ. Онъ на меня бросилъ бѣшеный взглядъ, топнулъ ногою и отошелъ прочь.

— А признайтесь, сказалъ я княжнѣ:—что хотя онъ всегда былъ очень смѣшонъ, но еще недавно онъ вамъ казался интересенъ... въ сѣрой шинели?...

Она потупила глаза и не отвѣчала.

Грушницкій озлобился и рѣшился мстить. Печоринъ имѣть случай убѣдиться, что, кромѣ Грушницкаго, еще нѣсколько другихъ лицъ сатѣваютъ что-то противъ него.

14-го июня.

Нынче поутру Вѣра уѣхала съ мужемъ въ Кисловодскъ. Я встрѣтилъ ихъ карету, когда шелъ къ княгинѣ Лиговской. Она мнѣ кивнула головой: во взглядѣ ея былъ упрекъ.

Кто же виноватъ? Зачѣмъ она не хочетъ дать мнѣ случай видѣться съ нею наединѣ? Любовь, какъ огонь, безъ пищи гаснетъ. Авось ревность сдѣлаетъ то, чѣмъ не могли мои просьбы.

Я сидѣлъ у княгини битый часъ. Мѣри не вышла: больна. Вечеромъ на бульварѣ ея не было. Вновь составившаяся шайка, вооруженная лорнетами, принадла въ самомъ дѣлѣ грѣбный видъ. Я радъ, что княжна больна: они сдѣлали бы ей какую нибудь дерзость. У Грушницкаго растрепанная прическа и отчаянный видъ; онъ, кажется, въ самомъ дѣлѣ огорченъ, осо-

бенно самолюбие его оскорблено; но вѣдь есть же люди, въ которыхъ даже отчаяніе забавно!..

Возвратясь домой, я замѣтилъ, что мнѣ чего-то недостаетъ. Я не видѣлъ ея! Она больна? Ужъ не влюбился ли я въ самомъ дѣлѣ?.. Каждой вздоръ!

15-го іюня.

Въ одиннадцать часовъ утра—часъ, въ который княгиня Лиговская обыкновенно потѣтъ въ Ермоловской ваннѣ—я шелъ мимо ея дома. Княжна сидѣла задумчиво у окна; увидѣвъ меня, вскочила.

Я вошелъ въ переднюю, людей никого не было, и я безъ доклада, пользуясь свободой здѣшнихъ правовъ, пробрался въ гостиную.

Тусклая блѣдность покрывала милое лицо княжны. Она стояла у фортепиано, опершись одной рукой на спинку кресель; эта рука чуть-чуть дрожала. Я тихо подошелъ къ ней и сказалъ:

— Вы на меня сердитесь?..

Она подняла на меня томный, глубокій взоръ и покачала головой; ея губы хотѣли проговорить что-то, и не могли; глаза наполнились слезами; она опустилась въ кресла и закрыла лицо руками.

— Что съ вами? сказалъ я, взявъ ея руку.

— Вы меня не уважаете!.. О, оставьте меня!..

Я сдѣлалъ нѣсколько шаговъ... Она выпрямилась въ креслахъ; глаза ея засверкали.

Я остановился, взявшись за ручку двери, и сказалъ:

— Простите меня, княжна! я поступилъ, какъ безумецъ... этого въ другой разъ не случится; я приму свои мѣры... Зачѣмъ вамъ знать то, что происходило до сихъ поръ въ душѣ моей? Вы этого никогда не узнаете, и тѣмъ лучше для васъ. Прощайте.

Уходя, мнѣ кажется, я слышалъ, что она плакала.

Грушницкій и его друзья распустили въ обществѣ слухъ, будто Печоринъ жениться на Мери; оба эти имени сдѣлались достояніемъ сплетни.

18-го іюня.

Вотъ ужъ три дня, какъ я въ Кисловодскѣ. Каждый день вижу Вѣру у колодца и на гулянѣ. Утромъ, просыпаясь, сажусь у окна и навожу лорнетъ на ея балконъ; она давно ужъ одѣта и ждѣтъ условленнаго знака; мы встрѣчаемся, будто нечаянно, въ саду, который, отъ нашихъ домовъ спускается къ колодцу. Живительный горный воздухъ возвратилъ ей цвѣтъ лица и силы. Недаромъ Нарзанъ называется богатырскимъ ключемъ. Здѣшніе жители утверждаютъ, что воздухъ Кисловодска располагаетъ къ любви, что здѣсь бываютъ развязки всѣхъ романовъ, которые когда-либо начинались у подошвы Машука. И въ самомъ дѣлѣ, здѣсь все дышитъ едине-

ніемъ; здѣсь все таинственно—и густыя сѣни липовыхъ аллей, склонающіхся надъ потокомъ, который съ шумомъ и пѣною, падая съ плиты на плиту, прорѣзываетъ себѣ путь между зеленѣющими горами,—и ущелья, полныя мглою и молчаньемъ, которыхъ вѣтви разбѣгаются отсюда во всѣ стороны,—и свѣжесть ароматического воздуха, отягощенного испареніями высокихъ южныхъ травъ и бѣлой акациі,—и постоянный сладостно-усыпительный шумъ студеныхъ ручьевъ, которые, встрѣтясь въ концѣ долины, бѣгутъ дружно взапуски и, наконецъ, кидаются въ Подкумоекъ. Съ этой стороны ущелье шире и превращается въ зеленую лощину; по ней вѣтется пыльная дорога. Всякій разъ, какъ я на нее взгляну, мнѣ все кажется, чтоѣдетъ карета, а изъ окна кареты выглядываетъ розовое личико. Ужъ много каретъ проѣхало по этой дорогѣ—а той все нѣтъ. Слободка, которая за крѣпостью, населилась; въ ресторациі, построенной на холмѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ моей квартиры, начинаютъ мелькать вечеромъ огни сквозь двойной рядъ тополей; шумъ и звонъ стакановъ раздаются до поздней ночи.

Нигдѣ такъ много не пьють кахетинскаго вина и минеральной воды, какъ здѣсь.

Но смѣшивать два эти ремесла  
Есть тьма охотниковъ—я не изъ ихъ числа.

Грушницкій съ своей шайкой бушуетъ каждый день въ трактирѣ и со мной почти не кланяется.

Онъ только вчера прїѣхалъ, а успѣлъ уже поссориться съ тремя ста-риками, которые хотѣли прежде его сѣсть въ ванну; рѣшительно—несчастія развиваются въ немъ воинственный духъ.

22-го іюня.

Наконецъ онѣ прїѣхали. Я сидѣлъ у окна, когда услышалъ стукъ ихъ кареты: у меня сердце вздрогнуло... Что же это такое? Неужто я влюбленъ?... Я такъ глупо созданъ, что этого можно отъ меня ожидать.

Я у нихъ обѣдалъ. Княгиня на меня смотрѣла очень нѣжно и не отходить отъ дочери... плохо! За то Вѣра ревнуетъ меня къ княжнѣ—добился же я этого благополучія. Чего женщина не сдѣлаетъ, чтобы огорчить соперницу? Я помню, одна меня полюбила за то, что я любилъ другую. Нѣть ничего парадоксальнѣе женскаго ума: женщины трудно убѣдить въ чѣмъ нибудь; надо ихъ довести до того, чтобы онѣ убѣдили себя сами. Порядокъ доказательствъ, которыми онѣ уничтожаютъ свои предубѣжденія, очень оригиналенъ; чтобы выучиться ихъ діалектику, надо опроекинуть въ умъ своеъ всѣ школьныя правила логики. Напримѣръ, способъ обыкновенный:

Этотъ человѣкъ любить меня; но я замужемъ: слѣдовательно, не должна его любить.

Способъ женскій:

— Я не должна его любить, ибо я замужемъ; но онъ меня любить—  
следовательно...

Тутъ нѣсколько точекъ, ибо разсудокъ ужъ ничего не говорить, а го-  
ворятъ большою частью: языки, глаза и вслѣдъ за ними сердце, если оное  
имѣется.

Чтѣ если когда нибудь эти записки попадутся на глаза женщины?—  
„Клевета!“ закричитъ она съ негодованіемъ.

Съ тѣхъ поръ какъ поэты пишутъ и женщины ихъ читаютъ (за что  
имъ глубочайшая благодарность), ихъ столько разъ называли ангелами, что  
онъ въ самомъ дѣлѣ, въ простотѣ душевной, повѣрили этому комплименту,  
забывая, что тѣ же поэты за деньги величали Нерона полубогомъ...

Некстати было бы мнѣ говорить о нихъ съ такою злостью, мнѣ, ко-  
торый, кромѣ ихъ, на свѣтѣ ничего не любить, мнѣ, который всегда готовъ  
быть имъ жертвовать спокойствіемъ, честолюбіемъ, жизнью... Но вѣдь я не  
въ припадкѣ досады и оскорблѣннаго самолюбія стараюсь сдернуть съ нихъ  
то волшебное покрывало, сквозь которое лишь привычный взоръ проникаетъ.  
Нѣтъ, все, что я говорю о нихъ, есть только слѣдствіе—

Ума холодныхъ наблюденій  
И сердца горестныхъ замѣтъ.

Женщины должны бы желать, чтобы всѣ мужчины ихъ такъ же хорошо  
знали, какъ я, потому что люблю ихъ во сто разъ больше съ тѣхъ поръ,  
какъ ихъ не боюсь и постигъ ихъ мелкія слабости.

Кстати: Вернеръ намедни сравнилъ женщинъ съ заколдованнымъ лѣ-  
сомъ, о которомъ разсказываетъ Тассъ въ своемъ „Освобожденномъ Іеруса-  
лимѣ“. „Только приступи“, говорилъ онъ, „на тебя полетѣть со всѣхъ сто-  
ронъ такие страхи, что Боже упаси: долгъ, гордость, приличіе, общее мнѣніе,  
насмѣшка, презрѣніе... Надо только не смотрѣть, а идти прямо; мало-по-  
малу чудовища исчезаютъ и открывается предъ тобой тихая и свѣтлая по-  
ляна, среди которой цвѣтеть зеленый миръ. Зато бѣда, если на первыхъ  
шагахъ сердце дрогнетъ и обернешься назадъ!“

24-го июня.

Мы были уже на срединѣ, въ самой быстротѣ, когда она вдругъ на  
сѣдлѣ покачнулась. „Мнѣ дурно!“ проговорила она слабымъ голосомъ. Я  
быстро наклонился къ ней, обвилъ рукою ея гибкую талию.

— Смотрите наверхъ! шепнула я ей:—это ничего, только не бойтесь;  
я съ вами.

Ей стало лучше; она хотѣла освободиться отъ моей руки, но я еще  
крѣпче обвилъ ея нѣжный, мягкий станъ; моя щека почти касалась ея щеки,  
отъ нея вѣяло пламенемъ.

— Что вы со мною делаете?... Боже мой!...

Я не обращалъ вниманія на ея трепетъ и смущеніе, и губы мои коснулись ея нѣжной щечки; она вздрогнула, но ничего не сказала; мыѣхали сзади: никто не видалъ. Когда мы выбрались на берегъ, то всѣ пустились рысью. Княжна удержала свою лошадь; я остался возлѣ иея; видно было, что ее беспокоило мое молчаніе, но я поклялся не говорить ни слова—изъ любопытства. Мнѣ хотѣлось видѣть, какъ она выпутается изъ этого затруднительнаго положенія,

— Или вы меня презираете, или очень любите! сказала она наконецъ голосомъ, въ которомъ были слезы.—Можетъ быть, вы хотите посмѣяться надо мной, возмутить мою душу, и потомъ оставить... Это было бы такъ подло, такъ низко, что одно предположеніе... О, нѣть! не правда ли, прибавила она голосомъ нѣжной довѣренности:—не правда ли, во мнѣ нѣть ничего такого, чтобъ исключало уваженіе? Вашъ дерзкій поступокъ... я должна, я должна вамъ его простить, потому что позволила... Отвѣчайте, говорите же, я хочу слышать вашъ голосъ!...

Въ послѣдніхъ словахъ было такое женское нетерпѣніе, что я невольно улыбнулся; къ счастію, начинало смеркаться... Я ничего не отвѣчалъ.

— Вы молчите? продолжала она:—вы, можетъ быть, хотите, чтобы я первая вамъ сказала, что я васъ люблю...

Я молчалъ.

— Хотите ли этого? продолжала она, быстро обратясь ко мнѣ... Въ рѣшительности ея взора и голоса было что-то страшное...

— Зачѣмъ? отвѣчалъ я, пожавъ плечами.

Она ударила хлыстомъ свою лошадь и пустилась во весь духъ по узкой, опасной дорогѣ.

Печорину удалось подслушать совѣщеніе его враговъ съ Грушницкимъ во главѣ: чтобы наказать Печорина, испытать его храбрость и посмѣяться надъ нимъ, рѣшено было, что Грушницкій вызоветъ его на дуэль,—а секунданты пуль въ пистолеты не положать. Печоринъ бытъ вѣбѣщенъ той глупой ролью, которую ему готовилъ Грушницкій съ друзьями.

Я не спалъ всю ночь. Къ утру я бытъ желтъ, какъ померанецъ.

Поутру я встрѣтилъ княжну у колодца.

— Вы больны? сказала она, пристально посмотрѣвъ на меня.

— Я не спалъ ночь.

— И я также... Я васъ обвиняла... можетъ быть напрасно? Но объяснитесь, я могу вамъ простить все...

— Все ли?...

— Все... только говорите правду... только скорѣе... Видите ли, я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше поведеніе: можетъ быть, вы боитесь препятствій со стороны моихъ родныхъ... это ничего: когда они узнаютъ... (ея голосъ задрожалъ) я ихъ упропшу. Или ваше собственное

положение... но знайте, что я всё могу пожертвовать для того, котораго люблю... О, отвѣтайте скорѣй—скажитесь... вы меня не презираете—не правда ли?

Она схватила меня за руку.

Княгиня шла впереди настъ съ мужемъ Вѣры и ничего не видала; но настъ могли видѣть гуляющіе больные, самые любопытные сплетники изъ всѣхъ любопытныхъ, и я быстро освободилъ свою руку отъ ея страстнаго пожатія.

— Я вамъ скажу всю истину, отвѣчалъ я княжнѣ:—не буду оправдываться, ни объяснять своихъ поступковъ: я васъ не люблю.

Ея губы слегка побѣднѣли.

— Оставьте меня, сказала она едва взяточно.

Я покачъ плечами, повернулся и ушелъ.

25-го іюня.

Я иногда себя презираю... Не оттого ли я презираю и другихъ?... Я сталъ неспособенъ къ благороднымъ порывамъ; я боюсь показаться смѣшнымъ самому себѣ. Другой бы, на моемъ мѣстѣ, предложилъ княжнѣ son coeur et sa fortune; но надо мною слово женить ся—имѣть какую-то волшебную власть: какъ бы страстно я ни любилъ женщину, если она мнѣ дастъ только почувствовать, что я долженъ на ней жениться—прости любовь! мое сердце превращается въ камень, и ничто его не разогрѣть снова. Я готовъ на всѣ жертвы, кромѣ этой; двадцать разъ жизни свою, даже честь поставлю на карту... но свободы моей не продамъ. Отчего я такъ дорожу ею? что мнѣ въ ней? куда я себя готовлю? чего я жду отъ будущаго?... Право, ровно ничего. Это какой-то врожденный страхъ, неизъяснимое предчувствіе... Вѣдь есть люди, которые безотчетно боятся пауковъ, таракановъ, мышей... Признаться ли? Когда я былъ еще ребенкомъ, одна старуха гадала про меня моей матери; она предсказала мнѣ смерть отъ злой жены; это меня тогда глубоко поразило: въ душѣ моей родилось непреодолимое отвращеніе къ женитьбѣ... Между тѣмъ что-то мнѣ говорить, что ея предсказаніе сбудется; по крайней мѣрѣ буду стараться, чтобы оно сбылось какъ можно позже.

26-го іюня.

Печоринъ пробрался вечеромъ въ комнату Вѣры, которая жила въ одномъ домѣ съ Лиговскими. Когда Печоринъ выходилъ изъ ихъ сада, чтобы идти домой, невидимая рука схватила его за плечо:

— Ага! сказалъ грубый голосъ:—попался!... будешь у меня къ княжнѣ ходить ночью!

— Держи его крѣпче, закричалъ другой, выскочившій изъ-за угла. Это были Грушницкій и драгунскій капитанъ.

Я ударили посмѣдняго по головѣ кулакомъ, сшибъ его съ ногъ и бросился въ кусты. Всѣ тропинки сада, покрывавшаго отлогость противъ нашихъ домовъ, были мнѣ извѣстны.

— Воры! караулъ!.. кричали они; раздался ружейный выстрѣль; дымящійся пыжъ упалъ почти къ моимъ ногамъ.

Черезъ минуту я былъ уже въ своей комнатѣ, раздѣлся и легъ. Едва мой лакей заперъ дверь на замокъ, какъ ко мнѣ начали стучаться Грушницкій и капитанъ.

— Печоринъ! вы спите? здѣсь вы?.. закричалъ капитанъ?

— Сплю, отвѣчалъ я сердито.

— Вставайте!—воры... черкесы...

— У меня насморкъ, отвѣчалъ я:—боюсь простудиться.

Они ушли. Напрасно я имъ откликнулся: они бѣ еще съ часъ прискали меня въ саду. Тревога, между тѣмъ, сдѣлалась ужасная. Изъ крѣпости прискакалъ казакъ. Все зашевелилось; стали искать черкесовъ во всѣхъ кустахъ—и, разумѣется, ничего не нашли. Но многіе, вѣроятно, остались въ твердомъ убѣждѣніи, что еслибъ гарнизонъ показалъ болѣе храбости и послѣшности, то, по крайней мѣрѣ, десятка два хищниковъ остались бы на мѣстѣ.

Грушницкій въ большомъ обществѣ разсказывалъ, что Печоринъ ходить по ночамъ къ княжнѣ Лиговской. Печоринъ вызывалъ его на дуэль чрѣзъ его друга штабсъ-капитана.

Капитанъ поклонился очень важно.

— Вы отгадали, отвѣчалъ онъ:—я даже обязанъ быть его секундантомъ, потому что обида, нанесенная ему, относится и ко мнѣ: я былъ съ нимъ вчера ночью, прибавилъ онъ, выпрямляя свой сутуловатый станъ.

— А! такъ это вѣсъ ударили я такъ неловко по головѣ?..

Онъ пожелтѣлъ, посинѣлъ; скрытая злоба изобразилась на лицѣ его.

— Я буду имѣть честь прислать къ вамъ нынче моего секунданта, прибавилъ я, раскланившись очень вѣжливо и показывая видъ, будто не обращаю вниманія на его бѣшенство.

Доктору Вернеру, секунданту Печорина, удалось услышать, что штабсъ-капитанъ хочетъ дуэль для Грушницкаго сдѣлать безопаснѣй, не положивъ пули въ пистолетъ Печорина.

Два часа ночи.. не спится... А надо бы заснуть, чтобъ завтра рука не дрожала. Впрочемъ, на шести шагахъ промахнуться трудно. А! Господинъ Грушницкій! ваша мистификація вамъ не удастся... мы помѣняемся ролями: теперь мнѣ придется отыскивать на вашемъ блѣдномъ лицѣ признаки тайнаго страха. Зачѣмъ вы сами назначили эти роковые шесть шаговъ? Вы думаете, что я безъ спора подставлю свой лобъ... но мы бросимъ жребій...

и тогда... тогда... что если его счастье перетянуть? если моя звезды, наконецъ, мій измѣнить?.. И немудрено! она такъ долго служила вѣрно моимъ прихотямъ.

Что жъ? умереть, такъ умереть! потеря для міра небольшая; да и мій самому порядочно ужъ скучно. Я — какъ человѣкъ, зѣвающій на балѣ, который не ёдетъ спать только потому, что еще нѣтъ его кареты. Но карета готова... прощайтѣ!..

Пробѣгаю въ памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачѣмъ я жилъ? для какой цѣли я родился?.. А, вѣрно, она существовала, и, вѣрно, было мій назначеніе высокое, потому что я чувствую въ душѣ моей силы необыкнѣнныя... Но я не угадалъ этого назначенія, я увлекся пріаманками страстей пустыхъ и неблагодарныхъ; изъ горнила ихъ я вышелъ твердъ и холоденъ, какъ желѣзо, но утратилъ наивѣкъ пыль благородныхъ стремлений — лучшій цвѣтъ жизни. И съ той поры сколько разъ уже я игралъ роль топора въ рукахъ судьбы! Какъ орудіе казни, я упадаю на голову обреченныхъ жертвъ, часто безъ злобы, всегда безъ сожалѣнія... Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничѣмъ не жертвовалъ для тѣхъ, кого любилъ: я любилъ для себя, для собственнаго удовольствія; я только удовлетворялъ странную потребность сердца, съ жадностью поглощая ихъ чувства, ихъ нѣжность, ихъ радости и страданія — и никогда не могъ насытиться. Такъ, томимый голодомъ въ изнеможеніи засыпаетъ и видитъ предъ собою роскошныя кушанья и шипучія вина; онъ пожираетъ съ восторгомъ воздушныя дары воображенія, и ему кажется легче; но только проснусь — мечта исчезаетъ... остается удвоенный голодъ и отчаяніе.

И, можетъ быть, я завтра умру! и не останется на землѣ ни одного существа, которое бы почило меня совершенно. Одни почитаютъ меня хуже, другіе лучше, чѣмъ я въ самомъ дѣлѣ. Одни скажутъ: онъ былъ добрый малый, другіе — мерзавецъ. И то, и другое будетъ ложно. Послѣ этого стотъ ли труда жить? а все живешь — изъ любопытства: ожидаешь чего-то новаго... Смѣшино и досадно!

Мы сѣли верхомъ; Вернеръ уѣхалъ за поводья обѣими руками, и мы пустились — мигомъ проскакали мимо крѣпости черезъ слободку и вѣхали въ ущелье, по которому вилась дорога, полузаросшая высокой травкой и ежеминутно пересѣкаемая шумнымъ ручьемъ, черезъ который нужно было переправляться въ бродъ, къ великому отчаянію доктора, потому что лошадь его каждый разъ въ водѣ останавливалась.

Я не помню утра болѣе голубого и свѣжаго! Солнце едва выказалось изъ-за зеленыхъ вершинъ, а сліяніе первой теплоты его лучей съ умирающей прохладой ночи наводило на всѣ чувства какое-то сладкое томленіе; въ ущелье не проникалъ еще радостный лучъ молодого дня; онъ золотилъ только верхи утесовъ, висящихъ съ обѣихъ сторонъ надъ нами; густолиственные кусты, растущіе въ ихъ глубокихъ трещинахъ, при малѣйшемъ

дыханий вътра осипали насть серебрянымъ дождемъ. Я помню — въ этотъ разъ, больше чѣмъ когда-нибудь прежде, я любилъ природу. Какъ любопытно всматривался я въ каждую росинку, трепещущую на широкомъ листѣ виноградномъ и отражавшую миллионы радужныхъ лучей! какъ жадно взоръ мой старался проникнуть въ дымную даль! Тамъ путь все становился ужѣ, утесы синѣ и страшнѣ, и наконецъ они, казалось, сходились непроницаемой стѣной. Мы вхали молча.

— Написали ли вы свое завѣщаніе? вдругъ спросилъ Вернеръ.

— Нѣть.

— А если будете убиты?..

— Наслѣдники отыщутся сами.

— Неужели у васъ нѣть друзей, которымъ бы вы хотѣли послать свое послѣднее прости?..

Я покачалъ головой.

— Неужели нѣть на свѣтѣ женщины, которой вы хотѣли бы оставить что-нибудь на память?..

— Хотите ли, докторъ, отвѣчать я ему,—чтобъ я раскрылъ вамъ мою душу?... Видите ли, я выжилъ изъ тѣхъ лѣтъ, когда умираютъ, произнося имя своей любезной и завѣщая другу клочокъ напомаженныхъ или ненапомаженныхъ волосъ. Думая о близкой и возможной смерти, я думаю объ одномъ себѣ; иные не дѣлаютъ и этого.—Друзья, которые завтра меня забудутъ, или, хуже, введутъ на мой счетъ Богъ знаетъ какія небылицы; женщины, которыхъ, обнимая другого, будутъ смыть надо мною, чтобъ не возбудить въ немъ ревности къ усопшему—Богъ съ ними! Изъ жизненной бури я вынесъ только иѣсколько идей—и ни одного чувства. Я давно ужъ живу не сердцемъ, а головою. Я взвѣшивая, разбираю свои собственные страсти и поступки съ строгимъ любопытствомъ, но безъ участія. Во мнѣ два человѣка; одинъ живеть въ полномъ смыслѣ этого слова, другой мыслить и судить его; первый, быть можетъ, черезъ часъ простится съ вами и міромъ навѣки, а второй... второй?.. Посмотрите, докторъ: видите ли вы, на склѣ, направо, чернѣются три фигуры? Это, кажется, наши противники?..

Мы пустились.

У подошвы скалы, въ кустахъ, были привязаны три лошади; мы своихъ привязали тутъ же, а сами по узкой тропинкѣ взобрались на площадку, где ожидалъ насть Грушницкій съ драгунскимъ капитаномъ и другимъ своимъ секундантомъ, которого звали Иваномъ Игнатьевичемъ: фамиліи его я никогда не слыхалъ.

— Мы давно ужъ васъ ожидаемъ, сказалъ драгунскій капитанъ съ иронической улыбкой.

Я вынулъ часы и показалъ ему.

Онъ извинился, говоря, что его часы уходятъ.

Несколько минутъ продолжалось затруднительное молчаніе: наконецъ докторъ прервалъ его, обратясь къ Грушницкому.

— Мнѣ кажется, сказаъ онъ:—что, показавъ оба готовность драться и заплативъ этимъ долгъ условіямъ чести, вы бы могли, господа, объясниться и кончить это дѣло почтобенно.

— Я готовъ, сказаъ я.

Капитанъ мигнула Грушницкому, и этотъ, думая, что я трушу, принялъ гордый видъ, хотя до сей минуты тусклая блѣдность покрывала его щеки. Съ тѣхъ поръ, какъ мы пріѣхали, онъ въ первый разъ поднялъ на меня глаза; но во взглядѣ его было какое-то беспокойство, изобличавшее внутреннюю борьбу.

— Объясните ваши условія, сказаъ онъ:—и все, что я могу для васъ сдѣлать, то будьте увѣрены...

— Вотъ мои условія: вы нынче же публично откажетесь отъ своей клеветы и будете просить у меня извиненія...

— Милостивый государь, я удивляюсь, какъ вы смѣете мнѣ предлагать такія вещи?..

— Что-жъ я вамъ могъ предложить, кроме этого?..

— Мы будемъ стрѣляться.

Я покачалъ плечами.

— Пожалуй; только подумайте, что одинъ изъ насъ непремѣнно будетъ убитъ.

— Я желаю, чтобы это были вы...

— А я такъ увѣренъ въ противномъ...

Онъ смутился, покраснѣлъ, потомъ принужденно захочоталъ.

Капитанъ взялъ его подъ руку и отвелъ въ сторону; они долго шептались. Я пріѣхалъ въ довольно миролюбивомъ расположеніи духа, но все это начинало меня бѣсить.

Ко мнѣ подошелъ докторъ.

— Послушайте, сказаъ онъ съ явнымъ беспокойствомъ:— вы, вѣрно, забыли про ихъ заговоръ?.. Я не умѣю зарядить пистолета, но въ этомъ случаѣ... Вы странный человѣкъ! Скажите имъ, что вы знаете ихъ намѣреніе—и они не посмѣютъ... Чѣд за охота? подстрѣлять васъ, какъ птицу...

— Пожалуйста, не беспокойтесь, докторъ, и погодите... Я все такъ устрою, что на ихъ сторонѣ не будетъ никакой выгода. Дайте имъ пошептаться.

— Господа! это становится скучно, сказаъ я имъ громко:— драться, такъ драться; вы имѣли время вчера наговориться.

— Мы готовы, отвѣчалъ капитанъ.— Становитесь, господа! Докторъ, извольте отмѣрить шесть шаговъ...

— Становитесь! повторилъ Иванъ Игнатьевичъ пискливымъ голосомъ.

— Позвольте! сказаъ я: еще одно условіе; такъ какъ мы будемъ драться на смерть, то мы обязаны сдѣлать все возможное, чтобы это остав-

лось тайною и чтобы секунданты наши не были въ отвѣтственности. Согласны ли вы?..

— Совершенно согласны.

— Итакъ, вотъ что я придумалъ. Видите ли на вершинѣ этой отвѣтственной скалы, направо, узенькую площадку? Оттуда до низу будетъ сажень тридцать, если не больше; внизу острые камни. Каждый изъ насъ станетъ на самомъ краю площадки; такимъ образомъ даже легкая рана будетъ смертельна: это должно быть согласно съ вашимъ желаніемъ, потому что вы сами назначили шесть шаговъ. Тотъ, кто будетъ раненъ, полетитъ непремѣнно внизъ и разобьется вдребезги; пулю докторъ вынетъ, и тогда можно будетъ очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачнымъ прыжкомъ. Мы бросимъ жребій, кому первому стрѣлять. Объявляю вамъ въ заключеніе, что иначе я не буду драться.

— Пожалуй! сказалъ капитанъ, посмотрѣвъ выразительно на Грушницкаго, который кивнулъ головой въ знакъ согласія. Лицо его ежеминутно менялось. Я его поставилъ въ затруднительное положеніе. Стрѣляясь при обыкновенныхъ условіяхъ, онъ могъ цѣлить мнѣ въ ногу, легко меня ранить и удовлетворить такимъ образомъ свою месть, не отягощая слишкомъ своей совѣсти; но теперь онъ долженъ былъ выстрѣлить на воздухъ, или сдѣлаться убійцей, или наконецъ оставить свой подлый замыселъ и подвергнуться одинаковой со мною опасности. Въ эту минуту я не пожелалъ бы быть на его мѣстѣ. Онъ отвелъ капитана въ сторону и сталъ говорить ему что-то съ большимъ жаромъ; я видѣлъ, какъ посинѣвшія губы его дрожали, но капитанъ отъ него отвернулся съ презрительной улыбкой.—Ты дуракъ! сказалъ онъ Грушницкому довольно громко:—ничего не понимаешь!.. Отправимтесь же, господа!

Узкая тропинка вела между кустарниками на крутизну; обломки скалъ составляли шаткія ступени этой природной лѣстницы, опираясь за кусты, мы стали карабкаться. Грушницкій шелъ впереди, за нимъ это секунданты, а потомъ мы съ докторомъ.

— Я вамъ удивляюсь, сказалъ докторъ, пожавъ мнѣ руку.— Дайте пощупать пульсъ!.. Ого! лихорадочный!.. но на лице ничего не замѣтно... только глаза у васъ блестятъ ярче обыкновенного.

Вдругъ мелкие камни съ шумомъ покатились намъ подъ ноги. Что это? Грушницкій споткнулся; вѣтка, за которую онъ упѣшился, изломалась и онъ скатился бы внизъ на спинѣ, еслибы его секунданты не поддержали.

— Берегитесь! закричалъ я ему:— не падайте заранѣе; это дурная примѣта. Вспомните Юлія Цезаря!

Вотъ мы въбрались на вершину выдавшейся скалы; площадка была покрыта мелкимъ пескомъ, будто нарочно для поединка. Кругомъ, теряясь въ золотомъ туманѣ утра, тѣснились вершины горъ, какъ безчисленное стадо, и Эльборусъ на югѣ вставалъ бѣлою громадой, замыкая цѣль льди-

стыхъ вершинъ, между которыхъ уже бродили волокнистыя облака, набѣжавшія съ востока. Я подошелъ къ краю площадки и посмотрѣлъ внизъ; голова чуть-чуть у меня не закружилась: тамъ, внизу, казалось темно и холодно, какъ въ гробѣ; мшистые зубы скалъ, сброшенныхъ грозою и временемъ, ожидали своей добычи.

Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольникъ. Отъ выдавшагося угла отмѣрили шесть шаговъ, и рѣшили, что тотъ, кому придется первому встрѣтить непріятельскій огонь, станетъ на самомъ углу спиной къ пропасти: если онъ не будетъ убитъ, то противники помѣняются мѣстами.

Я рѣшился предоставить всѣ выгоды Грушницкому; я хотѣлъ испытать его; въ душѣ его могла проснуться искра величодушія—и тогда все устроилось бы къ лучшему; но самолюбіе и слабость характера должны были торжествовать!.. Я хотѣлъ дать себѣ полное право не щадить его, если бы судьба меня помиловала. Кто не заключалъ такихъ условій съ своею совѣстью?

— Бросьте жребій, докторъ! сказалъ капитанъ.

Докторъ вынулъ изъ кармана серебряную монету и поднялъ ее кверху.

— Рѣшетка! закричалъ Грушницкій послѣшно, какъ человѣкъ, котораго вдругъ разбудилъ дружескій толчокъ.

— Орелъ! сказалъ я.

Монета взвилась и упала, звеня; всѣ бросились къ ней.

— Вы счастливы, сказалъ я Грушницкому:— вамъ стрѣлять первому! Но помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь—даю вамъ честное слово.

Онъ покраснѣлъ; ему было стыдно убить человѣка безоружнаго; я глядѣлъ на него пристально; съ минуту мнѣ казалось, что онъ бросится къ ногамъ моимъ, умоляя о прощаніи; но какъ признаться въ такомъ подломъ умыслѣ?.. Ему оставалось одно средство—выстрѣлить на воздухъ. Я былъ увѣренъ, что онъ выстрѣлить на воздухъ! Одно могло этому помѣшать: мысль, что я потребую вторичнаго поединка.

— Пора! шепнулъ мнѣ докторъ, дергая за рукавъ:— если вы теперь не скажете, что мы знаемъ ихъ намѣренія, то все пропало. Посмотрите, онъ ужъ заряжаетъ... если вы ничего не скажете, то я самъ...

— Ни за что на свѣтѣ, докторъ, отвѣчалъ я, удерживая его за руку:— вы все испортите; вы мнѣ дали слово не мѣшать... Какое вамъ дѣло? Можетъ быть, я хочу быть убитъ...

Онъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ.

— О, это другое!.. только на меня на томъ свѣтѣ не жалуйтесь...

Капитанъ между тѣмъ зарядилъ свои пистолеты, подалъ одинъ Грушницкому, съ улыбкою шепнувъ ему что-то; другой мнѣ.

Я сталъ на уголъ площадки, крѣпко упервшись лѣвой ногою въ камень

и наклонясь немного напередъ, чтобы въ случай легкой раны не опрокинуться назадъ.

Грушницкій сталъ противъ меня и, по данному знаку, началъ поднимать пистолеть. Колѣни его дрожали. Онъ цѣлилъ мнѣ прямо въ лобъ.

Неизъяснимое бѣшенство закипѣло въ груди моей.

Вдругъ онъ опустилъ дуло пистолета и, поблѣдѣвъ какъ полотно, повернулся къ своему секунданту:

— Не могу, сказалъ онъ глухимъ голосомъ.

— Трусь! отвѣчалъ капитанъ.

Выстрѣль раздался. Пуля оцарапала мнѣ колѣно. Я невольно сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ, чтобы поскорѣй удалиться отъ края.

— Ну, братъ Грушницкій, жаль, что промахнулся! сказалъ капитанъ.— Теперь твоя очередь, становись! Обими меня прежде: мы ужъ не увидимся! Они обнялись; капитанъ едва могъ удержаться отъ смѣха.—Не бойся, прибавилъ онъ, хитро взглянувъ на Грушницкаго:—все вадоръ на свѣтѣ... Натура—дура, судьба—индѣйка, а жизнь—когтица!

Послѣ этой трагической фразы, сказаний съ приличною важностью, онъ отошелъ на свое мѣсто. Иванъ Игнатьевичъ со слезами обнялъ также Грушницкаго, и вотъ онъ остался одинъ противъ меня. Я до-сихъ поръ стараюсь объяснить себѣ, какого рода чувство кипѣло тогда въ груди моей: то было и досада оскорблѣннаго самолюбія, и презрѣніе, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этотъ человѣкъ, теперь съ такою увѣренностью, съ такой спокойной дерзостью на меня глядящій, двѣ минуты тому назадъ, не подвергая себя никакой опасности, хотѣлъ меня убить какъ собаку, ибо, раненый въ ногу немногіе сильнѣе, я бы непремѣнно свалился съ утеса.

Я нѣсколько минутъ смотрѣлъ ему пристально въ лицо, стараясь замѣтить хоть легкій слѣдъ раскаянія. Но мнѣ показалось, что онъ удерживалъ улыбку.

— Я вамъ совѣтую передъ смертью помолиться Богу, сказалъ я ему тогда.

— Не заботьтесь о моей душѣ больше, чѣмъ о своей собственной. Объ одномъ васъ прошу: стрѣляйте скорѣе.

— И вы не отказываетесь отъ своей клеветы? не просите у меня прощенія?.. Подумайте хорошенъко: не говорить ли вамъ чегонибудь совсѣмъ!

— Господинъ Печоринъ! закричалъ драгунскій капитанъ:—вы здѣсь не для того, чтобы исповѣдыватъ, позвольте вамъ замѣтить... Кончимте скорѣе; неравно кто-нибудь пройдетъ по ущелью—и насть увидятъ.

— Хорошо. Докторъ, подойдите ко мнѣ.

Докторъ подошелъ. Бѣдный докторъ! онъ былъ блѣднѣе, чѣмъ Грушницкій десять минутъ тому назадъ.

Слѣдующія слова я произнесъ нарочно съ разстановкой, громко и внятно, какъ произносятъ смертный приговоръ:

— Докторъ, эти господа, вѣроятно второпяхъ, забыли положить пушку въ мой пистолетъ: прошу васъ зарядить его снова—и хорошенько!

— Не можетъ быть! кричалъ капитанъ:—не можетъ быть! я зарядилъ оба пистолета: развѣ что изъ вашего пуля выкатилась... Это не моя вина!—А вы не имѣете права переряжать... никакого права... Это совершенно противъ правилъ; я не позволяю...

— Хорошо! сказалъ я капитану: — если такъ, то мы будемъ съ вами стрѣляться на тѣхъ же условіяхъ...

Онъ замялся.

Грушницкій стоялъ, опустивъ голову на грудь, смущенный и мрачный.

— Оставь ихъ! сказалъ онъ наконецъ капитану, который хотѣлъ вырвать пистолетъ мой изъ рукъ доктора.—Вѣдь ты самъ знаешь, что они правы.

Напрасно капитанъ дѣлалъ ему разные знаки—Грушницкій не хотѣлъ и смотрѣть.

Междудѣйствіе докторъ зарядилъ пистолетъ и подалъ мнѣ.

Увидѣвъ это, капитанъ плонулъ и топнулъ ногой.

— Дуракъ же ты, братецъ! сказалъ онъ:—пошлый дуракъ!.. Ужъ положился на меня, такъ слушайся во всемъ... Подѣломъ же тебѣ! околѣвай себѣ какъ муха... Онъ отвернулся и, отходя, пробормоталъ: „А всетаки это совершенно противъ правилъ“.

— Грушницкій! сказалъ я,—еще есть время: откажись отъ своей клеветы, и я тебѣ прощу все. Тебѣ не удалось меня подурочить, и мое самолюбіе удовлетворено. Вспомни, мы были когда-то друзьями...

Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали...

— Стрѣляйте! отвѣчалъ онъ:—я себя презираю, а васъ ненавижу. Если вы меня не убьете, я вѣдь зарѣжу ночью изъ-за угла. Намъ на землѣ вдвоемъ нѣтъ места...

Я выстрѣлилъ...

Когда дымъ разсѣялся, Грушницкаго на площадкѣ не было. Только прахъ легкимъ столбомъ еще вился на краю обрыва.

Всѣ въ одинъ голосъ вскрикнули.

— Finita la comedia! сказалъ я доктору.

Онъ не отвѣчалъ и съ ужасомъ отвернулся.

Я пожалъ плечами и раскланялся съ секундантами Грушницкаго.

Спускаясь по тропинкѣ внизъ, я замѣтилъ между разсѣянными скаль окровавленный трупъ Грушницкаго. Я невольно закрылъ глаза.

Отвязавъ лошадь, я шагомъ пустился домой; у меня на сердцѣ былъ камень. Солнце казалось мнѣ тусклѣ; лучи его меня не грѣли.

Не дойдя до слободки, я повернулся направо по ущелью. Видъ человѣка былъ бы мнѣ тѣжостенъ; я хотѣлъ быть одинъ. Бросивъ поводья, опустивъ голову на грудь, я ѿхалъ долго, наконецъ очутился въ мѣстѣ, мнѣ вовсе незнакомомъ; я повернулъ коня назадъ и сталъ отыскивать дорогу;

ужъ солнце садилось, когда я подъѣхалъ къ Кисловодску, измученный на измученной лошади.

Лакей мой сказалъ мнѣ, что заходить Вернеръ, и подалъ мнѣ двѣ записки: одну отъ него, другую... отъ Вѣры.

Я распечаталъ первую; она была слѣдующаго содержанія:

„Все устроено какъ можно лучше: тѣльо привезено обезображенное; пуля изъ груди вынута. Всѣ увѣрены, что причиною его смерти несчастный случай; только комендантъ, которому, вѣроятно, извѣстна вашассора, показалъ головой, но ничего не сказалъ. Доказательствъ противъ васъ нѣть никакихъ, и вы можете спать спокойно... если можете... Прощайте...“

Я долго не рѣшался открыть вторую записку... Что могла она мнѣ писать?.. Тяжелое предчувствіе волновало мою душу.

Вотъ оно, это письмо, котораго каждое слово неизгладимо врѣзалось въ моей памяти:

„Я пишу къ тебѣ въ полной увѣренности, что мы никогда болѣе не увидимся. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, разставаясь съ тобою, я думала то же самое; но небу было угодно испытать меня вторично: я не вынесла этого испытанія, мое слабое сердце покорилось снова знакомому голосу... ты не будешь презирать меня за это—не правда ли? Это письмо будетъ вмѣстѣ прощеніемъ и исповѣдью: я обязана сказать тебѣ все, что накопилось въ моемъ сердцѣ съ тѣхъ поръ, какъ оно тебя любить. Я не стану обвинять тебя—ты поступилъ со мною, какъ поступилъ бы всякий другой мужчина: ты любилъ меня какъ собственность, какъ источникъ радостей, тревогъ и печалей, смѣявшихся взаимно, безъ которыхъ жизнь скучна и однообразна. Я это поняла сначала... Но ты былъ несчастливъ, и я пожертвовала собою, надѣясь, что когданибудь ты опѣнишь мою жертву, что когданибудь ты поймешь мою глубокую нѣжность, независящую ни отъ какихъ условій. Прошло съ тѣхъ поръ много времени: я проникла во всѣ тайны души твоей... и убѣдилась, что то была надежда напрасная... Горько мнѣ было! Но моя любовь срослась съ душой моей: она потемнѣла, но не угасла.

„Мы разстаемся навѣки; однако ты можешь быть увѣренъ, что я никогда не буду любить другого: моя душа истощила на тебя всѣ свои сокровища, свои слезы и надежды. Любившая разъ тебя не можетъ смотрѣть безъ нѣкотораго презрѣнія на прочихъ мужчинъ, не потому, чтоъ ты былъ лучше ихъ, о, нѣть! но въ твоей природѣ есть что-то особенное—тебѣ одному свойственное, что-то гордое и таинственное; въ твоемъ голосѣ, что бы ты ни говорилъ, есть власть непобѣдимая; никто не умѣеть такъ постоянно хотѣть быть любимымъ, ни въ комъ зло не бываетъ такъ привлекательно, ничей взоръ не обѣщаетъ столько блаженства, никто не умѣеть лучше пользоваться своими преимуществами и никто не можетъ быть такъ истинно несчастливъ, какъ ты, потому что никто столько не старается увѣритъ себя въ противномъ“.

Дальше она писала о томъ, что мужъ догадался объ ея отношенияхъ къ Печорину, оскорбиль ее грубымъ обвиненіемъ, и потому она спѣшно уѣзжаетъ изъ Кисловодска на сѣверъ.

Солнце уже спряталось въ черной тучѣ, отдыхавшей на хребтѣ западныхъ горъ; въ ущельѣ стало темно и сырь. Подкумокъ, пробираясь по камнямъ, ревѣлъ глухо и однообразно. Я скакалъ, задыхаясь отъ нетерпѣнья. Мысль не застать ее въ Пятигорскѣ молоткомъ ударила мнѣ въ сердце. Одну минуту, еще одну минуту видѣть ее, проститься, пожать ея руку... Я молился, проклиналь, плакалъ, смѣялся... пѣть, ничто не выражить моего беспокойства, отчаянія!.. При возможности потерять ее навѣки, Вѣра стала для меня дороже всего на свѣтѣ, дороже жизни, чести, счастья! Богъ знаетъ, какіе странные, какіе бѣшеные замыслы родились въ головѣ моей... И между тѣмъ я все скакалъ, погоняя безпощадно.—И вотъ я стала замѣтать, что конь мой тяжелѣе дышеть; онъ раза два ужъ споткнулся на ровномъ мѣстѣ... Оставалось пять верстъ до Ессентуковъ—казачьей станицы, гдѣ я могъ пересѣсть на другую лошадь.

Все было бы спасено, еслибы у моего коня достало силъ еще на десять минутъ! Но вдругъ, поднимаясь изъ небольшого оврага, при выѣздѣ изъ горъ, на крутомъ поворотѣ, онъ грянулся на землю. Я проворно соскочилъ, хочу поднять его, дергаю за поводъ—напрасно: едва слышный стонъ вырвался сквозь стиснутые его зубы; черезъ нѣсколько минутъ онъ издохъ; я остался въ степи одинъ, потерявъ послѣднюю надежду; попробовалъ идти пѣшкомъ—ноги мои подкосились; изнуренный тревогами дня и безсонницей, я упалъ на мокрую траву и, какъ ребенокъ, заплакалъ.

И долго я лежалъ неподвижно и плакалъ горько, не стараясь удерживать слезъ и рыданій; я думалъ, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровіе исчезли, какъ дымъ; душа обезсилѣла, разсудокъ замолкъ, и если бъ въ эту минуту кто нибудь меня увидѣлъ, онъ бы съ презрѣніемъ отвернулся.

Когда ночная гроза и горный вѣтеръ освѣжили мою горячую голову и мысли пришли въ обычный порядокъ, то я понялъ, что гнаться за погившимъ счастіемъ безполезно и безразсудно. Чего мнѣ еще надобно?—ее видѣть?—зачѣмъ? не все ли кончено между нами? Одинъ горький прощальный поцѣлуй не обогатить моихъ воспоминаній, а послѣ него намъ только труднѣе будетъ разставаться.

Мнѣ однако пріятно, что я могу плакать. Впрочемъ, можетъ быть, этому причиной разстроенные нервы, ночь, проведенная безъ сна, двѣ минуты противъ дула пистолета и пустой желудокъ.

Все къ лучшему! Это новое страданіе, говоря военнымъ слогомъ, сдѣлало во мнѣ счастливую диверсію. Плакать здорово, и потомъ, вѣроятно, если бъ я не проѣхался верхомъ и не былъ принужденъ на обратномъ пути пройти пятнадцать верстъ, то и эту ночь сонъ не сокрушилъ бы глазъ моихъ.

У Печорина произошло послѣднее прощальное объясненіе съ Мери.

Я стоялъ противъ нея. Мы долго молчали; ея большие глаза, исполненные неизъяснимой грусти, казалось, искали въ моихъ что нибудь похожее на надежду; ея блѣдныя губы напрасно старались улыбнуться, ея нѣжныя руки, сложенные на колѣняхъ, были такъ худы и прозрачны, что мнѣ стало жаль ея.

— Княжна, сказаълъ я: вы знаете, что я надъ вами смѣялся?.. Вы должны презирать меня.

На ея щекахъ показался болѣзnenный румянецъ.

Я продолжалъ:—Слѣдственno, вы меня любить не можете...

Она отвернулась, облокотилась на столъ, закрыла глаза рукою, и мнѣ показалось, что въ нихъ блеснули слезы.

— Боже мой! произнесла она едва взято.

Это становилось невыносимо: еще минута—и я бы упалъ къ ногамъ ея.

— Итакъ, вы сами видите, сказаълъ я, сколько могъ, твердымъ голосомъ и съ принужденной усмѣшкою:—вы сами видите, что я не могу на васъ жениться. Если бъ вы даже этого теперь хотѣли, то скоро бы раскаялись. Мой разговоръ съ вашей матушкой принудилъ меня объясниться съ вами такъ откровенно и такъ грубо; я надѣюсь, что она въ заблужденіи: вамъ легко ею разувѣрить. Вы видите, я играю въ вашихъ глазахъ самую жалкую и гадкую роль, и даже въ этомъ признаюсь—вотъ все, чтѣ я могу для васъ сдѣлать. Какое бы вы дурное мнѣніе обо мнѣ ни имѣли, я ему покоряюсь... Видите ли, я передъ вами низокъ?.. Не правда ли, если даже вы меня и любили, то съ этой минуты презираете?..

Она обернулась ко мнѣ, блѣдная, какъ мраморъ, только глаза ея чудесно сверкали.

— Я васъ ненавижу... сказала она.

Я поблагодарилъ, поклонился почтительно и вышелъ.

Черезъ часъ курьерская тройка мчала меня изъ Кисловодска. За нѣсколько верстъ отъ Ессентуковъ я узналъ близъ дороги трупъ моего лихого коня; сѣдло было снято, вѣроятно, проѣзжимъ казакомъ, и, вмѣсто сѣдла, на спинѣ его сидѣли два ворона. Я задохнулся и отвернулся...

И теперь здѣсь, въ этой скучной крѣпости, я часто, пробѣгая мыслю прошедшее, спрашиваю себя: отчего я не хотѣлъ ступить на эту путь, открытый мнѣ судьбою, гдѣ меня ожидали тихія радости и спокойствіе душевное?.. Нѣтъ, я бы не ужился съ этой долею! Я, какъ матросъ, рожденный и выросшій на палубѣ разбойничьяго брига: его душа сжилась съ бурами и битвами и, выброшенный на берегъ, онъ скучаетъ и томится, какъ ни мани его тѣнистая роща, какъ ни свѣти ему мирное солнце; онъ ходитъ себѣ цѣлый день по прибрежному песку, прислушивается къ однообразному ропоту набѣгающихъ волнъ и всматривается въ туманную даль: не мелькнетъ ли тамъ, на блѣдной чертѣ, отдѣляющей синюю пучину отъ

сърыхъ тучекъ, желанный парусъ, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-по-малу отдѣляющійся отъ пѣны валуновъ и ровнымъ бѣгомъ приближающійся къ пустынной пристани...

---

## Бѣлинскій.

---

### Литературныя мечтанія.

(элегія въ прозѣ).

Я правду о тебѣ поразскажу такую,  
Чтѣ же всякой лжи. Вотъ, братъ, рекомендую:  
Какъ ётакихъ людей утизвѣ зовутъ?..  
Горе отъ ума.

Есть ли у васъ хорошія книги? — Нѣть, но у насъ есть великие писатели. — Такъ, по крайней мѣрѣ, у васъ есть Словесность? — Напротивъ, у насъ есть только книжная торговля.

Баронъ Брамбусъ.

Помните ли вы то блаженное время, когда въ нашей литературѣ пробудилось было какое-то дыханіе жизни, когда появлялся талантъ за талантъ, поэма за поэмою, романъ за романомъ, журналъ за журналомъ, альманахъ за альманахомъ, — то прекрасное время, когда мы такъ гордились настоящимъ, такъ лелеяли себя будущимъ, и, гордые нашою дѣйствительностію, а еще болѣе сладостными надеждами, твердо были увѣрены, что имѣемъ своихъ Байроновъ, Шекспировъ, Шиллеровъ, Вальтеръ-Скоттовъ? Увы! гдѣ ты, o bon vieux temps, гдѣ вы, мечты отрадныя, гдѣ ты, надежда-обольститель! какъ все перемѣнилось въ столь короткое время! Какое ужасное, раздирающее душу разочарованіе послѣ столь сильного, столь сладкаго обольщенія! Подломились ходульки нашихъ литературныхъ атлетовъ, рухнули соломенные подмостки, на кои, бывало, карабкалась золотая посредственность, а вмѣстѣ съ тѣмъ умолкли, заснули, исчезли и тѣ немногія и небольшія дарованія, которыми мы такъ обольщались во время оно. Мы спали и видѣли себя Крезами, а проснулись Ирами! Увы! какъ хорошо идуть къ каждому изъ нашихъ геніевъ и полугеніевъ сіи трогательныя слова поэта:

Не расцвѣль и отцвѣль  
Въ утрѣ пасмурныхъ дней!

Да—прежде и ныне, тогда и теперь! Великий Боже!.. Пушкинъ, поэтъ русский по преимуществу, Пушкинъ, въ сильныхъ и мощныхъ пѣсняхъ котораго впервые пахнуло вѣяніе жизни русской, игривый и разнообразный талантъ котораго такъ любила и лѣтила Русь, къ гармоническимъ звукамъ котораго она такъ жадно прислушивалась и на кои отзывалась съ такою любовию, Пушкинъ, авторъ Полтавы и Годунова,—и Пушкинъ, авторъ Анжело и другихъ мертвыхъ безжизненныхъ сказокъ!.. Козловъ, задумчивый пѣвецъ страданій Чернeca, стоявшихъ столькихъ слезъ прекраснымъ читательницамъ, этотъ слѣпецъ, такъ гармонически передававшій намъ, бывало, свои роскошныя видѣнія, и Козловъ—авторъ балладъ и другихъ стихотвореній, длинныхъ и короткихъ, напечатанныхъ въ „Библіотекѣ для Чтенія“, и о коихъ только и можно сказать, что въ нихъ все обстоитъ благополучно, какъ уже было замѣчено въ „Мольѣ“!.. Какая разница!.. Много бы, очень много могли мы прибрать здѣсь такихъ печальныхъ сравненій, такихъ горестныхъ контрастовъ, но... Словомъ, какъ говоритъ Ламартинъ:

Les dieux étaient tombés, les trônes étaient vides!

Какие же новые боги заступили вакантныя мѣста старыхъ? Увы, они смѣнили ихъ, не замѣнивъ! Прежде наши аристархи, заносившіеся юными надеждами, всѣхъ обольщавшими въ то время, воскликали въ чаду дѣтскаго, простодушнаго упоенія: „Пушкинъ — сѣверный Байронъ, представитель современного человѣчества!“ Нынѣ, на нашихъ литературныхъ рынкахъ, наши неутомимые герольды воспіютъ громко: „Кукольникъ, великий Кукольникъ, Кукольникъ—Байронъ, Кукольникъ—отважный соперникъ Шекспира! на колѣна передъ Кукольникомъ. Теперь Баратынскихъ, Подолинскихъ, Языковыхъ, Туманскихъ, Ознобишиныхъ смѣнили гг. Тимофеевы, Ершовы; на поприщѣ ихъ замолкнувшей славы величаются гг. Брамбесы, Булгарины, Гречи, Калашниковы, по пословицѣ, на безлюдь и юома дворянинъ. Первые или потчуютъ настъ изрѣдка старыми погудками на старый же ладъ, или хранятъ скромное молчаніе; послѣдніе размѣниваются комплиментами, называютъ другъ друга геніями и кричатъ во всеуслышаніе, чтобы поскорѣе раскупали ихъ книги. Мы всегда были слишкомъ неумѣренны въ раздачѣ лавровыхъ вѣнковъ генія, въ похвалахъ корифеямъ нашей поэзіи: это нашъ давнишній порокъ; по крайней мѣрѣ, прежде причиной этого было невинное обольщеніе, происходившее изъ благороднаго источника—любви къ родному; нынѣ же рѣшительно все основано на корыстныхъ расчетахъ, сверхъ того, прежде еще и было чѣмъ похвастаться; нынѣ же... Отнюдь не думая обижать прекрасный талантъ г-на Кукольника, мы все-таки не запинаясь можемъ сказать утверждительно, что между Пушкинымъ и имъ, г-номъ Кукольникомъ, пространство неизмѣримое, что ему, г-ну Кукольнику, до Пушкина

Какъ до звѣзды небесной далеко!

Да — Крыловъ и Г. Зиловъ, „Юрій Милославскій“ Загоскина и „Черная Женщина“ г-на Греча, „Послѣдній Новикъ“ Лажечникова и „Стрѣльцы“ г-на Масальскаго и „Мазепа“ г-на Булгарина, повѣсти Одоевскаго, Марлинскаго, Гоголя — и повѣсти, съ позволенія сказать, г-на Брамбеуса!!!... Что все это означаетъ! Какія причины такой пустоты въ нашей литературѣ? Или и въ самомъ дѣлѣ — у насъ нѣтъ литературы?..

Pas de grâce!  
HUGO. MARION DE LORME.

Да — у насъ нѣтъ литературы!

„Вотъ прекрасно! вотъ новость!“ слышу я тысячу голосовъ въ отвѣтъ на мою дерзкую выходку. „А наши журналы, неусыпно подвизающіеся за насъ на ловитвѣ европейскаго просвѣщенія, а наши альманахи, наполненные геніальными отрывками изъ недоконченныхъ поэмъ, драмъ, фантазій, а наши библиотеки, биткомъ набитыя многими тысячами книгъ Россійскаго сочиненія, а наши Гомеры, Шекспиры, Гёте, Вальтеръ-Скотты, Байроны, Шиллеры, Бальзаки, Корнели, Мольеры, Аристофаны? Развѣ мы не имѣемъ Ломоносова, Хераскова, Державина, Богдановича, Петрова, Дмитрева, Карамзина, Крылова, Батюшкова, Жуковскаго, Пушкина, Баратынскаго, и пр., и пр. А! что вы на это скажете?“

Что такое литература?

Одни говорятъ, что подъ литературою какого-либо народа должно разумѣть весь кругъ его умственной дѣятельности, проявившейся въ письменности. Вслѣдствіе сего нашу, напримѣръ, литературу составлять: Исторія Карамзина и Исторія гг. Эмина и С. Н. Глинки, историческія розысканія Шлецера, Эверса, Каченовскаго и статья г. Сенковскаго объ Исландскихъ сагахъ, Физики Велланскаго и Павлова и „Разрушеніе Коперниковой системы“ съ брошюрою о клопахъ и тараканахъ; „Борисъ Годуновъ“ Пушкина и нѣкоторыя сцены изъ историческихъ драмъ со штами и анизовкою, оды Державина и „Александрида“ г. Свѣчина, и пр. Если такъ, то у насъ есть литература, и литература, богатая громкими именами и не менѣе того громкими сочиненіями.

Другіе подъ словомъ литература понимаютъ собраніе известнаго числа изящныхъ произведеній, то есть, какъ говорятъ французы, *chef-d'oeuvres de littérature*. И въ этомъ смыслѣ у насъ есть литература, ибо мы можемъ похвальиться болѣшимъ или меньшимъ числомъ сочиненій Ломоносова, Державина, Хемницера, Крылова, Грибоѣдова, Батюшкова, Жуковскаго, Пушкина, Озерова, Загоскина, Лажечникова, Марлинскаго, кн. Одоевскаго и еще нѣкоторыхъ другихъ. Но есть ли хотя одинъ языкъ на свѣтѣ, на коемъ бы не было сколькихъ нибудь образцовыхъ художественныхъ произведеній, хотя народныхъ пѣсень? Удивительно ли, что въ Россіи, которая обширностю

свою превосходить всю Европу, а народонаселениемъ каждое европейское государство, отдельно взятое,—удивительно ли, что въ этой новой Римской Империи явилось людей съ талантами болѣе, нежели, напримѣръ, въ какой нибудь Сербіи, Швеціи, Даніи и другихъ крохотныхъ земелькахъ? Все это въ порядкѣ вещей, изъ всего этого еще отнюдь не слѣдуетъ, чтобы у нась была литература.

Но есть еще третье мнѣніе, не похожее ни на одно изъ обоихъ предыдущихъ,—мнѣніе, вслѣдствіе котораго литературою называется собраніе такого рода художественно-словесныхъ произведеній, которая суть плодъ свободного вдохновенія и дружныхъ (хотя и не условленныхъ) усилий людей, созданныхъ для искусства, дышащихъ для одного его и уничтожающихъ вѣтъ его, вполнѣ выражающихъ и воспроизводящихъ въ своихъ изящныхъ созданіяхъ духъ того народа, среди котораго они рождены и воспитаны, жизнью котораго они живутъ и духомъ котораго дышать, выражающихъ въ своихъ творческихъ произведеніяхъ его внутреннюю жизнь до сокровеннѣйшихъ глубинъ и біеній. Въ исторіи такой литературы нѣть и не можетъ быть скачковъ; напротивъ, въ ней все послѣдовательно, все естественно, нѣть никакихъ насильственныхъ или принужденныхъ переломовъ, происшедшихъ отъ какого нибудь чуждаго вліянія. Такая литература не можетъ въ одно и то же время быть и французскою, и нѣмецкою, и англійскою, и итальянскою. Это мысль не новая: она давно была высказана тысячу разъ. Казалось бы, не для чего и повторять ее. Но, увы! какъ много есть пошлыхъ истинъ, которая у нась должно твердить и повторять каждый день во всеуслышаніе! У нась, у которыхъ такъ зыбки, такъ шатки литературные мнѣнія, такъ темны и загадочны литературные вопросы; у нась, у которыхъ одинъ недоволенъ второю частію Фауста, а другой въ восторгѣ отъ Черной Женщины, одинъ бранить кровавые ужасы Лукреціи Борджіа, а тысячи услауждаются себѣ романами гг. Булгарина и Орлова; у нась, у которыхъ публика есть настоящее изображеніе людей послѣ вавилонскаго столпотворенія, гдѣ

Одинъ кричитъ арбуза,  
А тотъ соленыхъ огурцовъ;

наконецъ, у нась, у которыхъ такъ дешево продаются и покупаются лавровые вѣнки генія, у которыхъ всякая смысленность, вспомоществуемая держостію и безстыдствомъ, пріобрѣтаетъ себѣ громкую извѣстность, нагло ругаясь надъ всѣмъ святымъ и великимъ человѣчества подъ какою нибудь баронскою маскою; у нась, у которыхъ купчая крѣпость на цѣлую литературу и всѣхъ ея геніевъ доставляетъ тысячи подписчиковъ на иной торговый журналъ; у нась, у которыхъ нелѣпныя бредни, воскрешающія собою позабытую ученость Тредьяковскихъ и Эминыхъ, громогласно объявляются всемирными статьями, долженствующими произвести рѣшительный перево-

роть въ русской исторії?.. Нѣтъ: пиши, говори, кричи всякий, у кого есть хоть сколько-нибудь безкорыстной любви къ отечеству, къ добру и истинѣ; не говорю—познаній, ибо многие печальные опыты доказали намъ, что, въ дѣлѣ истины, познанія и глубокая ученість совсѣмъ не одно и то же съ безпредѣстствіемъ и справедливостію...

Итакъ, оправдываетъ ли наша словесность послѣднее опредѣленіе литературы, приведенное мною? Чтобы решить этотъ вопросъ, бросимъ бѣглый взглядъ на ходъ нашей литературы отъ Ломоносова, первого ея генія, до г-на Кукольника, послѣдняго ея генія.

La vѣritѣ! la vѣritѣ! rien plus que la vѣritѣ!

— „Какъ, что такое? Неужели обозрѣніе?“ спрашиваютъ меня испуганные читатели.

Да, милостивые государи, оно хоть и не совсѣмъ обозрѣніе, а похоже на то. Итакъ—silence!—Но что я вижу? Вы морщитесь, пожимаете плечами, вы хоромъ кричите мнѣ: „Нѣтъ, братъ, стара шутка—не надуешь... мы еще не забыли и прежнихъ обозрѣній, отъ которыхъ намъ жутко приходилось! Мы, пожалуй, напередъ прочтемъ тебѣ наизусть все то, о чёмъ ты намъ будешь проповѣдывать. Все это мы и сами знаемъ не хуже тебя. Вѣдь нынѣ не то, что прежде; тогда хорошо было вашей братіи, непризнаннымъ обозрѣвателямъ, морочить насть, бѣдныхъ читателей, а теперь всякий обзавелся своимъ умиліемъ и въ состояніи толковать всось и вкрай о томъ и о семъ“...

Что мнѣ отвѣтить вамъ на это неизбѣжимое привѣтствіе?.. Право, ума не приложу... Однакожъ... прочтите, хоть такъ, отъ скучи — вѣдь нынѣ, знаете, нечего читать, такъ оно и кстати... Можетъ быть (вѣдь чѣмъ чортъ не шутить!), можетъ быть, вы найдете въ моемъ краткомъ (слушайте ли краткомъ!) обзорѣ, если не слишкомъ хитрыя вещи, то и не слишкомъ нелѣпныя, если не слишкомъ новыя, то и не слишкомъ истертыя... Притомъ же, вѣдь чего-нибудь да стоять правда, безпредѣстствіе, благонамѣренность... Что, не вѣрите? — Отворачиваетесь отъ меня, качаете головой, машете руками, затыкаете уши?.. Ну, Богъ съ вами: божиться не стану, хотите читайте, хотите нѣтъ; вѣдь и то сказать, вольному воля!.. А впрочемъ, что же я расторговался съ вами? Нѣтъ—прощу не погнѣваться: рады или не рады, а прочесть должны; зачѣмъ же грамотѣ учились? Итакъ, благословясь, къ дѣлу!

Французы называютъ литературу выраженіемъ общества; это опредѣленіе не ново: оно давно намъ знакомо. Но справедливо ли оно? Это другой вопросъ. Если подъ словомъ общество должно разумѣть избранный кругъ, образованійъшихъ людей, или, короче сказать, большой свѣтъ, beau monde, тогда это опредѣленіе будетъ имѣть свое значеніе, свой смыслъ, и смыслъ глубокій, но только у однихъ французовъ. Каждый народъ, сообразно съ

своимъ характеромъ, происходящимъ отъ мѣстности, отъ единства или разнообразія элементовъ, изъ коихъ образовалась его жизнь, и историческихъ обстоятельствъ, при коихъ она развилаась, играеть въ великому семействѣ человѣческаго рода свою особенную, назначенную ему провидѣніемъ роль и вносить въ общую сокровищницу его успѣховъ на поприщѣ самосовершенствованія свою долю, свой вкладъ; другими словами: каждый народъ выражаетъ собою одну какую-нибудь сторону жизни человѣчества. Такимъ образомъ, нѣмцы завладѣли безпредѣльною областю умозрѣнія и анализа, англичане отличаются практическою дѣятельностью, итальянцы—художественнымъ направленіемъ. Нѣмецъ все подводить подъ общий взглядъ, все выводить изъ одного начала; англичанинъ переплываетъ моря, прокладываетъ дороги, проводить каналы, торгуетъ со всѣмъ свѣтомъ, заводить колоніи и во всемъ опирается на опытъ, на расчетъ; жизнь итальянца прежнихъ временъ была любовь и творчество, творчество и любовь. Направленіе французовъ есть жизнь, жизнь практическая, кипучая, беспокойная, вѣчно движущаяся. Нѣмецъ творить мысль, открываетъ новую истину; французъ ею пользуется, проживаетъ, издерживаетъ ее, такъ сказать. Нѣмцы обогащаютъ человѣчество идеями, англичане изобрѣтеніями, служащими къ удобствамъ жизни; французы даютъ намъ законы моды, предписываютъ правила обхожденія, вѣжливости, хорошаго тона. Словомъ, жизнь француза есть жизнь общественная, паркетная; паркетъ есть еще поприще, на которомъ онъ блестаетъ блескомъ своего ума, познаній, талантовъ; остроумія, образованности. Для французовъ балъ, собраніе—то же, что для грековъ была площадь или игры Олимпійскія; это битва, турниръ, гдѣ, вместо оружія, сражаются умомъ, остротою, образованностю, просвѣщеніемъ, гдѣ честолюбіе отражается честолюбіемъ, гдѣ много ломается кошій, много выигрываетъ и проигрываетъ победъ. Вотъ отчего ни одинъ народъ не можетъ сравняться съ французами въ этой обходительности, въ этой изящной ловкости и любезности, для выраженія которыхъ словами опять-таки способенъ только одинъ французскій языкъ; вотъ отчего всѣ усилия европейскихъ народовъ сравняться въ семъ отношеніи съ французами всегда оставались тщетными; вотъ отчего всѣ другія общества всегда были, суть и будуть смѣшными карикатурами, жалкими пародіями, злыми эпиграммами на французское общество; вотъ почему, говорю я, это опредѣленіе словесности, вслѣдствіе котораго она должна быть выраженіемъ общества, такъ глубоко и вѣрно у французовъ. Ихъ литература всегда была вѣрнымъ отраженіемъ, зеркаломъ общества, всегда шла съ нимъ рука обь руку, забывая о массѣ народа, ибо ихъ общество есть высочайшее проявленіе ихъ народнаго духа, ихъ народной жизни. Для писателей французскихъ общество есть школа, въ которой они учатся языку, заимствуютъ образъ мыслей и которое они изображаютъ въ своихъ твореніяхъ. Совсѣмъ не такъ у другихъ народовъ. Въ Германіи, напримѣръ, не тотъ учень, кто богатъ или вхожъ въ лучшіе дома и блестательнѣйшія об-

щества; напротивъ, геній Германії любить чердаки бѣдняковъ, скромные углы студентовъ, убогія жилища пасторовъ. Тамъ все пишеть или читаетъ, тамъ публика считается миллионами, а писатели тысячами: словомъ, тамъ литература есть выраженіе не общества, но народа. Такимъ же образомъ, хотя и не вслѣдствіе такихъ же причинъ, литературы и другихъ народовъ не суть выраженіе общества, но выраженіе духа народнаго; ибо нѣть ни одного народа, жизнь котораго преимущественно проявлялась бы въ обществѣ, и можно сказать утвердительно, что Франція составляеть въ семъ случаѣ единственное исключеніе. Итакъ, литература непремѣнно должна быть выраженіемъ—символомъ внутренней жизни народа. Впрочемъ, это совсѣмъ не есть ея опредѣленіе, но одно изъ необходимѣйшихъ ея принадлежностей и условій. Прежде, нежели я буду говорить о Россіи въ семъ отношеніи, почитаю необходимымъ изложить здѣсь мои понятія объ искусствѣ вообще. Я хочу, чтобы читатели видѣли, съ какой точки зрѣнія смотрю я на предметъ, о которомъ вызвался судить, и вслѣдствіе какихъ причинъ я понимаю то или другое такъ, а не этакъ.

Весь безпредѣльный, прекрасный Божій міръ есть не что иное, какъ дыханіе единой, вѣчной идеи (мысли единаго, вѣчнаго Бога), проявляющейся въ безчисленныхъ формахъ, какъ великое зрѣлище абсолютнаго единства въ безконечномъ разнообразіи. Только пламенное чувство смертнаго можетъ постигать въ свои свѣтыны мгновенія, какъ велико тѣло этой души вселенной, сердце котораго составляютъ громадныя солнца, жилы—пути млечные, а кровь—чистый зеиръ. Для этой идеи нѣть покоя: она живеть безпрестанно, то есть безпрестанно творить, чтобы разрушать, и разрушаетъ, чтобы творить. Она воплощается въ блестящее солнце, въ великолѣпную планету, въ блудящую комету; она живеть и дышить — и въ бурныхъ приливахъ и отливахъ морей, и въ свирѣпомъ ураганѣ пустынь, и въ шелестѣ листьевъ, и въ журчаніи ручья, и въ рыканіи льва, и въ слезѣ младенца, и въ улыбкѣ красоты, и въ волнѣ человѣка, и въ стройныхъ созданіяхъ генія... Кружится колесо времени съ быстротою непостижимою, въ безбрежныхъ равнинахъ неба потухаютъ свѣтила, какъ истощившіеся вулканы, и зажигаются новые; на землѣ проходять роды и поколѣнія и замѣняются новыми, смерть истребляетъ жизнь, жизнь уничтожаетъ смерть; силы природы борются, враждуютъ и умираютъ силами посредствующими, и гармонія царствуетъ въ этомъ вѣчномъ броженіи, въ этой борьбѣ началъ и веществъ. Такъ—идея живеть: мы ясно видимъ это нашими слабыми глазами. Она мудра, ибо все предвидѣть, все держить въ равновѣсіи; за наводненіемъ и за лавою ниспосыпаетъ плодородіе, за опустошительную грозою чистоту и свѣжестъ воздуха, въ пустыняхъ песчаной Аравіи и Африки поселила верблюда и страуса, въ пустыняхъ ледяного сѣвера поселила оленя. Вотъ ея мудрость, вотъ ея жизнь физическая: гдѣ же ея любовь? Богъ создалъ человѣка и далъ ему умъ и чувство, да постигаетъ сюю идею своимъ умомъ и знаніемъ, да пріобщается

ъ ея жизни въ живомъ и горячемъ сочувствіи, да раздѣляетъ ея жизнь въ чувствѣ безконечной зиждущей любви! Итакъ, она не только мудра, но и любяща! Гордись, гордись, человѣкъ, своимъ высокимъ назначеніемъ, но не забывай, что божественная идея, тебя родившая, справедлива и правосудна, что она дала тебѣ умъ и волю, которые ставятъ тебя выше всего творенія, что она въ тебѣ живеть, а жизнь есть дѣйствованіе, а дѣйствованіе есть борьба; не забывай, что твое безконечное, высочайшее блаженство состоить въ уничтоженіи твоего я въ чувствѣ любви. Итакъ, вотъ тебѣ двѣ дороги, два неизбѣжные пути: отрекись отъ себя, подави свой эгоизмъ, попри ногами твое своекорыстное я, дыши для счастія другихъ, жертвуй всѣмъ для блага ближняго, родины, для пользы человѣчества, люби истину и благо не для награды, но для истины и блага, и тяжкимъ крестомъ выстрадай твое соединеніе съ Богомъ, твое бессмертіе, которое должно состоять въ уничтоженіи твоего я, въ чувствѣ безпредѣльного блаженства!.. Чѣмъ? Ты не рѣшаешься? Этотъ подвигъ тебя страшитъ, кажется тебѣ не по силамъ?.. Ну, такъ вотъ тебѣ другой путь,—онъ шире, спокойнѣе, легче: люби самого себя больше всего на свѣтѣ; плачь, дѣлай добро лишь изъ выгоды, не бойся зла, когда оно приносить тебѣ пользу. Помни это правило: съ нимъ тебѣ вездѣ будетъ тепло! Если ты рожденъ сильнымъ земли, гни твой хребетъ, ползи змѣю между тиграми, бросайся тигромъ между овцами, губи, угнетай, пей кровь и слезы, чело обремени лавровыми вѣнцами, рамена согни подъ грузомъ незаслуженныхъ почестей и титъ. Весела и блестяща будетъ жизнь твоя; ты не узнаешь, что такое холода или голодъ, что такое угнетеніе и оскорблѣніе,—все будетъ трепетать тебя, вездѣ покорность и услужливость, отовсюду лесть и хваленія, и поэтъ напишетъ тебѣ посланіе и оду, гдѣ сравнишь тебя съ полубогами, и журналистъ прокричитъ во всеуслышаніе, что ты покровитель слабыхъ и сирыхъ, столпъ и опора отечества, правая рука государя! Какая тебѣ нужда, что въ душѣ твоей каждую минуту будетъ разыгрываться ужасная, кровавая драма, что ты будешь въ беспрестанномъ раздорѣ съ самимъ собою, что въ душѣ твоей будетъ слишкомъ жарко, а въ сердцѣ слишкомъ холодно, что вопли угнетенныхъ тобою будутъ преслѣдоватъ тебя и на свѣтломъ пиру, и на мягкому ложѣ сна, что тѣни погубленныхъ тобою окружатъ твой болѣзnenный одѣгъ, составятъ около него адскую пляску и съ яростнымъ хохотомъ будутъ веселиться твоими послѣдними, предсмертными страданіями, что передъ твоими взорами откроется ужасная картина нравственного уничтоженія за гробомъ, муки вѣчныхъ!.. Э, любезный мой, ты правъ: жизнь сонъ, и не увидишь, какъ пройдетъ. Зато весело поживешь, сладко пойшь, мягко поспишь, повластвуешь надъ своими близкими, а вѣдь это чѣго-нибудь да стоитъ! Если же, при твоемъ рожденіи, природа возложила на твое чѣло печать генія, дала тебѣ вѣщія уста пророка и сладкій голосъ поэта, если міродержавныи судьбы обрекли тебя быть двигателемъ человѣчества, апостоломъ истины и знанія, вотъ опять передъ то-

бою два неизбежные пути. Сочувствуй природѣ, люби и изучай ее, твори безкорыстно, трудись безвозмездно, отверзай души ближнихъ для впечатлѣній благого и истиннаго, изобличай порокъ и невѣжество, терпи гоненія злыхъ, ѿшь хлѣбъ, смоченный слезами, и не своди задумчиваго взора съ прекраснаго, роднаго тебѣ неба. Трудно? тяжко?... Ну, такъ торгуй твоимъ божественнымъ даромъ, положи цѣну на каждое вѣщее слово, которое пис-посылаетъ тебѣ Богъ въ святыя минуты вдохновенія; покупщики найдутся, будутъ платить тебѣ щедро, а ты лишь умѣй кадить кадиломъ лести, умѣй склонять во прахъ твое вѣнчанное чело, забудь о славѣ, о бессмертіи, о по-томствѣ, довольствуйся тѣмъ, если услужливая рука торгаша-журналиста провозгласить о тебѣ, что ты великий поэтъ, геній, Байронъ, Гёте!...

Вотъ нравственная жизнь вѣчной идеи. Проявленіе ея — борьба между добромъ и зломъ, любовью и эгоизмомъ, какъ въ жизни физической противоборство силы сжимательной и расширительной. Безъ борьбы нѣтъ заслуги, безъ заслуги нѣтъ награды, а безъ дѣйствованія нѣтъ жизни! Чѣмъ представляютъ собою индивидуумы, то же представляетъ человѣчество: оно борется ежеминутно и ежеминутно улучшается. Потомки варваровъ, нахлынувшихъ изъ Азіи въ Европу, вместо того, чтобы подавить жизнь, воскресили ее, обновили дряхлѣющій міръ; изъ гнилого трупа Римской Имперіи возникли мощные народы, сдѣлавшіеся сосудомъ благодати... Чѣмъ означаютъ походы Александровъ, беспокойная дѣятельность Цезарей, Карловъ? Движеніе вѣчной идеи, которой жизнь состоитъ въ безпрерывной дѣятельности...

Какое же назначеніе и какая цѣль искусства?... Изображать, воспроизводить въ словѣ, въ звуки, въ чертахъ и краскахъ идею всеобщей жизни природы: вотъ единая и вѣчная тема искусства! Поэтическое одушевленіе есть отблескъ творящей силы природы. Посему поэтъ болѣе, нежели кто-либо другой, долженъ изучать природу физическую и духовную, любить ее и сочувствовать ей; болѣе, нежели кто-либо другой, долженъ быть чистъ и дѣйственъ душою; ибо въ ея святилище можно входить только съ ногами обнаженными, съ руками омовенными, съ умомъ мужа и сердцемъ младенца; ибо только сіи наслѣдѣть царствіе небесное, ибо только въ гармоніи ума и чувства заключается высочайше совершенство человѣка!.. Чѣмъ выше геній поэта, тѣмъ глубже и обширнѣе обнимаетъ онъ природу и тѣмъ съ болѣшимъ успѣхомъ представляеть намъ ее въ ея высшей связи и жизни. Если Байронъ взвѣсилъ ужасъ и страданье, если онъ постигъ и выразилъ только муки сердца, адъ души, это значитъ, что онъ постигъ только одну сторону бытія вселенной, что онъ вырвалъ и показалъ намъ только одну страницу онаго. Шиллеръ передалъ намъ тайны неба, показалъ одно прекрасное жизни, такъ какъ онъ понималъ его самъ, пропѣлъ намъ только свои завѣтныя думы и мечтанія; злое жизни у него или невѣрно или искажено преувеличеніемъ; Шиллеръ въ семъ отношеніи равенъ Байрону. Но Шекспиръ, божественный, великий, недостижимый Шек-

спирь, постигъ и адъ, и землю, и небо: царь природы, онъ взялъ равную дань и съ добра, и съ зла и подсмотрѣлъ въ своемъ вдохновенномъ ясновидѣніи біеніе пульса вселенной! Каждая его драма есть міръ въ миніатюрѣ; у него нѣть, какъ у Шиллера, любимыхъ идей, любимыхъ героевъ. Посмотрите, какъ безчеловѣчно смѣется онъ надъ этимъ бѣднымъ Гамлетомъ, съ замысломъ гиганта и волею ребенка, который на каждомъ шагу падаетъ подъ тяжестью подвига, предпринятаго не по силамъ! Спросите у Шекспира, спросите у этого цара чародѣевъ: для чего онъ сдѣлалъ изъ Лира слабаго, полуумнаго старичинку, а не идеальную нѣжную отца, какъ Дюсисъ, или Гнѣдичъ; для чего онъ представилъ въ Макбетѣ человѣка, сдѣлавшагося злодѣемъ по слабости характера, а не по влечению ко злу, а въ леди Макбетѣ злодѣйку по чувству; для чего онъ сдѣлалъ изъ Корделии нѣжную, любящую dochь, съ мягкимъ женскимъ сердцемъ, а на ея сестрѣ наслалъ фурій зависти, честолюбія и неблагодарности? Онъ сказалъ бы вамъ въ отвѣтъ, что такъ бываетъ въ мірѣ, что иначе быть не можетъ! Да, это безпристрастіе, эта холодность поэта, который какъ будто говоритъ вамъ: такъ было, а впрочемъ, мнѣ какое дѣло! есть высочайшій зенитъ художественного совершенства, есть истинное творчество, есть удѣлъ немногихъ избранныхъ, о коихъ говорять:

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ:  
Ручья разумѣлъ лепетанье,  
И говоръ древесныхъ листовъ понималъ,  
И чувствовалъ травъ прозябанье,  
Была ему звѣздная книга ясна,  
И съ нимъ говорила морская волна.

Въ самомъ дѣлѣ, развѣ вы можете назвать то или другое явленіе прекраснымъ, а это безобразнымъ безъ отношений?.. Развѣ не одинъ и тотъ же духъ Божій создалъ кроткаго агнца и кровожаднаго тигра, статную лошадь и безобразнаго кита, красавицу-черкешенку и урода негра? Развѣ онъ больше любить голубя, чѣмъ ястреба; соловья, чѣмъ лягушку; газель, чѣмъ удава? Для чего же поэтъ долженъ изображать вамъ одно прекрасное, одно умиляющее душу и сердце? Если Гансъ Исландецъ можетъ существовать въ природѣ, то я, право, не понимаю, чѣмъ онъ хуже какого-нибудь Карла Моора, или даже маркиза Позы? Я люблю Карла Моора, какъ человѣка, обожаю Позу, какъ героя, и ненавижу Гана Исландца, какъ чудовище; но какъ созданія фантазіи, какъ частныя явленія общей жизни, они для меня все равнѣ прекрасны. Если поэтъ изображаетъ вамъ, подобно какому-нибудь Сю, одно ужасное, одно злое природы, это доказываетъ, что кругозоръ его ума тѣсенъ, что его творческій геній ограниченъ, а ничуть не обнаруживается въ немъ дурного, безнравственнаго человѣка. Вотъ, когда онъ своими сочиненіями старается заставить васъ смотрѣть

на жизнь съ его точки зре́нія, въ такомъ случаѣ онъ уже и не поэть, а мыслитель, и мыслитель дурной, злонамѣренный, достойный проклятія, ибо поэзія не имѣть цѣли вѣнія себя. Доколѣ поэть слѣдуетъ безочетно мгновеній вспышкѣ своего воображенія, дотолѣ онъ нравственъ, дотолѣ онъ и поэть; но какъ скоро онъ предположилъ себѣ цѣль, задалъ тему, онъ уже философъ, мыслитель, моралистъ, онъ теряетъ надо мной свою чародайскую власть, разрушаетъ очарованіе и заставляетъ меня сожалѣть о себѣ, если, при истинномъ талантѣ, имѣть похвальную цѣль, и презирать себя, если сится опутать мою душу тенетами вредныхъ мыслей. Вамъ нравится ода „Богъ“ Державина? Но этотъ же Державинъ написалъ „Мельника“. Вы осуждаете Пушкина за многія вольности въ „Русланѣ и Людмилѣ“? Но этотъ же Пушкинъ создалъ вамъ „Бориса Годунова“. Отчего же такія противорѣчія въ ихъ художественномъ направленії? Оттого, что они хорошо помнятъ правило:

Теперь гонись за жизнью дивной,  
И каждый мигъ въ ней воскрешай,  
На каждый звукъ ея призыва́й  
Отъзвы́ной пѣснью отвѣчай!

Да—искусство есть выраженіе великой идеи вселенной въ ея бѣко-  
нично-разнообразныхъ явленіяхъ! Прекрасно было гдѣ-то сказано, что по-  
вѣсть есть краткій эпизодъ изъ безконечной поэмы судебъ человѣческихъ! Подъ это опредѣленіе повѣсти подходитъ всѣ роды художественныхъ созданій. Все искусство поэта должно состоять въ томъ, чтобы поставить читателя на  
такую точку зре́нія, съ которой бы ему видна была вся природа въ  
сокращеніи, въ миниатюрѣ, какъ земной шаръ на ландкартѣ, чтобы дать  
ему почувствовать вѣяніе, дыханіе этой жизни, которая одушевляетъ все-  
ленную, сообщить его душѣ этотъ огонь, который согрѣваетъ ее. Наслажде-  
ніе же изящнымъ должно состоять въ минутномъ забвеніи нашего я, въ  
живомъ сочувствіи съ общую жизнью природы, и поэть всегда достигнетъ  
этой прекрасной цѣли, если его произведеніе есть плодъ возвышенного ума  
и горячаго чувства, если оно свободно и безоговорочно вылилось изъ его  
души...

---

Ахъ! если рождены мы все перениматъ,  
Хоть у китайцевъ бы намъ нѣсколько занять  
Премудраго у нихъ неизнанья иноземцевъ!  
Воскреснемъ ли когда отъ чужевластія моль,  
Чтобъ умный, добрый нашъ народъ  
Хотя по языку нась не считалъ за нѣмцевъ!  
„Горе отъ ума“.

Итакъ, теперь должно решить слѣдующій вопросъ: что такое наша  
литература—выраженіе общества или выраженіе духа народа? Рѣшеніе этого

вопроса будетъ исторію нашей литературы и вмѣстъ исторію постепен-наго хода нашего общества со временъ Петра Великаго. Вѣрный моему слову, я не буду говорить, съ чего начинались литературы всѣхъ народовъ и какъ онѣ развивались, ибо это должно быть общимъ мѣстомъ для всякаго читающаго человѣка.

Каждый народъ, вслѣдствіе непреложнаго закона провидѣнія, долженъ выражать своею жизнью одну какую нибудь сторону жизни цѣлаго человѣчества; въ противномъ случаѣ, этотъ народъ не живеть, а только прозябаетъ, и его существованіе ни къ чему не служить. Односторонность вредна для всякаго человѣка въ частности, вредна для всего человѣчества. Когда весь міръ сдѣлался Римомъ, когда всѣ народы начали мыслить и чувствовать по-римски, тогда прервался ходъ человѣческаго ума, ибо для него уже не стало болѣе цѣли, ибо ему казалось, что онъ уже дошелъ до геркулесовскихъ столбовъ своего поприща. Утомленный властелинъ міра опочилъ на своихъ лаврахъ; жизнь его кончилась, ибо кончилась его дѣятельность, стремленіе къ которой появлялось у него только въ однихъ безпутныхъ оргіяхъ. Онъ сдѣлалъ ужасную ошибку, думая что въ Римѣ, наслѣдовавшаго, по праву завоеванія, сокровища греческаго образованія, нѣтъ міра, нѣтъ свѣта, нѣтъ просвѣщенія! Бѣдственное заблужденіе! Оно было одною изъ важнѣйшихъ причинъ нравственной смерти сего великаго колосса. Для обновленія человѣчества надобно было, чтобы этотъ хаосъ смерти и тлѣнія огласился благодатнымъ словомъ Сына Человѣческаго: „*Приидите ко Мне вси тружданіи и обремененіи, и Азъ упокою вы*“ Надобно было, чтобы толпы варваровъ разрушили это колоссальное могущество, размежевали его своимъ мечомъ на множество могуществъ, приняли Слово и пошли каждый своимъ особеннымъ путемъ къ единой цѣли.

Да—только идя по разнымъ дорогамъ, человѣчество можетъ достигнуть своей единой цѣли; только живя самобытною жизнью, можетъ каждый народъ принести свою долю въ общую сокровищницу. Въ чмъ же состоить эта самобытность каждого народа? Въ особенномъ, одному ему принадлежащемъ образѣ мыслей и взглядѣ на предметы; въ религіи, языкѣ и болѣе всего въ обычаяхъ. Всѣ эти обстоятельства чрезвычайно важны, тѣсно соединены между собою и условливаютъ другъ друга, и всѣ проис текаютъ изъ одного общаго источника—причины всѣхъ причинъ—климатѣ и мѣстности. Между сими отличіями каждого народа обычай играютъ едва ли не самую важную роль, составляютъ едва ли не самую характеристическую черту онѣхъ. Невозможно представить себѣ народа безъ религіозныхъ понятій, облеченныхъ въ формы богослуженія; невозможно представить себѣ народа, не имѣющаго одного общаго для всѣхъ сословій языка; но еще менѣе возможно представить себѣ народа, не имѣющій особенныхъ, одному ему свойственныхъ обычаевъ. Эти обычай состоять въ образѣ одежды, прѣтиль которой находится въ климатѣ страны, въ формахъ домашней и об-

щественной жизни, причина коихъ скрывается въ вѣрованіяхъ, повѣряхъ и понятіяхъ народа, въ формахъ обращенія между недѣльными государствами, оттѣнки которыхъ проис текаютъ отъ гражданскихъ постановленій и различія сословій. Всѣ эти обычай убѣщаются давностію, освящаются временемъ и переходятъ изъ рода въ родъ, отъ поколѣнія къ поколѣнію, какъ наслѣдіе потомковъ отъ предковъ. Они составляютъ физіономію народа, и безъ нихъ народъ есть образъ безъ лица, мечта небывалая и несбыточная. Чѣмъ младенчественѣе народъ, тѣмъ рѣзче и цвѣтнѣе его обычай, тѣмъ большую полагаетъ онъ въ нихъ важность; время и просвѣщеніе подводятъ ихъ подъ общий уровень; но они могутъ измѣняться не иначе, какъ тихо, незамѣтно, и притомъ одинъ по одному. Надобно, чтобы самъ народъ добровольно отказывался отъ нѣкоторыхъ изъ нихъ и принималъ новые; но и тутъ своя борьба, свои битвы на смерть, свои старовѣры и раскольники, классики и романтики. Народъ крѣпко дорожитъ обычаями, какъ своимъ священнѣйшимъ достояніемъ, и посагательство на внезапную и рѣшительную реформу оныхъ безъ своего согласія почитаетъ посагательствомъ на свое бытіе. Посмотрите на Китай: тамъ масса народа исповѣдуетъ нѣсколько различныхъ вѣръ; высшее сословіе, мандарины, не знаютъ никакой и только изъ приличія исполняютъ религіозные обряды; но какое у нихъ единство и общность обычаевъ, какая самостоятельность, особность и характерность! какъ упорно они ихъ держатся! Да, обычай—дѣло святое, неприкосновенное и не подлежащее никакой власти, кромѣ силы обстоятельствъ и успѣховъ въ просвѣщеніи! Человѣкъ, самый развратный, закоренѣлый въ порокахъ, смѣющійся надъ всѣмъ святымъ, покоряется обычаямъ, даже внутренно смѣясь надъ ними. Разрушьте ихъ внезапно, не замѣнивъ тотчасъ же новыми, и вы разрушите всѣ опоры, разорвете всѣ связи общества, словомъ, уничтожите народъ. Почему это такъ? Потому же самому, почему рыбъ привольно въ водѣ, птицѣ въ воздухѣ, звѣрю на землѣ, гадинѣ подъ землею. Народъ, насильственно введенный въ чуждую ему сферу, похожъ на связанныго человѣка, котораго бичомъ понуждаютъ къ бѣгу. Всякій народъ можетъ перенимать у другого, но онъ необходи мно налагаетъ печать собственаго генія на эти займы, которые у него принимаютъ характеръ подражаній. Въ этомъ-то стремлѣніи къ самостоятельности и оригинальности, проявляющемся въ любви къ роднымъ обычаямъ, заключается причина взаимной ненависти у народовъ младенчествующихъ. Всѣдѣствіе сей-то причины, русскій называлъ бывало нѣмца нехристію, а турокъ еще и теперь, почтаетъ поганымъ всякаго франка и не хочетъ єсть съ нимъ изъ одного блюда: религія въ семъ случаѣ играетъ не исключительно главную роль.

На востокѣ Европы, на рубежѣ двухъ частей міра, провидѣніе поселило народъ, рѣзко отличающійся отъ своихъ западныхъ сосѣдей. Его колыбелью былъ свѣтлый югъ; мечъ азіатца-руssа далъ ему имя; изыхающая Византія завѣщала ему благодатное Слово спасенія; оковы татарина связали

крѣпкими узами его разъединенные части, рука хановъ спаяла ихъ его же кровью; Іоаній III научилъ его бояться, любить и слушаться своего царя, заставилъ его смотрѣть на царя, какъ на провидѣніе, какъ на верховную судьбу, карающую и милующую по единой своей волѣ и признающую надъ собою единую Божію волю. И этотъ народъ сталъ хладенъ и спокоенъ, какъ снѣга его родины, когда мирно жилъ въ своей хижинѣ; быстръ и грозенъ, какъ небесный громъ его краткаго, но палящаго лѣта, когда рука царя показывала ему врага; удалъ и разгуленъ, какъ выюги и непогоды его зимы, когда пировалъ на своей волѣ; неповоротливъ и лѣнивъ, какъ медвѣдь его непроходимыхъ дебрей, когда у него было много хлѣба и браги; смыщенъ, смѣтливъ и лукавъ, какъ кошка, его домашній пепель, когда нужда учила его ъсть калачи. Крѣпко стоялъ онъ за церковь Божію, за вѣру православіе, непоколебимо былъ вѣренъ батюшкѣ-царю православному; его любимая поговорка была: „мы всѣ Божіи да царевы“; Богъ и царь, воля Божія и воля царева слились въ его понятіи воедино. Свято хранилъ онъ простые и грубые нравы прадѣдовъ и отъ чистаго сердца почиталъ иноzemные обычай дьявольскимъ наважденіемъ. Но этимъ не ограничивалась вся поэзія его жизни, ибо умъ его былъ погруженъ въ тихую дремоту и никогда не выступалъ изъ своихъ завѣтныхъ рубежей; ибо онъ не преклонялъ колѣнъ передъ женщиной, и его гордая и дикая сила требовала отъ нея рабской покорности, а не сладкой взаимности; ибо бытъ его былъ однобразенъ, ибо только буйныя игры и удалая охота оцѣняли этотъ бытъ; ибо только одна война возбуждала всю мощь его хладной, желѣзной души, ибо только на кровавомъ раздолѣ битвъ она бушевала и веселилась на всей своей волѣ. Это была жизнь самобытная и характерная, но односторонняя и изолированная. Въ то время, когда дѣятельная, кипучая жизнь старѣйшихъ представителей человѣческаго рода двигалась впередъ съ пестротою неимовѣрною, они ни однимъ колесомъ не зацѣплялись за пружины ея хода. Итакъ, этому народу надобно было пріобщиться къ общей жизни человѣчества, составить часть великаго семейства человѣческаго рода. И вотъ у этого народа явился царь мудрый и великій, кроткій безъ сла-бости, грозный безъ тиранства; онъ первый замѣтилъ, что нѣмецкіе люди не басурманы, что у нихъ есть много такого, что пригодилось бы и его подданнымъ, есть много такого, чтобъ имъ совершенно ни къ чему негодится. И вотъ онъ началъ ласкать людей нѣмецкихъ и прикармливать ихъ своимъ хлѣбомъ-солю, указалъ своимъ людямъ перенимать у нихъ ихъ хитрыя художества. Онъ построилъ ботикъ и хотѣлъ пуститься въ морѣ, доселъ для его народа страшное и нѣрѣдомое; онъ приказалъ заморскимъ комедіантамъ тѣшить свое царское величество, крѣпко-накрѣпко заказавъ между тѣмъ православному русскому человѣку, подъ опасеніемъ лишенія носа, нюхать табакъ, траву поганую и прохладную. Можно сказать, что въ его время Русь впервые почуяла у себя заморскій духъ, котораго дотолѣ было видомъ не

видать, слыхомъ не слыхать. И вотъ умеръ этотъ добрый царь, а на престолъ взошелъ юный сынъ его, который, подобно богатырямъ Владимиrowыхъ временъ, еще въ дѣтствѣ бросалъ за облака стопудовыя палицы, гнуль ихъ руками, ломалъ ихъ о колѣнки. Это была олицетворенная мощь, олицетворенный идеалъ русского народа въ дѣятельныя мгновенія его жизни; это былъ одинъ изъ тѣхъ исполиновъ, которые поднимали на рамена свои шаръ земной. Для его желѣзной воли, не знавшей препонъ, была только одна цѣль—благо народа. Задумалъ онъ думу крѣпкую, а задумать для него значило—исполнить. Увидѣлъ чудеса и дива заморскія и захотѣлъ пересадить ихъ на родную почву, не думая о томъ, что эта почва была слишкомъ еще жестка для иноземныхъ растеній, что не по нихъ была и зима русская; увидѣлъ онъ вѣковые плоды просвѣщенія и захотѣлъ въ одну минуту присвоить ихъ своему народу.

Подумано—сказано—сдѣлано: русскій не любить ждать. Ну—русскій человѣкъ, снаряжайся „по царскому наказу, боярскому приказу, по немецкому маниру“... Прочь, достопочтенный окладистыя бороды! прости и ты, простая и благородная стрижка волосъ въ кружало, ты, которая такъ хорошо шла къ этимъ почтеннѣмъ бородамъ! Тебя замѣнили огромныя парики, осыпанные мукою! Простите, долгополые охабни нашихъ бояръ, выложенныя, обшитыя серебромъ и золотомъ! Вась замѣнили каftаны и камзолы со штанами и ботфортами! Прости и ты, прекрасный поэтическій сарафанъ нашихъ барынь и боярышень, и ты, кисейная рубашка съ пышными рукавами, и ты, высокій, унизанный жемчугомъ повойникъ—простой чародѣйскій нарядъ, который такъ хорошо шелъ къ высокимъ грудямъ и яркому румянцу нашихъ бѣлоликихъ и голубоокихъ красавицъ! Тебя замѣнили робы съ фижмами, роброндами съ длинными-предлинными хвостами! Бѣлила и румяна, потѣнитесь немножко, дайте място чернымъ мушкамъ! Простите и вы, заунывныя русскія пѣсни, и ты, благородная и градіозная пляска; не ворковать ужъ нашимъ красавицамъ-голубкамъ, не заливаться соловьемъ, не плавать по полу павами! Нѣть! Пошли арии и романсы съ выводомъ верхнихъ нотокъ:

. . . Богъ мой!  
Приди въ чертогъ ко мнѣ златой!

пошла живописная ломка въ минутахъ, сладострастное круженье въ вальсахъ...

И все завертѣлось, все закружилось, все помчалось стремглавъ. Казалось, что Русь въ тридцать лѣтъ хотѣла вознаградить себя за пѣлыха столѣтія неподвижности. Будто по манію волшебного жезла, маленький ботикъ царя Алексія превратился въ грозный флотъ императора Петра, непокорныя дружины стрѣльцовъ въ стройные полки. На стѣнахъ Азова была брошена перчатка Портѣ: горе тебѣ, луна двугорая! На поляхъ Лѣсного и берегахъ

Ворсклы былъ жестоко отомщенъ позоръ нарвской битвы: спасибо Меншикову, спасибо Данилычу! Каналы и дороги начали прорызывать дѣственную почву земли русской: зашевелилась торговля; застучали молоты, захлопали стани: зашевелилась промышленность!

Да—много было сдѣлано великаго, полезнаго и славнаго! Петръ былъ совершенно правъ: ему некогда было ждать. Онъ зналъ, что ему не два вѣка жить, и потому спѣшилъ жить, а жить для него значило—творить. Но народъ смотрѣлъ иначе. Долго онъ спалъ, и вдругъ могучая рука прервала его богатырскій сонъ: съ трудомъ раскрылъ онъ свои отяжелѣвшія вѣжды и съ удивленіемъ увидѣлъ, что къ нему ворвались чужеземные обычай, какъ незванные гости, не снявши сапогъ, не помолясь святымъ иконамъ, не поклонившись хозяину; что они вѣшились ему въ бороду, которая была для него дороже головы, и вырвали ее; сорвали съ него величественную одежду и надѣли шутовскую, исказили и испестрили его дѣственный языкъ и нагло наругались надъ святыми обычаями его праотцевъ, надъ его задушевными вѣрованіями и привычками; увидѣлъ—и ужаснулся... Неловко, не-привычно и неподручно было русскому человѣку ходить, заложа руки въ карманы; онъ спотыкался, подходя къ ручкамъ дамъ, падалъ, стараясь хорошошенько расшаркнуться. Занявъ формы европеизма, онъ сдѣлался только пародіею europейца. Просвѣщеніе, подобно завѣтному слову искупленія, должно приниматься съ благоразумною постепенностью, по сердечному убѣждѣнію, безъ оскорблѣнія святыхъ праотеческихъ нравовъ: таковъ законъ провидѣнія!.. Повѣрьте, что русскій народъ никогда не былъ заклятымъ врагомъ просвѣщенія, онъ всегда готовъ былъ учиться; только ему нужно было начать свое ученіе съ азбуки, а не съ философіи, съ училища, а не съ академіи. Борода не мѣшаетъ считать звѣзды: это извѣстно въ Курскѣ!

Какое же слѣдствіе вышло изъ всего этого? Масса народа упорно осталась тѣмъ, что и была; но общество пошло по пути, на который ринула его мощная рука генія. Что жъ это за общество! Я не хочу вамъ много говорить обѣ немъ: прочтите „Недоросля“, „Горе отъ ума“, „Евгенія Онѣгина“, „Дворянскіе Выборы“ и новый романъ Лажечникова, когда онъ выйдетъ; прочтите и вы узнаете его сами лучше меня...

Такъ, по крайней мѣрѣ, давайте же намъ ваше обозрѣніе русской литературы, которое вы суните въ каждомъ номерѣ „Молвы“ и котораго мы еще по сію пору не видали! Судя по такимъ огромнымъ приступамъ, мы страхъ боимся, чтобы оно не было длиннѣе и скучнѣе „Фантастического Путешествія“ барона Брамбейса.

Я и самъ не знаю, любезные читатели, какъ оно будетъ длинно. Можетъ быть, изъ него выйдетъ и преуморительный уродецъ: избушка на курьихъ ножкахъ, царь съ ноготоекъ, борода съ локотоекъ, а голова съ ливной котель. Чѣмъ дѣлать: не я первый, не я послѣдній; у насъ это такъ въ модѣ. Впрочемъ, если мои приступы не отбили у васъ охоты увидѣть заключеніе,

если вы имъете столько терпѣнія читать, сколько я писать, то увидите начало, а можетъ быть и конецъ моего обозрѣнія.

Впередъ, впередъ, моя история!  
Пушкинъ.

Итакъ, народъ или, лучше сказать, масса народа и общество пошли у насть врозвъ. Первый остался при своей прежней грубой и полудикой жизни и при своихъ заунывныхъ пѣсняхъ, въ коихъ изливалась его душа въ горѣ и въ радости; второе же видимо измѣнялось, если не улучшалось, забыло все русское, забыло даже говорить *русскій языкъ*, забыло поэтическія преданія и вымыслы своей родины, эти прекрасныя пѣсни, полныя глубокой грусти, сладкой тоски и разгулья молодецкаго, и создало себѣ литературу, которая была вѣрнымъ его зеркаломъ. Надобно замѣтить, что какъ масса народа, такъ и общество подраздѣлились, особенно послѣднее, на множество видовъ, на множество степеней. Первая показала нѣкоторые признаки жизни и движенія въ сословіяхъ, находившихся въ непосредственныхъ сношенияхъ съ обществомъ, въ сословіяхъ людей городскихъ, ремесленниковъ, мелкихъ торговцевъ и промышленниковъ. Нужда и соперничество иноземцевъ, поселившихся въ Россіи, сдѣлали ихъ дѣятельными и оборотливыми, когда дѣло шло о выгодѣ; заставили ихъ покинуть старинную лѣнъ и запечную недвижимость и пробудили стремленіе къ улучшеніямъ и нововведеніямъ, дотолѣ для нихъ столь ненавистнымъ; ихъ фанатическая ненависть къ нѣмецкимъ людямъ ослабѣвала со дня на день и, наконецъ, теперь совсѣмъ исчезла; они кое-какъ понаучились даже грамотѣ и крѣпче прежняго упѣшились обѣими руками за мудрое правило, завѣщанное имъ отъ пра-отцевъ: ученье свѣтъ, а неученье тьма. Это обѣщаетъ много хорошаго въ будущемъ, тѣмъ болѣе, что сіи сословія ни на волосъ не утратили своей народной физіономіи. Что касается до нижняго слоя общества, т.-е. *среднію состоянія*, оно раздѣлилось, въ свою очередь, на множество родовъ и видовъ, между коими по своему большинству занимаютъ самое видное мѣсто такъ называемые разночинцы. Это сословіе наиболѣе обмануло надежды Петра Великаго: грамотѣ оно всегда училось на мѣдные гропи, свою русскую смыщенность и смѣтливость обратило на предосудительное ремесло толковать указы; выучившись кланяться и подходить къ ручкѣ дамъ, не разучилось своими благородными руками исполнять неблагородныя экзекуціи. Высшее же сословіе общества изъ всѣхъ силъ ударило въ подражаніе или, лучше сказать, передразниванье иностранцевъ...

Но не о томъ дѣло. Говорятъ, что музы любятъ тишину и боятся грома оружія: мысль совершена ложная! Однако, какъ бы то ни было, а царствованіе Петра оглашалось однѣми проповѣдями, которыхъ остались только въ памяти ученыхъ, а не народа; ибо это пестрое мозаическое краснорѣчіе или,

скорѣе, разнорѣчіе было не что иное, какъ дурной прививокъ отъ гнилого дерева католического сколастицизма западнаго духовенства, а не живой убѣдительный голосъ святыхъ истинъ религіи. Оно у насъ еще не было разсмотрѣно и оцѣнено настоящимъ образомъ. Если вѣрить возгласамъ нашихъ литературныхъ учителей, то въ духовномъ краснорѣчіи мы едва ли не пре-восходимъ всѣхъ европейскихъ народовъ. Не берусь рѣшать этого во-проса, ибо говорю о немъ мимоходомъ, а пророс, какъ о дѣлѣ, не прямо относящемся къ предмету моего обзора, да и сверхъ того, я мало знакомъ съ памятниками нашего духовнаго краснорѣчія, которое, конечно, не безъ удачныхъ опытовъ.

Не стану также распространяться о Кантемирѣ: скажу только, что я очень сомнѣваюсь въ его поэтическомъ призваніи. Мнѣ кажется, что его прославленныя сатиры были скорѣе плодомъ ума и холодной наблюдатель-ности, чѣмъ живого и горячаго чувства. И диво ли, что онъ началъ съ са-тири—плода осенняго, а не съ оды—плода весенняго? Онъ былъ иностра-нецъ, слѣдовательно не могъ сочувствовать народу и раздѣлять его надеждъ и опасеній; ему было сполагоря смѣяться. Что онъ былъ не поэтъ, этому доказательствомъ служить то, что онъ забытъ. Старинный слогъ!—пустое! Шекспира сами англичане читаютъ съ комментаріями.

Тредыяковскій не имѣлъ ни ума, ни чувства, ни таланта. Этотъ че-ло-вѣкъ былъ рожденъ для плуга или для топора; но судьба, какъ бы въ на-смѣшку, нарядила его во фракъ: удивительно ли, что онъ былъ такъ смѣ-шонъ и уродливъ?

Да—первые попытки были слишкомъ слабы и неудачны. Но вдругъ, по прекрасному выраженію одного нашего соотечественника, на берегахъ Ледовитаго моря, подобно сѣверному сиянію, блеснула Ломоносовъ. Ослѣ-пително и прекрасно было это явленіе! Оно доказало собой, что человѣкъ есть человѣкъ во всякомъ состояніи и во всякомъ климатѣ, что геній умѣть торжествовать надъ всѣми препятствіями, какія ни противопоставляетъ ему враждебная судьба, что, наконецъ, русскій способенъ ко всему великому и прекрасному не менѣе всякаго европейца; но вмѣстѣ съ тѣмъ, говорю, это утѣшительное явленіе подтвердило, къ нашему несчастію, и ту неопровер-жимую истину, что учѣникъ никогда не превзойдетъ учителя, если видѣть въ немъ образецъ, а не соперника, что геній народа всегда робокъ и свя-занъ, когда дѣйствуетъ не своеобразно, не самостоительно, что его произ-веденія въ такомъ случаѣ всегда будутъ походить на поддѣльные цвѣты: ярки, красивы, роскошны, но не душисты, не ароматны, безжизненны. Съ Ло-моносова начинается наша литература; онъ былъ ея отцомъ и пѣстуномъ; онъ былъ ея Петромъ Великимъ. Нужно ли говорить, что это былъ че-ло-вѣкъ великий и ознаменованный печатю генія? Все это истина несомнѣн-ная. Нужно ли доказывать, что онъ далъ направлѣніе, хотя и временное, нашему языку и нашей литературѣ? Это еще несомнѣнѣе. Но какое на-

правлениі? Это другой вопросъ. Я не скажу ничего нового о семъ предметѣ и только, можетъ быть, повторю болѣе или менѣе известныя мысли.

Но прежде всего почитаю нужнымъ сдѣлать слѣдующее замѣчаніе. У настѣ, какъ я уже и говорилъ, еще и по сію пору царствуетъ въ литературѣ какое-то жалкое, дѣтское благоговѣніе къ авторамъ; мы въ литературѣ высоко читаемъ табель о рангахъ и боимся говорить вслухъ правду о высокихъ персонахъ. Говоря о знаменитомъ писателѣ, мы всегда ограничиваемся одними пустыми возгласами и надутыми похвалами; сказать о немъ рѣзкую правду—у настѣ святотатство. Сколько разъ, напримѣръ, слышали мы, что „Вечернѣе“ и „Утреннѣе размыщеніе о величествѣ Божиѣмъ“ Ломоносова прекрасны, что строфы его одѣ звучны и величественны, что періоды его прозы полны, круглы и живописны; но опредѣлена ли мѣра его заслугъ, показаны ли вмѣстѣ съ свѣтлыми его сторонами и тѣмныя пятна? Нѣтъ—какъ можно! грѣшно, дерзко, неблагодарно!.. Гдѣ же критика, имѣющая предметомъ образованіе вкуса, гдѣ истина, долженствующая быть дороже всѣхъ на свѣтѣ авторитетовъ?..

Много свѣдѣній, опыта, труда и времени нужно для достойной оцѣнки такого человѣка, каковъ былъ Ломоносовъ. Недостатокъ времени и мѣста, а можетъ быть, и силь, не позволяютъ входить мнѣ въ слишкомъ подробныя изслѣдованія: ограничусь однимъ общимъ взглядомъ. Ломоносовъ—это Петръ нашей литературы: вотъ, кажется мнѣ, самый вѣрный взглядъ на него. Въ самомъ дѣлѣ, не замѣчаете ли вы поразительного сходства въ образѣ дѣйствованія сихъ великихъ людей, равно какъ и въ слѣдствіяхъ сего образа дѣйствованія? На берегахъ Сѣвернаго океана, въ царствѣ зимы и смерти, родился у бѣднаго рыбака сынъ. Ребенка мучить какой-то невѣдомый демонъ, не даетъ ему покоя ни днемъ, ни ночью, шепчетъ ему на ухо какія-то дивныя рѣчи, отъ которыхъ сильнѣе трепещетъ его сердце, жарче кипитъ его кровь; на что ни взглянешь этотъ ребенокъ, ему хочется знать: откуда это, почему и какъ; безконечные вопросы давить и тяготить его юную душу—и нѣтъ отвѣтовъ! Онъ выучивается кое-какъ грамотѣ, тайныя внушенія его докучнаго демона раздаются въ его душѣ, какъ обольстительные звуки Вадимова колокольчика, и манятъ его въ туманную даль... И вотъ онъ оставляетъ отца своего и бѣжитъ въ Москву бѣлокаменную. Бѣги, бѣги, юноша! Тамъ узнаешь ты все, тамъ утолишь въ источникѣ знанія свою мучительную жажду! Но, увы! надежда обманула тебя: жажда твоя еще сильнѣе—ты только пуще раздражилъ ее. Дальше, дальше, смѣлый юноша! Туда, въ ученую Германію, тамъ сады райскіе, а въ тѣхъ садахъ древо жизни, древо познанія, древо добра и зла... Сладки плоды его—спѣши вкусить ихъ... И онъ бѣжитъ, отъ вступаетъ въ очаровательные сады, и видитъ искусительное древо, и жадно пожираетъ плоды его. Сколько чудесъ, сколько очарованій! Какъ жалѣть онъ, что не можетъ разомъ всего захватить съ собою и перенести въ другое отечество, въ святую родину!..

Однако же... нельзя ли какъ попытаться?.. Вѣдь онъ русскій, стало быть, ему все подъ силу, все возможно; вѣдь его ожидаетъ Шуваловъ: стало быть ему нечего страшиться предразсудковъ, враговъ и завистниковъ!.. И вотъ Русь оглашается одами, смотритъ на трагедіи, восхищается эпопеєю, смѣется надъ побасенками, слушаетъ Цицерона и Демосеена и важно разсуждаетъ обѣ электричествѣ и громовыхъ отводахъ: чего же медлить? Не правда ли, что и самъ Петръ воскликнулъ бы съ удовольствіемъ: это по нашему! Но и съ Ломоносовымъ сбылось то же, что съ Петромъ. Прельщенный блескомъ иноземнаго просвѣщенія, онъ закрылъ глаза для родного. Правда, онъ выучилъ въ дѣтствѣ наизусть варварскіе вирши Симеона Полоцкаго, но оставилъ безъ вниманія народныя пѣсни и сказки. Онъ какъ будто и не слыхалъ обѣ нихъ. Замѣчаете ли вы въ его сочиненіяхъ хотя слабые слѣды вліянія лѣтописей и вообще народныхъ преданій земли русской? Нѣть—ничего этого не бывало. Говорить, что онъ глубоко постигъ свойства языка русскаго! Не спорю—его грамматика дивное, великое дѣло. Но для чего же онъ пылилъ и корчилъ русскій языкъ на образецъ латинскаго и нѣмецкаго? Почему каждый періодъ его рѣчей набить безъ всякой нужды такимъ множествомъ вставочныхъ предложенийъ и завострѣнъ на концѣ глаголомъ? Развѣ этого требовалъ геній языка русскаго, разгаданный симъ великимъ человѣкомъ? Создать языкъ невозможно, ибо его творить народъ; филологи только открываютъ его законы и приводятъ ихъ въ систему, а писатели только творятъ на немъ сообразно съ сими законами. И въ сѣмъ послѣднемъ случаѣ нельзя довольно надивиться генію Ломоносова: у него есть строфы и цѣлые стихотворенія, которыя по чистотѣ и правильности языка весьма приближаются къ нынѣшнему времени. Слѣдовательно, его погубила слѣпая подражательность; слѣдовательно, она одна винаю, что его никто не читаетъ, что онъ не признанъ и забытъ народомъ, и что о немъ помнятъ одни записные литераторы.

Нѣкоторые говорятъ, что онъ былъ великий ученый и великий ораторъ, но совсѣмъ не поэтъ: напротивъ, онъ былъ больше поэтъ, чѣмъ ораторъ; скажу больше: онъ былъ великий поэтъ и плохой ораторъ. Ибо что такое его похвальные слова? Наборъ громкихъ словъ и общихъ мѣстъ, частію взятыхъ на прокатъ изъ древнихъ витій, частію принадлежащихъ ему; плоды заказной работы, гдѣ одна только шумиха и возгласы, а отнюдь не выраженіе горячаго, живого и неподдельнаго чувства, которое одно бываетъ источникомъ истиннаго краснорѣчія. Нѣкоторыя мѣста, прекрасныя по слогу, ничего не доказываютъ: дѣло въ томъ, каково цѣлое. И удивительно ли, что такъ случилось: мы и теперь очень мало нуждаемся въ краснорѣчіи, а тѣмъ менѣе тогда нуждались въ немъ; слѣдовательно, оно родилось безъ всякой нужды, изъ одной подражательности, и потому не могло быть удачнымъ. Но стихотворенія Ломоносова носятъ на себѣ отпечатокъ генія. Правда, у него и въ нихъ умъ преобладаетъ надъ чувствомъ, но это происходило не

отчего иного, какъ оттого, что жажда къ знанію поглощала все существо  
его, была его господствующею страстью. Онъ всегда держалъ свою энергі-  
ческую фантазію въ крѣпкой уздѣ холоднаго ума и не давалъ ей слиш-  
комъ разыгрываться. Вольтеръ сказалъ, помнится, о Корнелѣ, что онъ въ  
сочиненіи своихъ трагедій похожъ на великаго Конде, который хладнокровно  
обдумывалъ планы сраженій и горячо сражался: вотъ Ломоносовъ! Онъ этого-то  
его стихотворенія имѣютъ характеръ ораторскій, отъ этого-то сквозь призму  
ихъ радужныхъ прѣтовъ часто видѣнъ сухой оставъ силлогизма. Это про-  
исходило отъ системы, а отнюдь не отъ недостатка поэтическаго гenія. Си-  
стема и рабская подражательность заставили его написать прозаическое  
„Письмо о пользѣ стекла“, двѣ холодныя и надутыя трагедіи и, наконецъ,  
эту неуклюжую „Петріаду“, которая была самымъ жалкимъ заблужденіемъ  
его мощнаго гenія. Онъ былъ рожденъ лирикомъ, и звуки его лиры, тамъ,  
гдѣ онъ не стѣснялъ себя системою, были стройны, высоки и величественны...

Что сказать о его сопернике, Сумароковѣ? Онъ писалъ во всѣхъ ро-  
дахъ, въ стихахъ и прозѣ, и думалъ быть русскимъ Вольтеромъ. Но, при  
рабской подражательности Ломоносову, онъ не имѣлъ ни искры его таланта.  
Вся его художническая дѣятельность была не что иное, какъ жалкая и  
смѣшная натяжка. Онъ не только не былъ поэтъ, но даже не имѣлъ никакой  
идей, никакого понятія объ искусствѣ, и всего лучше опровергъ собой  
странныю мысль Бюффона, что будто геній есть терпѣніе въ высшей сте-  
пени. А между тѣмъ этотъ жалкій писака пользовался такою народностію!  
Наши словесники не знаютъ, какъ и благодарить его за то, что онъ былъ  
отцомъ россійскаго театра. Почему же они отказываются въ благодарности  
Третьяковскому за то, что онъ былъ отцомъ россійской эпопеи? Право, одно  
отъ другого недалеко ушло. Мы не должны слишкомъ нападать на Сумаро-  
кова за то, что онъ былъ хвастуицъ: онъ обманывался въ себѣ такъ же,  
какъ обманывались въ немъ его современники; на безрыбыи и ракъ рыба,  
слѣдовательно это извинительно, тѣмъ болѣе, что онъ былъ не художникъ.  
Вотъ другое дѣло нынѣ... Конечно, смѣшно и жалко видѣть, какъ иные маль-  
чики заставляютъ въ плохихъ драмахъ пророчествовать великихъ поэтовъ  
о своемъ пришествіи въ міръ...

Была пора: Екатерининъ вѣкъ.  
Въ немъ ожила всемъ древней Руси слава,  
Тѣ дни, когда громилъ Царьградъ Олегъ,  
И выль Дунай подъ лодкой Святослава;  
Рымникъ, Чесма Кагульскій бой,  
Орлы во градѣ Леонида;  
Возобновленная Таврида,  
День Измаила роковой,  
И въ Прагѣ, кровью залитой,  
Москвы отомщенная обида!

Жуковскій.

Возарилась Екатерина Вторая, и для русского народа наступила эра новой, лучшей жизни. Ея царствование—это эпопея, эпопея гигантская и дерзкая по замыслу, величественная и смѣлая по созданию, обширная и полная по плану, блестящая и великолѣпная по изложению,—эпопея, достойная Гомера или Тасса! Ея царствование—это драма, драма многосложная и запутанная по завязкѣ, живая и быстрая по ходу дѣйствія, пестрая и яркая по разнообразію характеровъ, греческая трагедія по царственному величию и исполнинской силѣ героевъ, созданія Шекспира по оригинальности и самопрѣтности персонажей, по разнообразности картинъ и ихъ калейдоскопической подвижности, наконецъ, драма, зрѣлище которой исторгнетъ у васъ невольно крики восторга и радости! Съ удивленіемъ и даже съ какою-то недовѣрчивостію смотримъ мы на это время, которое такъ близко къ намъ, что еще живы нѣкоторые изъ его представителей; которое такъ далеко отъ насъ, что мы не можемъ видѣть его ясно, безъ помощи телескопа исторіи; которое такъ чудно и дивно въ лѣтописяхъ міра, что мы готовы почтеть его какимъ-то баснословнымъ вѣкомъ. Тогда въ первый еще разъ послѣ царя Алексѣя проявился духъ русскій во всей своей богатырской силѣ, во всемъ своемъ удаломъ разгульѣ, и, какъ говорится, пошелъ писать. Тогда-то народъ русскій, наконецъ освоившійся кое-какъ съ тѣсными и несвойственными ему формами новой жизни, притерпѣвшійся къ нимъ и почти позирившійся съ ними, какъ бы покорясь приговору судьбы неизбѣжной и непреоборимой—волѣ Петра, въ первый разъ вздохнуль свободно, улыбнулся весело, взглянулъ гордо—ибо его уже не гнали къ великой цѣли, а вели съ его спросу и согласія, ибо умоляло грозное „слово и дѣло“, и вместо него раздается съ трона голосъ, говорившій: „лучше прошу десять виновныхъ, нежели накажу одного невинного; мы думаемъ и за славу себѣ вмѣняемъ сказать, что мы живемъ для нашего народа; сохрани Боже, чтобы какой-нибудь народъ былъ счастливѣе россійскаго“, ибо съ Уставомъ о Рангахъ и Дворянскою Грамотою соединялась неприкословенность правъ благо-

родства; ибо, наконецъ, слухъ Руси леътется безпрестанными громами побѣдъ и завоеваній. Тогда-то проснулся русскій умъ, и вотъ заводятся школы, издаются всѣ необходимыя для первоначального обученія книги, переводится все хорошее со всѣхъ европейскихъ языковъ; разыгрался русскій мечъ, и вотъ потрясаются монархіи въ своемъ основаніи, сокрушаются царства и сливаются съ Русью!..

Знаете ли вы, въ чёмъ состоялъ отличительный характеръ вѣка Екатерины II, этой великой эпохи, этого свѣтлого момента жизни русскаго народа? Минь кажется, въ народности. Да—въ народности, ибо тогда Русь, стараясь попрежнему поддѣлываться подъ чужой ладъ, какъ будто на зло самой себѣ, оставалась Русью. Вспомните этихъ важныхъ, радушныхъ бояръ, дома которыхъ походили на всемирныя гостиницы, куда приходилъ званый и незваный и, не кланяясь хлѣбосольному хозяину, садился за столы дубовые, за скатерти браныя, за яства сахарныя, за питья медовыя; этихъ величавыхъ и гордыхъ вельможъ, которые любили жить на распашку, жилища которыхъ походили на царскія палаты русскихъ сказокъ, которые имѣли свой штатъ царедворцевъ, поклонниковъ и ласкателей, которые сожигали фейерверки изъ облигаций правительства; которые умѣли попирать и повеселиться по старинному дѣдовскому обычью, отъ всей русской души, но умѣли и постоять за свою Матушку и мечомъ, и перомъ: не скажете ли вы, что это была жизнь самостоятельная, общество оригинальное? Вспомните этого Суворова, который не зналъ войны, но котораго война знала; Потемкина, который грызъ ногти на пирахъ и между шутокъ рѣшалъ въ умѣ судьбы народовъ; этого Безбородко, который, говорять, съ похмелья читаль Матушкѣ на бѣлыхъ листахъ дипломатическія бумаги своего сочиненія; этого Державина, который въ самыхъ отчаянныхъ своихъ подражаніяхъ Горацио противъ воли оставался Державинымъ и столько же походилъ на Августова поэта, сколько походить могучая русская зима на роскошное лѣто Италии, не скажете ли вы, что каждого изъ нихъ природа отлила въ особенную форму и, отливши, разбила вдребезги эту форму?.. А можно ли быть оригинальнымъ и самостоятельнымъ, не будучи народнымъ?.. Отчего же это было такъ? Оттого, повторяю, что уму русскому былъ данъ просторъ, оттого, что геній русскій началъ ходить съ развязанными руками, оттого, что великая жена умѣла сродниться съ духомъ своего народа, что она высоко уважала народное достоинство, дорожила всѣмъ русскимъ до того, что сама писала разныя сочиненія на русскомъ языке, дирижировала журналомъ и за преарѣніе къ родному языку казнила подданныхъ ужасною казнью—Телемахидою!.. Да—чудно, дивно было это время, но еще чуднѣе и дивнѣе было это общество! Какая смѣсь, пестрота, разнообразіе! Сколько элементовъ разнородныхъ, но связанныхъ, но одушевленныхъ единымъ духомъ! Безбожіе и изувѣрство, грубость и утонченность, материализмъ и набожность, страсть къ новизнѣ и упорный фанатизмъ къ старинѣ, пиры и побѣды, роскошь и

довольство, забавы и геркулесовские подвиги, великие умы, великие характеры всѣхъ цвѣтовъ и образовъ и между ними Недоросли, Простаковы, Тарасы Скотинины и Бригадиры; дворянство, удивляющее французскій дворъ своею свѣтскою образованностю, и дворянство, выходившее съ холопами на разбой!..

И это общество отразилось въ литературѣ; два поэта, впрочемъ весьма неравные геніемъ, преимущественно были выраженіемъ онаго; громозвучныя пѣсни Державина были символомъ могущества, славы и счастія Руси; Ѳдкія и остроумныя карикатуры Фонъ-Визина были органомъ понятій и образа мыслей образованнѣйшаго класса людей тогдашняго времени.

Державинъ — какое имя!.. Да — онъ былъ правъ: только Навинъ могло быть ему подъ рнemu! Какъ идетъ къ нему этотъ полурусскій и полутатарскій нарядъ, въ которомъ изображаютъ его на портретахъ; дайте ему въ руки лилейный скипетръ Оберона, придайте къ этой собольей шубѣ и брововой шапкѣ длинную сѣдую бороду: и вотъ вамъ русскій чародѣй, отъ дыханія которого таютъ снѣга и ледяные покровы рѣкъ и расцвѣтаютъ розы, чуднымъ словамъ которого повинуется послушная природа и принимаетъ всѣ виды и образы, какихъ ни пожелаетъ онъ! Дивное явленіе! Бѣдный дворянинъ, почти безграмотный, дитя по своимъ понятіямъ, неразгаданная загадка для самого себя, откуда получилъ онъ этотъ вѣцій пророческій глаголь, потрясающій сердца и восторгающій души, этотъ глубокій и обширный взглядъ, обхватывающій природу во всей ея безконечности, какъ обхватывала молодой орель мощными когтями трепещущую добычу? Или и въ самомъ дѣлѣ онъ повстрѣчалъ на перепутыи какого-нибудь „шестикрылаго Херувима“? Или и въ самомъ дѣлѣ „огненное чувство“ ставить въ иныя минуты смертнаго, безъ всякихъ со стороны его усилий, наравнѣ съ природою, и, послушная, она открываетъ ему свои таинственные нѣдра, даетъ ему подсмотрѣть біеніе своего сердца и почерпать въ лонѣ источника жизни эту живую воду, которая влагаетъ дыханіе жизни и въ металль, и въ мраморъ? Или и въ самомъ дѣлѣ огненное чувство даетъ смертному всезрящи очи и уничтожаетъ его въ природѣ, а природу уничтожаетъ въ немъ, и, ея всемощный властелинъ, онъ повелѣваетъ ею самовластно и, вмѣстѣ съ нею раскидывается, по своей волѣ, подобно Протею, на тысячи прекрасныхъ явленій, воплощается въ тысячи волшебныхъ образовъ и тѣ образы называетъ потомъ своими созданіями? Державинъ? — это полное выраженіе, живая лѣтопись, торжественный гимнъ, пламенный дифирамбъ вѣка Екатерины, съ его лирическимъ одушевленіемъ, съ его гордостю настоящимъ и надеждами на будущее, его просвѣщеніемъ и невѣжествомъ, его эпикуреизмомъ и жаждою великихъ дѣлъ, его пиршественною празднотю и неистощимою практическою дѣятельностю! Не ищите въ звукахъ его пѣсень, то смѣлыхъ и торжественныхъ, какъ громъ побѣды, то веселыхъ и шутливыхъ, какъ застольный говоръ нашихъ прадѣдовъ, то нѣжныхъ и сладостныхъ, какъ голосъ

русскихъ дѣвъ,—не ищите въ нихъ тонкаго анализа человѣка со всѣми изгибами его души и сердца, какъ у Шекспира, или сладкой тоски по небу и возвышенныхъ мечтаний о святомъ и великому жизни, какъ у Шиллера, или бѣшеныхъ волей души пресыщенной и все еще несътой, какъ у Байрона; нѣть—намъ тогда некогда было анатомировать природу человѣческую, некогда было углубляться въ тайны неба и жизни, ибо мы тогда были оглушены громомъ побѣдъ, ослѣплены блескомъ славы, заняты новыми постановленіями и преобразованіями; ибо тогда намъ еще некогда было пресытиться жизнью, мы еще только начинали жить и потому любили жизнь; итакъ, не ищите ничего этого у Державина! Поищите лучше у него поэтической вѣсти о томъ, какъ велика была несравненная, „богоподобная Фелица киргизъ-кайсайція орды“, какъ этотъ „ангель во плоти“ разливалъ и сѣялъ повсюду жизнь и счастіе, и, подобно Богу, творилъ все изъ ничего, какъ были мудры ея слуги вѣрные, ея совѣтники усердные; какъ герой полуночи, „чудо-богатырь“, бросалъ за облака башни, какъ бѣжала тьма отъ его чela и пыль отъ его молодецкаго посвисту, какъ подъ его ногами трещали горы и кипѣли безздны, какъ предъ нимъ падали города и рушились царства, какъ онъ, при громахъ и молніяхъ, при ужасной борьбѣ разъяренныхъ стихій сокрушилъ твердыни Измаила или перешелъ чрезъ пропасти Сенъ-Готарда; какъ жили и были вельможи русскіе съ своимъ неистощимъ хлѣбомъ-солью, съ своимъ русскимъ сибаритствомъ и русскимъ умомъ; какъ русскія дѣвы своими пламенными взорами и соболиными бровями разятъ души львовъ и сердца орловъ, какъ блестятъ ихъ бѣлые чela златыми лентами, какъ дышать ихъ нѣжныя груди подъ драгими жемчугами, какъ сквозь ихъ голубыя жилки переливается розовая кровь, а на ланитахъ любовь врѣзала огневые ямки!

Невозможно исчислить неисчислимыхъ красотъ созданій Державина. Онъ разнообразны, какъ русская природа, но всѣ отличаются однимъ общимъ колоритомъ; во всѣхъ нихъ воображеніе преобладаетъ надъ чувствомъ и все представляеть въ преувеличенныхъ, гиперболическихъ размѣрахъ. Онъ не взволнуетъ вашей груди сильнымъ чувствомъ, не выдавить слезы изъ вашихъ глазъ, но, какъ орелъ добычу, схватываетъ васъ внезапно и неожиданно и на крыльяхъ своихъ могучихъ строѣй мчитъ прямо къ солнцу, и, не давая вамъ опомниться, носить по безпредѣльнымъ равнинамъ неба; земля исчезаетъ у васъ изъ виду, сердце сжимается отъ какого-то пріятнаго изумленія, смѣшанаго со страхомъ, и вы видите себя какъ бы ринутыми порывомъ урагана въ неизмѣримый океанъ; волна то увлекаетъ васъ въ безздны, то выбрасываетъ къ небу, и душа вашей отрадно и привольно въ этой безбрежности. Какъ громка и величественна его пѣснь Богу! Какъ глубоко подсмотрѣлъ онъ вѣнчаное благоѣтие природы и какъ вѣрно воспроизвелъ его въ своемъ дивномъ созданіи! И однакожъ, онъ прославилъ въ немъ одну мудрость и могущество Божіе и только намекнулъ о любви Божіей, о той

любви, которая возвала къ человѣкамъ: „пріидите ко Мнѣ вси труждающіеся и обремененіи, и Азъ упокою вы!“ о той любви, которая съ позорного креста мученія взвала къ Отцу: „Отче, отпусти имъ: не вѣдѣть бо, чѣмъ творять!“ Но не осуждайте его за это: тогда было не то время, что нынѣ, тогда былъ осьмнадцатый вѣкъ. Притомъ же не забудьте, что умъ Державина былъ умъ русскій, положительный, чуждый мистицизма и таинственности, что его стихію и торжествомъ была природа вицція, а господствующимъ чувствомъ—патріотизмъ, что въ семъ случаѣ онъ былъ только вѣренъ своему безсознательному направлению, и слѣдовательно былъ истиненъ. Какъ страшна его ода на смерть Мещерскаго: кровь стынетъ въ жилахъ, волосы, по выражению Шекспира, встаютъ на головѣ встревоженною ратью, когда въ ушахъ вашихъ раздается вѣтій бой „глагола временія“, когда въ глазахъ мерещится ужасный остовъ смерти съ косою въ рукахъ! Какою энергическою и дикою красотою дышитъ его „Водопадъ“: это пѣснь угрюмаго Сѣвера, пропѣтая сребровласымъ скальдомъ во глубинѣ священнаго лѣса, среди мрачной ночи, у пылающаго дуба, зажженаго молниєю, при оглушающемъ ревѣ водопада! Его посланія и сатиры представляютъ совсѣмъ другой міръ, не менѣе прекрасный и очаровательный. Въ нихъ видна практическая философія ума русскаго: посему главное, отличительное ихъ свойство есть народность,—народность, состоящая не въ подборѣ мужицкихъ словъ или насильственной поддѣлкѣ подъ ладъ пѣсень и сказокъ, но въ сгібѣ ума русскаго, въ рускомъ образѣ взгляда на вещи. Въ семъ отношеніи Державинъ народенъ въ высочайшей степени. Какъ смѣшны тѣ, которые величаютъ его русскимъ Пиндаромъ, Горациемъ, Анакреономъ; ибо самая эта тройственность показываетъ, что онъ былъ ни то, ни другое, ни третье, но все это вмѣстѣ взятое и, слѣдовательно, выше всего этого, отдалено взятаго! Не такъ же ли неизѣло было бы назвать Пиндара или Анакреона греческимъ или Горациемъ латинскимъ Державинымъ, ибо если онъ самъ не былъ ни для кого образцомъ, то и для себя не имѣлъ никого образцомъ? Вообще надобно замѣтить, что его невѣжество было причиной его народности, которой, впрочемъ, онъ не зналъ пѣсни; оно спасло его отъ подражательности, и онъ былъ оригиналъ и народенъ, самъ не зная того. Обладай онъ всеобъемлющою ученостью Ломоносова—и тогда прости поэту! Ибо, чего доброго, онъ пустился бы, пожалуй, въ трагедіи и, всего вѣрнѣе, въ эпопею: его неудачные опыты въ драмѣ доказываютъ справедливость такого предположенія. Но судьба спасла его—и мы имѣемъ въ Державинѣ великаго, геніального русскаго поэта, который былъ вѣрнымъ эхомъ жизни русскаго народа, вѣрнымъ отголоскомъ вѣка Екатерины II.

Фоизизинъ былъ человѣкъ съ необыкновеннымъ умомъ и дарованіемъ, но былъ ли онъ рожденъ комикомъ—на это трудно отвѣтить утвердительно. Въ самомъ дѣлѣ, видите ли вы въ его драматическихъ созданіяхъ присутствіе вѣдѣ вѣчной жизни? Вѣдь смѣшной анекдотъ, переложенный на разговоры, гдѣ участвуетъ извѣстное число скотовъ—еще комедія. Предметъ

комедії не есть исправлєне нравовъ или осмѣяніе какихъ-нибудь пороковъ общества; нѣть: комедія должна живописать несообразность жизни съ цѣлію, должна быть плодомъ горькаго негодованія, возбуждаемаго униженіемъ человѣческаго достоинства, должна быть сарказмомъ, а не эпиграммою, судорожнымъ хохотомъ, а не веселою усмѣшкою, должна быть писана жалчью, а не разведенною солью, словомъ, должна обнимать жизнь въ ея высшемъ значеніи, то есть въ ея вѣчной борьбѣ между добромъ и зломъ, любовью и эгоизмомъ. Такъ ли у Фонвизина? Его дураки очень смѣшны и отвратительны, но это потому, что они не созданія фантазіи, а слишкомъ вѣрные списки съ натуры; его умные суть не иное чѣмъ, какъ выпускныя куклы, говорящія заученныя правила благонравія; и все это потому, что авторъ хотѣлъ учить и исправлять. Этотъ человѣкъ былъ очень смѣшивъ отъ природы: онъ чутъ не задохнулся отъ смѣху, слыша въ театрѣ звуки польского языка; онъ былъ во Франціи и нашелъ въ нихъ одно смѣшное: вотъ вамъ и комизмъ его. Да—его комедіи суть не больше, какъ плодъ добродушной веселости, надъ всѣмъ изгѣвавшіяся, плодъ остроумія, по не созданія фантазіи и горячаго чувства. Онъ явились въ пору и потому имѣли необыкновенный успѣхъ; были выраженіемъ господствующаго образа мыслей образованныхъ людей, и потому нравились. Впрочемъ, не будучи художественными созданіями въ полномъ смыслѣ этого слова, онъ все-таки несравненно выше всего, чѣмъ ни написано у васъ по сю пору въ семь родѣ, кромѣ „Горе отъ ума“, о которомъ рѣчь впереди. Одно уже это доказываетъ дарование сего писателя. Прочія его сочиненія имѣютъ цѣну еще, можетъ быть, большую, но и въ нихъ онъ является умнымъ наблюдателемъ и остроумнымъ писателемъ, а не художникомъ. Насмѣшка и шутливость составляютъ ихъ отличительный характеръ. Кромѣ неподѣльного дарованія, они замѣчательны еще и по слогу, который очень близко подходитъ къ Карамзинскому; особенно же драгоценны они тѣмъ, что заключаютъ въ себѣ многія рѣзкія черты духа того любопытнаго времени.

Какъ забыть о Богдановичѣ? Какою словою пользовался онъ при жизни, какъ восхищаются имъ современники и какъ еще восхищаются имъ и теперь нѣкоторые читатели? Какая причина этого успѣха? Представьте себѣ, что вы оглушены громомъ, трескотнею пышныхъ словъ и фразъ, что всѣ окружающіе васъ говорятъ монологами о самыхъ обыкновенныхъ предметахъ, и вы вдругъ встрѣчаете человѣка съ простою и умною рѣчью: не правда ли, что вы бы очень восхитились этимъ человѣкомъ? Подражатели Ломоносова, Державина и Хераскова оглушили всѣхъ громкимъ одопѣніемъ; уже начали думать, что русскій языкъ неспособенъ къ такъ называемой легкой поэзіи, которая такъ прѣяла у французовъ, и вотъ въ это-то время является человѣкъ съ сказкою, написанною языкомъ простымъ, естественнымъ и шутливымъ, слогомъ, по тогдашнему времени, удивительно легкимъ и плавнымъ: всѣ были изумлены и обрадованы. Вотъ

причина необыкновенного успеха „Душеньки“, которая, впрочемъ, не безъ достоинствъ, не безъ таланта. Скромный Хемницеръ былъ не понять современниками; имъ по справедливости гордится теперь потомство и ставить его наравнъ съ Дмитріевымъ. Херасковъ былъ человѣкъ добрый, умный, благонамѣренный и, по своему времени, отличный версификаторъ, но рѣшительно не поэтъ. Его дюжинныя „Россіада“ и „Владимиръ“ долго составляли предметъ удивленія для современниковъ и потомковъ, которые величали его русскимъ Гомеромъ и Виргилемъ и проводили во храмъ безсмертія подъ щитомъ его длинныхъ и скучныхъ поэмъ; передъ нимъ благоговѣлъ самъ Державинъ; но,—увы!—ничто не спасло его отъ всепоглощающихъ волнъ Леты! Петровъ недостатокъ истиннаго чувства замѣнилъ напыщенностью и совершилъ доканалъ себя своимъ варварскимъ языкомъ. Княжнинъ былъ трудолюбивый писатель и, въ отношеніи къ языку и формѣ, не безъ таланта, который особенно замѣтенъ въ комедіяхъ. Хотя онъ цѣликомъ бралъ изъ французскихъ писателей, но ему и то уже дѣлаетъ большую честь, что онъ умѣлъ изъ этихъ похищенній составлять нечто цѣлое и далеко превзошелъ своего родича Сумарокова. Костровъ и Бобровъ были въ свое время хорошие версификаторы.

Вотъ вся генія Екатерины Великой; вся они пользовались громкою славой и вся, за исключеніемъ Державина, Фонвизина и Хемницера, забыты. Но вся они замѣчательны, какъ первые дѣйствователи на поприщѣ русской словесности; судя по времени и средствамъ, ихъ успѣхи были важны и преимущественно происходили отъ вниманія и одобренія монархини, которая всюду искала талантовъ и всюду умѣла находить ихъ. Но между ними только одинъ Державинъ былъ такимъ поэтомъ, имя которого мы съ гордостюю можемъ поставить подъ великихъ именъ поэтовъ всѣхъ вѣковъ и народовъ, ибо онъ одинъ былъ свободнымъ и торжественнымъ выраженіемъ своего великаго народа и своего дивнаго времени.

*Amicus Plato, sed magis amica veritas.*

Вѣкъ Александра Благословеннаго, какъ и вѣкъ Екатерины Великой, принадлежитъ къ свѣтлымъ мгновеніямъ жизни русскаго народа и, въ нѣ-которомъ отношеніи былъ его продолженіемъ. Это была жизнь безпечная и веселая, гордая настоящимъ, полная надеждъ на будущее. Мудрыя узаконенія и нововведенія Екатерины укоренились и, такъ сказать, окрѣпли; но-выя благодѣтельныя учрежденія царя юнаго и кроткаго упрочивали благо-состояніе Руси и быстро двигали ее впередъ на поприщѣ преуспѣянія. Въ самомъ дѣлѣ, сколько было сдѣлано для просвѣщенія! Сколько основано университетовъ, лицеевъ, гимназій, уѣздныхъ и приходскихъ училищъ! И образованіе начало разливаться по всѣмъ классамъ народа, ибо оно сдѣлалось болѣе или менѣе доступнымъ для всѣхъ классовъ народа. Покрови-тельство просвѣщенаго и образованнаго монарха, достойнаго внука Ека-

терины, отыскивало повсюду людей съ талантами и давало имъ дорогу и средства дѣйствовать на избранномъ ими поприщѣ. Въ это время еще впервые появилась мысль о необходимости имѣть свою литературу. Въ царствованіе Екатерины литература существовала только при дворѣ; ею занимались потому, что государыня занималась ею. Плохо пришлось бы Державину, если бы ей не понравились его „Послание къ Фелицѣ“ и „Вельможа“; плохо бы пришлось Фонвизину, если бы она не смѣялась до слезъ надъ его „Бригадиромъ“ и „Недорослемъ“; мало бы оказывалось уваженія къ пѣву „Бога“ и „Водопада“, если бы онъ не былъ дѣйствительнымъ тайнымъ соѣтникомъ и разныхъ орденовъ кавалеромъ. При Александрѣ всѣ начали заниматься литературою, и титулъ сталъ отдѣляться отъ таланта. Явилось явленіе новое и доселѣ неслыханное: писатели сдѣлались двигателями, руководителями и образователями общества; явились попытки создать языкъ и литературу. Но, увы! не было прочности и основательности въ этихъ попыткахъ; ибо попытка всегда предполагаетъ расчетъ, а расчетъ предполагаетъ волю, а воля часто идетъ напрекоръ обстоятельствамъ и разногласитъ съ законами здраваго смысла. Много было талантовъ и ни одного гenія, и всѣ литературныя явленія рождались не вслѣдствіе необходимости, непроизвольно и безсознательно, не вытекали изъ событій и духа народнаго. Не спрашивали: что и какъ намъ должно было дѣлать? Говорили: дѣлайте такъ, какъ дѣлаютъ иностранцы, и вы будете хорошо дѣлать. Удивительно ли послѣ того, что, несмотря на всѣ усиленія создать языкъ и литературу, у насъ не только тогда не было ни того, ни другого, но даже иѣть и теперь! Удивительно ли, что при самомъ началѣ литературнаго движенія у насъ было такъ много литературныхъ школъ и не было ни одной истинной и основательной; что всѣ онѣ рождались, какъ грибы послѣ дождя, и исчезали, подобно мыльнымъ пузырямъ, и что мы, еще не имѣя никакой литературы въ полномъ смыслѣ сего слова, уже успѣли быть и классиками и романтиками, и греками и римлянами, и французами и итальянцами, и нѣмцами и англичанами?..

Два писателя встрѣтили вѣкъ Александра и справедливо почитались лучшимъ украшениемъ начала онаго: Карамзинъ и Дмитріевъ. Карамзинъ—вотъ актеръ нашей литературы, который еще при первомъ своемъ дѣбютѣ, при первомъ своемъ появленіи на сцену, былъ встрѣченъ и громкими рукоплесканіями, и громкимъ свистомъ! Вотъ имя, за которое было дано столько кровавыхъ битвъ, произошло столько отчаянныхъ схватокъ, переломлено столько копий! И давно ли еще умолкли эти бранные вопли, этотъ звукъ оружія, давно ли враждующія партіи вложили мечи въ ножны и теперь силятся объяснить себѣ, изъ-за чего онѣ воевали? Кто изъ читающихъ строки сіи не былъ свидѣтелемъ этихъ литературныхъ побоищъ, не слышалъ этого оглушающаго рева похвалъ, преувеличенныхъ и безсмысленныхъ, этихъ порицаній, частію справедливыхъ, частію нелѣпыхъ? И теперь, на могилѣ незавѣннаго мужа, развѣ уже рѣшена побѣда, развѣ восторжествовала та или

другая сторона? Увы! еще нѣтъ! Съ одной стороны, нась, „какъ вѣрныхъ сыновъ отчизны“, призываютъ „молиться на могилѣ Карамзина“ и „шептать его святое имя“, а съ другой—слушаютъ это возвзваніе съ недовѣрчивой и насмѣшливой улыбкой. Любопытное врѣлище! Борьба двухъ поколѣній, не понимающихъ одно другого! И въ самомъ дѣлѣ, не смѣшно ли думать, что побѣда останется на сторонѣ гг. Иванчинахъ-Писаревыхъ, Сомовыхъ и т. п.? Еще нелѣпѣе воображать, что ее упрочить за собою г. Арцыбышевъ съ братію.

Карамзинъ отмѣтилъ своимъ именемъ эпоху въ нашей словесности; его вліяніе на современниковъ было такъ велико и сильно, что цѣлый періодъ нашей литературы девяностыхъ до двадцатыхъ годовъ по справедливости называется періодомъ Карамзинскимъ. Одно уже это достаточно доказываетъ, что Карамзинъ, по своему образованію, цѣлою головой превышалъ своихъ современниковъ. За нимъ еще и по сю пору, хотя нетвердо и не опредѣленно, кромѣ имени историка, остаются имена писателя, поэта, художника, стихотворца. Разсмотримъ его права на эти титла. Для Карамзина еще не наступило потомство. Кто изъ нась не утѣшался въ дѣтствѣ его повѣстями, не мечталъ и не плакалъ съ его сочиненіями? А вѣдь воспоминанія дѣтства такъ сладостны, такъ обольстительны: можно ли тутъ быть безпристрастными? Однакожъ попытаемся.

Представьте себѣ общество разнохарактерное, разнородное, можно сказать, разноплеменное; одна часть его читала, говорила, мыслила и молилась Богу на французскомъ языкѣ, другая знала наизусть Державина и ставила его наравнѣ не только съ Ломоносовымъ, но и съ Петровымъ, Сумароковымъ и Херасковымъ; первая очень плохо знала русскій языкъ, вторая была пріучена къ напыщенному схоластическому языку автора „Россіяды“ и „Кадма и Гармоніи“; общий же характеръ обѣихъ состоялъ изъ полуудиности и полуобразованности; словомъ, общество съ охотою къ чтенію, но безъ всякихъ свѣтлыхъ идей обѣ литературѣ. И вотъ является юноша, душа котораго была отверста для всего благого и прекраснаго, но который, при счастливыхъ дарованіяхъ и большомъ умѣ, былъ обдѣленъ просвѣщеніемъ и ученюю образованностію, какъ увидимъ ниже. Не ставши наравнѣ со своимъ вѣкомъ, онъ былъ несравненно выше своего общества. Этотъ юноша смотрѣлъ на жизнь, какъ на подвигъ, и, полный силъ юности, алкалъ славы авторства, алкалъ чести быть споспѣшествователемъ успѣховъ отечества на пути къ просвѣщенію, и вся его жизнь была этимъ святымъ и прекраснымъ подвижничествомъ. Не правда ли, что Карамзинъ былъ человѣкъ необыкновенный, что онъ достоинъ высокаго уваженія, если не благоговѣнія? Но не забывайте, что не должно смѣшивать человѣка съ писателемъ и художникомъ. Будь сказано, впрочемъ, безъ всякихъ примѣненій къ Карамзину, этакъ, чего доброго, и Ролленъ попадеть во святые. Намѣреніе и исполненіе двѣ вещи различныя. Теперь посмотримъ, какъ выполнилъ Карамзинъ свою высокую миссію.

Онъ видѣлъ, какъ мало было у насъ сдѣлано, какъ дурно понимали его собратія по ремеслу, чтѣ должно было дѣлать; видѣлъ, что высшее слово имѣло причину презирать роднымъ языкомъ, ибо языкъ письменный былъ въ раздорѣ съ языкомъ разговорнымъ. Тогда былъ вѣкъ фразеологіи, гнались за словами и мысли подбирали къ словамъ только для смысла. Карамзинъ былъ одаренъ отъ природы вѣрнымъ музикальнымъ ухомъ для языка и способностію объясняться плавно и красно, слѣдовательно ему не трудно было преобразовать языкъ. Говорить, что онъ сдѣлалъ нашъ языкъ скопкомъ съ французского, какъ Ломоносовъ сдѣлалъ его скопкомъ съ латинскаго: это справедливо только отчасти. Вѣроятно, Карамзинъ старался писать, какъ говорится. Погрѣшность его въ семъ случаѣ та, что онъ презрѣлъ идіомами русскаго языка, не прислушивался къ языку простолюдиновъ и не изучалъ вообще родныхъ источниковъ. Но онъ исправилъ эту ошибку въ своей исторіи. Карамзинъ предложилъ себѣ цѣлую—пріучить, пріохотить русскую публику къ чтенію. Спрашиваю васъ: можетъ ли призваніе художника согласиться съ какою-нибудь заранѣе предложенною цѣлую, какъ бы ни была прекрасна эта цѣль? Этого мало: можетъ ли художникъ увѣзиться, изгнаться, такъ сказать, къ публикѣ, которая была бы ему по колѣнамъ и потому не могла бы его понимать! Положимъ, что и можетъ; тогда другой вопросъ: можетъ ли онъ въ такомъ случаѣ оставаться художникомъ въ своихъ созданіяхъ? Безъ всякаго сомнѣнія, нѣтъ. Кто объясняется съ ребенкомъ, тотъ самъ дѣлается на это время ребенкомъ. Карамзинъ писалъ для дѣтей и писалъ по-дѣтски; удивительно ли, что эти дѣти, сдѣлавшись взрослыми, забыли его и, въ свою очередь, передали его сочиненія своимъ дѣтямъ? Это въ порядкѣ вещей: дитя съ довѣрчивостію и съ горячою вѣрою слушалъ разсказы своей старой няни, водившей его на помоихъ, о мертвѣцахъ и привидѣніяхъ, а выросши, смѣется надъ ея разсказами. Вамъ порученъ ребенокъ: помните жъ, что этотъ ребенокъ будетъ отрокомъ, потомъ юношемъ, а тамъ и мужемъ, и потому слѣдите за развитіемъ его дарованій и, сообразно съ нимъ, перемѣняйте методу вашего ученья, будьте всегда выше его; иначе вамъ худо будетъ: этотъ ребенокъ станетъ въ глаза смѣяться надъ вами. Уча его, еще больше учитесь сами, а не то онъ перегонитъ васъ: дѣти растутъ быстро. Теперь скажите, по совѣсти, *sine ira et studio*, какъ говорить наши записные ученые: кто виноватъ, что какъ прежде плакали надъ „Бѣдною Лизою“, такъ нынѣ смѣются надъ нею? Воля ваша, гг. поклонники Карамзина, а я скорѣе соглашусь читать повѣсти барона Брамбеса, чѣмъ „Бѣдную Лизу“ или „Наталью Боярскую Дочь“! Другія времена, другіе нравы! Повѣсти Карамзина пріучили публику къ чтенію, многіе выучились по нимъ читать,—будемъ же благодарны ихъ автору, но оставимъ ихъ въ покой, даже вырвемъ ихъ изъ рукъ нашихъ дѣтей, ибо они сдѣлаютъ имъ много вреда: растягать ихъ чувство приторною чувствительностію.

Кромъ сего, сочиненія Карамзина теряютъ въ наше время много достоинства еще и оттого, что онъ рѣдко былъ въ нихъ искрененъ и естественъ. Вѣкъ фразеологии для насъ проходитъ; по нашимъ понятіямъ, фраза должна прибираться для выраженія мысли или чувства; прежде мысль и чувство пріискивались для звонкой фразы. Знаю, что мы еще и теперь не безгрѣшны въ этомъ отношеніи; по крайней мѣрѣ, теперь, если легко выставить мишку за золото, ходули ума и потуги чувства за игру ума и пламень чувства, то не надолго, и чѣмъ живѣе обольщеніе, тѣмъ бываетъ мстительнѣе разочарованіе, чѣмъ больше благоговѣнія къ ложному божеству, тѣмъ жесточайшее поношеніе наказываетъ самозванца. Вообще нынѣ какъ-то стали откровеннѣе; всякий истинно образованный человѣкъ скорѣе сознается, что онъ не понимаетъ той или другой красоты автора, но не станетъ обнаруживать насильственнаго восхищенія. Посему нынѣ едва ли найдется такой добренький простачокъ, который бы повѣрилъ, что обильные потоки слезъ Карамзина изливались отъ души и сердца, а не были любимымъ кокетствомъ его таланта, привычными ходульками его авторства. Подобная ложность и натанутость чувства тѣмъ жалостнѣе, когда авторъ—человѣкъ съ дарованіемъ. Никто не подумаетъ осуждать за подобный недостатокъ, напримѣръ, чувствительнаго князя Шаликова, потому что никто не подумаетъ читать его чувствительныхъ твореній. Итакъ, здѣсь авторитетъ не только не оправданіе, но еще двойная вина. Въ самомъ дѣлѣ, не странно ли видѣть взрослаго человѣка, хотя бы этотъ человѣкъ былъ самъ Карамзинъ,—не странно ли видѣть взрослаго человѣка, который проливаетъ обильные источники слезъ и при взглядѣ на кривой глазъ „Великаго Мужа Грамматики“, и при видѣ необозримыхъ песковъ, окружающихъ Кале, и надъ травками, и надъ муравками, и надъ букашками и таракашками?.. Вѣдь и то сказать:

... Не все намъ рѣки слезныя  
Лить о бѣдствіяхъ существенныхъ!

Эта слезливость или, лучше сказать, плаксивость нерѣдко портить лучшія страницы его исторіи. Скажутъ: тогда былъ такъ вѣкъ. Неправда: характеръ осьмнадцатаго столѣтія отнюдь не состоитъ въ одной плаксивости; притомъ же здравый смыслъ старше всѣхъ столѣтій, а онъ запрещаетъ плакать, когда хочется смѣяться, и смѣяться, когда хочется плакать. Это просто было дѣтство—смѣшное и жалкое, манія—странныя и неизъяснимая.

Теперь другой вопросъ; столько ли онъ сдѣлалъ, сколько могъ, или менѣе? Отвѣщаю утвердительно: менѣе. Онъ отправился путешествовать: какой прекрасный случай предстоялъ ему развернуть предъ глазами своихъ соотечественниковъ великую и обольстительную картину вѣковыхъ плодовъ просвѣщенія, успѣховъ цивилизаціи и общественнаго образования благородныхъ представителей человѣческаго рода!.. Ему такъ легко было это сдѣ-

ять! Его перо было такъ краснорѣчиво! Его кредитъ у современниковъ былъ такъ великъ! И что жъ онъ сдѣлать вмѣсто всего этого? Чѣмъ наполнены его „Письма Русскаго Путешественника“? Мы узнаемъ изъ нихъ по большей части, гдѣ онъ обѣдалъ, гдѣ ужиналъ, какое кушанье подавали ему, и сколько взялъ съ него трактирщикъ; узнаемъ, какъ г. Б\*\*\* волочился за госпожею N, и какъ бѣлка одарала ему носъ; какъ восходило солнце надъ какою-нибудь швейцарскою деревушкою, изъ которой шла пастушка съ букетомъ розъ на груди и гнала передъ собою корову... Стоило ли изъ-за этогоѣдѣть такъ далеко?.. Сравните въ семъ отношеніи „Письма Русскаго Путешественника“ съ „Письмами къ Вельможѣ“ Фонвизина, письмами, написанными прежде: какая разница! Карамзинъ видѣлся со многими знаменитыми людьми Германіи, и что же онъ узналъ изъ разговоровъ съ ними? То, что всѣ они люди добрые, наслаждающіеся спокойствіемъ съвѣсти и ясностію духа. И какъ скромны, какъ обыкновенны его разговоры съ ними! Во Франціи онъ былъ счастливѣе въ семъ случаѣ, по извѣстной причинѣ: вспомните свиданіе русскаго Скиеа съ французскимъ Платономъ. Отчего же это произошло? Оттого, что онъ не приготовился надлежащимъ образомъ къ путешествію, что не былъ учень основательно. Но, несмотря на это, ничтожность его „Писемъ Русскаго Путешественника“ происходитъ больше отъ его личнаго характера, чѣмъ отъ недостатка въ свѣдѣніяхъ. Онъ не совсѣмъ хорошо зналъ нужды Россіи въ умственномъ отношеніи. О стихахъ его нечего много говорить: это тѣ же фразы, только съ риѳмами. Въ нихъ Карамзинъ, какъ и вездѣ, является преобразователемъ языка, а отнюдь не поэтомъ.

Вотъ недостатки сочиненій Карамзина, вотъ причина, что онъ такъ скоро былъ забытъ, что онъ едва не пережилъ своей славы. Справедливость требуетъ замѣтить, что его сочиненія, тамъ, гдѣ онъ не увлекается сентиментальностью и говорить отъ души, дышать какою-то сердечною теплотою; это особенно замѣтно въ тѣхъ мѣстахъ, где онъ говоритъ о Россіи. Да, онъ любилъ добро, любилъ отечество, служилъ ему, сколько могъ; имя его безсмертно, но сочиненія его, исключая „Исторіи“, умерли, и не воскреснуть имъ, несмотря на возгласы людей, подобныхъ гг. Иванчину-Писареву и Оресту Сомову!..

„Исторія Государства Россійскаго“ есть важнѣйшій подвигъ Карамзина; онъ отразился въ ней весь, со всѣми своими недостатками и достоинствами. Не берусь судить о семъ произведеніи ученымъ образомъ, ибо, признаюсь откровенно, этотъ трудъ былъ бы далеко не подъ силу мнѣ. Мое мнѣніе (весьма не новое) будетъ мнѣніемъ любителя, а не знатока. Сообразивъ все, что было сдѣлано для систематической исторіи до Карамзина, нельзя не признать его труда подвигомъ исполненіемъ. Главный недостатокъ онаго состоитъ въ его взглядѣ на вещи и события, часто дѣтскомъ и всегда, по крайней мѣрѣ, не мужескомъ; въ ораторской шумихѣ и неумѣстномъ жела-

ній быть наставительнымъ, поучать тамъ, гдѣ сами факты говорять за себя; въ пристрастіи къ героямъ повѣствованія, дѣлающимъ честь сердцу автора, но не его уму. Главное достоинство его состоить въ занимательности раз- сказа и искусномъ изложеніи событій, нерѣдко въ художественной обрисовкѣ характеровъ, а болѣе всего въ слогѣ, въ которомъ Карамзинъ рѣшительно торжествуетъ здѣсь. Въ семъ послѣднемъ отношеніи у насъ и по сію пору не написано еще ничего подобнаго. Въ „Исторіи Г. Р.“ слогъ Карамзина есть слогъ русскій по преимуществу; ему можно поставить въ параллель, только въ стихахъ, „Бориса Годунова“ Пушкина. Это совсѣмъ не то, что слогъ его мелкихъ сочиненій; ибо здѣсь авторъ черпалъ изъ родныхъ источ- никовъ, упитанъ духомъ историческихъ памятниковъ; здѣсь его слогъ, за исключеніемъ первыхъ четырехъ томовъ, гдѣ по большей части одна рито- рическая шумиха, но гдѣ всетаки языкъ удивительно обработанъ, имѣть характеръ важности, величавости и энергіи и часто переходитъ въ истин- ное краснорѣчіе. Словомъ, по выраженію одного нашего критика, въ „Исторіи Г. Р.“ языку нашему воздвигнуть такой памятникъ, о который время изломаетъ свою косу. Повторяю: имя Карамзина безсмертно, но сочиненія его, исключая „Исторію“, уже умерли и никогда не воскреснутъ!

Появленіе Жуковскаго изумило Россію, и не безъ причины. Онъ былъ Колумбомъ нашего отечества: указать ему на нѣмецкую и англійскую лите- ратуры, которыхъ существованія оно даже и не подозрѣвало. Кромѣ сего, онъ совершенно преобразовалъ стихотворный языкъ, а въ прозѣ шагнулъ далѣе Карамзина<sup>1)</sup>; вотъ главныя его заслуги. Собственныхъ его сочиненій не- много; труды его—или переводы, или передѣлки, или подражанія иностраннымъ. Языкъ смѣлый, энергіческій, хотя и не всегда согласный съ чув- ствомъ, односторонняя мечтательность, бывшая, какъ говорятъ, слѣдствіемъ обстоятельствъ его жизни—вотъ характеристика сочиненій Жуковскаго. Оши- баются тѣ, которые почитаютъ его подражателемъ нѣмцевъ и англичанъ: онъ не сталъ бы иначе писать и тогда, когда бъ былъ незнакомъ съ ними, если бъ только захотѣлъ быть вѣрнымъ самому себѣ. Онъ не былъ сыномъ XIX вѣка, но былъ, такъ сказать, прозелитомъ; присовокупите къ сему еще то, что его творенія, можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ проистекали изъ об- стоятельствъ его жизни, и вы поймете, отчего въ нихъ нѣтъ ідей міровыхъ, ідей человѣчества, отчего у него часто подъ самыми роскошными формами скрываются какъ будто Карамзинскія идеи (напр., „Мой другъ, хранитель ангелъ мой!“ и т. п.), отчего въ самыхъ лучшихъ его созданіяхъ (какъ, напр., въ „Пѣвцѣ во станѣ русскихъ воиновъ“) встрѣчаются мѣста совер- шенно риторическія. Онъ былъ заключенъ въ себѣ, и вотъ причина его односторонности, которая въ немъ есть оригинальность въ высочайшей сте- пени. По множеству своихъ переводовъ Жуковскій относится къ нашей ли- тературѣ, какъ Фоссъ или Авг. Шлегель къ нѣмецкой литературѣ. Знатоки

<sup>1)</sup> Я разумѣю здѣсь мелкія сочиненія Карамзина.

утверждаютъ, что онъ не переводилъ, а усвоивалъ русской словесности со-  
зданія Шиллеровъ, Байроновъ и проч.; въ этомъ, кажется, нѣтъ причины  
сомнѣваться. Словомъ, Жуковскій есть поэтъ съ необыкновеннымъ энергич-  
ескимъ талантомъ, поэтъ, оказавшій русской литературѣ неоцѣненные услуги,  
поэтъ, который никогда не забудется, котораго никогда не перестанутъ чи-  
тать; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и не такой поэтъ, котораго бы можно было на-  
звать поэтомъ собственно русскимъ, имя котораго можно бы было провоз-  
гласить на европейскомъ турнирѣ, гдѣ соперничествуютъ народными славами.

Много изъ сказаннаго о Жуковскомъ можно сказать и о Батюшковѣ. Сей  
послѣдній рѣшительно стоялъ на рубежѣ двухъ вѣковъ, поочередно пленялся и  
гнушался прошедшимъ, не признавъ и не быть признанъ наступившимъ. Это  
былъ человѣкъ не геніальный, но съ большимъ талантомъ. Какъ жаль, что  
онъ не зналъ нѣмецкой литературы: ему немногого недоставало для соверше-  
наго литературнаго обращенія. Прочтите его статью „о морали, основанной  
на религії“, и вы поймете эту тоску души и ея порывы къ безконечному  
послѣ упоенія сладострастіемъ, которыми дышать его гармоническія созда-  
нія. Онъ писалъ „о жизни и впечатлѣніяхъ поэта“, гдѣ, между дѣтскими  
мыслями, проискриваются мысли какъ будто иашего времени, и тогда же  
писалъ о какой-то „Легкой Поэзіи“, какъ будто бы была поэзія тяжелая. Не  
правда ли, что онъ не принадлежалъ вполнѣ ни тому, ни другому вѣку?...  
Батюшковъ, вмѣстѣ съ Жуковскимъ, былъ преобразователемъ стихотворнаго  
языка, т.-е. писалъ чистымъ, гармоническимъ языкомъ; проза его тоже лучше  
прозы мелкихъ сочиненій Карамзина. По таланту Батюшковъ принадлежитъ  
къ нашимъ второкласснымъ писателямъ и, по моему мнѣнію, ниже Жуков-  
скаго; о равенствѣ же его съ Пушкинымъ смѣшино и думать. Триумвирату,  
составленному нашими словесниками изъ Жуковскаго, Батюшкова и Пуш-  
кина, могли вѣрить только въ двадцатыхъ годахъ...

---

Было время!...

Народная поговорка.

Въ прошлѣй статьѣ я обозрѣлъ Карамзинскій періодъ нашей сло-  
весности, періодъ, продолжавшійся цѣлую четверть столѣтія. Цѣлый періодъ  
словесности, цѣлая четверть вѣка означеніемъ одного таланта,  
одного человѣка, а вѣдь четверть вѣка много, слишкомъ много значить для  
такой литературы, которая не дожила еще пяти лѣтъ до своего второго сто-  
лѣтія <sup>1)</sup>). И что же произвелъ великаго и прочнаго этотъ періодъ? Гдѣ тѣ-

---

1) Литература наша, безъ всякаго сомнѣнія, началась въ 1739 году, когда Ломоносовъ прислалъ изъ-за границы свою первую оду на взятие Хотина. Нужно ли повторять, что не съ Кантемира и не съ Тредьяковскаго, а тѣмъ болѣе не съ Симеона Полоцкаго, началась наша литература? Нужно ли доказывать, что „Слово о Полку Игоревѣ“, „Сказаніе о Донскомъ Побоищѣ“, краснорѣчивое „Послание

перь геніи, которыми онъ, бывало, такъ красовался и величался? Изо всѣхъ нихъ одинъ только великъ и бессмертенъ безъ всякихъ отношеній, и этотъ одинъ не заплатилъ дани Карамзину, который бралъ свою обычную дань даже и съ такихъ людей, кои были выше его и по таланту, и по образованію: говорю о Крыловѣ. Повторяю: что сдѣлано въ этотъ періодъ для бессмертія? Одинъ познакомилъ настъ нѣсколько, и притомъ одностороннимъ образомъ, съ нѣмецкою и англійскою литературой, другой съ французскимъ театромъ, третій съ французскою критикою XVII столѣтія, четвертый... Но гдѣ же литература? Не ищите ея: напрасенъ будетъ вашъ трудъ; пересаженные цвѣты недолговѣчны: это истина неоспоримая. Я сказалъ, что въ началѣ этого періода впервые родилась у настъ мысль о литературѣ: вслѣдствіе того появились у настъ и журналы. Но что такое были эти журналы? Невинное препровожденіе времени, дѣло отъ бездѣлья, а иногда и средство нажить денежку. Ни одинъ изъ нихъ не слѣдилъ за ходомъ просвѣщенія, ни одинъ не передавалъ своимъ соотечественникамъ успѣховъ человѣчества на поприщѣ самосовершенствованія. Помни, что въ какомъ-то чувствительномъ журналь, кажется въ 1813 году, было напечатано, что въ Англіи явился новый поэтъ, Биронъ, который пишетъ въ какомъ-то романическомъ родѣ и особенно прославился своею поэмой „Шильдъ Гарольдъ“; вотъ вамъ и все тутъ. Конечно, тогда не только въ Россіи, но отчасти и въ Европѣ смотрѣли на литературу не сквозь чистое стекло разума, а сквозь тусклый пузырь французского классицизма; но движеніе тамъ уже было начато и сами французы, умиrotворенные реставраціей, много поумнѣли противъ [прежняго и даже совершенно] переродились. Между тѣмъ наши литературные наблюдатели дремали, и только тогда проснулись, когда непріятель ворвался въ ихъ домы и началъ въ нихъ своевольно хоряничать; только тогда завопили они гласомъ великимъ: карауль! рѣжутъ! разбой! романтизмъ!...

За Карамзинскимъ періодомъ нашей словесности послѣдовалъ періодъ Пушкинскій, продолжавшійся почти ровно десять лѣтъ. Говорю Пушкинскій, ибо кто не согласится, что Пушкинъ былъ главою этого десятилѣтія, что все тогда шло отъ него и къ нему? Впрочемъ, я не то здѣсь думаю, чтобы Пушкинъ былъ для своего времени совершенно то же, что Карамзинъ для своего. Однако ужъ то, что его дѣятельность была безсознательно дѣятельностью художника, а не практическою и преднамѣренною дѣятельностью писателя, полагаетъ большую разницу между имъ и Карамзиномъ. Пушкинъ владычествовалъ единственно силою своего таланта и тѣмъ, что онъ былъ

Вассиана къ Иоанну III<sup>4</sup> и другіе исторические памятники, народныя пѣсни и сколастическое духовное краснорѣчіе имѣютъ точно такое же отношеніе къ нашей словесности, какъ и памятники допотопной литературы, если бы они были открыты, въ санскритской, греческой или латинской литературѣ? Такія истины наѣдно доказывать только гг. Гречу и Плаксину, съ коими я не намѣренъ вступать въ ученыя состязанія.

сыномъ своего вѣка; владычество же Карамзина въ послѣднее время основывалось на слѣпомъ уваженіи къ его авторитету. Пушкинъ не говорилъ, что поэзія есть то или то, а наука есть это или это; нѣть, онъ своими со-зданіями далъ мѣрило для первой и до нѣкоторой степени показать совре-менное значеніе другой. Въ то время, то есть въ двадцатыхъ годахъ (1814—1824), у настѣ глухо отдалось эхо умственного переворота, совершив-шагося въ Европѣ; тогда, хотя еще робко и неопределенно, начали поговора-ивать, что будто бы пьяный дикарь Шекспиръ неизмѣримо выше накрах-маленаго Расина, что Шлегель будто бы знаетъ объ искусствѣ побольше Лагарпа, что нѣмецкая литература не только не ниже французской, но даже несравненно выше; что почтенные гг. Буало, Баттѣ, Лагарпъ и Мармонтель безбожно оклеветали искусство, ибо сами мало смыслили въ немъ толку. Конечно, теперь въ этомъ никто не сомнѣвается, и доказывать подобныя истины значило бы навлечь на себя всеобщее посмѣяніе; но тогда, право, было не до смѣху: ибо тогда даже и въ Европѣ за подобныя безбожныя мысли угрожало инквизиторское ауто-да-фе; на что же рѣшались въ Россіи люди, которые дерзали утверждать, что Сумароковъ не поэтъ, что Херасковъ тяжеловатъ, и пр.? Изъ сего ясно, что чрезмѣрное вліяніе Пушкина про-исходило оттого, что, въ отношеніи къ Россіи, онъ былъ сыномъ своего вре-мени въ полномъ смыслѣ сего слова, что онъшелъ паравнѣ съ своимъ оте-чество-вомъ, былъ представителемъ развитія его умственной жизни: слѣдовательно его владычество было законное. Карамзинъ, напротивъ, какъ мы ви-дѣли выше, въ девятнадцатомъ вѣкѣ былъ сыномъ осьмнадцатаго и даже, въ нѣкоторомъ смыслѣ, не вполнѣ его выразилъ, ибо, по своимъ идеямъ, не возвысился даже и до него, слѣдовательно его вліяніе было законно только развѣ до появленія Жуковскаго и Батюшкова, начиная съ коихъ его могущественное вліяніе только задерживало успѣхи нашей словесности. По-явленіе Пушкина было зреющимъ умилительнымъ; поэтъ-юноша, благословен-ный помазаннымъ старцемъ Державинымъ, стоявшимъ на краю гроба и готовившимъ склонить въ него свою лавровѣнчанную главу; поэтъ-мужъ, подающій ему руку чрезъ неизмѣримую пропасть цѣлаго столѣтія, раздѣляв-шаго, въ нравственномъ смыслѣ, два поколѣнія; наконецъ, ставшій подъ него и вмѣстѣ съ нимъ образующій двойственное лучезарное созвѣздіе на пустынномъ небосклонѣ нашей литературы!...

Классицизмъ и романтизмъ—вотъ два слова, коимъ огласился Пушкин-скій періодъ нашей словесности; вотъ два слова, на кои были написаны книги, разсужденія, журнальныя статьи и даже стихотворенія, съ коими мы засыпали и просыпались, за кои дрались на-смерть, о коихъ спорили до слезъ и въ классахъ, и въ гостиныхъ, и на площадяхъ, и на улицахъ! Теперь эти два слова сдѣлялись какъ-то пошлыми и смѣшными; какъ-то странно и дико встрѣтить ихъ въ печатной книгѣ или услышать въ разго-ворѣ. А давно ли кончилось это „тогда“ и началось это „теперь“? Какъ же

послѣ сего не скажешь, что все летить впередъ на крыльяхъ вѣтра? Только развѣ въ какомъ-нибудь „Дагестанѣ“ можно еще съ важностю разсуждать объ этихъ почившихъ страдальцахъ—классицизмъ и романтизмъ, и выдавать намъ за новость, что Расинъ немножко приторенъ, что энциклопедисты немножко врали, что Шекспиръ, Гете и Шиллеръ велики, а Шлегель говорилъ правду, и пр. И это нисколько не удивительно: вѣдь Дагестанъ въ Азіи!..

Въ Европѣ классицизмъ былъ литературнымъ католицизмомъ. Въ папы онаго былъ выбранъ, безъ его вѣдома и согласія, покойникъ Аристотель какимъ-то непризнаннымъ конклавомъ; инквизицію этого католицизма была французская критика; великими инквизиторами: Буало, Баттѣ и Лагаріѣ съ братіею; предметами обожанія: Корнель, Расинъ, Вольтеръ и другіе. Волею или неволею, гг. инквизиторы завербовали въ свой календарь и древнихъ, а въ числѣ ихъ и вѣчнаго старца Гомера (вмѣстѣ съ Виргилемъ), Тасса, Ариоста, Мильтона, кои (за исключеніемъ, можетъ быть, вставочнаго) не виноваты въ классицизмѣ ни душою, ни тѣломъ, ибо были естественны въ своихъ твореніяхъ. Такъ дѣлали до XVIII столѣтія. Наконецъ, все перевернулось: бѣлое стало чернымъ, а черное бѣлымъ. Лицемѣрный, развратный, приторный осьмнадцатый вѣкъ испустилъ свое послѣднее дыханіе, и съ девятнадцатымъ столѣтіемъ умъ и вкусъ возродились для новой, лучшей жизни. Подобно страшному метеору, въ началѣ его, возникъ сынъ судьбы, облеченный всею ея ужасающею мощью или, лучше сказать, сама судьба явилась въ образѣ Наполеона, того Наполеона, который сдѣлался „властителемъ нашихъ думъ“, говоря о которомъ и самая посредственность возвышалась до поэзіи. Вѣкъ принялъ гигантскіе размѣры и облекся въ исполинское величіе; Франція устыдила самой себя и съ ругательнымъ смѣхомъ начала указывать пальцемъ на жалкія развалины минувшаго времени, которыхъ, какъ бы не замѣчая великихъ переворотовъ, совершившихся передъ ихъ глазами, даже при роковомъ переходѣ черезъ Березину, взмостившихся на сукѣ дерева, окостенѣлою рукою завивали свои буки и посыпали ихъ завѣтною пудрою, тогда какъ вокругъ нихъ бушевала зимняя выюга мистического сѣвера и люди падали тысячами, одѣпленные страхомъ и холодомъ... Итакъ, французы, слишкомъ пораженные этими великими событиями, сдѣлались постененѣе и посолиднѣе, перестали прыгать на одной ножѣ; это было первымъ шагомъ къ ихъ обращенію къ истинѣ. Потомъ они узнали, что у ихъ сосѣдей, у неповоротливыхъ нѣмцевъ, коихъ они всегда выставляли за образецъ эстетического безвкусія, есть литература,—литература, достойная глубокаго и основательнаго изученія, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, узнали, что ихъ прославленные поэты и философы совсѣмъ не поставили Геркулесовскихъ столбовъ генію человѣческому. Всѣмъ извѣстно, какъ все это сдѣлалось, и потому не хочу распространяться о томъ, что Шатобранъ былъ крестнымъ отцомъ, а г-жа Сталь повивальною бабкою юнаго романтизма во Франціи. Скажу только, что этотъ романтизмъ былъ не иное что, какъ возвращеніе

къ естественности, а слѣдственно самобытности и народности въ искусствѣ, предпочтеніе, оказанное идеѣ надъ формою, и сверженіе чуждыхъ и тѣсныхъ формъ древности, которая къ произведеніямъ новѣйшаго искусства шла точно такъ же, какъ идетъ къ напудренному парику, шитому камзолу и выбритой бородѣ греческій хитонъ или римская тога. Отсюда слѣдуетъ, что этотъ такъ называемый романтизмъ былъ очень старая новость, а отнюдь не чадо XIX вѣка; былъ, такъ сказать, народностью нового христіанскаго міра Европы. Германія была искони вѣковъ романтическою страною по преимуществу, какъ по феодальнымъ формамъ своего правленія, такъ и по идеальному направленію своей умственной дѣятельности. Реформація убила въ ней католицизмъ, а вмѣстѣ съ нимъ и классицизмъ. Эта же самая реформація, хотя нѣсколько въ другомъ видѣ, развязала руки и Англіи. Шекспиръ былъ романтикъ. Очевидно, что романтизмъ былъ новостію только для одной Франціи и еще для тѣхъ государствъ, где совсѣмъ не было литературы, т.-е. Швеціи, Даніи и т. п. И Франція бросилась на эту старую новинку со всему своею живостію и увлекла за собою безлитературныя государства. Юная словесность есть не иное что, какъ реакція старой; и какъ во Франціи общественная жизнь и литература идутъ обѣ руку, то и нимало не удивительно, что нынѣшняя ихъ литература отличается излишествомъ: реакціи никогда не бываютъ умѣренны. Теперь во Франціи изъ одной моды всякий хочетъ быть глубокимъ и энергическимъ, подобно кому-нибудь Феррагусу, такъ какъ прежде всякий изъ моды не хотѣлъ быть вѣтренымъ, безпечнымъ, легковѣрнымъ и ничтожнымъ.

И однако же,—странные дѣло!—никогда не проявлялось въ Европѣ такого дружного и сильного стремленія сбросить съ себя оковы классицизма, схоластицизма, педантизма или глупицизма (это все одно и то же). Байронъ, другой „властитель нашихъ думъ“, и Вальтеръ-Скоттъ раздавили своими твореніями школу Попа и Блера и возвратили Англіи романтизмъ. Во Франціи явился Викторъ Гюго съ толпою другихъ мощныхъ талантовъ, въ Польшѣ Мицкевичъ, въ Италии Манцони, въ Даніи Эленшлѣгеръ, въ Швеціи Тегнєръ. Неужели только Россіи суждено было остаться безъ своего литературнаго Лютера?

Въ Европѣ классицизмъ былъ не что иное, какъ литературный католицизмъ; что же такое былъ онъ въ Россіи? Не трудно отвѣтить на этотъ вопросъ: въ Россіи классицизмъ былъ ни больше ни меньше, какъ слабый отголосокъ европейскаго эха, для объясненія коего совсѣмъ не нужноѣздить въ Индію на пароходѣ „Джонъ-Буль“. Пушкинъ не натягивался, былъ всегда истиненъ и искрененъ въ своихъ чувствахъ, творилъ для своихъ идей свои формы: вотъ его романтизмъ. Въ этомъ отношеніи и Державинъ былъ почти такой же романтикъ, какъ и Пушкинъ; причина этому, повторяю, скрывается въ его невѣжествѣ. Будь этотъ человѣкъ учень — и у настъ было бы два Хераскова, коихъ было бы трудно отличить другъ отъ друга.

Итакъ, третье десятилѣтіе XIX вѣка было ознаменовано вліяніемъ Пушкина. Что могу сказать я новаго объ этомъ человѣкѣ? Признаюсь, еще въ первый разъ поставилъ я себя въ затруднительное положеніе, взявшись судить о русской литературѣ; еще въ первый разъ я жалѣю о томъ, что природа не дала мнѣ поэтическаго таланта, ибо въ природѣ есть такие предметы, о коихъ грѣшно говорить смиренною прозою!

Какъ медленно и нерѣшительно шелъ или, лучше сказать, хромалъ Карамзинскій періодъ, такъ быстро и скоро шелъ періодъ Пушкинскій. Можно сказать утвердительно, что только въ прошлое десятилѣтіе проявилась въ нашей литературѣ жизнь, и какая жизнь!—тревожная, кипучая, дѣятельная! Жизнь есть дѣйствованіе, дѣйствованіе есть борьба, а тогда боролись и дрались не на животъ, а на смерть. У насъ нападаютъ иногда на полемику, въ особенности журнальную. Это очень естественно. Люди, хладнокровные къ умственной жизни, могутъ ли понять, какъ можно предпочитать истину приличіямъ и изъ любви къ ней навлекать на себя ненависть и гоненіе? О! имъ никогда не постичь, что за блаженство, что за сладострастіе души сказать какому-нибудь генію въ отставкѣ безъ мундира, что онъ смѣшонъ и жалокъ съ своими дѣтскими претензіями на величость, растолковать ему, что онъ не себѣ, а крикуну-журналиstu обязанъ своею литературною значительностію; сказать какому-нибудь ветерану, что онъ пользуется своимъ авторитетомъ на кредитъ, по старымъ воспоминаніямъ или по старой привычкѣ; доказать какому-нибудь литературному учителю, что онъ близорукъ, что онъ отсталъ отъ вѣка и что ему надо переучиваться съ азбуки; сказать какому-нибудь выходцу Богъ вѣсть откуда, какому-нибудь пройдохѣ и Видоку, какому-нибудь литературному торгашу, что онъ оскорбляетъ собою и эту словесность, которую занимается, и этихъ добрыхъ людей, кредитомъ коихъ пользуется, что онъ наругался и надѣлъ святостію истины, и надѣлъ святостію знанія, заклеймить его имя позоромъ отверженія, сорвать съ него маску, хотя бы она была и баронская, и показать ее свѣту во всей его наготѣ!.. Говорю вамъ, во всемъ этомъ есть блаженство неизъяснимое, сладострастіе безграницное! Конечно, въ литературныхъ ошибкахъ иногда нарушаются законы приличія и общежительности, но умный и образованный читатель пропустить безъ вниманія пошлые намеки о желтикахъ, объ утиныхъ носахъ, семинаристахъ, гарѣ, полугарѣ, купцахъ и аршинникахъ; онъ всегда сумѣеть отличить истину отъ лжи, человѣка отъ слабости, талантъ отъ заблужденія; читатели же невѣжды не сдѣлаются оттого ни глупѣе, ни умнѣе. Будь все тихо и чинно, будь вездѣ комплименты и вѣжливости,—тогда какой просторъ для безсовѣстности, шарлатанства, невѣжества: некому обличить, некому изречь грозное слово правды!...

Итакъ, періодъ Пушкинскій былъ ознаменованъ движеніемъ жизни въ высочайшей степени. Въ это десятилѣтіе мы перечувствовали, перемыслили и пережили всю умственную жизнь Европы, эхо которой отдалось къ намъ

черезъ Балтійское море. Мы обо всемъ пересудили, обо всемъ переспорили, все усвоили себѣ, ничего не взростивши, не ваделъявиши, не создавши сами. За насть трудились другіе, а мы только брали готовое и пользовались имъ: въ этомъ-то и заключается тайна неимовѣрной быстроты нашихъ успѣховъ и причина ихъ неимовѣрной непрочности. Этимъ же, кажется мнѣ, можно объяснить и то, что отъ этого десятилѣтія, столь живого и дѣятельнаго, столь обильнаго талантами и геніями, уѣлѣль едва одинъ Пушкинъ, и, осиротѣлый, теперь съ грустію видѣть, какъ имена, вмѣстѣ съ нимъ взошедшия на горизонтъ нашей словесности, исчезаютъ одно за другимъ въ пучинѣ забвѣнія, какъ исчезаетъ въ воздухѣ недосказанное слово... Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ же теперь эти юныя надежды, которыми мы такъ гордились? Гдѣ эти имена, о коихъ бывало только и слышно? Почему они всѣ такъ внезапно смолкли? Воля ваша, а мнѣ сдается, что тутъ что-нибудь да есть! Или, въ самомъ дѣлѣ, время есть самый строгій, самый правдивый Аристархъ?.. Увы!.. Развѣ талантъ Озерова или Батюшкова былъ ниже таланта, напримѣръ, г. Баратынскаго и г. Подолинскаго? Явись Капнистъ, В. и А. Измайловы, В. Пушкинъ, явись эти люди вмѣстѣ съ Пушкинымъ во цвѣтѣ юности, и они, право, не были бы смѣшны и при тѣхъ скучныхъ дарованияхъ, которыми наградила ихъ природа. Отчего же такъ? Оттого, что подобные таланты могутъ быть и не быть, смотря по обстоятельствамъ.

Подобно Карамзину, Пушкинъ былъ встрѣченъ громкими рукоплесканіями и свистомъ, которые только недавно перестали его преслѣдоватъ. Ни одинъ поэтъ на Руси не пользовался такою народностію, такою славою при жизни, и ни одинъ не былъ такъ жестоко оскорблѣемъ. И кѣмъ же?—людьми, которые сперва пресмыкались предъ нимъ во прахѣ, а потомъ кричали *chute complète*—людьми, которые велегласно объявили о себѣ, что у нихъ въ мизинцахъ больше ума, чѣмъ въ головахъ всѣхъ нашихъ литераторовъ! Дивные мизинчики, любопытно бы взглянуть на нихъ! Но не о томъ дѣло. Вспомните состояніе нашей литературы до двадцатыхъ годовъ. Жуковскій уже совершилъ тогда большую часть своего поприща; Батюшковъ умолкъ навсегда; Державинъ восхищался вмѣстѣ съ Сумароковыи и Херасковыи по лекціямъ Мерзлякова. Не было жизни, не было ничего нового; все тащилось по старой колѣ; какъ вдругъ появились „Русланъ и Людмила“,—созданіе, рѣшительно не имѣвшее себѣ образца ни по гармоніи стиха, ни по формѣ, ни по содержанію. Люди безъ претензій на ученость, люди, вѣрившіе своему чувству, а не шитикамъ, или сколько-нибудь знакомые съ современною Европою, были очарованы этимъ явленіемъ. Литературные судіи, державшіе въ рукахъ жезль критики, съ важностью развернули „Лицей“ (въ переводѣ г. Мартынова „Ликей“) Лагарпа и „Словарь Древнія и Новыя Поэзій“ г. Остолопова и, увидя, что новое произведеніе не подходило ни подъ одну изъ извѣстныхъ категорій, и что на греческомъ и латинскомъ языкахъ не было образца оному, торжественно объявили, что оно было неза-

конное чадо поэзии, непростительное заблуждение таланта. Не всё, конечно, тому и поверили. Воть и пошла потьха. Классицизмъ и романтизмъ вѣ-пились другъ другу въ волосы. Но оставимъ ихъ въ покой и поговоримъ о Пушкинѣ.

Пушкинъ былъ совершеннымъ выражениемъ своего времени. Одарен-ный высокимъ поэтическимъ чувствомъ и удивительною способностью при-нимать и отражать всѣ возможныя ощущенія, онъ перепробовалъ всѣ тоны, всѣ лады, всѣ аккорды своего вѣка; онъ заплатилъ дань всѣмъ великимъ современнымъ событиямъ, явленіямъ и мыслямъ, всему, что только могла чувствовать тогда Россія, переставшая вѣрить въ несомнѣнность „вѣковыхъ правилъ, самою мудростью извлеченныхъ изъ писаній великихъ геніевъ“, и съ удивленіемъ узнавшая о другихъ правилахъ, о другихъ мірахъ мыс-лей и понятій, и новыхъ, неизвѣстныхъ ей дотолѣ взглядахъ на давно извѣстныя ей дѣла и события. Несправедливо говорять, будто онъ подра-жалъ Шене, Байрону и другимъ: Байронъ владѣлъ имъ не какъ образецъ, но какъ явленіе, какъ властитель думъ вѣка, а я сказалъ, что Пушкинъ заплатилъ свою дань каждому великому явленію. Да, Пушкинъ былъ выра-женіемъ современного ему міра, представителемъ современного ему человѣчества,—но міра русскаго, но человѣчества русскаго. Что дѣлать? Мы всѣ геніи-самоучки, мы все знаемъ, ничему не учившись, все пріобрѣли, не проливши ни капли крови, а веселись и играли; словомъ,

Мы всѣ учились понемногу  
Чему-нибудь и какъ нибудь.

Пушкинъ отъ шумныхъ оргій разгульной юности переходилъ къ су-ровому труду,

Чтобы въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ,

отъ труда опять къ младымъ пирамъ, сладкому бездѣллю и легкокрылому похмелью. Ему недоставало только нѣмецко-художественного воспитанія. Баловень природы, онъ, шаля и играя, похищалъ у ней пленительные образы и формы, и, снискодительная къ своему любимцу, она роскошно одѣяла его тѣми цветами и звуками, за которые другіе жертвуютъ ей наслажде-ніями юности, которые покупаютъ у ней цѣною отреченія отъ жизни... Какъ чародѣй, онъ въ одно и то же время исторгаль у насть и смѣхъ, и слезы, игралъ по волѣ нашими чувствами... Онъ пѣлъ, и какъ изумлена была Русь звуками его пѣсень: и не диво, она еще никогда не слыхала подобныхъ; какъ жадно прислушивалась она къ нимъ: и не диво, въ нихъ трепетали всѣ нервы ея жизни! Я помню это время, счастливое время, когда въ глухи провинціи, въ глухи уѣзднаго городка, въ лѣтніе дни, изъ растворенныхъ оконъ, носились по воздуху эти звуки, „подобные шуму волнъ“ или „ жур-чанію ручья“...

Невозможно обозрѣть всѣхъ его созданій и опредѣлить характеръ каждого: это значило бы перечесть и описать всѣ деревья и цвѣты Армидина сада. У Пушкина мало, очень мало мелкихъ стихотвореній; у него по большей части все поэмы: его поэтическія тризны надъ урнами великихъ, то есть его „Андрей Шенье“, его могучая бесѣда съ моремъ, его вѣщая дума о Наполеонѣ—поэмы. Но самые драгоценныя алмазы его поэтическаго вѣнка, безъ сомнѣнія, суть „Евгений Онѣгінъ“ и „Борисъ Годуновъ“. Я никогда не кончилъ бы, если бы началъ говорить о сихъ произведеніяхъ.

Пушкинъ царствовалъ десять лѣтъ: „Борисъ Годуновъ“ былъ послѣднимъ великимъ его подвигомъ; въ третьей части полнаго собранія его стихотвореній замерли звуки его гармонической лиры. Теперь мы не узнаемъ Пушкина; онъ умеръ или, можетъ быть, только обмеръ на время. Можетъ быть, его уже нѣтъ, а можетъ быть онъ и воскреснетъ; этотъ вопросъ, это Гамлетовское „быть или не быть“ скрывается во мглѣ будущаго. По крайней мѣрѣ, судя по его сказкамъ, по его поэмѣ „Анжело“ и по другимъ произведеніямъ, обрѣтающимся въ „Новосельѣ“ и „Библіотекѣ для Чтенія“, мы должны оплакивать горькую, невозвратную потерю. Гдѣ теперь эти звуки, въ коихъ слышалось, бывало, то удающее разгулье, то сердечная тоска, гдѣ эти вспышки пламеннааго и глубокаго чувства, потрясавшаго сердца, сжимавшаго и волновавшаго груди—эти вспышки остроумія тонкаго и язвительнаго, этой ироніи, вмѣстѣ злой и тоскливой, которая поражали умъ своею игрой; гдѣ теперь эти картины жизни и природы, передъ которыми была блѣдна жизнь и природа?.. Увы! вмѣсто ихъ мы читаемъ теперь стихи съ правильною цезурою, съ богатыми и полубогатыми риѳмами, съ пітическими вольностями, о коихъ такъ пространно, такъ удовлетворительно и такъ глубоко-мысленно разсуждали архимандритъ Аполлосъ и г. Остолововъ!.. Странная вещь, непонятная вещь! Неужели Пушкина, котораго не могли убить ни изступленія похвалы энтузіастовъ, ни хвалебные гимны торгашей, ни сильныя, нерѣдко справедливыя нападки и порицанія его антагонистовъ, неужели, говорю я, этого Пушкина убило „Новоселье“ г. Смирдина? И однакоже не будемъ слишкомъ поспѣшны и опрометчивы въ нашихъ заключеніяхъ; предоставимъ времени рѣшить этотъ запутанный вопросъ. О Пушкинѣ судить не легко. Вы, вѣрно, читали его „Элегію“ въ октябрской книжкѣ „Библіотеки для Чтенія“? Вы, вѣрно, были потрясены глубокимъ чувствомъ, которымъ дышитъ это созданіе? Упомянутая „Элегія“, кромѣ утѣшительныхъ надеждъ, подаваемыхъ ею о Пушкинѣ, еще замѣчательна и въ томъ отношеніи, что заключаетъ въ себѣ самую вѣрную характеристику Пушкина, какъ художника:

Порой опять гармоніей упьююсь,  
Надъ вымысломъ слезами обольюсь.

Да, я свято вѣрю, что онъ вполнѣ раздѣлялъ безотрадную муку отвержен-

ной любви черноокой черкешенки, или своей плёнительной Татьяны, этого лучшаго и любимъшаго идеала его фантазіи; что онъ, вмѣстѣ съ своимъ мрачнымъ Гиреемъ, томился этою тоскою души, пресыщенной наслажденіями и все еще не вѣдавшой наслажденія; что онъ горѣлъ неистовыемъ огнемъ ревности, вмѣстѣ съ Заремою и Алеко, и упивался дикою любовью Земфиры; что онъ скорбѣлъ и радовался за свои идеалы, что журчаніе его стиховъ согласовалось съ его рыданіями и смѣхомъ... Пусть скажутъ, что это пристрастіе, идолопоклонство, дѣтство, глупость, но я лучше хочу вѣрить тому, что Пушкинъ мистифицируетъ „Библіотеку для Чтенія“, чѣмъ тому, что его талантъ погасъ. Я вѣрю, думаю, и мнѣ отрадно вѣрить и думать, что Пушкинъ подаритъ насы новыми созданіями, которыхъ будутъ выше прежнихъ...

Вмѣстѣ съ Пушкинымъ появилось множество талантовъ, теперь большою частію забытыхъ или готовящихся быть забытыми, но нѣкогда имѣвшихъ алтари и поклонниковъ; теперь изъ нихъ

Иныхъ ужъ нѣть, а тѣ далече,  
Какъ Сади нѣкогда сказалъ!

Г. Баратынскаго ставили на одну доску съ Пушкинымъ; ихъ имена всегда были неразлучны, даже однажды два сочиненія сихъ поэтовъ явились въ одной книжкѣ, подъ однимъ переплетомъ. Говоря о Пушкинѣ, я забылъ замѣтить, что только нынѣ его начинаютъ цѣнить по достоинству, ибо уже реакція кончилась, партіи поохолодѣли. Итакъ, теперь даже и въ шутку никто не поставитъ имени Баратынскаго подъ имени Пушкина. Это значило бы жестоко издѣваться надъ первымъ и не знать цѣны второму. Поэтическое дарование г. Баратынскаго не подвержено ни малѣйшему сомнѣнію. Правда, онъ написалъ плохую поэму „Пиры“, плохую поэму „Эдда“ (Бѣдную Лизу въ стихахъ), плохую поэму „Наложницу“, но вмѣстѣ написалъ и нѣсколько прекрасныхъ элегій, дышащихъ неподѣльнымъ чувствомъ, изъ коихъ „На смерть Гете“ можетъ называться образцовою,—нѣсколько посланий, отличающихся остроуміемъ. Прежде его возвышали не по заслугамъ; теперь, кажется, унижаютъ неосновательно. Замѣчу еще, что г. Баратынскій обнаруживалъ во времена оны претензіи на критической талантъ, теперь, я думаю, онъ и самъ разувѣрился въ немъ.

Козловъ принадлежитъ къ замѣчательнѣйшимъ талантамъ Пушкинского периода. По формѣ своихъ сочиненій онъ всегда былъ подражателемъ Пушкина, по господствующему же чувству оныхъ, кажется, находился подъ вліяніемъ Жуковскаго. Всѣмъ извѣстно, что несчастіе пробудило поэтический талантъ Козлова: посему какое-то грустное чувство, покорность волѣ про видѣнія и упованіе на мздовоздаяніе за гробомъ составляютъ отличительный характеръ его созданій. Его „Чернецъ“, надъ коимъ пролито столько слезъ прекрасными читательницами и который былъ склономъ съ Байронова „Джюара“, особенно отличается этимъ одностороннимъ характеромъ; послѣ-

довавшія за нимъ поэмы были постепенно слабѣе. Мелкія сочиненія Козлова отличаются неподѣльнымъ чувствомъ, роскошною живописностью картинъ, звучнымъ и гармоническимъ языкомъ. Какъ жаль, что онъ писалъ баллады! Баллада безъ народности есть родъ ложный и не можетъ возбуждать участія. При томъ же онъ силялся создать какую-то славянскую балладу. Славяне жили давно и мало известны намъ; такъ для чего же выводить на сцену онѣмеченныхъ Всемиль и Остановъ? Козловъ много повредилъ своей художнической знаменитости еще и тѣмъ, что иногда писалъ какъ будто отъ скучи: это въ особенности можно сказать о его нынѣшнихъ произведеніяхъ.

Теперь мнѣ остается сказать объ одномъ поэты, не похожемъ ни на одного изъ всѣхъ упомянутыхъ мною, поэтъ оригинальномъ и самобытномъ, не признавшемъ надъ собою вліянія Пушкина, и едва ли не равномъ ему: говорю о Грибоѣдовѣ. Этотъ человѣкъ слишкомъ много надеждъ унесъ съ собою въ гробъ. Онъ былъ назначенъ быть творцомъ русской комедіи, творцомъ русского театра.

Театра!.. Любите ли вы театръ такъ, какъ я люблю его, то есть всѣми силами души вашей, со всѣмъ энтузіазомъ, со всѣмъ изступленіемъ, къ которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлѣній изящнаго? Или, лучше сказать, можете ли вы не любить театра больше всего на свѣтѣ, кромѣ блага и истины? И въ самомъ дѣлѣ, не сосредоточиваются ли въ немъ всѣ чары, всѣ обаянія, всѣ обольщенія изящныхъ искусствъ? Не есть ли онъ исключительно самовластный властелинъ нашихъ чувствъ, готовый во всякое время и при вскихъ обстоятельствахъ возбуждать и волновать ихъ, какъ воздымаѣтъ ураганъ песчаныя метели въ безбрежныхъ степяхъ Аравіи?.. Какое изъ всѣхъ искусствъ владѣеть такими могущественными средствами поражать душу впечатлѣніями и играть ею самовластно... Лиризмъ, эпопея, драма—отдаете ли вы чему-нибудь изъ нихъ рѣшительное предпочтеніе или все это любите одинаково? Трудный выборъ, не правда ли? Вѣдь въ мощныхъ строфахъ богатыря Державина и въ разнообразныхъ напѣвахъ протея Пушкина предображается та же самая природа, чѣмъ и въ поэмахъ Байрона или романахъ Вольтеръ-Скотта, а въ сихъ послѣдніхъ та же самая, что и въ драмахъ Шекспира и Шиллера! И однажде я люблю драму предпочтительно, и, кажется, это общий вкусъ. Лиризмъ выражаетъ природу неопределенно и, такъ сказать, музыкально; его предметъ—вся природа во всей ея безконечности; предметъ же драмы есть исключительно человѣкъ и его жизнь, въ которой проявляется высшая, духовная сторона всеобщей жизни вселенной. Между искусствами драма есть то же, что исторія между науками. Человѣкъ всегда былъ и будетъ самимъ любопытѣйшимъ явленіемъ для человѣка, а драма представляетъ этого человѣка въ его вѣчной борьбѣ съ своимъ я и съ своимъ назначеніемъ, въ его вѣчной дѣятельности, источникъ которой есть стремленіе къ какому-то темному идеалу блаженства, рѣдко

имъ постигаемаго и еще рѣже достигаемаго. Сама эпопея оть драмы занимаетъ свое достоинство: романъ безъ драматизма вѣль и скученъ. Въ нѣкоторомъ смыслѣ эпопея есть только особенная форма драмы. Итакъ полагимъ, что драма есть если не лучшій, то ближайшій къ намъ родъ поэзіи. Что же такое театръ, гдѣ эта могущественная драма облекается съ головы до ногъ въ новое могуществво, гдѣ она вступаетъ въ союзъ со всѣми искусствами, призываетъ ихъ на свою помощь и береть у нихъ всѣ средства, всѣ оружія, изъ коихъ каждое, отдельно взятое, слишкомъ сильно для того, чтобы вырвать васъ изъ тѣснаго міра суетъ и ринуть въ безбрежный міръ высокаго и прекраснаго? Чѣмъ же такое, спрашиваю васъ, этотъ театръ?.. О, это истинный храмъ искусства, при входѣ въ который вы мгновенно отдѣляетесь оть земли, освобождаетесь оть житейскихъ отношеній! Эти звуки настраиваемыхъ въ оркестрѣ инструментовъ томятъ вашу душу ожиданіемъ чего-то чудеснаго, сжимаютъ ваше сердце предчувствіемъ какого-то неизѣянно-сладостнаго блаженства; этотъ народъ, наполняющій огромный амфитеатръ, раздѣляетъ ваше нетерпѣливо ожиданіе, вы сливаетесь съ нимъ въ одномъ чувствѣ; этотъ роскошный и великолѣпный занавѣсь, это море огней намекаетъ вамъ о чудесахъ и дивахъ, разсѣянныхъ по прекрасному Божію творенію и со-средоточенныхъ на тѣсномъ пространствѣ сцены! И вотъ грянула оркестръ—и душа ваша предошущаетъ въ его звукахъ тѣ впечатлѣнія, которыя готовятся поразить ее; и вотъ поднялся занавѣсь—и передъ взорами вашими разливается безконечный міръ страстей и судеб человѣческихъ! Вотъ умоляющіе вопли кроткой и любящей Дездемоны мѣшаются съ бѣшенными волнами ревниваго Отелло; вотъ, среди глубокой полночи, появляется леди Макбетъ, съ обнаженною грудью, съ растрепанными волосами, и тщетно старается стереть съ своей руки кровяныя пятна, которыя морещатся ей въ мукахъ мстительной совѣсти; вотъ выходитъ бѣдный Гамлетъ съ его завѣтнымъ вопросомъ „быть или не быть“; вотъ проходить передъ вами и божественный мечтатель Поза, и два райскіе цвѣтка—Максъ и Текла, съ ихъ небесною любовію, словомъ, весь роскошный и безграницный міръ, созданный плодотворною фантазіею Шекспировъ, Шиллеровъ, Гёте, Вернеровъ... Вы здѣсь живете не своею жизнію, страдаете не своими скорбями, радуетесь не своимъ блаженствомъ, трепещете не за свою опасность; здѣсь ваше холодное я исчезаетъ въ пламенномъ зеирѣ любви. Если васъ мучить тѣгостная мысль о трудномъ подвигѣ вашей жизни и слабости вашихъ силъ, вы здѣсь забудете ее; если душа ваша алкала когда-нибудь любви и упоенія, если въ вашемъ воображеніи мелькалъ когда-нибудь, подобно легкому видѣнію ночи, какой-то прѣнительный образъ, давно вами забытый, какъ мечта несбыточная,—здѣсь эта жажды вспыхнетъ въ васъ съ новою, неукротимою силой, здѣсь этотъ образъ снова явится вамъ, и вы увидите его очи, устремленныя на васъ съ тоскою и любовію, упьетесь его обаятельнымъ дыханіемъ, содрогнетесь отъ огненнаго прикосновенія его руки... Но

возможно ли описать всю очарованія театра, всю его магическую силу надъ душою человѣческою?.. О, какъ было бы хорошо, если бы у насъ былъ свой, народный, русскій театръ!.. Въ самомъ дѣлѣ, видѣть на сценѣ всю Русь, съ ея добромъ и зломъ, съ ея высокимъ и смѣшнымъ, слышать говорящими ея доблестныхъ героевъ, вызванныхъ изъ гроба могуществомъ фантазіи, видѣть біеніе пульса ея могучей жизни... О, ступайте, ступайте въ театръ, живите и умрите въ немъ, если можете!..

Но,—увы!—все это поэзія, а не проза, мечты, а не существенность! Тамъ, то есть въ томъ большомъ домѣ, который называютъ русскимъ театромъ, тамъ, говорю я, вы увидите пародіи на Шекспира и Шиллера, пародіи смѣшныя и безобразныя; тамъ выдаютъ вамъ за трагедію корчи воображенія; тамъ васъ потчуютъ жизнью, вывороченою наизнанку, словомъ, тамъ

. . . Мельпомены бурной  
Протяжно раздается вой,  
Тамъ машетъ мантіей мишурной  
Она предъ хладною толпою!

Говорю вамъ, не ходите туда; это очень скучная забава!.. Но не будемъ слишкомъ строги къ театру: не его вина, что онъ такъ плохъ. Гдѣ у насъ драматическая литература, гдѣ драматические таланты? Гдѣ наши трагики, наши комики? Ихъ много, очень много; ихъ имена всѣмъ известны, и потому не хочу перебирать ихъ, ибо мои похвалы ничего не прибавятъ къ той громкой славѣ, которою они по справедливости пользуются. Итакъ, обращаясь къ Грибоѣдову.

Грибоѣдова комедія или драма (я не совсѣмъ хорошо понимаю разлічие между этими двумя словами; значенія же слова трагедія совсѣмъ не понимаю) давно ходила въ рукописи. О Грибоѣдовѣ, какъ и о всѣхъ примѣчательныхъ людяхъ, было много толковъ и споровъ; ему завидовали нѣкоторые наши геніи, въ то же время удивлявшіеся „Ябедѣ“ Кацниста; ему не хотѣли отдавать справедливости тѣ люди, кои удивлялись, гг. АВ., ЕД., ЕФ. и пр. Но публика разсудила иначе: еще до печати и представлѣнія рукописная комедія Грибоѣдова разлилась по Россіи бурнымъ потокомъ.

Комедія, по моему мнѣнію, есть такая же драма, какъ и то, чтобъ обыкновенно называется трагедіей; ея предметъ есть представлѣніе жизни въ противорѣчіи съ идеей жизни; ея элементъ есть не то невинное остротѣ, которое добродушно издѣвается надъ всѣмъ изъ одного желанія позубоскальть; нѣть, ея элементъ есть этотъ желчный юморъ, это грозное негодованіе, которые не улыбается шутливо, а хохочетъ яростно, которое преслѣдуетъ ничтожество и эгоизмъ не эпиграммами, а сарказами.

Комедія Грибоѣдова есть истинная *divina commedia*! Это совсѣмъ не смѣшной анекдотецъ, переложенный на разговоры, не такая комедія, гдѣ дѣйствующія лица нарицаются Добряковыми, Плутоватинами, Обиравовыми

и пр.; ея персонажи давно были вамъ извѣстны въ натурѣ, вы видѣли, знали ихъ еще до прочтенія „Горя отъ ума“, и однажды вы удивляетесь имъ, какъ явленіемъ, совершенно новымъ для васъ: вотъ высочайшая истина поэтическаго вымысла! Лица, созданныя Грибоѣдовымъ, не выдуманы, а сняты съ натуры во весь ростъ, почерпнуты со дна дѣйствительной жизни; у нихъ не написано на лбахъ ихъ добродѣтелей и пороковъ, но они заклеймены печатю своего ничтожества, заклеймены мстительною рукою палача-художника. Каждый стихъ Грибоѣдова есть сарказмъ, вырвавшійся изъ души художника въ штуу негодованія; его слогъ есть *par excellence* разговорный. Недавно одинъ изъ нашихъ примѣчательнѣйшихъ писателей, слишкомъ хорошо знающій общество, замѣтилъ, что только одинъ Грибоѣдовъ умѣлъ переложить на стихи разговоръ нашего общества: безъ всякихъ сомнѣній, это не стоило ему ни малѣйшаго труда, но, тѣмъ не менѣе, это все-таки великая заслуга съ его стороны, ибо разговорный языкъ нашихъ комиковъ... Но я уже обѣщался не говорить о нашихъ комикахъ... Конечно, это произведеніе не безъ недостатковъ въ отношеніи къ своей цѣлости, но оно было первымъ опытомъ таланта Грибоѣдова, первою русскою комедіей; да и, сверхъ того, каковы бы ни были эти недостатки, они не помѣшаютъ ему быть образцовымъ, геніальнымъ произведеніемъ и не въ русской литературѣ, которая въ Грибоѣдовѣ лишилась Шекспира комедіи...

Довольно о поэтахъ-стихотворцахъ, поговоримъ о поэтахъ-прозаикахъ.

Почти вмѣстѣ съ Пушкинскимъ вышелъ на литературное поприще и г. Марлинскій. Это одинъ изъ самыхъ примѣчательнѣйшихъ нашихъ литераторовъ. Онъ теперь безусловно пользуется самымъ огромнымъ авторитетомъ: теперь передъ нимъ все на колѣнахъ: если еще не всѣ въ одинъ голосъ называютъ его русскимъ Бальзакомъ, то потому только, что боятся унизить его этимъ и ожидаютъ, чтобы французы назвали Бальзака французскимъ Марлинскимъ. Въ ожиданіи, пока совершится это чудо, мы похладнокровнѣе разсмотримъ его права на такой громадный авторитетъ. Конечно, страшно выходить на бой съ общественнымъ мнѣніемъ и возвставать явно противъ его идоловъ; но я рѣшаюсь на это не столько по смѣлости, сколько по безкорыстной любви къ истинѣ. Впрочемъ, меня ободряетъ въ сѣмь случаѣ и то, что это страшное общественное мнѣніе начинаетъ мало-по-малу приходить въ память отъ оглушительного удара, произведенного на него полнымъ изданіемъ „Русскихъ Повѣстей и Рассказовъ“ г. Марлинскаго; начинаютъ ходить темные толки о какихъ-то натяжкахъ, о скучномъ однообразіи и тому подобномъ. Итакъ, я рѣшаюсь быть органомъ новаго общественного мнѣнія. Знаю, что это новое мнѣніе найдетъ еще слишкомъ много противниковъ, но какъ бы то ни было, а истина дороже всѣхъ на свѣтѣ авторитетовъ.

На безлюди истинныхъ талантовъ въ нашей литературѣ талантъ г. Марлинскаго, конечно, явленіе очень примѣчательное. Онъ одаренъ остро-

уміємъ неподдельнымъ, владѣть способностью рассказа, нерѣдко живого и увлекательного, умѣть иногда снимать съ природы картинки-загляденье. Но вмѣстѣ съ этимъ нельзя не сознаться, что его талантъ чрезвычайно одностороненъ, что его претензіи на пламень чувства весьма подозрительны, что въ его созданіяхъ нѣтъ никакой глубины, никакой философіи, никакого драматизма; что, вслѣдствіе этого, всѣ герои его повѣстей сбиты на одну колодку и отличаются другъ отъ друга только именами; что онъ повторяетъ себя въ каждомъ новомъ произведеніи; что у него болѣе фразъ, чѣмъ мыслей, болѣе риторическихъ возгласовъ, чѣмъ выраженій чувства. У насъ мало писателей, которые бы писали столько, какъ г. Марлинскій, но это обиліе происходитъ не отъ огромности дарованія, не отъ избытка творческой дѣятельности, а отъ навыка, отъ привычки писать. Если вы имѣете хотя нѣсколько дарованія, если образовали себя чтеніемъ, если запаслись извѣстнымъ числомъ идей и сообщили имъ нѣкоторый отпечатокъ своего характера, своей личности, то берите и смѣло пишите съ утра до ночи. Вы дойдете наконецъ до искусства, во всякую пору, во всякому расположеніи духа, писать о чѣмъ вамъ угодно; если у васъ придумано нѣсколько пышныхъ монологовъ, то вамъ не трудно будетъ придѣлать къ нимъ романъ, драму, повѣсть, только позаботьтесь о формѣ и слогѣ: они должны быть оригинальные.

Вещи всего лучше познаются сравненіемъ. Если два писателя пишутъ въ одномъ родѣ и имѣютъ между собою какое-нибудь сходство, то ихъ не иначе можно опѣнить въ отношеніи другъ къ другу, какъ выставивъ параллельныя мѣста; это самый лучшій пробный камень. Посмотрите на Бальзака: какъ много писалъ этотъ человѣкъ и, несмотря на то, есть ли въ его повѣстяхъ хотя одинъ характеръ, хотя одно лицо, которое бы сколько-нибудь походило на другое? О, какое непостижимое искусство обрисовывать характеры со всѣми оттенками ихъ индивидуальности! Не преслѣдовалъ ли васъ этотъ грозный и холодный обликъ Феррагуса, не мерещился ли онъ вамъ и во снѣ, и на яву, не бродилъ ли за вами неотступно тѣнью? О, вы узнали бы его между тысячами, и между тѣмъ въ повѣсти Бальзака онъ стоитъ въ тѣни, обрисованъ слегка, мимоходомъ и застановленъ лицами, на коихъ сосредоточивается главный интересъ поэмы. Отчего же „это лицо возвуждается въ читателѣ столько участія и такъ глубоко врѣзывается въ его воображеніе? Оттого, что Бальзакъ не выдумалъ, а создалъ его, оттого, что онъ мерещился ему прежде, нежели была написана первая строка повѣсти, что онъ мучилъ художника до тѣхъ поръ, пока онъ не извелъ его изъ міра души своей въ явленіе, для всѣхъ доступное. Вотъ мы видимъ теперь на сценѣ и „Другого изъ Тринадцати“: Феррагусъ и Монриво видимо одного покроя, люди съ душою глубокою, какъ морское дно, съ силою воли непреодолимою, какъ воля судьбы; и однакожъ, спрашиваю васъ, похожи ли они хотя сколько-нибудь другъ на друга, есть ли между ними что-нибудь общее? Сколько женскихъ портретовъ вышло изъ-подъ плодотворной кисти Бальзака,

и между тѣмъ повторилъ ли онъ себя хотя въ одномъ изъ нихъ?.. Таковы ли въ семъ отношеніи созданія г. Марлинскаго? Его Амаллатъ-Бекъ, его полковникъ В\*\*\*, его герой „Страшнаго Гаданья“, его капитанъ Правинъ,— всѣ они родные братцы, которыхъ различить трудно самому ихъ родителю. Только развѣ первый изъ нихъ немного отличается отъ прочихъ своимъ азиатскимъ колоритомъ. Гдѣ же творчество? Притомъ, сколько натяжекъ! Можно сказать, что натяжка у г. Марлинскаго такой юнекъ, сть котораго онъ рѣдко слѣзаетъ. Ни одно изъ дѣйствующихъ лицъ его повѣстей не скажетъ ни слова просто, но вѣчно съ ужимкой, вѣчно съ эпиграммою или съ камлабуромъ или съ подобиемъ, словомъ, у г. Марлинскаго каждая копейка ребромъ, каждое слово завиткомъ. Надо сказать правду: природа съ избыткомъ наградила его этимъ остроуміемъ, веселымъ и добродушнымъ, которое колетъ, но не язвитъ, щекочетъ, но не кусаетъ; но и здѣсь онъ часто пересаливаетъ. У него есть цѣлый огромный повѣстіи, какъ, напр., „Найдѣзы“, который суть не иное чѣ, какъ огромныя натяжки. У него есть талантъ, но талантъ не огромный, талантъ, безсильный вѣчнымъ принужденіемъ, избившійся и растрясшійся о пни и колоды выисканнаго остроумія.

Мнѣ кажется, что романъ не его дѣло, ибо у него нѣть никакого знанія человѣческаго сердца, никакого драматического такта. Для чего, напримѣръ, заставилъ онъ князя, для котораго всѣ радости земли и неба заключались въ устрицахъ, для котораго вкусный столъ всегда былъ дороже жены и ея чести, для чего заставилъ онъ его проговорить патетическій монологъ осквернителю его брачнаго ложа,—монологъ, который сдѣлалъ бы честь и самому Правину? Это просто натяжечка, закулисная подставочка; автору хотѣлось быть нравственнымъ на манеръ г. Булгарина. Вообще онъ не мастеръ скрывать закулисныя машины, на коихъ вертится зданіе его повѣстей: онъ у него всегда на виду. Впрочемъ, въ его повѣстяхъ встрѣчаются иногда мѣста истинно прекрасныя, очерки истинно мастерскіе; таково, напримѣръ, описание русскаго простонароднаго Мефистофеля и вообще всѣ сцены деревенскаго быта въ „Страшномъ Гаданії“; таковы многія картины, снятые съ природы, исключая, впрочемъ, кавказскихъ очерковъ, которые натянуты до тошноты, до нес plus ultra. По мнѣ, лучшія его повѣстіи суть „Испытаніе“ и „Лейтенантъ Бѣлозоръ“; въ нихъ можно отъ души полюбоваться его талантомъ, ибо онъ въ нихъ въ своей тарелкѣ. Онъ смѣется надъ своимъ стихотворствомъ, но мнѣ переводъ его пѣсень гордѣвъ въ „Амаллатъ-Бекъ“ кажется лучше всей повѣсти; въ нихъ такъ много чувства, такъ много оригинальности, что и Пушкинъ не постыдился бы назвать ихъ своими. Равнымъ образомъ и въ его „Андрѣй Переяславскому“, особенно во второй главѣ, встрѣчаются мѣста истинно поэтическія, хотя цѣлое произведеніе слишкомъ отзываются дѣствомъ. Всего страннѣе въ г. Марлинскомъ, что онъ съ удивительной скромностью недавно сознался въ такомъ грѣхѣ, въ которомъ онъ не виноватъ ни душою, ни тѣломъ,—въ томъ, что будто онъ

своими повѣстями отворилъ двери для народности въ русскую литературу: вотъ что, такъ ужъ неправда! Эти повѣсти принадлежать къ числу самыхъ неудачныхъ его попытокъ, въ нихъ онъ народенъ не больше Карамзина, ибо его Русь жестоко отзыается его завѣтною, его любимою Ливоніею. Время и мѣсто не позволяютъ мнѣ подкрепить выписками изъ сочиненій г. Марлинскаго мое мнѣніе о его талантѣ; впрочемъ, это очень легко сдѣлать.

О слогѣ его не говорю. Нынѣ слово „слогъ“ начало терять прежнѣе свое обширное значеніе, ибо его перестаютъ уже отѣльять отъ мысли. Словомъ, г. Марлинскій—писатель не безъ таланта, и былъ бы гораздо выше, если бы былъ естественнѣе и менѣе натягивался.

Пушкинскій періодъ былъ самымъ цвѣтущимъ временемъ нашей словесности. Его надобно бы было обозрѣть исторически и въ хронологическомъ порядкѣ; я не сдѣлалъ этого, потому что не то имѣлъ цѣлью. Можно сказать утвѣрдительно, что тогда мы имѣли если не литературу, то, по крайней мѣрѣ, призракъ литературы; ибо тогда было въ ней движеніе, жизнь и даже какая-то постепенность въ развитіи. Сколько новыхъ явлений, сколько талантовъ, сколько попытокъ на то и другое! Мы было уже и въ самомъ дѣлѣ отъ души стали вѣрить, что имѣемъ литературу, имѣемъ своихъ Байроновъ, Шиллеровъ, Гёте, Вальтеръ-Скоттовъ, Томасовъ Муровъ; мы были веселы и горды, какъ дѣти праздничными обновами. И кто же былъ напішь разочарователемъ, нашихъ Мефистофелемъ? Кто явился сильною, грозною реакцией и гораздо поохладилъ наши восторги? Помните ли вы Никодима Аристарховича Надоумка; помните ли, какъ, выступивъ на сцену на своихъ скудельныхъ ножкахъ, онъ разсѣялъ наши сладкія мечты своимъ добро-душно-лукавымъ: хе! хе! хе! Помните ли, какъ мы всѣ уцѣпились за наши авторитеты и авторитетики и руками, и ногами отстаивали ихъ отъ нападеній грознаго аристарха? Не знаю, какъ вы, а я очень хорошо помню, какъ всѣ сердились на него; помню, какъ я самъ сердился на него. И что же? Уже сбылась большая часть его зловѣщихъ предсказаній, и теперь уже никто не сердится на покойника!.. Да! Никодимъ Аристарховичъ былъ замѣчательное лицо въ нашей литературѣ; сколько надѣлалъ онъ тревоги, сколько произвелъ кровопролитныхъ войнъ, какъ храбро сражался, какъ жестоко поражалъ своихъ противниковъ и этимъ слогомъ, иногда оригинальнымъ до тривіальности, но всегда рѣзкимъ и мѣткимъ, и этимъ твердымъ силогизмомъ, и этою насыщеною, простодушною и убийственною вмѣстѣ...

И гдѣ же твой, о витязь, прахъ?  
Какою вѣять могилой?

---

Еще одно, послѣднее сказанье,  
И лѣтопись окончена моя!

Пушкинъ.

Тридцатый холерный годъ былъ для нашей литературы истиннымъ чернымъ годомъ, истинно роковою эпохой, съ коей начался совершенно новый періодъ ея существованія, въ самомъ началѣ своемъ рѣзко отличившійся отъ предыдущаго. Но не было никакого перехода между этими двумя періодами; вмѣсто его былъ какой-то насильственный перерывъ. Подобные противоестественные скачки, по моему мнѣнію, всего лучше доказываются, что у насъ нѣтъ литературы, а слѣдовательно нѣтъ и исторіи литературы; ибо ни одно явленіе въ ней не было слѣдствіемъ другого явленія, ни одно событие не вытекало изъ другого события. Исторія нашей словесности есть ни больше, ни менѣе какъ исторія неудачныхъ попытокъ, посредствомъ слѣдаго подражанія иностраннымъ литературамъ, создать свою литературу. Но литературу не создаютъ; она создается такъ, какъ создаются, безъ воли и вѣдома народа, языка и обычая. Итакъ тридцатымъ годомъ кончился или, лучше сказать, внезапно оборвался періодъ Пушкинскій, такъ какъ кончился и самъ Пушкинъ, а вмѣстѣ съ нимъ и его вліяніе; съ тѣхъ поръ почти ни одного бывалаго звука не сорвалось съ его лиры. Его сотрудники, его товарищи по художественной дѣятельности, допѣвали свои старыя пѣсенки, свои обычныя мечты, но уже никто не слушалъ ихъ.

Итакъ насталъ новый періодъ словесности. Кто же явился главою этого новаго, этого четвертаго періода нашей недорослой словесности? Кто, подобно Ломоносову, Карамзину и Пушкину, овладѣлъ общественнымъ вниманіемъ и мнѣніемъ, самодержавно правилъ послѣднимъ, наложилъ печать своего генія на произведенія своего времени, сообщилъ ему жизнь и далъ направленіе современнымъ талантамъ? Кто, говорю я, явился солнцемъ этой новой міровой системы? Увы! никто, хотя многіе и претендовали на это высокое титло. Еще въ первый разъ литература явилась безъ верховной главы и изъ огромной монархіи распалась на множество мелкихъ, независимыхъ одно отъ другого государствъ, завистливыхъ и враждебныхъ одно другому. Головъ было много, но онѣ такъ же скоро падали, какъ скоро и возвышались; словомъ, этотъ періодъ есть періодъ нашей литературной исторіи въ темную годину междуцарствія и самозванцевъ.

Какъ противоположенъ былъ Пушкинскій періодъ Карамзинскому, такъ настоящій періодъ противоположенъ Пушкинскому. Дѣятельность и жизнь кончились; громы оружія затихли, и утомленные бойцы вложили мечи въ ножны на лаврахъ, каждый приписывая себѣ победу и ни одинъ не выигравъ ея въ полномъ смыслѣ сего слова. Правда, въ началѣ, особенно первыхъ двухъ лѣтъ, еще бились отчаянно, но это была уже не новая война, а

окончаніе старой: это была тридцатилѣтняя война послѣ смерти Густава-Адольфа и погибели Валленштейна. Теперь кончилась и эта кровопролитная война, но безъ Вестфальского мира, безъ удовлетворительныхъ результатовъ для литературы. Периодъ Пушкинскій отличался какою-то бѣшеною маніей къ стихотворству; періодъ новый, еще въ самомъ своемъ началѣ, оказалъ рѣшительную наклонность къ прозѣ. Но,—увы!—это былъ не шагъ впередъ, не обновленіе, а оскудѣніе, истощеніе творческой дѣятельности. Въ самомъ дѣлѣ, дошло до того, что теперь уже утвердительно говорять, будто въ наше время самые превосходные стихи не могутъ имѣть никакого успѣха. Нелѣпое мнѣніе! Очевидно, что оно, какъ и всѣ, принадлежитъ не намъ, а есть вольное подражаніе мнѣніямъ нашихъ европейскихъ сосѣдей. У нихъ часто повторяли, что въ нашъ вѣкъ эпопея не можетъ существовать, а теперь, кажется, сбываются на то, что въ наше время и драма кончилась. Подобныя мнѣнія весьма странны и неосновательны. Поэзія у всѣхъ народовъ и во всѣ времена была одно и то же въ своемъ существѣ: перемѣнялись только формы, сообразно съ духомъ, направленіемъ и успѣхомъ какъ всего человѣчества вообще, такъ и каждого народа въ частности. Раздѣленіе поэзіи на роды не есть произвольное; причина и необходимость онаго скрываются въ самой сущности искусства. Родовъ поэзіи только три и больше быть не можетъ. Всякое произведеніе, въ какомъ бы то ни было родѣ, хорошо во всѣхъ и въ каждую минуту, когда оно, по своему духу и формѣ, носить на себѣ печать своего времени и удовлетворяетъ всѣ его требованія. Гдѣ-то было сказано: что „Фаустъ“ Гете есть Иліада нашего времени: вотъ мнѣніе, съ которымъ нельзя не согласиться! И въ самомъ дѣлѣ, развѣ Вальтеръ-Скоттъ также не есть нашъ Гомеръ, въ смыслѣ эпика, если не выразителя полнаго духа времени? Такъ и у насъ теперь: явись новый Пушкинъ, но не Пушкинъ 1834, а Пушкинъ 1829 года, и Россія снова начала бы твердить стихи; но кто, кромѣ несчастныхъ читателей ехъ officio, даже подумаетъ и взглянуть на издѣлія новыхъ нашихъ стиходѣевъ — гг. Ершовыхъ, Струговщиковыхъ, Марковыхъ, Снегиревыхъ и пр?..

Романтизмъ—вотъ первое слово, огласившее Пушкинскій періодъ; народность—вотъ альфа и омега нового періода. Какъ тогда всякий бумагомаратель изъ кожи лѣзъ, чтобы прослыть романтикомъ, такъ теперь всякий литературный шутъ претендуетъ на титло народнаго писателя. Народность—чудное словечко! Чѣмъ передъ нимъ вашъ романтизмъ! Въ самомъ дѣлѣ, это стремленіе къ народности—весьма замѣчательное явленіе. Не говоря уже о нашихъ романистахъ и вообще новыхъ писателяхъ, взгляните, что дѣлаютъ заслуженные корифеи нашей словесности. Жуковскій, этотъ поэтъ, гений которого всегда былъ прикованъ къ туманному Альбіону и фантастической Германи, вдругъ забылъ своихъ паладиновъ, съ ногъ до головы закованыхъ въ сталь, своихъ прекрасныхъ и вѣрныхъ принцессъ, своихъ колдуноў и свои очарованные замки и пустился писать русскія сказки... Нужно

ли доказывать, что эти русскія сказки также не въ ладу съ русскимъ духомъ, котораго въ нихъ слыхомъ не слыхать и видомъ не видать, какъ не въ ладу съ русскими сказками греческій или нѣмецкій гекзаметръ?.. Но не будемъ слишкомъ строги къ этому заблужденію могущественнаго таланта, увлекшагося духомъ времени; Жуковскій вполнѣ совершилъ свое поприще и свой подвигъ, — мы больше не въ правѣ ничего ожидать отъ него. Вотъ другое дѣло Пушкинъ: странно видѣть, какъ этотъ необыкновенный человѣкъ, которому ничего не стоило быть народнымъ, когда онъ не старался быть народнымъ, теперь такъ мало народенъ, когда рѣшительно хочетъ быть народнымъ; странно видѣть, что онъ теперь выдаѣтъ намъ за нечто важное то, что прежде бросалъ мимоходомъ, какъ избытокъ или роскошь. Мнѣ кажется, что это стремленіе къ народности произошло оттого, что всѣ живо почувствовали непрочность нашей подражательной литературы и захотѣли создать народную, какъ прежде силились создать подражательную. Итакъ опять цѣль, опять усилія, опять старая погудка на новый ладъ? Но развѣ Крыловъ потому народенъ въ высочайшей степени, что старался быть народнымъ? Нѣтъ, онъ объ этомъ нимало не думалъ; онъ былъ народенъ, потому что не могъ не быть народнымъ: быть народенъ безсознательно и едва ли зналъ цѣну этой народности, которую усвоилъ созданіямъ своимъ безъ всякаго труда и усилия. По крайней мѣрѣ, его современники мало умѣли цѣнить въ немъ это достоинство: они часто упрекали его за „низкую природу“ и ставили на одну съ нимъ доску прочихъ баснописцевъ, которые были несравненно ниже его. Слѣдовательно, наши литераторы, съ такою ревностію заботящіеся о народности, хлопочутъ попустому. И въ самомъ дѣлѣ, какое понятіе имѣютъ у насъ вообще о народности? Всѣ, рѣшительно всѣ, смѣшиваютъ ее съ простонароднію и отчасти съ тривіальностію. Но это заблужденіе имѣть свою причину, свое основаніе, и на него отнюдь не должно нападать съ ожесточеніемъ. Скажу болѣе: въ отношеніи къ русской литературѣ нельзя иначе понимать народности. Чѣмъ такое народность въ литературѣ? — отпечатокъ народной физіономіи, типъ народнаго духа и народной жизни. Но имѣемъ ли мы свою народную физіономію? — вотъ вопросъ, трудный для рѣшенія. Наша національная физіономія всего больше сохранилась въ низшихъ слояхъ народа; посему наши писатели, разумѣется, владѣющіе талантомъ, бываютъ народны, когда изображаютъ, въ романѣ или драмѣ, нравы, обычаи, понятія и чувствованія черни. Но развѣ одна чернь составляетъ народъ? Ничуть не бывало. Какъ голова есть важнѣйшая часть человѣческаго тѣла, такъ среднее и высшее сословіе составляютъ народъ по преимуществу. Знаю, что человѣкъ во всякомъ состояніи есть человѣкъ, что простолюдинъ имѣть такія же страсти, умъ и чувство, какъ и вельможа, и посему такъ же, какъ и онъ, достоинъ поэтическаго анализа; но высшая жизнь народа преимущественно выражается въ его высшихъ слояхъ или, вѣрѣю всѣго, въ цѣлой идеѣ народа. Посему, избравъ предме-

томъ своихъ вдохновеній одну часть оного, вы непремѣнно впадете въ односторонность. Равнымъ образомъ, вы не избѣжите этой крайности и отмежевавъ для своей творческой дѣятельности нашу исторію до Петра Великаго. Высшіе же слои народа у насъ еще не получили опредѣленного образа и характера; ихъ жизнь мало представляеть для поэзіи. Не правда ли, что прекрасная повѣсть Безгласнаго „Княжна Мими“ немножко мелка и вяла? Помните ли вы ея эпиграфъ? — „Краски мои блѣдны, сказаль живописецъ; что жъ дѣлать? въ нашемъ городѣ нѣть лучшихъ!“ — Вотъ вамъ самое лучшее оправданіе со стороны поэта и вмѣстѣ самое лучшее доказательство, что въ сей повѣстіи онъ народенъ въ высочайшей степени. Такъ неужели наша народность въ литературѣ есть мечта? Почти такъ, хотя и не совсѣмъ. Какой главный элементъ нашихъ произведеній, отличающихся народностію? Очерки изъ древне-русской жизни (до Петра Великаго), или простонародной жизни и отсюда неизбѣжныя подѣлки подъ тонъ лѣтописей и народныхъ пѣсень или подъ ладъ языка нашихъ простолюдиновъ. Но вѣдь въ этихъ лѣтописяхъ, въ этой жизни, давно прошедшей, вѣтъ дыханіе общей человѣческой жизни, являющейся подъ одной изъ тысячи ея формъ; умѣйтъ же уловить его вашимъ умомъ и чувствомъ и воспроизвести вашею фантазіею въ своемъ художественномъ созданіи. Въ этомъ вся сила и важность. Но вамъ надо быть геніемъ, чтобы въ нашихъ твореніяхъ трепетала идея русской жизни: это путь самый скользкій. Мы такъ отдалены или, лучше сказать, оторваны эрою Петра Великаго отъ быта нашихъ праотцевъ, что нашему произведенію непремѣнно должно предшествовать глубокое изученіе этого быта. Итакъ соразмѣряйте ваши силы съ цѣлью и не слишкомъ самонадѣянно пишите: „Русскіе въ такомъ-то“ или „въ такомъ-то году“. При томъ еще надо замѣтить и то, что русская жизнь до Петра Великаго была слишкомъ спокойна и одностороння, или, лучше сказать, она проявлялась своимъ оригинальнымъ образомъ: вамъ легко будетъ оклеветать ее, придерживаясь Вальтеръ-Скотта. Писатель, который на любви оснууетъ планъ своего романа и цѣлю усилий героя поставить руку и сердце вѣрной красавицы, покажетъ явно, что онъ не понимаетъ Руси. Я знаю, что наши бояре лазили черезъ тыны къ своимъ прелестницамъ, но это было оскорблѣніе и искаженіе величавой, чинной и степенной русской жизни, а не проявленіе оной; такихъ рыцарей ночи наказывали ревнивцы плетью и кольями, а не раздѣливались съ ними на благородномъ поединкѣ; такія красавицы почитались безпутными бабами, а не жертвами страсти, достойными состраданія и участія. Наши дѣды занимались любовью съ законнаго дозвolenія или мимоходомъ, изъ шалости, и не сердце клали къ ногамъ своихъ очаровательницъ, а показывали имъ заранѣе шелковую плетку и неуклонно слѣдовали мудрому правилу: „люби жену, какъ душу, а тряси ее, какъ грушу“, или „бей ее, какъ шубу“. Вообще сказать, мы еще и теперь любимъ не совсѣмъ по-рыцарски, а исключенія ничего не доказываютъ.

Что же касается до живого и сходного съ натурою изображения сценъ простонародной жизни, то не слишкомъ обольщайтесь ими. Мы очень привыкли въ „Рославлевъ“ сцена на постояломъ дворѣ, но это потому, что въ ней удачно обрисованъ характеръ одного изъ классовъ нашего народа,— характеръ, проявляющійся въ рѣшительную минуту для отечества; пословицы, поговорки и ломаный языкъ, сами по себѣ, не имѣютъ ничего занимательнаго. Изъ всего сказанаго мною выходитъ, что наша народность покуда состоить въ вѣрности изображения картинъ русской жизни, но не въ особенномъ духѣ и направленіи русской дѣятельности, которые бы проявлялись равно во всѣхъ твореніяхъ, независимо отъ предмета и содержанія онъхъ. Всѣмъ извѣстно, что французскіе классики оправдывали въ своихъ трагедіяхъ греческихъ и римскихъ героевъ: вотъ истинная народность, всегда вѣрная самой себѣ и въ искаженіи творчества! Она состоить въ образѣ мыслей и чувствованій, свойственныхъ тому или другому народу. Я свято вѣрю въ геніальность Гёте, хотя, по незнанію немецкаго языка, чрезвычайно мало знакомъ съ нимъ, но, признаюсь, плохо вѣрю эллинизму его „Ифигеніи“: чѣмъ выше геній, тѣмъ больше онъ сынъ своего вѣка и гражданинъ своего міра, и подобныя попытки съ его стороны выразить совершенно чуждую ему народность всегда предполагаютъ поддѣлку больше или менѣе неудачную. Итакъ, есть ли у насть народность литературы въ этомъ смыслѣ? Нѣть, да покуда, при всѣхъ благородныхъ желаніяхъ проповѣщенныхъ патріотовъ, и быть не можетъ. Наше общество еще слишкомъ юно, еще не установилось, еще не освободилось отъ европейской опеки; его физіономія еще не выяснилась и не выформировалась. „Кавказскаго Плѣнника“, „Бахчисарайскій Фонтанъ“, „Цыганъ“ могъ написать всякий европейскій поэтъ, но „Евгенія Онѣгина“ и „Бориса Годунова“ могъ написать только поэтъ русский. Безотносительная народность доступна только для людей, свободныхъ отъ чуждыхъ, иноземныхъ вліяній, и вотъ почему народенъ Державинъ. Итакъ наша народность состоить въ вѣрности изображения картинъ русской жизни.

„Юрій Милославскій“ былъ первымъ хорошимъ русскимъ романомъ. Не имѣя художественной полноты и цѣлости, онъ отличается необыкновеннымъ искусствомъ въ изображеніи быта нашихъ предковъ, когда этотъ былъ сходенъ съ нынѣшнимъ, и проникнуть необыкновенною теплотою чувства. Присовокупите къ этому увлекательность разсказа, новость избраннаго по-прича, на которомъ онъ не имѣлъ себѣ ни образца, ни предшественника, и вы поймете причину его необычайнаго успѣха. „Рославлевъ“ отличается тѣми же красотами и тѣми же недостатками: отсутствіемъ полноты и цѣлости и живыми картинами простонароднаго быта.

Г. Гоголь, такъ мило прикинувшись пасичникомъ, принадлежитъ къ числу необыкновенныхъ талантовъ. Кому неизвѣстны его „Вечера на хуторѣ близъ Диканьки“? Сколько въ нихъ остроумія, веселости, поэзіи и на-

родности! Дай Богъ, чтобы онъ вполнѣ оправдалъ поданныя имъ о себѣ надежды!..

Итакъ, вотъ я рассказалъ вамъ всю исторію нашей литературы, перечель вся ея знаменитости, отъ Ломоносова, первого ея генія, до г. Кукольника, послѣдняго ея генія. Я началъ мою статью съ того, что у насъ нѣть литературы: не знаю, убѣдило ли васъ въ этой истинѣ мое обозрѣніе; только знаю, что если нѣть, то въ томъ виновато мое неумѣніе, а отнюдь не то, чтобы доказываемое мною положеніе было ложно. Въ самомъ дѣлѣ, Державинъ, Пушкинъ, Крыловъ и Грибоѣдовъ—вотъ вся ея представители; другихъ покуда нѣть, и не ищите ихъ. Но могутъ ли составить цѣлую литературу четыре человѣка, явившіеся не въ одно время? И притомъ, развѣ они были не случайными явленіями? Посмотрите на исторію иностранныхъ литературу. Во Франціи вскорѣ послѣ Корнеля явились Расинъ, Мольеръ, Лафонтенъ и многіе другіе; потомъ въ эпоху Вольтера сколько было знаменитостей литературныхъ! Теперь: Гюго, Ламартинъ, Делавинъ, Барбье, Бальзакъ, Дюма, Жавенъ, Евгеній Сю, Жакобъ-Бібліофиль и сколько другихъ. Въ Германіи: Лессингъ, Клоштокъ, Гердеръ, Шиллеръ, Гёте были современниками. Въ Англіи, въ послѣднее время, Байронъ, Вальтеръ-Скоттъ, Томасъ Муръ, Колъриджъ, Сутей, Вордстортъ и сколько другихъ явились почти въ одно время. Такъ ли у насъ? Увы!.. „Библіотека для Чтенія“ доказала великую и плачевную истину. Кромѣ двухъ или трехъ статей г. О., что мы прочли въ ней заслуживающаго хотя какое-нибудь внимание? Ровно ничего. Итакъ соединенные труды всѣхъ нашихъ литераторовъ не произвели ничего выше золотой посредственности! Гдѣ же, спрашиваю васъ, литература? У насъ было много талантовъ и талантниковъ, но мало, слишкомъ мало художниковъ по призванию, то есть такихъ людей, для которыхъ писать и жить, жить и писать одно и то же, которые уничтожаются въ искусства, которымъ не нужно протекцій, не нужно меценатовъ, или, лучше сказать, которые гибнутъ отъ меценатовъ, которыхъ не убиваютъ ни деньги, ни отличія, ни несправедливости, которые до послѣдняго вздоха остаются вѣрными своему святыму призванію. У насъ была эпоха схоластицизма, была эпоха плаксивости, была эпоха стихотворства, эпоха романовъ и повѣстей, теперь наступила эпоха драмы; но еще не было эпохи искусства, эпохи литературы. Стихотворство наше кончилось; мода на романы, видимо, проходитъ; теперь терзаемъ драму. И все это безъ причины, все это изъ подражательности; когда же наступить у насъ истинная эпоха искусства?

Она наступить, будьте въ томъ увѣрены! Но для этого надо сперва, чтобы у насъ образовалось общество, въ которомъ бы выразилась физіономія могучаго русскаго народа, надобно, чтобы у насъ было просвѣщеніе, созданное нашими трудами, возращенное на родной почвѣ. У насъ нѣть литературы: я повторяю это съ восторгомъ, съ наслажденіемъ, ибо въ сей истинѣ вижу залогъ нашихъ будущихъ успѣховъ. Присмотритесь хорошенько

къ ходу нашего общества, и вы согласитесь, что я правъ. Посмотрите, какъ новое поколѣніе, разочаровавшись въ геніальности и бессмертии нашихъ литературныхъ произведеній, вмѣсто того, чтобы выдавать въ свѣтъ недозрѣлыхъ творенія, съ жадностю предается изученію наукъ и черпаетъ живую воду просвѣщенія въ самомъ источникѣ. Вѣкъ ребячества проходить видимо. И дай Богъ, чтобы онъ прошелъ скорѣе! Но еще болѣе дай Богъ, чтобы поскорѣе всѣ разувѣрились въ нашемъ литературномъ богатствѣ! Благородная нищета лучше мечтательного богатства! Придетъ время, просвѣщеніе разольется въ Россіи широкимъ потокомъ, умственная физіономія народа выяснится, и тогда наши художники и писатели будутъ на всѣ свои произведенія налагать печать русского духа. Но теперь намъ нужно ученье! ученье! ученье! Скажите, Бога ради, можетъ ли въ наше время обратить на себя вниманіе какой-нибудь недоучившійся мальчикъ, хотя бы онъ былъ надѣленъ отъ природы и умомъ, и чувствомъ, и талантомъ? Этотъ вѣчный старецъ Гомеръ, если онъ точно существовалъ на свѣтѣ, конечно, не учился ни въ Академіи, ни въ Портике; но это потому, что тогда ихъ и не было, это потому, что тогда учились изъ великой книги природы и жизни; а Гомеръ, если вѣрить преданіямъ, ревностно изучалъ природу и жизнь, обошелъ почти весь извѣстный тогда свѣтъ и сосредоточилъ въ лицѣ своемъ всю современную мудрость. Гёте—вотъ Гомеръ, вотъ прототипъ поэта нынѣшнаго времени!

Итакъ, намъ нужна не литература, которая безъ всякихъ съ нашей стороны усилий явится въ свое время, а просвѣщеніе! И это просвѣщеніе не закоснѣть, благодаря неусыпнымъ попеченіямъ мудраго правительства. Русскій народъ смысленъ и понятливъ, усерденъ и горячъ ко всему благому и прекрасному, когда рука царя отца указываетъ ему на цѣль, когда его державный голосъ призываетъ его къ ней! И намъ ли не достигнуть этой цѣли, когда правительство являетъ собою такой единственный, такой безпримѣрный образецъ попечительности о распространеніи просвѣщенія, когда оно издерживаетъ такія громадныя суммы на содержаніе учебныхъ заведеній, ободряетъ блестящими наградами труды учащихъ и учащихся, открывая образованному уму и таланту путь къ достижению всѣхъ отличий и выгодъ? Проходитъ ли хотя одинъ годъ безъ того, чтобы со стороны неусыпного правительства не было совершено новыхъ подвиговъ во благо просвѣщенія или новыхъ благодѣйній, новыхъ щедротъ въ пользу ученаго сословія? Одно учрежденіе сословія домашнихъ наставниковъ и учителей должно повлечь за собой неисчислимая блага для Россіи, ибо избавляетъ ее отъ вредныхъ слѣдствій иноzemнаго воспитанія. Да, у насъ скоро будетъ свое русское, народное просвѣщеніе; мы скоро докажемъ, что не имѣмъ нужды въ чуждой умственной опекѣ. Намъ легко это сдѣлать, когда знаменитые сановники, сподвижники царя на трудномъ поприщѣ народоправленія, являются посреди любознательнаго юношества въ центральномъ храмѣ рус-

скаго просвѣщенія возвѣщать ему священную волю монарха, указывать путь къ просвѣщенію въ духѣ „православія, самодержавія и народности“...

Наше общество также близко къ своему окончательному образованію. Благородное дворянство наконецъ вполнѣ увѣрилось въ необходимости давать своймъ дѣтамъ образованіе прочное, основательное, въ духѣ вѣры, вѣрности и национальности. Наши молодчики, наши денди, не имѣющіе никакихъ познаній, кромѣ навыка легко болтать всякой вздоръ по-французски, становятся смѣшными и жалкими анахронизмами. Съ другой стороны, не видите ли вы, какъ, въ свою очередь, быстро образуется купеческое сословіе и сближается въ семъ отношеніи съ высшимъ? О, повѣрьте, не напрасно держались они такъ крѣпко за свои почтенные, окладистыя бороды, за свои долгополые кафтаны и за обычай праотцевъ! Въ нихъ наиболѣе сохранилась русская физіономія, и, принявши просвѣщеніе, они не утратятъ ея, сдѣлаются типомъ народности. Равно взгляните, какое дѣятельное участіе начинаетъ принимать въ святомъ дѣлѣ отечественнаго просвѣщенія и наше духовенство... Да, въ настоящемъ времени зреютъ сѣмена для будущаго! И они взойдутъ и расцвѣтутъ, расцвѣтутъ нынѣ и великолѣпно, по гласу чадолюбивыхъ монарховъ! И тогда будемъ мы имѣть свою литературу, явимся не подражателями, а соперниками европейцевъ...

---

И вотъ я не только у берега, а уже на самомъ берегу, и, стоя на немъ, съ гордостію и удовольствіемъ озираю пройденное мною пространство. Нечего сказать, не близкій путь! Зато ужъ какъ и усталъ, какъ утомился! Дѣло не привычное, а дорога трудная. Но, любезный читатель, прежде нежели я совсѣмъ раскланяюсь съ вами, хочу сказать вамъ еще словечка два. Кто берется судить о другихъ, тотъ подвергаетъ и самого себя еще строжайшему суду. Къ тому же авторское самолюбіе щекотливѣ и вмѣстительнѣе всѣхъ другихъ родовъ самолюбія. Начавъ писать эту статью, я имѣлъ въ предметѣ позубоскалить надъ современію нашей литературою, и самъ не знаю, какъ зашелъ въ такую даль. Началъ за здравіе, а свѣль за упокой. Это нерѣдко случается въ дѣлахъ жизни. Итакъ, признаюсь откровенно, не ищите въ моей „Элегіи въ прозѣ“ строгаго логическаго порядка. Элегисты никогда не отличались большою правильностью мышленія. Я имѣлъ цѣлію высказать нѣсколько истинъ, частію уже сказанныхъ, частію мною самимъ замѣченныхъ, но не имѣлъ времени хорошенько обдумать и обработать свою статью; у меня есть любовь къ истинѣ и желаніе общаго блага, но, можетъ быть, нѣтъ основательныхъ поadanій. Что жъ дѣлать? Эти два качества рѣдко сходятся въ одномъ лицѣ. Впрочемъ, я не говорилъ ни слова о томъ, что было выше моего понятія, и поэтому не коснулся до нашей ученой литературы. Думаю и вѣрю, что для споспѣществованія успѣхамъ

наукъ и словесности всякий можетъ смѣло и откровенно высказать свои мнѣнія, тѣмъ болѣе, если они, справедливыя или ложныя, суть слѣдствіе его убѣжденія, а не какихъ-нибудь корыстныхъ видовъ. Итакъ, если найдете, что я ошибался, то выскажите печатно ваше мнѣніе и уличите меня въ ложномъ взглѣдѣ на вещи; я прошу этого, какъ доказательства вашей любви къ истинѣ иуваженія лично ко мнѣ, какъ къ человѣку; но не сердитесь на меня, если думаете не такъ. Засимъ, любезный читатель, поздравляю васъ съ новымъ годомъ и съ новымъ счастьемъ... Простите!

---

**Менцель, критикъ Гёте.**

Главный недостатокъ критики Менцеля, какъ мнѣ кажется, состоить въ подчиненіи поэзіи и вообще словесности политики или даже понятіямъ и духу политической партии. Менцель—депутатъ оппозиціонной стороны. Этимъ объясняются его строгіе приговоры Іоанну Мюллеру, Гегелю, Гёте и др.; отъ этого же происходить оппозиціонный духъ его книги и пр.

*Б. К., переводчикъ книги Менцеля.*

Менцель есть собственное имя одного человѣка, сдѣлавшееся нарицательнымъ, каковы, напримѣръ, имена Ира, Фирсика, Креза, Зоида и т. п. Это обстоятельство придаетъ большую и важную значительность Менцелю, какъ представителю цѣлого разряда людей, которые были и до него, есть еще и теперь и, къ сожалѣнію, будутъ всегда. Такъ, напримѣръ, какое-нибудь пошлое, ничтожное, пустое лицо дѣлается многозначительнымъ и реальнымъ въ художественномъ произведеніи, какъ выражающее собою цѣлую сторону дѣйствительной жизни, представляющее своюю индивидуальностю цѣлый разрядъ, цѣлую толпу индивидуумовъ одной и той же идеи. Это подало намъ поводъ поговорить о Менцелѣ, какъ о представителѣ критиковъ извѣстного рода, че обращая вниманія на частности и подробности, относящіяся къ его лицу или исключительно къ немецкой литературѣ. Года съ полтора назадъ тому, сочиненіе Менцеля о немецкой литературѣ явилось въ прекрасномъ русскомъ переводѣ съ выпускомъ всего, собственно не относящагося къ литературѣ. Такъ какъ, говоря о Менцелѣ, мы хотимъ говорить о критикѣ, имѣя въ виду собственно русскую публику,—то и возьмемъ этотъ переводъ за фактъ, за данное для сужденія, чтобы каждый изъ нашихъ читателей самъ могъ быть судью въ этомъ дѣлѣ. Во всякомъ слу-

чай, предлагаемая статья отнюдь не есть разборъ книги Менцеля, но скопье разсужденіе или трактатъ объ отношеніяхъ критики вообще къ искусству, по поводу извѣстнаго рода критического направлѣнія, котораго представитель Менцель.

Слава—вещь обольстительная, и къ ней одинъ путь. Но многіе смѣшиваютъ славу съ извѣстностью, и съ этой точки зрѣнія пути къ ней умножаются до безконечности. По-настоящему, слава есть видовое понятіе извѣстности, а извѣстность относится къ славѣ, какъ родъ къ виду. Гомеръ извѣстенъ человѣчеству своимъ творческимъ геніемъ, Зоилъ—ограниченностию и низкостію своего духа въ дѣлѣ творчества, Крезъ — богатствомъ, Иръ — бѣдностію, Парисъ—красотою, Фирсисъ—безобразіемъ. Можно сдѣлаться всѣмъ извѣстнымъ всему свѣту—умомъ и глупостью, благородствомъ и подлостью, храбростью и трусостью. Чтобы обезсмертить себя въ потомствѣ, великій художникъ, на-диво міру, создалъ въ Эфесѣ великолѣпный храмъ „златолунной“ Артемидѣ; чтобы обезсмертить себя въ потомствѣ, Геростратъ сжегъ его. И оба достигли своей цѣли: имена обоихъ бессмертны, но съ тою только разницей, что одно извѣстно и славно, а другое только извѣстно. Слава есть патентъ на величіе, выдаваемый цѣльнымъ человѣчествомъ одному человѣку, великимъ подвигомъ доказавшему свое величіе; извѣстность есть внесеніе имени въ полицейскій реестръ, въ которомъ записываются вседневныя события, выходящія изъ порядка обыкновенности и ежедневности. Слава всегда есть награда и счастіе; извѣстность часто бываетъ наказаніемъ и бѣдствіемъ.

Къ числу извѣстныхъ людей, претендующихъ на славу, принадлежитъ нѣмецъ Менцель. Имя его извѣстно въ Германіи, Англіи, Франціи, Россіи, и еще недавно почитался онъ главою партіи, одинъ изъ представителей Германіи, имѣль послѣдователей, хвалителей, даже враговъ, безъ которыхъ слава—не слава, и извѣстность — не извѣстность. Конечно, теперь этотъ славный господинъ Менцель не больше, какъ жалкій представитель устарѣвшихъ мнѣній, который на ихъ развалинахъ, съ ожесточенною дерзостью, отстаиваетъ свое эфемерное и мишурное величіе, символъ эстетического безвкусія, человѣкъ, имя котораго—литературнѣе порицаніе, какъ имя какого-нибудь Зоила, но тѣмъ не менѣе у него все-таки была своя апогея славы. Какимъ же образомъ пріобрѣлъ онъ эту славу? Видите ли: онъ издавалъ журналъ, а журналъ есть вѣрное средство прославиться для человѣка дерзкаго, безстыднаго и ловкаго. Представься только ему случай захватить въ свои руки журналъ, — и слава его сдѣлана. Путей и средствъ много, и они разнообразны до безконечности; но главное тутъ—хорошо начертанный планъ и неукоснительная вѣрность ему во всѣхъ дѣйствіяхъ, до малѣйшихъ подробностей. Основою же непремѣнно должна быть посредственность, которая всѣмъ по плечу, всѣмъ нравится, всѣмъ льстить и, склонительно, овладѣвать массами и толпами, возбуждая негодованіе

только въ нѣкоторыхъ — не званыхъ, а избранныхъ. Но какъ этихъ „избранныхъ“ можетъ удовлетворить только сила, основывающаяся на талантѣ, гении, умѣ, знаніи, и какъ число этихъ „избранныхъ“ такъ ограничено, что не можетъ принести обильную жатву подписки, — то о нихъ нечего и думать; толпа любить посредственность, и посредственность должна угоддать толпѣ.

Къ числу такихъ-то маленькихъ великихъ людей принадлежитъ и Менцель. Ему не нравится порядокъ дѣлъ въ Германіи, и онъ придумалъ на-досугъ свой планъ для ея благосостоянія; но какъ она не осуществляетъ этого благодѣтельного плана, не будучи въ состояніи отрѣшиться отъ своего исторического развитія, ни отъ своей національной индивидуальности, да еще, какъ кажется, не будучи въ состояніи постичь всей премудрости г. Менцеля, и не вѣрить ей, а на самого его смотрѣть, какъ на журнального крикунна и политического полишинеля, то онъ и возвастъ на нее со всѣмъ ожесточеніемъ фанатика и представляетъ собою отвратительное и возмутительное зрѣлище сына, бьющаго по щекамъ родную мать свою. Другими словами: ему досадно, зачѣмъ Германія есть то, что она есть, а не то, чѣмъ бы ему хотѣлось ее видѣть — требование столь же справедливое, какъ и то, зачѣмъ у васъ волосы русые, а не черные, когда мнѣ именно хочется, чтобы у васъ были черные волосы!.. И поэтому, ему все не нравится въ Германіи, и ея книжность, и ея ученость, и ея патріархальные обычай и нравы. Но болѣе всего онъ возвастъ на нее въ лицѣ ея геніальныхъ представителей, которыми она гордится и которые доставили ей умственное владычество надъ всею просвѣщенною частию земного шара. Философія Гегеля признала монархизмъ высшою разумною формою государства, и монархія, съ утвержденными основаніями, изъ исторической жизни народа развивающими-ся, была для великаго мыслителя идеаломъ государства. Менцель думаетъ объ этомъ совершенно иначе, и потому онъ объявилъ, что Гегель сумасбродъ, дикий фанатикъ, и его философія — бѣснованіе полуумнаго человѣка. Еще большему ожесточенію съ его стороны подвергся Гёте. Великій поэтъ жилъ при веймарскомъ дворѣ, пользовался благосклонностію многихъ вѣнценосныхъ особъ и даже гордился дружбою къ себѣ многихъ изъ нихъ. Вотъ первое преступленіе германскаго поэта Гёте противъ добродѣтельного римлянина Менцеля, который по одному этому предмету разродился двумя глупостями. Во-первыхъ, жить при дворѣ или не жить при немъ — это решительно все равно, потому что въ обоихъ случаяхъ можно быть равно великимъ и равно добродѣтельнымъ человѣкомъ. Во-вторыхъ, не только несправедливо, но и справедливо нападая на человѣка, отнюдь не должно смыливать его съ художникомъ, равно какъ, рассматривая художника, отнюдь не слѣдуетъ касаться человѣка. У искусства есть свои законы, на основаніи которыхъ и должно рассматривать его произведенія. Мысль, выраженная поэтомъ въ созданіи, можетъ противорѣчить личному убѣжденію

критика, не переставая быть истинною и общею, если только созданіе дѣйствительно-художественно: ибо человѣкъ, какъ ограниченная частность, можетъ заблуждаться и питать ложныя убѣжденія, но поэтъ, какъ органъ общаго и мірового, какъ непосредственное проявленіе духа, не можетъ ошибаться и говорить ложь. Конечно, плата дань своей человѣческой натурѣ, и онъ можетъ впадать въ заблужденія, но это тогда, когда онъ измѣняетъ своей творческой натурѣ, становится невѣрнымъ самому себѣ и перестаетъ быть поэтомъ, допуская своей личности выѣшиваться въ свободный процессъ творчества и впадая въ резонерство, символизмъ и аллегорію. Слѣдовательно, чтобы узнать, вѣрна ли мысль, выраженная поэтомъ въ его произведеніи, должно сперва узнать, дѣйствительно ли художественно его созданіе. Но этотъ вопросъ решается непосредственнымъ впечатлѣніемъ созданія на непосредственное чувство критика (разумѣется, если его чувство доступно изящному, глубоко и всеобъемлющему), повѣреннымъ потомъ діалектикою мысли на непреложныхъ основаніяхъ искусства; а отнюдь не полицейскими справками о трезвости поведенія и аккуратности поэта въ платежѣ долговъ или освѣдомленіями о томъ, какъ отзывалась о немъ бабушка, довольна ли была имъ тетушка и хорошо ли онъ жилъ съ женой, а еще менѣе произвольными убѣжденіями случайной личности критика. Основная идея критики Менцеля есть та, что искусство должно служить обществу. Если хотите, оно и служить обществу, выражая его же собственное сознаніе и питая духъ составляющихъ его индивидуумовъ возвышенными впечатлѣніями и благородными помыслами благого и истинного; но оно служить обществу не какъ что-нибудь для него существующее, а какъ нечто существующее по себѣ и для себя, въ самомъ себѣ имѣющее свою цѣль и свою причину. Когда же мы будемъ требовать отъ искусства спосѣществованія общественнымъ цѣлямъ, а на поэта смотрѣть, какъ на подрядчика, которому можно заказывать въ одно время — воспѣвать святость брака, въ другое — счастіе жертвовать своею жизнью за отечество, въ третье — обязанность честно платить долги, то вмѣсто изящныхъ созданій наводнимъ литературу риѳомованными диссертациами обѣ отвлеченныхъ и разсудочныхъ предметахъ, сухими аллегоріями, подъ которыми будетъ скрываться не живая истина, а мертвое резонерство, или, наконецъ, угарными исчадіями мелкихъ страстей и бѣснованія партій. То и другое было во французской литературѣ. Сперва ея произведенія были декламаторскими резонерствомъ, которое, въ звучныхъ и гладкихъ стихахъ, то распыхивалось пошлыми сентенціями, какъ въ сочиненіяхъ Корнеля, Расина, Буало, Мольера, Фенелона (автора „Телемака“), то разсыпалось мелкимъ бѣсомъ въ пошлыхъ остротахъ и нагломъ кощунствѣ надъ всѣмъ святымъ и завѣтнымъ для человѣчества, какъ въ сочиненіяхъ Вольтера; теперь ея произведенія — буйное безуміе, которое, обоготовивъ неистовство животныхъ страстей, выдаетъ, подобно Гюго, Дюма, Евгению Сю, мясничество за трагедію и романъ, а клеветы на человѣческую натуру за

изображение настоящего вѣка и современного общества. Въ самомъ дѣлѣ, чтѣ представляетъ нынѣшняя французская литература? Отраженіе мелкихъ сектъ, ничтожныхъ системъ, эфемерныхъ партій, дневныхъ вопросовъ: г-жа д'Юдеванъ, или известный, но отнюдь не славный Жоржъ Зандъ, пишетъ цѣлый рядъ романовъ, одинъ другого нѣльзіе и возмутительнѣе, чтобы приложить къ практикѣ идеи сен-симонизма обѣ обществъ. Какія же это идеи? О, безподобныя!—именно: индустриальное направлѣніе должно взять верхъ надъ идеальнымъ и духовнымъ; должно распространиться равенство не въ смыслѣ христіанскаго братства, которое и безъ того существуетъ въ мірѣ со временемъ первыхъ двѣнадцати учениковъ Спасителя, а въ смыслѣ какого-то масонскаго или квакерскаго сектантства; должно уничтожить всякое различіе между полами, разрѣшивъ женщину на вся тяжкая и допустивъ ее, наравнѣ съ мужчиной, къ отправленію гражданскѣхъ должностей, а главное—предоставить ей завидное право мѣнять мужей по состоянію своего здоровья... Необходимый результатъ этихъ глубокихъ и превосходныхъ идей есть уничтоженіе священныхъ узь брака, родства, семейственности, словомъ, совершенное превращеніе государства сперва въ животную и безчинную оргію, а потомъ—въ призракъ, построенный изъ словъ на воздухѣ. Альфредъ де-Виньи, другой маленький великий человѣчекъ, ударился въ другую крайность: онъ изъ всѣхъ силъ хлопочетъ о возстановленіи французской монархіи въ томъ видѣ, въ какомъ она была до кардинала Ришелье—Франціи феодально-монархической. Для этого онъ поправляетъ исторію, выдумывая никогда несуществовавшіе факты, клевещетъ на Наполеона, заставляя какого-то глупаго пажа подслушивать его небывалый разговоръ съ папою Піемъ VII, а чтобы унизить кардинала Ришелье, ненавидимаго имъ, какъ врага выродившейся феодальной аристократіи, противопоставляетъ ему, въ своемъ романѣ, пустого и ничтожнаго Сен-Мара, дѣлая его героемъ и великимъ человѣкомъ. А, между тѣмъ, „идеальный“ Ламартинъ хлопочетъ, въ водяныхъ медитацияхъ, приторно-чувствительныхъ элегіяхъ и надуто-риторическихъ поэмахъ, воскресить католицизмъ среднихъ вѣковъ, котораго онъ не понимаетъ. Вышелъ во Франціи новый уголовный законъ, а завтра является сотня дюжинныхъ романовъ, въ которыхъ примѣромъ рѣшается справедливость или несправедливость закона; вышло новое постановленіе хоть о налогахъ, рекрутствѣ, акціяхъ—опять завтра же длинная вереница романовъ, которая нынче читается съ жадностю, а завтра забывается. Не такова истинная поэзія: ея содержаніе не вопросы дня, а вопросы вѣковъ, не интересы страны, а интересы міра, не участіе партій, а судьбы человѣчества. Не таковъ художникъ: въ дивныхъ образахъ осуществляется онъ божественную идею для нея самой, а не для какой-либо внѣшней и чуждой ей цѣли. Толпа Менцелей не смутить его дикими воплями и укорами въ безполезности его существованія—онъ гордо отвѣтитъ ей:

Подите прочь; какое дѣло  
Поэту мирному до васъ!  
Въ развратѣ каменѣйте смѣло;  
Не оживить васъ лиры гласъ!  
Душѣ противны вы, какъ гробы,  
Для вашей глупости и злобы  
Имѣли вы до сей поры  
Бичи, темницы, топоры;  
Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ!  
Во градахъ вашихъ съ улицъ шумныхъ  
Сметають соръ—полезный трудъ!  
Но, позабывъ свое служенье,  
Алтарь и жертвоприношенье,  
Жрецы ль у васъ метлу берутъ?  
*Не для житейскаю волиены,*  
*Не для корысти, не для битъ!—*  
*Мы рождены для вдохновенія,*  
*Для зруковъ сладкихъ и момітъ!*

Вдохновеніе художника такъ свободно, что самъ онъ не можетъ повелѣвать имъ, но повинуется ему, ибо онъ въ немъ, но не отъ него. Онъ не можетъ выбирать темъ для своихъ созданій, ибо безъ его вѣдома возникаютъ въ душѣ его таинственныя явленія, которыхъ показываетъ онъ потомъ на диво міру. Онъ творить не когда хочетъ, но когда можетъ; онъ ждеть минуты вдохновенія, но не приводить ея по волѣ своей, о потому-то:

Пока не требуетъ поэта  
Къ священной жертвѣ Аполлонъ,  
Въ заботахъ суетнаго свѣта  
Онъ малодушно погруженъ;  
Молчить его святая лира;  
Душа вкушаетъ хладный сонъ,  
И межъ дѣтей ничтожныхъ міра,  
Быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ.  
Но лишь божественный глаголь  
До слуха чуткаго коснется—  
Душа поэта встрепенется,  
Какъ пробудившійся орель;  
Тоскуетъ онъ въ забавахъ міра,  
Людской чуждается молвы,  
Къ ногамъ народнаго кумира  
Не клонить гордой головы;  
Бѣжитъ онъ, дикій и суровый,  
И звуковъ и смятенья полнъ,  
На берега пустынныхъ волнъ,  
Въ широкопушмныя дубровы...

Менцель поставляетъ Гёте въ великую вину и тяжкое преступленіе, что онъ молчалъ во время французской революціи и ни однимъ стихомъ не

выразилъ своего мнѣнія объ этомъ событіи, потрясшемъ весь міръ. Въ самомъ дѣлѣ, величое преступленіе! Такъ точно, въ одномъ рускомъ журнальѣ, кто-тоставилъ Пушкину въ вину, что онъ, воротясь изъ-за Кавказа, гдѣ былъ свидѣтелемъ славы русскаго оружія, напечаталъ VII-ю главу „Онѣгина“, а не собраніе „торжественныхъ одѣ“, подлинно — *les beaux esprits se rencontrent!*. И какая легкая, удобопонятная пітика: во время революціи поэтъ непремѣнно долженъ или хвалить, или хуить ее въ своихъ стихахъ, а во время войны — прославлять подвиги соотечественниковъ!. И какъ для Менцелей понятно, что Пушкинъ, возвратясь съ Кавказа, привезъ съ собою „Кавказскаго Плѣнника“, и какъ непонятно для нихъ, что Грибоѣдовъ съ того же Кавказа привезъ „Горе отъ Ума“ — злую сатиру на современное московское (а не кавказское) общество... Бѣдные люди!...

„Каждое слово Гёте принималось какъ изреченіе оракула; но онъ никогда не начиналъ рѣчи, чтобы напомнить германцамъ о народной ихъ чести, либо чтобы одушевить ихъ на какой-нибудь благородный помыслъ или подвигъ. Равнодушно пропускалъ онъ мимо себя событія всемирной исторіи или только сердился, что военные тревоги подчасъ нарушали сладкія минуты поэтическихъ его наслажденій. До французской революціи дремала Германія. Это грозное событіе пробудило наше отчество ужаснымъ образомъ. Какія чувствованія должно было породить въ сердцѣ первого нашего поэта? Новая эра возвбудила восторгъ въ Шиллерѣ; сгорая стыдомъ отъ измѣны отчизнѣ и отъ глубокаго ея униженія, онъ напоминалъ соотечественникамъ про прежнюю честь и прошлое величіе Германіи. Чѣдѣ же сдѣлалъ Гёте? Написалъ нѣсколько легкомысленныхъ комедій. Потомъ явился Наполеонъ. Чѣдѣ долженъ быть думать о немъ, сказать про него первый германскій поэтъ? Онъ долженъ быть, какъ Арнольдъ и Кернеръ, проклинать губителя своей отчизны и сдѣлаться главою союза добродѣтели, или, ежели по привычкѣ нѣмцевъ онъ былъ больше космополитъ, чѣмъ патріотъ, то, по крайней мѣрѣ, какъ Байронъ, долженъ бы уразумѣть глубоко трагическое значеніе великаго героя и его дивной судьбы“ (Ч. II, стр. 408—409).

Сколько лжей и пошлостей въ немногихъ словахъ этой ограниченной нѣмецкой головы! У каждого народа необходимы двѣ стороны: дѣйствительная, сущная и, какъ конечное ея отраженіе, пошлая и смѣшная; поэту и нѣмцевъ можно раздѣлить на германцевъ, каковы: Лессингъ, Кантъ, Фихте, Шеллингъ, Гегель, Шиллеръ и Гёте, и на нѣмцевъ, каковы: Клаурентъ, Концебу, Августъ Лафонтенъ, Фанъ-деръ Фельде, Баумейстеръ, Кругъ, Бахманъ и пр. Къ этимъ-то достопочтеннѣмъ и достополезнымъ нѣмцамъ-филистрамъ, отъ которыхъ попахиваетъ кнастеромъ и пивомъ, принадлежить и нашъ сердитый господинъ Менцель. Спросите его, съ чего онъ взялъ, что Гёте равнодушно пропускалъ событія всемирной исторіи? Неужели какая-нибудь кумушка-старушка, которая съ своими сосѣдками день и ночь колотила языкомъ по зубамъ, толкую реляціяхъ наполеоновскихъ походовъ и побѣдъ, или какая-нибудь фельетонистъ, по копейкѣ со строки надсаживавшій себѣ

грудь громкими фразами о томъ же предметѣ,—неужели они больше интересовались и глубже понимали эти великия событія, нежели великий поэтъ, который, по словамъ самого Менцеля, былъ полнѣйшимъ отраженіемъ, вѣрнѣйшимъ зеркаломъ своего великаго вѣка? Кто сказалъ ему, что Гёте не останавливался въ безмолвномъ созерцаніи, полномъ любви, мысли и благоговѣнія, передъ таинственными судьбами, въ такомъ величіи совершившимися въ его глазахъ,—онъ, въ которомъ все жило и который во всемъ жилъ, который все въ себѣ ощущалъ и на все откликался струнами своего духа, этой звучной арфы вселенной, этого гармонического органа міровой жизни?..

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ,  
Ручья разумѣть лепетанье,  
И говоръ древесныхъ листовъ понималъ,  
И чувствовалъ травъ прозябанье;  
Была ему звѣздная книга ясна,  
И съ нимъ говорила морская волна!

Неужели изъ того, что Гёте не воспѣвалъ великихъ современныхъ событій, слѣдуетъ, чтобы они не касались его, что онъ не чувствовалъ ихъ? Развѣ Гомеръ въ своей „Іліадѣ“ воспѣлъ современное ему событіе, а не за два столѣтія до него совершившееся? Развѣ Шекспиръ, въ своихъ драмахъ, представилъ тоже современный ему міръ? Помилуйте, господа Менцели, только какой-нибудь школьникъ съ тетрадкой въ руکѣ, какой нибудь Сент-Жюстъ могъ расписать по мѣсяцеслову вдохновеніе поэта, заставивъ его въ апрѣль воспѣвать дружбу, въ маѣ любовь, въ іюнѣ бракъ, а въ іюль добродѣтель!.. Мы этимъ отнюдь не хотимъ сказать, чтобы поэту нельзя было отзываться пѣснью на современныя событія; нѣтъ, это значило бы впасть въ противоположную крайность, а каждая крайность есть нелѣпость, плодъ ограниченности ума и мелкости духа. Вдохновеніе не спрѣвляется съ календаремъ. Оно часто молчитъ, когда всѣ ожидаютъ его. Но мы, однако, думаемъ, что поэтъ всего менѣе способенъ отзываться на современность, которая для него есть начало безъ середины и конца, явленіе безъ полноты и цѣлости, закрытое туманомъ страстей, предубѣжденій и пристрастія партій, и потому его вдохновеніе больше любить жить въ вѣкахъ минувшихъ и пробуждать исполинскія тѣни Ахилловъ и Гекторовъ, Ричардовъ и Генриховъ или изъ иѣдъ собственного духа воспроизводить свои гигантскіе образы, каковы: Гамлетъ, Макбетъ, Отелло. Менцель говоритъ, что новая эра, начатая французскою революціею, пробудила восторгъ въ Шиллерѣ: зачѣмъ же онъ такъ безсознѣтно умолчалъ, что если Шиллеръ съ восторгомъ привѣтствовалъ начало французской революціи, то съ отвращеніемъ смотрѣлъ на ея продолженіе и

конецъ и съ негодованіемъ отвергнулъ дипломъ на гражданина французской республики, который предлагалъ ему конвентъ за его трагедію „Фіеско“—очень плохенькое твореньице въ художественномъ отношенії?.. Или раз-  
сказать фактъ въ половину иногда необходимо, чтобы поддержать ложь?.. И какъ понятно, что Гёте не могъ поступить подобно Шиллеру, ибо Гёте былъ геній несравненно высшій, геній чисто художническій, а потому не-  
способный увлекаться никакими односторонностями, но обнимавшій все въ  
оконченной цѣлости, на все смотрѣвшій не снизу вверхъ, а сверху внизъ.  
Вся цѣль стремленій самого Шиллера была—достигнуть мірообъемлющей  
объективности Гёте; только при концѣ своего поприща онъ болѣе или ме-  
нѣе достигъ этого, и оттого послѣднія его произведенія и выше и  
глубже, чѣмъ произведенія его юности, полной пожирающаго пламеній,  
а вмѣстѣ съ нимъ и дыма, и чада, и угара.. Чѣмъ могло дѣлать честь  
Шиллеру, то унизило бы Гёте. Съ чего взялъ господинъ Менцель,  
что Гёте долженъ быть, подобно господамъ Арндту и Кёрнеру, про-  
клинать Наполеона, какъ губителя своей отчизны?.. Это еще что за  
новость?.. Когда Менцель заставляетъ Гёте подражать Шиллеру — въ  
этомъ еще есть немножко смысла, потому что Шиллеръ все-таки былъ ве-  
ликій духъ, если не такой же художникъ; но заставлять орла дѣлать то,  
чѣдѣлали комары?.. Для выполненія временныхъ требованій и цѣлей ка-  
кой-нибудь ограниченной эпохи, есть маленькие великие люди, есть Арндты  
и Кёрнеры, а у истинно великихъ людей, исполнинъ человѣчества—другое  
время и другія цѣли—міръ и вѣчность... Съ чего взялъ Менцель, что Гёте  
долженъ быть сдѣлаться главою Тугендуида, состоявшаго изъ школьн-  
иковъ и духовно-малолѣтнихъ дѣтей и смѣшного для людей взрослыхъ и воз-  
мужавшихъ духомъ...

Все это показываетъ только, что Менцель не понимаетъ ни значенія,  
ни сущности искусства, а, взявшись говорить о томъ, чего не смыслишь,  
невольно будешь говорить вздоръ; если же къ этому присоединится  
духъ партіи и оскорблениое самолюбіе, то, вмѣсто истины, будешь  
изрыгать ругательства и проклятія... Изъ всего этого видно одно:  
Менцель золъ на Гёте за то, что тотъ не хотѣлъ быть ни крикуномъ, ни  
начальникомъ какой-либо политической партіи, что онъ не требовалъ невоз-  
можнаго сполученія раздробленной Германіи въ одно политическое тѣло. У  
генія всегда есть инстинктъ истины и дѣйствительности; чѣдѣ есть, то для  
него разумно, необходимо и дѣйствительно, а чѣдѣ разумно, необходимо и  
дѣйствительно, то только и есть. Поэтому Гёте не требовалъ и не желалъ  
невозможнаго, но любилъ наслаждаться необходимо-сущимъ. Для него не-  
обходимость раздробленности Германіи была такимъ же убѣжденіемъ и та-  
кою же вѣрою, какъ у Пушкина было убѣжденіе *и вѣра, что не русское*  
*море изсякнетъ, а „славянскіе ручьи сольются въ русскомъ морѣ“*. Только  
какой-нибудь Мицкевичъ можетъ заключаться въ ограниченное чувство

политической ненависти и оставить поэтическія созданія для рицарскихъ памфлетовъ; но это-то и достаточно намекаетъ на „мировое величіе“ его. поэтическаго генія: Менцель, вѣрно, на колѣняхъ передъ нимъ, а это самая злая и ругательная критика для поэта. Наконецъ, Менцель положительно и окончательно обнаруживаетъ свой взглядъ на Гёте, переводя противъ него слѣдующія слова Платона о Гомерѣ:

„Мнѣ должно, наконецъ, высказать мою мысль, хотя *по какой-то тяжности къ Гомеру и застѣнчивости передъ ними, которыхъ питаютъ съ самой молодости*, мнѣ трудно рѣшиться говорить обѣ этомъ поэтѣ: ибо онъ, кажется, глава и предводитель всѣхъ хорошихъ трагическихъ стихотворцевъ. Но какъ не должно человѣка ставить выше истины, то и принужденъ высказать, что думаю. Итакъ, любезный Главконъ, если ты встрѣтишь людей, превозносащихъ Гомера, которые говорятъ, что этотъ поэтъ былъ наставникомъ цѣлой Греціи, и что онъ стоитъ тщательнаго изученія, потому что отъ него можно научиться хорошо управлять дѣлами человѣческаго рода и хорошо обращаться съ ближними, что, по этой причинѣ, должно располагать и вести свою жизнь сообразно съ его предписаніями, то на такихъ людей, конечно, нельзя сердиться; имъ, безъ сомнѣнія, должно оказывать всякую любовь и дружбу. Они, сколько могутъ, стараются всемѣрно быть людьми честными; нельзя также не согласиться съ ними, что Гомеръ есть геній, въ высшей степени поэтическій и глава трагическихъ поэтовъ. При этомъ надлежитъ однако замѣтить, что въ государствѣ не должно допускать никакихъ твореній поэзіи, кроме пѣснопѣній въ похвалу боговъ и въ славу доблестныхъ подвиговъ. Коль скоро ты допустишь туда нѣжную и сладостную лиру какого бы ни было рода, лирическаго и эпического: то произвольные волненія веселія или печали станутъ тамъ царствовать вмѣсто закона и ума“ (Ч. II, стр. 442—443).

Итакъ—долой Гомера, долой Шекспира, долой искусство: они вредятъ обществу! Давно бы такъ! Въ такомъ случаѣ не для чего было нападать на Гёте и писать цѣлую вздорную книгу; сказать бы прямо, коротко и ясно: долой искусство! Тогда всякий понялъ бы, что бѣдному Гёте нечего дѣлать на бѣломъ свѣтѣ. Менцель, въ простотѣ ума и сердца, думаетъ, что онъ сошелся съ Платономъ, не видя въ словахъ величайшаго философа-поэта древности противорѣчія съ самимъ собою и не понимая причины этого противорѣчія. Платонъ первый открылъ своимъ геніемъ причину красоты въ самой красотѣ, назвавъ все сущее воплощеніемъ божественныхъ идей, отъ вѣка въ себѣ пребывавшихъ и въ себѣ заключающихъ свою причину,— и тотъ же Платонъ уничтожаетъ міръ искусства, который есть міръ красоты!.. Отчего это противорѣчіе?—Оттого, что въ древнемъ мірѣ общество уничтожало въ себѣ людей и частнаго человѣка признавало не какъ существующаго самого по себѣ и для себя, а какъ только своего члена, свою часть и своего слугу. Тогда гражданинъ былъ выше человѣка; а какъ поэзія есть удовлетвореніе внутренней потребности духа, сознавшаго и себя, и міръ,—то Платонъ, при всемъ своемъ геніи, и не могъ примирить этого противорѣчія, которое было примирено христіанствомъ и дальниѣшими раз-

витіємъ человѣчества въ исторії. Всякая философія, въ своемъ началѣ, есть противорѣчіе, и только свершивъ свой полный кругъ, дѣлается примиреніемъ, какъ философія нашего времени, философія Гегеля. Хотя Платонъ понималъ существующее больше какъ поэтъ, нежели какъ философъ, т.-е. не діалектикою мысли, а полнотою внутренняго созерцанія, но онъ уже мыслилъ, а не творилъ, и потому разрушающая сила разсудка необходімо вошла въ его мірообъемлющія возврѣння какъ начало разрушенія полной и гармонической жизни грековъ. Это разрушеніе въ Сократѣ проявилось уже рѣзко, какъ философія разсудка, противоположная поэтическому взгляду народа-художника, за что великий мудрецъ и погибъ жертвою оскорблennаго имъ національнаго духа, еще не могшаго сознать въ Сократѣ начало новой для себя жизни. И посмотрите, съ какимъ уваженіемъ, съ какою любовію и какою благородною скромностію вооружается противъ Гомера этотъ великий духъ! Смотрите, какъ боится онъ обаятельной силы, нѣжной и сладостной лиры: о, онъ знаетъ, что не устоялъ бы противъ ея чародѣйственнаго обольщенія, онъ въ самомъ себѣ чувствовалъ своего предателя, ежеминутно готоваго измѣнить ему! Такъ противорѣчать себѣ умы геніальные: только посредственность и ограниченность способны фанатически предаться какой-нибудь односторонности и упрямо закрывать глаза на весь остаточный Божій міръ, противорѣчашій исключительности ихъ тѣснаго убѣженія...

Напѣ Менцель не Платонъ: что не подходитъ подъ его маленькую идею—онъ подгибаетъ подъ нее; а не гнется—онъ ломаетъ. Искусство не далось ему, не подошло подъ тѣсныя рамки его идеального построенія—долой искусство—оно грѣхъ, преступленіе, безнравственность!.. Вотъ такъ-то: что долго думать! А другой какой-нибудь чудакъ готовъ уничтожить общество, разрушить промышленность, торговлю, словомъ, всю практическую сторону жизни, чтобы обратить людей къ исключительному служенію искусству и подѣлать изъ нихъ художниковъ иamatеровъ. Дайте имъ только возможность и силу приложить къ жизни свою теорію.—Одинъ завопитъ: „общество! все погибай, чтобъ не служить къ пользѣ общества!“, а другой зарычитъ: „искусство! все погибай, чтобъ не живеть въ искусствѣ!“... Но истинно-мудрый кротко и безъ крика говоритъ: „Да живеть общество и да процвѣтаетъ искусство: то и другое есть явленіе одного и того же разума, единаго и вѣчнаго, и то, и другое въ самомъ себѣ заключаетъ свою необходиимость, свою причину и свою цѣль!“

Да! общество не должно жертвовать искусству своими существенными выгодами или уклоняться для него отъ своей цѣли. Искусство не должно служить обществу иначе, какъ служа самому себѣ. Пусть каждое идетъ своею дорогой, не мѣшая другъ другу.

Дѣло Пяттова, Фоксовъ, О'Коннелей, Талейрановъ, Кауницевъ и Меттерниховъ—участвовать въ судьбѣ народовъ и испытывать свое вліяніе въ

политической сферѣ человѣчества. Дѣло художниковъ—созерцать „полное славы творенъ“ и быть его органами, а не вмѣшиваться въ дѣла политической и правительственные. Иначе придется воскликнуть:

Вѣда, коль пироги начнетъ печи сапожникъ,  
А сапоги тачать пирожникъ!

Все велико на свое мѣсто и въ своей сферѣ, и всякий имѣть зна-  
женіе, силу и дѣйствительность только въ своей сферѣ, а заходя въ чуждую,  
дѣлается призракомъ, иногда только смѣшнымъ, иногда отвратительнымъ,  
а иногда смѣшнымъ и отвратительнымъ вмѣстѣ, подобно Менцелю. Можетъ  
быть, Менцель бы хорошимъ чиновникомъ при посольствѣ или даже  
депутатомъ города или сословія, потому что, можетъ быть, онъ въ этомъ и  
знаетъ что-нибудь и способенъ на что-нибудь; но онъ не можетъ быть даже  
и посредственнымъ критикомъ, потому что ровно ничего не смыслить въ  
искусствѣ, не имѣть никакого органа для принятія впечатлѣній изящнаго.  
Онъ судить объ искусствѣ, какъ слѣпой о цвѣтахъ, глухой о музѣкѣ. Воду  
нельзя мѣрять саженями, а дорогу ведрами: нельзя по политикѣ судить  
объ искусствѣ, ни по искусству о политикѣ, но каждое должно судиться на  
основаніи своихъ собственныхъ законовъ.

Есть еще и другая фальшивая мѣрка для искусства—тоже принятая  
Менцелемъ, который, въ отношеніи къ ней, имѣть, имѣть и всегда буд-  
детъ имѣть еще болѣе подражателей. Мы говоримъ о нравственной точкѣ  
зрѣнія на искусство.

Это вопросъ глубокій и важный. Сколько позволяютъ предѣлы статьи,  
намекнемъ на его безконечное значеніе.

Нравственіость принадлежитъ къ сферѣ человѣческихъ дѣйствій и въ  
отношеніи къ волѣ человѣка есть то же самое, что истина въ мышленіи,  
что красота въ искусствѣ. Основаніе нравственности лежитъ въ глубинѣ  
духа—источника всего сущаго. Все, чтобъ выходить изъ одного начала, изъ  
одного общаго источника,—все то родственно, единокровно и нераздѣльно  
въ своей сущности, хотя и различается средствомъ, путемъ и формою сво-  
его проявленія. Слѣдовательно, отдѣлить вопросъ о нравственности отъ  
вопроса объ искусствѣ такъ же невозможно, какъ и разложить огонь на  
свѣтъ, теплоту и силу горѣнія. Но поэтому-то самому и должно раздѣлить  
эти два вопроса. Когда вамъ сказали, что въ каминѣ разведенъ огонь—вы,  
вѣрно, не спросите, обожжетъ ли этотъ огонь ваши руки, если вы положите  
ихъ на него,—и будутъ ли вамъ видны предметы, освѣщенные имъ. Такой  
вопросъ приличенъ только или ребенку, едва начинающему говорить, или  
человѣку сумасшедшему. Когда вамъ говорятъ, что женщина родила дитя—  
вы, вѣрно, не спросите, есть ли у этого дитяти тѣло, или есть ли у него  
душа; когда онъ живъ, у него есть и душа, и тѣло, ибо онъ самъ есть не

что иное, какъ явившійся или воплотившійся духъ. Но вы можете сдѣлать вопросъ объ огнѣ—разведенъ ли онъ въ каминѣ, чтобы могъ и грѣть, и освѣщать или еще только разводиться; а о младенцѣ—живъ ли онъ, или родился мертвымъ, или умеръ, родившись. Итакъ, видите ли: вы раздѣляете два вопроса именно потому, что они нераздѣлимы, что отвѣтъ на одинъ есть уже необходимо и отвѣтъ на другой, хотя бы вы другого и не дѣлали. Такъ и въ искусствѣ: что художественно, то уже и нравственно; что нехудожественно, то можетъ быть не безнравственно, но не можетъ быть нравственно. Вслѣдствіе этого, вопросъ о нравственности поэтическаго произведенія долженъ быть вопросомъ вторымъ и вытекать изъ отвѣта на вопросъ—дѣйствительно ли оно художественно. Произведеніе искусства, художественность котораго не выдержитъ высшей пробы вкуса и критики, можетъ быть положительно-безнравственно, какъ оскорбляюще нравственность, и можетъ быть отрицательно-безнравственно, какъ только неоскорбляюще нравственности; но всякое истинно или дѣйствительно-художественное произведеніе не можетъ не быть положительно-нравственнымъ. Доказать, что произведеніе искусства положительно-безнравственно—значитъ доказать, что оно положительно-нехудожественно, а для этого сперва должно разсмотрѣть его въ его собственной сферѣ, т.-е. въ сферѣ искусства, и доказать изъ него же самого, что оно нехудожественно, или, по крайней мѣрѣ, прежде вопроса о нравственности, принять это за утвержденное и очевидное. Единосущное не противорѣчить единодушному, и истина не раздѣляется на самое же себя, чтобы уничтожить самое же себя.

Намъ возразятъ, что наше возврѣніе противорѣчить опыту, ибо есть множество произведеній искусства, которыя цѣлыми вѣками и народами признаны за художественные, но которыя тѣмъ не менѣе безнравственные, и наоборотъ, есть множество произведеній, слабыхъ съ художественной стороны, но въ высшей степени нравственныхъ.

Для отвѣта на подобное возраженіе, имѣющее всю силу вѣнчайшей очевидности, должно условливаться въ значеніи словъ „художественное“ и „нравственное“. Но какъ рѣшеніе подобнаго важнаго и глубокаго вопроса повело бы насъ слишкомъ далеко, то и ограничимся только тѣмъ, что слегка поговоримъ о значеніи „нравственного“, оставляя безъ разрѣшенія „художественное“, какъ будто опредѣленное и всѣмъ известное.

Не все то принадлежитъ къ сферѣ „нравственного“, чтѣ называютъ „нравственнымъ“ (Sittlichkeit), смышивая съ нимъ понятіе „моральнаго“ (Moralitt). Нравственность относится къ моральности, какъ разумный опытъ жизни къ житейской опытности, какъ высокое къ обыкновенному, трагическое къ повседневному, какъ разумъ къ разсудку, мудрость къ хитрости, искусство къ ремеслу. Жизнь человѣческая раздѣляется на будни, которыхъ въ ней много, и праздники, которыхъ въ ней мало. Въ жизни человѣка бываютъ тор-

жественные минуты, въ которыхъ все—побѣда, или все—паденіе, и нѣтъ середины. Это минуты борьбы его индивидуальной особности, требующей личнаго счастія или личнаго спасенія, съ долгомъ, говорящимъ ему, что онъ въ правѣ стремиться къ счастію или спасенію, но не насчетъ несчастія или погибели близкаго, имѣющаго равное съ нимъ право и на счастіе, если оно ему представляется, и на спасеніе, если ему грозить бѣда. Воля человѣка свободна: онъ въ правѣ выбрать тотъ или другой путь, но онъ долженъ выбрать тотъ, на который указываетъ ему разумъ. Если онъ послушается голоса своей личности, требующей всего себѣ, и останется спокоенъ въ духѣ своеемъ—онъ будетъ правъ въ отношеніи къ самому себѣ, хотя и виноватъ въ отношеніи къ разуму, котораго законовъ онъ не въ состояніи постигать: тогда не будетъ осуществленія нравственнаго закона, за нарушеніе котораго кара внутри человѣка, но тогда, можетъ быть, осуществится только моральный законъ, за нарушеніе котораго наказаніе вѣтъ человѣка, какъ возмездіе гражданскаго закона или какъ личное мщеніе со стороны оскорбленнаго. Объяснимъ это примѣромъ, который сдѣлалъ бы нашу мысль освѣзаемо очевидностію. Молодой человѣкъ увлекся мимолѣтнымъ и скоропреходящимъ чувствомъ любви къ дѣвушкѣ, которая могла только доставить ему нѣсколько минутъ блаженнаго упоенія, но не удовлетворить вполнѣ всѣхъ потребностей его духа, но не быть половиною души его, жизнью сердца,—словомъ, которая могла быть только его любовницею, но не женой. Теперь положимъ, что эта дѣвушка, не имѣя такой глубокой натуры, какъ онъ, и будучи ниже его и своими понятіями, чувствованіями, потребностями и образованіемъ, тѣмъ не менѣе была бы существомъ, достойнымъ всякаго уваженія, могла бы составить счастіе цѣлой жизни равнаго себѣ по натурѣ и образованію человѣка, быть вѣрною, любящею женой и матерью, уважаемою въ обществѣ женщинъ. Дѣвушка эта, не видя и не понимая своего духовнаго неравенства съ этимъ молодымъ человѣкомъ, однако же любить его страстно, предана ему до самоотверженія, до безумія, и уже мать его дитя. Она не подозрѣваетъ и возможности конца своему счастію, ея любовь все сильнѣе и сильнѣе; а онъ уже просыпается отъ сладкаго упоенія страсти, онъ уже съ ужасомъ не находить въ себѣ прежней любви, онъ уже не въ силахъ отвѣтить на ея горячія лобзанія, на ея ласки, прежде столь обаятельный, столь могучій для него... Она вся любовь, упоеніе, нѣга; онъ весь тяжелая дума, тревожное беспокойство. Наконецъ, ему нѣтъ больше силъ притворяться, тяжело ее видѣть, страшно о ней вспомнить. А между тѣмъ, какъ бы на- зло самому себѣ, какъ бы для усугубленія своихъ страданій, онъ понимаетъ всѣ ея достоинства, цѣнить всю ея любовь и преданность къ нему, даже видѣть въ ней больше, нежели чтобъ она есть въ самомъ дѣлѣ. Онъ проклинаетъ и презираетъ себя, не видѣть въ мірѣ никого гнуснѣе и преступнѣе себя; онъ называетъ себя обманщикомъ, воромъ, подло укравшимъ любовь и честь женщины; о прошлыхъ своихъувѣ-

реніяхъ и клятвахъ любви онъ вспоминаетъ какъ объ умышленномъ, обдуманномъ вѣроломствѣ, забывъ, что, въ то время восторговъ и упоеній, онъ говорилъ и клялся искренно, горячо вѣрилъ дѣйствительности своего чувства. Отчего же этотъ внутренний раздоръ, отчего это раздвоеніе съ самимъ собою, этотъ жгучій огонь въ груди, эта мука, эта пытка души?.. Вѣдь эта дѣвушка только тихо плачетъ, безмолвно изнываетъ въ безотрадной тоскѣ отвергнутаго и оскорблennаго чувства! Вѣдь она не грозить ему законами, не преслѣдуетъ его упреками, не беспокоитъ его требованіями, и потому страшная тайна останется между ними, ему нечего страшиться ни мишенія гражданскаго закона, ни даже суда общественнаго мнѣнія!— Но отъ всѣхъ этихъ утѣшенній его страданія только глубже и мучительнѣе: безропотное страданіе жертвы возбуждаетъ въ немъ только большее уваженіе къ ней и большее презрѣніе къ себѣ; а безопасность вѣнчанаго наказанія только больше увеличиваетъ въ его глазахъ собственное преступленіе. Отчего же это?—Оттого, что сердце этого молодого человѣка есть почва, въ которую законъ нравственнаго духа такъ глубоко пustилъ свои корни, что онъ можетъ ихъ вырвать только съ кровью и тѣломъ, а слѣдовательно, и съ потерей собственной жизни. Онъ оскорбилъ не ходячія нравственные сентенціи: онъ оскорбилъ достоинство собственнаго духа, нарушилъ незримо, но ощутительно пребывающіе въ его сущности законы его же собственнаго разума. Что же ему останется дѣлать? Жениться на ней—скажете вы? Но для такихъ людей чувствовать подлѣ себя біеніе сердца, трепещущаго любовью, чувствовать сжатіе чьихъ-то горячихъ объятій, и оставаться холоднымъ, мертвымъ... ужасно!.. Для трупа объятія живого существа то же, что для живого существа объятія трупа... Когда мы не связаны съ существомъ, на любовь котораго не можетъ отвѣтить, мы уважаемъ его, сострадаемъ ему, плачимъ и молимся о немъ; но когда мы связаны съ нимъ неразрывными узами брака, и его страстная любовь вызываетъ нашу, которой въ насъ нѣть, мы отвѣтываемъ ему на нее ненавистю!.. Что же тутъ дѣлать?.. Иногда подобныя трагическія столкновенія разрѣшаются просто, во вкусѣ мѣщанской драмы: красавица пострадаетъ, а потомъ допустить утѣшить себя другому, который заставитъ ее забыть горе для радости; но что, ежели въ то время, какъ онъ борется съ собою и носитъ въ душѣ своей адъ, въ самомъ разгарѣ этой безвыходной борьбы, до слуха его дойдетъ страшная вѣсть, что она умерла, благословляя его, и его имя было ея послѣднимъ словомъ?.. Неужели послѣ этого для него возможно счастіе на землѣ? А если и возможно, неужели на немъ не будетъ какого-то мрачнаго оттѣнка? Неужели въ часы упоенія любви, изъ-за того юнаго, прекраснаго и полнаго жизни существа, которое такъ роскошно осѣнило лицо его волнами длинныхъ локоновъ, ему не будетъ иногда являться какой-то блѣдный, страдальческій призракъ, съ любовью въ очахъ, съ благословеніемъ на устахъ?.. Изъ той

же возможности могла родиться и другая действительность: онъ могъ, идя по улицѣ, увидѣть толпу народа около какого-то трупа женщины, сейчасъ вытащенного изъ рѣки... Страшно!.. Человѣческая природа содрогается передъ такимъ бѣдствиемъ... Чѣдъ же значитъ это бѣдствіе? Вѣдь онъ могъ не признать трупа, могъ пройти мимо, не боясь мщенія закона?.. Нѣть, есть другой законъ, еще ужаснѣе закона гражданскаго,—законъ внутренній, въ немъ самомъ пребывающій, законъ нравственности,—и этотъ-то законъ караетъ его. Бывали примѣры, что преступники, убийцы являлись въ судъ и признавались въ преступленіяхъ, давно совершенныхъ, давно забытыхъ, въ которыхъ ихъ и тогда никто не подозрѣвалъ, и, какъ облегченія своихъ страданій, просили казни. Видите ли, какой страшный законъ этотъ нравственный законъ, и какъ страшно его наказаніе: самая казнь, въ сравненіи съ нимъ, есть облегченіе, милость!.. Но, повторяемъ, онъ не для всѣхъ существуетъ, потому что онъ въ духѣ человѣка, а не въ его, и въ духѣ только въ глубокомъ и могучемъ... Обратимся къ нашей исторіи. Она могла бы кончиться и не такъ эффектно, но не менѣе ужасно. Молодой человѣкъ могъ бы рѣшился пожертвовать собою для искупленія своей вины,—страшная рѣшимость! Но чѣдъ, если бы онъ услышалъ такой отвѣтъ на свое великолѣпное предложеніе: „я хочу любви, а не жертвы: я лучше умру, не жели быть въ тягость тому, кого люблю!..“ Вотъ тутъ уже совершенно нѣть выхода изъ двухъ крайностей: и себя погубить, и ее погубить... А между тѣмъ, эта погибель совсѣмъ не виншная, не случайная, но есть осуществленіе возможности, которую онъ самъ же родилъ своимъ поступкомъ. Мы выше сказали, что дѣло точно такъ же могло кончиться очень хорошо для обѣихъ сторонъ, какъ кончилось худо: изъ этого видно, что сущность дѣла не въ совершеніи, а въ возможности совершенія. Проступокъ оскорблялъ нравственный законъ, слѣдовательно, необходимо условливалъ возможность наказанія, хотя оно могло бы и миновать. Итакъ, въ „возможности“ лежитъ внутренняя, действительная сторона событія, потому что только внутреннее действительно, и только действительное велико. Отсюда важность и трагическое величіе осуществленія нравственного закона. Кончилась эта исторія хорошо—и молодой человѣкъ счастливъ, и никто бы не осудилъ его; кончилось оно дурно—и всѣ голоса противъ него...

Но есть люди, которыхъ совѣсть говорчива, которые боятся суда уголовнаго, но не боятся суда духовнаго...

Главное и существенное различіе нравственности отъ моральности состоитъ въ томъ, что первая есть законъ разума, въ таинственной глубинѣ духа пребывающій, а послѣдняя всегда бываетъ разсудочнымъ понятіемъ о нравственности же, но только людей не глубокихъ, виншнихъ, не носящихъ въ нѣдрахъ своего духа закона нравственности, а между тѣмъ чувствующихъ его необходимость. Поэтому нравственность есть понятіе обще-мировое, непрѣходящее, безусловное (абсолютное), а моральность часто бываетъ по-

нятиемъ условнымъ, измѣняющимся. Было время, когда воинъ, пролившій за отечество лучшую часть своей крови, покрытый ранами и честными знаками отличій, обнаружилъ бы себя въ глазахъ общества бевчестнымъ человѣкомъ, если бы отказался отъ дуэли съ какимъ-нибудь мальчишкою-негодяемъ, и особенно, если бы, по христіанскому чувству, простилъ ему оскорблѣніе. И такъ думали во имя нравственности, которую, по счастію, очень удачно замѣнили французскимъ словомъ *moralité!*. Моральность относится къ низшей или практической сторонѣ жизни, равно какъ и вытекающее изъ нея понятіе о чести; но, тѣмъ не менѣе, и она есть истина, когда не противорѣчить нравственности,—и кто нравственъ, тотъ необходимо и мораленъ и честенъ, но не наоборотъ, ибо иногда самые моральные, и честные, и благородные, въ силу общественнаго мнѣнія, люди бываютъ самыми безнравственными людьми.

Тѣ, которые смотрятъ на искусство съ нравственной точки зреінія, обыкновенно смѣшиваютъ нравственность съ моральностью, а какъ моральные понятія зависятъ отъ ограниченной личности, случайного произвола каждого, то каждый и судить по своему о произведеніяхъ искусства, требуя отъ нихъ то того, то другого, но никогда не требуя именно того, чего должно отъ нихъ требовать. Исключительность и односторонность господствуютъ въ этомъ взглядѣ. Чего не понимаетъ господинъ моралистъ или господинъ резонеръ, то и объявляетъ безнравственнымъ. Эти моралисты-резонеры хотятъ видѣть въ искусствѣ не зеркало дѣйствительности, а какой-то идеальный, никогда не существовавшій міръ, чуждый всякой возможности, всякаго зла, всякихъ страстей, всякой борьбы, но полный усыпительного блаженства и резонерскаго нравоученія; требуютъ не живыхъ людей и характеровъ, а ходачихъ аллегорій съ ярлычками на лбу, на которыхъ было бы написано: умѣренность, аккуратность, скромность и т. п. Вследствіе такого прекраснаго взгляда на сущность жизни, романъ, поэма, драма непремѣнно должны кончиться счастливо для „добродѣтельныхъ“, дабы всѣ видѣли, что „добродѣтель награждается“, и несчастно для порочныхъ, дабы всѣ видѣли, что „порокъ наказывается“. Близорукіе и косые, они не понимаютъ, что добродѣтель всегда награждается и зло всегда наказывается, но только внутренно; а вѣнчаниемъ образомъ торжество чаше остается за зломъ, нежели за добромъ. Они не понимаютъ, что добро есть лучшая награда за добро, и.э. зло жесточайшее наказаніе за зло. Въ душѣ человѣка и его небо, и его адъ. Прочтите, напр., высоко-художественное созданіе Вальтера-Скотта „Ламмермурскую Невѣсту“—эту великую трагедію, достойную генія самого Шекспира, эту высоко-поразительную картину, въ формѣ романа, осуществившую трагическую борьбу, разрѣшившуюся въ торжество нравственнаго закона. Мать губитъ собственную дочь для удовлетворенія своей суетности и грѣховныхъ побужденій холодной и искаженной души; обманомъ и хитростью разрываетъ она святой духовный союзъ юнаго дѣственнаго существа

сь избраннымъ ея сердца, съ родною ей душою. Бѣдную, кроткую дѣвушку увѣрили, что милый измѣнилъ ей, что жданный и желанный не придетъ уже къ ней, и указали безотвѣтной жертвѣ на чуждаго ей человѣка, какъ на жениха, а молчаніе ея умыслению приняли за согласіе. И вотъ коварство и злоба восторжествовали: брачный контрактъ уже подписанъ безотвѣтною жертвою, священнику уже тутъ, а милый сердца далеко, далеко, за синимъ моремъ, на чужой землѣ, подъ чуждымъ небомъ... Резонеры готовы воспіять противъ поэта, говоря, что онъ сдѣлалъ зло сильнымъ и торжествующимъ, а добро немощнымъ и погибающимъ... Но вотъ раздается на дворѣ замка топотъ коня—и въ залу входитъ человѣкъ, закрытый плащомъ и шляпою... Вотъ онъ открываетъ лицо—и мать въ бѣшенствѣ бросается къ нему съ вопросомъ: какъ онъ осмѣлился нанести ихъ дому это новое оскорблѣніе?.. Видите ли: зло покарало зло—нравственный законъ осуществился; коварство, такъ глубоко обдуманное, такъ легко и непредвидѣнно разрушилось... Брать Люсія вызываетъ его на дуэль, женихъ тоже; онъ не отказывается, но спокойно просить у матери позволенія объясниться съ дочерью... „Ваша ли рука это, Люсія? безъ принужденія ли вы подписали эту контрактъ?“—Люсія блѣднѣть и умирающимъ голосомъ отвѣтчаетъ: „Безъ принужденія“... Отчего же она побѣдѣла? Оттого, что и на ней совершилось осуществленіе нравственнаго закона, и она наказана за вину собственную виною, ибо въ миломъ сердца своего увидѣла своего грознаго судію. Она не имѣла права подписывать контракта и нести чуждому ей человѣку холодную душу, мертвое сердце, блѣдное лицо и потухшія очи, ибо и церковь, освящающая своимъ благословеніемъ союзъ сердецъ, изрѣкаетъ его только на условіи свободнаго выбора сердца; повиновеніе волѣ родительской не есть причина для нарушенія воли Божіей: Богъ выше родителей!.. „Такъ возвратите же мнѣ половину моего кольца, Люсія“... Она тщетно силилась дрожащею рукою вынуть шнурокъ, на которомъ хранилось на груди кольцо; мать помогаетъ ей, и Равенсвудъ бросаетъ обѣ половинки переломленнаго кольца въ каминъ и тихо выходитъ... Долго бѣхъ онъ шагомъ, но лишь исчезъ изъ глазъ смотрѣвшихъ на него враговъ, какъ молникою помчался на свое мѣсто конѣ. Леди Астонъ снова восторжествовала; вотъ конченъ и обрядъ; вотъ тянется отъ церкви къ замку блестящій пойздъ, и три вѣдьмы, три ниція толкуютъ между собою о событии, а одна пророчить близкія похороны. Вотъ начался и балъ; онъ уже во всемъ разгарѣ; но вдругъ въ спальнѣ новобрачныхъ раздается воспіль... выламываются двери: новобрачный лежитъ на постели съ перерѣзаннымъ горломъ, а сумасшедшую новобрачную едва нашли въ каминѣ, и черезъ два дня новый пойздъ отъ замка къ церкви, и отъ церкви къ замку... Поздравляемъ васъ, гордая и благородная леди Астонъ! вы побѣдили, вы торжествуете, вы поставили на свое мѣсто; вы даже пережили и мужа, и всѣхъ дѣтей, и того, кто одинъ могъ сдѣлать счастливою дочь вашу, вы остались однѣ въ цѣломъ свѣтѣ, какъ

надгробный памятникъ нѣсколькихъ вырытыхъ вами могилъ; говорять, что вы держали себя все такою же гордою, такою же непреклонною, какъ и прежде, что никто не слышалъ отъ васъ ни стона, ни жалобы, ни раскаянія; но къ этому прибавляютъ, что на вашемъ благородномъ и гордомъ лицѣ читали что-то другое, нежели что хотѣли вы показать, и что ваше присутствіе оледеняло улыбку на лицѣ младенца, умерщвляло всякую радость, всякое чувство человѣческое, и озѣпеняло души людей, какъ появленіе мертвца или страшнаго призрака... И вотъ въ чёмъ торжество нравственности, а не въ счастливой развязкѣ!.. Поэту нужно было показать, а не доказать,—въ искусствѣ что показано, то уже и доказано. Поэту не нужно было излагать своего мнѣнія, которое читатель и безъ того чувствуетъ въ себѣ по впечатлѣнію, которое произвелъ на него разсказъ поэта. Моральныя сентенціи и нравоученія со стороны поэта только ослабили бы силу впечатлѣнія, которое одно тутъ и нужно и дѣйствительно. Да! въ дѣйствительности зло часто торжествуетъ надъ добромъ, но вѣчна Любовь никогда не оставляетъ чадъ своихъ: когда страданіе переполняетъ чашу ихъ терпѣнія, является успокоительный ангель смерти, и братскимъ поцѣлуемъ освобождаетъ „добрыхъ“ отъ бурной жизни, и кроткою рукою смижаетъ ихъ очи, и мы читаемъ на просіявшемъ лицѣ страдальцевъ тихую улыбку, какъ будто уста ихъ, договаривая свою теплую молитву прощенія врагамъ, привѣтствуютъ уже тотъ новый міръ блаженства, предошедшіе котораго они всегда носили въ себѣ... И надъ ихъ могилою совершается торжество примиренія: человѣчество благословляетъ ихъ память и повѣстю о ихъ страданіяхъ не возмущается противъ жизни, а мирится съ нею въ умиленномъ сердцѣ и укрѣпляется въ силѣ великодушно бороться съ бурями бѣдствій. А злы? Страшно ихъ торжество, и только безсмысленные могутъ завидовать ему... Но резонеры говорятъ свое—ихъ ничѣмъ не увѣришь, потому что они чужды духа и духъ чуждъ ихъ; они понимаютъ одно виѣшнее и безсильны заглянуть въ таинственную лабораторію чувствъ и ощущеній; они готовы любить добро, но за вѣрную мзду въ здѣшней жизни, и мзду земными благами. Они громче всѣхъ кричатъ о Богѣ,—но потребуй отъ нихъ Богъ жертвы, пошли на нихъ тяжкое испытаніе—они перейдутъ на сторону Баала и поклонятся до земли тельцу златому...

Все, что есть, то необходимо, разумно и дѣйствительно. Посмотрите на природу, приникните съ любовью къ ея материнской груди, прислушайтесь къ биенію ея сердца—и увидите ея въ безконечномъ разнообразіи удивительное единство, въ ея безконечномъ противорѣчіи удивительную гармонію. Кто можетъ найти хоть одну погрѣшность, хоть одинъ недостатокъ въ твореніи предвѣчнаго художника? Кто можетъ сказать, что вотъ эта былинка не нужна, это животное лишнее? Если же міръ природы, столь разнообразный, столь, повидимому, противорѣчивый, такъ разумно-дѣйствителенъ, то неужели высшій его—міръ исторіи есть не такое же разумно-

действительное развитие божественной идеи, а какая-то безвзвиная сказка, полная случайныхъ и противорѣчавшихъ столкновеній между обстоятельствами?.. И, однажды, есть люди, которые твердо убѣждены, что все идеть въ мірѣ не такъ, какъ должно. Мы выше сего указывали на этихъ людей, представителемъ которыхъ можетъ служить Менцель. Отчего они заблуждаются? Оттого, что свою ограниченную личность противопоставляютъ личности Божіей; оттого, что безконечное царство духа мѣряютъ маленькимъ масштабомъ своихъ моральныхъ положеній, которыхъ они ошибочно принимаютъ за нравственный. Посмотрите, какъ они судятъ историческихъ лица: забывая въ нихъ историческихъ дѣятелей, представителей человѣчества, они впиваются, подобно пиявкамъ, въ частную жизнь и ею силятся опровергнуть ихъ историческое величие. Какое имъ дѣло до личного характера какого-нибудь Талейрана? можетъ быть, этого человѣка и во многомъ осудить его духовникъ—единственный призванный и признанный судія его совѣсти; но они-то, эти моральные-то люди, развѣ они сами свободны отъ этого суда? Не лучше ли имъ было бы судить Талейрана, какъ государственного человѣка, по мѣрѣ его вліянія на судьбу Франціи, оставивъ частнаго человѣка, не имѣющаго права на мѣсто въ исторіи? Удивительно ли послѣ этого, что исторія у нихъ является то сумасшедшими, то смирительнымъ домомъ, то темницею, наполненію преступниками, а не пантеономъ славы и бессмертія, полнымъ ликовъ представителей человѣчества, выполнителей судебъ Божіихъ. Хороша исторія!.. Такіе кривые взгляды, иногда выдаваемые за высшіе, происходятъ отъ разсудочного пониманія дѣйствительности, необходимо соединенного съ отвлеченностью и односторонностью. Разсудокъ умѣть только отвлекать идею отъ явленія и видѣть одну какую-нибудь сторону предмета; только разумъ постигаетъ идею нераздѣльно съ явленіемъ и явленіе нераздѣльно съ идею и схватываетъ предметъ со всѣхъ его сторонъ, повидимому, одна другой противорѣчавшихъ и другъ съ другомъ несовмѣстныхъ,—схватываетъ его во всей его полнотѣ и цѣльности. И потому разумъ не создаетъ дѣйствительности, а сознаетъ ее, предварительно взять за аксиому, что все, что есть, все то и необходимо, и законно, и разумно. Онъ не говоритъ, что такой-то народъ хороши, а всѣ другіе, непохожіе на него, дурны, что такая-то эпоха въ исторіи народа или человѣка хороша, а такая-то дурна, но для него всѣ народы и всѣ эпохи равно велики и важны, какъ выраженія абсолютной идеи, діалектически въ нихъ развивающейся. Для него возникновеніе и паденіе царствъ и народовъ не случайно, а внутренне-необходимо, и самая эпоха римского разврата есть не предметъ осужденія, а предметъ изслѣдованія. Онъ не скажетъ съ какимъ-нибудь Вольтеромъ, что крестовые походы были плодомъ невѣжества и предпріятіемъ нелѣпымъ и смѣшнымъ, но увидеть въ нихъ разумно-необходимое, великое и поэтическое событіе, совершившееся въ свою пору и свое время и выразившее моментъ юности человѣ-

чества, какъ всякой юности, исполненной благородныхъ порывовъ, безкорыстныхъ стремлений и идеальной мечтательности. Такъ же точно смотреть разумъ и на всѣ явленія дѣйствительности, видя въ нихъ необходимыя явленія духа. Блаженство и радость, страданіе и отчаяніе, вѣра и сомнѣніе, дѣятельность и бездѣйствіе, побѣда и паденіе, борьба, раздоръ и примиреніе, торжество страстей и торжество духа, самая преступленія, какъ бы они ни были ужасны, все это для него явленія одной и той же дѣйствительности, выражающія необходимыя моменты духа, или уклоненія его отъ нормальности, вслѣдствіе внутреннихъ и вѣнчанихъ причинъ. Но разумъ не остается только въ этомъ объективномъ безпредвѣстіи: признавая всѣ явленія духа равно необходимыми, онъ видѣть въ нихъ безполезную лѣстницу, не лежащую горизонтально, а стоящую перпендикулярно, отъ земли къ небу, и въ которой ступени прогрессивно возвышаются одна надъ другою.

Искусство есть воспроизведеніе дѣйствительности; слѣдовательно, его задача не поправлять и не прикрашивать жизнь, а показывать ее такъ, какъ она есть на самомъ дѣлѣ. Только при этомъ условіи поэзія и нравственность тождественны. Произведенія неистовой французской литературы не потому безнравственны, что представляютъ отвратительныя картины прелюбодѣянія, кровосмѣщенія, отцеубийства и сыноубийства, но потому, что они съ особенностью любовью останавливаются на этихъ картинахъ и, отвлекая отъ полноты и цѣлости жизни только эти ея стороны, дѣйствительно ей принадлежащія, исключительно выбираютъ ихъ. Но такъ какъ въ этомъ выборѣ, уже ложномъ по своей односторонности, литературные санкюлоты руководствуются не требованіями искусства, которое само для себя существуетъ, а для подтвержденія своихъ личныхъ убѣждений, то ихъ изображенія и не имѣютъ никакого достоинства вѣроятности и истины, тѣмъ болѣе, что они съ умысломъ клевещутъ на человѣческое сердце. И въ Шекспирѣ есть тѣ же стороны жизни, за которыхъ неистовая литература такъ исключительно хватается, но въ немъ онѣ не оскорбляютъ ни эстетического, ни нравственного чувства, потому что, вмѣстѣ съ ними, у него являются и противоположныя имъ, а главное, потому, что онъ не думаетъ ничего развивать и доказывать, а изображаетъ жизнь, какъ она есть.

Искусство издавна навлекало на себя нападки и ненависть моралистовъ, этихъ вампировъ, которые мертвятъ жизнь холодомъ своего прикосновенія и силятся заковать ея безкоинечность въ тѣсныя рамки и клѣточки своихъ разсудочныхъ, а не разумныхъ опредѣлений. Но изъ всѣхъ поэтовъ Гёте наиболѣе возбуждалъ ихъ ожесточеніе. Геній и безнравственность—его неотъемлемыя качества въ ихъ глазахъ. Въ Менцелѣ эта моральная точка зрѣнія на искусство нашла полнѣйшаго своего выразителя и представителя. Причина очевидна: Гёте былъ духъ, во всемъ жившій и все въ себѣ ощущавшій своимъ поэтическимъ ясновидѣніемъ, слѣдовательно—не-

способный предаться никакой односторонности, ни пристать ни къ какому исключительному учению, системѣ, партіи. Онъ многостороненъ, какъ природа, которой такъ страстно сочувствовалъ, которую такъ горячо любилъ и которую такъ глубоко понималъ онъ. Въ самомъ дѣлѣ, посмотрите, какъ природа противорѣчива, а слѣдовательно и безнравственна, по возврѣнію резонеровъ: у полюсовъ она дышитъ хладомъ и смертію зимы, а подъ экваторомъ сожигаетъ изнурительную теплотою; на сѣверѣ она скуча на свои дары и заставляетъ человѣка все братъ трудомъ, кровавымъ потомъ и вѣчною борьбой съ собою, а на югѣ щедра дарами, но богата и смертоносными заразами, ядовитыми гадами и свирѣпыми звѣрями; въ срединѣ Африки она разметнулась безбрежною степью—цѣлымъ океаномъ песка, гибельного для путешественниковъ; а въ Голландіи явилась топкимъ болотомъ... Слѣдовательно, въ одномъ мѣстѣ она говоритъ одно, а въ другомъ утверждаетъ совсѣмъ противное: какая, право, безнравственная! Таковъ и Гёте—сѧ вѣрное зеркало. Во дни своей юношеской юности, обвѣянный духомъ художественной древности и обаянной роскошью природы и жизни поэтической Италии, онъ писалъ „Римскія элегіи“, этотъ дивный апоѳеозъ древней жизни и древняго искусства, и въ то же время воскресилъ въ своемъ „Гѣцѣ“ жизнь рыцарской Германіи, свѣль съ ума всю Европу повѣстю о „Страданіяхъ Вертера“ и создалъ въ „Вильгельмѣ Мейстерѣ“ апоѳеозъ человѣка, который ничего полезнаго не дѣлаетъ на бѣломъ свѣтѣ и живеть только для того, чтобы наслаждаться жизнью и искусствомъ, любить, страдать и мыслить. Потомъ, въ лѣта болѣе зрѣлыхъ, онъ въ „Прометѣѣ“ воспроизвелъ художнически моментъ возстанія сознавшаго духа противъ непосредственности на вѣру признанныхъ положеній и авторитетовъ, а въ „Фаустѣ“—жизнь субъективнаго духа, стремящагося къ примиренію съ разумною дѣйствительностію путемъ сомнѣнія, страданій, борьбы, отрицаній, паденія и возстанія, но подлѣ него помѣстилъ Маргариту, идеалъ женственной любви и преданности, покорную и безропотную жертву страданія, смерть которой была для нея спасеніемъ и искупленіемъ ея вины, въ христіанскомъ значеніи этого слова... Уловить Гёте въ какое-нибудь коротенькое опредѣленіе трудновато и не для Менцеля, Менцель и осердился на него и назвалъ его чѣмъ-то въ родѣ безнравственной безличности.

Нашлось много людей, которые, въ простотѣ ума и сердца, воскликнули:

Ай, моська! Знать она сильна,  
Коль лаетъ на слона!

и промѣняли слона на моську...

Чтобы унизить Гёте, Менцель противопоставляетъ ему Шиллера, не какъ художника, а какъ человѣка „отличнѣшаго поведенія“. Не поздоровится отъ этакихъ похвалъ!.. Чтобы сдѣлать Гёте образцомъ безнравственности, Менцель призналъ въ Шиллерѣ образецъ нравственности. И Шиллеръ

въ самомъ дѣлѣ былъ духъ столь же великий, сколько и нравственный: величие и нравственность нераздѣльны, какъ теплота и сѣть въ огнѣ. Кто грызшилъ противъ нравственности, стремясь къ нравственности—тотъ нравственѣе того, который родился и умеръ нравственнымъ; точно такъ же, кто заблуждался въ истинѣ, стремясь къ истинѣ, больше любить истину, нежели тотъ, который родился и умеръ правымъ противъ нея. Какъ благородные порывы пламенной, неистощимой любви къ человѣчеству, первыя произведенія Шиллера, каковы: „Разбойники“ и „Коварство и Любовь“, нравственны; но въ отношеніи къ безусловной истинѣ и высшей нравственности они рѣшительно безнравственны. Въ нихъ онъ хотѣлъ осуществить вѣчные истины,—и осуществилъ свои личные и ограниченные уображенія, отъ которыхъ потомъ самъ отказался. Такъ какъ онъ въ нихъ задалъ себѣ задачу и назначилъ цѣль въ искусства, то изъ нихъ и вышли поэтическіе недоноски и уроды, явленія, совершенно ничтожныя въ области искусства, хотя и великия въ сферѣ феноменологіи духа. Истинно-художественное произведеніе возвышаетъ и расширяетъ духъ человѣка до созерцанія безконечнаго, примиряетъ его съ дѣйствительностью, а не возстановляетъ противъ нея,—и укрѣпляетъ его на великодушную борьбу съ незаводами и бурями жизни. Искусство достигаетъ этого тогда только, когда въ частныхъ явленіяхъ показываетъ общее и разумно-необходимое и когда представляетъ ихъ въ объективной полнотѣ, цѣлости и оконченности, замкнутыми въ самихъ себѣ. Если въ трагедіи гибель и смерть ея героеvъ явилась, какъ внутренняя необходимость изъ ихъ характеровъ и дѣйствій, какъ разрѣшеніе ими же произведенной дисгармоніи въ гармонической сферѣ духа, для осуществленія нравственного закона—мы примиряемся съ нею и умилленно душою предаемся тихой и глубокой думѣ о поразительномъ урокѣ; но когда гибель и смерть героеvъ трагедіи является вслѣдствіе страсти поэта къ ужаснымъ и поражающимъ эффектамъ, какъ у какого-нибудь Гюго, или по другой, вѣнѣшней, случайной, а слѣдовательно, безмыслиной причинѣ,—это возвуждаетъ въ насъ отвращеніе и омерзѣніе, какъ зрѣлище казни или пытки. Такъ точно и страданія субъективнаго духа могутъ быть предметомъ искусства, а слѣдовательно, и не оскорблять нравственности, если они изображены объективно, просвѣтлены мыслію, свидѣтельствующею о разумной необходимости ихъ явленія. Но когда они суть воли самого поэта, то и не могутъ быть художественны, ибо кто волитъ отъ страданія, тотъ не выше своего страданія,—слѣдовательно, и не можетъ видѣть его разумной необходимости, но видѣть въ немъ случайность, а всякая случайность оскорбляетъ духъ и приводить его въ раздоръ съ самимъ собою, слѣдовательно, и не можетъ быть предметомъ искусства. Гдѣ, въ своемъ „Вертерѣ“, по собственному признанію, выразилъ моментальное состояніе своего духа, тяжко страдавшаго; „Вертеромъ“, по собственному же его признанію, онъ и вышелъ изъ своего мучительного состоянія. И вотъ

истинная причина, почему чтение „Вертера“ производить на душу то же тяжкое, дисгармоническое впечатление, не усаждая, а только терзая ее; воть почему „Вертер“ и представляется чёмъ-то неполнымъ, какъ бы неоконченнымъ. Это не художественное произведение, а рѣжущій, скрипучій диссонансъ духа. Поэтому, если онъ не есть нравственное произведение, то и нисколько не есть нравственное произведение; Гёте измѣнилъ въ немъ самому себѣ, явился невѣрнымъ своей художнической натурѣ. Но кто же поставитъ ему въ вину то, что онъ на минуту не понялъ самого себя и изъ художника явился человѣкомъ?.. И неужели одинъ неудачный опытъ можетъ затмить такую богатую и обширную художническую дѣятельность?..

Никакой человѣкъ въ мірѣ не родится готовымъ, т.-е. вполнѣ сформировавшимся; но вся жизнь его есть не что иное, какъ безпрерывно-движущееся развитіе, беспрестанное формирование. Истина ие дается ему вдругъ: чтобы достичь ея, онъ будетъ сомнѣваться, впадать въ ложь и противорѣчіе, страдать и падать. „Дорого да мило, дешево да гнило!“ говорить мудрая русская пословица. Чѣмъ глубже натура человѣка, тѣмъ глубже и его паденіе и его заблужденіе, его противорѣчія и отрицанія, тѣмъ рѣзче его переходы отъ одного убѣжденія къ другому. Но есть люди, какъ бы рождающіеся съ готовыми понятіями, люди, которые въ старости думаютъ и понимаютъ точно такъ же, какъ думали и понимали въ дѣствѣ. Это натуры бѣдныя и жалкія, равнодушныя къ истинѣ и чуждыя всякаго духовнаго движенія, умы мелкіе и ограниченные. Вотъ отъ этихъ-то духовно-малолѣтнихъ вы всегда и слышите забавно-самолюбивое возраженіе: „какъ, не вы ли тогда-то думали совершенно иначе, а теперь говорите совсѣмъ другое?—стало быть, вы ошибаетесь“. Къ такимъ-то натурамъ принадлежитъ и Менцель: онъ родился совершенно готовымъ и въ одномъ мѣстѣ своей книги съ препотѣшною гордостю ставить себѣ въ великую заслугу, что никогда не измѣнялъ своихъ убѣжденій. Для поэта другой ходъ въ движеніи истины, чѣмъ для людей обыкновенныхъ: безъ борьбы и противорѣчій, руководимый полнотою своей ясновидящей натуры, переходить онъ съ лѣтами отъ низшихъ явлений жизни къ высшимъ, отъ „Руслана и Людмилы“ доходить до „Бориса Годунова“ или „Каменного Гостя“. Менцель этого не понимаетъ,—и, посмотрите, какъ растолковано это дивно-поэтическое признаніе великаго художника:

Die Feinde, sie bedrohen dich,  
Das mehrt von Tag zu Tage sich,  
Wie dir doch gar nicht graut!  
Das seh ich alles unbewegt,  
Sie zerren an der Schlangenhaut  
Die jüngst ich abgelegt;  
Und ist die nächste relief genug,  
Abstreif' ich die sogleich

Und wandle neu belebt und jung  
Im frischen Götterreich \*).

Менцель это объясняет тѣмъ, что для Гёте не было ничего святого и завѣтнаго, что онъ всѣмъ забавлялся... Угадалъ!.. Менцель, впрочемъ, не до конца прогнѣвался на Гёте: онъ не отнимаетъ у него огромнаго таланта — виѣшней поэтической формы безъ всякаго содержанія... О, почтенный нѣмецкій филистеръ! какъ пристала бы къ нему мандаринская шапка съ тремя желтенькими шариками, при его собственныхъ ушахъ!.. Чтобы быть критикомъ, надо родиться критикомъ, надо получить отъ природы обширное и глубокое созерцаніе или внутреннее ясновидѣніе всего, чѣо составляетъ содержаніе искусства; надо получить инстинктъ и тактъ для пониманія изящнаго. Мы не можемъ понимать и знать ничего такого, что не лежитъ, какъ возможность, въ сокровенныхъ тайникахъ нашего духа. Наука развивается только данное намъ природою, и вѣдь себя мы только узнаемъ находящееся въ нась. Нѣсколько друзей пошло въ картинную галлерею, и всѣ остановились передъ „Мадонною“ Рафаэля, какъ вдругъ одинъ вскричалъ съ восхищеніемъ: „славная рама! я думаю, рублей пятьсотъ стоять!“ Растолкуйте же ему, что какъ бы ни хороша была эта рама, хотя бы она стоила миллионовъ, хотя бы была сдѣлана изъ цѣльнаго алмаза — и тогда была бы грошовою вещью въ сравненіи съ картиной, которая въ нее вставлена... Растолкуйте Менцелю или Менцелямъ, что, какъ въ природѣ, такъ и въ искусствѣ, нѣть прекрасныхъ формъ безъ прекраснаго содержанія, т.-е. мысли, которая есть духъ жизни, ставшій въ нихъ видимою, очевидною дѣйствительностію, и что ей-то и одолжены эти прекрасныя формы и своею обаятельнouю красотою, и своею вѣчно-юною жизнью, и своимъ неотразимъ и сладостнымъ могуществомъ надъ душою людей!..

---

## Очерки Бородинского сраженія.

Соч. Ф. Глинки. Москва. 1839.

Народъ не есть отвлеченное понятіе: народъ есть живая особность, духовная организація, которой разнообразныя жизненныя отправленія служить къ единой цѣли. Народъ есть личность, какъ отдельный человѣкъ. Какимъ образомъ люди стали народами, частныя индивидуальности сли-

\*) Тебѣ грохать твои враги, и съ каждымъ днемъ число ихъ увеличивается. Какъ ты не боишься! Я смотрю на все это хладнокровно; они терзаютъ ту кожу, которую я недавно сбросилъ съ себя; колъ скоро замѣнившая ее достаточно созрѣть — я и эту сброшу немедленно; обновленный, помолодѣвъ опять, явлюсь въ вѣчно-прѣступшемъ царствѣ боговъ.

лись въ общія массы и, такъ сказать, исчезли въ нихъ?.. Вотъ одинъ изъ тѣхъ вопросовъ, рѣшенія которыхъ не подлежать ни историческимъ разысканіямъ, ни изслѣдованіямъ разсудка, опирающимся на опытъ. Спросите человѣка, какъ онъ явился на свѣтъ: можетъ ли онъ вамъ отвѣтить на этотъ вопросъ? Онъ существовалъ еще во чревѣ своей матери, но не зная о своемъ существованіи; онъ существовалъ еще безсмысленнымъ и безсловеснымъ ребенкомъ, но не зная о своемъ существованіи; онъ даже не помнить своего младенчества, когда уже языкъ его лепеталъ несвязанные рѣчи, а юная душа принимала уже разнообразныя впечатлія бытія; онъ едва-едва помнить себя даже выходящимъ изъ младенчества, уже развивающимся своими духовными способностями; его сознательное существованіе начинается съ черты, разграничающей отрочество и юношество. Вотъ почему каждый человѣкъ всегда начинаетъ свою исторію словами: „съ тѣхъ поръ, какъ я началъ себя помнить“, и вотъ почему самая эпоха его сознанія еще такъ неопределена, представляя собою какой-то утренній полусумракъ, и только въ періодѣ юношества дѣлается яснымъ и свѣтлымъ утромъ. Такъ точно и народъ не въ состояніи отвѣтить самому себѣ на вопросъ: откуда онъ произошелъ, какъ онъ явился? Намъ скажутъ, что людей свели взаимныя нужды, заставившія ихъ взаимными уступками, для обоюдной выгody, ограничить свою свободу и принять общественную форму. Прекрасно, но вѣдь и дитя не бѣжитъ отъ своихъ родителей, отъ своего семейства, безсознательно чувствуя свою нужду въ нихъ, хотя и отвращаясь лозы и власти ихъ, а между тѣмъ оно все-таки не помнить, какъ это сдѣлалось, что оно стало членомъ своего семейства, а чрезъ него и членомъ своего государства. Другое намъ скажутъ—и это будетъ еще справедливѣе—что исходнымъ пунктомъ соединенія людей въ общество было безсознательное влечение человѣка къ человѣку, врожденное ему отъ природы, а взаимная нужда другъ въ другѣ только укрѣпила и довершила это соединеніе. Прекрасно, но вѣдь и младенецъ, прежде нежели онъ почувствовалъ нужду въ своей матери или нянѣ, влекся къ нимъ безсознательнымъ чувствомъ, а между тѣмъ, ставши полнымъ человѣкомъ, онъ все-таки не помнить, какъ это сдѣлалось, и даже не помнить черты, раздѣляющей конецъ его безсознательности съ началомъ его сознательности. Очевидно, что народъ рождается безсознательно, проходитъ всѣ вѣрасты человѣка, т.-е. сперва бываетъ зародышемъ или возможностію, изъ которой, какъ растеніе изъ сѣмени, организируется младенецъ, лежащий матерью-природою, изъ младенца дѣлается отрокомъ и, наконецъ, доживаетъ до того момента своего существованія, съ котораго начинаетъ говорить: „съ тѣхъ поръ, какъ я началъ себя помнить“. Вотъ почему начало, или, лучше сказать, зачатіе всѣхъ народовъ рѣшительно ускользаетъ отъ взоровъ исторіи, и всѣ усилия разсудочныхъ мыслителей схватить его остаются тщетными; вотъ почему въ исторіи каждого народа есть періодъ баснословный и полубаснословный,

или доисторический и полуисторический, который такъ незамѣтно сливается съ историческимъ, что невозможно уловить черты, раздѣляющей ихъ.

Много было теорій о происхождении политическихъ обществъ, особенно много ихъ было у французовъ, въ ихъ „Философскомъ“ XVIII вѣка. Эти теоріи принесли великую пользу, доказавъ безполезность и нелѣпость стремленія объяснить опытомъ неподлежащее опыту, сдѣлать яснымъ разсудку недоступное для разсудка.

Слово человѣческое есть одно изъ тѣхъ явлений дѣйствительности, которая въ самихъ себѣ скрываютъ причину своего явленія, которая органически возникаютъ и развиваются изъ себя, и вѣдь себя не имѣютъ причины, и которыхъ рожденіе есть, поэтому, тайна. Дѣйствительность, какъ явившійся, отблесківшійся разумъ, всегда предшествуетъ сознанію, потому что прежде, нежели сознавать, надо имѣть предметъ для сознанія. Вотъ почему естествознаніе, или ученіе о природѣ, явилось гораздо послѣ самой природы, грамматика послѣ языка, исторія послѣ пережитой народами жизни. Все, что ни есть—есть или являющійся разумъ (разумъ въ явленіи), или сознающій разумъ (разумъ въ сознаніи). Дѣло сознающаго разума—сознавать дѣйствительность, а не творить ее, и потому разумъ пишетъ грамматику, а не сочиняетъ языка, пишетъ трактатъ объ организаціи общества, а не создаетъ общества. Какъ невозможно сочинить языка, такъ невозможно и устроить гражданскаго общества, которое устроится само собою, безъ сознанія и вѣдома людей, изъ которыхъ оно слагается. Всякое явленіе дѣйствительности, изъ самого себя возникшее, рождается и развивается органически; всякое изобрѣтеніе дѣлается механически. Первое есть вдохновенный порывъ духа осуществляться въ дѣйствительности; второе есть расчетъ разсудка, основанный на соображеніи вѣроятностей. Матеріалисты XVIII вѣка хотѣли объяснить происхожденіе міра механическимъ сдѣлываніемъ атомовъ, механическимъ процессомъ взаимодѣйствія тяжести и выходящихъ изъ ея математическихъ законовъ стремленій; но это объясненіе только затѣнило сущность, дѣла, потому что, отличаясь вѣнѣніемъ ясностію, отличалось внутреннимъ мракомъ. И какъ же тутъ быть свѣту, а не мраку, когда они въ мірозданіи видѣли только какіе-то блоки, веревки, гвозди и клей, а не горячую кровь и полные электричества нервы,—мертвый скелетъ, а не живой организмъ, какъ выраженіе движущагося въ немъ духа жизни? Автоматъ дѣлается механически, и потому онъ трупъ безъ жизни; организмъ человѣка развивается динамически, и потому въ немъ вѣтеть, движется духъ жизни. Въ зародышѣ, изъ которого рождается человѣкъ, заключенъ духъ жизни, самодѣятельно, изъ самого себя развивающійся въ опредѣленныхъ формахъ, во чревѣ матери, какъ развивается динамически, т. е. собственною самодѣятельностію, зерно, положенное въ землю, и становится деревомъ. То и другое требуетъ для своего развитія вѣнѣнія вещества—питанія; но это вѣнѣніе перерабатываются и претворяются въ

свою собственность, въ свои соки, кровь и плоть, и это внѣшнее опять развиваютъ изъ себя: такъ точно происходитъ и народъ. Его духовная организация параллельна тѣлесной организаціи младенца и дерева, примѣры которыхъ мы нарочно привели. Сущность жизни въ зернѣ жизни, а это зерно—божественная идея, изъ сферы возможности переходящая въ сферу дѣйствительности, изъ нѣбытія осуществляющаяся въ бытіе, по глаголу священнаго писанія: Богъ создалъ міръ сей изъ ничего...

Начиная отъ временъ, о которыхъ мы знаемъ только изъ исторіи, до нашего времени не было и нѣтъ ни одного народа, составившагося и образовавшагося по взаимному сознательному условію извѣстнаго числа людей, изъявившихъ желаніе войти въ его составъ, или по мысли одного какого-нибудь хотя бы и геніального человѣка. Намъ, можетъ быть, укажутъ на Сѣверо-Американскіе Штаты—на этотъ народъ безъ имени и названія, на этого сына безъ отца, потомка безъ предковъ, на это политическое общество, какъ будто искусственно явившееся, механически соединенное изъ разнородныхъ началъ? Мы отвѣтимъ, что все это только кажется такимъ для поверхностнаго взгляда, но совсѣмъ не таково на самомъ дѣлѣ. Во-первыхъ, Сѣверо-Американскіе Штаты явились по условію только государствомъ, а не народомъ; между же государствомъ и народомъ большая разница: народъ можетъ не быть государствомъ, но государство не можетъ не быть народомъ; народъ можетъ сдѣлаться государствомъ, но государство не можетъ сдѣлаться народомъ, потому что оно было народомъ прежде еще, чѣмъ сдѣлалось государствомъ. Большая и главная часть народонаселенія Сѣверо-Американскихъ Штатовъ—природные англичане: господствующій языкъ—англійскій; направление въ религіи, политикѣ и гражданскомъ устройствѣ явно отзывается британізмомъ. Слѣдовательно Сѣверо-Американскіе Штаты не безъ родни, не безъ предковъ, не безъ отца и матери. Сначала они были англійскими колоніями, слѣдственно, имѣли уже готовыми всѣ материалы для государственной жизни: образованный языкъ съ богатою литературою, религію, въ высшей степени развитую гражданственность и т. д. Такъ какъ изъ колонистовъ, въ теченіе времени, образовалось изъ англичанъ какъ бы особое племя, вслѣдствіе вліянія климата и страны на духъ,—племя, отличавшееся отъ жителей Великобританіи, какъ отличаются романы геніального Купера отъ романовъ геніального Скотта, хотя и писанныхъ на одномъ языкѣ,—то нѣкоторымъ образомъ и образовался какъ бы особый народъ, которому уже не мудрено было стать государствомъ. Да и самый процессъ перехода народа въ государство совершился не механически, не условно, а зарождался, зрѣлъ и обнаружился исторически, такъ что причины его далеко скрываются во времени, и исторію Сѣверо-Американскихъ Штатовъ должно начинать съ эпохи религіозно-политической реформы въ самой Англіи.

Исходный пунктъ жизни каждого народа скрывается въ географиче-

скихъ, этнографическихъ, геологическихъ и климатическихъ условияхъ. Когда человѣкъ выходитъ изъ своего естественного состоянія, онъ начинаетъ борьбу съ природою, покоряетъ ее себѣ и даже измѣняетъ могуществомъ своей разумности; но до тѣхъ поръ онъ—ея рабъ. Мощно дѣйствуютъ на него ея впечатлѣнія, и его темпераментъ имѣеть кровное средство съ материкомъ, на которомъ онъ родился, съ небомъ, подъ которымъ онъ родился, а его характеръ есть результатъ его темперамента. Законъ родства крови и плоти есть законъ самого духа!.. Сначала всякое человѣческое общество существуетъ, какъ племя, потомъ—какъ народъ; немногого племенъ известно исторіи: состояніе человѣческаго общества, какъ племени, есть первый и самый естественный моментъ его существованія, это какъ будто развѣтвившіеся отпрыски единаго ствола, какъ будто размножившіеся члены единаго семейства, давно потерявшаго память о своемъ прародителяхъ, уже не только родные, но двоюродные, троюродные, и такъ далѣе, составляющіе отдѣльные круги семейства. Племена не имѣютъ не только законовъ, даже обычаевъ, освященныхъ временемъ, но живутъ какъ бы руководимыя какимъ-то инстинктомъ. Имъ нужна пища—и у нихъ есть стрѣла и лукъ или сѣть для рыбъ: вотъ вся ихъ потребности и вся точки соприкосновенія между ними. Но вотъ племя сталкивается съ другимъ племенемъ, и, какъ всякой естественной индивидуальности другая индивидуальность враждебна, между ними начинается кровавая борьба; каждое племя плотнѣе соединяется, родственниче сжимается, яснѣе сознаетъ свою индивидуальную особность; рождаются понятія о славѣ и безславіи, о геройствѣ и малодушіи, о ненависти къ враждебному племени, какъ священномъ долгѣ; являются военачальники и нѣкоторая подчиненность. Но этимъ все и оканчивается, потому что только столкновеніе съ народомъ или государствомъ можетъ быть причиною развитія племени въ народъ и государство, или чрезъ подпаденіе подъ власть его и исчезновеніе въ немъ, или чрезъ перенятіе его идей. И потому у племенъ власть военачальника блѣдна, безцвѣтна и неопредѣлена, неутверждена и не освящена никакою идеюю, не имѣетъ даже силы преданія (traditio), не только закона; жречество основано на мистическомъ страхѣ непонятнаго ихъ уму и потому пугающаго его, и развѣ еще на нѣкоторыхъ врожденныхъ человѣку слабыхъ и неопредѣленныхъ идеяхъ о божествѣ. Въ такомъ видѣ представляются намъ вся дикая племена Европы, Азіи и Африки и, наконецъ, дикая племена цѣлыхъ частей свѣта—Америки и Океаніи. Это какія-то инфузоріи политическихъ обществъ, безсильныя принять опредѣленную и единственно разумную форму человѣческаго общества—форму государственную. Чѣдѣ бы ни было причиною этого: низшая въ сравненіи съ нашою организаціею изолированность отъ образованнаго міра, недавность ихъ происхожденія и близость къ природѣ, или какія-нибудь чисто вѣнчанія, случайныя причины, или все это вмѣстѣ взятое; но только можно съ вѣроятностю заключать, что вся изъ известныхъ намъ государствъ,

бывшихъ и нынѣ находящихся, начали свое существованіе съ состоянія племени,—состоянія, которое, какъ безсознательное, не могли помнить, а слѣдовательно и забыть. Въ Америкѣ испанцы, кромѣ множества племенъ, застали два народа—мексиканскій и перуанскій, изъ примѣра которыхъ можно видѣть, какъ общество переходитъ во второй свой моментъ—изъ племени дѣлается народомъ. У народа же начинается исторія, которой нѣть у племени, хотя эта исторія еще только преданіе, изъ устъ въ уста, отъ поколѣнія къ поколѣнію переходящее. У народа уже есть зародыши всѣхъ формъ государственной жизни: утвержденная верховная власть, іерархія чиновъ, раздѣленіе на сословія и пр.; но только все это еще, какъ преданіе, какъ обычай, освященный временемъ, какъ безсознательно-существующій фактъ, а не какъ что-нибудь выговоренное, какъ законъ, и утвержденное законною формою. Народъ тогда только дѣлается государствомъ, когда законность, освященная временемъ и отъ времени получившая свою силу, пріобрѣтаетъ формальность, народная жизнь получаетъ опредѣленныя, выговоренныя, или на письмѣ утвержденныя формы, и эти формы переходятъ въ законъ. Государство есть высшій моментъ общественной жизни и ея высшая единая разумная форма. Только ставши членомъ государства, человѣкъ перестаетъ быть рабомъ природы, но дѣлается ея повелителемъ, и только какъ членъ государства, является онъ существомъ истинно-разумнымъ. Племена близки къ животнымъ, и потому минута, когда узнаетъ о ихъ существованіи государство, есть минута ихъ истребленія, порабощенія и перерожденія въ новомъ и чуждомъ имъ духѣ, въ новыхъ и чуждыхъ имъ формахъ.

Всякая разумность, чтобы сдѣлаться разумностію, должна явиться сперва, какъ естественность, какъ непосредственное откровеніе. Всякая разумность священна, т.-е. имѣть свою мистическую, таинственную сторону, и причина этой таинственности скрывается опять въ близости къ источнику всего сущаго, къ божественной идеѣ, первоначально осуществляющейся во всеобщей родовой матеріи, въ сущномъ (субстанціальномъ) начальѣ. Какая глубина мысли и какая поэзія въ русскомъ выраженіи „мать сыра земля“! Въ самомъ дѣлѣ, она мать намъ, наша родная мать, ибо она есть первоначальная, первосущая форма духа, хранительница всѣхъ силъ, всей сущности (субстанції) творящей природы! Изъ ея материнскаго лона вышелъ человѣкъ, въ ея материнскихъ нѣдрахъ покоится онъ на вѣчность! Точно таково же и родство людей между собою: всѣ людя родни другъ другу по духу; но это духовное родство сперва проявляется въ нихъ, какъ родство крови и плоти, и духовное родство потому и свято, что выходить изъ кровно-плотскаго. Точно также, потому же самому, и государство есть разумное, а потому и священное явленіе, что его начало скрывается въ естественно-семейственномъ родствѣ людей, перешедшемъ потомъ въ родство племенное, а, наконецъ, въ народное. Какъ въ отдельныхъ семействахъ мы

замѣчаемъ часто сходство чертъ лица, голоса, манеры говорить и дѣйствовать, словомъ, сходство характера, духа, даже при несходствѣ направлений,—такъ и всякий народъ отличается единствомъ языка, а слѣдовательно, и характера мысли, взгляда на вещи и способа понимать ихъ (потому что языки есть осуществившееся, явившееся понятіе), единствомъ религіи, образа правленія, родовымъ сходствомъ въ образѣ вѣнчаной жизни, наконецъ, семейственнымъ сходствомъ физіономіи составляющихъ его индивидуумовъ, такъ что трудно не узнать по одному лицу англичанина, француза, нѣмца, итальянца, татарина и т. д. Это сходство, это единство, это родство священны, потому что основаніе ихъ плоть и кровь, какъ первоначальная (субстанціальная) формы духа. И вотъ почему космополитъ есть какое-то ложное, двусмысленное, странное и непонятное явленіе, какой-то блѣдный, туманный призракъ, а не яркая и живая дѣйствительность; вотъ почему, напримѣръ, русскій, случайно провѣдшій въ Парижъ свое младенчество и въ чуждой его родной сущности (субстанціи) странѣ принявшій первыя живыя впечатлѣнія бытія, представляеть изъ себя какого-то амфибія, уродливаго и отвратительнаго, какъ всѣ амфибіи; вотъ почему человѣкъ, для котораго *ubi bene ibi patria*, есть существо безнравственное и бездушное, недостойное называться священнымъ именемъ человѣка; вотъ почему, наконецъ, измѣнникъ своему отечеству, предатель своей родины есть злодѣй, при видѣ котораго содрогается человѣческое сердце, отъ котораго съ омерзеніемъ отвращается человѣчество, и который, если только онъ не идіотъ (не въ риторическомъ, а въ физиологическомъ смыслѣ этого слова), считается по землѣ, подобно Каину, съ печатью проклятія на челѣ и ненавистію къ собственному существованію!. Если бы общественные узы были не плоть и кровь, а только взаимный договоръ для общихъ выгодъ, тогда въ идѣи государства не было бы ничего священнаго, и предательство отечества было бы проступкомъ противъ чести и морали (*Moralitt*), а не преступленіемъ противъ нравственности (*Sittlichkeit*); промѣнить свое отечество на другое было бы не несчастіемъ, а простымъ расчетомъ перемѣны хорошаго на лучшее. Какъ не можемъ мы представить себѣ человѣка, вдругъ и Богъ вѣсть откуда явившагося полнымъ, возмужалымъ и разумнымъ человѣкомъ, такъ не можемъ себѣ представить и общества, вдругъ возникшаго по условному договору извѣстнаго числа индивидуумовъ. Какъ священно существо человѣка, потому что его рожденіе и развитіе есть тайна для него самого, такъ священно и существованіе общества, потому что его начало и развитіе есть тайна. Чтобы полнѣе и яснѣе выразить нашу мысль—укажемъ на самое важнѣйшее и самое священнѣйшее явленіе общественной жизни.

Спросите какого-нибудь французскаго говоруна, какого-нибудь либеральнаго аббатика француза: откуда и какъ произошла царская власть?—и онъ непремѣнно скажетъ вамъ, что это сдѣлалось слѣдующимъ простымъ

образомъ: „когда люди лишились своей естественной невинности, стали злы и развратны, то увидѣли себя въ горькой необходимости выбрать изъ среды себя человѣка и вручить ему неограниченную власть надъ собою“. Для поверхностнаго взгляда абстрактныхъ головъ, въ глазахъ которыхъ идеи и явленія не заключаются въ самихъ себѣ своей причины и необходимости, но выростаютъ, какъ грибы послѣ дождя, но только безъ почвы и корней, а на воздухѣ,—для такихъ головъ нѣтъ ничего проще и удовлетворительнѣе такого объясненія; но для людей, духовному ясновидѣнію которыхъ открыта глубина и внутренняя сущность вещей, не можетъ быть ничего нелѣпѣе, смѣшнѣе и безсмыслинѣе. Все, что не имѣть причины въ самомъ себѣ и является изъ какого-то чуждаго ему „виѣ“, а не „изнутри“ самого себя,—все такое лишено разумности, а следовательно, и характера священности. Коренные государственные постановленія священны, потому что они суть основная идея не какого-нибудь известнаго народа, но каждого народа, и еще потому, что они, перешедши въ явленія, ставши фактомъ, дialectически развивались въ историческомъ движениі, такъ что самыя ихъ измѣненія суть моменты ихъ же собственной идеи. И потому коренные постановленія не бывають закономъ, изреченнымъ отъ человѣка, но являются, такъ сказать, докременно, и только выговариваются и сознаются человѣкомъ. Равнымъ образомъ коренные постановленія государства никогда не измѣняются въ смыслѣ замѣны однихъ другими, но измѣняются въ смыслѣ расширения или ограничения, сообразно съ временными требованиями исторической жизни народа. Измѣненіе это всегда чувствуется въ государственномъ тѣлѣ, какъ сотрясеніе, и часто сопровождается судорожными потрясеніями цѣлаго его состава, ибо мысль, чтобы осуществиться, должна перейти въ дѣло, въ фактъ, въ явленіе; а всякое явленіе совершается какъ бы въ плоти и крови. Такъ, напр., реформа, произведенная въ жизни Россіи Петромъ Великимъ, совершилась въ борьбѣ и потрясенияхъ всего государственного организма, но потому-то она такъ крѣпко и утвердилаась и перешла въ законъ, и чѣмъ болѣе пролетить столѣтій отъ этого события, тѣмъ большую законность и священность будетъ приобрѣтать дѣло Петра. Мы хотимъ этимъ сказать, что сила вѣкового преданія и священная таинственность всего, теряющагося въ докременности, имѣютъ глубокое значеніе и только однѣ освящаютъ явленія, какъ свидѣтельство, что эти явленія—непосредственное откровеніе, а не человѣческія выдумки. Человѣческіе уставы могутъ быть полезны, а не священны; только непосредственно Богомъ явленное священно. Нѣтъ власти, которая бы не была отъ Бога, но всякая власть отъ Бога—говорить св. писаніе, и эти слова заключаютъ въ себѣ глубокую мысль и непреложную истину.

Азія есть колыбель человѣческаго рода—его отчество; въ ней начало всѣхъ вѣрованій, всѣхъ человѣческихъ обществъ; въ ней начало всего докременниаго, всего непосредственно явившагося. И св. писаніе, и исторія, и

даже сама современность указывают намъ на Азію, какъ на страну патріархальности. Китай—эта едва ли не первобытнѣйшая политическая форма общества, и по сю пору есть государство по преимуществу патріархальное. Всѣ мусульманскія государства носятъ въ своемъ основномъ построеніи печать древней патріархальности. Аравія и теперь еще представляеть собою первобытный типъ племенъ, управляемыхъ патріархами. Св. писаніе говоритъ намъ о первыхъ патріархахъ, какъ о царяхъ людей, жившихъ въ законѣ естественномъ. Чѣдъ такое было Іаковъ, переселившійся въ Египетъ, какъ не отецъ семейства, до того размножившагося, что ма-ститый старецъ сдѣлался и отцомъ и пра-прадѣдомъ вмѣстѣ, такъ что для своихъ правнуковъ, по закону колѣнного отдаленія, казался столько же правителемъ, царемъ, сколько родственникомъ и родоначальникомъ? Отсюда ясно, что мистическая и священная идея отца-родоначальника была живымъ источникомъ истекшей изъ нея идеи царя. Только бессловесная животная живутъ безъ властей; но человѣкъ даже въ своемъ естественномъ состояніи, даже еще не развратившись, не сдѣлавшись злымъ, признавалъ власть и жилъ въ разумныхъ формахъ повелительства и подчиненности, задолго до того, какъ созналъ ихъ значеніе или ихъ нужду; чувство, вмѣстѣ съ нимъ родившееся, сказали ему, что отецъ выше сына и что сынъ долженъ повиноваться, слѣдовательно, признавать власть отца. Вотъ по-чemu во всѣхъ племенахъ родоначальство есть первый моментъ обществен-наго сознанія, а право первородства—самое священное право. Законы человѣчества вездѣ одни и тѣ же, потому что они законы разума, а разумъ одинъ, какъ одинъ Богъ: американскіе дикари, по законамъ вѣжливости, всякаго старшаго себя называютъ „своимъ отцомъ“, а равнаго себѣ по лѣ-тамъ „своимъ братомъ“. Нельзя вывести изъ опыта, какимъ образомъ изъ отеческой власти явилась царская власть, отецъ сталъ царемъ; но въ умо-зрѣніи это очень понятно. Исторія не можетъ показать картины развитія идеи отца въ идею царя, исторія не помнить этого, потому что это явленіе довременное. Но тѣмъ яснѣ, что кто внушилъ человѣку чувство мистиче-скаго, религіознагоуваженія къ виновнику дней своихъ, освятилъ санъ и званіе отца, тотъ освятилъ санъ и званіе царя, превознесъ его главу пре-выше всѣхъ смертныхъ и земную участъ его поставилъ въ зависимости отъ случайной воли людской, сдѣлавъ личность его священною и непри-косновеніюю. Человѣчество не помнить, когда преклонило оно колѣни пе-редъ царскою властію, потому что эта власть была не его установленіемъ, но установленіемъ Божіимъ, не въ извѣстное и опредѣленное время совер-шившимся, но отъ вѣка въ божественной мысли пребывавшимъ. Поэтому царь есть намѣстникъ Божій, а царская власть, замыкающая въ себѣ всѣ частныя воли, есть преобразованіе единодержавія вѣчнаго и довременаго разума.

Достоинство монарха есть священство, и въ таинствѣ помазанія совер-

шается непосредственная передача власти царю отъ Бога, и „сердце Царево въ руцѣ Божіей“, и, какъ говорить Шекспировъ Ричардъ II:

Елей съ помазанного короля  
Не могутъ смыть всѣ воды океана!  
Дыханіе земныхъ людей не можетъ  
Съ избранного намѣстника Творца  
Снять сань его..

Вотъ почему, отдавая подданному приказаніе идти, монархъ не оглядывается назадъ, чтобы удостовѣриться, исполняется ли его приказаніе; вотъ почему его слово—законъ, мановеніе руки его—повелѣніе, взглядъ очей—гроза или милость. Онъ творить, какъ „власть имѣющій“ (Ев. отъ Мате., гл. VII, ст. 29), и власть его не отъ него, но свыше. Вотъ почему, когда сльное своеоліе возвѣгаетъ бури мятежа, онъ съ безтрепетнымъ грознымъ челомъ является, одинъ и безоружный, и въ комнатѣ Шакловитаго, и на площади, усыпанной мятежными толпами, которыхъ и самый страхъ оружія и смертія былъ безсиленъ привести къ повиновенію,—является и, вмѣсто увѣщаній и просьбъ, однимъ словомъ властительныхъ усть, однимъ мановеніемъ державной руки повергаетъ передъ собою во прахъ сонмище губителей, оѣпленѣвшихъ отъ одного его появленія: ибо онъ творить, „какъ власть имѣющій“... Превосходно у Шекспира то мѣсто въ „Ричардѣ II“, гдѣ отложившійся отъ короля герцогъ юркскій, увидѣвъ Ричарда осажденнаго и почти побѣжденного безъ надежды на восстание, увидѣвъ его восходящимъ на стѣну замка, въ гордомъ сознаніи его царственнаго величія, возмущается духомъ въ сознаніи виновной совѣсти и восклицаетъ:

Смотрите! о смотрите! самъ король Ричардъ,  
Какъ негодующее солнце, всходить,  
Багровое на огненномъ востока прагѣ,  
Замѣтивъ, что завистливыя облака  
Стремятся потемнить его сіянье  
И запятнать собою лучезарный путь  
Къ странѣ заката. Но онъ смотритъ, какъ король;  
Смотрите: очи какъ орла сверкаютъ,  
И въ нихъ могучее величество горитъ!  
О, Боже! ихъ ли горе потемнить!

Какая безконечная глубина мысли заключена въ этомъ невольномъ изліяніи, въ этой исповѣди виновнаго вассала, такъ молниеносно и въ такихъ немногихъ словахъ выраженной величайшимъ гениемъ, котораго все-зрящему оку доступна была сущность міровой жизни, ея основные законы! И сколько глубины и истины въ этомъ обращеніи короля къ вассалу:

Мы удивляемся: стоять такъ долго  
И ожидать, чтобы въ страхѣ преклонились

Твои колѣни, потому что мы себя  
Твоимъ законнымъ королемъ считаемъ!  
И если такъ: какъ смыть твои члены  
Забыть предъ нами подданного долгъ?  
Когда же не король я,—покажи  
Насъ развѣчавшую десницу Бога!  
Мы знаемъ, что рука изъ крови и костей  
Не можетъ захватить священный скиптръ,  
Не святотатстви и не воруя.  
И думаешь ли ты, что всѣ британцы,  
Какъ ты, отъ насъ сердцами отвертились,  
Что мы и безъ друзей, и безъ защиты?..  
То вѣй: Господь мой, всемогущій Богъ  
За облаками держитъ ополченье язы  
Въ защиту намъ; она убьетъ дѣтей,  
Не вышедшихъ еще на свѣтъ отъ тѣхъ,  
Кто на главу мою вассала руку  
Дерзнетъ занести и вадумаетъ грозить  
Сіянью драгоцѣннаго вѣнца!  
Скажи же Болингброку (кажется, онъ тамъ  
Что каждый шагъ его на нашей почвѣ—  
Опасная измѣна. Онъ пришель  
Сломать печать на пурпурномъ завѣтѣ  
Кровавыхъ войнъ. Но прѣзда, чѣмъ корона,  
Къ которой онъ стремится, на его челѣ  
Возлажеть мирно, десять тысячъ разъ  
Кровавое чело сыновъ заставитъ  
Лить слезы матерей, обезобразить  
Ликъ Англіи цвѣтущей, превратить  
Цвѣтъ мира дѣственныи и блѣдныи  
Въ багровое негодованье, оросить  
Луга Британіи ея же кровью!

Президентъ Сѣверо-Американскихъ Штатовъ есть особа почтенная, но не священная: какъ представитель общества, по условію самого общества, онъ есть высшій чиновникъ его, на которомъ лежитъ большая противъ другихъ отвѣтственность, и который за то пользуется большимъ противъ другихъ жалованьемъ и почетомъ, а не царь, который выше суда человѣческаго и съ которыемъ подданные связаны кровными, неразрывными узами духа и нравственного закона. Личность президента есть призракъ, дѣйствительно одно званіе его, и потому тотъ или другой—все равно. Вслѣдствіе этого, идея этого государства есть условный символъ, безъ сущности и личности, тогда какъ въ монархіяхъ образъ государя есть личность государства, и подданный, служа монарху, служить своему государству. Имя монарха для подданныхъ есть слово мистическое, таинственное, священное: оно заставляетъ, магическою силою заключенной въ немъ идеи, признавать цѣлый народъ, какъ единаго человѣка, и бесконечное множество индивидуальныхъ особенностей сливаетъ во единое тѣло, въ единую живую душу,

имѣющую въ своемъ актъ сознанія единое я. Отсюда ясно видно, какое великое значеніе имѣть для вѣнценосцевъ древность рода и происхожденія, теряющаяся въ непроницаемости мистического мрака временъ и вѣчности. Царь долженъ родиться царемъ, и право рожденія есть его первыйшее и священнѣйшее право. Изъ миллионовъ людей онъ одинъ избранъ Богомъ, и миллионы не могутъ ревновать его избранію и добровольно преклоняютъ передъ нимъ колѣни, какъ передъ существомъ высшаго рода, и охотно повинуются ему, отказывая въ такомъ повиновеніи равнымъ себѣ, ибо власть ихъ считаютъ случайною. Это-то, видно, и было причиною паденія всѣхъ самозванцевъ и похитителей, хотя многие изъ нихъ и были люди великаго ума, способностей и силы характера. Какъ снято съ самозванца царское имя, которымъ онъ освѣнился, какъ правомъ—и будь онъ геній, окажи народу великія заслуги, но уже нѣтъ на немъ багряницы, и обнаженный трупъ его лежитъ добычею небесныхъ птицъ... Другимъ образомъ, но тотъ же конецъ бываетъ и для похитителей. Благодаря своему геніальному инстинкту, свойственному всѣмъ истинно великимъ людямъ, Наполеонъ глубоко чувствовалъ эту истину. Раздаватель коронъ и скипетровъ, могущественнѣйшій монархъ въ мірѣ, по свободному признанію цѣлаго народа, великій геній, самъ создавшій себѣ и тронъ, и свое колоссальное счастіе, кажется, имѣвшій полное право гордиться своимъ не царскимъ происхожденіемъ, онъ, несмотря на все это, безшоколился и о своей судьбѣ, и о судьбѣ своего рода; онъ понималъ, что для твердости и дѣйствительности его власти недостаточно и его геніальности, и его подвиговъ, и помазанія католическимъ первосвященникомъ,—и искалъ, какъ своего спасенія, вступить въ бракъ съ женой царскаго рода. И вотъ онъ разводится съ женой, которую страсти любилъ, которую короновалъ, какъ императрицу, и вступаетъ въ новый брачный союзъ съ принцессою древняго царскаго рода, съ дщерью цесарей. Свѣтскіе мудрецы, люди, которые легко разсуждаютъ о тяжелыхъ предметахъ, которымъ достаточно четверти часа, чтобы, съ сигарою во рту, пересудить всѣхъ и все и перестроить міръ на свой ладъ, такіе люди глубоко-мысльно объявляютъ, что Наполеонъ этимъ союзомъ унишилъ величіе своего генія и, увлекшись тщеславіемъ, сдѣлалъ безразсудный поступокъ, роковую ошибку, которая и погубила его. Нѣтъ! это была мысль геніальная, свойственная только великому человѣку, глубоко-понимавшему законы разумной дѣйствительности, глубоко-постигшему таинственную и сокровенную для обыкновеннаго зѣбнія сущность вещей. Мысль Наполеона стѣбть всѣхъ его побѣдъ и подвиговъ: онъ въ ней такъ же великъ, какъ и въ нихъ. Не мелкое тщеславіе, не суетное желаніе украситься заимствованнымъ блескомъ и цурпуромъ чуждой ему багряницы рѣшило его на этотъ союзъ, но глубокое сознаніе, что этотъ бракъ набросить на него въ глазахъ царей и народовъ, современниковъ и потомства, тотъ религіоно-таинственный свѣтъ, который составляетъ необходимое условіе дѣйствительности царственнаго

достоинства. Онъ понималъ, что если у него будетъ сынъ, то хотя бы этотъ сынъ, наслѣдовавъ его престолъ, не наслѣдовалъ и слабаго отблеска его генія, словомъ, былъ бы самымъ обыкновеннымъ человѣкомъ, и тогда бы онъ тверже своего великаго отца сидѣть на оставленномъ ему тронѣ, онъ—сынъ великаго отца и вѣнценосной матери. Чѣд онъ слышалъ въ восторженныхъ кликахъ своей старой гвардіи?—любовь къ ея великому полководцу, ея маленькому капралу... Но могъ явиться и другой полководецъ, озарить новымъ блескомъ имъ же прославленныхъ орловъ и присвоить себѣ клики воинственныхъ привѣтствій. Чѣд онъ слышалъ въ восторженныхъ кликахъ народа?—благодарность за оказанныя ему услуги, громкій аплодисментъ за успѣхъ, за которымъ могли раздаваться—какъ оно и случалось—оскорбительные свистки сбившемуся съ роли актеру. Не забудьте изреченія Наполеона: „я продолжатель не королевства Гуго-Капета, но имперіи Карла Великаго“. Видите ли: онъ призываетъ себѣ на помощь не одинъ союзъ брака съ вѣнценосною женой, но и союзъ исторіи, союзъ вѣковъ, союзъ преданія,—и на Марсовыхъ поляхъ силится напомнить священное и мистическое прошедшее и связать съ нимъ настоящее... О, господа глубокомысленные политики! Наполеонъ понималъ кое-что не хуже и не менѣе вашего, и самые его ошибки и промахи разумнѣе и поучительнѣе вашихъ прекрасныхъ умствованій...

Все, сказанное нами, клонится къ тому, чтобы показать, что общество или народъ не есть отвлеченное понятіе, но живая личность, единое тѣло и единая душа; что оно рождается не случайно, не по человѣческому условію и произволу, но по волѣ Божіей; что оно не есть только необходимая форма развитія человѣчества и не имѣть причины въ нуждѣ и пользѣ людей, но есть само себѣ цѣль, въ самой себѣ носящая свою причину; что оно развивается не механически, но динамически, т. е. собственною самодѣятельностію жизненной силы, составляющей его сущность, не чрезъ напиленіе и сращеніе извѣй, но внутренно (имманентно) изъ самого себя, органически, какъ дерево изъ зерна...

Доселѣ мы смотрѣли на общество, какъ на нѣчто единое и цѣлое; теперь взглянемъ на него, какъ на единство противоположностей, которыхъ борьба и взаимныя отношенія составляютъ его жизнь. Общество состоять изъ людей, изъ которыхъ каждый человѣкъ принадлежитъ и себѣ, и обществу, есть индивидуальная и самоцѣльная особность и членъ общества, часть цѣлого, принадлежащая не себѣ, а обществу. Прежде всего, всякий человѣкъ есть особность, есть личность, индивидуальность, которая есть исходный пунктъ всѣхъ его дѣйствій и необходимое условіе его дѣйствительности. Какъ особность, онъ стремится къ своему личному удовлетворенію; но лишь только сдѣлаетъ онъ шагъ къ этому удовлетворенію, какъ встрѣчаетъ себѣ препятствіе въ себѣ, гдѣ онъ видѣтъ множество существъ, подобныхъ ему, такъ же, какъ и онъ, стремящихся къ личному удовлетво-

реню. Чѣмъ полезно ему, то полезно и другому; а какъ иногда для многихъ полезно одно, то каждый, стараясь воспользоваться имъ одинъ, старается лишить его всѣхъ другихъ,—борьба личностей и индивидуальныхъ особенностей. Далѣе: чѣмъ полезно одному, то вредно другому, и этотъ другой старается не допустить первого,—опять борьба личностей. Это зрѣлище представляетъ въ себѣ все твореніе, которое есть безконечное многоразличіе особенностей; это зрѣлище представляютъ собою безсмысленныя животныя; но въ людяхъ, какъ существахъ разумныхъ, это же самое зрѣлище, имѣющее своимъ основаніемъ сознаніе своей единичности каждымъ лицомъ, есть только исходный пунктъ жизни, которая есть борьба, но результаты которой представляютъ новое зрѣлище. Человѣкъ, какъ особность, естественно видѣть въ другихъ людяхъ, какъ особенностяхъ же, нѣчто враждебное себѣ; но въ то же время онъ доходитъ своимъ разумомъ до сознанія, что каждая изъ этихъ враждебныхъ ему особенностей имѣть такое же право на личное удовлетвореніе, какъ и онъ, и что, слѣдовательно, если онъ требуетъ отъ нихъ уступокъ и нуждается въ ихъ помощи, то и онъ въ правѣ требовать отъ него уступокъ и помощи. Вотъ законъ любви, которая есть чувственный, такъ сказать, разумъ или безсознательная разумность! Извъ закона любви вытекаетъ законъ нравственый, который сознается изъ столкновенія внутренняго (субъективнаго) міра человѣка съ вѣнчаниемъ (объективнымъ) міромъ. Всякій человѣкъ есть самъ себѣ цѣль, и жизнь дана ему, какъ удовлетвореніе, какъ счастіе, какъ блаженство, къ которымъ, слѣдовательно, онъ имѣть полное право стремиться, сообразно съ своими личными потребностями, наклонностями и средствами. Внутри себя носить онъ таинственный и безконечный міръ, полный желаній, порывовъ, стремленій, страданій и радостей, и только чрезъ удовлетвореніе этого своего міра можетъ онъ достигнуть счастія. Это міръ внутренній, міръ субъективный человѣка, сфера, въ которой онъ самъ себѣ цѣль и, кромѣ себя и личнаго своего удовлетворенія, имѣть право никого и ничего не знать. Субъективная сторона человѣка истинна и, слѣдовательно, дѣйствительна; но всякая односторонняя истина, доведенная до крайности, впадаетъ въ неясность. Субъективность, оставаясь субъективностью, въ сферѣ знанія превратится въ ограниченность и произвольность понятій, въ сферѣ чувства—въ сухой и безнравственный эгоизмъ, въ сферѣ дѣйствія—въ преступленіе и злодѣйство. Субъектъ есть личность; но что же такое эта личность, кого выражаетъ и опредѣляетъ она? Субъективная личность есть выраженіе и опредѣленіе духа, а духъ безконеченъ: слѣдовательно, субъективная личность не должна быть ограниченостію; духъ истиинъ, слѣдовательно, субъективная личность не должна быть эгоистическою. А между тѣмъ, ограниченность есть условіе всякой субъективности. Въ чёмъ же примиреніе этого противорѣчія, гдѣ выходъ изъ него? въ столкновеніи субъективной личности человѣка съ объективнымъ (внѣ его находящимся) міромъ. Чело-

вѣкъ есть частное и случайное по своей личности, но общее и необходимое по духу, выраженіемъ котораго служить его личность. Отсюда выходитъ двойственность его положенія и его стремленій; его борьба между своимъ *я* и тѣмъ, что находится въ его *я*, составляетъ его *не-я*. Въ отношеніи къ его индивидуальной особенности міръ *не-я*, міръ объективный, есть враждебный ему міръ; но въ отношеніи къ его духу, какъ проблеску безконечного и общаго, міръ его *не-я*, міръ объективный, есть родной ему міръ. Чтобы быть дѣйствительнымъ человѣкомъ, а не призракомъ, онъ долженъ быть частнымъ выраженіемъ общаго или конечнымъ проявленіемъ безконечнаго. Вслѣдствіе этого онъ долженъ отрѣшиться отъ своей субъективной личности, признавъ ее ложью и призракомъ, долженъ смириться передъ міровымъ, общимъ, признавъ только его истину и дѣйствительность. Но какъ это міровое или общее находится не въ немъ, а въ объективномъ мірѣ, онъ долженъ сродниться, слиться съ нимъ, чтобы послѣ, усвоивъ объективный міръ въ свою субъективную собственность, стать снова субъективною личностю, но уже дѣйствительною, уже выражающею собою не случайную частность, а общее, міровое, словомъ, стать духомъ во плоти. Въ сферѣ жизни, въ сферѣ дѣйствія столкновеніе субъективной личности съ объективнымъ міромъ совершается дѣятельно же, не какъ житейская опытность, но какъ разумный опытъ жизни. Почва, на которой вырастаютъ благотворные плоды разумнаго опыта, есть нравственное чувство. Субъектъ, сознавая свою особность, свою самоцѣльность и слѣдя инстинктивному стремленію къ личному удовлетворенію, чувствуетъ себя на каждомъ своемъ шагу и въ каждомъ своемъ дѣйствіи какъ бы связаннымъ какими-то вѣшними отношеніями; онъ говорить себѣ: „я самъ себѣ цѣль и хочу жить для жизни, жить для себя“; но вѣшній міръ говорить ему: „ты не для себя созданъ, ты мнѣ принадлежишь, каждую твою радость, каждое твое наслажденіе ты можешь получить только съ моего позволенія“. Съ ужасомъ и ненавистью внимаетъ юный человѣкъ этому страшному голосу какого-то призрака, котораго онъ не видѣть, но котораго могутъ обятья охватили его со всѣхъ сторонъ и не позволяютъ ему ни одного свободнаго движенія. Въ этомъ невидимомъ сторукомъ исполинѣ онъ видѣть существо совершенно вѣшнѣе и враждебное себѣ; но разумный опытъ жизни, цѣною страшной борьбы, противорѣчій, страданій, перемѣшанныхъ съ торжествомъ побѣды, примиреніемъ и радостями, увѣряетъ его, наконецъ, что этотъ колоссальный и враждебный ему призракъ есть его же родное, его же внутреннее, словомъ, законы его собственного разума, его же субъективнаго духа, но только осуществившіеся во вѣ сего, какъ явленія. Въ самомъ дѣлѣ, онъ видѣть, что онъ есть единичная личность, которая сама себѣ цѣль, но онъ же видѣть, что у него есть отецъ, мать, братья, сестры, родственники, друзья, знакомые, наконецъ, общество, отечество, правительство, и что со всѣми этими предметами (объектами) его субъективная лич-

ность связана не условными узами, но узами крови и плоти, а следовательно и духа. Онъ понимаетъ, что если бы они сами захотѣли отрѣшиться отъ него, сдѣлать его свободнымъ отъ нихъ, онъ потерялъ бы вся-  
кое значение въ собственныхъ глазахъ, очутился бы въ собственныхъ глазахъ призракомъ безъ почвы, на которую уперлась бы его нога, безъ воз-  
духа, которымъ оставилась бы грудь его, безъ имени, которымъ бы онъ обозначилъ себя въ инымъ бесьдѣ съ самимъ собой. Въ духовномъ развитіи человѣка моментъ отрицанія необходи-  
мъ, потому что, кто никогда не ссѣ-  
рился съ истиной, у того и миръ съ нею не очень прочень; но это отри-  
цаніе должно быть именно только моментомъ, а не цѣлою жизнью: ссора не можетъ быть цѣлою самой себѣ, но имѣть цѣлою примиреніе. Всякий духовный процессъ совершается съ болѣю и страданіемъ, и столкновеніе субъективной личности человѣка съ объективнымъ міромъ сперва необходи-  
мъ является какъ борьба и страданіе. Но дорогое и покупается дорогою  
цѣною, и благо тому, что цѣною страданія приобрѣтаетъ истину, которая одна даетъ блаженство, его же рѣша не тлить и тать не похищаетъ. Но горе тѣмъ, которые ссорятся съ обществомъ, чтобы никогда не примириться съ нимъ: общество есть высшая дѣйствительность, а дѣйствительность или требуетъ полнаго мира съ собою, полнаго признанія себя со стороны человѣка, или сокрушаетъ его подъ свинцовую тяжестью своей исполнинской длані. Кто отторгся отъ нея безъ примиренія, тотъ дѣлается призракомъ, кажущимся ничто, и погибаетъ. Алексо Пушкина поссорился съ обществомъ и думалъ навсегда избавиться отъ него, приставъ къ бродячей толпѣ дѣ-  
тей природы и вольности; но общество и тамъ напло его и страшно ото-  
мстило ему за себя чрезъ него же самого. Такъ какъ, несмотря на всѣ  
его мудрствованія, оно жило въ немъ безсознательно и кровно, то онъ и  
вздумалъ, вопреки своимъ понятіямъ, наложить на полудикихъ дѣтей при-  
роды тѣ же самыя стѣснительныя условія общественности, противъ кото-  
рыхъ самъ возвставалъ, и два трупа лежали передъ нимъ, какъ необходи-  
мые результаты его ложнаго положенія въ отношеніи къ самому себѣ, и  
навсегда унесли съ собою въ могилу всякую надежду его на счастіе и  
миръ души въ этой жизни...

Но борьба есть условіе жизни: жизнь умираетъ, когда оканчивается борьба. Субъективный человѣкъ въ вѣчной борьбѣ съ объективнымъ міромъ и, следовательно, съ обществомъ,—но въ борьбѣ не въ смыслѣ возвстанія, а въ смыслѣ своего беспрестанного стремленія то въ ту, то въ другую сто-  
рону. Объяснимъ это примѣромъ. Петръ Великій былъ человѣкъ; следова-  
тельно, у него былъ свой субъективный міръ, въ которомъ онъ принадле-  
жалъ только себѣ, а не государству: онъ былъ супругъ, отецъ, братъ, сло-  
вомъ—семьянинъ; онъ вкушалъ въ нѣдрахъ своего семейства тѣ же радо-  
сти, которые вкушалъ и послѣдній изъ его подданныхъ. Онъ имѣлъ друз-  
ей, какъ, напримѣръ, Меншикова, котораго горячо любилъ. Это его субъек-

тивный міръ. Но онъ же не имѣлъ почти минуты времени, чтобы забыться въ милыхъ, обаятельныхъ радостяхъ семейственности и дружбы:

То академикъ, то герой,  
То мореплаватель, то плотникъ,  
Онъ всеобъемлющей душой  
На троицѣ вѣчный былъ работникъ.

Вотъ его объективный міръ. Но и этотъ объективный міръ не былъ чуждымъ и вѣшнимъ ему, не былъ однимъ суровымъ долгомъ, но былъ его задушевнымъ, кровнымъ, и, дѣйствуя на его поприщѣ, онъ вкушалъ блаженство, которому нѣтъ предѣловъ, и для выраженія котораго нѣтъ словъ. Но если это было такое блаженство, котораго ему не могъ дать субъективный міръ, за то и субъективный міръ давалъ ему такое блаженство, котораго не могъ ему дать объективный міръ. Сверхъ того, субъективныя радости даются легче, нежели объективныя: эти дома, онѣ всегда съ нами, а для достижения тѣхъ нужна борьба, усилия, трудъ въ потѣ чela; нужно иногда на роковую ставку судьбы поставить все. При томъ же дѣйствованіе въ объективномъ мірѣ не можетъ всегда быть только наслажденіемъ, но часто должно быть однимъ долгомъ, и минуты блаженства, доставляемыя имъ, рѣдки и бываютъ болѣею частію результатомъ успѣха.

Пиรуетъ Петръ. И гордъ, и ясенъ,  
И полонъ славы взоръ его,  
И царскій пиръ его прекрасенъ.  
При клинахъ войска своего,  
Въ шатрѣ своеѣ онъ угощаетъ  
Своихъ вождей, вождей чужихъ,  
И славныхъ плѣнниковъ ласкаетъ,  
И за учителей своихъ  
Заздравный кубокъ поднимаетъ.

Да, это торжество, незнакомое простымъ смертнымъ: это торжество, извѣстное только богамъ, царамъ, героямъ и народамъ! Но сколько огорченій, досадъ, сомнѣній, муки душевныхъ, тревогъ и заботъ предшествовало этому дивному торжеству!.. Чтобы лучше показать двойственность человѣка въ субъективномъ и объективномъ мірѣ, напомнимъ Петра въ другія днѣ минуты. Вспыхиваетъ стрѣлѣцкій бунтъ, и душа заговора—родная сестра царя-исполина: братъ о ней плачетъ, а царь ее судить и караетъ... Надежда великаго царя, боявшагося и трепетавшаго только одной смерти—смерти своей идеи реформы,—тотъ, кто могъ и продолжить и укрѣпить или прекратить и изгнать ее, его родной, его единственный сынъ возвастъ на отца и царя, и возвастъ именно, какъ на преобразователя... Вѣсы суда готовы: на одной сторонѣ естественная любовь родителя, на другой—судьба народа... Народъ побѣдилъ—страшная, величественная и торжественная минута!.. Солнце должно было остановиться въ своемъ вѣчнодовременномъ тѣ-

ченіи, природа притаить дыханіе, пульс мірової жизни прервателься, въ ожиданіи страшного рѣшенія, чтобы потомъ забиться новою, удвоеною жизнью, потечь новымъ, ускореннымъ теченіемъ отъ чувства торжества... Великій подвигъ великаго человѣка!—восклицаете вы въ гордомъ сознаніи торжества достоинства человѣческой природы. Міръ объективный побѣдилъ міръ субъективный, общее побѣдило частное! Отчего же такъ велика эта побѣда?—оттого, что власть естественного влечения сердца безгранична надъ волею человѣка, и когда торжествуетъ надъ нимъ законъ нравствен- ный, человѣкъ является героемъ, полубогомъ, представителемъ человѣчес- тва, осуществлявшимъ своею личностю все могущество цѣлого человѣчес- тва; оттого, что права субъективнаго человѣка безконечно сильны надъ душою и побѣждются только самоотверженіемъ въ пользу общаго... Итакъ, у одного человѣка двѣ жизни, изъ которыхъ каждая поочередно овладѣ- ваетъ имъ, который борется между собою, и въ этой борьбѣ его жизнь...

Общество слагается изъ множества людей, и у каждого изъ нихъ свой горизонтъ понятій, своя сфера жизни, свой кругъ дѣйствія, наконецъ, свой субъективный и свой объективный міръ. Одинъ больше частное явленіе, т.-е. больше принадлежить себѣ; другой больше общее явленіе, т.-е. больше сливается съ интересами объективными, выходящими изъ сферы его част- ной жизни; но каждый раздѣленъ между собою и обществомъ и каждый соединенъ съ обществомъ, т.-е. находитъ себя въ обществѣ. Иной, по огра- ниченности своей натуры, даже не понимаетъ слова „отчество“, но если онъ влісанъ въ сословіе, въ цехъ—у него уже есть свой объективный міръ. Вотъ откуда истекаетъ живое единство общественной организаціи, которой безчисленные и разнообразные нерви, проходя взадъ и впередъ и перепу- тываясь въ тѣлѣ, сходятся въ одномъ пункте и образуютъ собою органъ сознанія—единаго личнаго я. Каждый изъ членовъ общества имѣть свою исторію жизни, а общество имѣть свою и еще гораздо послѣдовательнѣ- шую, гораздо полнѣшую, разумнѣшую и понятнѣшую. Какъ единый че- ловѣкъ, оно переходитъ всѣ моменты развитія: начавъ бытіе свое безсозна- тельно и довременно, вдругъ пробуждается для сознанія, но для сознанія еще естественного, непосредственного \*); наконецъ, наступаетъ для него эпоха выхода изъ естественной непосредственности, оно отрицааетъ родство крови и плоти во имя родства духа, чтобы потомъ чрезъ духъ снова при- знать родство крови и плоти, но уже просвѣтленное духомъ—свѣтомъ божественной мысли. Какъ у единаго человѣка, у него бываютъ болѣзни, и

\* ) Здѣсь слово „непосредственный“ употреблено въ значеніи отсутствія по- средства мысли въ сознаніи. Младенецъ или простолюдинъ можетъ быть добръ, не имѣя ни малѣйшаго понятія ни о добрѣ, ни о злѣ—доброта непосредственная; другой можетъ обнаруживать своими дѣйствіями и инстинктивно вѣрными заклю- ченіями удивительную истинность, никогда не думавши о томъ, что такое истина—непосредственное познаніе истины.

фазы болезней, и переходъ въ здоровое состояніе. Словомъ, это живая, единичная личность, огромное тѣло, съ безчисленнымъ множествомъ головъ, но съ единой душою, единственнымъ индивидуальнымъ я. И никогда его единство не бываетъ такъ поразительно, какъ въ тѣхъ грустно или радостно торжественныхъ его положеніяхъ, когда или рѣшается вопросъ о его жизни и смерти, или общая радость заставляетъ сильно - биться его исполнинское сердце. Все въ немъ усыпано въ какомъ-то дремотномъ спокойствіи, все такъ обыкновенно и ежедневно: судья ходить въ судъ, чтобы брать жалованье и жить имъ, воинъ исполняетъ свои обязанности, какъ долгъ службы, составляющій условія его обеспеченія, купецъ думаетъ о барышахъ, словомъ—все занято собою: кто рождается, кто умираетъ, кто женится, кто разводится, и всякий—Иванъ да Петръ, Сидоръ да Лука. Но вотъ буря ино-племенного нашествія проносится по усыпанному народу и разражается громомъ и молнию надъ его беспечной головою—и нѣть больше людей: является народъ, нѣть больше личныхъ и частныхъ интересовъ: все думаютъ о отечествѣ, пестрыя толпы слились въ одну общую массу, во главѣ которой является царь. И тѣ, которые удивляли васъ своею мелкостію и пошлостію, оскорбляли бездушіемъ, тѣ часто поражаютъ васъ и львиною храбростію, и благородствомъ поступковъ, и великодушною готовностію принести себя на жертву за общее дѣло, даже не думая, чтобы ихъ жертва имѣла какую-нибудь цѣну. Для того-то и насыщается буря, чтобы очищался воздухъ, и орошенная земля чреватѣла плодородіемъ и давала плодъ старицею... Такое зрѣлище представляла собою Русь на мамаевскомъ побоищѣ; такое зрѣлище представляла она въ годину междуцарствія, когда умирающее сознаніе ея я было пробуждено и оживлено голосомъ жаларя Палицына, святителя Гермогена, мясника Минина и дѣятельнымъ участіемъ князя Пожарскаго... Отчего видна такая забота на лицахъ всѣхъ и каждого? отчего по одному направленію движутся, отъ мѣста до мѣста, густыя массы народа, отчего, говоря словами поэта:

Въ погребальный слившись ходъ,  
Вся имперія идетъ?..

Умеръ Благословенный... Отчего въ первопрестольномъ градѣ, отъ заставы до стѣнъ священнаго кремля, тянутся по обѣимъ сторонамъ густыя толпы безчисленного народа, едва удерживаемыя въ порядкѣ двойнымъ рядомъ солдатъ, лѣпятся на помостахъ, покрываютъ заборы и кровли домовъ? Кто созвалъ ихъ сюда? Никто, даже тѣ, которые имѣютъ право сывать народъ, скорѣе озабочены тѣмъ, чтобы число его не было во вредъ ему самому. Отчего лица всѣхъ свѣтлы и радостны, чужды всякой житейской заботы, всякой мысли о себѣ? отчего глаза всѣхъ, съ томлениемъ и трепетомъ ожиданія, обращены въ одну сторону? отчего вдругъ, при царственномъ гулѣ колоколовъ и громѣ пушекъ, воздухъ потрясся отъ стонущаго „ура“, какъ бы вы-

ходящаго изъ единой груди и единыхъ усть?.. Новый Царь вступаетъ въ древнюю Москву для вѣнчанія на царство...

Много славныхъ и блестящихъ мгновеній пережила молодая Россія—молодая и юная, несмотря на свою девятивѣковую жизнь; много перетерплено было ею славныхъ бѣдъ, много перепраздновано славныхъ торжествъ; но все они помрачаются 1812 годомъ. И въ самый знаменитый 1612 годъ за нее спорили и жизнь, и смерти; но тогда спасеніе казалось чудомъ, которому тогда только повѣрили, когда оно уже совершилось; но въ 1812 споръ жизни съ смертю казался еще страшнѣе, а въ спасеніи никто не отчаялся, никто не сомнѣвался даже. Бѣда была торжествомъ: что же самое торжество?.. Великое вліяніе имѣли на Россію нашествіе Наполеона и послѣдняя борьба ея съ нимъ: уже не разъ опытомъ блестящихъ побѣдъ и славныхъ торжествъ сознавала она свои исполинскія силы, но что все эти опыты передъ эпохой XII и XIV годовъ?.. Народная фантазія, въ союзѣ съ преданіемъ, создала могущаго богатыря, въ миаическомъ образѣ котораго видится образъ самого народа и вмѣстѣ символъ его судьбы — Илью Муромца, который, лишенный ногъ, тридцать лѣтъ сидѣлъ сиднемъ, а на тридцать первый погулять пошелъ. И дѣйствительно: добрый молодецъ расходился и разгулялся... Съ самой эпохи татарскаго ига Россія была оторвана отъ европейскаго міра и развивалась сама въ себѣ изолированно, формировалась изнутри и извнѣ и крѣпла въ силахъ своей исполнинской корпораціи; но въ отношеніи къ общему развитію человѣчества она сидѣла сиднемъ, погруженная въ дрему непробудную. И вдругъ исполинъ, ростомъ и силою вровень съ нею, поставилъ ее на ноги, разбудилъ отъ вѣковой дремоты—и она встала и поплала. Съ самаго того мгновенія, какъ царственный младенецъ началъ тѣшиться въ селѣ Преображенскомъ съ своею потѣшною ротою и потомъ могучею дланью крѣпко ухватился за бразды правленія, Россія не имѣла минуты свободной, чтобы вздремнуть, чтобы забыться покоемъ отъ ратныхъ и гражданскихъ подвиговъ, отъ торжествъ побѣды и славы, отъ триумфовъ завоеваній и пріобрѣтеній. Но что вся эта бодрственная, недреманная, полная трудовъ и дѣятельности жизнь передъ тою, для которой снова какъ бы пробудилась она страшнымъ вликомъ: „непріятель идетъ на Москву!“ Чѣмъ всѣ прежнія ея востанія отъ сна передъ тѣмъ, которое совершилось при заревѣ пылающей Москвы—этой очистительной жертвы за спасеніе цѣлаго народа, этого феникса, вновь возродившагося изъ своего священнаго пепла?.. И послѣ того, какой блестательный рядъ торжествъ!.. Дѣло шло уже не о новой пріобрѣтнной провинціи, не о клочкѣ земли, отбитой у враговъ, и моря для построенія города, ни даже о завоеваніи царства и царствъ; дѣло шло сперва о собственномъ спасеніи, а потомъ о спасеніи всей Европы, слѣдовательно—всего міра. Россія тѣсно примыкаетъ къ исторіи Европы, знакомится съ ея бытомъ и домашнею жизнью, — и Царь русскій,

Вождь вождей, царей диктаторъ,  
Напіль великий Императоръ,  
Мира свѣтлая звѣзда—

является посредникомъ между царями и народами, Готфредомъ крестоваго похода новыхъ вѣковъ, изрекаетъ щараду и милость гордой столицѣ народы, почитающаго себя первымъ народомъ въ мірѣ, и въ свѣтломъ торжествѣ и триумфѣ проходить по столицамъ спасенной имъ Европы!.. Явленіе безпримѣрное въ исторіи человѣчества и могшее совершиться только въ концѣ XVIII и началѣ XIX вѣковъ—въ это время чудесъ и гигантовъ!..

У всякаго человѣка есть своя исторія, а въ исторіи свои критические моменты; и о человѣкѣ можно безошибочно судить, только смотря по тому, какъ онъ дѣйствовалъ и какимъ онъ являлся въ эти моменты, когда на вѣсахъ судьбы лежала его и жизнь, и честь, и счастіе. И чѣмъ выше человѣкъ, тѣмъ исторія его грандіознѣе, критические моменты ужаснѣе, а выходъ изъ нихъ торжественнѣе и поразительнѣе. Такъ и у всякаго народа—своя исторія, а въ исторіи свои критические моменты, по которымъ можно судить о силѣ и величинѣ его духа; и, разумѣется, чѣмъ выше народъ, тѣмъ грандіознѣе царственное достоинство его исторіи, тѣмъ поразительнѣе трагическое величіе его критическихъ моментовъ и выхода изъ нихъ съ честью и славою победы. Духъ народа, какъ и духъ частнаго человѣка, выказывается вполнѣ только въ критическія минуты, по которымъ однѣмъ можно безошибочно судить не только о его силѣ, но и о молодости и свѣжести его силъ. Бородинская битва, самимъ Наполеономъ названная битвою гигантовъ, была самымъ торжественнымъ, самымъ трагическімъ актомъ великой драмы XII-го года.

Да, это было великое зрѣлище, это была картина міровой жизни, непосредственно явившая, волею Божію, откровеніе вѣчнаго духа жизни, воочію совершившееся!.. Тутъ являлась личность народа, поглотившая въ себѣ всѣ частныя личности; всѣ умы были полны одною мыслію, сердца однѣмъ чувствомъ, и бились въ тактъ, какъ бы то было сердце одного человѣка... Немного подобныхъ минутъ хранить исторія на своихъ завѣтныхъ страницахъ, но потому-то и велики и священны такія минуты: ихъ не можетъ произвести и устроить воля человѣческая, но они являются сами, какъ разумная необходимость... Скажите, какая была нужда цѣлому народу до одного человѣка—того семидесятилѣтняго вождя съ сѣдою головою и пропстрѣленными глазомъ? Развѣ онъ былъ тому отецъ, другому братъ, третьему роднія дальня? развѣ онъ могъ того сдѣлать счастливымъ, другому дать денегъ, третьяго испѣлить отъ неизлѣчимой болѣзни? Нѣть! эти люди были ему чужды, какъ и онъ былъ чуждъ имъ; они были для него—все незнакомыя лица, хотя его лицо и было извѣстно имъ развѣ только по портретамъ. Но почему же его лицо распалось на такое множество портретовъ? почему эти портреты всѣмъ извѣстны? Потому что этотъ человѣкъ

есть не частное явленіе, а одинъ изъ выразителей сущности народной жизни, одинъ изъ представителей нравственного могущества своего народа, не Михаилъ и не Ларіоновичъ, а просто Кутузовъ—имя символическое, изъ собственного сдѣлавшегося нарицательнымъ; потому что онъ не случайное выражение частной идеи, а необходимо разумное выражение общенародной и человѣчественно-мировой идеи, высшее явленіе высшей дѣйствительности, сънъ не случая, но судьбы... Глубоко замѣчаніе автора „Очерковъ Бородинского сраженія“, что нуженъ былъ русскій полководецъ, съ русскимъ именемъ: подвигъ Барклай-де-Толли великъ, участъ его трагически-печальна и способна возбудить негодованіе въ великому поэтѣ \*); но мыслитель, благословляя память Барклай-де-Толли и благоговѣя передъ его святымъ подвигомъ, не можетъ обвинять и его современниковъ, видя въ этомъ явленіи разумную и непреложную необходимость... Отчего же, изъ всѣхъ русскихъ генераловъ, только на Кутузовѣ остановилось вниманіе и довѣрѣнность царя, безсознательно и какъ бы инстинктивно подтвержденные упованіемъ и вѣрою народа? Здѣсь мы понимаемъ глубокій смыслъ изречения св. писанія: „глазъ Божій—глазъ народа“—изреченія, которое только и понимается въ торжественные минуты народной жизни, когда исчезаютъ люди и является только народъ.

Рокотъ барабановъ, рѣзкіе звуки трубъ, музыка, пѣсни и крики несвязные (привѣтный кличъ войска Наполеону) слышались у французовъ. Священное молчаніе царствовало на нашей линіи. Я слышалъ, какъ квартиргеры громко сывали къ портціи. „Водку привезли: кто хочетъ, ребята, ступай къ чаркѣ!“ Никто не шепотнулъся. По мѣстамъ вырывался глубокій вздохъ и слышались слова: „Спасибо за честь! не къ тому изготовились; не такой завтра день!“ И съ этими многие старики, освѣщенные догорающими огнями, творили крестное знаменіе и приговаривали: „Мать Пресвятая Богородица! помоги постоять намъ за землю!“

Если бы въ книгѣ г. Глинки не было ни одного изъ тѣхъ достоинствъ, о которыхъ будемъ еще говорить ниже, то за одинъ этотъ фактъ, передаваемый ею во всеобщую извѣстность, она достойна названія народной книги. Никогда явленія духа не бывають такъ мистически поразительны, никогда они не производятъ въ душѣ такого живого, яснаго и трепетно-священного созерцанія своей таинственной сущности, какъ открывалась чрезъ эти массы самаго низшаго народа, лишенного всякаго умственного развитія,

\*) „Полководецъ“—одно изъ величайшихъ созданій геніального Пушкина, оканчивающееся слѣдующими стихами:

О родъ людской, достойный слезъ и смѣха,  
Жрецы минутнаго, поклонники успѣха!  
Какъ часто мимо васъ проходить человѣкъ,  
Надъ кѣмъ ругается слѣпой и буйный вѣкъ,  
Но чей высокій ликъ, въ грядущемъ поколѣніи,  
Поэта приведеть въ восторгъ и умиленье!

загрубѣлаго отъ низшихъ нуждъ и тяжелыхъ работъ жизни. Солдаты наши требовали сраженія; мысль, что Москва будетъ отдана непріятелю, заставляла ихъ громко роптать—ихъ, которые, по своему національному духу и Богомъ данному имъ инстинкту истины и здраваго разсудка, всегда отличаются безпредѣльною довѣренностию къ высшей власти и молчаливымъ выполненiemъ ея велѣній. Бородинская битва была дана для нихъ. Скажите: что такое Москва этому грубому солдату, ему, который никогда не видалъ ея, а только смутно носилъ, въ ограниченномъ кругѣ своихъ понятій, какую-то безсвязную мысль о ея сорока сорокахъ церквей, ея Кремль и бѣлокаменныхъ палатахъ?.. Почему же мысль о занятіи ея врагомъ тяжелѣ для него всѣхъ смертей?.. Не довольно ли было бы ему ограничиться простымъ и безмолвнымъ выполненiemъ своей обязанности: стать, гдѣ велѣть стать, и умереть, гдѣ велѣть умереть, не желая и не требуя сраженія, когда „командиры“ не хотятъ его, и не называясь, можетъ быть, на вѣрную и неизбѣжную смерть?.. Вотъ самое поразительное и самое очевидное доказательство того, что все живеть въ духѣ и служить духу и сильно однимъ духомъ: и мудрецъ, глубоко проникшій въ сокровенные причины вещей, и свѣтскій человѣкъ, имѣющій обо всемъ легкія понятія, и грубый поселянинъ, котораго ограниченный кругозоръ понятій не простирается далѣе низкихъ нуждъ материальной жизни. Вотъ самое поразительное и самое очевидное доказательство того, что всякий человѣкъ, на какой бы ступени нравственнаго развитія ни стоялъ онъ, не есть какая-то особность, сама по себѣ существующая, но есть живая часть живого цѣлого, которая страждеть, когда страждеть цѣлое, которая тотчасъ сознаетъ свое кровное родство съ тою общностію, которая есть альфа и омега его бытія, какъ скоро настанетъ для нея торжественная минута.. Вотъ наконецъ самое поразительное и самое очевидное доказательство того, что человѣческое общество, народъ или государство есть не искусственная машина, механически движущаяся, но живое тѣло, кровь и плоть, одушевляемая духомъ. Мы попросили бы кстати мудрыхъ вѣка сего доказать намъ, что въ мірѣ есть какая-то материальная сила, какой-то человѣческій произволъ, который разсчитанною хитростію побѣждаетъ силу духовную, образованность и гений... Мы попросили бы ихъ кстати объяснить намъ, какъ слѣпая воля человѣческая производить явленія, въ которыхъ, по нашему мнѣнію, непосредственно является самъ Богъ; какъ она, собственною силою, творить возможное только Богу и насилиемъ производить въ грубыхъ массахъ любовь, вдохновеніе, самопожертвованіе, единство цѣлей и стремленій, словомъ то, что можетъ производить только духъ...

## Изъ критическихъ отзывовъ Бѣлинскаго о Пушкинѣ.

**Народность, гуманность и художественность — отличительныя черты поэзіи Пушкина.**

Какъ истинный художникъ, Пушкинъ не нуждался въ выборѣ поэтическихъ предметовъ для своихъ произведеній, но для него всѣ предметы были равно исполнены поэзіи. Его „Онѣгинъ“, напримѣръ, есть поэма современной, дѣйствительной жизни не только со всею ея поэзіею, но и со всею ея прозою, несмотря на то, что она писана стихами. Тутъ и благодатная весна, и жаркое лѣто, и гнилая дождливая осень, и морозная зима; тутъ и столица, и деревня, и жизнь столичнаго денди, и жизнь мирныхъ помѣщиковъ, ведущихъ между собою незанимательный разговоръ

О сѣнокосѣ, о винѣ,  
О паснѣ, о своей роднѣ;

тутъ и мечтательный поэтъ Ленскій, и тривіальный забіяка и сплетникъ Зарѣцкій; то передъ вами прекрасное лицо любящей женщины, то сонная рожа трактирнаго слуги, отворяющаго, съ метлою въ рукѣ, дверь кофейной,— и всѣ они, каждый по своему, прекрасны и исполнены поэзіи. Пушкину не нужно былоѣдитъ въ Италію за картинами прекрасной природы: прекрасная природа была у него подъ рукою здѣсь, на Руси, на ея плоскихъ и однообразныхъ степяхъ, подъ ея вѣчно-сѣрымъ небомъ, въ ея печальныхъ деревняхъ и ея богатыхъ и бѣдныхъ городахъ. Что для прежніхъ поэтовъ было низко, то для Пушкина было благородно; что для нихъ была проза, то для него была поэзія. Осень для него лучше весны или лѣта, и, читая эти стихи, вы не можете не согласиться съ нимъ, по крайней мѣрѣ, на то время, пока не увидите его же картины весны или лѣта:

Дни поздней осени бранять обыкновенно;  
Но мнѣ она мила, читатель дорогой:  
Красою тихою, блестающей смиренно,  
Какъ нелюбимое дитя въ семьѣ родной,  
Къ себѣ меня влечетъ... и т. д.

Русская зима лучше русскаго лѣта — этой „карикатуры южныхъ зимъ“: она похожа на самое себя, тогда какъ наше лѣто столько же похоже на лѣто, сколько декорационныя деревья въ театрѣ похожи на настоящія де-

ревья въ лѣсу. Пушкинъ первый понялъ это и первый выразилъ. Его зима облита блескомъ роскошной поэзіи:

Подъ голубыми небесами  
Великолѣпными коврами,  
Блестя на солнцѣ, снѣгъ лежитъ.  
Прозрачный лѣсъ одинъ чернѣеть,  
И сѣль сквозь иней зеленѣеть,  
И рѣчка подо льдомъ блестить... и т. д.

Поэзія Пушкина удивительно вѣрна русской дѣйствительности, изображаетъ ли она русскую природу, или русскіе характеры: на этомъ основаніи, общій голосъ наркѣтъ его русскимъ національнымъ, народнымъ поэтомъ. Пушкинъ не могъ не отразить въ себѣ географически и физиологически народной жизни, ибо былъ не только русскій, но притомъ русскій, надѣленный отъ природы геніальными силами; однакожъ въ томъ, что называются народностью или національностью его поэзіи, мы больше видимъ его необыкновенно великій художническій талѣтъ. Онъ въ высшей степени обладалъ этимъ таکтомъ дѣйствительности, который составляетъ одну изъ главныхъ сторонъ художника. Прочтите его чудную драматическую поэму „Русалка“: она вся насквозь проникнута истинностью русской жизни; прочтите его тоже чудную драматическую поэму „Каменный Гость“: она, и по природѣ страны, и по нравамъ своихъ героевъ, такъ и дышитъ воздухомъ Испаніи; прочтите его „Египетскія ночи“: вы будете перенесены въ самое сердце жизни издыхающаго древняго міра... Такихъ примѣровъ удивительной способности Пушкина быть какъ у себя дома во многихъ и самыхъ противоположныхъ сферахъ жизни мы могли бы привести много, но довольно и этихъ трехъ. И что же это доказываетъ, если не его художническую многосторонность? Если онъ съ такою истинною рисовалъ природу и нравы даже никогда невиданныхъ имъ странъ, какъ же бы его изображенія предметовъ русскихъ не отличались вѣрностю природѣ? Натура Пушкина (и въ этомъ случаѣ самое вѣрное свидѣтельство есть его поэзія) была внутренняя, созерцательная, художническая. Пушкинъ не зналъ муки и блаженства, какія бываютъ слѣдствіемъ страстно дѣятельнаго (а не только созерцательнаго) увлеченія живою, могучею мыслію, въ жертву которой приносится и жизнь и талантъ. Онъ не принадлежалъ исключительно ни къ какому ученику, ни къ какой доктринѣ; въ сферѣ своего поэтическаго міросозерцанія, онъ, какъ художникъ по-преимуществу, былъ гражданинъ вселенной, и въ самой исторіи, такъ же какъ и въ природѣ, видѣлъ только мотивы для своихъ поэтическихъ вдохновеній, материалы для своихъ творческихъ концепцій. Почему это было такъ, а не иначе, и къ достоинству или недостатку Пушкина должно это отнести? Еслиъ его натура была другая, и онъ шелъ по этому несвойственному ей пути, то, безъ сомнѣнія, это было

бы въ немъ больше, чѣмъ недостаткомъ; по какъ онъ въ этомъ отношеніи былъ только вѣренъ своей натурѣ, то за это его такъ же нельзя хвалить или порицать, какъ одного нельзя хвалить или порицать за то, что у него черные, а не русые волосы, и другого за то, что у него русые, а не черные.

Лирическія произведенія Пушкина въ особенности подтверждаютъ нашу мысль о его личности. Чувство, лежащее въ ихъ основаніи, всегда такъ тихо и кротко, несмотря на его глубокость, и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ человѣчно, гуманно! И оно всегда проявляется у него въ формѣ, столь художнически спокойной, столь граціозной! Что составляетъ содержаніе мелкихъ пьесъ Пушкина? Почти всегда любовь и дружба, какъ чувства, наиболѣе обладавшія поэтомъ и бывшія непосредственнымъ источникомъ счастія и горя всей его жизни. Онъ ничего не отрицаєтъ, ничего не проклинаетъ, на все смотритъ съ любовью и благословеніемъ. Самая грусть его, несмотря на ея глубину, какъ-то необыкновенно свѣтла и прозрачна; она умиряетъ муки души и цѣлить раны сердца. Общій колоритъ поэзіи Пушкина, и въ особенности лирической—внутренняя красота человѣка и лелеюща душу гуманность. Къ этому прибавимъ мы, что если всякое человѣческое чувство уже прекрасно потому самому, что оно человѣческое (а не животное), то у Пушкина всякое чувство еще прекрасно, какъ чувство изящное. Мы здѣсь разумѣемъ не поэтическую форму, которая у Пушкина всегда въ высшей степени прекрасна; нѣтъ, каждое чувство, лежащее въ основаніи каждого его стихотворенія, изящно, граціозно и виртуозно само по себѣ: это не просто чувство человѣка, но чувство человѣка-художника, человѣка-артиста. Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, нѣжное, благоуханное и граціозное во всякому чувствѣ Пушкина. Въ этомъ отношеніи, читая его творенія, можно превосходнымъ образомъ воспитать въ себѣ человѣка, и такое чтеніе особенно полезно для молодыхъ людей обоего пола. Ни одинъ изъ русскихъ поэтовъ не можетъ быть столько, какъ Пушкинъ, воспитателемъ юношества, образователемъ юнаго чувства. Поэзія его чужда всего фантастического, мечтательного, ложнаго, призрачно-идеальнаго; она вся проникнута насквозь дѣйствительностью; она не кладетъ на лицо жизни бѣлиль и румянъ, но показываетъ ее въ ея естественной, истинной красотѣ; въ поэзіи Пушкина есть небо, но имъ всегда проникнута земля. Поэтому, поэзія Пушкина не опасна юношеству, какъ поэтическая ложь, разгорячающая воображеніе,—ложь, которая ставить человѣка во враждебныя отношенія съ дѣйствительностью при первомъ столкновеніи съ нею, и заставляетъ безвременно и бесплодно истощать свои силы на гибельную съ нею борьбу. И при всемъ этомъ, кромѣ высокаго художественнаго достоинства формы, такое артистическое изящество человѣческаго чувства! Нужны ли доказательства въ подтвержденіе нашей мысли? Такъ какъ поэзія Пушкина вся заключается преимущественно въ поэтическемъ созерцаніи міра, и такъ какъ она безусловно признаетъ его настоящее положеніе, если не

всегда утешительнымъ, то всегда необходимо-разумнымъ—поэтому она отличается характеромъ болѣе созерцательнымъ, нежели рефлектирующимъ, выражается болѣе, какъ чувство, или какъ созерцаніе, нежели какъ мысль. Вся насквозь проникнутая гуманностью, муга Пушкина умѣеть глубоко страдать отъ диссонансовъ и противорѣчій жизни; но она смотрить на нихъ съ какимъ-то самоотрицаніемъ (resignatio), какъ бы призываю ихъ роковую неизбѣжность и не нося въ душѣ своей идеала лучшей дѣйствительности и вѣры въ возможность его осуществленія. Такой взглядъ на міръ вытекалъ уже изъ самой натуры Пушкина; этому взгляду обязанъ Пушкинъ изящною елейностью, кротостію, глубиною и возвышенностью своей поэзіи, и въ этомъ же взглядѣ заключаются недостатки его поэзіи. Какъ бы то ни было, но, по своему воззрѣнію, Пушкинъ принадлежитъ къ той школѣ искусства, которой пора уже миновала совершенно въ Европѣ, и которая даже у насъ не можетъ произвести ни одного великаго поэта. Духъ анализа, неукротимое стремленіе изслѣдованія, страстное, полное вражды и любви мышленіе сдѣлялись теперь жизнью всякой истинной поэзіи. Вотъ въ чёмъ время опередило поэзію Пушкина и большую часть его произведеній лишило того животрепещущаго интереса, который возможенъ только какъ удовлетворительный отвѣтъ на тревожные, болѣзенные вопросы настоящаго. Къ особеннымъ чертамъ Пушкинской поэзіи принадлежитъ его художническая добросовѣтность. Пушкинъ ничего не преувеличиваетъ, ничего не украшаетъ, ничѣмъ не эффектируетъ, никогда не возводить на себя великолѣпныхъ, но не испытанныхъ имъ чувствъ, и вездѣ является такимъ, каковъ былъ дѣйствительно. Такъ, напримѣръ, онъ узнаетъ о смерти той, любовь къ которой заставила его лиру издать столько гармоническихъ стоновъ, какой прекрасный случай изобразить свое отчаяніе, написать картину страшной скорби, невыносимой муки!.. Но сердце наше—вѣчная тайна для насъ самихъ... и вотъ какъ подействовала на Пушкина роковая вѣсть:

Подъ небомъ голубымъ страны своей родной и т. д.

Да, непостижимо сердце человѣческое, и, можетъ быть, тотъ же самый предметъ внушилъ впослѣдствіи Пушкину его дивную „Разлуку“ („Для береговъ отчизны дальней“)... Въ отношеніи въ художнической добросовѣтности Пушкина, такова же его превосходная пьеса „Воспоминаніе“: въ ней онъ не рисуется въ мантіи сатанинскаго величія, какъ это дѣлаютъ часто мелкодушные талантики, но просто какъ человѣкъ оплакиваетъ свои заблужденія. И этимъ доказывается не то, что у него было больше другихъ заблужденій, но то, что, какъ душа мощная и благородная, онъ глубоко страдалъ отъ нихъ и свободно сознавался въ нихъ передъ судомъ своей совѣсти... Та же художническая добросовѣтность видна даже въ его картинахъ природы, которыми особенно любятъ щеголять мелкіе таланты, изукраши-

вая ихъ небывалыми красками, и изъ русской природы съмъло дѣлая пародію на итальянскую. Въ доказательство приводимъ одну изъ самыхъ превосходнейшихъ и, вѣроятно, по этой причинѣ, наименѣе замѣченныхъ и оцѣненныхъ пьесь Пушкина— „Капризъ“:

Румяный критикъ мой, насмѣшникъ толстопузый, и т. д.

Кстати обѣ изображаемой Пушкинымъ природѣ. Онъ созерцалъ ее удивительно вѣрно и живо, но не углублялся въ ея тайный языкъ. Оттого онъ рисуетъ ее, но не мыслить о ней. И это служить новымъ доказательствомъ того, что падеось его поэзіи былъ чисто артистической, художнической, и того, что его поэзія должна сильно дѣйствовать на воспитаніе и образованіе чувства въ человѣкѣ. Если съ кѣмъ изъ великихъ европейскихъ поэтовъ Пушкинъ имѣть иѣкоторое сходство, такъ болѣе всего съ Гёте, и онъ еще болѣе, нежели Гёте, можетъ дѣйствовать на развитіе и образованіе чувства. Это, съ одной стороны, его преимущество передъ Гёте и доказательство, что онъ больше, нежели Гёте, вѣренъ художническому своему элементу; а съ другой стороны, въ этомъ же самомъ неизмѣримое превосходство Гёте передъ Пушкинымъ, ибо Гёте—весь мыслъ, и онъ не просто изображалъ природу, а заставлялъ ее раскрыть передъ нимъ ея завѣтныя и сокровенные тайны. Отсюда явилось у Гёте его пантейстическое созерцаніе природы и—

Была ему звѣздная книга ясна,  
И съ нимъ говорила морская волна.

Для Гёте природа была раскрытая книга идей; для Пушкина она была— полная невыразимаго, но безмолвнаго очарованія живая картина. Образцомъ Пушкинского созерцанія природы могутъ служить пьесы: „Туча“ и „Обвалъ“. Несмотря на всю разницу въ содержаніи этихъ пьесъ, обѣ онъ—живопись въ поэзіи...

Мы уже говорили о разнообразіи поэзіи Пушкина, о его удивительной способности легко и свободно переноситься въ самыя противоположныя сферы жизни. Въ этомъ отношеніи, независимо отъ мыслительной глубины содержанія, Пушкинъ напоминаетъ Шекспира. Это доказывается даже мелкія его пьесы, какъ и поэмы, и драматические опыты. Взглянемъ, въ этомъ отношеніи, на первыя. Превосходнейшія пьесы въ антологическомъ родѣ, запечатлѣнныя духомъ древне-эллинской музъ, подражанія Корану, вполнѣ передающія духъ исламизма и красоты арабской поэзіи—блестящій алмазъ въ поэтическомъ вѣнцѣ Пушкина! „Въ крови горитъ огонь желанья“, „Верноградъ моей сестры“, „Пророкъ“ и большое стихотвореніе, родъ поэмы, исполненной глубокаго смысла и названной „Отрывкомъ“, представляютъ красоты восточной поэзіи другого характера и высшаго рода, принадлежать къ величайшимъ произведеніямъ Пушкинского генія-протея. „Женихъ“,

зникъ", „Бѣсы" и „Зимній вечеръ";—пѣсы, образующія собою отмѣрь русско-народной поэзіи въ художественной формѣ. „Пѣсни хъ Славянъ" болѣе, чѣмъ что-нибудь, доказываютъ непостижимый скій тактъ Пушкина и гибкость его таланта. Извѣстно происхождѣніе пѣсенъ и продѣлка даровитаго француза Меримѣ, вѣдумавшаго яться надъ колоритомъ мѣстности. Не знаетъ, каковы вышли на французъ языкъ эти поддѣльныя пѣсни, обманувшія Пушкина; но у Пушкина онѣ дышать всюю роскошью мѣстнаго колорита, и многія изъ нихъ превосходны, несмотря на однообразіе,—неизбѣжное, впрочемъ, свойство лѣхъ народныхъ произведеній.—„Подражанія Данту" можно счесть за отрывочные переводы изъ „Божественной Комедіи", и они даютъ о ней лучшее и вѣрнѣйшее понятіе, чѣмъ вся доселе сдѣланные по-русски переводы въ стихахъ и прозѣ. „Начало поэмы" („Стамбуль гауры нынѣ славятъ") какъ будто написано туркомъ нашего времени... Какое разнообразіе! Какое багатство! Какъ виденъ въ этомъ талантъ по превосходству артистической, художественной.

---

Евгений Онѣгинъ.

Признаемся: не безъ иѣкоторой робости приступаемъ мы къ критическому разсмотрѣнію такой поэмы, какъ „Евгений Онѣгинъ". И эта робость оправдывается многими причинами. „Онѣгинъ" есть самое задушевное произведеніе Пушкина, самое любимое дитя его фантазіи, и можно указать слишкомъ на немногія творенія, въ которыхъ личность поэта отразилась бы съ такою полнотой, свѣтло и ясно, какъ отразилась въ „Онѣгинѣ" личность Пушкина. Здѣсь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здѣсь его чувства, понятія, идеалы. Оцѣнить такое произведеніе, значитъ—оцѣнить самого поэта, во всемъ объемѣ его творческой дѣятельности. Не говоря уже объ эстетическомъ достоинствѣ „Онѣгина", эта поэма имѣть для нась, русскихъ, огромное историческое и общественное значеніе. Съ этой точки зренія даже и то, что теперь критика могла бы съ основательностью назвать въ „Онѣгинѣ" слабыни или устарѣлымъ,—даже и то является исполненнымъ глубокаго значенія, великаго интереса. И нась приводить въ затрудненіе не одно только сознаніе слабости нашихъ силъ для вѣрной оцѣнки такого произведенія, но и необходимость въ одно и то же время во многихъ мѣстахъ „Онѣгина", съ одной стороны, видѣть недостатки, съ другой—достоинства. Большинство нашей публики еще не стало выше этой отвлеченной и односторонней критики, которая признаетъ въ произведеніяхъ искусства только безусловные недостатки, или безусловныя достоинства. Вотъ почему иѣкоторые критики добродушно были убѣждены, что мы не уважаемъ Державина, находя въ немъ великій талантъ и въ то же время не находя между

произведеніями его ни одного, которое было бы вполнѣ художественно и могло бы вполнѣ удовлетворить требованіямъ эстетического вкуса нашего времени. Но въ отношеніи къ „Онѣгину“ наши сужденія могутъ показаться многимъ еще болѣе противорѣчавыми, потому что „Онѣгинъ“ со стороны формы есть произведеніе въ высшей степени художественное, а со стороны содержанія самые его недостатки составляютъ его величайшія достоинства. Вся наша статья объ „Онѣгинѣ“ будетъ развитіемъ этой мысли, какою бы ни показалась она съ первого взгляда многимъ изъ нашихъ читателей.

Прежде всего въ „Онѣгинѣ“ мы видимъ поэтически воспроизведенную картину русского общества, взятаго въ одномъ изъ интереснейшихъ моментовъ его развитія. Съ этой точки зрѣнія „Евгений Онѣгинъ“ есть поэма историческая въ полномъ смыслѣ слова, хотя въ числѣ ея героевъ нѣтъ ни одного исторического лица. Историческое достоинство этой поэмы тѣмъ выше, что она была на Руси и первымъ и блестательнымъ опытомъ въ этомъ родѣ. Въ ней Пушкинъ является не просто поэтомъ только, но и представителемъ впервые пробудившагося общественнаго самосознанія: заслуга безпримѣрная! До Пушкина русская поэзія была не болѣе какъ понятливою и переимчивою ученицей европейской музы, и потому вся произведенія русской поэзіи до Пушкина какъ-то походили больше на этюды и копіи, нежели на свободныя произведенія самобытнаго вдохновенія. Самъ Крыловъ—этотъ талантъ, столько же сильный и яркій, сколько и національно-русскій, долго не имѣлъ смѣлости отказаться отъ незавидной чести быть то переводчикомъ, то подражателемъ Лафонтена. Въ поэзіи Державина ярко пролескиваютъ и русская рѣчъ, и русскій умъ, но не больше, какъ пролескиваютъ, потопляемые водою реторически-понятыхъ иноземныхъ формъ и понятій. Озеровъ написалъ русскую трагедію, даже историческую—„Дмитрія Донскаго“, но въ ней русскаго и исторического—одни имена: все осталъное столько же русское и историческое, сколько французское или татарское. Жуковскій написалъ двѣ русскія баллады—„Людмилу“ и „Свѣтлану“; но первая изъ нихъ есть передѣлка нѣмецкой (и при томъ довольно дюжинной) баллады, а другая, отличаясь дѣйствительно поэтическими картинами русскихъ святочныхъ обычаевъ и зимней русской природы, въ то же время вся проникнута нѣмецкою сантиментальностью и нѣмецкимъ фантазмомъ. Муза Батюшкова, вѣчно скитаясь подъ чужими небесами, не сорвала ни одного цвѣтка на русской почвѣ. Всѣхъ этихъ фактовъ было достаточно для заключенія, что въ русской жизни нѣтъ и не можетъ быть никакой поэзіи и что русскіе поэты должны за вдохновеніемъ скакать на Пегасѣ въ чужіе края, даже на Востокъ, не только на Западъ. Но съ Пушкинымъ русская поэзія изъ робкой ученицы явилась даровитымъ и опытнымъ мастеромъ. Разумѣется, это сдѣлалось не вдругъ, потому что вдругъ ничего не дѣлается. Въ поэмахъ „Русланъ и Людмила“ и „Братья Разбойники“ Пушкинъ былъ не болѣе, какъ ученикомъ, подобно своимъ

предшественникамъ,—но не въ поэзіи только, какъ они, а еще и въ попыткахъ на поэтическое изображеніе русской дѣйствительности. Есть у Пушкина русская баллада „Женихъ“, написанная имъ въ 1825 году, въ который появилась и первая глава „Онѣгина“. Эта баллада и со стороны формы, и со стороны содержанія насквозь проникнута русскимъ духомъ, и о ней въ тысячу разъ больше, чмъ о „Русланѣ и Людмилѣ“, можно сказать:

Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ.

И такова вся эта баллада, отъ первого до послѣднаго слова! Но не въ такихъ произведеніяхъ должно видѣть образы проникнутыхъ національнымъ духомъ поэтическихъ созданій,—и публика не безъ основанія не обратила особеннаго вниманія на эту чудную балладу. Миръ, такъ вѣрно и ярко изображеній въ ней, слишкомъ доступенъ для всякаго таланта уже по слишкомъ рѣзкой его особенности. Сверхъ того онъ такъ тѣснъ, мелокъ и немногосложенъ, что истинный талантъ недолго будетъ воспроизводить его, если не захочетъ, чтобы его произведенія были односторонни, однообразны и скучны, несмотря на всѣ ихъ достоинства. Вотъ почему человѣкъ съ талантомъ дѣлаетъ обыкновенно не болѣе одной или, много, двухъ попытокъ въ такомъ родѣ; для него это—дѣло между прочимъ, затѣянное больше изъ желанія испытать свои силы и на этомъ поприщѣ, нежели изъ особеннаго уваженія къ этому поприщу.

„Истинная національность (говорить Гоголь) состоить не въ описаніи сарафана, но въ самомъ духѣ народа; поэтъ можетъ быть даже и тогда націоналѣнъ, когда описываетъ совершенно сторонній миръ, но глядѣть на него глазами своей національной стихіи, глазами всего народа, когда чувствуетъ и говоритъ такъ, что соотечественникамъ его кажется будто это чувствуютъ и говорятъ они сами“. Разгадать тайну народной психеи—для поэта значить умѣть равно быть вѣрнымъ дѣйствительности при изображеніи и низшихъ, и среднихъ, и высшихъ сословій. Кто умѣеть схватить рѣзкіе оттѣнки только грубой простонародной жизни, не умѣя схватывать болѣе тонкихъ и сложныхъ оттѣнковъ образованной жизни, тотъ никогда не будетъ великимъ поэтомъ, и еще менѣе имѣть право на громкое титло національного поэта. Великій національный поэтъ равно умѣеть заставить говорить и барина и мужика ихъ языкомъ. И если произведеніе, котораго содержаніе взято изъ жизни образованныхъ сословій, не заслуживаетъ названія національнаго,—значить, оно ничего не стоить и въ художественномъ отношеніи, потому, что невѣрно духу изображаемой имъ дѣйствительности. Поэтому не только такія произведенія, какъ „Горе отъ ума“ и „Мертвые души“, но и такія, какъ „Герой нашего времени“, суть столько же національныя, сколько превосходная поэтическія созданія.

И первымъ такимъ національно-художественнымъ произведеніемъ былъ „Евгений Онѣгинъ“ Пушкина. Въ этой рѣшимости молодого поэта предста-

вить нравственную физиономию наиболее европеиншаго въ Россіи сословія нельзя не видѣть доказательства, что онъ былъ и глубоко сознавалъ себя національнымъ поэтомъ. Онъ понялъ, что время эпическихъ поэмъ давнымъ-давно прошло, и что для изображенія современного общества, въ которомъ проза жизни такъ глубоко проникла самую поэзію жизни, нуженъ романъ, а не эпическая поэма. Онъ взялъ этую жизнь, какъ она есть, не отвлекая отъ нея только однихъ поэтическихъ ея мгновеній; взялъ ее со всѣмъ холодомъ, со всею ея прозой и пошлостью. И такая смѣлость была бы менѣе удивительна, еслибы романъ затѣянъ былъ въ прозѣ; но писать подобный романъ въ стихахъ, въ такое время, когда на русскомъ языѣ не было ни одного порядочнаго романа и въ прозѣ,—такая смѣлость, оправданная огромнымъ успѣхомъ, была несомнѣннымъ свидѣтельствомъ геніальности поэта.

Мы начали статью съ того, что „Онѣгинъ“ есть поэтически вѣрная дѣйствительности картина русского общества въ извѣстную эпоху. Картина эта явилась вѣ-время, т. е. именно тогда, когда явилось то, съ чего можно было срисовать ее,—общество. Вслѣдствіе реформы Петра Великаго, въ Россіи должно было образоваться общество, совершенно отдѣльное отъ массы народа по своему образу жизни. Но одно исключительное положеніе еще не производить общества: чтобы оно сформировалось, нужны были особенные основанія, которыя обеспечивали бы его существованіе, и нужно было образованіе, которое давало бы ему не одно виѣшнее, но и внутреннее единство. Екатерина II Жалованною грамотой опредѣлила въ 1785 году права и обязанности дворянства. Это обстоятельство сообщило совершенно новый характеръ вѣльможеству—единственному сословію, которое при Екатеринѣ II достигло высшаго своего развитія и было просвѣщеннымъ, образованнымъ сословіемъ. Вслѣдствіе нравственнаго движенія, сообщеннаго грамотою 1785 года, за вѣльможествомъ началъ возникать классъ средняго дворянства. Подъ словомъ возникать мы разумѣемъ слово образовываться. Въ царствованіе Александра Благословеннаго значеніе этого во всѣхъ отношеніяхъ лучшаго сословія все увеличивалось и увеличивалось, потому что образованіе все болѣе и болѣе проникало во всѣ углы огромной провинціи, усѣянной помѣщичьими владѣніями. Такимъ образомъ формировалось общество, для котораго благородныя наслажденія бытія становились уже потребностью, какъ признакъ возникающей духовной жизни. Общество это удовлетворялось уже не одною охотой, роскошью и пирами, даже не одними танцами и картиами: оно говорило и читало по-французски; музыка и рисованіе тоже входили у него, какъ необходимость, въ планъ воспитанія дѣтей. Державинъ, Фонвизинъ и Богдановичъ—эти поэты, въ свое время извѣстны только одному двору, тогда сдѣлались болѣе или менѣе извѣстны и этому возникающему обществу. Но что всего важнѣе—у него явилась своя литература, уже болѣе легкая, живая, общественная и свѣтская, нежели тяжелая школьнага и книжная. Если Новиковъ распространилъ изданіемъ книги и журна-

ловъ всякаго рода охоту къ чтенію и книжную торговлю и черезъ это со-  
здалъ массу читателей, то Карамзинъ своею реформой языка, направлениемъ,  
духомъ и формою своихъ сочиненій породилъ литературный вкусъ и создалъ  
публику. Тогда и поэзія вошла, какъ элементъ, въ жизнь нового общества.  
Красавицы и молодые люди толпами бросились на „Лизинъ прудъ“, чтобы  
„слезою чувствительности“ почтить память горестной жертвы страсти и  
обольщенія. Стихотворенія Дмитріева, запечатлѣнныя умомъ, вкусомъ, остро-  
тою и грацію, имѣли такой же успѣхъ и такое же вліяніе, какъ и проза  
Карамзина. Порожденная ими сантиментальность и мечтательность, несмотря  
на ихъ смѣшную сторону, были великимъ шагомъ впередъ для молодого  
общества. Трагедіи Озерова придали еще болѣе силы и блеска этому на-  
правлению. Басни Крылова давно уже не только читались взрослыми, но и  
заучивались наизусть дѣтьми. Вскорѣ появился юноша-поэтъ, который въ  
эту сантиментальную литературу внесъ романтическіе элементы глубокаго  
чувства, фантастической мечтательности и экспрессионистического стремленія  
въ область чудеснаго и невѣдомаго и который познакомилъ и породилъ  
русскую музу съ музою Германіи и Англіи. Вліяніе литературы на общес-  
тво было гораздо важнѣе, нежели какъ у насть объ этомъ думаютъ: лите-  
ратура, сближая и сдружая людей разныхъ сословій узами вкуса и стремле-  
ніемъ къ благороднымъ наслажденіямъ жизни, сословіе превратило въ общес-  
тво. Но, несмотря на то, не подлежитъ никакому сомнѣнію, что классъ  
дворянства былъ и по преимуществу представителемъ общества и по пре-  
имуществу непосредственнымъ источникомъ образованія всего общества.  
Увеличеніе средствъ къ народному образованію, учрежденіе университетовъ,  
гимназій, училищъ, заставляло общество расти не по днямъ, а по часамъ.  
Время отъ 1812 до 1815 года было великою эпохой для Россіи. Мы разу-  
мѣемъ здѣсь не только виѣшнее величие и блескъ, какими покрыла себя  
Россія въ эту великую для нея эпоху, но и внутреннее преуспѣяніе въ  
гражданственности и образованіи, бывшее результатомъ этой эпохи. Можно  
сказать безъ преувеличенія, что Россія больше прожила и дальше шагнула  
отъ 1812 года до настоящей минуты, нежели отъ царствованія Петра до  
1812 года. Съ одной стороны, 12-й годъ, потрясши всю Россію изъ конца  
въ конецъ, пробудилъ ея спящія силы и открылъ въ ней новые, дотолѣ  
неизвѣстные источники силъ, чувствомъ общей опасности сплотилъ въ одну  
огромную массу коснѣвшія въ чувствѣ разъединенныхъ интересовъ частныхъ  
воли, возбудилъ народное сознаніе и народную гордость и всѣмъ этимъ спо-  
собствовалъ зарожденію публичности, какъ началу общественнаго мнѣнія;  
кромѣ того, 12-й годъ нанесъ сильный ударъ коснѣющей старинѣ: вслѣдствіе  
его исчезли неслужащіе дворяне, спокойно рождавшіеся и умиравшіе въ  
своихъ деревняхъ, не выѣзжая за заповѣдную черту ихъ владѣній; глуши  
и дичь быстро исчезали вмѣстѣ съ потрясеннымъ остатками старинѣ. Съ  
другой стороны, вся Россія, въ лицѣ своего побѣдоноснаго войска, лицомъ

Онъ охладительное слово  
Въ устахъ старался удержать,  
И думалъ: глупо мнѣ мѣшать  
Его минутному блаженству,  
И безъ меня пора придетъ;  
Пускай покамѣстъ онъ живеть  
Да вѣрить мѣра совершенству;  
Простимъ горячкѣ юныхъ лѣтъ  
И юный жаръ и юный бредъ.  
Межъ ними все рождало споры  
И къ размышленію влекло:  
Племенъ минувшихъ договоры,  
Плоды наукъ, добро и зло,  
И предразсудки вѣковые,  
И гроба тайны роковыя,  
Судьба и жизнь, въ свою чреду,  
Все подвергалось ихъ суду.

Дѣло говорить само за себя: гордая холодность и сухость, надменное  
бездушіе Онѣгина, какъ человѣка, произошли отъ глубокой неспособности  
многихъ читателей понять такъ вѣрно созданный поэтомъ характеръ. Но  
мы не остановимся на этомъ и исчерпаемъ весь вопросъ.

Онѣгинъ—не Мельмотъ, не Чайльдъ-Гарольдъ, не демонъ, не пародія,  
не модная причуда, не геній, не великий человѣкъ, а просто—„добрый ма-  
лый, какъ вы да я, какъ цѣлый свѣтъ“. Поэтъ справедливо называетъ „об-  
вѣтшалою модой“ вездѣ находить или вездѣ искать все геніевъ да необыкно-  
венныхъ людей. Повторяемъ: Онѣгинъ—добрый малый, но, при этомъ, не-  
дюжинный человѣкъ. Онъ не годится въ геніи, не лѣзетъ въ великие люди,  
но бездѣятельность и пошлость жизни душатъ его, онъ даже не знаетъ,  
что ему надо, чего ему хочется; но онъ знаетъ, и очень хорошо знаетъ,  
что ему не надо, что ему не хочется того, чѣмъ такъ довольна, такъ счаст-  
лива самолюбивая посредственность. И за то-то эта самолюбивая посред-  
ственность не только провозгласила его „безнравственнымъ“, но и отняла  
у него страсть сердца, теплоту души, доступность всему добруму и пре-  
красному. Вспомните, какъ воспитанъ Онѣгинъ, и согласитесь, что натура  
его была слишкомъ хороша, если ея не убило совсѣмъ такое воспитаніе.  
Блестящій юноша, онъ былъ увлеченъ свѣтомъ, подобно многимъ: но скоро  
наскучилъ имъ и оставилъ его, какъ это дѣлаютъ слишкомъ немногіе. Въ  
душѣ его тлѣлась искра надежды воскреснуть и освѣжиться въ тиши уеди-  
ненія, на лонѣ природы; но онъ скоро увидѣлъ, что перемѣна мѣстъ не  
измѣняетъ сущности нѣкоторыхъ неотразимыхъ и не отъ нашей воли за-  
висящихъ обстоятельствъ.

Мы доказали, что Онѣгинъ не холодный, не сухой, не бездушный че-  
ловѣкъ, но мы до сихъ поръ избѣгали слова эгоистъ, и, такъ какъ избы-  
токъ чувства, потребность изящнаго не исключаетъ эгоизма, то мы скажемъ

теперь, что Онѣгинъ—*страдающій эгоистъ*. Эгоисты бываютъ двухъ родовъ. Эгоисты первого разряда—люди безъ всякихъ заносчивыхъ или мечтательныхъ притязаній; они не понимаютъ, какъ можетъ человѣкъ любить кого-нибудь кромѣ самого себя, и потому они никакъ не стараются скрывать своей пламенной любви къ собственнымъ ихъ особамъ; если ихъ дѣла идутъ плохо—они худощавы, блѣдны, алы, низки, подлы, предатели, клеветники; если ихъ дѣла идутъ хорошо—они толсты, жирны, румяны, веселы, добры, выгодами дѣлиться ни съ кѣмъ не станутъ, но угождать готовы не только полезныхъ, даже и вовсе бесполезныхъ имъ людей. Это эгоисты по натурѣ, или по причинѣ дурного воспитанія. Эгоисты второго разряда почти никогда не бываютъ толсты и румяны; по большей части это народъ больной и всегда скучающій. Бросаясь всюду, вездѣ ища то счастія, то разсвѣнія, они никогда не находятъ ни того ни другого съ той минуты, какъ обольщенія юности оставляютъ ихъ. Эти люди часто доходятъ до страсти къ добрымъ дѣйствіямъ, до самоотверженія въ пользу близкихъ; но бѣда въ томъ, что они и въ добрѣ хотятъ искать то счастія, то развлеченья, тогда какъ въ добрѣ сдѣлало бы имъ искать только добра. Если подобные люди живутъ въ обществѣ, представляющемъ полную возможность для каждого изъ его членовъ стремиться своею дѣятельностью къ осуществленію идеала истины и блага,—о нихъ безъ запинки можно сказать, что сущность и мелкое самолюбіе, заглушивъ въ нихъ добрые элементы, сдѣлали ихъ эгоистами. Но нашъ Онѣгинъ не принадлежитъ ни къ тому ни къ другому разряду эгоистовъ. Его можно назвать эгоистомъ поневолѣ; въ его эгоизмѣ должно видѣть то, что древніе называли *fatal*. Благая, благотворная, полезная дѣятельность! Зачѣмъ не предался ей Онѣгинъ?—Зачѣмъ не искалъ онъ въ ней своего удовлетворенія? Зачѣмъ? зачѣмъ?—Затѣмъ, милостивые государи, что пустымъ людямъ легче спрашивать, нежели дѣльнымъ отвѣтить...

Что-нибудь дѣлать можно только въ обществѣ, на основаніи общественныхъ потребностей, указываемыхъ самою дѣйствительностью, а не теорію; но что бы стать дѣлать Онѣгинъ въ сообществѣ съ такими прекрасными сосѣдями, въ кругу такихъ милыхъ близкихъ? Облегчить участъ мужика, конечно, многое значило для мужика, но со стороны Онѣгина тутъ еще немногого было сдѣлано. Есть люди, которымъ если удастся что-нибудь сдѣлать порядочное, они съ самодовольствіемъ рассказываютъ объ этомъ всему миру; и такимъ образомъ бываютъ пріятно заняты на цѣлую жизнь. Онѣгинъ быть не изъ такихъ людей: важное и великое для многихъ, для него было не Богъ знаетъ чѣмъ.

Случай свѣль Онѣгина съ Ленскимъ; черезъ Ленскаго Онѣгинъ познакомился съ семействомъ Лариныхъ. Возвращаясь отъ нихъ домой послѣ первого визита, Онѣгинъ зѣваетъ; изъ его разговора съ Ленскимъ мы узнаемъ, что онъ Татьяну принялъ за невѣсту своего пріятеля и, узнавъ о своей ошибкѣ, удивляется его выбору, говоря, что если бы онъ самъ былъ

поэтомъ, то выбралъ бы Татьяну. Этому равнодушному, охлажденному человѣку стоило одного или двухъ невнимательныхъ взглядовъ, чтобы понять разницу между обѣими сестрами, тогда какъ пламенному, восторженному Ленскому и въ голову не входило, что его возлюбленная была совсѣмъ не идеальное и поэтическое созданіе, а просто хорошенькая и простѣньяка дѣвочка, которая совсѣмъ не стоила того, чтобы за нее рисковать убить прѣтеля или самому быть убитымъ. Между тѣмъ, какъ Онѣгинъ зѣвалъ „по привычкѣ“, говоря его собственнымъ выраженіемъ, и нисколько не заботясь о семействѣ Лариныхъ, въ этомъ семействѣ его прїездъ завязалъ страшную внутреннюю драму. Большинство публики было крайне удивлено, какъ Онѣгинъ, получивъ письмо Татьяны, могъ не влюбиться въ нее,—и еще болѣе, какъ тотъ же самый Онѣгинъ, который такъ холодно отвергалъ чистую, наивную любовь прекрасной дѣвушки, потомъ страстно влюбился въ великолѣпную свѣтскую даму? Въ самомъ дѣлѣ, есть чѣму удивляться. Не беремся рѣшить вопроса, но поговоримъ о немъ. Впрочемъ, признавая въ этомъ фактѣ возможность психологического вопроса, мы тѣмъ не менѣе нисколько не находимъ удивительнымъ самого факта. Во-первыхъ, вопросъ, почему влюбился или почему не влюбился, или почему въ то время не влюбился,—такой вопросъ мы считаемъ немножко слишкомъ диктаторскимъ. Сердце имѣетъ свои законы—правда, но не такие, изъ которыхъ легко бы составить полный систематический кодексъ. Сродство натуръ, нравственная симпатія, сходство понятій могутъ и даже должны играть большую роль въ любви разумныхъ существъ; но кто въ любви отвергаетъ элементъ чисто-непосредственный, влеченіе инстинктуальное, невольное, прихоть сердца, въ оправданіе нѣсколько тривіальной, но чрезвычайно выразительной русской пословицы: „полюбится сатана лучше яснаго сокола“,—кто отвергаетъ это, тотъ не понимаетъ любви. Если бы выборъ въ любви рѣшался только волею и разумомъ, тогда любовь не была бы чувствомъ и страстью. Присутствіе элемента непосредственности видно и въ самой разумной любви, потому что изъ нѣсколькихъ, равно достойныхъ лицъ выбирается только одно, и выборъ этотъ основывается на невольномъ влеченіи сердца. Но бываетъ и такъ, что люди, кажется, созданные одинъ для другого, остаются равнодушны другъ къ другу, и каждый изъ нихъ обращаетъ свое чувство на существо нѣсколько себѣ не подъ пару. Поэтому Онѣгинъ имѣлъ полное право безъ всякаго опасенія подпасть подъ уголовный судъ критики, не полюбить Татьяны-дѣвушки и полюбить Татьяну-женщину. Въ томъ и другомъ случаѣ онъ поступилъ равно ни нравственно ни безнравственно. Этого вполнѣ достаточно для его оправданія; но мы къ этому прибавимъ и еще кое-что. Онѣгинъ былъ такъ умень, тоночъ и опытенъ, такъ хорошо понималъ людей и ихъ сердце, что не могъ не понять изъ письма Татьяны, что эта бѣдная дѣвушка одарена страстнымъ сердцемъ, алчущимъ роковой пищи, что ея душа младенчески чиста, что ея страсть дѣтски про-

стодушна, и что она никаково не похожа на тѣхъ кокетокъ, которыхъ такъ надобѣли ему съ ихъ чувствами, то легкими, то поддѣльными. Онъ былъ живо тронутъ письмомъ ея.

Въ письмѣ своемъ къ Татьянѣ (въ VIII главѣ) онъ говорить, что, замѣтъ въ ней искру нѣжности, онъ не хотѣлъ ей повѣрить (т.-е. заставилъ себя не повѣрить), не далъ хода милой привычкѣ и не хотѣлъ разстаться съ своею постыдою свободой. Но если онъ оцѣнилъ одну сторону любви Татьяны, въ то же самое время онъ такъ же ясно видѣлъ и другую ея сторону. Во-первыхъ, обольститься такою младенчески прекрасною любовью и увлечься ею до желанія отвѣтить на нее, значило бы для Онѣгина рѣшиться на женитьбу. Но если его могла еще интересовать поэзія страсти, то поэзія брака не только не интересовала его, но была для него противна.

Если не бракъ, то мечтательная любовь, если не хуже что-нибудь; но онъ такъ хорошо постигъ Татьяну, что даже и не подумалъ о послѣднемъ, не унизяя себя въ собственныхъ своихъ глазахъ. Но въ обоихъ случаяхъ эта любовь немногого представляла ему обольстительного. Какъ! онъ, перегорѣвшій въ страстиахъ, извѣдавшій жизнь и людей, еще кипѣвшій какими-то самому ему неясными стремленіями,—онъ, котораго могло занять и наполнить только что-нибудь такое, что могло бы выдержать его собственную иронію,—онъ увлекся бы младенческою любовью дѣвочки-мечтательницы, которая смотрѣла на жизнь такъ, какъ онъ уже не могъ смотрѣть... И что же сулила бы ему въ будущемъ эта любовь? Что бы нашелъ онъ потомъ въ Татьянѣ? Или прихотливое дитя, которое плакало бы оттого, что онъ не можетъ, подобно ей, дѣтски смотрѣть на жизнь и дѣтски играть въ любовь,—а это, согласитесь, очень скучно; или существо, которое, увлекшись его превосходствомъ, до того подчинилось бы ему, не понимая его, что не имѣло бы ни своего чувства, ни своего смысла, ни своей воли, ни своего характера. Послѣднее спокойнѣе, но зато еще скучнѣе. И это ли поэзія и блаженство любви!..

Разлученный съ Татьяною смертью Ленскаго, Онѣгинъ лишился всего, что хотя сколько-нибудь связывало его съ людьми.

Между прочимъ, былъ онъ и на Кавказѣ и смотрѣлъ на блѣдный рой тѣней, толлившійся около цѣлебныхъ струй Машука.

Какая жизнь! Вотъ оно то страданіе, о которомъ такъ много пишутъ и въ стихахъ и въ прозѣ, на которое столь многіе жалуются, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ знаютъ его; вотъ оно, страданіе истинное, безъ котурна, безъ ходуль, безъ драпировки, безъ фразъ, страданіе, которое часто не отнимаетъ ни сна, ни аппетита, ни здоровья, но которое тѣмъ ужаснѣе!.. Спать ночью, зѣвать днѣмъ, видѣть, что всѣ изъ чего-то хлопочутъ, чѣмъ-то заняты, одинъ деньгами, другой—женитьбою, третій—бога兹ью, четвертый—нуждою и кровавымъ потомъ работы,—видѣть вокругъ себя и ве-

селье и печаль, и смѣхъ и слезы, видѣть все это и чувствовать себя чуждымъ всему этому, подобно Вѣчному жиdu, который, среди волнующейся вокругъ него жизни, сознаетъ себя чуждымъ жизни и мечтаетъ о смерти, какъ о величайшемъ для него блаженствѣ: это—страданіе не всѣмъ понятное, по оттого не меныше страшное... Молодость, здоровье, богатство, соединенные съ умомъ, сердцемъ: чего бы, кажется, больше для жизни и счастья? Такъ думаетъ тупая чернь и называетъ подобное страданіе модною причудой. И чѣмъ естественнѣе, проще страданіе Онѣгина, чѣмъ дальше оно отъ всякой эффектности, тѣмъ оно менѣе могло быть понято и одѣнено большинствомъ публики. Въ двадцать шесть лѣтъ такъ много пережить, не вкусишь жизни, такъ изнемочь, устать, ничего не сдѣлавъ, дойти до такого безусловного отрицанія, не перейдя ни черезъ какія убѣжденія: это—смерть! Но Онѣгину не суждено было умереть, не отвѣдавъ изъ чаши жизни: страсть сильная и глубокая не замедлила возвудить дремавшія въ тоскѣ силы его духа. Встрѣтивъ Татьяну на балѣ въ Петербургѣ, Онѣгинъ едва могъ узнать ее, такъ перемѣнилась она! Мужъ Татьяны, такъ прекрасно и такъ полно съ головы до ногъ охарактеризованный поэтомъ этими двумя стихами:

... И всѣхъ выше  
И носъ и плечи поднималь  
Вошедший съ нею генераль,—

мужъ Татьяны представляетъ ей Онѣгина, какъ своего родственника и друга. Многіе читатели, въ первый разъ читая эту главу, ожидали громозвучнаго *оха* и обморока со стороны Татьяны, которая, пришедъ въ себя, по ихъ мнѣнію, должна повиснуть на шеѣ у Онѣгина. Но какое разочарованіе для нихъ!

Не принадлежа къ числу ультра-идеалистовъ, мы охотно допускаемъ въ самыя высокія страсти примѣсь мелкихъ чувствъ, и потому думаемъ, что досада и суетность имѣли свою долю въ страсти Онѣгина. Но мы решительно несогласны съ этимъ мнѣніемъ поэта, которое такъ торжественно было провозглашено имъ и которое нашло такой отзывъ въ толпѣ, благо пришлось ей по плечу.

Мы лучше думаемъ о достоинствѣ человѣческой натуры и убѣждены, что человѣкъ рождается не на зло, а на добро, не на преступленіе, а на разумно-законное наслажденіе благами бытія; что его стремленія справедливы, инстинкты благородны. Зло скрывается не въ человѣкѣ, но въ обществѣ; такъ какъ общества, понимаемыя въ смыслѣ формы человѣческаго развитія, еще далеко не достигли своего идеала, то неудивительно, что въ нихъ только и видишь много преступлений. Этими же объясняется и то, почему считавшееся преступнымъ въ древнемъ мірѣ, считается законнымъ въ новомъ, и наоборотъ; почему у каждого народа и каждого вѣка свои

понятія о нравственности, законномъ и преступномъ. Человѣчество еще далеко не дошло до той степени совершенства, на которой всѣ люди, какъ существа однородныя и единымъ разумомъ одаренные, согласятся между собою въ понятіяхъ объ истинномъ и ложномъ, справедливомъ и несправедливомъ, законномъ и преступномъ, такъ же точно, какъ они уже согласились, что не солнце вокругъ земли, а земля вокругъ солнца обращается, и во множествѣ математическихъ аксиомъ. До тѣхъ же поръ преступленіе будетъ только по-наружности преступленіе, а внутренно, существенно—не-признаніемъ справедливости и разумности того или другого закона. Было время, когда родители видѣли въ своихъ дѣтяхъ своихъ рабовъ и считали себя въ правѣ насиливать ихъ чувства и склонности самыя священные. Теперь, если дѣвушка, чувствуя отвращеніе къ господину благонамѣренной наружности, за котораго ее хотятъ насильно выдать, и любя страстно человѣка, съ которымъ ее насильно разлучаютъ,—послѣдуетъ влеченію своего сердца и будетъ любить того, кого она избрала, а не того, въ чей карманъ, или въ чей чинъ влюблены ея дрожайшіе родители: неужели она преступница? Ничто такъ не подчинено строгости вѣшнихъ условій, какъ сердце, и ничто такъ не требуетъ безусловной воли, какъ сердце же. Даже самое блаженство любви,—что оно такое, если оно согласовано съ вѣшними условіями?—Пѣсня соловья, или жаворонка въ золотой кѣткѣ. Чѣмъ такое блаженство любви, признающей только власть и прихоть сердца?—Торжественная пѣснь соловья на закатѣ солнца, въ таинственной сѣни склонившихся надъ рѣкою ивѣ; вольная пѣснь жаворонка, который, въ безумномъ упоеніи чувствомъ бытія, то мчится вверхъ стрѣлою, то падаетъ съ неба, то, трепеща крыльями, не двигаясь съ мѣста, какъ будто купается и тонетъ въ голубомъ зеирѣ... Птица любить волю; страсть есть поэзія и пѣвѣтъ жизни, но что же въ страстяхъ, если у сердца не будетъ воли?..

Письмо Онѣгина къ Татьянѣ горитъ страстью; въ немъ уже нѣть ироніи, нѣть свѣтской умѣренности, свѣтской маски. Онѣгинъ знаетъ, что онъ, можетъ быть, подаетъ поводъ къ злобному веселью; но страсть задушила въ немъ страхъ быть смѣшнымъ, подать на себя оружіе врагу. И было съ чего сойти съ ума! По наружности Татьяны можно было подумать, что она помирилась съ жизнью ни на чѣмъ, отъ души ноклонилась идолу суеты—и въ такомъ случаѣ, конечно, роль Онѣгина была бы очень смѣшна и жалка. Но въ свѣтѣ наружность никогда и ни въ чѣмъ не убѣждаетъ: тамъ всѣ слишкомъ хорошо владѣютъ искусствомъ быть веселыми съ достоинствомъ въ то время, какъ сердце разрывается отъ судорогъ. Онѣгинъ могъ не безъ основанія предполагать и то, что Татьяна внутренно осталась самой собою, и свѣтъ научилъ ее только искусству владѣть собою и серьезнѣе смотрѣть на жизнь. Благодатная натура не гибнетъ отъ свѣта, вопреки мнѣнію мѣщанскихъ философовъ; для гибели души и сердца и малый свѣтъ представляетъ точно столько же средствъ, сколько и большой.

Вся разница въ формахъ; а не въ сущности. И теперь, въ какомъ же свѣтѣ должна была казаться Онѣгину Татьяна,—уже не мечтательная дѣвушка, повѣрившая лунѣ и звѣздамъ свои задушевныи мысли и разгадывавшая сны по книгѣ Мартына Задеки, но женщина, которая знаетъ цѣну всему, что дано ей, которая много потребуетъ, но много и дастъ. Ореоль свѣтскости не могъ не возвысить ее въ глазахъ Онѣгина: въ свѣтѣ, какъ и вездѣ, люди бываютъ двухъ родовъ—одни привязываются къ формамъ и въ ихъ исполненіи видятъ назначеніе жизни,—это чернь; другіе отъ свѣтѣа заимствуютъ знаніе людей и жизни, такъ дѣйствительности и способность вполнѣ владѣть всѣмъ, что дано имъ природою. Татьяна принадлежала къ числу послѣднихъ, и значеніе свѣтской дамы только возвышало ея значеніе, какъ женщины. Притомъ же, въ глазахъ Онѣгина любовь безъ борьбы не имѣла никакой прелести, а Татьяна не обѣщала ему легкой побѣды. И онъ бросился въ эту борьбу безъ надежды на побѣду, безъ расчета, со всѣмъ безумствомъ искренней страсти, которая такъ и дышитъ въ каждомъ словѣ его письма. Но эта пламенная страсть не произвѣла на Татьяну никакого впечатлѣнія. Послѣ нѣсколькихъ посланій, встрѣтившихъ съ нею, Онѣгинъ не замѣтилъ ни смятѣнія, ни страданія, ни пятенъ слезъ на лицѣ—на немъ отражался лишь слѣдъ гнѣва. Онѣгинъ на цѣлую зиму заперся дома и принялъся читать.

Мы не будемъ распространяться теперь о сцѣнѣ свиданія и объясненія Онѣгина съ Татьяною, потому что главная роль въ этой сцѣнѣ принадлежитъ Татьянѣ, о которой намъ еще предстоитъ много говорить. Романъ оканчивается отповѣдью Татьяны, и читатель навсегда разстается съ Онѣгиннымъ въ самую злую минуту его жизни... Что же это такое? Гдѣ же романъ? Какая его мысль? И что за романъ безъ конца?—Мы думаемъ, что есть романы, которыхъ мысль въ томъ и заключается, что въ нихъ нѣтъ конца, потому что въ самой дѣйствительности бываютъ событія безъ развязки, существованія безъ цѣли, существа неопределенные, никому непонятные, даже самимъ себѣ, словомъ то, что по-французски называется *les êtres tâpqués, les existences avortées*. И эти существа часто бываютъ одарены большими нравственными преимуществами, большими духовными силами; обѣщаютъ много, исполняютъ мало, или ничего не исполняютъ. Это зависитъ не отъ нихъ самихъ; тутъ есть *fatum*, заключающійся въ дѣйствительности, которую окружены они, какъ воздухомъ, и изъ которой не въ силахъ и не во власти человѣка освободиться. Другой поэтъ представилъ намъ другого Онѣгина подъ именемъ Печорина: Пушкинскій Онѣгинъ съ какимъ-то самоотверженіемъ отдался зѣвотѣ; Лермонтовскій Печоринъ бѣтъ на смерть съ жизнью и насилию хочетъ у нея вырвать свою долю; въ дрогахъ—разница, а результатъ одинъ: оба романа такъ же безъ конца, какъ и жизнь и дѣятельность обоихъ поэтовъ...

Что стало съ Онѣгиннымъ потомъ? Воскресила ли его страсть для

новаго, болѣе сообразнаго съ человѣческимъ достоинствомъ страданія? Или убила она всѣ силы души его, и безотрадная тоска его обратилась въ мертвую, холодную апатію?—Не знаемъ, да и на что намъ знать это, когда мы знаемъ, что силы этой богатой натуры остались безъ приложенія, жизнь безъ смысла, а романъ безъ конца? Довольно и этого знать, чтобы не захотѣть больше ничего знать...

Онѣгінъ—характеръ дѣйствительный, въ томъ смыслѣ, что въ немъ нѣтъ ничего мечтательнаго, фантастическаго, что онъ могъ быть счастливъ или несчастливъ только въ дѣйствительности и透过 дѣйствительность. Въ Ленскомъ Пушкинъ изобразилъ характеръ совершенно противоположный характеру Онѣгина, характеръ совершенно отвлеченный, совершенно чуждый дѣйствительности. Тогда это было совершенно новое явленіе, и люди такого рода тогда дѣйствительно начали появляться въ русскомъ обществѣ.

Ленскій былъ романтикъ и по натурѣ и по духу времени. Нѣтъ нужды говорить, что это было существо доступное всему прекрасному, высокому, душа чистая и благородная. Но въ то же время „онъ сердцемъ милый былъ невѣжда“, вѣчно толкуя о жизни, никогда не зналъ ея. Дѣйствительность на него не имѣла вліянія: его радости и печали были созданіемъ его фантазіи. Онъ полюбилъ Ольгу,—и что ему была за нужда, что она не понимала его, что, вышедши замужъ, она сдѣлалась бы вторымъ исправленнымъ изданіемъ своей маменьки, что ей все равно было выйти—и за поэта, товарища ея дѣтскихъ игръ, и за довольноаго собою и своею лошадью улана?—Ленскій украсилъ ее достоинствами и совершенствами, приписалъ ей чувства и мысли, которыхъ въ ней не было и о которыхъ она и не заботилась. Существо доброе, милое, веселое,—Ольга была очаровательна, какъ и всѣ „барышни“, пока онѣ еще не сдѣлались „барынями“; а Ленскій видѣлъ въ ней фею, сильфиду, романтическую мечту, ни мало не подозрѣвавъ будущей барыни. Онъ написалъ „надгробный мадrigal“ старику Ларину, въ которомъ, вѣрный себѣ, безъ всякой ироніи, умѣлъ найти поэтическую сторону. Въ простотѣ желаній Онѣгина подшутить надъ нимъ онъ увидѣлъ и измѣни, и обольщеніе, и кровавую обиду. Результатомъ всего этого была его смерть, заранѣе воспѣтая имъ въ туманно-романтическихъ стихахъ. Мы нисколько не оправдываемъ Онѣгина, который, какъ говорить поэты,

Быть долженъ оказать себя  
Не мячикомъ предразсужденій,  
Не пылкимъ мальчикомъ, бойцомъ,  
Но мужемъ съ честью и съ умомъ,—

но тиранія и деспотизмъ свѣтскихъ и житейскихъ предразсудковъ таковы, что требуютъ для борьбы съ собою героевъ. Подробности дуэли Онѣгина съ Ленскимъ—верхъ совершенства въ художественномъ отношеніи. Поэтъ любилъ этотъ идеалъ, осуществленный имъ въ Ленскомъ, и въ прекрасныхъ строфахъ оплакивалъ его паденіе.

Мы убеждены, что съ Ленскимъ сбылось бы непремѣнно послѣднєе. Въ немъ было много хорошаго, но лучше всего то, что онъ былъ молодъ и во-время для своей репутаціи умеръ. Это не была одна изъ тѣхъ натуръ, для которыхъ жить—значить развиваться и итти впередъ. Это, повторяемъ,—былъ романтикъ, и больше ничего. Останься онъ живъ, Пушкину нечего было бы съ нимъ дѣлать, кромѣ какъ распространить на цѣлую главу то, что онъ такъ полно выскажалъ въ одной строѣ. Люди, подобные Ленскому, при всѣхъ ихъ неоспоримыхъ достоинствахъ, не хороши тѣмъ, что они или перерождаются въ совершенныхъ филистеровъ, или, если сохраняютъ навсегда свой первоначальный типъ, дѣлаются этими устарѣлыми мистиками и мечтателями, которые такъ же непріятны, какъ и старыя идеальная дѣвы, и которые больше враги всякаго прогресса, нежели люди просто, безъ претензій, пошлые. Вѣчно копаясь въ самихъ себѣ и становя себя центромъ міра, они спокойно смотрятъ на все, чтѣ дѣлается въ мірѣ, и твердять о томъ, что счастіе внутри насъ, что должно стремиться душою въ надзвѣздную сторону мечтаній и не думать о суетахъ этой земли, гдѣ есть и голодъ, и нужда, и... Ленскіе не перевелись и теперь; они только переродились. Въ нихъ уже не осталось ничего, чтѣ такъ обаятельно прекрасно было въ Ленскомъ; въ нихъ нѣть дѣвственной чистоты его сердца, въ нихъ только претензіи на величіе и страсть марать бумагу. Всѣ они поэты, и стихотворный балластъ въ журналахъ доставляется одними ими. Словомъ, это теперь самые носнѣсные, самые пустые и пошлые люди...

Татьяна... но мы поговоримъ о ней въ слѣдующей статьѣ.

Великъ подвигъ Пушкина, что онъ первый, въ своемъ романѣ, поэтически воспроизвелъ русское общество того времени, и въ лицѣ Онѣгина и Ленскаго показалъ его главную, т. е. мужскую сторону; но едва ли не выше подвигъ нашего поэта въ томъ, что онъ первый поэтически воспроизвелъ, въ лицѣ Татьяны, русскую женщину. Мужчина, во всѣхъ состояніяхъ, во всѣхъ слояхъ русского общества, играетъ первую роль; но мы не скажемъ, чтобы женщина играла у насъ вторую и низшую роль, потому что она ровно никакой роли не играетъ. Исключение остается только за высшимъ кругомъ, по крайней мѣрѣ, до извѣстной степени. Давно бы пора намъ сознаться, что, несмотря на нашу страсть во всемъ копировать европейскіе обычай, несмотря на наши балы съ танцами, несмотря на отчаяніе славянофиловъ, что мы совсѣмъ переродились въ нѣмцевъ,—несмотря на все это, пора намъ, наконецъ, признаться, что еще и до сихъ поръ мы—плохіе рыцари, что наше вниманіе къ женщинѣ, наша готовность жить и умереть для нея до сихъ поръ какъ-то театральны и отзываются модною свѣтскою фразой, и притомъ еще не собственаго нашего изобрѣтенія, а заимствованною. Чего доброго! теперь и „поштеное купечество“ съ бородою, отъ которой попахиваетъ „маненько“ капустою и лучкомъ.—даже и оно,

идя по улицѣ съ „хозяйкою“, ведеть ее подъ-руку, а не толкаеть въ спину колѣномъ, указывая дорогу и заказывая зѣвать по сторонамъ; но дома.., Однако, зачѣмъ говорить, что бываетъ дома? зачѣмъ выносить соръ изъ избы?.. Набравшись готовыхъ чужихъ фразъ, кричимъ мы и въ стихахъ и въ прозѣ: „женщина—царица общества; ея очаровательнымъ присутствиемъ украшается общество“ и т. п. Но посмотрите на наши общества (за исключениемъ высшаго свѣтскаго): вездѣ мужчины—сами по себѣ, женщины—сами по себѣ. И самый отчаянныи любезникъ, сидя съ женщинами, какъ будто жертвуетъ собою изъ вѣжливости, потомъ встаетъ, и съ утомленнымъ видомъ, словно послѣ тяжкой работы, идетъ въ комнату мужчинъ, какъ бы для того, чтобы свободно вздохнуть и освѣжиться. Въ Европѣ женщина дѣйствительно царица общества: веселъ и гордъ мужчина, съ которымъ она больше говорить, чѣмъ съ другими. У насъ наоборотъ: у насъ женщина ждеть, какъ милости; чтобы мужчина заговорилъ съ нею; она счастлива и горда его вниманіемъ. И какъ же быть иначе, если то, что называется тономъ и любезностью, у насъ замѣнено жеманствомъ, если у насъ все любятъ поэзію только въ книгахъ, а въ жизни боятся ея пуще чумы и холеры. Какъ вы подадите руку дѣвушкѣ, если она не смѣеть опереться на нее, не испросивъ позволенія у своей маменьки? Какъ вы рѣшитесь говорить съ нею много и часто, если знаете, что за это сочтуть васъ влюбленнымъ въ нее, или даже и огласить ея женихомъ? Это значило бы оком-прометтировать ее и самому попасть въ бѣду. Если васъ сочтуть влюбленнымъ въ нее, вамъ некуда будетъ дѣваться отъ лукавыхъ и остроумныхъ намековъ и насмѣшекъ друзей вашихъ, отъ наивныхъ и добродушныхъ разспросовъ совершенно постороннихъ вамъ людей. Но еще хуже вамъ, когда заключать, что вы хотите жениться на ней: если ея родители не будутъ видѣть въ васъ выгодной партіи для своей дочери, они откажутъ вамъ отъ дома и строго запретятъ дочери быть любезною съ вами въ другихъ домахъ; если они увидятъ въ васъ выгодную партію,—новая бѣда, страшнѣе прежней: раскинуть сѣти, ловушки, и вы, пожалуй, увидите себя сочетавшимся законнымъ бракомъ прежде, нежели успѣете спомниться и спросить себя: да какъ же и когда же случилось все это? Если же вы человѣкъ съ характеромъ и не поддадитесь, то наживете „исторію“, которую долго будете помнить. Отчего все это происходитъ?—Оттого, что у насъ не понимаютъ и не хотятъ понимать, что такое женщина, не чувствуютъ въ ней никакой потребности, не желаютъ и не ищутъ ея, словомъ, оттого, что у насъ нѣть женщины. У насъ „прекрасный полъ“ существуетъ только въ романахъ, повѣстяхъ, драмахъ и элегіяхъ; но въ дѣйствительности онъ раздѣляется на четыре разряда: на дѣвочекъ, на невѣстъ, на замужнихъ женщинъ и, наконецъ, на старыхъ дѣвъ и старыхъ бабъ. Первыми, какъ дѣтьми, никто не интересуется; послѣднихъ все боится и иенавидѣть (и часто по-дѣлѣмъ); слѣдовательно, напѣ прекрасный полъ состоять изъ

двухъ отдыловъ: изъ дѣвицъ, которыхъ должны выйти замужъ, и изъ женщинъ, которая уже замужемъ. Русская дѣвушка—не женщина въ европейскомъ смыслѣ этого слова, не человѣкъ: она не что другое, какъ невѣста. Еще ребенкомъ она называетъ своими женихами всѣхъ мужчинъ, которыхъ видитъ въ своемъ домѣ, и часто обѣщаетъ выйти замужъ за своего папашу, или за своего брата; еще въ колыбели ей говорили и мать и отецъ, и сестры и братья, и мамки и нянки, и весь окружающей ее людъ, что она—невѣста, что у ней должны быть женихи. Едва исполнится ей двѣнадцать лѣтъ, и мать, упрекая ее въ лѣности, въ неумѣніи держаться и тому подобныхъ недостаткахъ, говорить ей: „не стыдно ли вамъ, сударыня: вѣдь вы уже невѣста!“ Удивительно ли послѣ этого, что она не умѣеть, не можетъ смотрѣть сама на себя какъ на женственное существо, какъ на человѣка, и видѣть въ себѣ только невѣсту? Удивительно ли, что, съ раннихъ лѣтъ до поздней молодости, иногда даже и до глубокой старости, всѣ думы, всѣ мечты, всѣ стремленія, всѣ молитвы ея сосредоточены на одной *idée fixe*: на замужествѣ,—что выйти замужъ—ея единственное, страстное желаніе, цѣль и смыслъ ея существованія, что виѣ этого она ничего не понимаетъ, ни о чѣмъ не думаетъ, ничего не желаетъ, и что на всякаго неженатаго мужчину она смотрѣть опять не какъ на человѣка, а только какъ на жениха? И виновата ли она въ этомъ?—Съ восемнадцати лѣтъ она начинаетъ уже чувствовать, что она—дочь своихъ родителей, не любимое дитя ихъ сердца, не радость и счастіе своей семьи, не украшеніе своего родного крова, а тягостное бремя, готовый заляжаться товаръ, лишняя мебель, которая того и гляди спадетъ съ цѣны и не сойдетъ съ рукъ. Чѣмъ же остается ей дѣлать, если не сосредоточить всѣхъ своихъ способностей на искусствѣ ловить жениховъ? И тѣмъ болѣе, что только въ одномъ этомъ отношеніи и развиваются ея способности, благодаря урокамъ „дражайшихъ родителей“, милыхъ тетушекъ, кузинъ и т. д. За чѣмъ больше всего упрекаетъ и бранитъ свою дочь попечительница-маменька?—За то, что она не умѣеть держаться, строить глазки и гримаски хорошимъ женихамъ, или за то, что расточаетъ свою любезность передъ людьми, которые не могутъ быть для нея выгодною партіею. Чему она больше всего учить ее?—кокетничать по расчету, притворяться ангеломъ, прятать подъ мягкую, лоснищею шерсткой кошачи лапки, кошачи когти. И какова бы ни была по своей натурѣ бѣдная дочь,—она невольно входитъ въ роль, которую дала ей жизнь и въ таинство которой ее такъ прилежно, такъ основательно посвящаютъ. Дома ходить она неряхою, съ непричесаною головой, въ запачканномъ, узенькомъ и короткомъ платьишкѣ линялого ситца, въ стоптанныхъ башмакахъ, въ грязныхъ, спустившихся чулкахъ: въ деревнѣ, вѣдь, кто же нась видѣть, кромѣ дворни,—а для нея стоять ли рядиться? Но лишь вдоль дороги завидѣлся экипажъ, обѣщающій неожиданныхъ гостей,—наша невѣста поднимаетъ руки и долго дер-

жить ихъ надъ головою, крича въ поыхахъ: гости ёдуть, гости ёдуть! Отъ этого руки изъ красныхъ дѣлаются бѣлыми: „затѣя сельской остроты!“ Затѣмъ, весь домъ въ смятеніи: маменька и дочь умываются, причесываются, обуваются и на грязное бѣлье надѣваютъ шерстяныя или шелковыя платья, пять лѣтъ назадъ тому сшитыя. О чистотѣ бѣлья заботиться смѣшно: вѣдь бѣлье подъ платьемъ, и его никто не видѣть, а рядиться—извѣстное дѣло—надо для другихъ, а ие для себя. Но вотъ, рано или поздно, наконецъ, тайные стремленія и жаркіе обѣты готовы свершиться: кандидатъ-невѣста уже дѣйствительная невѣста и рядится только для жениха. Она давно его знала, но влюбилась въ него только съ той минуты, какъ поняла, что онъ имѣеть на нее виды. И ей кажется, что она дѣйствительно влюблена въ него. Болѣзньное стремленіе къ замужеству и радость достижениія способны въ одну минуту возбудить любовь въ сердцѣ, которое такъ давно уже раздражено тайными и явными мечтами о бракѣ. Притомъ же, когда дѣло къ спѣху и торопить, то поневолѣ влюбитесь сразу, не имѣя времени спросить себя, точно ли вы любите, или вамъ только кажется, что любите... Но „дражайшіе родители“ учили свою дочь только искусству во что бы ни стало выйти замужъ; подготовить же ее къ состоянію замужества, объяснить ей обязанности жены, матери, сдѣлать ее способною къ выполненію этой обязанности,—они не подумали. И хорошо сдѣлали: нѣть ничего безполезнѣя и даже вреднѣя, какъ наставлениія, хотя бы и самыя лучшія, если они не подкрѣпляются примѣрами, не оправдываются, въ глазахъ ученика, всею совокупностію окружающей его дѣйствительности. Я вамъ примѣръ, сударыня!—безпрестанно повторяетъ диктаторскимъ тономъ мать своей дочери. И дочь препокойно копируетъ свою мать, готовя въ своей особѣ свѣту и будущему мужу второй экземпляръ своей маменьки. Если ея мужъ—человѣкъ богатый, онъ будетъ доволенъ свою жену: дома у нихъ какъ полная чаша, всего много, хотя все бѣзвкусно, нелѣпо, грязно, пыльно, въ безпорядкѣ, вычищается только передъ большими праздниками (и тогда въ домѣ подымается возня, дѣлается вавилоонское столпотвореніе въ лицахъ); дворня огромная, слугъ бездна, а не у кого допроситься стакана воды, некому подать вамъ чашку чаю... А недавнія невѣста, теперь молодая дама?—О, она живеть въ „полномъ удовольствіи!“ она, наконецъ, достигла цѣли своей жизни, она уже не сирота, не приемышъ, не лишнее бремя въ родительскомъ домѣ; она хозяйка у себя дома, сама себѣ госпожа, пользуется полною свободой, ёздить куда и когда хочетъ, принимаетъ у себя кого ей угодно; ей уже ненужно болѣе притворяться то невинною овечкою, то кроткимъ ангеломъ; она можетъ капризничать, падать въ обморокъ, проводить, мучить мужа, дѣтей, слугъ. У ней бездна затѣй: карета—не карета, шаль—не шаль, дорогихъ игрушекъ вдоволь; она живеть барыней-аристократкой, никому не уступаетъ, но всѣхъ превосходить, и мужъ ея едва успѣваетъ закладывать и перезакладывать имѣніе... Дитя

новаго поколѣнія, она убрала по-возможности пышно, хотя и безвкусно, залу и гостиную, кое-какъ наблюдаетъ въ нихъ даже какую-то полу-чистоту, полу-опрятность: вѣдь это комнаты для гостей, комнаты парадныя, комнаты на-показъ; полное торжество грязи можетъ быть только въ спальнѣ и дѣтской, въ кабинетѣ мужа,—словомъ, во внутреннихъ комнатахъ, куда гости не ходятъ. А у нея безпрестанно гости, воялъ нея безпрестанно кружокъ; но она плѣняетъ гостей своихъ не свѣтскимъ умомъ, не грациою своихъ манеръ, не очарованіемъ своего увлекательнаго разговора,—нѣтъ, она только старается показать имъ, что у нея всего много, что она богата, что у нея все лучше—и убранство комнатъ, и угощеніе, и гости, и лошади, что она не кто-нибудь, что такихъ, какъ она, немногого... Содержаніе разговоровъ составляютъ сплетни и наряды, наряды и сплетни. Богъ благословилъ ея замужество—что ни годъ, то ребенокъ. Какъ же она будетъ воспитывать дѣтей своихъ?—Да точно такъ же, какъ сама была воспитана своею маменькою: пока малы, они прозябаютъ въ дѣтской, среди мамокъ и нянекъ, среди горничныхъ, на лонѣ холопства, которое должно внушить имъ первыя правила нравственности, развить въ нихъ благородные инстинкты, объяснить имъ различіе домового отъ лѣшаго, вѣдьмы отъ русалки, растолковать разныя примѣты, разсказать всевозможныя исторіи о мертвцахъ и оборотняхъ, выучить ихъ браниться и драчиться, лгать не краснѣя, пріучить безпрестанно ють, никогда не найдаясь. И милыя дѣти очень довольны сферою, въ которой живутъ: у нихъ есть фавориты между прислугою, и есть нелюбимые; они живутъ дружно съ первыми, ругаютъ и колотятъ послѣднихъ. Но вотъ они подросли: тогда отецъ дѣлай что хочетъ съ мальчиками, а дѣвочекъ поучать прыгать и шнуроваться, немножко бренчать на фортепьяно, немножко болтать по-французски—и воспитаніе кончено; тогда имъ одна наука, одна забота—ловить жениховъ.

Но если наша невѣста выйдетъ за человѣка небогатаго, хотя и не бѣднаго, но живущаго немногого выше своего состоянія, посредствомъ умнія строгимъ порядкомъ сводить концы съ концами: тогда горе ея мужу! Она въ своей деревнѣ никогда ничего не дѣлала (потому что барышия вѣдь не холопка какая-нибудь, чтобы стала что-нибудь дѣлать), ничѣмъ не занималась, не знаетъ хозяйства, а что такое порядокъ, чистота, опрятность въ домѣ,—этого она нигдѣ не видала, обѣ этомъ она ни отъ кого не слыхала. Для нея выйти замужъ—значить сдѣлаться барынею; стать хозяйкою, значить—повелѣвать всѣми въ домѣ и быть полною госпожею своихъ поступковъ. Ея дѣло—не сберегать, не выгадывать, а покупать и тратить, наряжаться и франтить.

И неужели вы обвините ее во всемъ этомъ? Какое имѣете вы право требовать отъ нея, чтобы она была не тѣмъ, чѣмъ сами же вы ее сдѣлали? Можете ли вы обвинять даже ея родителей? Развѣ не вы сами сдѣлали изъ женщины только невѣсту и жену, и ничего болѣе? Развѣ когда-нибудь

подходили вы къ ней безкорыстно, просто безъ всякихъ видовъ, для того только, чтобы насладиться этимъ ароматомъ, этою гармониою женственного существа, этимъ поэтическимъ очарованіемъ присутствія и общества женщины, которая такъ кротко, успокоительно и обаятельно дѣйствуютъ на жесткую натуру мужчины? Желали ль вы когда-нибудь имѣть друга въ женщинѣ, въ которую вы совсѣмъ не влюблены, сестру въ женщинѣ вашъ посторонней?—Нѣтъ! если вы входите въ женскій кругъ, то не иначе, какъ для выполненія обычая, приличія, обряда; если танцуете съ женщиною, то потому только, что мужчинамъ танцевать съ мужчинами не принято. Если вы обращаете на одну женщину исключительное свое вниманіе, то всегда съ положительными видами—ради женитьбы или волокитства. Вашъ взглядъ на женщину чисто-утилитарный, почти коммерческій; она для васъ—капиталь съ процентами, деревня, домъ съ доходомъ: если не это, такъ кухарка, прачка, ключница, нянька, много-много, если одалиска...

Конечно, изъ всего этого бываютъ исключенія; но общество состоить изъ общихъ правилъ, а не изъ исключеній, которая всего чаще бываютъ болѣзнями наростами на тѣлѣ общества. Эту грустную истину всего лучше подтверждаютъ собою наши такъ называемыя „идеальные дѣвы“. Онѣ, обыкновенно, страстныя любительницы чтенія, и читаютъ много и скоро, ёдятъ книги. Но какъ и что читаютъ онѣ, Боже великий!.. Всего достолюбезнѣе въ идеальныхъ дѣвахъ увѣренность ихъ, что онѣ понимаютъ то, что читаютъ, и что чтеніе приносить имъ большую пользу. Всѣ онѣ—обожательницы Пушкина, что однако жъ не мѣшаетъ имъ отдавать должную справедливость и таланту г. Бенедиктова; иные изъ нихъ съ удовольствіемъ читаютъ даже Гоголя, что, однакожъ, нисколько не мѣшаетъ имъ восхищаться повѣстями гг. Марлинскаго и Полевого. Все, что въ ходу, о чёмъ пишутъ и говорятъ въ настоящее время, все это сводить ихъ съ ума. Но во всемъ этомъ онѣ видятъ свою любимую мысль, оправданіе своей настроенности, т.-е. идеальность,—видятъ ее даже и тамъ, где ея вовсе нѣть, или где она осмыкается. У всѣхъ у нихъ есть завѣтныя тетрадки, куда онѣ списываютъ стишкы, которые имъ понравятся, мысли, которая поразятъ ихъ въ книгѣ. Онѣ любять гулять при лунѣ, смотрѣть на звѣзды, слѣдить за теченіемъ ручейка. Онѣ очень наклонны къ дружбѣ, и каждая ведеть дѣятельную переписку съ своей пріятельницей, которая живеть съ нею въ одной деревнѣ, а иногда и въ одномъ домѣ, только въ разныхъ комнатахъ. Въ перепискѣ (огромными тетрадицами) сообщаютъ онѣ другъ другу свои чувства, мысли, впечатлѣнія. Сверхъ того, каждая изъ нихъ ведеть свой дневникъ, весь наполненный „выписными чувствами“, въ которыхъ (какъ во всѣхъ дневникахъ идеальныхъ и внутреннихъ натуръ мужеска и женска пола) нѣть ничего живого, истиннаго, только претензія и идеальничанье. Онѣ презираютъ толпу и землю, питаютъ непримиримую ненависть ко всему материальному. Эта ненависть у нихъ часто простирается до желанія

вовсе отрѣшиться отъ матеріи. Для этого онѣ морятъ себя голодомъ, не ѣдятъ иногда по цѣлой недѣлѣ, жгутъ на свѣчкѣ пальцы, кладутъ себѣ на грудь подъ платье снѣгу, пьють уксусъ и чернила, отучаютъ себя отъ сна,—и этимъ стремлениемъ къ высшему, идеальному существованію до того успѣваютъ разстроить свои нервы, что скоро превращаются въ одну живую и самую матеріальную болѣчку... Вѣдь крайности сходятся! Всѣ простыя человѣческія, и особенно, женскія чувства, какъ, напр., страсть, способная къ увлеченію чувствъ, любовь материнская, склонность къ мужчинѣ, въ которомъ нѣтъ ничего необыкновенного, геніальнааго, который не гонимъ несчастіемъ, не страдаетъ, не болѣтъ, не бѣденъ,—всѣ такія простыя чувства кажутся имъ пошлыми, ничтожными, смѣшными и презрѣнными. Особенно интересны понятія „идеальныхъ дѣвъ“ о любви. Всѣ онѣ—жрицы любви, думаютъ, мечтаютъ, говорятъ и пишутъ только о любви. Но онѣ признаютъ только любовь чистую, неземную, идеальную, платоническую. Бракъ есть профанациѣ любви въ ихъ глазахъ; счастіе—опошлѣніе любви. Имъ непремѣнно надо любить въ разлукѣ, и ихъ высочайшее блаженство—мечтать при лунѣ о предметѣ своей любви и думать: „можетъ быть, въ эту минуту, и онъ смотритъ на луну и мечтаетъ обо мнѣ; такъ, для любви нѣтъ разлук!“ Жалкія рыбы съ холодною кровью, идеальный дѣвъ счи-таютъ себя птицами; плавая въ мутной водѣ искусственной нервической экзальтациѣ, онѣ думаютъ, что парять въ облакахъ высокихъ чувствъ и мыслей. Имъ чуждо все простое, истинное, задушевное, страстное; думая любить все „высокое и прекрасное“, онѣ любятъ только себя; онѣ и не подозрѣваютъ, что только тѣшить свое мелкое самолюбіе трескучими шуті-хами фантазіи, думая быть жрицами любви и самоотверженія. Многія изъ нихъ не прочь бы и отъ замужества, и при первой возможности вдругъ измѣняютъ свои убѣжденія, и изъ идеальныхъ дѣвъ скоро дѣлаются самыми простыми бабами; но въ иныхъ способность обманывать себя призраками фантазіи доходитъ до того, что онѣ на всю жизнь остаются восторженными дѣственницами, и такимъ образомъ до семидесяти лѣтъ сохраняютъ спо-собность къ сентиментальной экзальтациѣ, къ нервическому идеализму. Самыя лучшія изъ этого рода женщины рано или поздно образумливаются; но прежнѣе ихъ ложное направленіе навсегда дѣлается чернымъ демономъ ихъ жизни и, подобно остаткамъ дурно-загаденной болѣзни, отравляетъ ихъ спокойствіе и счастіе. Ужаснѣе всѣхъ другихъ тѣ изъ идеальныхъ дѣвъ, которыхъ не только не чуждаются брака, но въ бракѣ съ предметомъ любви своей видятъ высшее земное блаженство: при ограниченности ума, при от-сутствіи всякаго нравственнаго развитія и при испорченности фантазіи, онѣ создаютъ свой идеаль брачнаго счастія,—и когда увидятъ невозможность осуществленія ихъ нелѣпаго идеала, то вымѣщаютъ на мужьяхъ горечь своего разочарованія.

Идеальными дѣвами всѣхъ родовъ бываютъ, по большей части, дѣвицы,

которыхъ развитіе было предоставлено имъ же самими. И какъ винить ихъ въ томъ, что, вмѣсто живыхъ существъ, изъ нихъ выходятъ нравственные уроды? Окружающая ихъ положительная дѣйствительность въ самомъ дѣлѣ очень пошла, и ими невольно овладѣваетъ неотразимое убѣжденіе, что хорошо только то, что не похоже, что диаметрально противоположно этой дѣйствительности. А между тѣмъ, самобытное, не на почвѣ дѣйствительности, не въ сферѣ общества совершающееся развитіе всегда доводить до уродства. И такимъ образомъ имъ предстоитъ двѣ крайности: или быть пошлыми на общий манеръ, быть пошлыми какъ всѣ, или быть пошлыми оригинально. Онѣ избираютъ послѣднее, но думаютъ, что съ земли перепрыгнули за облака, тогда какъ въ самомъ-то дѣлѣ только перевалились изъ положительной пошлости въ мечтательную пошлость. И что всего грустнѣе: между подобными несчастными созданіями бываютъ натуры, не лишенныя истинной потребности болѣе или менѣе человѣчески-разумнаго существованія и достойнаго лучшей участіи.

Но среди этого мѣра нравственно-увѣчныхъ явлений, изрѣдка удаются истинно-колossalныя исключенія, которые всегда дорого платятся за свою исключительность и дѣлаются жертвами собственного своего превосходства. Натуры геніальныя, не подозрѣвающія своей геніальности, онѣ безжалостно убиваются безсознательнымъ обществомъ, какъ очистительная жертва за его собственные грѣхи... Такова Татьяна Пушкина. Вы коротко знакомы съ почтеннымъ семействомъ Ларинъ. Отецъ—не то, чтобы ужъ очень глупъ, да и не совсѣмъ уменъ; не то, чтобы человѣкъ, да и не звѣрь, а что-то въ родѣ полипа, принадлежащаго въ одно и то же время двумъ царствамъ природы—растительному и животному.

Онъ быть простой и добрый баринъ,  
И тамъ, гдѣ прахъ его лежитъ,  
Надгробный памятникъ гласить:  
„Смиренный грѣшникъ Дмитрій Ларинъ,  
Господній рабъ и бригадиръ,  
Подъ камнемъ симъ вкушаетъ міръ“.

Этотъ міръ, вкушаемый подъ камнемъ, былъ продолженіемъ того же самаго мира, которымъ „добрый баринъ“ наслаждался при жизни подъ татарскимъ халатомъ. Бывають на свѣтѣ такие люди, въ жизни и счастіи которыхъ смерть не производить ровно никакой перемѣны. Отецъ Татьяны принадлежалъ къ числу такихъ счастливцевъ. Но маменька ея стояла на высшей ступени жизни, сравнительно съ своимъ супругомъ. До замужества, она обожала Ричардсона, не потому, чтобы прочла его, а потому, что отъ своей московской кузинѣ наслышалась о Грандисонѣ. Помолвленная за Ларина, она втайне вздыхала о другомъ. Но ее повезли къ вѣнцу, не спросившись ея совѣта. Въ деревнѣ мужа она сперва терзаясь и рвалаась, а

потомъ привыкла къ своему положенію и даже стала имъ довольна, особенно съ тѣхъ поръ, какъ постигла тайну самовластно управлять мужемъ.

Она вѣжала по работамъ,  
Солила на зиму грибы... и т. д.

Словомъ, Ларинъ жили чудесно, какъ живутъ на этомъ свѣтѣ цѣлые миллионы людей. Однообразіе семейной ихъ жизни нарушалось гостями:

Подъ вечеръ иногда сходилась  
Сосѣдей добрая семья,  
Непреремонные друзья,—  
И потужить, и поэлословить,  
И посмѣяться кой о чёмъ.

Ихъ разговоръ благоразумный  
О сѣнокосѣ, о винѣ,  
О псарайѣ, о своей роднѣ,  
Конечно, не блисталь ни чувствомъ,  
Ни поэтическимъ огнемъ,  
Ни остротою, ни умомъ,  
Ни общежитія искусствомъ;  
Но разговоръ ихъ милыхъ женъ  
Еще быть менѣе учень.

И вотъ, кругъ людей, среди которыхъ родилась и выросла Татьяна! Правда, тутъ были два существа, рѣзко отдѣлявшіяся отъ этого круга—сестра Татьяны, Ольга, и женихъ послѣдней, Ленскій. Но и пе этимъ существамъ была понять Татьяну. Она любила ихъ просто, сама не зная за что, частью по привычкѣ, частью потому, что они еще не были пошлы; но она не открывала имъ внутреннѧго міра души своей; какое-то темное, инстинктивное чувство говорило ей, что они—люди другого міра, что они не поймутъ ея. И дѣйствительно, поэтическій Ленскій далеко не подозрѣвалъ, что такое Татьяна: такая женщина была не по его восторженной натурѣ и могла ему казаться скорѣе странною и холодною, нежели поэтическою. Ольга еще менѣе Ленскаго могла понять Татьяну. Ольга—существо простое, непосредственное, которое никогда ни о чёмъ не разсуждало, ни о чёмъ не спрашивало, которому все было ясно и понятно по привычкѣ и которое все зависѣло отъ привычки. Она очень плакала о смерти Ленскаго, но скоро утѣшилась, вышла за улана и, изъ граціозной и милой дѣвочки, сдѣлалась дюжинною барыней, повторивъ собою свою маменьку, съ небольшими измѣненіями, которыхъ требовало время. Но совсѣмъ не такъ легко опредѣлить характеръ Татьяны. Натура Татьяны немногосложна, но глубока и сильна. Въ Татьянѣ нѣть этихъ болѣзнѣнныхъ противорѣчій, которыми страдаютъ слишкомъ сложныя натуры; Татьяна создана какъ-будто вся изъ одного цѣльнаго куска, безъ всякихъ придѣлокъ и примѣсей. Вся жизнь ея про-

никнута тою цѣлостностью, тѣмъ единствомъ, которое въ мірѣ искусства составляетъ высочайшее достоинство художественнаго произведенія. Страстно влюбленная, простая деревенская дѣвушка, потомъ свѣтская дама,—Татьяна во всѣхъ положеніяхъ своей жизни всегда одна и та же; портретъ ея въ дѣствѣ, такъ мастерски написанный поэтомъ впослѣдствіи, является только развившимся, но не измѣнившимся.

Лика, печальна, молчалива,  
Какъ лань лѣсная боязлива,  
Она въ семьѣ своей родной  
Казалась дѣвочкой чужой.  
Она ласкаться не умѣла  
Къ отцу, ни къ матери своей;  
Дитя сама, въ толпѣ дѣтей  
Играть и прыгать не хотѣла,  
И часто цѣлый день одна  
Сидѣла молча у окна.

Задумчивость была ея подругою съ колыбельныхъ дней, украшая однообразіе ея жизни; пальцы Татьяны не знали иглы, и даже ребенкомъ она не любила куколь, и ей чужды были дѣтскія шалости; ей было скучень и шумъ, и звонкій смѣхъ дѣтскихъ игръ; ей больше нравились страшные рассказы въ зимній вечеръ. И потому она скоро пристрастилась къ романамъ, и романы поглотили всю жизнь ея.

Итакъ, лѣтнія ночи посвящались мечтательности, зимнія—чтенію романовъ,—и это среди міра, имѣвшаго благоразумную привычку громко храпѣть въ это время! Какое противорѣчіе между Татьяною и окружающимъ ее міромъ! Татьяна—это рѣдкій прекрасный цвѣтокъ, случайно выросшій въ разсѣлинѣ дикой скалы,

Неизнамый въ травѣ глухой  
Ни мотыльками, ни пчелой.

Эти два стиха, сказанные Пушкинымъ объ Ольгѣ, гораздо больше идутъ къ Татьянѣ. Какіе мотыльки, какіе пчелы могли знать этотъ цвѣтокъ или плѣняться имъ? Развѣ безобразные слѣпни, оводы и жуки, въ родѣ господъ Пыхтина, Буянова, Пѣтушкова и тому подобныхъ? Да, такая женщина, какъ Татьяна, можетъ плѣнять только людей, стоящихъ на двухъ крайнихъ ступеняхъ нравственнаго міра: или такихъ, которые были бы въ уровенѣ съ ея натурою и которыхъ такъ мало на свѣтѣ, или людей совершенно пошлыхъ, которыхъ такъ много на свѣтѣ. Этимъ послѣднимъ Татьяна могла нравиться лицомъ, деревенскою свѣжестью и здоровьемъ, даже дикостью своего характера, въ которой они могли видѣть кротость, послушливость и безответственность въ отношеніи къ будущему мужу—качества, драгоцѣнныя для ихъ грубой животности; не говоря уже о расчетахъ на прида-

ное, на родство и т. п. Стоящие же въ серединѣ между этими двумя разрядами людей всего менѣе могли оцѣнить Татьяну. Надобно сказать, что вся это серединная существо, занимающее мѣсто между высшими натурами и чернью человѣчества, эти таланты, служащіе связью геніальности съ толпою, по большей части—все люди „идеальные“, подстать идеальнымъ дѣвамъ, о которыхъ мы говорили выше. Эти идеалисты думаютъ о себѣ, что они исполнены страстей, чувствъ, высокихъ стремлений, но въ сущности все дѣло заключается въ томъ, что у нихъ фантазія развита на счетъ всѣхъ другихъ способностей, преимущественно разсудка. Въ нихъ есть чувство, но еще больше сентиментальности, и еще больше охоты и способности наблюдать свои ощущенія и вѣчно толковать о нихъ. Въ нихъ есть и умъ, но не свой, а вычитанный, книжный, и потому въ ихъ умѣ часто бываетъ много блеска, но никогда не бываетъ дѣльности. Главное же, что всего хуже въ нихъ, что составляетъ ихъ самую слабую сторону, ихъ ахиллесовскую пятку,—это то, что въ нихъ нѣтъ страстей, за исключеніемъ только самолюбія, и то мелкаго, которое ограничивается въ нихъ тѣмъ, что они бездѣятельно и бесплодно погружены въ созерцаніе своихъ внутреннихъ достоинствъ. Натуры теплныя, но также не холодныя, какъ и не горячія, они дѣйствительно обладаютъ жалкою способностью вспыхивать на минуту отъ всего и не отъ чего. Поэтому они только и толкуютъ, что о своихъ пла-менныхъ чувствахъ, обѣ огнѣ, пожирающемъ ихъ душу, о страстиахъ, обу-ревающихъ ихъ сердце, не подозрѣвая, что все это дѣйствительно буря, но только не на морѣ, а въ стаканѣ воды. И нѣть людей, которые бы менѣе ихъ способны были оцѣнить истинное чувство, понять истинную страсть, разгадать человѣка, глубоко чувствующаго, неподдѣльно страстнаго. Такіе люди не поняли бы Татьяны: они рѣшили бы всѣ въ голосъ, что если она не дура пошлая, то очень странное существо, и что, во всякомъ слу-чайѣ, она холодна, какъ ледъ, лишена чувствъ и неспособна къ страсти. И какъ же иначе? Татьяна молчалива, дика, ничѣмъ не увлекается, ничему не радуется, ни отъ чего не приходитъ въ восторгъ, ко всему равнодушна, ни къ кому не ласкается, ни съ кѣмъ не дружится, никого не любить, не чувствуетъ потребности перелить въ другого свою душу, тайны своего сердца, а главное—не говорить ни о чувствахъ вообще, ни о своихъ соб-ственныхъ въ особности?.. Если вы со средоточены въ себѣ и на вашемъ лицѣ нѣльзя прочесть внутренняго пожирающаго васъ огня,—мелкіе люди, столь богатые прекрасными мелкими чувствами, тотчасъ объявлять васъ существомъ холоднымъ, эгоистомъ, отнимутъ у васъ сердце и оставятъ при васъ одинъ умъ, особенно, если вы имѣете наклонность иронизировать надъ собственнымъ чувствомъ, хотя бы то было изъ цѣломудреннаго желанія за-маскировать его, не любя имъ ни играть, ни щеголять...

Повторяю: Татьяна — существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстная. Любовь для нея могла быть или величайшимъ бла-

женствомъ или величайшимъ бѣдствиемъ жизни, безъ всякой примирительной середины. При счастіи взаимности любовь такой женщины—ровное, свѣтлое пламя; въ противномъ случаѣ—упорное пламя, которому сила воли, можетъ быть, не позволить прорваться наружу, но которое тѣмъ разрушительнѣе и жгучѣе, чѣмъ больше оно сдавлено внутри. Счастливая жена, Татьяна спокойно, но тѣмъ не менѣе страстью и глубоко любила бы своего мужа, вполнѣ пожертвовала бы собою дѣтямъ, вся отдалась бы своимъ материнскимъ обязанностямъ, но не по разсудку, а опять по страсти, и въ этой жертвѣ, въ строгомъ выполненіи своихъ обязанностей, нашла бы свое величайшее наслажденіе, свое верховное блаженство. И все это безъ фразъ, безъ разсужденій, съ этимъ спокойствиемъ, съ этимъ вѣшнімъ безстрастіемъ, съ этой наружною холдностью, которая составляютъ достоинство и величие глубокихъ и сильныхъ натуръ. Такова Татьяна. Но это только главныя и, такъ сказать, общія черты ея личности: взглянемъ на форму, въ которую вылилась эта личность, посмотримъ на тѣ особенности, которая составляютъ ея характеръ.

Татьяна не избѣгла горестной участіи подпастъ подъ разрядъ идеальныхъ дѣвъ, о которыхъ мы говорили. Правда, мы сказали, что она представляетъ собою колоссальное исключеніе въ мірѣ подобныхъ явлений,—и теперь не отпираемся отъ своихъ словъ. Татьяна возвуждается не смѣхъ, а живое сочувствіе,—но это не потому, чтобы она вовсе не походила на „идеальныхъ дѣвъ“, а потому, что ея глубокая, страстная натура заслонила въ ней собою все, что есть смѣшнаго и пошлаго въ идеальности этого рода, и Татьяна осталась естественно-простою въ самой искусственности и уродливости формы, которую сообщила ей окружающая ее дѣйствительность. Съ одной стороны—

Татьяна вѣрила преданьямъ  
Простонародной старинѣ,  
И снамъ, и карточнымъ гаданьямъ,  
И предсказаніямъ луны.  
Ее тревожили примѣты:  
Таинственно ей всѣ предметы  
Провоаглашали что-нибудь,  
Предчувствія тѣснили грудь.

Съ другой стороны, Татьяна любила бродить по полямъ,

Съ печальной думою въ очахъ,  
Съ французской книжкою въ рукахъ.

Это дивное соединеніе грубыхъ, вульгарныхъ предразсудковъ съ страстью къ французскихъ книжкамъ и съ уваженіемъ къ глубокому творенію Мартына Задеки, возможно только въ русской женщины. Весь внутренній міръ Татьяны заключался въ жаждѣ любви; ничто другое не говорило ея душѣ; умъ ея спалъ, и только развѣ тяжкое горе жизни могло потомъ раз-

будить его,—да и то для того, чтобы сдержать страсть и подчинить ее расчету благоразумной морали... Дѣвические дни ея ничѣмъ не были заняты; въ нихъ не было своей череды труда и досуга, не было тѣхъ регулярныхъ занятій, свойственныхъ образованной жизни, которые держать въ равновѣсіи нравственные силы человѣка. Дикое растеніе, вполнѣ предоставленное самому себѣ, Татьяна создала себѣ свою собственную жизнь, въ пустотѣ которой тѣмъ мягче горѣль пожиравшій ее внутренній огонь, что ея умъ ничѣмъ не былъ занятъ.

Давно ея воображеніе,  
Сгорая нѣгой и тоской,  
Алкало пиши роковой; и т. д.

Здѣсь же книга родила страсть, но страсть все-таки не могла не проявиться немножко по-книжному. Зачѣмъ было воображать Онѣгина Вольмаромъ, Малекъ-Адемель, де-Линаромъ и Вертеромъ (Малекъ-Адель и Вертеръ: не все ли это равно, что Ерусланъ Лазаревичъ и корсарь Байрона?). Зачѣмъ, что для Татьяны не существовалъ настоящій Онѣгинъ, которого она не могла ни понимать, ни знать; следовательно, ей необходимо было придать ему какое нибудь значеніе, на-прокатъ взятое изъ книги, а не изъ жизни, потому что жизни Татьяна тоже не могла ни понимать, ни знать. Зачѣмъ было ей воображать себя Кларисою, Юлею, Дельфиной? Зачѣмъ, что она и самое себя такъ же мало понимала и знала, какъ и Онѣгина. Повторяемъ: созданіе страстное, глубоко чувствующее и въ то же время неразвитое, на-глухо запертое въ темной пустотѣ своего интеллектуального существованія, Татьяна, какъ личность, является намъ подобною не изящной греческой статуй, въ которой все внутреннее такъ прозрачно и выпукло отразилось во внѣшней красотѣ, но подобною египетской статуй, неподвижной, тяжелой и связанной. Безъ книги, она бы совершенно нѣмыми существомъ, и ея пылающій и сохнущій языкъ не обрѣлъ бы ни одного живого, страстнаго слова, которымъ бы могла она облегчить себя отъ давящей полноты чувства. И хотя непосредственнымъ источникомъ ея страсти къ Онѣгину была ея страстная натура, ея переполнвшаяся жажды сочувствія,—все же началась она нѣсколько идеально. Татьяна не могла полюбить Ленскаго и еще менѣе могла полюбить кого-нибудь изъ известныхъ ей мужчинъ: она такъ хорошо ихъ знала, и они такъ мало представляли пиши ея экзальтированному, аскетическому воображенію... И вдругъ является Онѣгинъ.

Онъ весь окружено тайною: его аристократизмъ, его свѣтскость, не-оспоримое превосходство надъ всѣмъ этимъ спокойнымъ и пошлымъ міромъ, среди которого онъ явился такимъ метеоромъ, его равнодушіе ко всему, странность жизни—все это произвело таинственные слухи, которые не могли не дѣйствовать на фантазію Татьяны, не могли не расположить, не подго-

товорить ею въ рѣшительному эффекту первого свиданія съ Онѣгиномъ. И она увидала его, и онъ предсталъ предъ нею, молодой, красивый, ловкій, блестящій, равнодушный, скучающій, загадочный, непостижимый, весь неразрѣшимая тайна для ея неразвитаго ума, весь обольщенье для ея дикой фантазіи. Есть существа, у которыхъ фантазія имѣеть гораздо болѣе влиянія на сердце, нежели какъ думаютъ объ этомъ. Татьяна была изъ такихъ существъ. Есть женщины, которымъ стоять только показаться восторженнымъ, страстнымъ, и онъ ваши; но есть женщины, которыхъ вниманіе мужчина можетъ возводить къ себѣ только равнодушіемъ, холодностью и скептицизмомъ, какъ признаками огромныхъ требованій на жизнь, или какъ результатомъ мятежно и полно пережитой жизни: бѣдная Татьяна была изъ числа такихъ женщинъ...

Разговоръ Татьяны съ няней—чудо художественного совершенства! Это цѣлая драма, проникнутая глубокою истиной. Въ ней удивительно вѣрно изображена русская барышня въ разгарѣ томящей ее страсти. Созданное внутри чувство всегда порывается наружу, особенно въ первый періодъ еще новой, еще неопытной страсти. Кому открыть свое сердце!—сестрѣ?—она не такъ бы поняла его. Няня вовсе не пойметъ; но потому-то и открывается ей Татьяна свою тайну—или, лучше сказать, потому-то и не скрываетъ она отъ няни своей тайны.

.... „Расскажи мнѣ, няня,  
Про ваши старые года:  
Выла ты влюблена тогда?“ и т. д.

Вотъ какъ пишетъ истинно-народный, истинно-национальный поэтъ! Въ словахъ няни, простыхъ и народныхъ, безъ тривіальности и пошлости, заключается полная и яркая картина внутренней домашней жизни народа, его взглядъ на отношенія половъ, на любовь, на бракъ... И это сдѣлано великимъ поэтомъ одною чертой, вскользь, мимоходомъ брошенно!.. Какъ хороши эти добродушные и простодушные стихи:

— И, полно, Таня! Въ эти лѣта  
Мы не слыхали про любовь;  
А то бы согнала со свѣта  
Меня покойница-свекровь!

Какъ жаль, что именно такая народность не дается многимъ нашимъ поэтамъ, которые такъ хлопочутъ о народности—и добиваются одной пло-щадной тривіальности...

Татьяна вдругъ рѣшается писать къ Онѣгину: порывъ наивный и благородный; но его источникъ не въ сознаніи, а въ безсознательности: бѣдная дѣвушка не знала, чтѣ дѣлала. Послѣ, когда она стала знатною барышней, для нея совершенно исчезла возможность такихъ наивно-велико-душныхъ движеній сердца... Письмо Татьяны свело съ ума всѣхъ русскихъ

читателей, когда появилась третья глава „Онѣгина“. Мы, вмѣстѣ со всѣми, думали въ немъ видѣть высочайшій образецъ откровенія женскаго сердца. Самъ поэтъ, кажется, безъ всякой ироніи, безъ всякой задней мысли, и писалъ и читалъ это письмо. Но съ тѣхъ поръ много воды утекло... Письмо Татьяны прекрасно и теперь, хотя уже и отзыается немножко какою-то дѣтскостью, чѣмъ-то „романическимъ“. Иначе и быть не могло; языкъ страстей былъ такъ новъ и недоступенъ нравственно-кѣмотствующей Татьянѣ; она не умѣла бы ни понять, ни выразить собственныхъ своихъ ощущеній, если бы не прибѣгла къ помощи впечатлѣній, оставленныхъ на ея памяти плохими и хорошими романами, безъ толку и безъ разбора читанными ею... Начало письма превосходно: оно проникнуто простымъ искреннимъ чувствомъ; въ немъ Татьяна является сама собою.

Все въ письмѣ Татьяны истинно, но не все просто; мы выписали только то, что и истинно и просто вмѣстѣ. Сочетаніе простоты съ истиной составляетъ высшую красоту и чувства, и дѣла, и выраженія...

Если бы мы вздумали слѣдить за всѣми красотами поэмы Пушкина, указывать на всѣ черты высокаго художественнаго мастерства, въ такомъ случаѣ ни напімъ выпискамъ, ни нашей статьѣ не было бы конца. Но мы считаемъ это излишнимъ, потому что эта поэма давно опублічена публикою, и все лучшее въ ней у всякаго на памяти. Мы предположили себѣ другую цѣль: раскрыть по возможности отношеніе поэмы къ обществу, которое она изображаетъ. На этотъ разъ предметъ нашей статьи—характеръ Татьяны, какъ представительницы русской женщины. И потому пропускаемъ всю четвертую главу, въ которой главное для насъ—объясненіе Онѣгина съ Татьяною въ отвѣтъ на ея письмо. Какъ подѣйствовало на нее это объясненіе, понятно: всѣ надежды бѣдной дѣвушки рушились, и она еще глубже затворилась въ себѣ для вѣнчанаго міра. Но разрушенная надежда не погасила въ ней пожирающаго ее пламени: онъ началъ горѣть тѣмъ упорнѣе и напряженѣе, чѣмъ глушѣ и безвыходнѣе. Несчастіе даетъ новую энергию страсти у натуры съ экзальтированнымъ воображеніемъ. Имъ даже нравится исключительность ихъ положенія; онъ любить свое горе, лелеять свое страданіе, дорожать имъ, можетъ быть, еще больше, нежели сколько дорожили бы онѣ своимъ счастіемъ, если бъ оно выпало на ихъ долю... И притомъ, въ глухомъ лѣсу нашего общества, гдѣ бы и скоро ли бы встрѣтила Татьяна другое общество, которое, подобно Онѣгину, могло бы поразить ея воображеніе и обратить огонь ея души на другой предметъ? Вообще, несчастная, нераздѣленная любовь, которая упорно переживаетъ надежду, есть явленіе довольно болѣзnenное, причина котораго, по слишкомъ рѣдкимъ и, вѣроятно, чисто физиологическимъ причинамъ, едва ли не скрывается въ экзальтациіи фантазіи, слишкомъ развитой на счетъ другихъ способностей души. Но какъ бы то ни было, а страданія, происходящія отъ фантазіи, падаютъ тяжело на сердце и терзаютъ его иногда еще сильнѣе, нежели

страданія, корень которыхъ въ самомъ сардцѣ. Картина глухихъ, никѣмъ не раздѣленныхъ страданій Татьяны изображена въ пятой главѣ съ удивительной истиной и простотою. Посыщеніе Татьяною опустѣлаго дома Онѣгина (въ седьмой главѣ) и чувства, пробужденныя въ ней этимъ оставленнымъ жилищемъ, на всѣхъ предметахъ котораго лежитъ такой рѣзкій отпечатокъ духа и характера оставившаго его хозяина,—принадлежитъ къ лучшимъ мѣстамъ поэмы и драгоцѣннейшимъ сокровищамъ русской поэзіи. Татьяна не разъ повторила это посыщеніе.

Въ Татьянѣ, наконецъ, совершился актъ сознанія: умъ ея проснулся. Она поняла наконецъ, что есть для человѣка интересы, есть страданія и скорби, кромѣ интереса страданій и скорби любви. Но поняла ли она, въ чёмъ именно состоять эти другіе интересы и страданія, и если поняла, послужило ли это ей къ облегченію ея страданій? Конечно, поняла, но только умомъ, головою, потому что есть идеи, которая надо пережить и душою и тѣломъ, чтобы понять ихъ вполнѣ, и которыхъ нельзя изучить въ книгѣ. И потому книжное знакомство съ этимъ новымъ міромъ скорбей, если и было для Татьяны откровеніемъ, это откровеніе произвело на нее тяжелое, безотрадное и бесплодное впечатлѣніе; оно испугало ее, ужаснуло и заставило смотрѣть на страсти, какъ на гибель жизни, убѣдило ее въ необходимости покоряться дѣйствительности, какъ она есть, и если жить жизнью сердца, то про себя, во глубинѣ своей души, въ тиши уединенія, во мракѣ ночи, посвященной тоскѣ и рыданіямъ. Посыщеніе дома Онѣгина и чтеніе его книгъ приготовили Татьяну къ перерожденію изъ деревенской дѣвочки въ свѣтскую даму, которое такъ удивило и поразило Онѣгина. Въ предшествовавшей статьѣ мы уже говорили о письмѣ Онѣгина къ Татьянѣ и о результатахъ всѣхъ его страстныхъ посланій къ ней; теперь перейдемъ прямо къ объясненію Татьяны съ Онѣгиномъ. Въ этомъ объясненіи все существо Татьяны выразилось вполнѣ. Въ этомъ объясненіи высказалось все, что составляетъ сущность русской женщины съ глубокою натурай, развитою обществомъ,—все: и пламенная страсть, и задушевность простого, искренняго чувства, и чистота, и святость наивныхъ движеній благородной натуры, резонерство, и оскорблѣнное самолюбіе, и тщеславіе добродѣтелью, подъ которойю замаскирована рабская боязнь общественнаго мнѣнія, и хитрые силлогизмы ума, свѣтскою моралью парализировавшаго великолѣпія движенія сердца... Рѣчь Татьяны начинается упрекомъ, въ которомъ высказывается желаніе мести за оскорблѣнное самолюбіе.

Въ самомъ дѣлѣ, Онѣгинъ былъ виноватъ передъ Татьяною въ томъ, что онъ не полюбилъ ея тогда, какъ она была моложе и лучше и любила его! Вѣдь для любви только и нужно, что молодость, красота и взаимность! Вотъ понятія, заимствованныя изъ плохихъ сентиментальныхъ романовъ! Нѣмая деревенская дѣвочка съ дѣтскими мечтами—и свѣтская женщина, испытанная жизнью и страданіемъ, обрѣтшая слово для выраженія своихъ

чувствъ и мыслей, какая разница! И все-таки, по мнѣнію Татьяны, она болѣе способна была внушить любовь тогда, нежели теперь, потому что она тогда была моложе и лучше... Какъ въ этомъ взглядѣ на вещи видна русская женщина! А этотъ упрекъ, что тогда она нашла со стороны Онѣгина одну супровость? „Вамъ была не новость смиренной дѣвочки любовь?“ Да это уголовное преступленіе—не подорожить любовью нравственнаго эмбриона!... Но за этимъ упрекомъ тотчасъ слѣдуетъ и оправданіе.

..... Но васъ  
Я не знаю...

Основная мысль упрековъ Татьяны состоить въ убѣжденіи, что Онѣгинъ потому только не полюбилъ ея тогда, что въ этомъ не было для него очарованія соблазна; а теперь приводитъ къ ея ногамъ жажды скандалезной славы...

Въ этихъ стихахъ такъ и слышится трепетъ за свое добре имѧ въ большомъ свѣтѣ, а въ слѣдующихъ затѣмъ представляются неоспоримыя доказательства глубочайшаго презрѣнія къ большому свѣту... Какое противорѣчіе! И что вслѣдъ, то и другое истинно въ Татьянѣ...

Повторяемъ: эти слова такъ же непрѣтворны и искрѣнны, какъ и предшествовавшія имъ. Татьяна не любить свѣта и за счастіе почла бы навсегда оставить его для деревни; но пока она въ свѣтѣ—его мнѣніе всегда будетъ ея идоломъ, и страхъ его суда всегда будетъ ея добродѣтелью...

Я васъ люблю (къ чemu лукавить?),  
Но я другому отдана;  
Я буду отъ ему отрна".

Послѣдніе стихи удивительны—подлинно „конецъ вѣнчаетъ дѣло“! Этотъ отвѣтъ могъ бы итти въ примѣръ классическаго „высокаго“ (sublime), наравнѣ съ отвѣтомъ Медеи: moi! и стараго Гораци: qu'il mourut! Вотъ истинная гордость женской добродѣтели! „Но я другому отдана“,—именно отдана, а не отдалась.

Итакъ, въ лицѣ Онѣгина, Ленскаго и Татьяны Пушкинъ изобразилъ русское общество въ одномъ изъ фазисовъ его образованія, его развитія, и съ какою истиной, съ какою вѣрностю, какъ полно и художественно изобразилъ онъ его! Мы не говоримъ о множествѣ вставочныхъ портретовъ и силуэтовъ, вошедшіхъ въ его поэму и довершающихъ собою картину русскаго общества высшаго и средняго; не говоримъ о картинахъ сельскихъ баловъ и столичныхъ раутовъ: все это такъ извѣстно нашей публикѣ и такъ давно одѣнено ею по достоинству... Замѣтимъ одно: личность поэта, такъ полно и ярко отразившаяся въ этой поэмѣ, вездѣ является такою прекрасною, такою гуманною, но въ то же время по-преимуществу артистическою. Вездѣ видите вы въ немъ человѣка, душою и тѣломъ принадлежа-

щаго къ основному принципу, составляющему сущность изображаемаго имъ класса; короче, вездѣ видите русскаго помѣщика... Онъ нападаетъ въ этомъ классѣ на все, что противорѣчить гуманности; но принципъ класса для него—вѣчна истинка... И потому, въ самой сатирѣ его такъ много любви, самое отрицаніе его такъ часто похоже на одобреніе и на любованіе... Вспомните описание семейства Ларинихъ, во второй главѣ, и особенно портретъ самого Ларина... Это было причиною, что въ „Онѣгина“ многое устарѣло теперь. Но безъ этого, можетъ быть, и не вышло бы изъ „Онѣгина“ такой полной и подробной поэмы русской жизни, такого опредѣленного факта для отрицанія мысли, въ самомъ же этомъ обществѣ такъ быстро развивающейся...

„Онѣгинъ“ писанъ былъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ,—и потому самъ поэтъ росъ вмѣстѣ съ нимъ, и каждая новая глава поэмы была интереснѣе и зрѣлѣе. Но послѣднія двѣ главы рѣзко отдѣляются отъ первыхъ шести: онъ явно принадлежать уже къ высшей, зрѣлой эпохѣ художествен-наго развитія поэта. О красотѣ отдѣльныхъ мѣстъ нельзя наговориться довольно; притомъ же ихъ такъ много! Къ лучшимъ принадлежать: ночная сцена между Татьяною и нянею, дуэль Онѣгина съ Ленскимъ и весь конецъ шестой главы. Въ послѣдніхъ двухъ главахъ мы не знаемъ, что хвалить особенно, потому что въ нихъ все превосходно; но первая половина седьмой главы (описаніе весны, воспоминаніе о Ленскомъ, посѣщеніе Татьяною дома Онѣгина) какъ-то особенно выдается изъ всего глубокостью грустнаго чувства и дивно-прекрасными стихами... Отступлениа, дѣлаемыя поэтомъ отъ разсказа, обращенія его къ самому себѣ исполнены необыкновенной граціи, задушевности, чувства, ума, остроты; личность поэта въ нихъ является такою любящею, такою гуманною. Въ своей поэмѣ онъ умѣлъ коснуться такъ многаго, намекнуть о столь многомъ, что принадлежитъ исключительно къ миру русской природы, къ миру русскаго общества! „Онѣгина“ можно назвать энциклопедіею русской жизни и въ высшей степени народнымъ произведеніемъ. Удивительно ли, что эта поэма была принята съ такимъ восторгомъ публикою и имѣла такое огромное вліяніе и на современную ей и на послѣдующую русскую литературу? А ея вліяніе на нравы общества? Она была актомъ сознанія для русскаго общества; почти первымъ, но зато какимъ великимъ шагомъ впередъ для него! Этотъ шагъ былъ богатырскимъ размахомъ, и послѣ него стояніе на одномъ мѣстѣ сдѣлалось уже невозможнымъ... Пусть идетъ время и проводить съ собою новые потребности, новые идеи, пусть растетъ русское общество и обгоняетъ „Онѣгина“: какъ бы далеко оно ни ушло, но всегда будетъ оно любить эту поэму, всегда будетъ останавливать на ней исполненный любви и благодарности взоръ... Эти строфы, своимъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ на душу читателя, лучше настъ выскаживають то, что бы хотѣлось намъ выскажать.

X.

Борисъ Годуновъ.

Совершенно новая эпоха художнической деятельности Пушкина началась „Полтавою“ и „Борисомъ Годуновымъ“. Хотя первая вышла въ 1829 году, а послѣдній въ 1881 году,—тѣмъ не менѣе ихъ должно считать почти современными другъ другу произведеніями, потому что „Борисъ Годуновъ“ написанъ былъ гораздо раньше 1881 года, и знаменитая сцена между Пименомъ и Самозванцемъ была напечатана въ „Московскомъ Вѣстнике“ 1828 года; небольшая сцена между Курбскимъ и Самозванцемъ, въ „Сѣверныхъ Цвѣтахъ“ на 1828 годъ, вышедшихъ въ 1827 году. „Полтава“, со стороны художественности, относится къ „Борису Годунову“, какъ стремленіе относится къ достижению. Публика приняла „Полтаву“ холоднѣе, нежели прежнія поэмы Пушкина; „Борисъ Годуновъ“ былъ принять совершенно холодно, какъ доказательство совершенного паденія таланта, еще недавно столь великаго, такъ много сдѣлавшаго и еще такъ много обѣщавшаго. Какъ тогда, такъ и теперь, у „Бориса Годунова“ были жаркие поклонники; но какъ тогда, такъ и теперь число этихъ поклонниковъ было очень мало-численно, а число порицателей огромно. Которые изъ нихъ правы, которые виноваты? Тѣ и другіе равно правы и равно виноваты, потому что, дѣйствительно, ни въ одномъ изъ прежніхъ своихъ произведеній не достигъ Пушкинъ до такой художественной высоты,—и ни въ одномъ не обнаружилъ такихъ огромныхъ недостатковъ, какъ въ „Борисѣ Годуновѣ“. Эта пьеса для него была истинно Ватерлооскою битвой, въ которой онъ развернула во всей широтѣ и глубинѣ свой геній, и, несмотря на то, всетаки потерпѣла рѣшительное пораженіе.

Прежде всего скажемъ, что „Борисъ Годуновъ“ Пушкина—совсѣмъ не драма, а развѣ эпическая поэма въ разговорной формѣ. Дѣйствующія лица, вообще слабо очерченныя, только говорять, и мѣстами говорятъ превосходно; но они не живутъ, не дѣйствуютъ. Слышите слова, часто исполненные высокой поэзіи, но не видите ни страстей, ни борьбы, ни дѣйствій. Это одинъ изъ первыхъ и главныхъ недостатковъ драмы Пушкина.

А, между тѣмъ, Борисъ Годуновъ, можетъ быть, больше, чѣмъ какое-нибудь другое лицо русской исторіи, годился бы если не для драмы, то хоть для поэмы въ драматической формѣ,—для поэмы, въ которой такой поэтъ, какъ Пушкинъ, могъ бы развернуть всю силу своего таланта и избѣжать тѣхъ огромныхъ недостатковъ и въ историческомъ и въ эстетическомъ отношеніяхъ, которыми наполнена драма Пушкина. Для этого поэту необходимо было нѣжно самостоитѣльно проникнуть въ тайну личности Годунова и поэтическимъ инстинктомъ разгадать тайну его исторического зна-

ченія, не увлекаясь никакимъ авторитетомъ, никакимъ вліяніемъ. Но Пушкинъ рабски во всемъ послѣдовалъ Карамзину,—и изъ его драмы вышло что-то похожее на мелодраму, а Годуновъ его вышелъ мелодраматическимъ злодѣемъ, которого мучить совѣсть и который въ своемъ злодѣйствѣ нашелъ себѣ кару. Мысль нравственная и почтенная, но уже до того избитая, что таланту ничего нельзя изъ нея сдѣлать!..

Разгадать историческое значеніе и историческую судьбу Годунова, значитъ объяснить причину: почему Годуновъ, повидимому, столь любившій народъ и столь много для него сдѣлавшій, не былъ любимъ народомъ? Попытаемся объяснить этотъ вопросъ такъ, какъ мы его понимаемъ.

Карамзинъ и Пушкинъ видятъ въ этой, повидимому, незаслуженной ненависти народа къ Годунову кару за его преступленіе. Слабость и нерѣшительность мѣръ, принятыхъ Годуновымъ противъ Самозванца, они приписываютъ смущенію виновной совѣсти. Это взглядъ чисто-мелодраматической, и въ историческомъ и въ поэтическомъ отношеніи, особенно въ примененіи къ такому необыкновенному человѣку, каковъ былъ Борисъ! Въ поэмѣ Пушкина, самъ Годуновъ объясняетъ причину народной къ себѣ ненависти такъ:

Живая власть для черни ненавистна—  
Они любить умѣютъ только мертвыхъ.  
Безумны мы, когда народный плескъ  
Иль ярый вопль тревожить сердце наше.

Это оправданіе—не голосъ истины, а голосъ оскорблennаго самолюбія, не твердая рѣчъ великаго человѣка, а плаксивая жалоба неудавшагося кандидата въ геніи, раздосадованного неудачею. Нѣтъ, народъ никогда не обманывается въ своей симпатіи и антипатіи къ живой власти: его любовь, или его нелюбовь къ ней—высшій судъ! Гласъ Божій—гласъ народа!

Изъ всѣхъ страстей человѣческихъ, послѣ самолюбія, самая сильная, самая свирѣплая—властолюбіе. Можно навѣрно сказать, что ни одна страсть не стоила человѣчеству столько страданій и крови, какъ властолюбіе. Во времена просвѣщенія и у народовъ цивилизованныхъ властолюбіе является всегда въ соединеніи съ честолюбіемъ, такъ что иногда трудно рѣшить, которая изъ этихъ страстей господствующая въ человѣкѣ, и властолюбіе кажется только результатомъ честолюбія. Во времена варварскія у народовъ необразованныхъ властолюбіе имѣть другое значеніе, потому что соединяется не только съ честолюбіемъ, но еще съ чувствомъ самохраненія: гдѣ, не будучи первымъ, такъ легко погибнуть ни за что,—тамъ всякому вдвойнѣ хочется быть первымъ, чтобы никого не бояться, но всѣхъ страшить. Но такъ какъ каждому изъ всѣхъ, или многихъ невозможно быть первымъ,—то право первого естественнымъ ходомъ исторіи вездѣ утверждалось потомственno въ одномъ родѣ, на основаніи права въ прошедшемъ, или преданія.

Время освятило и утвердило это право за немногими родами. Это отняло у всѣхъ и у многихъ всякую возможность губить другъ друга и цѣлый народъ притязаніями на верховное первенство. Передъ правомъ избраннаго Провидѣніемъ рода умолкла зависть, смирилось властолюбіе: родъ признанъ высшимъ надо всѣми по праву свыше, и равные между собою охотно повинуются высшему передъ всѣми ими. Но когда царствующій родъ прекращается, послѣ наследственнаго владычества въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ, и когда право высшей власти захватываетъ человѣкъ, вчера бывшій равнымъ со всѣми передъ верховною властью, а сегодня должностную начать собою новую династію,—тогда, естественно, разнудывается у всѣхъ страсть властолюбія. Каждый думаетъ: если *онъ* могъ быть избранъ, почему же *я* не могъ? Чѣмъ *онъ* лучше меня, и почему не *я* лучше *его*? Но счастливый властолюбецъ силою и хитростью заставляетъ молчать всѣхъ и все: страсти умолкаютъ, но до времени, до случая...

Естественно, у кого нѣть, въ отношеніи пріобрѣтенія верховной власти, освященнаго вѣками права законнаго наслѣдія,—тому, чтобы заставить въ себѣ видѣть не похитителя власти, а властелина по праву, остается опереться только на право личнаго превосходства надъ всѣми, на право генія. Только на условіи этого права толпа согласится безусловно признать владычество человѣка, который, въ гражданскомъ отношеніи, еще вчера стоялъ наравнѣ съ иою. Было ли за Годуновы姆ъ это право?—Нѣть!—И вотъ гдѣ разгадка его историческаго значенія и исторической судьбы: онъ хотѣлъ играть роль генія, не будучи геніемъ,—и за то палъ трагически и увлекъ за собою паденіе своего рода...

Такой человѣкъ есть лицо трагическое; такая участъ есть законное достояніе трагедіи. И что бы могъ сдѣлать Пушкинъ изъ своей поэмы, если бы взглянула на идею Бориса Годунова съ этой точки! Въ какой бы сферѣ человѣческой дѣятельности ни проявился геній, онъ всегда есть олицетвореніе творческой силы духа, вѣстникъ обновленія жизни. Его назначеніе—ввести въ жизнь новые элементы и, чрезъ это, двинуть ее впередъ, на высшую ступень. Явленіе генія—эпоха въ жизни народа. Генія уже нѣть, а народъ долго еще живеть въ формахъ жизни, имъ созданной, долго—до нового генія. Такъ, Московское царство, возникшее силою обстоятельствъ при Иоаннѣ Калитѣ и утвержденное геніемъ Иоанна III, жило до Петра Великаго. Тотъ не геній въ исторіи, чье твореніе умираетъ вмѣстѣ съ нимъ: геній по пути исторіи пролагаетъ глубокіе слѣды своего существованія, долго послѣ своей смерти.

Борисъ Годуновъ былъ человѣкъ необыкновенно умный и способный. Царедворецъ жестокаго царя, онъ умѣлъ попасть къ нему въ милость, не замаравъ себя ни каплею крови, ни однимъ безчестнымъ поступкомъ. Но это умѣніе объясняется отчасти ловко разсчитанною женитьбою на дочери палача, Малюты Скуратова. Въ этой чертѣ высказывается ловкій царе-

дворецъ, но генія еще не видно. Всякій, даже самый ограниченный, но хитрый человѣкъ сумѣлъ бы расчесть выгоды такого брака въ царствование Грознаго; но геній, можетъ быть, и не рѣшился бы на такой расчесть, тая въ себѣ огромные замыслы на будущее: титло зятя палача Малюты Скуратова было ненавистно тому народу, владыкою котораго впослѣдствіи сдѣлался Годуновъ. Повторяемъ: расчесть тонкій, хитрый, но не геніальный; въ немъ видѣнъ придворный интриганъ, а не будущій великий государь... наслѣдникъ дѣлается зятемъ Годунова, а по смерти Грознаго—членомъ верховной думы,—и Грозный ему въ особенности, мимо старшихъ бояръ, заѣщалъ блюсти царство. Никакія вѣдьмы не предсказывали этому новому Макбету его будущаго величія; но его головѣ было отъ чего закружиться и безъ предсказаній! Это фантастическое счастіе онъ могъ принять за лучшее изъ всѣхъ предсказаній! Онъ уничтожилъ верховную думу и официально былъ названъ правителемъ государства: только для вида подавалъ гомось въ царской думѣ, но рѣшалъ всѣ дѣла самовластно, принималъ пословъ, договаривался съ ними и давалъ имъ свѣтѣ цѣловать свою руку... На тронѣ сидѣлъ царь по имени, молчальникъ и молельщикъ въ сущности, который вручилъ своему родственнику и любимцу всю власть свою, „избывая мірскія суеты и докуки“... Чего недоставало Годунову?—только престола... И онъ достигъ его.

Какъ и правитель, и какъ царь, Годуновъ обнаружилъ много ума и много способности, но нисколько генія. Въ томъ и другомъ случаѣ это было не больше, какъ умный и способный министръ, который съ успѣхомъ велъ государство по старой, уже проложенной колѣ, на основаніи сохраненія *statu quo*. Насильственная смерть царевича,—кто бы ни былъ ея причиной,—уже бросала на него тѣнь подозрѣнія въ глазахъ народа, и это подозрѣніе всѣми силами возбуждали и поддерживали враги его—бояре, которые, естественно, никакъ не могли простить ему присвоеніе того, на что каждый изъ нихъ считалъ себя въ точно такомъ же, какъ и онъ, правѣ. Какъ правитель, Годуновъ не могъ вносить новыхъ элементовъ въ жизнь государства, которымъ управлялъ не отъ своего имени. Подобная попытка могла бы разстроить всѣ его планы и погубить его. Но когда онъ сдѣлался царемъ,—тогда онъ непремѣнно долженъ былъ явиться реформаторомъ-зиждителемъ, чтобы заставить и народъ, и враговъ своихъ—бояръ, забыть, что еще недавно былъ онъ такимъ же, какъ и они, подданнымъ. Но что же онъ сдѣлалъ для Россіи, сдѣлавшись ея царемъ?—и какимъ царемъ—самовластнымъ, воля котораго для народа была воля Божія! Чего бы нельзѧ было сдѣлать съ такой властью, подкѣпляемою геніемъ! Но и сдѣлавшись царемъ, Годуновъ остался тѣмъ же умнымъ и ловкимъ правителемъ, какимъ былъ и при Феодорѣ. Надъ окружающими его боярами онъ имѣлъ личныхъ преимуществъ не больше, какъ настолько, чтобы оскорбить своимъ превосходствомъ ихъ самолюбіе, ихъ ограниченность и посредствен-

ность, но не настолько, чтобы покорить ихъ этимъ превосходствомъ, заставить ихъ пасть передъ нимъ, какъ передъ существомъ высшаго рода... Онъ ловко разыгралъ комедію, по счастливому выраженію Пушкина, „морщившись передъ короною, какъ пьяница передъ чаркою вина“; онъ заставилъ себя избрать, а не самъ объявилъ себя царемъ; онъ долго обнаруживалъ какой-то ужасъ къ мысли о верховной власти, и долго заставлялъ себя умолять. Но эта комедія даже черезчур тонко была разыграна, и въ ней проглядываетъ не образъ великаго человѣка, который всегда прямо идетъ къ своей цѣли, даже и тогда, когда идетъ къ ней не прямой дорогой, а образъ „маленькаго великаго человѣка“, смѣлаго интригана. Это сейчасъ же и обнаружилось, какъ скоро избраніе было рѣшено, и вѣнчаніе осталось уже только обрядомъ, который не опасно было и отложить на время. Когда Сикстъ V былъ избранъ конклавомъ, онъ вдругъ выпрямился и, противъ обыкновенія, самъ запѣлъ „Te Deum“: въ этой поспѣшности виденъ великий человѣкъ, достигшій своей цѣли и принимающій власть не какъ ницкій копейку, съ низкими поклонами, но съ увѣренностью и гордостью силы, сознавшій свое право на власть. Сикстъ не началъ разсыпаться въ обѣщаніяхъ: буду-де таковъ-то и таковъ, сдѣлаю то и другое; а сейчасъ началъ быть и дѣлать, никому не угодя, ни къ кому не подлаживалъ и заставляя трепетать тѣхъ, которые никого не трепетали и которыхъ всѣ трепетали... Не такъ поступилъ Годуновъ. При вѣнчаніи на царство, онъ клянется быть отцомъ народа, показываетъ свою рубашку, говоря, что всегда будетъ готовъ раздѣлить ее съ послѣднимъ своимъ подданнымъ... Кто просилъ, кто требовалъ отъ него этихъ обѣщаній и клятвъ? И что значатъ они, что видно въ нихъ, если не чрезмѣрная радость о достижениѣ давно желанной цѣли, если не благодарность, рожденная этой радостью—благодарность за блестящее бремя не по силамъ, за великое титло не по достоинству, за высшую власть не по заслугѣ?.. Не такъ принимаетъ подобную власть гений, великий человѣкъ: онъ беретъ ее, какъ что-то свое, принадлежащее ему по праву, никому не кланяясь, никого не благодаря, никому не дѣлая обѣщаній, не давая клятвъ въ порывѣ дурно скрытаго восторга. Вскорѣ послѣ Годунова въ русской исторіи снова повторилось зрѣлище обѣщаній и клятвъ: ничтожный Шуйскій, въ благодарность за корону, которой онъ сознавалъ себя внутренно недостойнымъ, предлагалъ бояршинѣ права, которыхъ она отъ него не просила и взять не хотѣла... Но вотъ Годуновъ—царь. Ласкамъ народу нѣть конца, милости на всѣхъ льются рѣкой... Первый изъ русскихъ царей обратилъ онъ свое непосредственное, прямое, а не透过ъ бояръ, вниманіе на массу народа, на его низшій и, следовательно, самый обширный слой... Это была какая-то нѣжная, родственная заботливость, въ которой былъ виденъ больше отецъ, нежели царь... Народъ долженъ бы былъ богоизбрать Годунова, и Годуновъ долженъ бы быть самымъ народнымъ изъ всѣхъ бывшихъ до него царей рус-

скихъ... Въ такомъ случаѣ, что ему тайная злоба и зависть, темная крамола боярщины! Онъ могъ спокойно презирать ее: на стражѣ его стояла лучшая и надежнейшая изъ всѣхъ швейцарскихъ и другихъ возможныхъ гвардій—любовь народная... и въ самомъ дѣлѣ, народъ славилъ царя благодушного, ласковаго, правосудного, милостиваго, доступнаго... Народъ даже старался, силился полюбить Годунова—и никакъ не могъ... Если у него и была на минуту любовь къ Годунову, то въ головѣ только, а не въ сердцѣ: умъ и воображеніе народа удивлялись Годунову, а сердце молчало, упрымаясь согласиться съ умомъ и воображеніемъ... Но вотъ прошла и минута этой надуманной, такъ сказать, головной любви; Борисъ удвояетъ свои благодѣянія народу, а народъ, принимая ихъ, клянетъ Бориса... Еще прежде его царствованія, когда еще онъ былъ только правителемъ, тѣмъ убитаго царевича начала его преслѣдоватъ; Борисъ дѣлаетъ счастливый отпоръ наглому нашествію на Россію крымскаго хана, проникшаго до стѣнъ самой Москвы, а народъ говорить, что самъ Борисъ призвалъ хана, чтобы отвратить общее вниманіе отъ смерти царевича и дешевою цѣною прославиться избавителемъ отечества... Царица родила дочь: заговорили, что она родила сына, а Борисъ подмѣнилъ его дѣвочкою; а когда маленькая царевна умерла, прошелъ слухъ, что Годуновъ отравилъ ее, боясь, чтобы Федоръ не передалъ ей престола... Въ Москвѣ начались пожары: Борисъ казнилъ зажигателей и помогъ погорѣвшимъ: а народъ обвинялъ его самого въ зажигательствѣ и жалѣлъ о казненныхъ, какъ о невинныхъ жертвахъ... Годуновъ сталъ преслѣдоватъ расpusкateleй этихъ слуховъ и казнить ихъ: ничего худшаго не могъ онъ выдумать—это значило согласиться въ справедливости слуховъ... Ясно, что слухи эти распускали бояре; но народъ ловилъ ихъ жаднымъ ухомъ...

Но вотъ вѣнчаніе на царство ослѣшило народъ: и Борисъ и самъ народъ приняли удивленіе за любовь... Комедія продолжалась только одинъ годъ: Борисъ не выдержалъ своей роли и сорвалъ съ себя маску, не имѣя силы дольше носить ее. Интриганъ становится тираномъ и напоминаетъ собою Грознаго. У него есть свой Малюта Скуратовъ, это презрѣнныи, подлый рабъ его—Семенъ Годуновъ. Лаская и награждая явно, онъ мучить и казнить тайно, и все по поводу слуховъ, все по подозрѣнію въ ненависти къ царю и злыхъ противъ него умысловъ. Бѣльскаго, уже разъ сосланнаго въ ссылку, онъ ссылаетъ снова, выщипавъ ему всю бороду по одному волоску,—какое татарское наказаніе!.. Тюрьмы были набиты биткомъ, шпионство сдѣлалось не только выгоднымъ, но и почетнымъ ремесломъ... Явныхъ казней было мало; большую частью все умирали скоропостижно: этотъ человѣкъ не умѣлъ быть даже тираномъ открыто, какъ Грозный, и тиранствовалъ во мракѣ, тайкомъ... Открывается страшный голодъ въ Россіи; народъ гибнетъ тысячами, шайки разбойниковъ грабятъ и рѣжутъ безнаказанно; Борисъ строго наказываетъ скучниковъ хлѣба, сыпать на народъ.

деньгами, даетъ пріютъ голоднымъ и нищимъ, посылаетъ отряды противъ разбойниковъ; строитъ башню Ивана Великаго, чтобы дать народу работу; словомъ, онъ честно, вѣрно исполняетъ свою клятву—дѣлить съ народомъ послѣднюю рубашку свою... И все напрасно, все тщетно!.. Проносятся слухи о Самозванцѣ; наконецъ, Самозванецъ уже поддерживается Польшею, идетъ въ Россію, къ нему передаются русскіе толпами; а Годуновъ ничего не дѣлаетъ, ничего не предпринимаетъ, онъ только собирается и ждетъ манифесты Самозванца и требуетъ отъ Шуйского клятвы, что царевичъ точно умеръ. Какой жалкій царь! Онъ могъ бы раздавить Самозванца—и палъ подъ его ударами. Подозрѣваютъ, что онъ отравилъ себя ядомъ: можетъ быть; но также можетъ быть, что онъ умеръ скропостижно отъ страшнаго напряженія силъ, вслѣдствіе внутреннихъ волненій. Въ обоихъ случаяхъ онъ умеръ малодушно. Первое извѣстіе о Самозванцѣ Годуновъ принялъ даже очень холодно: это можетъ служить доказательствомъ не одному тому, что онъ былъ увѣренъ въ смерти царевича, но и тому, что онъ былъ невиненъ въ ней; въ то же время это служить доказательствомъ, какъ мало былъ онъ дальновиденъ, какъ худо понималъ свое положеніе. Онъ бы долженъ былъ знать, что тѣнь царевича самый ужасный врагъ его во всякомъ случаѣ, былъ онъ убийцою царевича, или нѣтъ: въ первомъ случаѣ эта тѣнь была его неизбѣжною карой за преступленіе; во второмъ она была превосходнымъ предлогомъ для народной ненависти. Бояре могли знать невинность Годунова, но если народъ не любилъ его—этого было уже слишкомъ достаточно, чтобы для народа преступленіе его было яснѣе дня. Пока царевичъ жилъ въ Угличѣ съ матерью,—на него никто не обращалъ вниманія: вѣдь онъ былъ плодомъ седьмого брака Грознаго, и личный характеръ его матери не возбуждалъ ни участія, ни уваженія; Грозный хотѣлъ ее отослать отъ себя, жениться въ восьмой разъ, но смерть помѣшила ему выполнить это намѣреніе. Когда же царевичъ былъ убитъ, и народная ненависть запылала,—младенецъ, святой мученикъ, сдѣлался предметомъ народнаго благоговѣнія...

На всѣхъ дѣйствіяхъ Бориса, даже самыхъ лучшихъ, лежитъ печать отверженія. Всѣ дѣла его неудачны, неблагодатны, потому что всѣ они выходили изъ ложнаго источника. Любовь его къ народу была не чувствомъ, а расчетомъ, и потому въ ней есть что-то ласкательное, льстивое, угодническое, и потому народъ не обманулся ею и отвѣтилъ на нее ненавистью. Удивительное существо—народъ! Почти всегда невѣжественный, грубый, ограниченный, слѣпой,—онъ непогрѣшительно истиинъ и правъ въ своихъ инстинктахъ; если онъ иногда обманывается съ этой стороны, то на одну минуту—не болѣе, и кто не любить его по внутренней, живой, сердечной потребности любить его—тотъ можетъ осыпать его деньгами, умирать за него,—онъ будетъ имъ превозносимъ и восхваляемъ, но любимъ никогда не будетъ. Если же кто любить его не по расчету, а по внутренней ин-

стинктуальной потребности любить, тотъ можетъ итти вопреки всѣмъ его желаньямъ,—и за это народъ будетъ его осуждать, будеть на него роптать, и въ то же время будетъ любить его. Какъ Годуновъ служить живымъ доказательствомъ первой истины, такъ Петръ Великій служить живымъ доказательствомъ второй. Онъ задумалъ страшную реформу; пошелъ наперекоръ духу, преданіямъ, исторіи, обычаямъ народа,—и не только умнѣйше изъ людей его времени имѣли полное право смотрѣть на его реформу, какъ на самую несбыточную и противную здравому смыслу фантазію, но, вѣроятно, и у него самого бывали горькія минуты сомнѣнія и разочарованія, когда и самъ онъ думалъ то же. Реформа его встрѣтила сильную оппозицію—не со стороны только мятежныхъ стрѣльцовъ и невѣжественныхъ раскольниковъ: эта оппозиція была слишкомъ безсильна передъ его двойнымъ правомъ дѣйствовать самовластно—правомъ насилия и правомъ генія; но и со стороны всего народа, котораго съ теплыхъ полатей лѣни и невѣжества стащилъ онъ на трудъ живой и дѣятельный. Народъ, шовинуясь ему безусловно, осуждалъ его дѣйствія и ропталъ на него, но вмѣстѣ съ тѣмъ и любилъ его до готовности отдать за него послѣднюю каплю своей крови... Между тѣмъ Петръ никогда не дѣлалъ ему обѣщаній, не давалъ клятвъ, но шелъ гордо и прямо, требуя повиновенія, а не умоляя о немъ; но зато все обѣщанное народу Годуновыемъ онъ исполнялъ на дѣлѣ, и еще гораздо лучше, потому что дѣйствовалъ въ этомъ случаѣ не по расчету, а по влечению сердца... Таковъ геній: затѣявъ дѣло, которое, по всѣмъ расчетамъ человѣческой мудрости, не могло не казаться безуміемъ, онъ доводить его до конца, торжествуя надъ всѣми препятствіями... Въ чёмъ состоить тайна этого успѣха?—въ творческой силѣ, присущей организму генія, какъ инстинктъ,—больше ни въ чёмъ! Геній часто дѣйствуетъ инстинктивно, безумно, и всегда успѣваетъ,—между тѣмъ какъ талантъ разочаровываетъ вѣрно, соображаетъ тонко, дѣйствуетъ мудро,—всѣ это видѣть и всѣ одобряютъ его цѣль и средства, никто не сомнѣвается въ успѣхѣ,—а между тѣмъ, глядь—вся эта мудрость сама собою обратилась въ безуміе, и великолѣпное зданіе, возвѣгавшееся съ такимъ трудомъ, очутилось карточнымъ домикомъ: дунулъ вѣтеръ—и нѣтъ его... Вотъ талантъ, который берется за роль генія!...

Борисъ Годуновъ не былъ человѣкомъ ничтожнымъ и даже обыкновеннымъ, напротивъ, это былъ человѣкъ ума великаго, который цѣлою головой стоялъ выше своего народа. Борисъ былъ даже выше многихъ предразсудковъ своего времени: первый изъ царей русскихъ рѣшился онъ выдать дочь за иностранного и иностранный принца; говорить, хотѣть и сына женить на иностранной принцессѣ; это повлекло бы Россію въ болѣе живыя и плодотворныя отношенія съ Европою, нежели въ какихъ она была съ нею до того времени, и потому имѣло бы огромное вліяніе на ея будущую судьбу. Борисъ уважалъ просвѣщеніе, тщательно, сколько было въ его средствахъ,

воспитывать дѣтей своихъ, особенно сына; хотѣть основать въ Москвѣ университетъ, и послалъ въ Европу за учеными людьми. Уже одно то, что онъ понялъ необходимость опереться преимущественно на любовь народа, и показываетъ, какъ уменъ былъ этотъ несчастный любимецъ счастья. Но всѣ предпріятія его не состоялись именно потому (а не почему-нибудь другому), что у него были только умъ и даровитость, но не было геніальности,—тогда какъ судьба поставила его въ такое положеніе, что геніальность была ему необходима. Будь онъ законный, наследный царь—онъ былъ бы однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ царей русскихъ: тогда ему не было бы никакой нужды быть реформаторомъ, и оставалось бы только хранить *statu quo*, улучшая, но не измѣняя его,—а для этого, и безъ геніальности, достало бы у него ума и способности—и онъ много сдѣлалъ бы полезнаго для Россіи. Но онъ былъ высокочка (рагуен), и потому долженъ былъ быть геніемъ, или пастъ—и палъ... Ведя Русь по старой колѣѣ, онъ самъ не могъ не споткнуться на той колѣѣ, потому что старая Русь не могла простить ему того, что видѣла его бояриномъ прежде, чѣмъ увидѣла царемъ своимъ. Чѣбъ утвердиться самому на престолѣ и упрочить его за своимъ потомствомъ,—ему надо преобразовать, перевоспитать Русь, внести въ ея жизнь новые элементы. Но для этого у него не было никакой идеи, никакого принципа. Онъ былъ только умнѣе своего времени, но не выше его. Въ немъ самомъ жила старая Русь, доказательство—его тиранія и борода Бѣльскаго... А между тѣмъ онъ чувствовалъ, что по его положенію ему необходимо быть преобразователемъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ человѣкъ не геніальный, думалъ, что для этого достаточно только прибавить кое-что новаго. И вотъ онъ учреждаетъ въ Москвѣ патріаршій престолъ и сажаетъ на него не лучшаго, а преданийшаго изъ духовныхъ лицъ, который и короновалъ его впослѣдствіи. Это нововведеніе было совершенно въ духѣ того времени: новое доказательство, что Годуновъ не былъ выше своего времени и ничего не видѣлъ за нимъ... Другое нововведеніе было еще болѣе въ современномъ ему духѣ, и потому самому было вредно для Россіи того вѣка и для новой Россіи, и гибельно для самого Годунова: мы говоримъ о томъ законѣ Годунова, который увѣковѣчилъ русскою пословицей: „Вотъ тебѣ, бабушка, и Юрьевъ день!“ Этимъ нововведеніемъ Годуновъ раздражилъ обѣ стороны, которыхъ оно касалось— и помѣщиковъ, и крестьянъ. Первые жаловались, что они не могутъ выгнать изъ своего помѣстья лѣниваго или развратнаго холопа, и обязаны кормить его за то, что онъ ничего не дѣлаетъ, или за то, что онъ воруетъ или пьетъ. Вторые—говоря языкомъ римскаго права, изъ *personae* сдѣлались ген. Значить, до Годунова у насть не было крѣпостнаго сословія, и въ этомъ отношеніи не мы у Европы, а Европа у насть могла бы съ большою для себя пользой позаимствовать. Вмѣсто крѣпостнаго права, у насть было только помѣстное право—право владѣть землею и обрабатывать ее руками пролетаріевъ, на свободныхъ съ ними условіяхъ,

обратившихся въ обычай. Этотъ новый законъ былъ такъ въ духѣ тѣхъ временъ, что утвердился и укоренился надолго—до временъ Екатерины, уничтожившей даже слово „рабъ“ и измѣнившей положеніе этого сословія. И вотъ чѣмъ пережилъ себя Годуновъ въ потомствѣ...

У великаго человѣка и сердце великое. Идя своею дорогой и опираясь на свою силу, онъ ничего не боится; онъ разить своихъ враговъ, но не мстить имъ; въ ихъ паденіи для него заключается торжество его дѣла, а не удовлетвореніе обиженнаго самолюбія. Петръ Великій умѣлъ карать враговъ своего дѣла, и умѣлъ прощать личныхъ враговъ, если видѣлъ, что они ему не опасны. Его кара была актомъ правосудія, а не дѣломъ личнаго мщенія, и онъ каралъ открыто, среди бѣлага дня, но не отправлялъ во мракѣ; принявъ публично доность, публично изслѣдовалъ дѣло и публично наказывалъ, если доносъ оказывался справедливымъ. Когда бунтъ стрѣлецкій заставилъ его воротиться изъ путешествія,—кровь стрѣльцовъ лилась рѣкою въ глазахъ грознаго царя, и онъ не боялся показаться тираномъ, потому что не былъ имъ. Не такъ дѣйствовалъ Годуновъ. Сперва онъ крѣпился, надѣясь ласкою и милостью обезоружить тайныхъ враговъ и прекратить неблагопріятные о себѣ толки; но, видя, что это не дѣйствуетъ,—не вытерпѣлъ, и тогда настала эпоха террора, шпіонства, доносовъ, пытокъ и скоро-постижныхъ смертей... У Годунова не было великаго сердца, и потому онъ не могъ не мучиться подозрѣніями, не бояться крамолы, не увлекаться личнымъ мщеніемъ и, наконецъ, не сдѣлаться тираномъ. Словомъ, онъ былъ только замѣчательный, а не великий человѣкъ, умный и талантливый администраторъ, но не гений.

Итакъ, вѣрно понять Годунова исторически и поэтически,—значить понять необходимость его паденія равно въ обоихъ случаяхъ—виновенъ ли онъ былъ въ смерти царевича, или невиненъ. А необходимость эта основана на томъ, что онъ не былъ геніальнымъ человѣкомъ, тогда какъ его положеніе непремѣнно требовало отъ него геніальности. Это просто и ясно.

Отчего же не понялъ этого Пушкинъ? Или недостало у него художнической проницательности, поэтическаго такта?—Нѣтъ, оттого, что онъ увлекся авторитетомъ Карамзина и безусловно покорился ему. Вообще, надо бѣзъ титанъ, что чѣмъ больше понималъ Пушкинъ тайну русскаго духа и русской жизни, тѣмъ больше иногда и заблуждался въ этомъ отношеніи. Пушкинъ былъ слишкомъ русскій человѣкъ, и потому не всегда вѣрно судилъ обо всемъ русскомъ: чтобы что-нибудь вѣрно оцѣнить разсудкомъ, необходимо это что-нибудь отдать отъ себя и хладнокровно посмотреть на него, какъ на что-то чуждое себѣ, вѣдь себя находящееся,—а Пушкинъ не всегда могъ дѣлать это, потому именно, что все русское слишкомъ срослось съ нимъ. Такъ, напримѣръ, онъ въ душѣ былъ больше помѣщиковъ и дворяниномъ, нежели сколько можно ожидать этого отъ поэта. Говоря въ своихъ запискахъ о своихъ предкахъ, Пушкинъ осуждалъ одного

изъ нихъ за то, что тотъ подписался подъ соборнымъ дѣяніемъ объ уни-  
чоженіи мѣстничества. Первыми своими произведеніями онъ просыпалъ на  
Руси за русскаго Байрона, за человѣка отрицанія. Но ничего этого не бы-  
вало: невозможно предположить болѣе анти-байронической, болѣе консер-  
вативной натуры, какъ натура Пушкина. Вспоминая о тѣхъ его „стишахъ“,  
которые молодежь того времени такъ любила читать въ рукописи,—нельзя  
не улыбнуться ихъ дѣтской невинности и не восхлиknуть:

То кровь кипить, то силь избытокъ!

Пушкинъ былъ человѣкъ преданія гораздо болѣе, нежели какъ объ  
этомъ еще и теперь думаютъ. Пора его „стишковъ“ скоро кончилась, по-  
тому что скоро понялъ онъ, что ему надо быть только художникомъ и  
болѣе ничѣмъ, ибо такова его натура, а, следовательно, таково и при-  
званіе его. Онъ началъ съ того, что написалъ эпиграмму на Карамзина, со-  
вѣтуя ему лучше докончить „Илью Богатыря“, нежели приниматься за исторію  
Россіи, а кончилъ тѣмъ, что одно изъ лучшихъ своихъ произведеній написалъ  
подъ вліяніемъ этого историка и посвятилъ „драгоценной для Россіи и памяти Николая Михайловича Карамзина сей трудъ, геніемъ вдохновенный“.

Удивительно ли послѣ этого, что Пушкинъ смотрѣлъ на Годунова  
глазами Карамзина и столько заботился объ истинѣ и поэзіи, сколько о  
томъ, чтобы не погрѣшить противъ „Исторіи Государства Россійскаго“? И  
потому его поэтическій инстинктъ виденъ не въ цѣлости (l'ensemble), а  
только въ частностяхъ его трагедіи. Лицо Годунова, получивъ характеръ  
мелодраматического злодѣя, мучимаго совѣстью, лишилось своей цѣлости и  
полноты; изъ живописнаго изображенія, какимъ бы должно было оно быть,  
оно сдѣлалось мозаическою картиной или, лучше сказать, статуею, которая  
вырублена не изъ одного цѣльнаго мрамора, а сложена изъ золота, серебра,  
мѣди, дерева, мрамора, глины. Отъ этого Пушкинскій Годуновъ является  
читателю то честнымъ, то низкимъ человѣкомъ; то героемъ, то трусомъ; то  
мудрымъ и добрымъ царемъ, то безумнымъ злодѣемъ, и нѣть другого ключа  
къ этимъ противорѣчіямъ, кромѣ упрековъ виновной совѣсти... Отъ этого,  
за отсутствіемъ истинной и живой поэтической идеи, которая давала бы  
цѣлость и полноту всей трагедіи, „Борисъ Годуновъ“ Пушкина является  
чѣмъ-то неопределѣннымъ и не производить почти никакого рѣзкаго, со-  
средоточеннаго впечатлѣнія, какого въ правѣ ожидать отъ нея читатель,  
безпрестанно поражаемый ея художественными красотами, безпрестанно  
восхищающейся ея удивительными частностями.

И дѣйствительно, если, съ одной стороны, эта трагедія отличается  
большими недостатками, то, съ другой стороны, она же блеститъ и необык-  
новенными достоинствами. Первые выходятъ изъ ложности идеи, положен-  
ной въ основаніе драмы; вторыя—изъ превосходнаго выполненія со сто-  
роны формы. Пушкинъ былъ такой поэтъ, такой художникъ, который какъ

будто не умѣлъ, если бы и хотѣлъ, и дурную идею воплотить не въ пре-  
восходную форму. Прежде всего спросимъ всѣхъ, сколько-нибудь знакомыхъ  
съ русской литературой: до Пушкинского „Бориса Годунова“ изъ русскихъ  
читателей или русскихъ поэтовъ и литераторовъ имѣлъ ли кто-нибудь какое-нибудь понятіе о языѣ, которымъ долженъ говорить въ драмѣ русскій  
человѣкъ до-Петровской эпохи? Не только прежде, даже послѣ „Бориса Го-  
дуна“ явилась ли на русскомъ языѣ хотя одна драма, содержаніе кото-  
рой взято изъ русской исторіи и въ которой русскіе люди чувствовали бы, по-  
нимали и говорили по-русски? И читая всѣхъ этихъ „Ляпуновыхъ“, „Ско-  
пинскихъ-Шуйскихъ“, „Баторіевъ“, „Іоанновъ Третыхъ“, „Самозванцевъ“,  
„Царей-Шуйскихъ“, „Еленъ Глинскихъ“, „Пожарскихъ“, которые съ трид-  
цатыхъ годовъ настоящаго столѣтія наводнили русскую литературу и рус-  
скую сцену,—что видите вы въ почтенныхъ ихъ сочинителяхъ, если не  
Сумароковыхъ нашего времени? Не будемъ говорить о русскихъ траге-  
діяхъ, появившихся до Пушкинского „Бориса Годунова“: чего же можно и  
требовать отъ нихъ! Но что русскаго во всѣхъ этихъ трагедіяхъ, которыхъ  
явились уже послѣ „Бориса Годунова“? И не можно ли подумать скорѣе,  
что это нѣмецкія пьесы, только переложенные на русскіе нравы? Словно  
гигантъ между пигмеями, до сихъ поръ высятся между множествомъ quasi-  
русскихъ трагедій Пушкинскій „Борисъ Годуновъ“ въ гордомъ и суровомъ  
уединеніи, въ недоступномъ величіи строгаго художественнаго стиля, бла-  
городной классической простоты... Довольно уже расточено было критикою  
похвалъ и удивленія на сцену въ кельѣ Чудова монастыря между отцомъ  
Пименомъ и Григорьевъ... Въ самомъ дѣлѣ, эта сцена, которая была напечатана въ одномъ московскомъ журнальѣ года за четыре или лѣтъ за пять  
до появленія всей трагедіи и которая тогда же надѣлала много шума,—эта  
сцена, въ художественномъ отношеніи, по строгости стиля, по неподѣльной  
и неподражаемой простотѣ, выше всѣхъ похвалъ. Это что-то великое, гро-  
мадное, колоссальное, никогда небывалое, никѣмъ не предчувствованное.  
Правда, Пимень ужъ слишкомъ идеализированъ въ его первомъ монологѣ, и  
потому чѣмъ болѣе поэтическаго и высокаго въ его словахъ, тѣмъ болѣе  
грѣшить авторъ противъ истины и правды дѣйствительности: не русскому,  
да и никакому европейскому отшельнику-лѣтописцу того времени не могли  
войти въ голову подобныя мысли—

..... Недаромъ многихъ лѣтъ  
Свидѣтелемъ Господь меня поставилъ  
И книжному искусству вразумилъ:  
Когда-нибудь монахъ трудолюбивый  
Найдетъ мой трудъ усердный, безымянныій;  
Засвѣтитъ онъ, какъ я, свою лампаду  
И, пыль стыковъ отъ хартий отряхнуетъ,  
Правдивыя сказанья перепишиетъ.

.....

На старости я сынова живу;  
Минувшее проходитъ предо мною...  
Давно лъ оно неслось, событий полно,  
Волнуясь, какъ море-океанъ?  
Теперь оно безмолвно и спокойно:  
Не много лицъ мнѣ память сохранила,  
Не много словъ доходить до меня,  
А прочее погибло невозвратно!..

Ничего подобного не могъ сказать русскій отшельникъ-лѣтописецъ конца XVI и начала XVII вѣка; слѣдовательно, эти прекрасныя слова—ложь, но ложь, которая стоитъ истины: такъ исполнена она поэзіи, такъ обаятельно дѣйствуетъ на умъ и чувство! Сколько лжи въ этомъ родѣ сказали Корнель и Расинъ—и, однако же, просвѣщеннѣйшая и образованѣйшая нація въ Европѣ до сихъ поръ рукоплещетъ этой поэтической лжи! И не диво: въ ней, въ этой лжи относительно времени, мѣста и нравовъ, есть истина относительно человѣческаго сердца, человѣческой натуры. Во лжи Пушкина тоже есть своя истина, хотя и условная, предположительная: отшельникъ Пименъ не могъ такъ высоко смотрѣть на свое призваніе, какъ лѣтописецъ, но если бы въ его время такой взглядъ былъ возможенъ, Пименъ выразился бы не иначе, а именно такъ, какъ заставилъ его выскакаться Пушкинъ. Сверхъ того, мы выписали изъ этой сцены рѣшительно все, что можно осуждать, какъ ложь въ отношеніи къ русской дѣятельности того времени: все остальное такъ глубоко проникнуто русскимъ духомъ, такъ глубоко вѣрно исторической истины, какъ только могъ это сдѣлать лишь гений Пушкина—истинно-національного русскаго поэта. Какая, напримѣръ, глубоко вѣрная черта русскаго духа заключается въ этихъ словахъ Пимена:

Да вѣдаютъ потомки православныхъ  
Земли родной минувшую судьбу,  
Своихъ царей великихъ поминаютъ  
За ихъ труды, за славу, за добро—  
А за грѣхи, за темныя дѣянья  
Спасителя смиренно умоляютъ.

Вообще, въ этой сцѣнѣ удивительно хорошо обрисованы, въ ихъ противоположности, характеры Пимена и Григорья; одинъ—идеальъ безмятежнаго спокойствія въ простотѣ ума и сердца, какъ тихій свѣтъ лампады, озаряющей въ темномъ углу икону византійской живописи, другой—весь беспокойство и тревога. Григорію трижды снится одна и та же грѣза. Приснувшись, онъ дивится спокойствію, съ которымъ старецъ пишетъ свою лѣтопись,—и въ это время рисуетъ идеальъ историка, который въ то время былъ невозможенъ, другими словами, выговариваетъ превосходнѣйшую поэтическую ложь.

Затѣмъ онъ разсказываетъ старцу о „бѣсовскомъ мечтаніи“, смущавшемъ сонъ его.

Въ этомъ тревожномъ снѣ—весь будущій самозванецъ... И какъ по-русски обрисовать онъ, какая вѣрность въ каждомъ словѣ, въ каждой чертѣ! Въ двухъ монологахъ, Пимена и Григорія<sup>1)</sup>,—факты глубоко-вѣрнаго, глубоко русскаго изображенія этихъ двухъ чисто-русскихъ и такъ противоположныхъ характеровъ.

Слѣдующій затѣмъ длинный монологъ Пимена о суетѣ свѣта и преимуществѣ затворнической жизни—верхъ совершенства! Тутъ русскій духъ, тутъ Русью пахнетъ! Ничья, никакая исторія Россіи не дастъ такого, яснаго живого созерцанія духа русской жизни, какъ это простодушное, безхитростное разсужденіе отшельника. Картина Иоанна Грознаго, искашаго успокоенія „въ подобіи монашескихъ трудовъ“; характеристика Феодора и разсказъ о его смерти,—все это чудо искусства, неподражаемые образы русской жизни до Петровской эпохи! Вообще, вся эта превосходная сцена сама по себѣ есть великое художественное произведеніе, полное и оконченное. Она показала, какъ, какимъ языкомъ должны писаться драматическія сцены изъ русской исторіи, если ужъ должны писаться,—и если не навсегда, то надолго убила возможность такихъ сценъ въ русской литературѣ, потому что скоро ли можно дождаться такого таланта, который послѣ Пушкина могъ бы подвигнуться на этотъ поприщѣ?.. А при этомъ еще нельзя не подумать, не историцѣлъ ли Пушкинъ своею трагедіею всего содержанія русской жизни до Петра Великаго такъ, что касаться другихъ событій историческихъ значило бы только—стъ другими именами и названіями повторять одну и ту же основную мысль, и потому быть убийственно-однообразными?

Теперь о частностяхъ. Вся трагедія какъ будто состоять изъ отдельныхъ частей или сценъ, изъ которыхъ каждая существуетъ какъ будто независимо отъ цѣлаго. Это показываетъ, что трагедія Пушкина есть драматическая хроника, образецъ которой созданъ Шекспиромъ. Кромѣ превосходной сцены въ Чудовомъ монастырѣ, между старцемъ Пименомъ и Отрепьевымъ, въ трагедіи Пушкина есть много прекрасныхъ сценъ. Таковы: первая—въ кремлевскихъ палатахъ между Воротынскимъ и Шуйскимъ, въ которой и исторически и поэтически вѣрно обрисованъ характеръ Шуйскаго; вторая—сцена народа и дѣяка Щелканова на площади; третья—въ кремлевскихъ палатахъ, между Борисомъ, согласившимся царствовать, патріархомъ и боярами. Въ этой сценѣ превосходно обрисовано добросовѣстное лицемѣрство Годунова,—въ томъ смыслѣ добросовѣстное, что, обманывая другихъ, онъ прежде всѣхъ обманывалъ самого себя, какъ всякий талантъ, обольщаемый ролью генія. Прекрасно также окончаніе этой сцены, происходящее между Воротынскимъ и Шуйскимъ, гдѣ характеръ послѣдняго все болѣе и болѣе развивается; его слова—

Теперь не время помнить,  
Совѣтую порой и забывать,—

<sup>1)</sup> Пимена—„Младая кровь играетъ“ и Григорія—„Какъ весело провелъ свою ты младость!“

такъ оригинальны, что должны современемъ обратиться въ любимую пословицу для благоразумныхъ и осторожныхъ людей въ родѣ Шуйского. Превосходна маленькая сцена между патриархомъ и игуменомъ, написанная прозою: это одинъ изъ драгоценнейшихъ перловъ трагедіи.

Мы уже говорили, по поводу шестой сцены, о цѣлой трагедіи: въ ней Борисъ является злодѣемъ, сперва сваливающимъ вину своихъ неудачъ и оскорблений на неблагодарность народа, и послѣ разсуждающей о томъ, какъ жалокъ тотъ, въ комъ нечиста совѣсть. Намъ кажется, что это не драма, а мелодрама: истинно-драматические злодѣи никогда не разсуждаютъ сами съ собою о невыгодахъ нечистой совѣсти и о прѣятности добродѣтели. Вмѣсто этого они дѣйствуютъ, чтобы дойти до цѣли или удержаться у ней, если уже дошли до нея.

Седьмая сцена въ корчмѣ на литовской границѣ превосходна. Жаль только, что желаніе выказать рѣчѣ дерзость Отрѣшева увлекло поэта въ мелодраматизмъ, заставивъ его спровадить Самозванца въ окно корчмы, въ которое и курица проскочила бы съ трудомъ. Къ лучшимъ сценамъ трагедіи принадлежитъ восьмая—въ домѣ Шуйского. Превосходно, выше всякой похвалы, передалъ въ ней поэтъ, устами Шуйского, ропотъ и жалобы на Годунова его современниковъ.

Слѣдующая затѣмъ большая сцена представляетъ собою двѣ части. Въ первой Борисъ превосходно очерченъ, какъ примѣрный семьянинъ, нѣжный отецъ; онъ утѣшаетъ дочь, овдовѣвшую невѣсту, говорить съ сыномъ о сладкомъ плодѣ ученія, о томъ, какъ помогаетъ наука державному труду. Все это такъ просто, такъ естественно,—и Борисъ является въ этой сценѣ во всемъ свѣтѣ своихъ лучшихъ качествъ. Во второй части сцены Борисъ узнаетъ отъ Шуйского о появленіи Самозванца. Странное волненіе, обнаруженное Борисомъ при этомъ извѣстіи, основано поэтомъ на виновной совѣсти Годунова,—и его поспѣшность къ рѣшительнымъ мѣрамъ противорѣчить исторической истинѣ: извѣстно, что Годуновъ вначалѣ принялъ слишкомъ слабыя мѣры противъ Отрѣшева, вѣроятно, не считая его за опаснаго врага. Но если смотрѣть на эту сцену съ точки зреенія Пушкина, въ ней много драматического движения, много страсти. Борисъ въ страшномъ волненіи, а Шуйскій, не теряя присутствія духа отъ мысли, что волненіе можетъ ему стоить головы, и на минуту не перестаетъ быть придворною лисой.

Сцена въ Краковѣ, въ домѣ Вишневецкаго, между Самозванцемъ и іезуитомъ Черниковскимъ очень хороша, за исключеніемъ Ломоносовской фразы: „сыны Славянъ“, некстати вложенной поэтомъ въ уста Самозванцу. Продолженіе и конецъ этой сцены, гдѣ Самозванецъ говоритъ съ сыномъ Курбскаго, съ разными русскими, приходящими къ нему, съ полякомъ Собанскимъ и поэтомъ не представляютъ никакихъ особенно рѣзкихъ чертъ.

За маленькою, но прелестною сценой въ замкѣ Миншка въ Самборѣ,

следует знаменитая сцена у фонтана. Въ ней Самозванецъ является удальцомъ, который готовъ забыть все дѣло для любви, а Марина—холодною, честолюбивою женщиной. Вообще, эта сцена очень хороша, но въ ней какъ будто чего-то недостаетъ, или какъ будто проглядываютъ какія-то ложныя черты, которыхъ трудно и указать, но которыхъ тѣмъ не менѣе производятъ на читателя не совсѣмъ выгодное для сцены впечатлѣніе. Кажется, не преувеличилъ ли поэтъ любовь Самозванца къ Маринѣ, не сдѣлалъ ли онъ изъ минутной прихоти чувственного человѣка какую-то глубокую страсть? Самозванецъ въ этой сцѣнѣ слишкомъ искрененъ и благороденъ; порывы его слишкомъ чисты. Кажется, въ этомъ заключается ложная сторона этой сцены. Безразсудство Самозванца, его безумное признаніе передъ Мариною въ самозванствѣ совершенно въ его характерѣ, пылкомъ, отважномъ, дерзкомъ, на все готовомъ, но рѣшительно неспособномъ ни на что великое, ни на какой глубоко обдуманный планъ; совершение въ его характерѣ и мгновенные порывы животной чувственности, но едва ли въ его характерѣ человѣческое чувство любви къ женщинѣ. Характеръ Маринѣ удивительно хорошо выдержанъ въ этой сцѣнѣ.

Сцена на литовской границѣ между молодымъ Курбскимъ и Самозванцемъ до того приторна, фразиста и исполнена пустой декламаціи, выдаваемой за паѳосъ, что трудно повѣрить, чтобы она была написана Пушкинымъ...

Сцена въ царской думѣ между Годуновымъ, патріархомъ и боярами можетъ быть хороша, даже превосходна только съ Пушкинской точки зрѣнія на участіе Годунова въ смерти царевича; если же смотрѣть на нее иначе, она покажется искусственною, и потому ложною. Но въ ней есть двѣ превосходнѣйшия черты: это—рѣчь патріарха о чудесахъ, творимыхъ останками царевича, и о чудномъ исцѣленіи старого пастуха отъ слѣпоты. Вторая черта—ловкій оборотъ, которымъ хитрый Шуйскій выводить Годунова изъ замѣшательства, въ какое привело его неожиданное предложеніе патріарха.

Сцена на равнинѣ, близъ Новгорода-Сѣверскаго очень интересна своею живостью, характеромъ Маржерета и даже пестрою смѣсью языковъ и лицъ. Сцена юродиваго на Кремлевской площади можетъ быть сочтена даже за превосходную, но только съ Пушкинской точки зрѣнія на виновную совѣсть Бориса. Въ сцѣнѣ подъ Сѣвскомъ Самозванецъ обрисованъ очень удачно.

Въ сцѣнѣ въ царскихъ палатахъ между Годуновымъ и Басмановымъ, оба эти лица являются въ какомъ-то странномъ свѣтѣ. Годуновъ собирается уничтожить мѣстничество (!!). Басмановъ этому, разумѣется, радъ. Оба они разсуждаютъ объ управлѣніи народомъ, и Годуновъ окончательно рѣшаетъ:

Нѣтъ, милости не чувствуетъ народъ;  
Твори добро—не скажетъ онъ спасибо;  
Грабь и казни—тебѣ не будетъ хуже.

Басмановъ за это величаетъ его „высокимъ державнымъ духомъ“, желаетъ ему поскорѣе управиться съ Отрѣпьевымъ, чтобы потомъ „сломить рогъ родному боярству“. Но вотъ Борисъ умираетъ, вогъ даетъ онъ послѣднія наставленія своему наслѣднику; что же особеннаго въ этихъ наставленіяхъ?— Изъ нихъ замѣчательно только одно:

Не измѣнай теченія дѣлъ. Привычка—  
Душа державъ...

Въ этомъ, какъ во всемъ осталъномъ, что говорить умирающей Годуновъ своему сыну, виденъ царь умный, способный и опытный, который былъ бы однимъ изъ лучшихъ царей русскихъ, если бы престолъ достался ему по праву наслѣдія,—но слишкомъ ограниченный умъ для того, чтобы усидѣть на захваченномъ тронѣ...

Крикъ мужика на амвонѣ лобнаго мѣста: „взять Борисова щенка!“ ужасенъ; это голосъ всего народа или, лучше сказать, голосъ судьбы, обрекшой на гибель родъ несчастнаго честолюбца, взявшаго на себя бремя не по силамъ... Пушкинъ непремѣнно хотѣлъ тутъ выразить голосъ судьбы, обрекшой на гибель родъ злодѣя, цареубійцы... Можетъ быть, это было такъ, но спрашиваемъ: который изъ Годуновыхъ болѣе трагическое лицо—цареубійца, наказанный за злодѣянія, или достойный человѣкъ, падшій за недостаткомъ геніальности? Трагическое лицо непремѣнно должно возбуждать къ себѣ участіе. Самъ Ричардъ III—это чудовище злодѣйства, возбуждающее къ себѣ участіе исполникою мощью духа. Какъ злодѣй, Борисъ не возбуждаетъ къ себѣ никакого участія, потому что онъ злодѣй мелкій, малодушный; но какъ человѣкъ замѣчательный, такъ сказать, увлеченный судьбою взять роль не по себѣ, онъ очень и очень возбуждаетъ къ себѣ участіе: видишь необходимость его паденія и все-таки жалѣшь о немъ...

Превосходно окончаніе трагедіи. Когда Мосальскій объявилъ народу о смерти дѣтей Годунова,—„народъ въ ужасѣ молчитъ“... Отчего же онъ молчитъ? развѣ не самъ онъ хотѣлъ гибели Годуновскаго рода, развѣ не самъ онъ кричалъ: „взять Борисова щенка?“... Мосальскій продолжаетъ: „Что жъ вы молчите? Кричите: да здравствуетъ царь Дмитрій Ивановичъ!“— „Народъ безмолвствуетъ“.

Это—послѣднее слово трагедіи, заключающее въ себѣ глубокую черту, достойную Шекспира... Въ этомъ безмолвіи народа слышенъ страшный трагический голосъ Немезиды, изрекающей судъ свой надъ новою жертвой—надъ тѣми, кто погубилъ родъ Годуновыхъ...

Повѣсти Гоголя.

Задача реальнай поэзіи въ томъ состоитъ, чтобы извлекать поэзію жизни изъ прозы жизни и потрясать души вѣрнымъ изображеніемъ этой жизни. И какъ сильна и глубока поэзія г. Гоголя въ своей наружной простотѣ и мелкости! Возьмите его „Старосвѣтскихъ помѣщиковъ“: что въ нихъ? Две пародіи на человѣчество, въ продолженіе иѣсколькихъ дѣсятковъ лѣтъ, пьють и ѳдятъ, ѳдятъ и пьють, а потомъ, какъ водится изстари, умираютъ. Но отчего же это очарованіе? Вы видите всю пошлость, всю гадость этой жизни, животной, уродливой, карикатурной, и между тѣмъ принимаете такое участіе въ персонажахъ повѣсти, смытесь надъ ними, но безъ злости. И потомъ, вы такъ живо представляете себѣ актеровъ этой глупой комедіи, такъ ясно видите всю ихъ жизнь, вы, который, можетъ быть, никогда не бывалъ въ Малороссіи, никогда не видалъ такихъ картинъ и не слыхалъ о такой жизни! Отчего это? Оттого, что это очень просто и, слѣдовательно, очень вѣрно; оттого, что авторъ нашелъ поэзію и въ этой пошлой и нелѣпой жизни, нашелъ человѣческое чувство, движавшее и оживлявшее его героеvъ: это чувство—привычка. Знаете ли вы, что такое привычка, это странное чувство, о которомъ Пушкинъ сказалъ:

Привычка небомъ намъ дана:  
Замѣна счастія она.

Можете ли вы предположить возможность мужа, который рыдаетъ надъ, гробомъ своей жены, съ которою сорокъ лѣтъ грызся, какъ кошка съ собакою? Понимаете ли вы, что можно грустить о дурной квартирѣ, въ которой вы жили много лѣтъ, къ которой вы привыкли, какъ душа къ тѣлу, и съ которой у васъ соединяются воспоминанія о простой однообразной жизни, о живомъ труде и сладкомъ досугѣ и, можетъ быть, о иѣсколькихъ сценахъ любви и наслажденія, и которую вы мѣняете на великолѣпныя палаты? Понимаете ли вы, что можно грустить о собакѣ, которая десять лѣтъ сидѣла на цѣпи и десять лѣтъ вертѣла хвостомъ, когда вы мимо проходили?.. О, привычка великая психологическая задача, великое таинство души человѣческой. Холодному сыну земли, сыну заботъ и промысловъ житейскихъ замѣняетъ она чувства человѣческія, которыхъ лишила его природа или обстоятельства жизни. Для него она истинное блаженство, истинный даръ Прорѣдѣнія, единственный источникъ его радостей и (дивное дѣло!) радостей человѣческихъ! Но что она для человѣка въполномъ смыслѣ этого слова? Не насмѣшка ли судьбы? И онъ платить ей свою дань, и онъ прильпаетъ къ пустымъ вещамъ и пустымъ людямъ, и горько страдаетъ, лишаясь ихъ! И что же еще? Г. Гоголь сравниваетъ ваше глубокое, человѣческое чувство, вашу высокую, пламенную страсть съ чувствомъ привычки жалкаго полу-

человѣка и говорить, что его чувство привычки сильнѣе, глубже и продолжительнѣе вашей страсти, и вы стоите передъ нимъ потупя глаза и не зная, что отвѣтить, какъ ученикъ, не знающій урока передъ своимъ учителемъ!... Такъ вотъ гдѣ часто скрываются пружины лучшихъ нашихъ дѣйствій, прекраснѣйшихъ нашихъ чувствъ! О бѣдное человѣчество! жалкая жизнь! И однаждыль вамъ все-таки жаль Аѳанасія Ивановича и Пульхеріи Ивановны! вы плачете о нихъ, которые только пили и ъли и потомъ умерли! О, г. Гоголь истинный чародѣй, и вы не можете представить, какъ я сердитъ на него за то, что онъ и меня чуть не заставилъ плакать о нихъ, которые только пили и ъли и потомъ умерли!

Совершенная истина жизни въ повѣстяхъ г. Гоголя тѣсно соединяется съ простотою вымысла. Онъ не льстить жизни, но и не клевещетъ на нее; онъ радъ выставить наружу все, что есть въ ней прекраснаго, человѣческаго, и, въ то же время, не скрываетъ нимало ея безобразія. Въ томъ и другомъ случаѣ онъ вѣренъ жизни до послѣдней степени. Она у него настоящій портретъ, въ которомъ все схвачено съ удивительнымъ сходствомъ, начиная отъ экспрессіи оригинала до веснушекъ лица его; начиная отъ гардероба Ивана Никифоровича до русскихъ мужиковъ, идущихъ по Невскому проспекту, въ сапогахъ, запачканныхъ известью; отъ колоссальной физіономіи богатыря Бульбы, который не боялся ничего въ свѣтѣ, съ люлькою въ зубахъ и саблею въ рукахъ, до стояческаго философа Хомы, который не боялся ничего въ свѣтѣ, даже чертей и вѣдьмъ, когда у него люлька въ зубахъ и рюмка въ рукахъ.

Скажите, Бога ради, можно ли явительнѣе, злобнѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ добродушнѣе и любезнѣе наругаться надъ бѣднымъ человѣчествомъ?.. И все оттого, что слишкомъ вѣрно! А вотъ, посмотрите на жизнь Филомона и Бавкиды: „Нельзя было глядѣть безъ участія на ихъ взаимную любовь и т. д.

Замѣчаете ли вы здѣсь всю тонкость Аѳанасія Ивановича, который хочетъ разными околичностями отвести глаза своей сожительницы отъ своего ужаснаго аппетита, которого онъ какъ будто самъ стыдится? Но посмотримъ на его дальнѣйшіе подвиги. „Послѣ этого Аѳанасій Ивановичъ сѣдалъ еще нѣсколько грушъ и отправлялся погулять по саду вмѣстѣ съ Пульхеріею Ивановной“.

Какъ вы думаете объ этомъ? По моему, такъ въ этомъ очеркѣ весь человѣкъ, вся жизнь его, съ ея прошедшими, настоящими и будущими! А супружеская любовь двухъ старцевъ, а насмѣшочки Аѳанасія Ивановича надъ своею сожительницей касательно внезапнаго пожара въ ихъ домѣ, или, что еще ужаснѣе, касательно еще намѣренія итти на войну; страхъ доброй Пульхеріи Ивановны, ея возраженія, ея легкая досада и, наконецъ, чувство самодовольствія, испытываемое Аѳанасіемъ Ивановичемъ при мысли, что ему удалось подшутить надъ своею дражайшою половиной! О, эти картины, эти черты—суть такие драгоценныя перлы поэзіи, въ сравненіи съ

которыми все прекрасныя фразы нашихъ доморощенныхъ Бальзаковъ настоящій горохъ... И все это не придумано, не списано съ рассказовъ или съ дѣйствительности, но угадано чувствомъ, въ минуту поэтическаго откровенія! Если бы я вздумалъ выписывать все мѣста, доказывающія, что г. Гоголь уловилъ идею описываемой жизни и вѣрно воспроизвелъ ее, то мнѣ пришлось бы списать почти все его повѣсти, отъ слова до слова.

Повѣсти Гоголя народны въ высочайшей степени; но я не хочу слишкомъ распространяться обѣ ихъ народности, ибо народность есть не достоинство, а необходимое условіе истинно художественного произведенія, если подъ народностью должно разумѣть вѣрность изображенія нравовъ, обычаевъ и характера того или другого народа, той или другой страны. Жизнь всякаго народа проявляется въ своихъ, ей одной свойственныхъ, формахъ; следовательно, если изображеніе жизни вѣрно, то и народно. Народность, чтобы отразиться въ поэтическомъ произведеніи, не требуетъ такого глубокаго изученія со стороны художника, какъ обыкновенно думаютъ. Поэту стоитъ только мимоходомъ взглянуть на ту или другую жизнь, и она уже усвоена имъ. Какъ малороссу, г. Гоголю съ дѣствія знакома жизнь малороссійская, но народность его поэзіи не ограничивается одною Малороссіей. Въ его „Запискахъ сумасшедшаго“, въ его „Невскомъ проспектѣ“ нѣтъ ни одного хохла,—все русскіе и, вдбавокъ, еще нѣмцы; а каково изображеніе имъ эти русскіе и эти нѣмцы!

Оригинальность у Гоголя состоитъ въ комическомъ одушевленіи, всегда побуждаемомъ чувствомъ глубокой грусти. Въ этомъ отношеніи русская поговорка: „началь во здравіе, а свѣль за упокой“, можетъ быть девизомъ его повѣстей. Въ самомъ дѣлѣ, какое чувство остается у васъ, когда пересмотрите вы все эти картины жизни, пустой, ничтожной, во всей ея на-готѣ, во всемъ ея чудовищномъ безобразіи, когда до-сыта нахочечтесь, на-ругаетесь надъ нею? Я уже говорилъ о „Старосвѣтскихъ помѣщикахъ“—обѣ этой слезной комедіи во всемъ смыслѣ этого слова. Возьмите „Записки сумасшедшаго“, этотъ уродливый гротескъ, эту странную, прихотливую грэзу художника, эту добродушную насыпь надъ жизнью и человѣкомъ, жалкою жизнью, жалкимъ человѣкомъ, эту карикатуру, въ которой такая бездна поэзіи, такая бездна философіи, эту психическую исторію болѣзни, изложенную въ поэтической формѣ, удивительную по своей истинѣ и глубокости, достойную кисти Шекспира; вы еще смѣетесь надъ простакомъ, но уже вашъ смѣхъ растворенъ горечью: это смѣхъ надъ сумасшедшими, ко-тораго бредъ и смѣшить и возвуждаетъ состраданіе. Повѣсть о „Скорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ“, съ этой стороны, всего удивительнѣе. Въ „Старосвѣтскихъ помѣщикахъ“ вы видите людей пустыхъ, ничтожныхъ и жалкихъ, но, по крайней мѣрѣ, добрыхъ и радуш-ныхъ; ихъ взаимная любовь основана на одной привычкѣ: но вѣдь и привычка все же человѣческое чувство, но вѣдь всякая любовь, всякая привя-

занность, на чём бы она ни основывалась, достойна участия, следовательно, еще понятно, почему вы жалеете об этих старикахъ. Но Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ существа совершенно пустыя, ничтожны и притомъ нравственно гадки и отвратительны, ибо въ нихъ нетъ ничего человѣческаго; зачѣмъ же, спрашиваю я васъ, зачѣмъ вы такъ горько улыбаетесь, такъ грустно вздыхаете, когда доходите до траги-комической развязки? Вотъ она, эта тайна поэзіи! вотъ онѣ, эти чары искусства! Вы видите жизнь, а кто видѣлъ жизнь, тотъ не можетъ не вздыхать!..

Комизъ или юморъ Гоголя имѣеть свой особенный характеръ: это юморъ чисто русскій, юморъ спокойный, простодушный, въ которомъ авторъ какъ бы прикидывается простачкомъ. Гоголь съ важностью говорить о бекешѣ Ивана Ивановича, и иной простакъ не шутя подумаетъ, что авторъ и въ самомъ дѣлѣ въ отчаяніи оттого, что у него нетъ такой прекрасной бекеши. Да, Гоголь очень мило прикидывается; и хотя надо быть слишкомъ глупымъ, чтобы не понять его ироніи, но эта иронія чрезвычайно какъ идеть къ нему. Впрочемъ, это только манера, а истинный-то юморъ Гоголя все-таки состоитъ въ вѣрномъ взглядѣ на жизнь и, прибавлю еще, нимало не зависитъ отъ карикатурности представляемой имъ жизни. Онъ всегда одинаковъ, никогда не измѣняетъ себѣ, даже и въ такомъ случаѣ, когда увлекается поэзіею описываемаго имъ предмета. Безпристрастіе его идолъ. Доказательствомъ этого можетъ служить „Тарасъ Бульба“, эта дивная эпопея, написанная кистью смѣлою и широкою, этоѣ рѣзкій очеркъ героической жизни младенчествующаго народа, эта огромная картина въ тѣсныхъ рамкахъ, достойная Гомера. Бульба герой, Бульба человѣкъ съ желѣзнымъ характеромъ, желѣзною волей; описывая подвиги его кровавой мести, авторъ возвышается до лиризма и въ то же время дѣлается драматикомъ въ высочайшей степени, и все это не мѣшаетъ ему по мѣстамъ смѣшить васъ своимъ героемъ. Вы содрагаетесь Бульбы, хладнокровно лишающаго мать дѣтей, убивающаго собственною рукой родного сына, ужасаетесь его кровавыхъ тризъ надъ гробомъ дѣтей, и вы же смеетесь надъ нимъ, дерущимся на кулачки съ своимъ сыномъ, пьющимъ горѣлку съ своими дѣтьми, радующимся, что въ этомъ ремеслѣ они не уступаютъ батюшкѣ, и изъявляющими свое удовольствіе, что ихъ добре пороли въ бурсѣ. И причина этого комизма, этой карикатурности изображеній заключается не въ способности или направленіи автора находить во всемъ смѣшныя стороны, но въ вѣрности жизни. Если Гоголь часто и съ умысломъ подшучиваетъ надъ своими героями, то безъ злобы, безъ ненависти; онъ понимаетъ ихъ ничтожность, но не сердится на нее; онъ даже какъ будто любуется ею, какъ любуется взрослый человѣкъ на игры дѣтей, которая для него смѣшны своею наивностью, но которыхъ онъ не имѣеть желанія раздѣлить. Но, тѣмъ не менѣе, это все-таки юморъ, ибо не щадить ничтожества, не скрываетъ и не скрашиваетъ его безобразія, ибо, пѣнная изображеніемъ этого ничтожества,

возбуждаетъ къ нему отвращеніе. Это юморъ спокойный и, можетъ быть, тѣмъ скорѣѣ достигающій своей цѣли. И вотъ, замѣчу мимоходомъ, вотъ настоящая нравственность такого рода сочиненій. Здѣсь авторъ не позволяетъ себѣ никакихъ сентенцій, никакихъ нравоученій; онъ только рисуетъ вещи такъ, какъ онъ есть, и ему дѣла нѣтъ до того, каковы онъ, и онъ рисуетъ ихъ безъ всякой цѣли, изъ одного удовольствія рисовать. Послѣ „Горя отъ ума“ я не знаю ничего, на русскомъ языке, что бы отличалось такою чистѣйшою нравственностью и что бы могло имѣть сильнѣйшее и благодѣтельнѣйшее вліяніе на нравы, какъ повѣсти Гоголя. О, предъ такою нравственностью я всегда готовъ падать на колѣна! Въ самомъ дѣлѣ, кто пойметъ Ивана Ивановича Перерепенко, тотъ вѣрно разсердится, если его назовутъ Иваномъ Ивановичемъ Перерепенкомъ.

Нравственность въ сочиненіи должна состоять въ совершенномъ отсутствіи притязаній со стороны автора на нравственную или безнравственную цѣль. Факты говорять громче словъ; вѣрное изображеніе нравственаго безобразія могущественнѣе всѣхъ выходокъ противъ него. Однакожъ, не забудьте, что такія изображенія только тогда вѣрны, когда безцѣльны, когда созданы, а создавать можетъ одно вдохновеніе, а вдохновеніе можетъ быть доступно одному таланту, слѣдовательно, только одинъ талантъ можетъ быть нравственнымъ въ своихъ произведеніяхъ!

Итакъ, юморъ Гоголя есть юморъ спокойный, спокойный въ самомъ своемъ негодованіи, добродушный въ самомъ своемъ лукавствѣ.

Гоголь сдѣлался извѣстнымъ своими „Вечерами на хуторѣ“. Это были поэтические очерки Малороссіи, очерки полные жизни и очарованія. Все, что можетъ имѣть природа прекраснаго, сельская жизнь простолюдиновъ—обольстительнаго, все что народъ можетъ имѣть оригинальнаго, типического,—все это радужными цвѣтами блеститъ въ этихъ первыхъ поэтическихъ герояхъ Гоголя. Это была поэзія юная, свѣжая, благоуханная, роскошная, упоительная, какъ поцѣлуй любви... Читайте вы его „Майскую ночь“, читайте ее въ зимнѣй вѣчерь у пылающаго камелька, и вы забудете о зимѣ, ся морозами и метелями; вамъ будетъ чудиться эта свѣтлая, прозрачная ночь благословленнаго юга, полная чудесъ и тайнъ; вамъ будетъ чудиться эта юная, блѣдная красавица, жертва ненависти злой мачехи, это оставленное жилище съ однимъ раствореннымъ окномъ, это пустынное озеро, на тихихъ водахъ котораго играютъ лучи мѣсяца, на зеленыхъ берегахъ котораго пляшутъ вереницы безплотныхъ красавицъ... Это впечатлѣніе очень похоже на то, которое производить на воображеніе „Сонъ въ лѣтнюю ночь“ Шекспира. „Ночь предъ Рождествомъ Христовымъ“ есть цѣлая, полная картина домашней жизни народа, его маленькихъ радостей, его маленькихъ горестей, словомъ, тутъ вся поэзія его жизни. „Страшная месть“ составляетъ теперь pendant къ „Тарасу Бульбѣ“, и обѣ эти огромныя картины показываютъ, до чего можетъ возвышаться талантъ Гоголя. Но я никогда

бы не кончилъ, если бы сталъ разбирать „Вечера на хуторѣ“. „Арабески“ и „Миргородъ“ носятъ на себѣ всѣ признаки зрѣющаго таланта. Въ нихъ меныше этого упоменія, этого лирическаго разгула, но больше глубины и вѣрности въ изображеніи жизни. Сверхъ того, онъ здѣсь расширилъ свою сцену дѣйствія, и, не оставляя своей любимой, своей прекрасной, своей ненаглядной Малороссіи, пошелъ искать поэзіи въ нравахъ средняго сословія въ Россіи. И, Боже мой, какую глубокую и могучую поэзію нашелъ онъ тутъ! Мы, москали, и не подозрѣвали ея!.. „Невскій проспектъ“ есть созданіе столь же глубокое, сколько и очаровательное; это двѣ полярныя стороны одной и той же жизни, это высокое и смѣшное о-бокъ другъ другу. На одной сторонѣ этой картины бѣдный художникъ, беспечный и простодушный, какъ дитя, замѣчаетъ на Невскомъ проспектѣ женщину-ангела, одно изъ тѣхъ дивныхъ созданій, которое могло производить только его художническое воображеніе; онъ слѣдитъ за нею, онъ дрожитъ, онъ не смѣеть дохнуть, ибо онъ еще не знаетъ ея, но уже обожаетъ ее, а всякое обожаніе робко и трепетно; онъ замѣчаетъ ея благосклонную улыбку—и „кареты казались ему недвижны, мостъ растягивался и ломался на своей аркѣ, домъ стоялъ крышею внизъ, будка и аллебарда часоваго, вмѣстѣ съ золотыми словами и обрисованными ножницами, блестѣла, казалась, на самой рѣсницѣ его глазъ“. Задыхаясь отъ упоменія и трепетнаго предчувствія блаженства, онъ входитъ за нею въ третій этажъ большого дома, и что же представляется ему?.. Она, все такъ же прекрасная, очаровательная, она смотрѣть на него глупо, нагло, какъ бы говоря ему: „Ну! что же ты?..“. Онъ бросается вонъ. Я не хочу пересказывать его сна, этого дивнаго, драгоцѣннаго перла нашей поэзіи, второго и единственнаго послѣ сна Татьяны Пушкина: здѣсь Гоголь поѣтъ въ высочайшей степени. Кто читаетъ эту повѣсть въ первый разъ, для того въ этомъ дивномъ снѣ дѣйствительность и поэзія, реальное и фантастическое, такъ тѣсно сливаются, что читатель изумляется, узнавши, что все это только сонъ. Представьте себѣ бѣднаго, оборваннаго, запачканнаго художника, потеряннаго въ толпѣ звѣздъ, крестовъ и всякаго рода совсѣмъ: онъ толкается между ними, уничтожающими его своимъ блескомъ, онъ стремится къ ней, и они безпрестанно разлучаютъ его съ нею, они, эти кресты и звѣзды, которые смотрѣть на нее безъ всякаго упоменія, безъ всякаго трепета, какъ на свои золотыя табакерки... И какое пробужденіе послѣ этого сна! и какъ можно жить послѣ такого пробужденія? И онъ, точно, не живеть въ дѣйствительности, онъ весь въ грезахъ... Наконецъ, въ его душѣ блеснулъ обманчивый, но радужный лучъ надежды: онъ рѣшается на самоотверженіе, онъ хочетъ прінести ей въ жертву, какъ Молоху, даже честь свою.... „А я только что теперь проснулась, меня привезли въ семь часовъ утра, я была совсѣмъ пьяна“—это говорить ему она, все такъ же прекрасная, очаровательная... Послѣ этого можно ли было жить даже и въ грезахъ?.. И нѣтъ художника,

онъ сошелъ въ темную могилу, никѣмъ не оплаканный, и міръ не зналъ, какая высокая и ужасная драма была разыграна въ этой грѣшной, страдальческой душѣ...

На другой сторонѣ этой картины вы видите Пирогова и Шиллера; того Пирогова, о которомъ я уже говорилъ, того Шиллера, который хотѣлъ отрѣзать себѣ носъ, чтобы избавиться отъ излишнихъ расходовъ на табакъ; того Шиллера, который говоритъ съ гордостью, что онъ швабскій нѣмецъ, а не русская свинья, и что у него есть король въ Германіи; того Шиллера, который „еще съ двадцатилѣтняго возраста, съ того времени, которое русскій живѣть на фуфу, измѣрилъ всю свою жизнь и положилъ себѣ въ теченіе 10 лѣтъ составить капиталъ изъ 50 тысячъ, и у которого это было такъ вѣрно и неотразимо, какъ судьба, потому что скорѣе чиновникъ позабудетъ заглянуть въ швейцарскую своего начальника, нежели нѣмецъ рѣшился перемѣнить свое слово“; наконецъ, того Шиллера, который „положилъ цѣловать жену свою въ сутки не болѣе двухъ разъ, и чтобы какъ-нибудь не поцѣловать лишній разъ, никогда не класть перцу болѣе одной ложечки въ свой супъ“. Чего вамъ еще? Тутъ весь человѣкъ, вся история его жизни!..

А Пироговъ?.. О, объ немъ объ одномъ можно написать цѣлую книгу!.. Вы помните его волокитство за глупою блондинкою, съ которой онъ составляетъ такую отличную пару, его скору и отношения съ Шиллеромъ; помните, какіе ужасные побои претерпѣлъ онъ отъ флегматическаго Отелло, помните, какимъ негодованіемъ, какою жаждою мести закипѣло сердце пуртика, и помните, какъ скоро прошла его досада отъ съѣденныхъ кондитерскихъ нирожковъ и прочтенія „Пчелы“?.. Чудные пирожки! Чудная „Пчела“! Пискаревъ и Пироговъ—какой контрастъ! Оба они начали, въ одинъ день, въ одинъ часъ, преслѣдованія своихъ красавицъ, и какъ различны для обоихъ нихъ были слѣдствія этихъ преслѣдованій! О, какой смыслъ скрытъ въ этомъ контрастѣ! И какое дѣйствіе производить этотъ контрастъ! Пискаревъ и Пироговъ... одинъ въ могилѣ, другой доволенъ и счастливъ, даже послѣ неудачнаго волокитства и ужасныхъ побоевъ!.. Да, господа, скучно на этомъ свѣтѣ!

„Портрѣтъ“ есть неудачная попытка Гоголя въ фантастическомъ родѣ. Здѣсь его талантъ падаетъ, но онъ и въ самомъ паденіи остается талантомъ. Первой части этой повѣсти невозможно читать безъ увлеченія; даже, въ самомъ дѣлѣ, есть что-то ужасное, роковое, фантастическое въ этомъ таинственномъ портрѣтѣ, есть какая-то непобѣдимая прелестъ, которая заставляетъ васъ насильно смотрѣть на него, хотя вамъ это и страшно. Привѣтѣ къ этому множеству юмористическихъ картинъ и очерковъ во вкусѣ Гоголя; вспомните квартального надзирателя, разсуждающаго о живописи, потому эту матъ, которая привела къ Черткову свою дочь, чтобы снять съ нея портрѣтъ, и которая бранить балы и восхищается природою,—и вы не откажете въ достоинствѣ и этой повѣсти. Но вторая ея часть рѣшительно

ничего не стдить; въ ней совсѣмъ не видно Гоголя. Это явная придѣлка, въ которой работалъ умъ, а фантазія не принимала никакого участія.

Вообще надо сказать, фантастическое какъ-то не совсѣмъ дается Гоголю, и мы вполнѣ согласны съ мнѣніемъ г. Шевырева, который говоритъ, что „ужасное не можетъ быть подробно: призракъ тогда страшенъ, когда въ немъ есть какая-то неопределенность; если же вы въ призракѣ умѣете разглядѣть слизистую пирамиду, съ какими-то челюстями вмѣсто ногъ и языкомъ вверху, тутъ ужъ не будетъ ничего страшнаго, и ужасное переходитъ просто въ уродливое“. Но зато картины малороссійскихъ нравовъ, описание бурсы (впрочемъ немного напоминающее бурсу Нарбънаго), портреты бурсаковъ, и особенно этого философа Хомы, философа не по одному классу семинаріи, но философа по духу, по характеру, по взгляду на жизнь... О несравненный *Dominus* Хома! какъ ты великъ въ своемъ стоилическомъ равнодушіи ко всему земному, кромѣ горѣлки! Ты натерпѣлся горя и страха; ты чуть не попался въ когти къ чертамъ, но ты все забываешь за широкую и глубокою ендовою, на днѣ которой склонена твоя храбрость и твоя философія; ты на вопросъ о видѣнныхъ тобою страстиахъ машешь рукою и говоришь: „Много на свѣтѣ всякой дряни водится!“ у тебя половина головы посѣдѣла въ одну ночь, а ты оттощиваешь трепака, да такъ, что добрые люди, смотря на тебя, пллюютъ и восклицаютъ: „Вотъ это какъ долго танцуетъ человѣкъ!“ Пусть судить всякий, какъ хочетъ, а по мнѣ такъ философъ Хома стоитъ философа Сквороды! Потомъ, помните ли вы невольное путешествіе философа Хомы, помните ли попойку въ шинкѣ, этого Дорота, который нагрузившись пѣнникомъ, вдругъ захотѣлъ узнать, непремѣнно узнать, чому учать въ бурсы (шуточное дѣло!), этого резонера, который божился, что „все должно оставить такъ, какъ есть, что Богъ знаетъ, какъ нужно“, и, наконецъ, этого казака съ сѣдыми усами, который рыдалъ о томъ, что остался круглымъ сиротою... А эти поучительныя бесѣды на кухнѣ, гдѣ „обыкновенно говорилось обо всемъ: и о томъ, кто пошиль себѣ новые шаровары, и что находится внутри земли, и кто видѣлъ волка“? А сужденія этихъ умныхъ головъ о чудесахъ въ природѣ? а портретъ пана сотника?.. и кто перечтеть?.. Нѣть, несмотря на неудачу въ фантастическомъ, эта повѣсть есть дивное созданіе. Но и фантастическое въ ней слабо только въ описаніи привидѣній, а чтеніе Хомы въ церкви, возстаніе красавицы, явленіе Вія—безподобны.

Я еще мало говорилъ о „Тарасѣ Бульбѣ“, и не буду слишкомъ распространяться о немъ, ибо, въ такомъ случаѣ, у меня вышла бы еще статья, не менѣе самой повѣсти... „Тарасъ Бульба“ есть отрывокъ, эпизодъ изъ великой эпопеи жизни цѣлаго народа. Если въ наше время возможна гомерическая эпопея, то вотъ вамъ ея высочайшій образецъ, идеалъ и прототипъ!.. Если говорять, что въ „Іліадѣ“ отражается вся жизнь греческая въ ея героическій періодѣ, то развѣ однѣ пітики и реторики прошлаго вѣка за-

претятъ сказать то же самое и о „Тарасѣ Бульбѣ“ въ отношеніи къ Малороссіи XVI вѣка?. И въ самомъ дѣлѣ, развѣ здѣсь не все казачество, съ его странною цивилизаціею, его удаюю, разгульною жизнью, его беспечностию и лѣнью, неутомимостью и дѣятельностію, его буйными оргіями и кровавыми набѣгами?.. Скажите мнѣ, чего нѣтъ въ картинахъ, чего недостаетъ къ ея полнотѣ? Не выхвачено ли все это со дна жизни, не бѣется ли здѣсь огромный пульсъ всей этой жизни? Этотъ богатырь Бульба съ своими могучими сыновьями; эта толпа запорожцевъ, дружно отирающая на площади трепака; этотъ казакъ, лежащий въ лужѣ, для показанія своего презрѣнія къ дорогому платью, которое на немъ надѣто, и какъ бы вызывающій на драку всякаго дерзкаго, кто бы осмѣялся дотронуться до него хоть пальцемъ; этотъ кошевой, поневолѣ говорящій краснорѣчивую, витеватую рѣчъ о необходимости войны съ бусурманами, потому что „многіе запорожцы позадолжались въ шинки жидамъ и своимъ братьямъ столько, что ни одинъ чортъ теперь и вѣры не имѣтъ“; эта мать, которая является какъ бы мимоходомъ, чтобы заживо оплакать дѣтей своихъ, какъ всегда являлась въ тотъ вѣкъ женщина и мать въ казацкой жизни... А жиды и ляхи, а любовь Андрія и кровавая месть Бульбы, а казнь Остапа? И какая поэзія энергическая, могучая, какъ эта Запорожская Сѣчь, „то гнѣздо, откуда вылетаютъ всѣ тѣ гордые и хрыпкіе, какъ львы, откуда разливается воля и казачество на всю Украину“!..

Что еще сказать вамъ? можетъ быть, вы мало удовлетворены и тѣмъ, что я уже сказалъ: что дѣлать! Гораздо легче чувствовать и понимать прекрасное, нежели заставлять другихъ чувствовать и понимать его! Если одни изъ читателей, прочтя мою статью, скажутъ: „это правда“ или, по крайней мѣрѣ, „во всемъ этомъ есть и правда“; если другіе, прочтя ее, захотятъ прочесть и разобраннныя въ ней сочиненія—мой долгъ выполненъ, цѣль достигнута.

Но какой же общий результатъ выведу я изъ всего сказаннаго мною? Чѣмъ такое г. Гоголь въ нашей литературѣ? Гдѣ его мѣсто въ ней? Чего должно ожидать намъ отъ него,—отъ него, еще только начавшаго свое по-прище, и какъ начавшаго! Не мое дѣло раздавать вѣнки бессмертія поэтамъ, осуждать на жизнь или смерть литературныя произведенія; если я сказалъ, что г. Гоголь поэтъ, я уже все сказалъ, я уже лишилъ себя права дѣлать ему судейскіе приговоры. Теперь у насъ слово „поэтъ“ потеряло свое значеніе: его смѣшили съ словомъ „писатель“. У насъ много писателей, нѣкоторые даже съ дарованіемъ, но нѣтъ поэтовъ. Поэтъ—высокое и святое слово, въ немъ заключается неумирающая слава! Но дарованіе имѣть свои степени; Коаловъ, Жуковскій, Пушкинъ, Шиллеръ—эти люди поэты, но равны ли они? Развѣ общий голосъ не называлъ Шекспира царемъ поэтовъ, единственнымъ и несравненнымъ? И вотъ задача критики: опредѣлить степень, зани-

маемую художникомъ въ кругу своихъ собратій. Но г. Гоголь еще только началъ свое поприще; следовательно, наше дѣло высказать свое мнѣніе о его дебютѣ и о надеждахъ въ будущемъ, которымъ подаеться этотъ дебютъ. Эти надежды велики, ибо г. Гоголь владѣеть талантомъ необыкновеннымъ, сильнымъ и высокимъ. По крайней мѣрѣ, въ настоящее время онъ является главою литературы, главою поэтовъ; онъ становится на мѣсто, оставленное Пушкинымъ. Предоставимъ времени решить, чѣмъ и какъ кончится поприще г. Гоголя, а теперь будемъ желать, чтобы этотъ прекрасный талантъ долго сиялъ на небосклонѣ нашей литературы, чтобы его дѣятельность равнялась его силѣ.

Я забылъ еще объ одномъ достоинствѣ его произведеній: это—лиризмъ, которымъ проникнуты его описанія такихъ предметовъ, которыми онъ увлекается. Описываетъ ли онъ бѣдную мать, это существо высокое и страждущее, это воплощеніе святого чувства любви—сколько тоски, грусти и любви въ его описаніи! Описываетъ ли онъ юную красоту—сколько упоенія, восторга въ его описаніи! Описываетъ ли онъ красоту своей родной, своей возлюбленной Малороссіи—это сынъ, ласкающійся къ обожаемой матери! Помните ли вы его описаніе безбрежныхъ степей днѣпровскихъ? Какая широкая, размашистая кисть! какой разгуль чувства! Какая роскошь и простота въ этомъ описаніи! Чортъ васъ возьми, степи, какъ вы хороши у г. Гоголя!..

Въ одномъ журналь было изъялено странное желаніе, чтобы г. Гоголь попробовалъ своихъ силъ въ изображеніи высшихъ слоевъ общества: вольть мысль, которая въ наше время отзыается ужаснымъ анахронизмомъ! Какъ! неужели поэтъ можетъ сказать себѣ: дай опишу то или другое, дай попробую себя въ томъ или другомъ родѣ?.. И притомъ, развѣ предметъ дѣлаетъ что-нибудь для достоинства сочиненія? Развѣ это не аксиома: гдѣ жизнь, тамъ и поэзія? Но мои „развѣ“ никогда бы не кончились, если бы я захотѣлъ высказать ихъ всѣ, безъ остатка. Нѣть, пусть г. Гоголь описываетъ то, что велитъ ему описывать его вдохновеніе, и пусть страшится описывать то, что велятъ ему описывать или его воля, или гг. критики. Свобода художника состоитъ въ гармоніи его собственной воли съ какою-то вѣшней, независящей отъ него волей, или, лучше сказать, его воля есть вдохновеніе!..

Вы возвышаетесь духомъ и предаетесь глубокой и важной думѣ, читая „Тараса Бульбу“; вы смѣетесь и хохочете, читая курьезную „Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“: отчего эта противоположность впечатлѣнія отъ двухъ произведеній одного и того же художника?—Отъ сущности дѣятельности, воссозданной въ томъ и въ другомъ, оттого, что первая изображаетъ положеніе жизни, а другое—ея отрицаніе. Чѣмъ такое Тарасъ Бульба? Герой, представитель жизни цѣлаго народа, цѣлаго политического общества въ извѣстную эпоху жизни. Чѣмъ вы видите въ этой поэмѣ? чѣмъ особенно поражаетъ васъ въ ней? Обще-

ство, составленное изъ пришельцевъ разныхъ странъ, изъ удальныхъ головъ, бѣжавшихъ кто отъ нищеты, кто отъ родительского проклятія, кто отъ меча закона, и между тѣмъ общество, имѣющее одинъ общий характеръ, твердо сплоченное и связанное какимъ-то крѣпкимъ цементомъ. Въ чемъ эта связь?— въ православіи?—но оно такъ безтребовательно, такъ ограниченно и бѣдно въ своей сущности, что мало походитъ на религію.—“Они приходили сюда, какъ будто возвращались въ свой собственный домъ, изъ котораго только за часъ передъ тѣмъ вышли. Пришедший явился только къ кошевому, который обыкновенно говорилъ: „Здравствуй. Что—во Христа вѣруешь?“—“Вѣрю!—отвѣчалъ приходившій. „И въ Троицу святую вѣруешь?“—“Вѣрю!— „И въ церковь ходишь?“—Хожу.—,А ну, перекрестись“. Пришедший крестился. „Ну, хорошо“, отвѣчалъ кошевой: „ступай же въ который самъ знаешь курень“. Этимъ оканчивалась вся церемонія“.—Нѣтъ, тутъ была другая, сильнѣйшая связь; это удальство, которому жизнь—копейка, голова—наживное дѣло; это жажда дикихъ натуръ, людей, кипящихъ избыткомъ исполнинскихъ силъ,—жажда наполнить свою жизнь, тяготимую бездѣйствиемъ и праздностью; что же лучше могло наполнить ее, удовлетворить дикий духъ человѣка могучаго, но безъ идей, безъ образованности, почти полу-дикаря, какъ не кровавая сѣча, какъ не отчаянное удальство, во время войны, и не бѣшеная гульба во время мира? Оттого-то и въ этой гульбѣ нѣтъ ничего оскорбляющаго чувство, но такъ много поэтическаго; оттого-то эта гульба была, какъ превосходно выразился поэтъ, широкимъ разметомъ души. Итакъ, вотъ гдѣ основа и источникъ казацкой жизни и Запорожской Сѣчи, „того гнѣзда, откуда вылетали тѣ гордые и крѣпкие, какъ львы“, и вотъ гдѣ основная идея поэмы Гоголя. Тарасъ Бульба является у него представителемъ этой жизни, идеи этого народа, амоеевомъ этого широкаго размета души. Дурной мужъ, какъ всѣ люди полуцикой гражданственности, онъ любить своихъ сыновей, потому что изъ нихъ должны выйти важные лыцари, и онъ не любилъ бы и презиралъ бы дочерей своихъ, если бы имѣлъ ихъ, потому что онъ никакъ не могъ понять, что хорошаго въ человѣкѣ, если онъ не годится въ лыцари. Онъ былъ христіанинъ и православный по преданію, въ самомъ отвлеченномъ смыслѣ: рѣдко видѣлъ церковь Божію, и въ правилахъ жизни своей руководствовался обычаемъ и собственными страстями, а не религіею—и между тѣмъ зарѣзалъ бы родного сына за малѣшее слово противъ религіи, и фанатически ненавидѣлъ басурмановъ. Онъ любилъ свою родную Україну и ничего не зналъ выше и прекраснѣе удачного казачества, потому что чувствовалъ то и другое въ каждой каплѣ крови своей, и духъ того и другого нашелъ въ немъ свой настоящій сосудъ, рѣзкими, рельефными чертами выпечатлѣлся на его полуцикой физіономіи и во всей его полуцикой личности. Народную вражду онъ смѣшалъ съ личною ненавистью, и когда къ этому присоединился дикий фанатизмъ отвлеченной религіозности, то мысль о поганомъ католичествѣ, какъ называлъ онъ по-

ляковъ, представлялась ему въ формѣ дымящейся крови, предсмертныхъ стоновъ и зарева пылающихъ городовъ, сель, монастырей и костеловъ... Это лицо совершенно трагическое; его комизмъ только въ противоположности формъ его индивидуальности съ нашими—комизмъ чисто вѣшній. Вы смеетесь, когда онъ дерется на кулачки съ роднымъ сыномъ и пресервѣнно совѣтуетъ ему тузить всякаго такъ, какъ онъ тузилъ своего батьку; но вы уже и не улыбаетесь, когда видите, что онъ попался въ плѣнъ, потянувшись за грошевою лялькой; но вы содрогаетесь, только еще видя, что онъ, въ яростной битвѣ, приближается къ оторопѣвшему сыну—сердце ваше предчувствуетъ трагическую катастрофу, но у васъ замираетъ духъ отъ ужаса, когда въ вашемъ слухѣ раздается этотъ комическій вопросъ: „что, сынку?“; но вы болѣзненно раздѣляете это мимолетное умиленіе желѣзного характера, въ словахъ Бульбы: „Чѣмъ бы не казакъ былъ?—и станомъ высокій, и чернобровый, и лицо какъ у дворянина, и рука была крѣпка въ бою—пропалъ, пропалъ безъ славы!... А эта страшная жажда мести у Бульбы противъ красавицы польки, по мнѣнію его, чарами погубившей его сына, и потомъ—это море крови и пожаровъ, объявившее враждебный край и, среди его, грозная фигура старого фанатика, совершившаго страшную тризну въ память сына; наконецъ, это омертвѣніе могучей души, оглушенной двукратнымъ потрясеніемъ, потерю обоихъ сыновей: „Неподвижный сидѣлъ онъ на берегу моря, шевеля губами и произнося: „Остань мой, Остань мой!“ Передъ нимъ сверкало и разстипалось Черное море; въ дальнѣмъ тростникъ кричала чайка; бѣлый усъ его серебрился и слезы капали одна за другою... А это безконечно-зnamенательное: „слышу, сынку!“ и эта вторая страшная тризна мщенія за второго сына, кончившаяся смертью мстителя, и какою смертью!—привязанный желѣзною цѣпью къ стоячому бревну, съ пригвожденной рукой кричалъ онъ своимъ „хлюпцамъ“, что имъ надо дѣлать, чтобы спастись отъ непріятеля, и изъявлялъ свой восторгъ отъ ихъ удальства и проворства... Видите ли: у этого человѣка была идея, которою онъ жилъ и для которой онъ жилъ; видите ли: онъ не пережилъ ее, онъ умеръ вмѣстѣ съ нею... Для нея убилъ онъ собственнюю рукой младаго сына, для нея онъ умеръ и самъ... Въ его душѣ жила одна идея, и всѣ другія были ему недоступны, враждебны и ненавистны.

Совсѣмъ другой міръ представляетъ намъ ссора Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ. Это міръ случайностей, неразумности; это отрицаніе жизни, пошлая, грязная дѣйствительность. Но какимъ же образомъ могла она сдѣлаться содержаніемъ художественного произведенія, и не уничижилъ ли художникъ своего таланта, сдѣлавъ изъ него такое употребленіе? Резонеры, которымъ доступна одна вѣшність, а не мысль, отвѣтятъ намъ утвердительно на этотъ вопросъ. Мы думаемъ напротивъ. Тутъ задача въ томъ, чтобы въ основаніи художественного произведенія лежала общая идея, и чтобы изображенія поэта были не списками съ частныхъ явлений (эти

списки—суть призраки), но идеалы, для того перешедшие въ действительность явлений, чтобы каждый изъ нихъ былъ выражениемъ идеи, представителемъ цѣлаго ряда безконечнаго множества явлений одной идеи и, будучи въ этомъ значеніи общими, были бы въ то же время едиными—живою, замкнутою въ самой себѣ особностью. всякая частность есть случайность, и если ея значеніе низко и погло—она оскорбляетъ человѣческое, эстетическое чувство; но общее, хотя бы и отрицательной стороны жизни, уже дѣлается предметомъ знанія и теряетъ свою случайность.

Изображая отрицательные явленія жизни, поэтъ нисколько не думаетъ писать сатиры. Рисуя нравственныхъ уродовъ, поэтъ дѣлаетъ это совсѣмъ не скрыва сердце, какъ думаютъ многіе: нельзя сердиться и творить въ одно и то же время; досада портить желчь и отравлять наслажденіе, а минута творчества есть минута высочайшаго наслажденія. Поэтъ не можетъ ненавидѣть свои изображенія, каковы бы они ни были; напротивъ, скорѣе онъ ихъ любить, потому что они представляются ему уже просвѣтленными идею.

Были два пріятеля-сосѣда, соединенные другъ съ другомъ неразрывными узами взаимной пошлости, привычки и праздности. Мы не будемъ ихъ описывать послѣ изображенія, сдѣланнаго поэтомъ. Если, читатели, вы помните и знаете Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича—были они искренними друзьями, и вдругъ сдѣлались страшными врагами, и прожили все свое имѣніе, стараясь доѣхать другъ друга судомъ. А отчего? Стойте провести по нѣсколько чёртъ характера каждого—и вы поймете причину этого страннаго явленія. Иванъ Ивановичъ былъ человѣкъ весьма солидный, самаго тонкаго обращенія, терпѣть не могъ грубыхъ или непристойныхъ словъ, и когда потчевалъ кого-нибудь знакомаго табакомъ, то говорилъ: „Смѣю ли просить, государь мой, обѣ одолженій?“ А если незнакомаго, то: „Смѣю ли просить, государь мой, не имѣя чести знать чина, имя и отчества, обѣ одолженій?“ Онъ любилъ лежать на солнцѣ подъ навѣсомъ въ одной рубашкѣ только послѣ обѣда, а вечеромъ надѣвалъ бекешу, выходя со двора; но самая рѣзкая черта его характера была та, что, сѣвши дыню, онъ завертывалъ въ бумажку сѣмена и надписывалъ: „Сія дыня сѣдена такого-то числа“, а если при этомъ былъ гость, то: „участвовалъ такой-то“. Присовокупите къ этому портрету страшную скучность и высокую цѣну, придаваемую земнымъ благамъ,—и Иванъ Ивановичъ весь передъ вами. Иванъ Никифоровичъ отличался отъ своего друга толстотою и любилъ употреблять въ разговорѣ непристойныя слова, къ крайнему неудовольствію достойнаго Ивана Ивановича; любилъ въ жаркіе дни выставлять на солнце спину, садиться по горло въ воду, куда ставилъ столъ и самоваръ и пилъ чай; любилъ въ комнатѣ лежать въ натурѣ, и когда потчевалъ кого изъ своей табакерки табакомъ, то просто говорилъ: „одолжайтесь“. Теперь вы видите всю эту жизнь, понятную только въ произведеніи

художника, но случайную, безсмысленную и глупо-животную въ действительности. Оба героя—призраки (въ томъ смыслѣ, который мы выше придали этому слову), и все, что они ни дѣлаютъ, есть призракъ, пустота, безсмыслица. Въ ихъ характерахъ уже лежитъ, какъ необходимость, ихъ ссора. Ивану Ивановичу захотѣлось имѣть у себя ружье Ивана Никифоровича; зачѣмъ?—не спрашивайте: онъ самъ этого не знаетъ. Мы думаемъ, что это было безсознательнымъ желаніемъ чѣмъ-нибудь наполнить свою праздную пустоту, потому что пустота, вслѣдствіе праздности, тяжка и мучительна для всякаго человѣка, какъ бы ни былъ онъ пошлъ. Иванъ Никифоровичъ, по такой же причинѣ, не хотѣлъ уступить ему своего ружья, хотя толь и обѣщалъ ему за него приличное вознагражденіе—бурую свинью и мѣшокъ гороха. Завязался крупный разговоръ, въ которомъ Иванъ Никифоровичъ, грубый въ своихъ выходкахъ, назвалъ Ивана Ивановича, этого до крайности деликатнаго и щекотливаго со стороны своей чести и аттенціи человѣка, нааваль его—о, ужасъ!—гусакомъ...

Великая, безконечно великая черта художественнаго генія этотъ гусакъ! Если бы поэтъ причиною ссоры сдѣлалъ действительно оскорбительныя ругательства, пощечину, драку—это испортило бы все дѣло. Нѣть, поэтъ понялъ, что въ мірѣ призраковъ, которому онъ давалъ объективную действительность, и забавы, и занятія, и удовольствія, и горести, и страданія, и самое оскорблѣніе—все призрачно, безсмысленно, пусто и пшло. Не думайте, чтобы эти два чудака были отъ природы созданы такими: нѣть, природа справедлива къ людямъ—она каждому даетъ въ мѣру чего и сколько ему нужно. Конечно, эти чудаки и отъ природы были небойкіе люди, но и имъ нашлась бы своя ступенька на безконечной лѣстницѣ человѣческой и гражданской дѣятельности; они могли бы быть хорошими мужьями, отцами, хозяевами и имѣть, сообразно съ занимаемымъ ими мѣстечкомъ въ цѣпи явлений духа, свою благообразность формы; но воспитаніе, животная лѣнъ, праздность, невѣжество—вотъ что сдѣлало ихъ такими. Ихъ хотятъ примирить и почти было успѣли въ этомъ; уже Иванъ Никифоровичъ полѣзъ въ карманъ, чтобы достать рожокъ и сказать „одолжайтесь“, но вдругъ лукавый дернулъ его замѣтить, что не стѣбѣтъ сердиться изъ пустого слова „гусакъ“. Видите ли: если бы онъ гусака замѣнилъ птицею или выразился какъ-нибудь иначе, они снова были бы друзьями, но роковое слово было сказано, и снова прадѣдовскіе карбованцы полетѣли изъ желѣзныхъ сундуковъ въ карманы подъячихъ, и имѣніе, вѣнѣніе и внутреннее благосостояніе, вся жизнь была истощена въ тяжбѣ. Десять лѣтъ прошло, головы ихъ убѣлились сѣдиною, и поэтъ восклицаетъ: „Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!“ Да! грустно думать, что человѣкъ, этотъ благороднѣйшій сосудъ духа, можетъ жить и умереть призракомъ и въ призракахъ, даже и не подозрѣвая возможности действительной жизни! И сколько на свѣтѣ такихъ людей, сколько на свѣтѣ Ивановъ Ивановичей и Ивановъ Никифоровичей!..

### Р е в и з о р ъ.

Посмотримъ, какимъ образомъ комедія можетъ представлять собою осо-  
бый замкнутый въ самомъ себѣ міръ; для чего бросимъ бѣглый взглядъ на  
высоко-художественное произведение въ этомъ родѣ,—на комедію Гоголя  
„Ревизоръ“.

Въ основаніи „Ревизора“ лежитъ идея отрицанія жизни, идея призрач-  
ности, получившая, подъ его художническимъ рѣзцомъ, свою объективную  
дѣйствительность. Въ „Ревизорѣ“ мы видимъ пустоту, наполненную дѣя-  
тельностью мелкихъ страстей и мелкаго эгоизма. Чтобы произведеніе его  
было художественно, т.-е. представляло собой особый, замкнутый въ самомъ  
себѣ міръ, онъ взялъ изъ жизни своихъ героевъ такой моментъ, въ кото-  
ромъ сосредоточивалась вся цѣлостность ихъ жизни, ея значенія, сущность,  
иdea, начало и конецъ: это—ожиданіе и приемъ ревизора. Все чуждое этому  
ожиданію и приему ревизора не могло войти въ комедію. На что намъ знать  
подробности жизни городничаго до начала комедіи? Ясно и безъ того, что  
онъ въ дѣствѣ былъ учень на мѣдныя деньги, игралъ въ бабки, бѣгалъ по  
улицамъ, и какъ сталъ входить въ разумъ, то получилъ отъ отца уроки  
въ житейской мудрости, т.-е. въ искусствѣ нагрѣвать руки и хоронить  
концы въ воду. Лишенный въ юности всякаго религіознаго, нравственнаго и  
общественнаго образованія, онъ получилъ въ наслѣдство отъ отца и отъ  
окружающаго его міра слѣдующее правило вѣры и жизни: въ жизни надо  
быть счастливымъ, а для этого нужны деньги и чины, а для приобрѣтенія  
ихъ—взяточничество, казнокрадство, низкопоклонничество и подличанье  
передъ властями, знатностью и богатствомъ, ломанье и скотская грубость  
передъ низшими себя. Простая философія! Но замѣтьте, что въ немъ это  
не развратъ, а его нравственное развитіе, его высшее понятіе о своихъ  
объективныхъ обязанностяхъ: онъ мужъ, слѣдовательно, обязанъ прилично  
содержать жену; онъ отецъ, слѣдовательно, долженъ дать хорошее приданое  
за дочерью, чтобы доставить ей хорошую партію и тѣмъ, устроивъ ея благо-  
состояніе, выполнить священный долгъ отца. Онъ знаетъ, что средства его  
для достижения этой цѣли грѣшны передъ Богомъ; но онъ знаетъ это отвле-  
ченно, головою, а не сердцемъ, и онъ оправдываетъ себя простымъ правиломъ  
всѣхъ пошлыхъ людей: „не я первый, не я послѣдній; всѣ такъ дѣлаютъ“.  
Это практическое правило жизни такъ глубоко вкоренено въ немъ, что  
обратилось въ правило нравственности; онъ почелъ бы себя выскочкою,  
самолюбивымъ гордецомъ, если бы, хотя позабывшись, повелъ себя честно  
въ продолженіе недѣли. Да оно и страшно быть „выскочкою“: всѣ пальцы  
уставятся на васъ, всѣ голоса подымутся противъ васъ; нужна большая  
сила души и глубокіе корни нравственности, чтобы бороться съ обществен-

нымъ мнѣніемъ. И не Сквозники-Дмухановскіе увлекаются могучимъ водоворотомъ, этой магической фразой „всѣ таکъ дѣлаютъ“ и, какъ Молоху, приносить ей въ жертву и таланты, и силы души, и вѣшнее благосостояніе. Нашъ городничій былъ не изъ бойкихъ отъ природы, и потому „всѣ таکъ дѣлаютъ“ было слишкомъ достаточнымъ аргументомъ для успокоенія его мозолистой совѣсти; къ этому аргументу присоединился другой, еще сильнѣй-шій для грубой и низкой души: „жена, дѣти, казеннаго жалованья не станетъ на чай и сахаръ“. Вотъ вамъ и весь Сквозникъ-Дмухановскій до начала комедіи. Чѣдъ касается до формъ, въ какихъ онъ выражался и проявлялся до того, онъ все тѣ же, какъ и во время комедіи. Такъ же нетрудно понять, что съ нимъ было и по окончаніи комедіи, какъ онъ дожилъ свой вѣкъ. Художественная обрисовка характера въ томъ и состоитъ, что если онъ данъ вамъ поэтомъ въ извѣстный моментъ своей жизни, вы уже сами можете разсказать всю его жизнь и до и послѣ этого момента. Конецъ „Ревизора“ сдѣлать поэтомъ опять не произвольно, но вслѣдствіе самой разумной необходимости; онъ хотѣлъ показать намъ Сквозника-Дмухановскаго всего, какъ онъ есть, и мы видѣли его всего, какъ онъ есть. Но тутъ скрывается еще другая, не менѣе важная и глубокая причина, выходящая изъ сущности піесы. Въ комедіи, какъ выраженіи случайностей, все должно выходить изъ идеи случайностей и призраковъ, и только чрезъ это получать свою необходимость: почтенный нашъ городничій жилъ и вращался въ мірѣ призраковъ, но какъ у него необходимо были свои понятія о дѣйствительности, хотя и отвлеченные, и сверхъ того самый основательный страхъ дѣйствительности, извѣстный подъ именемъ уголовнаго суда, то и должно было выйти комическое столкновеніе, какъ сшибка естественнаго влеченія сердца къ воровству и плутнямъ съ страхомъ наказанія за воровство и плутни, страхомъ, который увеличивался еще и нѣкоторымъ беспокойствомъ совѣсти. У страха глаза велики, говорить мудрая русская пословица; удивительно ли, что глупый мальчишка, промотавшійся въ дорогѣ, трактирный денди, былъ принятъ городничимъ за ревизора? Глубокая идея! Не грозная дѣйствительность, а призракъ, фантомъ, или, лучше сказать, тѣнь отъ страха виновной совѣсти, должны были наказать человѣка призраковъ. Городничій Гоголя не карикатура, не комический фарсъ, не преувеличенная дѣйствительность, и въ то же время нисколько не дуракъ, но, по своему, очень и очень умный человѣкъ, который въ своей сферѣ очень дѣятеленъ, умѣть ловко взяться за дѣло—своровать и концы въ воду склонить, подсунуть взятуку и задобрить опаснаго ему человѣка. Его приступы къ Хлестакову, во второмъ актѣ,—образецъ подъяческой дипломатіи. Итакъ конецъ комедіи долженъ совершиться тамъ, гдѣ городничій узнаетъ, что онъ былъ наказанъ призракомъ, и что ему еще предстоитъ наказаніе со стороны дѣйствительности, или, по крайней мірѣ, новые хлопоты и убытки, чтобы увернуться отъ наказанія со стороны дѣйствительности. И потому приходъ жандарма

сь извѣстіемъ о пріѣздѣ истиннаго ревизора прекрасно окачиваетъ пьесу и сообщаетъ всю полноту и всю самостоятельность особаго, замкнутаго въ самомъ себѣ міра. Въ художественномъ произведеніи нѣтъ ничего произвольнаго и случайнаго, но все необходимо и логически вытекаетъ изъ его идеи. Каждое лицо въ немъ, способствуя развитію главной идеи, въ то же время есть и само себѣ цѣль, живетъ своею особною жизнью.

Многіе находятъ страшною натяжкою и фарсомъ ошибку городничаго, принявшаго Хлестакова за ревизора, тѣмъ болѣе, что городничій — человѣкъ, по-своему, очень умный, т.-е. плутъ первого разряда. Странное мнѣніе, или, лучше сказать, странная слѣпота, недопускающая видѣть очевидность! Причина эта заключается въ томъ, что у каждого человѣка есть два зрѣнія — физическое, которому доступна только вѣнчанная очевидность, и духовное, проникающее внутреннюю очевидность, какъ необходимость, вытекающую изъ сущности идеи. Вотъ, когда у человѣка есть только физическое зрѣніе, а онъ смотрѣть имъ на внутреннюю очевидность, то и естественно, что ошибка городничаго ему кажется натяжкою и фарсомъ. Представьте себѣ воришку-чиновника такого, какимъ вы знаете почтеннаго Савозника-Дмухановскаго: ему видѣлись во снѣ двѣ какія-то необыкновенные крысы, какихъ онъ никогда не видѣвалъ — черные, неестественной величины — пришли, понюхали и пошли прочь. Важность этого сна для послѣдующихъ событій была уже вѣмъ-то очень вѣрно замѣчена. Въ самомъ дѣлѣ, обратите на него все ваше вниманіе: имъ открывается цѣль призраковъ, составляющихъ дѣйствительность комедіи. Для человѣка съ такимъ образованіемъ, какъ нашъ городничій, сны — мистическая сторона жизни, и чѣмъ они несвязаны и безсмысленны, тѣмъ для него имѣютъ большее и таинственнѣйшее значеніе. Если бы, послѣ этого спа, ничего важнаго не случилось, онъ могъ бы и забыть его; но, какъ нарочно, на другой день онъ получаетъ отъ пріятеля увѣдомленіе, что „отправился инкогнито изъ Петербурга чиновникъ съ секретнымъ предписаніемъ обревизовать въ губерніи все относящееся по части гражданскаго управлѣнія“. Сонъ въ-руку! Суевѣріе еще болѣе запугиваетъ и безъ того запуганную совѣсть; совѣсть усиливаетъ суевѣріе. Обратите особое вниманіе на слова „инкогнито“ и „съ секретнымъ предписаніемъ“. Петербургъ есть таинственная страна для нашего городничаго, міръ фантастический, котораго формъ онъ не можетъ и не умѣеть себѣ представить. Нововведенія въ юридической сферѣ, грозящія уголовнымъ судомъ и ссылкою за взяточничество и казнокрадство, еще болѣе усугубляютъ для него фантастическую сторону Петербурга. Онъ уже допытывается у своего воображенія, какъ пріѣдетъ ревизоръ, чѣмъ онъ прикинется и какія цули будетъ онъ отливать, чтобы развѣдать правду. Слѣдуютъ толки у честной компаніи объ этомъ предметѣ. Судья-собачникъ, который беретъ взятки борзыми щенками, и потому не боится суда, который на своемъ вѣку прочелъ пять или шесть книгъ, и потому нѣсколько вольнодумецъ, находить причину присылки ревизора, до-

стойную своего глубокомыслія и начитанности, говоря, что „Россія хочетъ вести войну, и потому министерія нарочно отправляетъ чиновника, чтобы узнать, нѣтъ ли гдѣ измѣны“. Городничій понялъ нелѣпость этого предложенія и отвѣтаетъ: „Гдѣ нашему уѣздному городишку? Еслибъ онъ былъ пограничнымъ, еще бы какъ-нибудь возможно предположить, а то стоять чорть знаетъ гдѣ—въ глухи... Отсюда хоть три года скаки, ни до какого государства не дойдешь“. Засимъ онъ даетъ совѣтъ своимъ сослуживцамъ быть поосторожнѣе и быть готовыми къ пріѣзду ревизора; вооружается противъ мысли о грѣшкахъ, т.-е. взяткахъ, говоря, что „нѣтъ человѣка, который бы не имѣлъ за собою какихъ-нибудь грѣховъ“, что „это уже такъ самимъ Богомъ устроено“ и что „волтеріанцы напрасно противъ этого говорятъ“; слѣдуетъ маленькая перебранка съ судьею о значеніи взятокъ; продолженіе совѣтовъ; ропотъ противъ проклятаго инкогнито. „Вдругъ заглянетъ; а! вы здѣсь, голубчики! А кто, скажетъ, здѣсь судья?—Тяпкинъ-Ляпкинъ. А подать сюда Тяпкина-Ляпкина! А кто попечитель богоугодныхъ заведеній?—Землянина.—А подать сюда Землянику! Вотъ что худо!... Въ самомъ дѣлѣ, худо! Входить наивный почтмейстеръ, который любить распечатывать чужія письма, въ надеждѣ найти въ нихъ разные этакіе пассажи... назидательные даже... лучше, нежели въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“. Городничій даетъ ему плутовскіе совѣты „немножко распечатывать и прочитывать всякое письмо, чтобы узнать—не содержится ли въ немъ какого-нибудь донесенія, или просто переписки“. Какая глубина въ изображеніи! Вы думаете, что фраза „или просто переписки“ безмыслица, или фарсъ со стороны поэта: нѣтъ, это неумѣніе городничаго выражаться, какъ скоро онъ хоть немного выходитъ изъ родныхъ сферъ своей жизни. И таковъ языкъ всѣхъ действующихъ лицъ въ комедіи! Наивный почтмейстеръ, не понимая, въ чемъ дѣло, говорить, что онъ и такъ это дѣлаетъ. „Я радъ, что вы это дѣлаете“, отвѣтаетъ плутъ-городничій простаку-почтмейстеру: „это въ жизни хорошо“, и видя, что съ ними обиняками немного возьмешь, направки просить его—всякое извѣстіе доставлять къ нему, а жалобу или донесеніе просто задерживать. Судья потчуетъ его собаченкою, но онъ отвѣтаетъ, что ему теперь не до собакъ и зайцевъ: „У меня въ ушахъ только и слышно, что инкогнито проклятое; такъ и ожидаешь, что вдругъ отворятся двери и войдешь...“

И, въ самомъ дѣлѣ, двери отворяются съ шумомъ, и вѣгаютъ Петры Ивановичи Бобчинскій и Добчинскій. Это городскіе шуты, уѣздные сплетники; ихъ все знаютъ, какъ дураковъ, и обходятся съ ними или съ видомъ презрѣнія, или съ видомъ покровительства. Они безсознательно это чувствуютъ, и потому изо всей мочи передъ всѣми подличаются, и, чтобы только ихъ терпѣли, какъ собакъ и кошекъ въ комнатѣ, всѣмъ подслуживаются новостями и сплетнями, составляющими субъективную, объективную и абсолютную жизнь уѣздныхъ городковъ. Вообще съ ними обращаются безъ чиновъ, какъ съ собаками и кошками: надоѣдѣть—выгоняютъ. Ихъ дни проходить въ

шатаны и собираючи новостей и сплетней. Обогатясь подобною находкой, они вдругь вырастаютъ сознаниемъ своей важности и уже бѣгутъ къ знакомымъ смѣю, въ увѣренности хорошаго приема.

„Чрезвычайное происшествіе!“ кричить Бобчинскій. „Неожиданное извѣстіе!“ восклицаетъ Добчинскій, вѣгая въ комнату городничаго, гдѣ всѣ настроены на одинъ ладъ, а особенно самъ городничій весь сосредоточенъ на *idée fixe*. „Что такое?“—Приходимъ въ гостиницу—восклицаетъ Добчинскій.—Приходимъ въ гостиницу—перебиваетъ его Бобчинскій. Начинается разсказъ самый обстоятельный, самый подробный, отъ начала до конца: заѣмъ пошли въ гостиницу, гдѣ, какъ, когда, при какихъ обстоятельствахъ, словомъ, по всѣмъ правиламъ топиковъ или общихъ мѣстъ старинныхъ репортиковъ. Чудаки перебиваютъ другъ друга; каждому хочется насладиться своею важностію, быть центромъ общаго вниманія, а вмѣстѣ и занять себя, наполнить свою пустоту пустымъ содержаніемъ. Забавнѣе всего то, что имъ самимъ хочется какъ можно скорѣе добраться до эффектнаго конца, а между тѣмъ и хочется продолжать свое торжество и разсказать все сначала и подробнѣе. Бобчинскій овладѣваетъ разсказомъ, говоря, что у Добчинскаго „и зубъ со свистомъ и слога такого нѣту“, и Добчинскому осталось только помогать жестами разсказу счастливаго Бобчинскаго, изрѣдка обѣгать его нѣкоторыми фразами, которые тотъ снова перехватываетъ и продолжаетъ свой разсказъ. Наконецъ дошли до „молодаго человѣка недурной наружности въ парткуюлярномъ платьѣ“. Представьте себѣ, какое впечатлѣніе долженъ былъ произвести, этотъ „молодой человѣкъ недурной наружности въ парткуюлярномъ платьѣ“ на воображеніе городничаго, уже безъ того настроенное ожиданіемъ проклятаго „инкогнито“! И вотъ, наконецъ, Бобчинскій передаетъ донесеніе трактирщика Власа: „Молодой человѣкъ, чиновникъ, юдущій изъ Петербурга—Иванъ Александровичъ Хлестаковъ, а юдетъ въ Саратовскую губернію, и что чрезвычайно странно себя аттестуетъ: больше полуторы недѣли живеть, дальше не юдетъ, забираеть все на счетъ и денегъ хоть бы копейку заплатиль“. Слѣдуетъ остроумная смѣтка проницательнаго Бобчинскаго: „Съ какой стати сидѣть ему здѣсь, когда дорога ему лежить Богъ знаетъ куда—въ Саратовскую губернію? Это вѣрно не кто другой, какъ самій тотъ чиновникъ“. Не естественъ ли послѣ этого ужасъ городничаго?

Городничій. Что вы говорите? не можетъ быть! Да нѣть, это вамъ такъ показалось. Это кто-нибудь другой.

Бобчинскій. Помилуйте, какъ не онъ! И денегъ не платить, и не юдетъ—кому же быть, какъ не ему? И съ какой стати жилъ бы онъ здѣсь, когда ему прописана подорожная въ Саратовъ?

Понимаете ли вы, хотя въ возможности, эту чудную логику, эти разоны, эти доводы? на какихъ законахъ разума основаны они? Вотъ онъ — вотъ источникъ комического и смѣшнаго! Видите ли вы, какая драма, какое столк-

новеніе противоположныхъ интересовъ, проис текающихъ изъ характеровъ дѣйствующихъ лицъ, и ихъ взаимныхъ отношеній, выразилось въ этихъ двухъ монологахъ! Городничій уже вѣрить страшному извѣстію, и, какъ утопающій, хватается за соломинку, такъ онъ пустымъ вопросомъ хочетъ какъ бы отдалить на-время сознаніе горькой истины, чтобы дать себѣ время опомниться; Бобчинскій, напротивъ, всѣми силами старается поддержать и въ другихъ и въ самомъ себѣ увѣренность въ справедливости извѣстія, которое вдругъ придало ему такую важность. Да, въ этой комедіи нѣтъ ни одного слова, строгой и непреложной необходимости котораго нельзя-бы было доказать изъ самой сущности идеи и дѣйствительности характеровъ. Но вотъ Бобчинскій, по тѣмъ же причинамъ, какъ и его достойный другъ, и съ такою же основательностію и очевидностію подаетъ голосъ о несомнѣнности факта:

Онъ, онъ!.. ей-Богу, онъ!.. Я ставлю Богъ знаетъ чтоб... Такой наблюдательный: все обсмотрѣлъ и по угламъ веадѣ, и даже заглянулъ въ тарелки наши по-любопытствоватъ, чтѣ єдимъ. Такой осмотрительный, что Боже сохрани...

Послѣ такого довода нѣтъ больше сомнѣнія! Такой наблюдательный, что даже въ тарелки заглядывалъ! Боже мой, да если бы въ эту минуту бѣдному городничему сказали о наблюдательности его кучера, онъ принялъ бы его за ревизора, отличительнымъ признакомъ котораго, въ его испущанномъ воображеніи, непремѣнно должна быть наблюдательность...

Видите ли, съ какимъ искусствомъ поэтъ умѣлъ завязать эту драматическую интригу въ душѣ человѣка, съ какою поразительной очевидностью умѣлъ онъ представить необходимость ошибки городничаго? Если и теперь не видите—перечтите комедію, или, что еще лучше,—посмотрите ее на сценѣ; если и тутъ не увидите—такъ это уже вина вашего зрѣнія, а мы не беремъ на себя трудной обязанности научить слѣпого бевошибочно судить о цвѣтахъ. Если нужны еще доказательства; не изъ сущности идеи произведенія почерпнутыя, а вѣнчнія, практическія, разсудочные и резонерскія, безъ которыхъ многіе люди ничего не понимаютъ, замѣтимъ имъ, что подобные случаи часто бываютъ въ жизни: сосредоточтесь на идеѣ, отъ которой зависитъ ваша участъ,—вы начнете говорить о ней съ первымъ встрѣчнымъ на улицѣ, принявъ его за своего пріятеля, къ которому вы шли говорить о ней. По крайней мѣрѣ, это очень возможно.

Пропускаемъ остальную половину первого акта—отчаяніе городничаго при мысли, что ревизоръ въ полторы недѣли могъ узнать о невинно выскѣченной имъ унтер-офицерской женѣ, о покражѣ у арестантовъ провизіи, о нечистотѣ на улицахъ; его радость при мысли, что ревизоръ—молодой человѣкъ; его распоряженія; сцену съ квартальными; просьбу Добчинскаго взять его съ собою, или хоть позволить „бѣжать за дрожжами пѣтушкомъ, пѣтушкомъ“, чтобы только посмотреть въ щелочку—„такъ, знаете, изъ дверей только увидѣть, какъ тамъ онъ... больше сущность и поступки его, а

я ничего"; замѣчаніе городничаго квартальному, что онъ „не по чину бѣреть"; сцену съ частнымъ приставомъ, донесшимъ о квартальномъ Держимордѣ, который побѣхъ, по случаю драки, для порядка, и воротился пьянъ; дальнѣйшія распоряженія городничаго; его животные переходы отъ раскаянія къ ругательствамъ на купцовъ, не догадавшихся подарить ему новой шпаги, хотя и видѣли, что старая уже негодится; его обѣщаніе поставить такую свѣчу, какой никто еще не ставилъ, и угрозу „на каждого бестюю-купца наложить по три пуда воска", когда бѣда минеть; сцену Анны Андреевны, разспрашивающейся мужа за дверью о томъ, съ усами ли ревизоръ и съ какими усами; брань ея на дочь, которая своею кокетливостью при туалетѣ лишила ее возможности поскорѣе разузнать о ревизорѣ; эту пикникову съ дочерью, въ которой поблеклая кокетка уѣзданаго города представляется какъ бы видящею въ молодой дочери свою соперницу: скажемъ кратко, что во всемъ этомъ, какъ и въ предшествовавшемъ, поеть остался вѣренъ своей идеѣ, не измѣнилъ ей ни словомъ ни чертою; что все это больше, нежели портретъ или зеркало дѣйствительности, но болѣе походить на дѣйствительность, нежели дѣйствительность походить сама на себя, ибо все это—художественная дѣйствительность, замыкающая въ себѣ всѣ частные явленія подобной дѣйствительности...

Передъ нами Осипъ—герой лакейской природы, представитель цѣлаго рода безчисленныхъ явленій, изъ которыхъ онъ ни на одно не похожъ, какъ двѣ капли воды, но изъ которыхъ каждое похоже на него, какъ двѣ капли воды. Въ своемъ большомъ монологѣ, гдѣ, между прочимъ, читаетъ онъ правоученіе самому себѣ для своего барина, онъ высказываетъ всего себя, свои отношенія къ барину и, наконецъ, самого барина. Вы видите деревенскаго слугу, который пожилъ въ Петербургѣ: постигъ достоинство столичной жизни и галантѣйного обращенія, но, по пословицѣ „сколько волка ни корми, онъ все въ лѣсь глядитъ", предпочитаетъ мирную деревенскую жизнь треволненіямъ столицы, въ которой худо безъ денегъ, иной разъ славно наѣшься, а въ другой чуть не лопнешь съ голода. Въ истинно-художественномъ произведеніи всегда видно, какъ взаимныя отношенія персонажей дѣйствуютъ на самый ихъ характеръ, и потому вамъ тотчасъ станетъ ясно, что Осипъ грубіянъ столько же по натурѣ, сколько и по преврѣнію къ своему барину, котораго глупость онъ понимаетъ по-своему. Этотъ баринъ одинъ изъ тѣхъ людей, которыхъ въ канцеляріяхъ называютъ пустѣйшими. Онъ франтъ и щеголь, потому что дуракъ и столичный житель; глупцы скорѣе всего перенимаютъ вѣшнія стороны высшей ихъ жизни. Отецъ содержитъ его прилично, но онъ мотаетъ батюшкины денежки, чтобы наполнить свою пустоту, занять свою праздность и удовлетворить мелкому тщеславію, а потомъ спускаетъ платье на рынкѣ до новой присылки денегъ. „Онъ дѣйствуетъ и говорить безъ всякаго соображенія; не въ состояніи остановить постояннаго вниманія на какой-нибудь мысли; рѣчь его отры-

виста, и слова вылетаютъ совершенно неожиданно". Онъ слышалъ, что есть на свѣтѣ вещь, которая называется литературою, и въ его пустой головѣ въ беспорядкѣ улеглись имена сочиненій и названій журналовъ и сочинителей: Брамбеусъ и Смирдинъ, "Библіотека для Чтенія" и "Сумбека", "Юрій Мілославскій" и "Фенелла". Онъ денди не по одному модному платью, но и по манерамъ, денди трактирный, одна изъ тѣхъ фигуръ, которыхъ кра-суются на выѣздахъ московскихъ трактировъ, цырюльи и портныхъ. Въ Пензѣ его обыгралъ на-чистую пѣхотный капитанъ: онъ за это досадуетъ на случай и несчастіе, но не на капитана, къ которому онъ благоговѣеть, какъ дилетантъ къ художнику, потому что, "что ни говори, а удивительно бестія штосы срѣзываеть: всего какихъ-нибудь четверть часа посидѣль и все обобрали—славно играеть!" Великое достоинство въ его глазахъ!

Посмотрите, какъ робко и какими косвѣнными вопросами хочетъ онъ узнать отъ Осипа, есть ли у нихъ табакъ: о, онъ боится его нравоученій и его грубости! Посмотрите, какъ онъ подличаетъ передъ трактирнымъ при-служникомъ, справляясь о его здоровыи и о числѣ пріѣзжающихъ въ ихъ трактиръ, и какъ ласково просить его поторопиться принести ему обѣдъ! Какая сцена, какія положенія, какой языкъ! Гдѣ подсмотрилъ, гдѣ послу-шаль поэты сцены и этотъ языкъ? И почему только одинъ онъ такъ под-смотрилъ и такъ подслушалъ? Можетъ быть, потому, что онъ подсматривалъ и подслушивалъ, какъ и всѣ, то есть, не подсматривая и не подслушивая, да въ фантазіи-то его это отразилось не такъ, какъ у всѣхъ. А вѣдь и эти всѣ—тоже поэты и художники, и какъ блины пекутъ и трагедіи, и драмы, и оперы, и комедіи, и водевили...

Входить Осипъ и говорить барину, что „тамъ чего-то пріѣхалъ город-ничій, освѣдомляется и спрашиваетъ о вѣсѣ“; новое комическое столкно-вленіе! У Хлестакова воображеніе настроено на мысли о жалобахъ трактир-щика, о тюрьмѣ... Онъ испугался тюрьмы, но утѣшился мыслью, что если поведутъ его туда благороднымъ образомъ, то ничего; но мысль о двухъ купеческихъ дочеряхъ и офицерахъ, которыхъ онъ видѣлъ на улицѣ, снова приводить его въ отчаяніе... Можете представить, въ какой настроенности его воображенія входить къ нему городничій... Въ высшей степени комиче-ское положеніе!... Но мы пропускаемъ эту превосходную сцену—она гово-рить сама за себя, а для кого она нѣма, тѣмъ немногого помогутъ наши толкованія. Скажемъ только, что въ этой сценѣ городничій является во всемъ своемъ блескѣ: съ одной стороны, какъ чуждый фантастическому для него понятію петербургскаго чиновника и весь сосредоточенный на мысли о „проклятомъ инкогнито“, онъ всѣ глупости Хлестакова принимаетъ за тонкія штуки, а съ другой, преловко и прехитро выкидываетъ свои тонкія штуки и улаживаетъ дѣло.

Третье дѣйствіе, а Анна Андреевна все еще у окна съ своею дочерью—въ высшей степени комическая черта! Тутъ не одно праздное любопытство

пустой женщины: ревизоръ молодъ, а она кокетка, если не больше... Дочь говоритъ, что кто-то идеть—мать сердится: „Гдѣ идеть? у тебя вѣчно какія-нибудь фантазіи; ну да, идеть“. Потомъ вопросъ: кто идеть: дочь говоритъ, что это Добчинскій—мать опять не соглашается и опять упрекаетъ дочь ни въ чёмъ: „Какой Добчинскій? тебѣ всегда вдругъ вообразится этакое! совсѣмъ не Добчинскій. Эй, вы, ступайте сюда! скорѣе!“ Наконецъ обѣ разглядываютъ; дочь говоритъ:—„А что? а что, маменька? Видите, что Добчинскій!“ Мать отвѣтываетъ: „Ну да, Добчинскій, теперь я вижу—изъ чего же ты споришь?“ Можно ли лучше поддержать достоинство матери, какъ не быть всегда правою передъ дочерью и не дѣлай всегда дочь виноватою предъ собою? Какая сложность элементовъ выражена въ этой сценѣ: увѣдная барыня, устарѣлая кокетка, смѣшная мать! Сколько оттѣнковъ въ каждомъ ея словѣ, какъ значительно, необходимо каждое ея слово! Вотъ что значитъ проникать въ таинственную глубину организаціи предмета, и во вѣнчаность выводить то, что кроется въ самыхъ недоступныхъ для зрѣнія тканяхъ и нервахъ внутренней организаціи! Поэту заставляетъ насквозь видѣть эти характеры и внутри находить причины всего вѣнчанаго, являющагося. Сцена Анны Андреевны съ Добчинскимъ: та и другой являются тутъ во всей своей призрачности. Она спрашиваетъ его, толькъ ли это ревизоръ, о которомъ увѣдомляли ея мужа.—„Настоящій; я это первый открылъ вмѣстѣ съ Петромъ Ивановичемъ“. Потомъ онъ пересказываетъ свиданіе городничаго съ Хлестаковымъ такъ, какъ оно отразилось въ его понятіи и какъ должно было отразиться въ понятіи городничаго, и заключаетъ, что онъ тоже „перетрухнулъ немножко“. „Да вамъ-то чего бояться—вѣдь вы не служите?“—спрашиваетъ она его. „Да такъ, знаете, когда вельможа говорить, то чувствуешь страхъ“,—отвѣтываетъ простакъ. На вопросъ городничихъ о наружности ревизора, онъ его описываетъ такъ, какъ онъ отразился въ его узкой головѣ: „Молодой, молодой человѣкъ: мѣтъ двадцати-трехъ; а говорить совершенно какъ старикъ. Извольте, говорить, я пойду: и туда, и туда... (размахиваетъ руками) такъ это все славно“. Видите ли въ этихъ безсмысленныхъ словахъ немножко идотское неумѣніе отдать себѣ отчетъ въ собственномъ впечатлѣніи и выразить его словомъ? Даѣте: „Я, говорить, и написать и почитать люблю, но мѣшааетъ, что въ комнатѣ, говорить, немножко темно“. Видите ли изъ этого, что чѣмъ Хлестаковъ былъ пошлѣ, безсвязнѣе въ своихъ фразахъ, трактирнѣе въ своихъ манерахъ, тѣмъ большее придавалъ онъ себѣ значеніе не только въ глазахъ Добчинскаго, но и самого городничаго. Есть люди, которые почитаются въ книгахъ глубокимъ и мудрымъ все, чего они не понимаютъ: приведите къ нимъ какого-нибудь глупца или ловкаго мистификатора, какъ автора этой умной книжки, чѣмъ нелѣпѣ онъ будетъ выражаться, тѣмъ больше они будутъ ему удивляться. Для городничаго ревизоръ былъ слишкомъ премудрою книгой, потому уже только, что онъ ревизоръ—съ этой точки зрѣнія его трудно было сдвинуть,

и потому все, что Хлестаковъ ни враль послѣ къ явной своей невыгодѣ, только еще болѣе поддерживало городничаго въ его заблужденіи, вмѣсто того, чтобы вывести изъ него и открыть ему глаза.

Сцена матери и дочери, совѣтующихся о туалетѣ, чтобы ихъ не осмѣяла какая-нибудь „столичная штучка“, и споръ о пальевомъ платьѣ, которое, по мнѣнію матери, къ лицу ей, такъ какъ у нея самые темные глаза, потому что „она и гадаетъ всегда на трефовую даму“, и возраженіе дочери, „что къ ней не идетъ цвѣтное платье, потому что она больше червонная дама“—эта сцена и этотъ споръ окончательно и рѣзкими чертами обрисовываютъ сущность, характеры и взаимныя отношенія матери и дочери, такъ что послѣдующее уже нисколько не удивляетъ въ нихъ васъ, какъ не удивляетъ сумма четырехъ, вышедшая изъ умноженія двухъ на два. Вотъ въ этомъ-то состоится типизмъ изображенія: поэтъ беретъ самыя рѣзкія, самыя характеристическія черты живописуемыхъ имъ лицъ, выпуская всѣ случайныя, которыхъ не способствуютъ къ оттѣненію ихъ индивидуальности. Но онъ выбираетъ не по сортіровкѣ, не по соображенію и сличенію болѣе годныхъ съ менѣе годными, онъ даже и не думаетъ, не заботится объ этомъ, но все это выходитъ у него само собою, потому что изображаемыя имъ на бумагѣ лица прежде всего изобразились у него въ фантазіи и изобразились во всей полнотѣ своей и цѣлости, со всѣми родовыми примѣтами, отъ прѣта волосъ до родимаго пятнышка на лицѣ, отъ звука голоса до покрова платья. Положить ихъ на бумагу—для него уже актъ второстепенный, почти механическій трудъ. И посмотрите, какъ легко у него все выходитъ: въ этой коротенѣйкой, какъ бы слегка и небрежно наброшенной, сценѣ вы видите прошедшее, настоящее и будущее, всю исторію двухъ женщинъ, а между тѣмъ она вся состоить изъ спора о платьѣ, и вся какъ бы мимоходомъ и нечаянно вырвалась изъ-подъ пера поэта!..

Сцена явленія Хлестакова въ домѣ городничаго, въ сопровожденіи свиты изъ городского чиновничества и самого Сквозника-Дмухановскаго; представление Анны Андреевны и Марыи Антоновны; любезничанье и вранье Хлестакова—каждое слово, каждая черта во всемъ этомъ, общность и характеръ всего этого—торжество искусства, чудная картина, написанная великимъ мастеромъ, никогда нежданное, никакъ не подозрѣвавшееся изображеніе всѣми видѣннаго, всѣмъ знакомаго и, несмотря на то, всѣхъ удивившаго и поразившаго своею новостью и небывалостью!.. Здѣсь характеръ Хлестакова—этого второго лица комедіи—развертывается вполнѣ, раскрывается до послѣдней видимости своей микроскопической мелкости и гигантской пошлости. Къ сожалѣнію, это лицо понято менѣе прочихъ лицъ и еще не нашло для себя достойнаго артиста на театрахъ обѣихъ столицъ. Многимъ характеръ Хлестакова кажется рѣзокъ, утрированъ, если можно такъ выразиться, его болтовня, напоминающая „не любо, не слушай—врать не мѣшай“,—изысканно неправдоподобною. Но это потому, что всякий хочетъ

видѣть и, слѣдовательно, видѣть въ Хлестаковѣ свое понятіе о немъ, а не то, которое существенно заключается въ немъ. Хлестаковъ является къ городничему въ домъ послѣ внезапной перемѣны его судьбы: не забудьте, что онъ готовился итти въ тюрьму, а между тѣмъ нашелъ деньги, почетъ, угощеніе, что онъ, послѣ невольнаго и мучительнаго голода, наѣлся до-сыта, отчего и безъ вины можно прійти въ какое-то полуpanyное разслабленіе, а онъ еще и подпилъ. Какъ и отчего произошла эта внезапная перемѣна въ его положеніи, отчего передъ нимъ стоять всѣ навытажку—ему до этого нѣтъ дѣла; чтобы понять это, надо подумать, а онъ не умѣеть думать, онъ влѣчется, куда и какъ толкаютъ его обстоятельства. Въ его полуpanyной головѣ, при обремененномъ желудкѣ, все передвоилось, все перемѣсилось—и Смирдинъ съ Брамбесомъ, и „Библіотека“ съ „Сумбекою“, и Маврушка съ посланниками. Слова вылетаютъ у него вдохновенно; оканчивая послѣднее слово фразы, онъ не помнить ея первого слова. Когда онъ говорилъ о своей значительности, о связяхъ съ посланниками,—онъ не зналъ, что онъ врѣть, и нисколько не думалъ обманывать: сказавъ первую фразу, онъ продолжалъ какъ бы противъ воли, какъ камень, толкнутый съ горы, катиться уже не посредствомъ силы, а собственною тяжѣстью. „Меня даже хотѣли сдѣлать вице-канцлеромъ (зѣваетъ во всю глотку). О чемъ бишь я говорилъ?“ Если бы ему сказали, что онъ говорилъ о томъ, какъ отецъ сѣкалъ его розгами, онъ навѣрное уѣхалъ бы за эту мысль, и началъ бы не говорить, а какъ будто продолжать, что это очень болѣно, что онъ всегда кричалъ, но что „при нынѣшнемъ образованіи этимъ ничего не возьмешь“.

Многіе почитаютъ Хлестакова героемъ комедіи, главнымъ ея лицомъ. Это несправедливо. Хлестаковъ является въ комедіи не самъ собою, а совершенно случайно, мимоходомъ, и притомъ не самимъ собою, а ревизоромъ. Но кто его сдѣлалъ ревизоромъ? страхъ городничаго,—слѣдовательно, онъ созданіе испуганнаго воображенія городничаго, призракъ, тѣнь его совѣсти. Поэтому онъ является во второмъ дѣйствіи и исчезаетъ въ четвертомъ,—и никому нѣтъ нужды знать, куда онъ поѣхалъ и что съ нимъ стало: интересъ зрителя сосредоточенъ на тѣхъ, которыхъ страхъ создалъ этой фантомъ, и комедія была бы не кончена, если бы окончилась четвертымъ актомъ. Герой комедіи—городничій, какъ представитель этого міра призраковъ.

Въ „Ревизорѣ“ нѣтъ сценъ лучшихъ, потому что нѣтъ худшихъ, но всѣ превосходны, какъ необходимыя части, художественно-образующія собою единое цѣлое, округленное внутреннимъ содержаніемъ, а не внѣшнею формой, и потому представляющіе собою особный и замкнутый въ самомъ себѣ міръ. Скрѣпя сердце пропускаемъ VII, VIII, IX и X явленія третьаго акта и остановимся только на опѣнѣніи городничаго, какъ бы кто ударили его обухомъ по головѣ, „такъ совсѣмъ ошеломило! страхъ такой напалъ: еще такого важнаго человѣка никогда не видаль: съ министрами играеть и во дворецъ ёздитъ... такъ вотъ, право, чѣмъ больше думаешь... чортъ его

знаешь, не знаешь, чтоб и дѣлается въ головѣ, какъ будто стоишь на какой-нибудь колокольнѣ, или тебя хотятъ повѣсить"... Это говорить уѣздный чиновникъ, служака, начавшій службу по-старинному, что называлось „тянуть лямку“, а вотъ голосъ чиновницы новаго времени, которая всегда образованнѣе своего мужа: „А я никакой совершенно не ощутила робости, я просто видѣла въ немъ образованнаго, свѣтскаго, высшаго тона человѣка, а о чинахъ его мнѣ и нужды нѣтъ“. Безподобна и эта выходка философствующаго городничаго: „Чудно все завелось теперь на свѣтѣ: народъ все тоинь-кій, поджаристый такой. Никакъ не узнаешь, что онъ важная особа“. Это голосъ старого чиновника, врасплохъ застигнутаго новымъ временемъ: онъ уже и прежде слышалъ, а теперь собственными глазами удостовѣрился, что нынче-де уже по головѣ, а не по брюху дѣлаются важными особами.

Въ первыхъ сценахъ четвертаго акта Хлестаковъ бесѣдуетъ съ самимъ собою и является все тѣмъ же, все самимъ же собою, и не измѣняетъ себѣ ни однимъ словомъ, ни однимъ движеніемъ. Послѣ дивныхъ сценъ съ чиновниками города, у которыхъ онъ набралъ денегъ, онъ еще въ первый разъ додѣгивается, что его принимаютъ не за то, что онъ есть, а за великаго государственнаго человѣка. Причина этого явленія и могущія выйти изъ него слѣдствія не въ силахъ остановить на себѣ его вниманія. Это одна изъ тѣхъ головъ, которыхъ не въ состояніи переварить самого простого понятія и глотаютъ, не жевавши. Онъ очень радъ, что его приняли за важную особу: „Я это люблю. Мнѣ нравится, если меня почитаютъ за важнаго человѣка. Въ моей физіономіи точно есть что-то такое внушающее...“ и не докончилъ, сколько потому, что это фраза слышанная, а не своя, столько и потому, что вдругъ перепрыгнулъ къ другому предмету... „Это съ ихъ стороны тоже благородная черта, что они готовы дать взаймы денегъ“. Видите ли: его приняли за важную особу—оттого, что „у него въ физіономіи есть что-то внушающее“; это должна дань его личнымъ достоинствамъ, а не другая, болѣе важная для чиновниковъ причина; что ему надавали денегъ, это не взятки, а заемъ, и онъ на ту минуту, какъ говорить, вполнѣ уѣждентъ, что возвратить имъ свой долгъ. Но Осипъ умнѣе своего барина: онъ все понимаетъ, и ласково, тоже какъ будто мимоходомъ, совѣтуетъ ему уѣхать, говоря: „Погуляли здѣсь два денька, ну—и довольно; что съ ними связываться! плюньте на нихъ! неровень часть, какой-нибудь другой найдеть“, и обольщаетъ его тройкою лихихъ лошадей съ колокольчикомъ. Эта приманка, равно какъ и мимоходомъ сказанное предостереженіе, что „батюшка будетъ гнѣваться за то, что такъ замѣшкались“, и рѣшила Хлестакова послѣдовать благоразумному совѣту. Слѣдуетъ сцена съ купцами, въ которой вы видите, какъ на ладони, это купечество уѣзднаго городка, которое выучилось кое-какъ зашибать деньги, а еще не обрилось и не умылось, чтобы отъ его бородки не пахло капустою; которое плохо знаетъ грамоту и живетъ на „авось“, т.-е. гдѣ выторговалъ, а гдѣ надулся, и съ которымъ, по всему

этому, городничий обходился безъ чиновъ: „схватить за бороду, говорить, ажъ ты, татаринъ“; которое, наконецъ, любить коли давать, такъ давать—возьми и подносикъ, и головку сахара, и куличикъ съ винами, и не триста,—что триста!—пятьсотъ, только дѣло сдѣлай. Языкъ неподражаемо вѣренъ. Хлестаковъ опять не измѣняетъ себѣ—береть взаймы, о взяткахъ слышать не想要, и если гдѣ приходитъ въ маленькое недоумѣніе, тамъ толкаетъ его Осипъ и заставляетъ не быть безъ дѣйствія. Но вотъ входитъ Марья Антоновна: она въ комнатѣ чужого молодого человѣка ищетъ ма-меньку... Ея приходъ *толкаетъ* Хлестакова, т.-е. заставляетъ дѣлать то, чего онъ не думалъ дѣлать. Онъ франтъ, она „барышня“: слѣдовательно, ему должно волочиться за нею. Что изъ этого выйдетъ—такая мысль не можетъ прійти въ его пустую и легкую голову, которая дѣйствуетъ подъ вліяніемъ вѣнчанаго обстоятельства, подъ впечатлѣніемъ настоящей минуты. „Барышня“ глупа, пуста и пошла, но она уже прочла нѣсколько романовъ, и у нея есть альбомъ, въ который Хлестаковъ долженъ написать какіе-ни-будь этакіе новенькие „стишки“. О, ему это ничего не стѣбътъ—онъ много знаетъ наизусть стиховъ, напр.: „О ты, что въ горести напрасно“, и проч. И вотъ, онъ на колѣнѣхъ передъ нею. Уйди она—онъ черезъ минуту за-быть бы обѣ этой сценѣ, какъ совсѣмъ небывалой; но входитъ мать и *тол-каетъ* его „просить руки“ Мары Антоновны. Онъ уважаетъ въ полной увѣ-ренности, что онъ женихъ и что все сдѣлалось, какъ должно; но извозчикъ прикнулъ, колокольчикъ залілся—и Хлестаковъ готовъ спросить себя: „На чѣмъ, бишь, я остановился?“.

Первые сцены пятаго акта представляютъ намъ городничаго въ пол-нотѣ его грубаго блаженства животной натуры. Здѣсь поэтъ является глубокимъ анатомикомъ души человѣческой, проникаетъ въ самые недоступные тайники ея и выводить наружу все крывшееся въ нихъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ пятомъ актѣ городничий является въ своемъ апоеевозѣ, полнымъ опредѣ-леніемъ своей сущности, вполнѣ опредѣлившимся возможностью; все темное, грязное, низкое и грубое, что крылось въ его природѣ, развивалось воспи-таніемъ и обстоятельствами, все это всплыло со дна наверхъ, изнутри яви-лось наружу, и явилось такъ добродушно, такъ комически, что вы невольно смѣетесь тамъ, гдѣ бы должны были ужасаться. „Чтѣ, говорить онъ женѣ, тебѣ и во снѣ не видѣлось: просто изъ какой-нибудь городничихи, и вдругъ, фу ты канальство! Съ какимъ дѣяволомъ породнилась!“—„Какія мы съ то-бою теперь птицы сдѣлались! А, Анна Андреевна! высокаго полета, чортъ побери!“. Изъ труса онъ дѣлается нахаломъ, мѣщаниномъ, который вдругъ попалъ въ знатные люди; страхъ Сибири прошелъ—онъ уже не обѣщаетъ Богу пудовой свѣчи, и грозится еще жить и обирать кущовъ; велитъ кри-чать о своемъ счастіи всему городу, „валить въ колокола; коли торжество, такъ торжество, чортъ возьми!“ его дочь выходить замужъ за такого человѣка, „что и на свѣтѣ еще не было, что можетъ и прогнать всѣхъ въ го-

родѣ, и въ тюрьму посадить, и все, что хочетъ“. Боже мой! къ лицу ли ему генеральство! А онъ въ неистовомъ восторгѣ, въ бѣшеной комической страсти отъ мысли, что будетъ генераломъ... „Вѣдь почему хочется быть генераломъ? потому что случится, пойдешь куда-нибудь, фельдъегери и адъютанты поскакутъ вѣдѣ впередь: лошадей! и тамъ на станціяхъ никому не дадутъ, все дожидается: всѣ эти титулярные, капитаны, городничіе, а ты себѣ и въ усь не дуешь: обѣдаешь гдѣ-нибудь у губернатора, а тамъ: стой, городничій! Ха, ха, ха! Вотъ что, канальство, заманчиво!“

Такъ проявляются грубыя страсти животной натуры! Это страсть—и страсть бѣшеная: у нашего городничаго сверкаютъ глаза, въ голосѣ тонъ изступленія, движенія порывисты. Если не вѣрите—посмотрите на Щепкина въ этой роли. Въ комедіи есть свои страсти, источникъ которыхъ смѣшонъ, но результаты могутъ быть ужасны. По понятію нашего городничаго, быть генераломъ значитъ видѣть предъ собою униженіе и подлость отъ низшихъ, гнести всѣхъ не генераловъ своимъ чванствомъ и надменностью; отнять лошадей у человѣка нечиновнаго, или меньшаго чиномъ, по своей подорожной имѣющаго равное на нихъ право; говорить „братецъ“ и „ты“ тому, кто говоритъ ему „ваше превосходительство“ и „вы“; и проч. Сдѣлайся нашъ городничій генераломъ—и когда онъ живеть въ уѣздномъ городѣ, горе маленькому человѣку, если онъ, считая себя „не имѣющимъ чести быть знакомымъ съ генераломъ“, не поклонится ему, или на балу не уступить мѣста, хотя бы этотъ маленький человѣкъ готовился быть великимъ человѣкомъ!.. тогда изъ комедіи могла бы выйти трагедія для „маленькаго человѣка“...

Приходъ купцовъ усиливаетъ волненіе грубыхъ страстей городничаго: изъ животной радости онъ переходить въ животную злобу. Сначала хочеть говорить тихо, съ сосредоточенною яростью и злобною ироніей; но животная натура не даетъ ему выдержать этой роли: власть надъ собою принадлежитъ только образованнымъ людямъ; онъ постепенно приходитъ въ большую и большую ярость и разражается ругательствами. Онъ пересчитываетъ Абдулину свои благодѣянія, т.-е. напоминаетъ случаи, гдѣ они вмѣстѣ казну обкрадывали... Купцы являются тѣми же купцами: они низко кланяются низко подличаютъ. Великодушный городничій смягчается, но на условіи, чтобы „засуленныя бороды, аршинники, самоварники, протоканаліи и архібестіи“ не думали „отбояриться отъ него какимъ-нибудь балычкомъ, или головою сахара“, ибо-де „онъ выдаетъ дочку свою не за какого-нибудь дворянина“...

Начинаютъ собираться гости. Городничій снова въ своемъ пѣтушьемъ величіи. Передъ нимъ всѣ подличаютъ, какъ передъ знатною особой; поздравляютъ вслухъ съ „необыкновеннымъ благополучиемъ“, и ругаютъ вполголоса. Городничиха, какъ и съ самаго начала пятаго акта, играеть роль случайной дамы, которая, однако, нисколько не удивлена своимъ счастіемъ,

какъ по праву принадлежащимъ ея достоинствамъ, и какъ давно привычнымъ ей. Она показываетъ, что равнодушна къ нему. Но устарѣлая кокетка беретъ верхъ надъ знатною дамой: она почти оспариваетъ жениха у своей дочери. Входить простодушный почтмейстеръ и пренаивно открываетъ всѣмъ глаза насчетъ мнимаго ревизора, доказавъ очевидно, что онъ „и не уполномоченный и не осoba“. Сцена чтенія письма Хлестакова—въ высшей степени комическая. Но что же нашъ городничій?—Вы думаете, ему стыдно, мучительно-стыдно видѣть себя такъ жестоко одураченнымъ собственою ошибкой, такъ тяжко наказаннымъ за свои грѣхи? Какъ бы не такъ! Бѣздарность, посредственность, или даже обыкновенный талантъ, тотчасъ бы воспользовались случаемъ заставить городничаго раскаяться и исправиться; но талантъ необыкновенный глубже понимаетъ натуру вещей и творить не по своему произволу, а по закону разумной необходимости. Городничій пришелъ въ бѣшенство, что допустилъ обмануть себя мальчишкѣ, вертопраху, у котораго молоко на губахъ не обсохло, онъ, который „тридцать лѣтъ жилъ на службѣ“, котораго „ни одинъ купецъ, ни одинъ подрядчикъ не могъ провести; мошенниковъ надъ мошенниками обманывалъ; пройдохъ и плутовъ такихъ, что весь свѣтъ готовы обворовать, поддѣвалъ на уду; трехъ губернаторовъ обманулъ!“—Вы думаете: ему совѣстно, мучительно-совѣстно смотрѣть на тѣхъ людей, передъ которыми онъ сейчасъ только такъ ломался, которые унижались и подличали передъ его мнимою знатностью? Ничего не бывало! Когда дражайшая его половина обнаруживаетъ всю свою глупость наивнымъ вопросомъ: „Какъ же?... вѣдь это не можетъ быть... онъ совсѣмъ вѣдь обручился съ нашою Машенькой?“—онъ не только не старается замять позорнаго для нихъ обоихъ объясненія, но еще съ досадою на ея недогадливость очень ясно толкуетъ ей, въ чёмъ дѣло: „А развѣ ты не видишь, что у него все это фу-фу? Пустѣйшій человѣкъ, чортъ бы побралъ его! Вотъ подлинно, если Богъ захочетъ наказать, такъ отниметъ разумъ. Ну, что въ немъ было такого, чтобы можно было принять за важнаго человѣка, или вельможу? Пусть бы онъ имѣлъ что-нибудь внушающее уваженіе, а то чортъ знаетъ что: дрянь, сосулька! Тоньше сѣрной спички!“ Засимъ обманутые чудаки бросаются съ ругательствами на Петровъ Ивановичъ, какъ первыхъ вѣстовщиковъ о пріѣздѣ ревизора. Брань сыплется на нихъ градомъ; они сваливаютъ вину другъ на друга, какъ вдругъ явленіе жандарма съ извѣстіемъ о пріѣздѣ истиннаго ревизора прерываетъ эту комическую сцену и, какъ громъ, разразившійся у ихъ ногъ, заставляетъ ихъ окаменѣть отъ ужаса, и такимъ образомъ превосходно замыкаетъ собою пѣсть пьесы.

Все, сказанное нами о „Ревизорѣ“, отнюдь не есть разборъ этого превосходнаго произведения искусства. Подробный разборъ хода всей пьесы, характеровъ ея дѣйствующихъ лицъ, ихъ взаимныхъ отношеній и ихъ взаимодѣйствія другъ на друга завели бы настѣнко далеко. Скрѣпя сердце и обузды-

вая руку, мы не показали подробно развитія дѣйствія, а вскоро проѣждали его, не останавливались на отдельныхъ лицахъ, но, такъ сказать, заѣзжались за нихъ. Наша цѣль была—намекнуть на то, чѣмъ должна быть комедія художественно-созданная. Для этого мы старались намекнуть на идею „Ревизора“, а вслѣдствіе ея не только на естественность, но и на необходимость ошибки городничаго, принявшаго Хлестакова за ревизора, ошибки, составляющей завязку, интригу и развязку комедіи, а чрезъ все это, указать, по возможности, на цѣлость (Totalit t) пьесы, какъ особаго, въ самомъ себѣ замкнутаго міра.

Не намъ судить, до какой степени выполнили мы все это; по крайней мѣрѣ, теперь читатели могутъ ясно видѣть наши требования отъ искусства и нашъ критеріумъ для сужденія о комедіи.

---

#### Стихотворенія Лермонтова.

Немного поэтовъ, къ разбору произведеній которыхъ было бы не странно приступить съ предварительнымъ взглядомъ на сущность поэзіи: Лермонтовъ принадлежитъ къ числу этихъ немногихъ... Подробное разсмотрѣніе небольшой книжки его стихотвореній покажетъ, что въ ней кроются все стихіи поэзіи, что она заключаетъ въ себѣ возможность въ будущемъ нѣсколькихъ и при томъ большихъ книгъ... Мы увидимъ, что свѣжесть благоуханія, художественная роскошь формъ, поэтическая прелестъ и благородная простота образовъ, энергія, могучесть языка, алмазная крѣпость и металлическая звучность стиха, полнота чувства, глубокость и разнообразіе поэзіи идей, необыкнвнность содержанія—суть родовыи и характеристическія примѣты Лермонтова и залогъ ея будущаго великаго развитія...

Чѣмъ выше поэтъ, тѣмъ больше принадлежитъ онъ обществу, среди котораго родился, тѣмъ тѣснѣе связано развитіе, направленіе и даже характеръ его таланта съ историческимъ развитіемъ общества. Пушкинъ началъ свое поэтическое поприще „Русланомъ и Людмилою“—содержаніемъ, котораго идея отзывается слишкомъ раннею молодостью, но которое кипить чувствомъ, блещеть всѣми красками, благоухаетъ всѣми цвѣтами природы, сознаніемъ неистощимо веселымъ, игривымъ... Это была шалость генія послѣ первой опорожненной имъ чаши на свѣтломъ пиру жизни... Лермонтовъ началъ историческою поэмой, мрачною по содержанію, суровою и важною по формѣ... Въ первыхъ своихъ лирическихъ произведеніяхъ Пушкинъ явился провозвѣстникомъ человѣчности, пророкомъ высокихъ идей общественныхъ; но эти лирическія стихотворенія были столько же полны свѣтлыхъ надеждъ, предчувствія торжества, сколько силы и энергіи. Въ первыхъ лирическихъ

произведеніяхъ Лермонтова, разумѣется, тѣхъ, въ которыхъ онъ особенно является русскимъ и современнымъ поэтомъ, также виденъ избытокъ несокрушимой силы духа и багатырской силы въ выраженіи; но въ нихъ уже нѣтъ надежды, они поражаютъ душу читателя безотрадностью, безвѣремъ въ жизнь и чувства человѣческія, при жаждѣ жизни и избыткѣ чувства... Нигдѣ нѣтъ Пушкинскаго разгула на ширу жизни; но вездѣ вопросы, которые мрачать душу, леденять сердце... Да, очевидно, что Лермонтовъ поэтъ совсѣмъ другой эпохи и что его поэзія— совсѣмъ новое звено въ цѣли исторического развитія нашего общества.

Первая піеса Лермонтова напечатана была въ „Современникѣ“ 1837 г., уже послѣ смерти Пушкина. Она называется „Бородино“. Поэтъ предстаетъ молодого солдата, который спрашивается старого служаку:

Скажи-ка, дядя, вѣдь недаромъ  
Москва, спаленная пожаромъ,  
Француузъ отдана?  
Вѣдь были жъ схватки боевые?  
Да, говорить, еще какія!  
Недаромъ помнить вся Россія  
Про день Бородина!

Вся основная идея стихотворенія выражена во второмъ куплетѣ, которымъ начинается отвѣтъ старого солдата, состоящій изъ тринадцати куплетовъ:

— Да, были люди въ наше время,  
Не то что нынѣшнее племя:  
Богатыри—не вы.  
Плохая имъ досталась доля:  
Немногіе вернулись съ поля...  
Не будь на то Господня воля,  
Не отдали бъ Москвы!

Эта мысль—жалоба на настоящее поколѣніе, дремлющее въ бездѣйствії, зависть къ великому прошедшему, столь полному славы и великихъ дѣлъ. Дальше мы увидимъ, что эта „тоска по жизни“, внушила нашему поэту не одно стихотвореніе, полное энергіи и благороднаго негодованія. Чтѣ же до „Бородина“,—это стихотвореніе отличается простотою, безыскусственностью: въ каждомъ словѣ слышите солдата, языкъ котораго, не переставая быть грубо-простодушнымъ, въ то же время благороденъ, силенъ и полонъ поэзіи. Ровность и выдержанность тона дѣлаетъ осъязаемо-ощутительную основную мысль поэта. Впрочемъ, какъ ни прекрасно это стихотвореніе, оно не можетъ еще показать, чего отъ автора должна была ожидать наша поэзія. Въ 1838 году была напечатана его поэма „Пѣсня про Царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова“; это произведеніе сдѣлало извѣстнымъ имя автора, хотя оно явилось и безъ подписи этого имени. Спрашивали: кто такой безыменный поэтъ? кто такой

Лермонтовъ? писалъ ли онъ что-нибудь кромѣ этой поэмы? Но, несмотря на то, эта поэма все-таки еще не окончена, толпа и не подозрѣваетъ ея высокаго достоинства. Здѣсь поэтъ отъ настоящаго міра неудовлетворяющей его русской жизни перенесся въ ея историческое прошедшее, подслушавъ бѣеніе его пульса, проникъ въ сокровенійшіе и глубочайшіе тайники его духа, сроднился и слился съ нимъ всѣмъ существомъ своимъ, обвѣялся его звуками, усвоилъ себѣ складъ его старинной рѣчи, простодушную суровость его нравовъ, богатырскую силу и широкій размѣръ его чувства и, какъ будто современникъ этой эпохи, принялъ условія ея грубой и дикой общественности, со всѣми ихъ оттѣнками, какъ-будто бы никогда и не зналъ о другихъ,—и вынесъ изъ нея вымышленную быль, которая достовѣрнѣе всякой дѣйствительности, несомнѣннѣе всякой исторіи. И подлинно этой пѣсни можно заслушаться, и все нельзя ея довольно наслушаться: какъ маніемъ волшебнаго скіпетра воскрешаетъ она прошедшее—и мы не можемъ настмотрѣться на него, забываемъ для него свое настоящее, ни на минуту не сводимъ съ него взоръ, боясь, чтобы оно не исчезло отъ насъ. На первомъ планѣ, видимъ мы Иоанна Грознаго, котораго память такъ кровава и страшна, котораго колоссальный обликъ живъ еще въ преданіи и въ фантазіи народа... Что за явленіе въ нашей исторіи былъ этотъ „мужъ кровей“, какъ называется его Курбскій? Былъ ли онъ Людовикомъ XI нашей исторіи, какъ говорить Карамзинъ?... Не время и не мѣсто распространяться здѣсь о его историческомъ значеніи; замѣтимъ только, что это была сильная натура, которая требовала себѣ великаго развитія для великаго подвига; но какъ условія тогдашняго полуазіатскаго быта и вѣнчнія обстоятельства отказали ей даже въ какомъ-нибудь развитіи, оставивъ ее при естественной силѣ и грубой мощи и лишили ее всякой возможности пересоздать дѣйствительность,—то эта сильная натура, этотъ великий духъ поневолѣ искалисъ и нашли свой выходъ, свою отраду только въ безумномъ мщеніи этой иена-вистной и враждебной имъ дѣйствительности... Тиранія Иоанна Грознаго имѣеть глубокое значеніе, и потому она возбуждаетъ къ нему скорѣе сожалѣніе, какъ къ падшему духу неба, чѣмъ ненависть и отвращеніе, какъ къ мучителю... Можеть-быть, это былъ своего рода великий человѣкъ, но только не вѣ-время, слишкомъ рано явившійся Россіи—пришедший въ міръ съ призваніемъ на великое дѣло и увидѣвшій, что ему нѣтъ дѣла въ мірѣ; можетъ быть, въ немъ безсознательно кипѣли всѣ силы для измѣненія ужасной дѣйствительности, среди которой онъ такъ безвременно явился, которая не побѣдила, но разбила его и которой онъ такъ страшно мстилъ всю жизнь свою, разрушая и ее и себя самого въ болѣзни и безсознательной ярости... Вотъ почему изъ всѣхъ жертвъ его свирѣпства онъ самъ наиболѣе заслуживаетъ соболѣзнованія; вотъ почему его колоссальная фигура, съ блѣднымъ лицомъ и впалыми, сверкающими очами, съ головы до ногъ облита такимъ страшнымъ величиемъ, нестерпимымъ блескомъ такой ужасающей

поэзі... И такимъ точно является онъ въ поэмѣ Лермонтова: взглянь очей его—молнія, звукъ рѣчей его—громъ небесный, порывъ гнѣва его—смерть и пытка; но сквозь всего этого, какъ молнія сквозь тучи, проблескиваетъ величіе падшаго, униженаго, искаженнаго, но сильнаго и благороднаго по своей природѣ духа...

Поэма начинается картиною царскаго пира: въ золотомъ вѣнцѣ своеемъ сидить грозный царь, окруженній стольниками, боярами, князьями и опричниками,

И пируетъ царь во славу Божію,  
Въ удовольствіе свое и веселіе.

Онъ велѣтъ наполнить золотой ковшъ заморскімъ виномъ, обнести пи-  
рующихъ—„И всѣ пили, царя славили“. Лишь только одинъ изъ опричниковъ  
„Въ золотомъ ковшѣ не мочилъ усовъ“, и сидѣлъ съ крѣпкою думою на  
сердцѣ. Гнѣвно взглянулъ на него царь, словно ястребъ съ высоты небесъ  
на молодого голубя сизокрылаго,—„Да не поднялъ глазъ молодой боецъ“.

Царь стукнулъ объ полъ своей палкой, съ желѣзнымъ напонечникомъ—  
палка на четверть вонзилась въ дубовый полъ, но и тутъ не дрогнула  
добрый молодецъ.

Низко кланяясь, опричникъ просить у царя извиненія, говоря:

„Сердца жаркаго не залить виномъ,  
Думу черную—не запотчивать!  
А прогнѣвалъ я тебя—воля царская!  
Прикажи казнить, рубить голову:  
Тяготить она плечи богатырскія  
И сама къ сырой землѣ она клонится“.

Царь разспрашиваетъ о причинѣ печали, и его вопросы—перлы народной  
нашей поэзіи, полнѣшее выраженіе духа и формъ русской жизни того вре-  
мени. Таковъ же и отвѣтъ или, лучше сказать, отвѣты опричника, потому  
что, по духу русской національной поэзіи, онъ отвѣтываетъ почти стихомъ на  
стихъ. Боясь длинноты, не выписываемъ этого мѣста; но вторая половина  
рѣчи Кирибѣевича дышитъ такою полнотой чувства, блещетъ такими само-  
цвѣтными камнями народной поэзіи, что мы не можемъ удержаться, чтобы  
не перечесть его вмѣстѣ съ нашими читателями. Вина печали удалого  
бойца—молодушки, которая закрывается фатою, когда на него любуются  
красныя дѣвушки.

Какая сильная, могучая натура! Ея страсть—лава, ея горесть—тяжела и  
трудна; это удающее, разгульное отчаяніе, которое въ молодечествѣ, въ по-  
двигѣ крови и смерти ищетъ своего утоленія! Сколько поэзіи въ словахъ  
этого опричника, какая глубокая грусть дышитъ въ нихъ,—это грусть,  
которая разрываетъ сильную душу, но не убиваетъ ея, это грусть, которая  
составляетъ основной элементъ, родную стихію, главный мотивъ нашей на-  
ціональной поэзіи!

Со смѣхомъ отвѣтаетъ царь своему любимому слугѣ, что его горю-бѣдѣ немудрено помочь, предлагаетъ ему яхонтовый перстень и жемчужное ожерелье, велить сперва поклониться „смышленой“ свахѣ, а потомъ послать своей Алѣнѣ Дмитріевнѣ дары драгоцѣнныя.

Какъ ударъ грома, какъ приговоръ смерти, поражаетъ душу читателя этотъ отвѣтъ опричника,—и тщетно испуганный слухъ его ждѣтъ, что скажетъ на это грозный царь: поэтъ опускаетъ занавѣсъ на эту такъ трагически недоконченную картину, такъ страшно прерванную сцену; передъ вами нѣтъ героеvъ поэмы, и вы съ трудомъ вѣрите, что видѣли все это не на яву, что все это—только разсказъ пѣсенниковъ...

Ай, ребята, пойте—только гусли стройте!

Ай, ребята, пейте—дѣло разумѣйте!

Ужъ потѣште вы доброго боярина

И боярью его бѣлолицую!

Но этотъ удалой припѣвъ, эти затѣйливыя прибаутки народнаго острогумія не веселятъ васъ; сердце ваше сжимается болѣзненною тоскою: оно чуетъ горе, предвидѣть бѣду; новѣсть превращается для васъ въ мрачную драму, съ трагическою катастрофою, и завѣзка уже готова, дѣйствіе уже зародилось. Вы видите, что любовь Кирилѣвича—иѣ шуточное дѣло, не простое волокитство, но страсть натуры сильной, души могучей. Вы понимаете, что для этого человѣка нѣтъ середины: или получить, или погибнуть! Онъ вышелъ изъ-подъ опеки естественной нравственности своего общества, а другой, болѣе высшей, болѣе человѣческой, не пріобрѣлъ: такой развратъ, такая безнравственность въ человѣкѣ съ сильною натурой и дикими страстями опасны и страшны. И при всемъ этомъ, онъ имѣть опору въ грозномъ царѣ, который никого не пожалѣть, не пощадить даже за обиду, не только за гибель своего любимца, хотя бы этотъ былъ рѣшительно виноватъ.

Занавѣсъ поднятъ—и передъ нами новая картина; молодой купецъ, статный молодецъ, Степанъ Парамоновичъ, по прозванію Калашниковъ, за прилавкомъ.

Шелковые товары раскладываетъ,

Рѣчью ласковой гостей онъ заманиваетъ,

Злато, серебро пересчитываетъ.

Это другая сторона русскаго быта того времени; на сценѣ является представитель другого класса общества. Первое его появленіе на сцену располагаетъ васъ въ его пользу: почему-то вы чувствуете, что это одинъ изъ тѣхъ упругихъ и тяжелыхъ характеровъ, которые тихи и кротки только до тѣхъ поръ, пока обстоятельства не расколыхаютъ ихъ, одна изъ тѣхъ желѣзныхъ натуръ, которыхъ и обиды не стерпятъ, и сдачи дадутъ. Сильнѣе и сильнѣе щемить ваше сердце—чуешь оно недобroe, тѣмъ больше, что „молодому купцу, статному молодцу“ задался недобрый день.

Калашниковъ запираетъ свою лавочку дубовою дверью, „да нѣмѣцкимъ замкомъ со пружиною“, привязываетъ на желѣзную цѣпь зубастаго пса,

И пошелъ онъ домой, *призадумавшись*,  
Къ молодой хохляйкѣ за Москву-рѣку.

Отчего же онъ *призадумался*?—Или душа человѣка чуеть шелестъ шаговъ незримо-слѣдующей по пятамъ его судьбы, которая обрекла его въ свои жертвы?...

Пришедъ въ свой „высокій“ домъ, Степанъ Парамоновичъ дивится, что его не встрѣчаютъ ни мѣдна жена, ни малыя дѣтушки, что дубовый столъ не покрытъ бѣлою скатертью, и свѣтла передъ образомъ еле-теплится. Кличетъ онъ старуху Еремѣевну и спрашиваетъ, куда въ такой поздний часъ „дѣвались, затаивались“ Алѣна Дмитріевна, и не засыгрались ли его любезныя дѣти, что такъ рано уложились спать? И слышитъ въ отвѣтъ:

... Къ вечерни пошла Алѣна Дмитріевна;  
Вотъ ужъ погдѣ прошель съ молодой попадьей,  
Засвѣтили свѣтчу, сѣли ужинать,—  
А по сю пору твоя хохляюшка  
Изъ приходской церкви не вернулася.  
А дѣти твои малыя  
Почивать не легли, не играть пошли—  
Плачутъ плачутъ, все ие унимаются.

Въ этихъ стихахъ полная картина домашняго быта и простыхъ, малосложныхъ, простодушныхъ семейственныхъ отношеній у нашихъ предковъ.

Смутился Степанъ Парамоновичъ крѣпкою думою.

[Возвращается Алена Дмитріевна, разстроенная, простоволосая].

Онъ спрашиваетъ ее, гдѣ она шаталася: ужъ не гуляла ли, не пировала ли съ дѣтьми боярскими, что волосы ея такъ растрепаны и одежда изорвана.

Онъ грозить запереть ее за дубовую дверь окованную, за желѣзный замокъ, чтобы она и свѣту Божьаго не видѣла, его имени честнаго не порочила.

Какъ основный листъ, затряслася Алѣна Дмитріевна, упала мужу въ ноги, прося его выслушать ее и говоря, что она „не боится смерти лютаго, а боится его немилости“: въ двѣнадцати стихахъ полная картина супружескихъ отношеній варварскаго времени. Жена разсказываетъ мужу, что, шедши отъ вечерни домой, услышала за собою чьи-то шаги, „оглянулася—человѣкъ бѣжитъ“; этотъ человѣкъ схватилъ ее за руки, говоря ей, что онъ слуга цара грознаго, прозывается Кирибѣевичемъ, а изъ славныхъ семьи изъ Малютиной...

Рванувшись изъ рукъ его, она оставила у него свою фату бухарскую и узорный платокъ,—подарочекъ мужа. Заключеніе ея разсказа состоить въ жалобахъ на свой позоръ и въ просьбахъ мужу—не дать ей, свою вѣрную жену, въ поруганіе злымъ охульникамъ. Тогда Степанъ Парамоновичъ посыпаетъ за своими двумя меньшими братьями и разсказываетъ объ обидѣ, нанесенной ему злымъ опричникомъ царскимъ, говорить о своемъ намѣре

ні—биться на-смерть съ опричникомъ на кулачномъ бою, который будетъ завтра на Москвѣ-рѣкѣ, при самомъ царѣ, и просить ихъ постоять за правду, если самъ будетъ побитъ.

Изъ ихъ отвѣта видно, что семья Калашниковыхъ хоть и не славилась столько, какъ Малютинъ, но состояла изъ сизаго орла съ орлятами... Превосходно очеркнуль поэты въ этомъ отвѣте, будто мимоходомъ, и простоту родственныхъ отношеній нашихъ предковъ, гдѣ право первородства было и правомъ власти, гдѣ старшій братъ заступалъ мѣсто отца для младшихъ. И это сдѣлано имъ не въ описаніи, а въ живой картинѣ, въ самомъ разгарѣ въ высшей степени драматического дѣйствія. Этюю сценой семейнаго совѣщенія оканчивается вторая часть драматической поэмы: дѣйствующія лица и завязка дѣйствія уже рѣзко обозначились,—и сердце наше замираетъ отъ пречувствія горестной развязки...

На Москву-рѣку сходилися удачные молодцы, „разгуляться для праздника, потѣшиться“. Самъ царь пріѣхалъ съ дружиною, боярами и опричниками, и велѣлъ одѣпить серебряною цѣпью мѣсто въ 25 сажень „для охотничьего боя, одиночнаго“. Потомъ царь велѣлъ вызывать охотниковъ:

„Кто побьетъ кого, того царь наградить,  
А кто будетъ побитъ, тому Богъ простить!“

Выходитъ Кирилѣвичъ и съ похвальбою вызываетъ супротивниковъ, обѣщаюсь „лишь потѣшить царя-батюшку, но для праздника отпустить живого“. Вдругъ раздалась толпа—и выходитъ Степанъ Парамоновичъ. Кирилѣвичъ, не выходя изъ тона своей удали, молодецкой похвальбы, спрашиваетъ Калашникова о родѣ-племени и имени, „чтобы знать, по комъ панихиду служить, чтобы было чѣмъ и похвастаться“.

[Слѣдуетъ отвѣтъ Калашникова].

Вотъ оно—ужасное торжество совѣсти въ глубокой натурѣ, которая никогда не отрѣшился отъ совѣсти, какъ бы ни была искажена развратомъ, какъ бы ни страшно проглязла въ порокѣ!... Всегда надъ нею грозная длань нравственного закона, грозный голосъ суда Божія, потому что она сама свой нравственный законъ и свой неумолимый судъ!..

Начинается бой (мы пропускаемъ его подробности); правая сторона побѣдила—

И опричникъ молодой застоналъ слегка,  
Закачался, упалъ замертво;  
Повалился онъ на холодный снѣгъ,  
На холодный снѣгъ, будто сосенка,  
Будто сосенка, во сыромъ бору,  
Подъ смолистый подъ корень подрубленная.

Не правда ли: вамъ жаль удалого, хотя и преступнаго бойца? Съ не-выразимою тоской повторите вы за поэтомъ жалобную мелодію, которую выразилъ онъ его паденіе?.. А между тѣмъ, вы же сами желали побѣды благородному купцу и гибели его преступному оскорбителю?.. Таково обаяніе

великихъ натуръ; какъ бы ни было велико ихъ преступленіе, но, наказанія, онъ привлекаютъ все удивленіе и всю любовь нашу:—мы видимъ въ нихъ жертвы неотразимой судьбы, и братскимъ поцѣлуемъ прощенія и прощенія въ холодныя посинѣлые уста ихъ запечатлѣваемъ торжество возстановленной смертью гармоніи общаго, которую нарушили было они своею виной.

Грозный царь воспалился гнѣвомъ и спрашиваетъ Калашникова: вольною волей или нехотя убилъ онъ его вѣрнаго слугу и лучшаго бойца? Вѣроятно, Калашниковъ могъ бы еще спасти себя ложью, но для этой благородной души, дважды такъ страшно потрясенной—и позоромъ жены, разрушившемъ его семейное блаженство, и кровавою местью врагу, не возвратившо его прежняго блаженства,—для этой благородной души жизнь уже не представляла ничего обольстительнаго, а смерть казалась необходимою для уврачеванія ея неисцѣлимыхъ ранъ... Есть души, которыхъ довольствуются кое-чѣмъ—даже остатками бывшаго счастья; но есть души, лозунгъ которыхъ—все или ничего, которая не хотятъ запятнаннаго блаженства разъ потемнѣнной славы: такова была и душа удалого купца, статнаго молодца, Степана Парамоновича Калашникова! Онъ сказалъ царю всю правду, скрывъ, однако, причину своего мщенія:

А за что про что—не скажу тебѣ;  
Скажу только Богу единому.

Какая дивная черта глубокаго знанія сердца человѣческаго и древнихъ нравовъ! Какая высокая, трагическая черта! Онъ охотно идетъ на казнь и лишь просить царя „не оставить своей милостью малыхъ дѣтушекъ, молодой жены да двухъ братьевъ его“. Въ отвѣтъ царя рѣзко, во всемъ страшномъ величиі, выказывается колоссальный образъ Грознаго.

Какая жестокая иронія, какой ужасный сарказмъ! и мертвый содрогнулся бы отъ него во гробѣ! А между тѣмъ, въ согласіи на милость женѣ, покровительствѣ дѣтямъ и братьямъ осужденнаго проблескиваетъ лучъ благородства и величія царственной натуры, и какъ бы невольное признаніе достоинства человѣка, который обреченъ судьбою безвременной и насильственной смерти!.. Какая страшная трагедія! сама судьба, въ лицѣ Грознаго, присутствуетъ предъ нами и управляетъ ея ходомъ!.. И едва ли во всей исторіи человѣчества можно найти другой характеръ, который могъ бы съ большимъ правомъ представлять лицо судьбы, какъ Иоаннъ Грозный!..

На площади собирается народъ; гудить-воетъ заунывный колоколь; по высокому лобному мѣсту весело похаживаетъ палачъ, руки голыя потирающи:

Удалого бойца дожидается;  
А лихой боецъ, молодой купецъ,  
Со родными братьями прощается.

Онъ велить имъ поклониться отъ него Алёнъ Дмитревнъ да заказать ей  
меньше печалиться, а дѣтушкамъ про него не велить сказывать...

И вотъ, занавѣсь опустился, трагедія кончилась, колоссальные образы  
ея героевъ исчезли изъ глазъ нашихъ, прошедшее опять стало прошедшимъ.  
Что? — могила, жилище тлѣнія и смерти; но надъ этою могилою вѣтъ  
жизнь, царить воспоминаніе, нѣмою рѣчью говорить преданіе:

И проходять мимо люди добрые:  
Пройдеть старъ человѣкъ—прекрестится,  
Пройдеть мѣлодецъ—пріосанится,  
Пройдеть дѣвица—пригорюнится,  
А пройдутъ гусляры—споютъ пѣсеньку.

Какія роскошныя дани, какія богатыя жертвы приносятся этой могилѣ жи-  
выми! И она стбить ихъ, ибо не живые въ ней, мертвой,—но она мертвая,  
рождаетъ жизни въ живыхъ: заставляетъ ихъ и креститься, и пріосани-  
ваться, и пригорюниться, и пѣть пѣсни!.. Васъ огорчаетъ, заставляетъ  
страдать горестная и страшная участь благороднаго Калашникова; вы же  
жалѣете даже и о преступномъ опричнику:—понятное, человѣческое чувство!  
Но безъ этой трагической развязки, которая такъ печалить ваше сердце, не  
было бы и этой могилы, столь краснорѣчивой, столь живой, столь полной глуб-  
окаго значенія и не было бы великаго подвига, который такъ возвысилъ  
вашу душу, и не было бы чудной пѣсни поэта, которая такъ очаровала  
васъ... И потому да перемѣнится печаль ваша на радость, и да будетъ эта  
радость свѣтлымъ торжествомъ побѣды бессмертнаго надъ смертнымъ, об-  
шаго надъ частнымъ! Благословимъ непреложные законы бытія и міродер-  
жавныхъ судебъ и повторимъ за поэтомъ музикальный финаль, которымъ,  
по старинному и достохвальному русскому обычаю, заставляетъ онъ гусля-  
ровъ заключить свою поэтическую пѣсню:

Гей вы, ребята удалые,  
Гусляры молодые,  
Голоса заливные!  
Красно начинали—красно и кончайте.  
Каждому правдою и честью воздайте.  
Тароватому боярину слава!  
И красавицѣ—боярынѣ слава!  
И всему народу христіанскому слава!

Излагая содержаніе этой поэмы, уже известной публикѣ, мы имѣли  
въ виду намекнуть на богатство ея содержанія, на полноту жизни и глубо-  
кость идеи, которыми она запечатлѣна: что же до поэзіи образовъ, роскоши  
красокъ, прелести стиха, избытка чувства, охватывающаго душу огненными  
волнами, свѣжести колорита, силы выраженія, трепетнаго, полнаго страсти  
одушевленія,—эти вещи не толкуются и не объясняются... Пусть читаютъ  
(поэму) и судятъ сами: кто не увидитъ въ этихъ стихахъ того, что мы

видимъ, для тѣхъ нѣтъ у насть очковъ, и едва ли какой оптикъ въ мірѣ поможетъ имъ...

Содержаніе поэмы, въ смыслѣ разсказа происшествія, само по себѣ полно поэзіи; еслибы оно было историческимъ фактамъ, въ немъ жизнь являлась бы поэзіею, а поэзія—жизнью. Но тѣмъ не менѣе, онъ не существовалъ бы для насть, нашли бы мы его въ простодушной хроникѣ старыхъ временъ, или, по какому-нибудь чуду, сами были его свидѣтелемъ—оно было бы для насть мертвымъ материаломъ, въ который только поэтъ могъ бы вдохнуть душу живу, отдѣливъ отъ него все случайное, произвольное, и представивъ его въ гармоническомъ цѣломъ, поставленномъ и освѣщенномъ сообразно съ требованіями точки зрѣнія и свѣта. И въ этомъ отношеніи нельзя довольно надивиться поэту: онъ является здѣсь опытнымъ, гениальнымъ архитекторомъ, который умѣеть такъ согласить между собою части зданія, что ни одна подробность въ украшеніяхъ не кажется лишнею, но представляется необходимою и равно важною съ самыми существенными частями зданія, хотя вы и понимаете, что архитекторъ могъ бы легко, вмѣсто ея, сдѣлать и другую. Какъ ни пристально будете вы взглѣдываться въ поэму Лермонтова, не найдете ни одного лишняго или недостающаго слова, черты, стиха, образа; ни одного слабаго мѣста: все въ ней необходимо, полно, сильно! Поэма Лермонтова—созданіе мужественное, зрѣлое, и столько же художественное, сколько и народное. Но нашъ поэтъ вышелъ въ царство народности, какъ ея полный властелинъ и, проникнувшись ея духомъ, слившись съ нею, онъ показалъ только свое родство съ нею, а не тождество: даже въ минуту творчества онъ видѣлъ ее предъ собою, какъ предметъ, и такъ же по волѣ своей вышелъ изъ нея въ другія сферы, какъ и вошелъ въ нее. Онъ показалъ этимъ только богатство элементовъ своей поэзіи, кровное родство своего духа съ духомъ народности своего отечества; показалъ, что и прошедшее его родины такъ же присущно его натуѣ, какъ и ея настоящее; и потому онъ, въ этой поэмѣ, является истиннымъ художникомъ,—и если его поэма не можетъ быть переведена ни на какой языкъ, ибо колоритъ ея весь въ русско-народномъ языкѣ, то тѣмъ не менѣе она—художественное произведеніе, во всей полнотѣ, во всемъ блескѣ жизни, воскресившее одинъ изъ моментовъ русскаго быта, одного изъ представителей древней Руси. Въ этомъ отношеніи, послѣ Бориса Годунова, больше всѣхъ посчастливилось Иоанну Грозному: въ поэмѣ Лермонтова колоссальный образъ его является изваяннымъ изъ мѣди или мрамора...

По внутреннему плану нашей статьи, мы должны были сперва говорить о тѣхъ стихотвореніяхъ Лермонтова, въ которыхъ онъ является не безусловнымъ художникомъ, но внутреннимъ человѣкомъ и по которымъ однимъ можно увидѣть богатство элементовъ его духа и отношенія его къ обществу. Мы такъ и начали, такъ и продолжаемъ: взглѣдъ на чисто-художественные стихотворенія его заключить нашу статью. И если мы оста-

новились на „Песнь про царя Ивана Васильевича, молодаго опричника и удалого купца Калашникова“, которую сами признаемъ художественною, то потому что, во-первыхъ, самая ея художественность болѣе или менѣе условна, ибо въ этой „Песнѣ“ онъ поддѣлывается подъ ладъ старинный и заставляетъ гусляровъ пѣть ее; во-вторыхъ, эта „Песня“ представляетъ собою фактъ о кровномъ родствѣ духа поэта съ народнымъ духомъ и свидѣтельствуетъ объ одномъ изъ богатѣйшихъ элементовъ его поэзіи, намекающемъ на величие его таланта. Самый выборъ этого предмета свидѣтельствуетъ о состояніи духа поэта, недовольнаго современною дѣйствительностю и перенесшагося отъ нея въ далекое прошедшее, чтобы тамъ искать жизни, которой онъ не видѣть въ настоящемъ. Но это прошедшее не могло долго занимать такого поэта: онъ скоро долженъ былъ почувствовать всю бѣдность и все однообразіе его содержанія и возвратиться къ настоящему, которое жило въ каждой каплѣ его крови, трепетало съ каждымъ биенiemъ его пульса, съ каждымъ вздохомъ его груди. Не отдѣлиться ему отъ него! Оно вѣдрилось въ него, обвилось вокругъ него, оно сосетъ кровь изъ его сердца, оно требуетъ всей жизни его, всей дѣятельности! Оно ждѣтъ отъ него своего просвѣтленія, уврачеванія своихъ язвъ и недуговъ. Онъ только можетъ совершить это, какъ полный представитель настоящаго, другой властитель нашихъ думъ! Въ созданіяхъ поэта, выражавшихъ скорби и недуги общества, общество находитъ облегченіе отъ своихъ скорбей и недуговъ: тайна этого цѣлительного дѣйствія—сознаніе причины болѣзни чрезъ представление болѣзни. Великую истину заключаютъ въ себѣ эти простодушныя слова изъ „Гимна Музамъ“ древняго старца Гезіода: „Если кто чувствуетъ скорбь, свѣжую рану сердца, и сидитъ съ своею горькою думою, а пѣвецъ, служитель музъ, запоетъ о славѣ первыхъ человѣкъ и блаженныхъ боговъ, на Олимпѣ живущихъ,—въ тотъ же мигъ забываетъ несчастный горе и не помнить ни одной заботы: такъ скоро даръ боговъ измѣнилъ его“. Но это сила поэзіи вообще, сила всякой поэзіи, дѣйствіе же поэзіи, воспроизводящей наши собственныя страданія, еще чуднѣе оказывается на нашихъ же собственныхъ страданіяхъ: увидѣвъ ихъ вѣя насть самихъ, очищенными и просвѣтленными общимъ значеніемъ скрывающагося въ нихъ таинственнаго смысла, мы тотчасъ же чувствуемъ себя облегченными отъ нихъ...

Нашъ вѣкъ—вѣкъ по преимуществу историческій. Всѣ думы, всѣ вопросы наши и отвѣты на нихъ, вся наша дѣятельность выросла изъ исторической почвы и на исторической почвѣ. Человѣчество давно уже пережило вѣкъ полноты своихъ вѣрованій; можетъ быть, для него наступитъ эпоха еще высшей полноты, нежели какою когда-либо прежде наслаждалось оно; но нашъ вѣкъ есть вѣкъ сознанія, философствующаго духа, размышленія, „рефлексіи“. Вопросъ—вотъ альфа и омега нашего времени. Ощущимъ ли мы вѣя чувства любви къ женщинѣ,—вмѣсто того, чтобы роскошно упиваться его полнотою, мы прежде всего спрашиваемъ себя, что такое лю-

бовь, въ самомъ ли дѣлѣ мы любимъ? и пр. Стремясь къ предмету съ не-насытною жаждою желанія, съ тяжелою тоскою, со всѣмъ безумствомъ стра-сти, мы часто удивляемся холодности, съ какою видимъ исполненіе самыхъ пламенныхъ желаній нашего сердца,— и многіе изъ людей нашего времени могутъ примѣнить къ себѣ сцену между Мефистофелемъ и Фаустомъ, у Пушкина:

Когда красавица твоя  
Была въ восторгѣ, въ упоеніѣ,  
Ты безпокойною душой  
Ужъ погружался въ размышеніе  
(А доказали мы съ тобой,  
Что размышеніе—скуки сѣмья).  
И знаешь ли, философъ мой,  
Что думалъ ты въ такое время,  
Когда не думаетъ никто?  
Сказать ли?

Фаустъ.

Говори. Ну, что?

Мефистофель.

Ты думалъ: агнецъ мой послушный!  
Какъ жадно я тебя желалъ!  
Какъ хитро въ дѣлѣ простодушной  
Я грезы сердца возмущалъ!  
Любви невольной, безкорыстной  
Невинно предалась она...  
Что жъ грудь теперь моя полна  
Тоской и скучой ненавистной?...  
На жертву прихоти моей  
Гляжу, упившись наслажденьемъ,  
Съ неодолимымъ отвращеніемъ:  
Такъ безрасчетный дуралей,  
Вотще рѣшась на злое дѣло,  
Зарѣзавъ пищаго въ лѣсу,  
Бранить ободранное тѣло;  
Такъ на продажную красу,  
Насытясь ею торопливо,  
Развратъ косится боязливо...

Ужасно!... Но это не смерть и даже не старость міра, какъ думаетъ старое поколѣніе, которое, въ своей молодости, такъ беззаботно пило и ёло, такъ весело плясало, такъ безсознательно наслаждалось жизнью. Нѣть, это не смерть и не старость: люди нашего времени также или еще больше полны жаждою желаній, сокрушительною тоскою порываній и стремленій. Это только болѣзпенный крізисъ, за которымъ должно послѣдовать здоровое состояніе, лучше и выше прежняго. Та же рефлексія, то же размышеніе, которое теперь отравляетъ полноту всякой нашей радости, должно быть впослѣд-

ствіи источникомъ высшаго, чѣмъ когда-либо, блаженства, высшей полноты жизни. Но горе тѣмъ, кто является въ эпоху общественного недуга! Общество живеть не годами — вѣками, а человѣку данъ мигъ жизни: общество выздоровѣть, а тѣ люди, въ которыхъ выразился кризисъ его болѣзни — благородѣйшіе сосуды духа, навсегда могутъ остатся въ разрушающемъ элементѣ жизни!...

Какъ бы то ни было, но нашъ вѣкъ есть вѣкъ размышенія. Поэтому, рефлексія (размышеніе) есть законный элементъ поэзіи нашего времени, и почти всѣ великие поэты нашего времени заплатили ему полную дань: Байронъ въ „Манфредѣ“, „Кайнѣ“ и другихъ произведеніяхъ; Гёте особенно въ „Фаустѣ“; вся поэзія Шиллера по преимуществу *рефлектирующая*, размышляющая. Въ наше время едва ли возможна поэзія въ смыслѣ древнихъ поэтовъ, совершающая явленіе жизни безъ всякаго отношенія къ личности поэта (поэзія объективная), и въ наше время тотъ не поэтъ и особенно не художникъ, у которого въ основаніи таланта не лежить совершательность древнихъ и способность воспроизводить явленіе жизни безъ отношеній къ своей личности; и въ наше время отсутствіе въ поэта внутренняго (субъективнаго) элемента есть недостатокъ.

Въ самомъ Гёте не безъ основанія порицаютъ отсутствіе историческихъ и общественныхъ элементовъ, спокойное довольство дѣйствительностю, какъ она есть. Это и было причиной, почему менѣе Гётевской художественной, но болѣе человѣческой, туманной поэзія Шиллера нашла себѣ больше отзыва въ человѣчествѣ, чѣмъ поэзія Гёте.

Преобладаніе внутренняго (субъективнаго) элемента въ поэтахъ обычненныхъ есть признакъ ограниченности таланта. У нихъ субъективность означаетъ выраженіе личности, которая всегда ограничена, если является отдельно отъ общаго. Они обыкновенно говорять о своихъ нравственныхъ недугахъ, и всегда одно и то же; читая ихъ, невольно вспоминаешь эти стихи Лермонтова:

Какое дѣло намъ, страдалъ ты или нѣть?

Въ талантѣ великому, избытокъ внутренняго, субъективнаго элемента есть признакъ гуманности. Не бойтесь этого направленія: оно не обманетъ васъ, не введетъ васъ въ заблужденіе. Великій поэтъ, говоря о себѣ самомъ, о своемъ я, говоритъ объ общемъ — о человѣчествѣ, ибо въ егоНатурѣ лежить все, чѣмъ живеть человѣчество. И потому въ его грусти всякий узнаетъ свою грусть, въ его душѣ всякий узнаетъ свою и видитъ въ немъ не только поэта, но и человѣчка, брата своего по человѣчеству. Признавая его существомъ несравненно высшимъ себя, всякий въ то же время сознаетъ свое родство съ нимъ.

Вотъ что заставило насъ обратить особенное вниманіе на субъективные сихотворенія Лермонтова, и даже порадоваться, что ихъ больше, чѣмъ чисто художественныхъ. По этому признаку мы узнаемъ въ немъ поэта русскаго, *народнаго*, въ высшемъ и благородѣйшемъ значеніи этого слова, —

поэта, въ которомъ выразился исторический моментъ русского общества. И въ такія его стихотворенія глубоки и многозначительны; въ нихъ выражается богатая дарами духа природа, благородная человѣческая личность.

Черезъ годъ послѣ напечатанія „Пѣсни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова“, Лермонтовъ вышелъ снова на арену литературы съ стихотвореніемъ „Дума“, изумившимъ всѣхъ алмазною крѣпостію стиха, громовою силою бурнаго одушевленія, исполнинскою энергию благороднаго негодованія и глубокой грусти. Съ тѣхъ поръ, стихотворенія Лермонтова стали являться одно за другими безъ перемежки, и съ его именемъ.

Поэту говорить о новомъ поколѣніи, что его будущее „иль пусто, иль темно“, что оно должно состарѣться подъ бременемъ познанія и сомнѣнія; укоряетъ его, что оно изсушило умъ безплодною наукой. Въ этомъ нельзя согласиться съ поэтомъ: сомнѣніе—такъ; но излишства познанія и науки, хотя бы и „безплодной“, мы не видимъ: напротивъ, недостатокъ познанія и науки принадлежитъ къ болѣзнямъ нашего поколѣнія.

Хорошо бы еще, еслибъ, взамѣнъ утраченной жизни, мы насладились хоть знаніемъ: быть бы хоть какой-нибудь выигрышъ! Но сильное движение общественности сдѣлало насть обладателями знанія, безъ труда и учени—и этого плодъ безъ корня, надо признаться, пришелся намъ горекъ: онъ только пресытилъ насть, а не напиталъ, притупилъ напѣ вкусы, но не уладилъ его. Это обыкновенное и необходимое явленіе во всѣхъ обществахъ, вдругъ выступающихъ изъ естественной непосредственности въ сознательную жизнь, не въ кѣдрахъ ихъ возросшую и созрѣвшую, а пересаженную отъ развившихся народовъ. Мы въ этомъ отношеніи—безъ вины виноваты!

Богаты мы, едва изъ колыбели,  
Ошибками отцовъ и позднимъ ихъ умомъ,  
И жизнь ужъ насть томить, какъ ровный путь безъ щали,  
Какъ пиръ на праздникѣ чужомъ.

Какая вѣрная картина! Какая точность и оригинальность въ выраженіи! Да, умъ отцовъ нашихъ, для насть—поздній умъ: великая истина!

И ненавидимъ мы, и любимъ мы случайно.

Эти стихи писаны кровью; они вышли изъ глубины оскорбленнаго духа: это вопль, это стоны человѣка, для которого отсутствіе внутренней жизни есть зло, въ тысячу разъ ужаснѣйшее физической смерти!.. И кто же изъ людей новаго поколѣнія не найдетъ въ немъ разгадки собственнаго унынія, душевной апатіи, пустоты внутренней, и не откликнется на него своимъ воплемъ, своимъ стономъ?.. Если подъ „сатирою“ должно разумѣть не невинное зубоскальство веселенькихъ остроумцевъ, а громы негодованія, грозу духа, оскорбленнаго позоромъ общества,—то „Дума“ Лермонтова есть

сатира, и сатира есть законный родъ поэзіи. Если сатиры Ювенала дышать такою же бурею чувства, такимъ же могуществомъ огненнаго слова, то Ювеналь дѣйствительно великій поэтъ!..

Другая сторона того же вопроса выражена въ стихотвореніи „Поэтъ“. Обдѣланный въ золото галантерейною игрушкою книжалъ наводить поэта на мысль о роли, которую это орудіе смерти и мщенія играло прежде... А теперь?.. Увы!

Никто привычно, заботливой рукой  
Его не чистить, не ласкаеть.

Вотъ оно, то бурное одушевлениѣ, та трепещущая, изнемогающая отъ полноты своей страсти, которую Гоголь называетъ въ Шиллеръ паѳосомъ!.. Нѣть, хвалить такие стихи можно только стихами, и притомъ такими же... А мысль?.. Мы не должны здѣсь искать статистической точности фактovъ; но должны видѣть выраженіе поэта,—и кто не признаеть, что то, чего онъ требуетъ отъ поэта, составляетъ одну изъ обязанностей его служенія и призванія? Не есть ли это характеристика поэта—характеристика благороднаго Шиллера?..

„Не вѣрь себѣ“ есть стихотвореніе, составляющее тріумвиратъ съ двумя предшествовавшими. Въ немъ поэтъ рѣшаетъ тайну истиннаго вдохновенія, открывая источникъ ложнаго. Есть поэты, пишущіе въ стихахъ и въ прозѣ, и, кажется, удивительно какъ сильно и громко, но чтеніе которыхъ дѣйствуетъ на душу какъ угаръ или тяжелый хмель, и ихъ произведенія, особенно увлекающія молодость, какъ-то скоро испаряются изъ головы. У этихъ людей нельзя отнять дарованія и даже вдохновенія, но

Въ немъ признака небесъ напрасно не ищи:  
То кровь кипить, то силь избытокъ!..

Со времени появленія Пушкина, въ нашей литературѣ показались какія-то неслыханныя прежде жалобы на жизнь, пошло въ оборотъ новое слово „разочарованіе“, которое теперь уже успѣло сдѣлаться и старымъ и приорнымъ. Элегія смѣнила оду и стала господствующимъ родомъ поэзіи. За поэтами даже и плохіе стихотворцы начали воспѣвать

Погибшій жизни цвѣтъ  
Безъ малаго въ восьмнадцать лѣтъ.

Ясно, что это была эпоха пробужденія нашего общества къ жизни: литература въ первый разъ еще начала быть выраженіемъ общества. Это новое направление литературы вполнѣ выразилось въ дивномъ созданіи Пушкина—„Демонъ“. Это демонъ сомнѣнія, это духъ размышенія, рефлексіи, разрушающей всякую полноту жизни, отравляющей всякую радость. Странное дѣло: пробудилась жизнь, и съ нею объ-руку пошло сомнѣніе—врагъ жизни! „Демонъ“ Пушкина съ тѣхъ поръ остался у нась вѣчнымъ гостемъ, и съ

злою, насмѣшилою улыбкою показывается то тутъ, то тамъ... Мало этого: онъ привель другого демона, еще болѣе страшнаго, болѣе неразгаданнаго, высказавшагося въ стихотвореніи Лермонтова:

И скучно, и грустно, и некому руку подать  
Въ минуту душевной невзгоды...

Страшень этотъ глухой могильный голосъ подземнаго страданія нездѣшней муки, этотъ потрясающій душу ревкіемъ всѣхъ надеждъ, всѣхъ чувствъ человѣческихъ, всѣхъ обаяній жизни! Отъ него содрогается человѣческая природа, стынетъ кровь въ жилахъ, и прежній свѣтлый образъ жизни представляется отвратительнымъ скелетомъ, который душить насъ въ своихъ костяныхъ объятіяхъ, улыбается своими костяными челюстями и прижимается къ устамъ нашимъ! Это не минута духовной дисгармоніи, сердечнаго отчаянія: это похоронная пѣсня всей жизни! Кому незнакомо по опыту состояніе духа, выраженное въ ней, въ чьей натурѣ не скрывается возможность ея страшныхъ диссонансовъ,—тѣ, конечно, увидятъ въ ней не больше, какъ маленькую пѣску грустнаго содержанія, и будуть правы; но тотъ, кто не разъ слышалъ внутри себя ея могильный напѣвъ, а въ ней увидѣлъ только художественное выраженіе давно знакомаго ему ужаснаго чувства, тотъ припишетъ ей слишкомъ глубокое значеніе, слишкомъ высокую цѣну, дасть ей почетное мѣсто между величайшими созданіями поэзіи, которымъ когда-либо, подобно свѣточамъ Эвменидѣ, освѣщали бездонныя пропасти человѣческаго духа... И какая простота въ выраженіи, какая естественность, свобода въ стихѣ! такъ и чувствуешь, что вся пьеса мгновенно излилась на бумагу сама собою, какъ потокъ слезъ, давно уже накипѣвшихъ, какъ струя горячей крови изъ раны, съ которой вдругъ сорвана перевязка...

Вспомните „Героя нашего времени“, вспомните Печорина—этого страннаго человѣка, который, съ одной стороны, томится жизнью, презираетъ и ее и самого себя, не вѣрить ни въ неѣ ни въ самого себя, носить въ себѣ какую-то бездонную пропасть желаній и страстей, ничѣмъ ненасытимыхъ, а съ другой—гонится за жизнью, жадно ловить ея впечатлѣнія, безумно упивается ея обаяніями; вспомните его любовь къ Бѣлѣ, къ Вѣрѣ, къ княжнѣ Мери и потому поймите эти стихи:

Любить... но кого же!.. на время не стоить труда,  
А вѣчно любить невозможно.

Да, невозможно! Но зачѣмъ же эта безумная жажда любви, къ чему эти гордые идеалы вѣчной любви, которыми мы встрѣчаемъ нашу юность, эта гордая вѣра въ неизмѣняемость чувства и его дѣйствительность?.. Мы знаемъ одну пьесу, которой содержаніе высказываетъ тайный недугъ нашего времени, а которая за нѣсколько лѣтъ передъ симъ казалась бы

даже безсмысленною, а теперь для многихъ слишкомъ многое знаменательна. Вотъ она:

Я не люблю тебя: мнѣ суждено судьбою  
Не полюбивши разлюбить;  
Я не люблю тебя: больной моей душою  
Я никогда не буду вѣдѣть любить.  
О, не кляни меня! Я обманула природу,  
Тебя, себя, когда въ волшебный мигъ  
Я сердце праздное и блѣдную свободу  
Повергъ въ слезахъ у милыхъ ногъ твоихъ.  
Я не люблю тебя, но, полюбя другую,  
Я презиралъ бы горько самъ себя;  
И, какъ безумный, я и плачу и тоскую,  
И все о томъ, что не люблю тебя!..

Неужели прежде этого не бывало? Или, можетъ быть, прежде этому не придавали большой важности: пока любилось—любили; разлюбилось—не тужили; даже соединяясь какъ бы по страсти тѣми узами, которыхъ навсегда рѣшаются участь двухъ существъ, и потомъ увидѣвъ, что ошиблись въ своемъ чувствѣ, что не созданы одинъ для другого, вмѣсто того чтобы приходить въ отчаяніе отъ страшныхъ цѣпей, предавались лѣнивой привычкѣ, свыкались и равнодушно изъ сферы гордыхъ идеаловъ, полноты чувства, переходили въ мирное и почтенное состояніе пошлой жизни?.. Вѣдь у всякой эпохи свой характеръ?.. Можетъ быть, люди нашего времени слишкомъ многаго требуютъ отъ жизни, слишкомъ необузданно предаются обаяніямъ фантазій, такъ что, послѣ ихъ роскошныхъ мечтаний, дѣйствительность кажется имъ уже слишкомъ безцвѣтною, блѣдною, холодною и пустою?.. Можетъ быть, люди нашего времени слишкомъ серьезно смотрятъ на жизнь, даютъ слишкомъ большое значеніе чувству?.. Можетъ быть, жизнь представляется имъ какимъ-то высокимъ служеніемъ, священнымъ таинствомъ, и они лучше хотятъ совсѣмъ не жить, нежели жить, какъ живется?.. Можетъ быть, они слишкомъ прямо смотрятъ на вещи, слишкомъ добросовѣстны и точны въ названіи вещей, слишкомъ откровенны насчетъ самихъ себя: протяжно зѣвая, не хотятъ называть себя энтузіастами, и ни другихъ, ни самихъ себя не хотятъ обманывать ложными чувствами и становиться на ходули?.. Можетъ быть, они слишкомъ совѣстливы и честны въ отношеніи къ участіи другихъ людей и, обѣщаю другому существу любовь и блаженство, думаютъ, что непремѣнно должны дать ему то и другое, а не видя возможности исполнить это, предаются тоскѣ и отчаянію?.. Или, можетъ быть, лишенные сочувствія съ обществомъ, сжатые его холодными условіями, они видятъ, что не въ пользу имъ щедрые дары богатой природы, глубокаго духа, и представляютъ собою младенца въ англійской болѣзни?.. Можетъ быть—чего не можетъ быть!..

„И скучно и грустно“ изъ всѣхъ пьесъ Лермонтова обратила на себя

особую непрязнь старого поколѣнія. Странные люди! имъ все кажется, что поэзія должна выдумывать, а не быть жрицею истины, тѣшить побрикующими, а не гремѣть правдою! Имъ все кажется, что люди—дѣти, которыхъ можно заговорить прибаутками, или утѣшать сказочками! Они не хотятъ понять, что если кто кое-что знаетъ, тотъ смеется надъ увѣреніями и поэта и моралиста, зная, что они сами имъ не вѣрятъ. Такія правдивыя представлениія того, что есть, кажутся нашимъ чудакамъ безнравственными. Питомцы Бульи и Жанлисъ, они думаютъ, что истина сама по себѣ не есть высочайшая нравственность... Но вотъ самое лучшее доказательство ихъ дѣтскаго заблужденія: изъ того же самаго духа поэта, изъ которого вышли такие безотрадные, леденящіе сердце человѣческое звуки, изъ того же самаго духа вышло и стихотвореніе „Въ минуту жизни трудную“—эта молитвенная, елейная мелодія надежды, примиренія и блаженства въ жизни жизнью.

Другую сторону духа нашего поэта представляетъ его превосходное стихотвореніе „Памяти А. И. О-го“: это сладостная мелодія какихъ-то глубокихъ, но тихихъ думъ, чувства сильнаго, но цѣломудренаго, замкнутаго въ самомъ себѣ... Есть въ этомъ стихотвореніи что-то кроткое, задушевное, отрадно-успокаивающее душу... И какою грандіозною, гармонирующую съ тономъ цѣлаго картиной заключается это стихотвореніе: вотъ истинно безконечное и въ мысли и въ выраженіи; вотъ то, что въ эстетикѣ должно разумѣть подъ именемъ высокаго (sublime)...

Не выписываемъ чудной „Молитвы“ (стр. 43), въ которой поэтъ поручаетъ Матері Божіей, „теплой заступницѣ холоднаго міра“ невинную дѣву. Кто бы ни была эта дѣва — возлюбленная ли сердца или милая сестра — не въ томъ дѣло; но сколько кроткой задушевности въ тонѣ этого стихотворенія, сколько нѣжности безъ всякой приторности; какое благоуханное, теплое, женственное чувство! Все это трогаетъ въ голубиной натурѣ человѣка; но въ духѣ мощнѣи и гордомъ, въ натурѣ львиной—все это больше, чѣмъ умилительно... Изъ какихъ богатыхъ элементовъ составлена поэзія этого человѣка, какими разнообразными мотивами и звуками гремятъ и льются ея гармоніи и мелодіи! Вотъ пьеса, означенная рубрикою „1-ое января“: читая ее, мы опять входимъ въ совершенно новый міръ, хотя и застаемъ въ ней все ту же думу, то же сердце, словомъ—ту же личность, какъ и въ прежніхъ. Поэтъ говорить, какъ часто, при шумѣ пестрой толпы, среди мелькающихъ вокругъ него бездушныхъ лицъ—„станутыхъ приличьемъ масокъ“, когда холодныхъ руки его съ небрежною смѣлостью касаются „давно безтрепетныхъ“ руки модныхъ красавицъ, какъ часто воскресаютъ въ немъ старинныя мечты, святые звуки погибшихъ лѣтъ...

И вижу я себя ребенкомъ; и кругомъ  
Родныя все мѣста: высокій барскій домъ  
И садъ съ разрушенной теплицей;  
Зеленою сѣтью травъ подернутъ сияющій прудъ,

А за прудомъ село дымится—и встаютъ  
Вдали туманы надъ полями.  
Въ аллею темную вхожу я; сквозь кусты  
Глядить вечерній лучъ, и желтые листы  
Шумятъ подъ робкими шагами.

Только у Пушкина можно найти такія картины въ этомъ родѣ! Когда же говорить онъ, шумъ людской толпы „спугнеть мою мечту“

О, какъ мнѣ хочется смутить веселость ихъ,  
И дереко бросить имъ въ глаза желѣзный стихъ,  
Облитый горечью и алостью!..

Если бы не всѣ стихотворенія Лермонтова были одинаково лучшія, то это мы назвали бы однимъ изъ лучшихъ.

„Журналистъ, Читатель и Писатель“ напоминаетъ и идею и формой и художественнымъ достоинствомъ „Разговоръ Книгопродаца съ Поэтомъ“ Пушкина. Разговорный языкъ этой пьесы—верхъ совершенства; рѣзкость сужденій, тонкая и юдкая насмѣшка, оригинальность и поразительная вѣрность взглядовъ и замѣчаній—изумительны. Исповѣдь поэта, которую оканчивается пьеса, блестить слезами, горить чувствомъ. Личность поэта является въ этой исповѣди въ высшей степени благородною.

„Ребенку“—это маленькое лирическое стихотвореніе заключаетъ въ себѣ цѣлую повѣсть, высказанную намеками, но тѣмъ не менѣе понятную. О какъ глубоко поучительна эта повѣсть, какъ сильно потрясаетъ она душу!.. Въ ней глухія риданія обманутой любви, стоны исходящаго кровью сердца, жестокія проклятія, а потомъ, можетъ быть, и благословеніе смиреннаго испытаніемъ сердца женщины... Какъ я люблю тебя, прекрасное дитя! Говорятъ, ты похожъ на нее, и хоть страданія измѣнили ее прежде времени, но ея образъ въ моемъ сердцѣ...

. . . А ты, ты любишь ли меня?  
Не скучны ли тебѣ непрошеннныя ласки?

Отчего же тутъ нѣтъ раскаянія?—спросятъ моралисты. Надѣньте очки, господа, и вы увидите, что герой пьесы спрашиваетъ дитя—не учila ли она его молиться еще за кого-то, не произносила ли, блѣднѣя, теперь забытаго имъ имени?.. Онъ просить ребенка не проклинать этого имени, если узнаеть о немъ. Вотъ истинное торжество нравственности!

Поэтическая мысль можетъ иногда родиться и вслѣдствіе какого-нибудь изъ тѣхъ обстоятельствъ, изъ которыхъ слагается наша жизнь; но чаще всего и почти всегда она есть не что иное, какъ случай дѣйствительности въ возможности, и потому въ поэзіи не имѣть никакого мѣста вопросъ: „было ли это?“; но она всегда должна положительно отвѣтить на вопросъ: „возможно ли это, можетъ ли это быть въ дѣйствительности? „Самое об-

стоятельство можетъ только, такъ сказать, натолкнуть поэта на поэтическую идею и, будучи выражено имъ въ стихотвореніи, является уже совсѣмъ другимъ, новымъ и небывалымъ, но могущимъ быть. Потому, чѣмъ выше талантъ поэта, тѣмъ больше находимъ мы въ его произведеніяхъ примѣненій и къ собственной нашей жизни и къ жизни другихъ людей. Мало этого: въ неиспытанныхъ нами обстоятельствахъ мы узнаемъ, какъ будто коротко знакомое намъ по опыту, — и тогда понимаемъ, почему поэзія, выражая частное, есть выраженіе общаго. Прочтете „Сосѣда“ Лермонтова — и хотя бы вы никогда не были въ подобномъ обстоятельствѣ, но вамъ покажется, что вы когда-то были въ заключеніи, любили незримаго сосѣда, отдаленаго отъ васъ стѣною, прислушивались и къ мѣркому звуку шаговъ его, и къ унылой пѣснѣ его, и говорили къ нему про себя:

Я слушаю — и въ мрачной тишинѣ  
Твои напѣвы раздаются.  
О чѣмъ они — не знаю: но тоской  
Исполнены, и звуки чередой,  
Какъ слезы, тихо льются, льются...  
И лучшихъ лѣтъ надежды и любовь —  
Въ груди моей все оживаетъ вновь,  
И мысли далеко несутся,  
И полонъ умъ желаній и страстей,  
И кровь кипить — и слезы изъ очей,  
Какъ звуки, другъ за другомъ льются.

Эта тихая, кроткая грусть души сильной и крѣпкой, эти унылые, мелодические звуки, льющіеся другъ за другомъ, какъ слеза за слезою; эти слезы льющіеся одна за другой, какъ звукъ за звукомъ, — сколько въ нихъ таинственного, невыговариваемаго, но такъ ясно понятнаго сердцу! Здѣсь поэзія становится музыкою: здѣсь обстоятельство является, какъ въ оперѣ, только поводомъ къ звукамъ, намекомъ на ихъ таинственное значеніе; здѣсь отъ случая жизни отнята вся его материальная, внѣшняя сторона, и извлечень изъ него одинъ чистый зеиръ, солнечный лучъ свѣта, въ возможности скрывавшійся въ немъ... Выраженное въ этой пьесѣ обстоятельство можетъ быть фактъ, но сама пьеса относится къ этому факту, какъ относится къ натуральной розѣ поэтическая роза, въ которой нѣтъ грубаго вещества, составляющаго натуральную розу, но въ которой только нѣжный румянецъ и кроткое ароматическое дыханіе натуральной розы...

Гармонически и благоуханно выражается дума поэта въ пьесахъ: „Когда волнуется желтѣющая нива“, „Разстались мы, но твой портретъ“, и „Отчего“, — и грустно, болѣзненно въ пьесѣ „Благодарность“. Не можемъ не остановиться на двухъ послѣднихъ. Онѣ коротки, повидимому, лишены общаго значенія и не заключаютъ въ себѣ никакой идеи; но, Боже мой! ка-

жую длинную и грустную повѣсть содержать въ себѣ каждое изъ нихъ! какъ онѣ глубоко знаменательны, какъ полны мыслію!

Мнѣ грустно... потому что весело тебѣ.

Это вздохъ музыки, это мелодія грусти, это кроткое страданіе любви, послѣдняя дань нѣжно и глубоко любимому предмету отъ растерзаннаго и смиреннаго бурею судьбы сердца... И какая удивительная простота въ стихѣ! Здѣсь говорить одно чувство, которое такъ полно, что не требуетъ поэтическихъ образовъ для своего выраженія; ему не нужно убранства, не нужно украшеній, оно говорить само за себя, оно вполнѣ высказалось бы и прозою...

За все, за все Тебя благодарю я.  
За тайны мученія страстей,  
За горечь слезъ, отраву поцѣлую,  
За месть враговъ и клевету друзей;  
За жаръ души, растряченный въ пустынѣ,  
За все, чѣмъ я обмануть въ жизни былъ...  
Устрой лишь такъ, чтобы Тебя отынѣ  
Недолго я еще благодарилъ...

Какая мысль скрывается въ этой грустной „благодарности“, въ этомъ сарказмѣ обманутаго чувствомъ и жизнью сердца? Все хорошо: и тайны мученія страстей, и горечь слезъ, и вся обманы жизни; но еще лучше, когда ихъ нѣть, хотя безъ нихъ и нѣть ничего, чего просить душа, чѣмъ живеть она, чтѣ нужно ей какъ масло для лампады!. Это утомленіе чувствомъ, сердце просить покоя и отдыха, хотя и не можетъ жить безъ волненія и движения... Въ pendant къ этой пьесѣ можетъ итти новое стихотвореніе Лермонтова, „Завѣщаніе“: это похоронная пѣснь жизни и всѣмъ ея обольщеніямъ, тѣмъ болѣе ужасная, что ея голосъ не глухой и не громкій, а холодно-спокойный; выраженіе не горить и не сверкаетъ образами, но небрежно и прованично... Мысль этой пьесы: и худое и хорошее—все равно; сдѣлать лучше не въ нашей волѣ, и потому пусть идеть себѣ какъ оно хочетъ... Это ужъ даже и не сарказмъ, не иронія и не жалоба: не на что сердиться, не на что жаловаться,—все равно! Отда и мать жаль огорчить... Возлѣ нихъ есть сосѣдка—она не спросить о немъ, но нечего жалѣть пустого сердца—пусть поплачетъ: вѣдь это ей ин почемъ! Страшно!.. Но позвія есть сама дѣйствительность, и потому она должна быть неумолима и безпощадна, гдѣ дѣло идеть о томъ, чтѣ есть или чтѣ бываетъ... А человѣку необходимо должно перейти и черезъ это состояніе духа. Въ музыкѣ гармонія условливается диссонансомъ, въ духѣ—блаженство условливается страданіемъ, избытокъ чувства—сухостью чувства, любовь—ненавистью, сильная жизненность—отсутствіемъ жизни: это такія крайности, которыхъ всегда живутъ вмѣстѣ, въ одномъ сердцѣ. Кто не печалился и не плакалъ, тотъ и не возрадуется, кто не болѣлъ, тотъ и не выздоровѣеть, кто не умиралъ

за-живо, тотъ и не востанетъ... Жалѣйте поэта, или лучше, самихъ себя: ибо, показавъ вамъ раны своей души, онъ показалъ вамъ ваши собственныя раны; но не отчаявайтесь ни за поэта ни за человѣка: въ томъ и другомъ бурю смѣняетъ вѣдро, безотрадность—надежда...

Два перевода изъ Байрона — „Еврейская мелодія“ и „Въ Альбомъ“, тоже выражаютъ внутренній міръ души поэта. Это боль сердца, тяжкие вздохи груди; это надгробныя надписи на памятникахъ погибшихъ радостей...

„Вѣтка Палестины“ и „Тучи“ составляютъ переходъ отъ субъективныхъ стихотвореній нашего поэта къ чисто-художественнымъ. Въ обѣихъ пьесахъ видна еще личность поэта, но въ то же время виденье уже и выходъ его изъ внутренняго міра своей души въ созерцаніе „полнаго славы творенія“. Первая изъ нихъ дышитъ благодатнымъ спокойствиемъ сердца, теплотою молитвы, кроткимъ вѣяніемъ святыни. О самой этой пьесѣ можно сказать то же, что говорится въ ней о вѣткѣ Палестины:

Заботой тайною хранима,  
Передъ иконой золотой  
Стоишь ты, вѣтвь Ерусалима,  
Святыни вѣрный часовой!  
Прозрачный сумракъ, лучъ лампады,  
Кивотъ и крестъ, символъ святой...  
Все полно мира и отрады  
Вокругъ тебя и надъ тобой.

Вторая пьеса „Тучи“ полна какого-то отраднаго чувства выздоровленія и надежды, и плѣняетъ роскошью поэтическихъ образовъ, какимъ-то избыточномъ умилленіаго чувства.

„Русалкою“ начнемъ мы рядъ чисто-художественныхъ стихотвореній Лермонтова, въ которыхъ личность поэта исчезаетъ за роскошными видѣніями явлений жизни. Эта пьеса покрыта фантастическимъ колоритомъ, и по роскоши картинъ, богатству поэтическихъ образовъ, художественности отдалки, составляетъ собою одинъ изъ драгоценнѣйшихъ перловъ русской поэзіи. „Три Пальмы“ дышатъ зноюю природой Востока, переносятъ насъ на песчаныя пустыни Аравіи, на ея цвѣтущи оазисы. Мысль поэта ярко выдается,—и онъ поступилъ сть нею какъ истинный поэтъ, не заключивъ своей пьесы нравственную сентенціей. Самая эта мысль могла быть опозтизирована только своимъ восточнымъ колоритомъ и оправдана названіемъ „Восточное сказаніе“; иначе она была бы дѣтскою мыслью. Пластицизмъ и рельефность образовъ, выпуклость формы и яркій блескъ восточныхъ красокъ—сливаются въ этой пьесѣ поэзію съ живописью: это картина Брюлова, смотря на которую хочешь еще и осязать ее.

„Дары Терека“ есть поэтическая апофеоза Кавказа. Только роскошная, живая фантазія грековъ умѣла такъ олицетворять природу, давать образъ и личность ея нѣмымъ и разбросаннымъ явленіямъ. Нѣть возможности и

выписывать стиховъ изъ этой дивно-художественной пьесы, этого роскошнаго видѣнія богатой, радужной, исполинской фантазіи; иначе пришлось бы переписать все стихотвореніе. Терекъ и Каспій олицетворяютъ собою Кавказъ, какъ самыя характеристическія его явленія. Терекъ сулить Каспію дорогой подарокъ: но сладострастно-лѣнивый сибарить моря, покоясь въ мягкихъ берегахъ, не внемлетъ ему, не обольщаясь ни стадомъ валуновъ, ни трупомъ удалого кабардинца; но когда Терекъ сулить ему сокровенный даръ — безцѣннѣе всѣхъ даровъ вселенной, и когда

... Надъ нимъ, какъ снѣгъ бѣла,  
Голова съ косой размытой,  
Колыхаяся, всплыла,  
И старикъ во блескѣ власти  
Всталъ, могучій, какъ гроза,  
И одѣлись влагой страсти  
Темно-синіе глаза.

Онъ взыгралъ, веселья полный,  
И въ объятія свои  
Набѣгающія волны  
Принялъ съ ропотомъ любви.

Мы не назовемъ Лермонтова ни Байрономъ, ни Гёте, ни Пушкинымъ; но не думаемъ сдѣлать ему гиперболической похвалы, сказавъ, что такія стихотворенія, какъ „Русалка“, „Три Пальмы“ и „Дары Терека“ можно находить только у такихъ поэтовъ, какъ Байронъ, Гёте и Пушкинъ...

Не менѣе превосходна „Казачья колыбельная пѣсня“. Ея идея — мать; но поэтъ умѣлъ дать индивидуальное значеніе этой общей идеѣ: его мать — казачка, и потому содержаніе ея колыбельной пѣсни выражаетъ собою особенности и оттѣнки казачьяго быта. Это стихотвореніе есть художественная апофеоза матери: все, что есть святого, беззавѣтнаго въ любви матери, весь трепетъ, вся нѣга, вся страсть, вся бесконечность кроткой нѣжности, безграничность безкорыстной преданности, какою дышить любовь матери, — все это воспроизведено поэтомъ во всей полнотѣ. Гдѣ, откуда взялъ поэтъ эти простодушныя слова, эту умилительную нѣжность тона, эти кроткіе и задушевные звуки, эту женственность и прелѣсть выраженія? Онъ видѣлъ Кавказъ, — и намъ понятна вѣрность его картинъ Кавказа: онъ не видалъ Аравіи, и ничего, что могло бы дать ему понятіе объ этой странѣ палящаго солнца, песчаныхъ степей, зеленыхъ пальмъ и прохладныхъ источниковъ, но онъ читалъ ихъ описанія: какъ же онъ такъ глубоко могъ проникнуть въ тайны женскаго и материнскаго чувства?

„Воздушный Корабль“ не есть собственно переводъ изъ Зейдлица: Лермонтовъ взялъ у нѣмецкаго поэта только идею, но обработалъ ее по-своему. Эта пьеса, по своей художественности, достойна великой тѣни, которой колоссальный обликъ такъ грандиозно представленъ въ ней. — Какое

тихое, успокоительное чувство ночи послѣ знайного днѧ вѣтъ въ стихотвореніи „Горныя вершины“, въ этой маленькой пьесѣ Гёте, такъ граціозно переданной нашимъ поэтомъ.

Теперь намъ остается разобрать поэму Лермонтова „Мцыри“. Плѣнnyй мальчиkъ-черкесъ воспитанъ былъ въ грузинскомъ монастырѣ; выросши, онъ хочетъ сдѣлаться, или его хотятъ сдѣлать монахомъ. Разъ была страшная бура, во время которой черкесъ скрылся. Три дня пропадалъ онъ, а на четвертый былъ найденъ въ степи, близъ обители, слабый, больной, и умирающій перенесенъ снова въ монастырь. Почти вся поэма состоять изъ исповѣди о томъ, что было съ нимъ въ эти три дня. Давно манилъ его къ себѣ призракъ родины, темно носившійся въ душѣ его, какъ воспоминаніе дѣтства. Онъ захотѣлъ видѣть Божій міръ—и ушелъ.

„Давнымъ-давно задумалъ я  
Взглянуть на дальняя поля;  
Узнать, прекрасна ли земля;  
И въ часъ ночной, ужасный часъ,  
Когда гроза пугала васъ,  
Когда, столпясь при алтарѣ,  
Вы ницъ лежали на землѣ,  
Я убѣжалъ. О! я, какъ братъ,  
Обніться съ бурей бы радъ!  
Глазами тучи я слѣдалъ,  
Рукою молнию ловилъ...  
Скажи мнѣ, что средь этихъ стѣнъ  
Могли бы дать вы мнѣ взамънъ  
Той дружбы краткой, но живой,  
Межъ бурнымъ сердцемъ и грозой?...“

Уже изъ этихъ словъ вы видите, что за огненная душа, что за могучій духъ, что за исполинская натура у этого мцыри! Это любимый идеалъ нашего поэта, это отраженіе въ поэзіи тѣни его собственной личности. Во всемъ, что ни говорить мцыри, вѣтъ его собственнымъ духомъ, поражаетъ его собственною мощью. Это произведение субъективное.

Мысль поэмы отзывается юношескою незрѣлостью, и если она дала возможность поэту разсыпать передъ вашими глазами такое богатство самоцвѣтныхъ камней поэзіи,—то не само собою, а точно такъ, какъ странное содержаніе иного посредственного либретто даетъ геніальному композитору возможность создать превосходную оперу. Недавно кто-то, резонерствуя въ газетной статьѣ о стихотвореніяхъ Лермонтова, назвалъ его „Пѣсню про царя Ивана Васильевича, удалого опричника и молодого купца Калашникова“ произведеніемъ дѣтскимъ, а „Мцыри“—произведеніемъ зрѣлымъ; глубоко-мысленный критикантъ, разсчитывая по пальцамъ время появленія той и другой поэмы, очень остроумно сообразилъ, что авторъ былъ тремя годами старше, когда написалъ „Мцыри“, и изъ этого казуса весьма основательно

вывелъ заключеніе: *ergo*—„Мцыри“ зрѣлѣе. Это очень понятно: у кого есть эстетического чувства, кому не говорить само за себя поэтическое произведение, тому остается гадать о немъ по пальцамъ, или соображаться съ метрическими книгами...

Но, несмотря на незрѣлость идеи и нѣкоторую натянутость въ содер-  
жаніи „Мцыри“,—подробности и изложеніе этой поэмы изумляютъ своимъ  
исполненіемъ. Можно сказать безъ преувеличенія, что поэтъ бралъ цветы у  
радуги, лучи у солнца, блескъ у молніи, грохотъ у громовъ, гулъ у вѣт-  
ровъ,—что вся природа сама несла и подавала ему материалы, когда пи-  
салъ онъ эту поэму... Кажется, будто поэтъ до того былъ отягощенъ обре-  
менительной полнотой внутренняго чувства, жизни и поэтическихъ образовъ,  
что готовъ былъ воспользоваться первою мелькнувшою мыслью, чтобы только  
освободиться отъ нихъ,—и они хлынули изъ души его, какъ горящая лава  
изъ огнедышащей горы, какъ море дождя изъ тучи, мгновенно объявшей со-  
бю распаленный горизонтъ, какъ внезапно прорвавшійся яростный потокъ,  
поглощающій окрестность на далекое разстояніе своими сокрушительными  
волнами... Этотъ четырехстопный ямбъ съ одними мужескими окончаніями,  
какъ въ „Шильонскомъ узникѣ“, звучить и отрывисто падаетъ, какъ ударъ  
меча, поражающаго свою жертву. Упругость, энергія и звучное, однообраз-  
ное паденіе его удивительно гармонируютъ съ сосредоточеннымъ чувствомъ,  
несокрушимою силою могучей натуры и трагическимъ положеніемъ героя  
поэмы. А между тѣмъ, какое разнообразіе картинъ, образовъ и чувствъ:  
тутъ и буря духа, и умиленіе сердца, и вспли, и отчаяніе, и тихія жалобы,  
и гордое ожесточеніе, и кроткая грусть, и мраки ночи, и торжественное ве-  
личіе утра, и блескъ полудня, и таинственное обаяніе вечера!.. Многія по-  
ложенія изумляютъ своею вѣрностью: таково мѣсто, гдѣ мцыри описываетъ  
свое замираніе подлѣ монастыря, когда грудь его пылала предсмертнымъ  
огнемъ, когда надъ усталою головой уже вѣяли успокоятельные сны смерти  
и носились ея фантастическая видѣнія. Картины природы обличаютъ кисть  
великаго мастера: онъ дышать грандіозностью и роскошнымъ блескомъ фан-  
тастического Кавказа. Кавказъ взялъ полную дань съ музы нашего поэта...  
Странное дѣло! Кавказу какъ будто суждено быть колыбелью нашихъ поэти-  
ческихъ талантовъ, вдохновителемъ и пѣстуномъ ихъ музы, поэтическою  
ихъ родиной! Пушкинъ посвятилъ Кавказу одну изъ первыхъ своихъ поэмъ—  
„Кавказскаго Пѣнника“, и одна изъ послѣднихъ его поэмъ—„Галубъ“—  
тоже посвящена Кавказу; нѣсколько превосходныхъ лирическихъ стихотвореній  
его также относятся къ Кавказу. Грибоѣдовъ создалъ на Кавказѣ свое  
„Горе отъ Ума“; дикая и величавая природа этой страны, кипучая жизнь  
и суровая поэзія ея сыновъ и вдохновила его оскорблennое человѣческое  
чувство на изображеніе апатического ничтожнаго круга Фамусовыхъ, Ска-  
лизубовъ, Загорѣцкихъ, Хлестовыхъ, Тугоуховскихъ, Репетиловыхъ, Мол-  
чалинныхъ—этихъ карикатуръ на природу человѣческую... И вотъ является

новый великий талантъ—и Кавказъ дѣлается его поэтическою родиной, пла-менно-любимою имъ; на недоступныхъ вершинахъ Кавказа, вѣчанныхъ вѣчнымъ снѣгомъ, находить онъ свой Парнасъ; въ его свирѣпомъ Терекѣ, въ его горныхъ потокахъ, въ его глѣбныхъ источникахъ находить онъ свой Кастальскій ключъ, свою Ипокрену... Какъ жаль, что не напечатана другая поэма Лермонтова, дѣйствіе которой совершается также на Кавказѣ и которая въ рукописи ходитъ въ публикѣ, какъ нѣкогда ходило „Горе отъ Ума“: мы говоримъ о „Демонѣ“. Мысль этой поэмы глубже и несравненно зрѣлѣе, чѣмъ мысль „Мцыри“, и хотя исполненіе ея отзыается нѣкоторою несрѣдственностью, но роскошь картинъ, богатство поэтическаго одушевленія, превосходные стихи, высокость мыслей, обаятельная прелесть образовъ, ставить ее несравненно выше „Мцыри“ и превосходить все, что можно сказать въ ея шоквалу. Это не художественное созданіе, въ строгомъ смыслѣ искусства; но оно обнаруживаетъ всю мощь таланта поэта и обѣщаетъ въ будущемъ великия художественные созданія.

Говоря вообще о поэзіи Лермонтова, мы должны замѣтить въ ней одни недостатки: это иногда неясность образовъ и неточность въ выраженіи. Такъ, напримѣръ, въ „Дарахъ Терека“, где „сердитый потокъ“ описывается Каспію красоту убитой казачки, очень неопределенно намекнуто и на причину ея смерти, и на ея отношенія къ гребенскому казаку:

„По красотѣ—молодицѣ  
Не тоскуеть надъ рѣкой  
Лишь одинъ во всей станицѣ  
Казачина гребенской.  
Осѣдлалъ онъ вороного,  
И въ горахъ, въ ночномъ бою,  
На книжалъ чеченца злого,  
Сложить голову свою“.

Здѣсь на догадку читателя оставляется три случая, равно возможные: или что чеченецъ убилъ казачку, а казакъ обрекъ себя мщенію за смерть своей любезной; или что самъ казакъ убилъ ее изъ ревности и ищетъ себѣ смерти, или что онъ еще не знаетъ о погибели своей возлюбленной; и потому не тужить о ней, готовясь въ бой. Такая неопределенноть вредить художественности, которая именно въ томъ и состоитъ, что говорить образами определенными, выпуклыми, рельефными, вполнѣ выражавшими заключенную въ нихъ мысль. Можно найти въ книжкѣ Лермонтова пять-шесть неточныхъ выражений, подобныхъ тому, которымъ оканчивается его превосходная пьеса „Поэзъ“:

Проснешься ль ты опять, осмѣянный пророкъ,  
Иль никогда, на голость мщенья,  
Иль золотыхъ ноженъ не вырвешь свой клинокъ,  
Покрытый расаечной прегрѣнью?

„Ржавчина презрѣнья“ — выраженіе нѣточное и слишкомъ сбивающееся на аллегорію. Каждое слово въ поэтическомъ произведеніи должно до того исчерпывать все значеніе требуемаго мыслью цѣлаго произведенія, чтобы видно было, что нѣть въ языкѣ другого слова, которое тутъ могло бы замѣнить его. Пушкинъ и въ этомъ отношеніи величайшій образецъ: во всѣхъ томахъ его произведеній едва ли можно найти хоть одно сколько-нибудь нѣточное или изысканное выраженіе, даже слово... Но мы говоримъ не больше, какъ о пяти или шести пятнышкахъ въ книгѣ Лермонтова: все оставленное въ ней удивляетъ силою и тонкостью художественнаго такта, полновластнымъ обладаніемъ совершенно покореннаго языка, истинно Пушкинскою точностью выраженія.

Бросая общій взглядъ на стихотворенія Лермонтова, мы видимъ въ нихъ всѣ силы, всѣ элементы, изъ которыхъ слагается жизнь и поэзія. Въ этой глубокой натурѣ, въ этомъ мощнѣмъ духѣ все живеть; имъ все доступно, все понятно; они на все откликаются. Онъ всевластный обладатель царства явленій жизни, онъ воспроизводитъ ихъ какъ истинный художникъ, онъ поэтъ русскій въ душѣ — въ немъ живеть прошедшее и настоящее русской жизни; онъ глубоко знакомъ и съ внутреннимъ міромъ души. Несокрушимая сила и мощь духа, смиреніе жалобъ, елейное благоуханіе молитвы, пламенное, бурное одушевленіе, тихая грусть, кроткая задумчивость, вопли гордаго страданія, стоны отчаянія таинственная нѣжность чувства, неукротимые порывы дерзкихъ желаній, цѣломудренная чистота, недуги современаго общества, картины міровой жизни, хмельныя обаянія жизни, укоры совѣсти, умилительное раскаяніе, рыданія страсти и тихія слезы, какъ звукъ за звукомъ, льющіяся въ полнотѣ умиреннаго бурею жизни сердца, упоеніе любви, трепетъ разлуки, радость свиданія, чувство матери, презрѣніе къ прозѣ жизни, безумная жажда восторговъ, полнота упивающагося роскошью бытія духа, пламенная вѣра, мука душевной пустоты, стонъ отвращающагося самого себя чувства замершой жизни, ядъ отрицанія, холодъ сомнѣнія, борьба полноты чувства съ разрушающею силой рефлексіи, падшій духъ неба, гордый демонъ и невинный младенецъ, буйная вакханка и чистая дѣва — все, все въ поэзіи Лермонтова: и небо и земля, и рай и адъ... по глубинѣ мысли, роскоши поэтическихъ образовъ, увлекательной, неотразимой силѣ поэтическаго обаянія, полнотѣ жизни и типической оригинальности, по избытку силы, бьющей огненнымъ фонтаномъ, его созданія напоминаютъ собою со-зданія великихъ поэтовъ. Его поприще еще только начато, и уже какъ много имъ сдѣлано, какое неистощимое богатство элементовъ обнаружено имъ; чего же должно ожидать отъ него въ будущемъ?.. Пока еще не назовемъ мы его ни Байрономъ, ни Гёте, ни Пушкинъмъ, и не скажемъ, чтобы изъ него современемъ вышелъ Байронъ, Гёте или Пушкинъ: ибо мы убѣждены, что изъ него выйдетъ ни тотъ, ни другой, ни третій, а вый-деть — Лермонтовъ... Знаемъ, что наши похвалы покажутся большинству

публики преувеличеными, но мы уже обрекли себя тяжелой роли говорить рѣзко и опредѣленно то, чѣму сначала никто не вѣрить, но въ чѣмъ скоро всѣ убѣждаются, забывая того, кто первый выговорилъ сознаніе общества и на кого оно за это смотрѣло съ насмѣшкою и неудовольствіемъ... Для толпы нѣмъ и безмолвно свидѣтельство духа, которымъ запечатлены со-зданія вновь явившагося таланта: она составляетъ свое сужденіе не по са-мымъ этимъ созданіямъ, а по тому, что о нихъ говорить сперва люди по-чтенные, литераторы заслуженные, а потомъ, что говорять о нихъ всѣ. Даже, восхищаясь произведеніями молодого поэта, толпа косо смотрѣть, когда его сравниваютъ съ именами, которыхъ значенія она не понимаетъ, но къ которымъ она прислушалась, которыхъ привыкла уважать на слово... Для толпы не существуетъ убѣжденія истины: она вѣрить только автори-тетамъ, а не собственному чувству и разуму — и хорошо дѣлаетъ... Чтобы преклониться передъ поэтомъ, ей надо сперва прислушаться къ его имени, привыкнуть къ нему и забыть множество ничтожныхъ именъ, которыхъ на минуту похищали ея безмысленное удивленіе. *Procul profani...*

Какъ бы то ни было, но и въ толпѣ есть люди, которые высятся надъ нею; они поймутъ насть. Они отличать Лермонтова отъ какого-нибудь фра-зера, который занимается стукотнею звучныхъ словъ и богатыхъ риѳмъ, который вздумаетъ почитать себя представителемъ национального духа по-тому только, что кричитъ о славѣ Россіи (нисколько не нуждающейся въ этомъ) и вандальски смѣется надъ издыхающею, будто бы, Европою, дѣлая изъ героевъ ея исторіи что-то похожее на нѣмецкихъ студентовъ... Мы увѣ-рены, что и наше сужденіе о Лермонтовѣ отличать они отъ тѣхъ произ-водствъ въ „лучшіе писатели нашего времени, надъ сочиненіями которыхъ (будто бы) примирились всѣ вкусы и даже всѣ литературныя партіи“ та-кихъ писателей, которые дѣйствительно обнаруживаютъ замѣчательное да-рованіе, но лучшими могутъ казаться только для малаго кружка читателей того журнала, въ каждой книжѣ котораго печатаются они по одной и даже по двѣ повѣсти... Мы увѣрены, что они поймутъ, какъ должно, и ролотъ старого поколѣнія, которое, оставшись при вкусахъ и убѣжденіяхъ цвѣту-щаго времени своей жизни, упорно принимаетъ неспособность свою сочув-ствовать новому и понимать его — за ничтожность всего нового...

И мы видимъ уже начало истиннаго (нешуточнаго) примиренія всѣхъ вкусовъ и всѣхъ литературныхъ партій надъ сочиненіями Лермонтова, — и уже недалеко то время, когда имя его въ литературѣ сдѣлается народ-нымъ именемъ, и гармонические звуки его поэзіи будутъ слышимы въ по-вседневномъ разговорѣ толпы, между толками ея о житейскихъ заботахъ...

### Герой нашего времени.

... Итакъ—„Герой нашего времени“—вотъ основная мысль романа. Въ самомъ дѣлѣ, послѣ этого весь романъ можетъ почтеться злую ироніею, потому что большая часть читателей навѣрно воскликнетъ: „Хорошъ же герой!“—А чѣмъ же онъ дуренъ?—смѣемъ васъ спросить.

Зачѣмъ же такъ неблагосклонно  
Вы отзываетесь о немъ?  
За то лѣ, что мы неугомонно  
Хлопочемъ, судимъ обо всемъ,  
Что пылкихъ думъ неосторожность  
Себялюбивую ничтожность  
Иль оскорбляетъ, иль смѣшитъ;  
Что умъ, любя просторъ, тѣснитъ;  
Что слишкомъ часто разговоры  
Принять мы рады за дѣла;  
Что глупость вѣтрана и зла;  
Что важнымъ людямъ важны вздоры,  
И что посредственность одна  
Намъ по-плечу и нестрашна?

Вы говорите противъ него, что въ немъ нѣтъ вѣры. Прекрасно! но вѣдь это то же самое, что обвинять нищаго за то, что у него нѣть золота: онъ бы и радъ имѣть его, да не дается оно ему. И притомъ, развѣ Печоринъ радъ своему безвѣрію? развѣ онъ гордится имѣть? развѣ онъ не страдалъ отъ него? развѣ онъ не готовъ цѣнью жизни и счастья купить эту вѣру, для которой еще не насталъ часъ его?.. Вы говорите, что онъ эгоистъ?— Но развѣ онъ не презираетъ и не ненавидить себя за это? развѣ сердце его не жаждетъ любви чистой и безкорыстной? Нѣть, это не эгоизмъ: эгоизмъ не страдаетъ, не обвиняетъ себя, но доволенъ собою, радъ себѣ. Эгоизмъ знаетъ мученія; страданіе есть удѣлъ одной любви. Душа Печорина не каменистая почва, но засохшая отъ зноя пламенной жизни земля; пусть взрыхлить ее страданіе и оросить благодатный дождь,—и она произрастить изъ себя пышные, роскошные цвѣты небесной любви... Этому человѣку стало больно и грустно, что его всѣ не любятъ,—и кто же эти „всѣ“?— пустые, ничтожные люди, которые не могутъ простить ему его превосходства надъ ними. А его готовность задушать въ себѣ ложный стыдъ, голость свѣтской чести и оскорбленного самолюбія, когда онъ за признаніе въ клеветѣ готовъ быть простить Грушницкому, человѣку, сейчасъ только выстрѣлившему въ него пулево и безстыдно ожидавшему отъ него холостого вы-

стрѣла? А его слезы и рыданія въ пустынной стѣи у тѣла издохшаго коня?— нѣть, все это не эгоизмъ! Но его—скажете вы—холодная расчетливость, систематическая разсчитанность, съ которой онъ обольщаетъ бѣдную дѣвушку, не любя ея, и только для того, чтобы посмѣяться надъ нею и чѣмъ-нибудь занять свою праздность?—Такъ, но мы и не думаемъ оправдывать его въ такихъ поступкахъ, ни выставлять его образомъ, высокимъ идеаломъ чистѣйшей нравственности: мы только хотимъ сказать, что въ человѣкѣ должно видѣть человѣкъ, и что идеалы нравственности существуютъ въ однихъ классическихъ трагедіяхъ и морально-сантиментальныхъ романахъ прошлого вѣка. Судя о человѣкѣ, должно брать въ разсмотрѣніе обстоятельства его развитія и сферу жизни, въ которую онъ поставленъ судьбою. Въ идеяхъ Печорина много ложнаго, въ ощущеніяхъ его есть искаженіе; но все это выкупается его богатою натурою. Его во многихъ отношеніяхъ дурное настоящее—обѣщаетъ прекрасное будущее. Вы восхищаетесь быстрымъ движениемъ парохода, видите въ немъ великое торжество духа надъ природою?— и хотите потомъ отрицать въ немъ всякое достоинство, когда онъ сокрушаетъ, какъ зерно жерновъ, неосторожныхъ, попавшихъ подъ его колеса: не значить ли это противорѣчить самимъ себѣ? опасность отъ парохода есть результатъ его чрезмѣрной быстроты; следовательно, порокъ его выходитъ изъ его достоинства. Бываютъ люди, которые отвратительны при всей безупречности своего поведенія, потому что она въ нихъ есть слѣдствіе безжизненности и слабости духа. Порокъ возмутителенъ и въ великихъ людяхъ; но наказанный, онъ приводить въ умиленіе вашу душу. Это наказаніе только тогда есть торжество нравственнаго духа, когда оно является не извѣнъ, но есть результатъ самого порока, отрицаніе собственной личности индивидуума въ оправданіе вѣчныхъ законовъ оскорбленной нравственности. Авторъ разбираемаго нами романа, описывая наружность Печорина, когда онъ съ нимъ встрѣтился на большой дорогѣ, вотъ что говорить о его глазахъ: „Они не смѣялись, когда онъ смѣялся... Вамъ не случалось замѣтить такой странности у нѣкоторыхъ людей? Это признакъ или злого нрава, или глубокой, постоянной грусти. Изъ-за полуопущенныхъ рѣсницъ они сияли какимъ-то фосфорическимъ блескомъ, если можно такъ выразиться. То не было отраженіе жара душевнаго или играющаго воображенія: то былъ блескъ, подобный блеску гладкой стали, ослѣпительный, но холодный; взглядъ его—непроложительный, но проницательный и тяжелый—оставлялъ по себѣ непріятное впечатлѣніе нескромнаго вопроса и могъ казаться дерзкимъ, если бы не былъ столь равнодушно спокоенъ“.—Согласитесь, что какъ эти глаза, такъ и вся сцена свиданія Печорина съ Максимомъ Максимычемъ показываютъ, что если это порокъ, то совсѣмъ не торжествующій, и надо быть рожденнымъ для добра, чтобы такъ жестоко быть наказану за зло?.. Торжество нравственнаго духа гораздо поразительнѣе совершается надъ благородными натурами, чѣмъ надъ злодѣями...

А между тѣмъ этотъ романъ совсѣмъ не злая иронія, хотя и очень легко можетъ быть принять за иронію; это одинъ изъ тѣхъ романовъ,

Въ которыхъ отразился вѣкъ,  
И современный человѣкъ  
Изображенъ довольно вѣрно,  
Съ его безирѣственной душой  
Себялюбивой и сухой,  
Мечтанью преданной безмѣрно,  
Съ его озлобленнѣемъ умомъ,  
Кипящимъ въ дѣйствіи пустомъ.

„Хорошъ же современный человѣкъ!“—воскликнулъ одинъ нравоописательный „сочинитель“, разбирая, или, лучше сказать, ругая седьмую главу „Евгенія Онѣгина“. Здѣсь мы почтаемъ, кстати замѣтить, что всякий современный человѣкъ, въ смыслѣ представителя своего вѣка, какъ бы онъ ни былъ дуренъ, не можетъ быть дуренъ, потому что нѣтъ дурныхъ вѣковъ, и ни одинъ вѣкъ не хуже и не лучше другого, потому что онъ есть необходимый моментъ въ развитіи человѣчества или общества.

Пушкинъ спрашивалъ самого себя о своемъ Онѣгинѣ:

Чудакъ печальный и опасный,  
Созданье ада иль небесъ,  
Сей ангель, сей надмѣнныи бѣсъ,  
Что жъ онъ? Ужели подражанье,  
Ничтожный призракъ, иль еще  
Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ,  
Чужихъ причудъ истолкованье,  
Словъ модныхъ полныи лексиконъ,—  
Ужъ не пародія ли онъ?

И этимъ самымъ вопросомъ онъ разрѣшилъ загадку и нашелъ слово. Онѣгинъ не подражаніе, а отраженіе, но сдѣлавшееся не въ фантазіи поэта, а въ современномъ обществѣ, которое онъ изобразилъ въ лицѣ героя своего поэтическаго романа. Сближеніе съ Европою должно было особыеннымъ образомъ отразиться въ нашемъ обществѣ,—и Пушкинъ гениальнымъ инстинктомъ великаго художника уловилъ это отраженіе въ лицѣ Онѣгина. Но Онѣгинъ для насъ уже прошедшее и прошедшее невозвратное.

Если бы онъ явился въ наше время, вы имѣли бы право спросить, вмѣстѣ съ поэтомъ:

Все тотъ же лъ онъ, иль усмирился?  
Иль корчить такъ же чудака?  
Скажите, чѣмъ онъ возвратился?  
Что намъ представить онъ пока?  
Чѣмъ нынѣ явится?—Мельмотомъ,

Космополитомъ, патріотомъ,  
Гарольдомъ, квакеромъ, ханжой,  
Иль маской щегольнетъ иной?  
Иль просто будеть добрый малый,  
Какъ вы да я, какъ цѣлый свѣтъ?

Печоринъ Лермонтова есть лучшій отвѣтъ на всѣ эти вопросы. Это — Онѣгинъ нашего времени, герой нашего времени. Несходство ихъ между собою гораздо меныше разстоянія между Онегою и Печорою. Иногда, въ самомъ имени, которое истинный поэтъ даетъ своему герою, есть разумная необходимость, хотя, можетъ быть, и невидимая самимъ поэтомъ...

Со стороны художественнаго выполненія нечего и сравнивать Онѣгина съ Печоринымъ. Но какъ выше Онѣгинъ Печорина въ художественномъ отношеніи, такъ Печоринъ выше Онѣгина по идеѣ. Впрочемъ, это преимущество принадлежитъ нашему времени, а не Лермонтову.

Что такое Онѣгинъ? — Лучшою характеристикою и истолкованіемъ этого лица можетъ служить французскій эпиграфъ къ поэмѣ: „Pétri de vanité il avait encore plus de cette espèce d'orgueil qui fait avouer avec la même indifférence les bonnes comme les mauvaises actions, suite d'un sentiment de superiorité, peut-être imaginaire“ Мы думаемъ, что это превосходство въ Онѣгинѣ несколько не было воображаемымъ, потому что онъ „вчужѣ чувства уважалъ“, и что въ „его сердцѣ была и гордость, и прямая честь“. Онъ является въ романѣ человѣкомъ, котораго убили воспитаніе и свѣтская жизнь, которому все, приглядѣлось, все пріѣлось, все прилюбилось и котораго вся жизнь состояла въ томъ,

Что онъ равно зѣвалъ

Средь модныхъ и старинныхъ залъ.

Не таковъ Печоринъ. Этотъ человѣкъ не равнодушно, не апатически несетъ свое страданіе: бѣшенно гоняется онъ за жизнью, ища ея повсюду; горько обвиняетъ онъ себя въ своихъ заблужденіяхъ. Въ немъ неумолчно раздаются внутренніе вопросы, тревожатъ его, мучатъ, и онъ въ рефлексіи ищетъ ихъ разрѣшенія: подсматриваетъ каждое движеніе своего сердца, рассматриваетъ каждую мысль свою. Онъ сдѣлалъ изъ себя самый любопытный предметъ своихъ наблюденій и, стараясь быть какъ можно искреннѣе въ своей исповѣди, не только откровенно признается въ своихъ истинныхъ недостаткахъ, но еще и выдумываетъ небывалые, или ложно истолковываетъ самыя естественные свои движенія.

„Герой нашего времени“, это — грустная дума о нашемъ времени.

Но со стороны формы изображеніе Печорина не совсѣмъ художественно. Однако причина этого не въ недостаткѣ таланта автора, а въ томъ, что изображаемый имъ характеръ, какъ мы уже слегка и намекнули, такъ близокъ къ нему, что онъ не въ силахъ быть отдѣлиться отъ него и объективировать его. Мы убѣждены, что никто не можетъ видѣть въ словахъ нашихъ желаніе выставить романъ г. Лермонтова автобіографіею. Субъек-

тивное изображение лица не есть автобиография: Шиллеръ не былъ разбойникъ, хотя въ Карлъ Moorъ и выразилъ свой идеалъ человѣка. Прекрасно выразился Фарнгагенъ, сказавъ, что на Онѣгина и Ленскаго можно было смотрѣть, какъ на братьевъ Вульта и Вальта у Жанъ-Поля Рихтера, т.-е. какъ на разложеніе самой природы поэта, и что онъ, можетъ быть, воплотилъ двойство своего внутренняго существа въ этихъ двухъ живыхъ созданіяхъ. Мысль вѣрия, а между тѣмъ было бы очень нелѣпо искать сходныхъ чертъ въ жизни этихъ лицъ съ жизнью самого поэта.

Вотъ причина неопределеннности Печорина и тѣхъ противорѣчій, которыми такъ часто опутывается изображеніе этого характера. Чтобы изобразить вѣрно данный характеръ, надо совершенно отдѣлиться отъ него, стать выше его, смотрѣть на него, какъ на нечто оконченное. Но этого, повторяемъ, не видно въ созданіи Печорина. Онъ скрывается отъ насъ такимъ же неполнымъ и неразгаданнымъ существомъ, какъ и является намъ въ началѣ романа. Оттого и самый романъ, поражая удивительнымъ единствомъ ощущенія, нисколько не поражаетъ единствомъ мысли и оставляетъ насъ безъ всякой перспективы, которая невольно возникаетъ въ фантазіи читателя по прочтеніи художественнаго произведенія, и въ которую невольно погружается очарованный взоръ его. Въ этомъ романѣ удивительная замкнутость созданія, но не та высшая, художественная, которая сообщается созданію чрезъ единство поэтической идеи, а происходящая отъ единства поэтическаго ощущенія, которымъ онъ такъ глубоко поражаетъ душу читателя. Въ немъ есть что-то неразгаданное, какъ бы недоговоренное, какъ въ „Вертерѣ“ Гѣте, и потому есть что-то тяжелое въ его впечатлѣніи. Но этотъ недостатокъ есть въ то же время и достоинство романа г. Лермонтова: таковы бываютъ всѣ современные общественные вопросы, высказываемые въ поэтическихъ произведеніяхъ: это волна страданія, но волна, который облегчаетъ страданіе...

Это же единство ощущенія, а не идеи, связываетъ и весь романъ. Въ „Онѣгинѣ“ всѣ части органически сочленены, ибо въ избранной рамкѣ романа своего Пушкинъ исчерпалъ всю свою идею, и потому въ немъ ни одной части нельзя ни измѣнить, ни замѣнить. „Герой нашего времени“ представляетъ собою нѣсколько рамокъ, вложенныхъ въ одну большую раму, которая состоять въ названіи романа и единству героя. Части этого романа расположены сообразно съ внутреннею необходимостью; но какъ онъ суть только отдѣльные случаи изъ жизни хотя и одного и того же человѣка, то и могли бы замѣнены другими, ибо вместо приключенія въ крѣпости съ Бѣлою или въ Тамани, могли бы быть подобныя же и въ другихъ мѣстахъ, и съ другими лицами, хотя при одномъ и томъ же герой. Но, тѣмъ не менѣе, основная мысль автора даетъ имъ единство, и общность ихъ впечатлѣнія поразительна, не говоря уже о томъ, что „Бѣла“, „Максимъ Максимычъ“ и „Тамань“, отдѣльно взятыя, суть въ высшей степени художественные произведенія. И какія типическія, какія дивно-художественные лица—Бѣлы,

Азамата, Казбича, Максима Максимыча, дѣвушки въ Тамани! Какія поэтическія подробности, какой на всемъ поэтическій колорѣтъ.

Но „Княжна Мери“, и какъ отдельно взятая повѣсть, менѣе всѣхъ другихъ художественна. Изъ лицъ одинъ Грушницкій есть истинно-художественное созданіе. Драгунскій капитанъ безподобенъ, хотя и является въ тѣни, какъ лицо меньшей важности. Но всѣхъ слабѣе обрисованы лица женскія, потому что на нихъ-то особенно сильно отразилась субъективность взгляда автора. Лицо Вѣры особенно неуловимо и неопределено. Это скорѣе сатира на женщину, чѣмъ женщина. Только что начинаете вы ею заинтересовываться и очаровываться, какъ авторъ тотчасъ же и разрушаетъ ваше участіе и очарованіе какою-нибудь совершенно произвольною выходкою. Отношенія ея къ Печорину похожи на загадку. То она кажется вамъ женщиной глубокою, способною къ безграницной любви и преданности, къ геройскому самоотверженію; то видите въ ней одну слабость и больше ничего. Особенно ощутителенъ въ ней недостатокъ женственной гордости и чувства своего женственного достоинства, которыхъ не мѣшаютъ женщинѣ любить горячо и беззавѣтно, но которыхъ едва ли когда допустить истинно-глубокую женщину сносить тиранство любви. Она обожаетъ въ Печоринѣ его высшую природу, и въ ея обожаніи есть что-то рабское. Вслѣдствіе всего этого она не возбуждаетъ къ себѣ сильного участія со стороны автора и, подобно тѣни, проскользаетъ въ его воображеніи. Княжна Мери изображена удачнѣе. Это дѣвушка неглупая, но и не пустая. Ея направленіе нѣсколько идеально, въ дѣтскомъ смыслѣ этого слова: ей мало любить человѣка, къ которому влекло бы ее чувство,—непремѣнно надо, чтобы онъ былъ несчастенъ и ходилъ въ толстой и сѣрой солдатской шинели. Печорину очень легко было обольстить ее: стоило только казаться непонятнымъ и таинственнымъ и быть дерзкимъ. Въ ея направленіи есть нѣчто общее съ Грушницкимъ, хотя она и несравненно выше его. Она допустила обмануть себя; но когда увидѣла себя обманутою, она, какъ женщина, глубоко почувствовала свое оскорблѣніе и пала его жертвою, безответственно, безмолвно страдающею, но безъ уніженія,— и сцена ея послѣдняго свиданія съ Печоринымъ возбуждаетъ къ ней сильное участіе и обливается ея образъ блескомъ поэзіи. Но, несмотря на это, и въ ней есть что-то какъ будто бы недосказанное, чѣму опять причиною то, что ея тяжбу съ Печоринымъ судило не третье лицо, какимъ долженъ быть явиться авторъ.

Однако, при всемъ этомъ недостаткѣ художественности, вся повѣсть насквозь проникнута поэзіею, исполнена высочайшаго интереса. Каждое слово въ ней такъ глубоко знаменательно, самые парадоксы такъ поучительны, каждое положеніе такъ интересно, такъ живо обрисовано! Слогъ повѣсти — то блескъ молнии, то ударъ меча, то разсыпающійся по бархату жемчугъ! Основная идея такъ близка сердцу всякаго, кто мыслить и чувствовать, что всякий изъ такихъ, какъ бы ни противоположно было его положеніе положеніямъ, въ ней представленнымъ, увидитъ въ ней исповѣдь собственного сердца.

Въ „Предисловіи“ къ журналу Печорина авторъ, между прочимъ, говоритъ:

Я помѣстилъ въ этой книгѣ только то, чѣд отосилось къ пребыванію Печорина на Кавказѣ. Въ моихъ рукахъ осталась еще толстая тетрадь, где онъ разсказываетъ всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на судъ свѣта, но теперь я не могу взять на себя эту отвѣтственность.

Благодаримъ автора за пріятное обѣщаніе, но сомнѣваемся, чтобы онъ его выполнилъ: мы крѣпко убѣждены, что онъ навсегда разстался съ своимъ Печоринымъ. Въ этомъ убѣждѣніи утверждаетъ настъ признаніе Гёте, который говоритъ въ своихъ запискахъ, что, написавъ „Вертера“, бывшаго плодомъ тяжелаго состоянія его духа, онъ освободился отъ него, и былъ такъ далекъ отъ героя своего романа, что ему смѣшино было видѣть, какъсходила отъ него стъ ума пылкая молодежь... Такова благодарная природа поэта: собственною силою своею вырывается онъ изъ всякаго момента ограниченности и летить къ новымъ, живымъ явленіямъ міра, въ полное славы творенье... Объективируя собственное страданіе, онъ освобождается отъ него; переводя на поэтическіе звуки диссонансы духа своего, онъ снова входить въ родную ему сферу вѣчной гармоніи. Если же г. Лермонтовъ и выполнить свое обѣщаніе, то мы увѣрены, что онъ представить уже не стараго и знакомаго намъ, о которомъ онъ уже все сказацъ, а совершенно новаго Печорина, о которомъ еще можно много сказать. Можетъ быть, онъ покажетъ намъ его исправившимъ, признавшимъ законы нравственности, но, вѣрно, ужъ не въ утѣшенье, а въ пущее огорченіе моралистовъ; можетъ быть, онъ заставитъ его признать разумность и блаженство жизни, но для того, чтобы увѣриться, что это не для него, что онъ много утратилъ силь въ ужасной борбѣ, ожесточился въ ней, и не можетъ сдѣлать эту разумность и блаженство своимъ достояніемъ... А можетъ быть и то: онъ сдѣлаетъ его и причастникомъ радостей жизни, торжествующимъ побѣдителемъ надъ злымъ геніемъ жизни... Но то или другое, а во всякомъ случаѣ искупленіе будетъ совершенѣ черезъ одну изъ тѣхъ женщинъ, существованію которыхъ Печоринъ такъ упрашомъ не хотѣлъ вѣрить, основываясь не на своемъ внутреннемъ созерцаніи, а на бѣдныхъ опытахъ своей жизни... Такъ сдѣлалъ и Пушкинъ съ своимъ Онѣгіннымъ: отвергнутая имъ женщина воскресила его изъ смертнаго усыпленія для прекрасной жизни, но не для того, чтобы дать ему счастье, а для того, чтобы наказать его за незвѣrie въ таинство любви и жизни, и въ достоинство женщины...

---

### Стихотворенія Кольцова.

Стихотворенія Кольцова можно раздѣлить на три разряда. Къ первому относятся піесы, писанные правильнымъ размѣромъ, преимущественно ямбомъ

и хореемъ. Большая часть ихъ принадлежитъ къ первымъ его опытомъ, и въ нихъ онъ былъ подражателемъ поэтовъ, наиболѣе ему нравившихся. Таховы пьесы: „Сирота“, „Ровеснику“, „Маленькому брату“, „Ночлегъ чумаковъ“, „Путникъ“, „Красавицѣ“, „Сестрѣ“, „Приди ко мнѣ“, „Разувѣреніе“, „Не мнѣ внимать напѣвъ волшебный“, „Мщеніе“, „Вадохъ на могилѣ Веневитинова“, „Къ рѣкѣ Гайдарѣ“, „Что значу я“, „Утѣшеніе“, „Я былъ у ней“, „Первая любовь“, „Къ ней же“, „Наѣда“, „Къ Н.“, „Соловей“, „Къ Другу“, „Изступленіе“, „Поэтъ и няня“, „А. П. Серебрянскому“. Въ этихъ стихотвореніяхъ проглядываетъ что-то похожее на талантъ и даже оригинальность; нѣкоторые изъ нихъ даже очень недурны. По крайней мѣрѣ, изъ нихъ видно, что Кольцовъ и въ этомъ родѣ поэзіи могъ бы усовершенствоватьсь до извѣстной степени; но не иначе, какъ съ трудомъ и усилиемъ выработавши себѣ стихъ и оставаясь подражателемъ, съ нѣкоторымъ только оттѣнкомъ оригинальности. Правильный стихъ не былъ его достояніемъ, и какъ бы ни выработалъ онъ его, все-таки никогда бы не сравнился въ немъ съ нашими звучными поэтами даже средней руки. Но здѣсь и виденъ сильный, самостоятельный талантъ Кольцова: онъ не остановился на этомъ сомнительномъ успѣхѣ, но, движимый однимъ инстинктомъ своимъ, скоро нашелъ свою настоящую дорогу. Съ 1831 года онъ рѣшительно обратился къ русскимъ пѣснямъ, и если писалъ иногда правильнымъ размѣромъ, то уже безъ всякихъ претензій на особенный успѣхъ, безъ всякаго желанія подражать, или состязаться съ другими поэтами. Особенно любилъ этимъ размѣромъ, чаще безъ риѳмы, съ которою онъ плохо ладилъ, выражать ощущенія и мысли, имѣвшія непосредственное отношеніе къ его жизни. Таховы (за исключеніемъ пьесы: „Цвѣтокъ“, „Бѣдный призракъ“, „Товарищу“) пьесы: „Послѣдняя борьба“, „Къ милой“, „Примиреніе“, „Міръ музыки“, „Не разливай волшебныхъ звуковъ“, „К\*\*\*“, „Вопль страданія“, „Звѣзда“, „На новый 1842 годъ“. Пьесы же: „Очи, очи голубыя“, „Размолвка“, „Люди добрые, скажите“, „Теремъ“, „По-надъ Дономъ садъ цвѣтетъ“, „Совѣтъ старца“, „Глаза“, „Домикъ лѣсника“, „Женитьба Павла“ — составляютъ переходъ отъ подражательныхъ опытовъ Кольцова къ его настоящему роду — русской пѣснѣ.

Въ русскихъ пѣсняхъ талантъ Кольцова выразился во всей своей полнотѣ и силѣ. Рано почувствовалъ онъ безсознательное стремленіе выражать свои чувства складомъ русской пѣсни, которая такъ очаровывала его въ устахъ простого народа; но его удерживала отъ этого мысль, что русская пѣсня — не поэзія, а что-то простонародное, грубое и вульгарное. Къ счастію, ему попалась въ руки книжка стихотвореній барона Дельвига (изданная въ 1829 году). Каково же было его удовольствіе, его радость, когда въ этой книжкѣ онъ увидѣлъ между „настоящими“ стихотвореніями и русскія пѣсни! Онъ сейчасъ смѣкнулъ, въ чемъ дѣло, и порѣшилъ его такимъ силлогизмомъ: баронъ — вѣдь это баринъ, да еще большой, все равно, что графъ или князь,

и, вѣрно, онъ ученый человѣкъ; но онъ сочиняетъ же русскія пѣсни: стало-быть, русская пѣсня не вадоръ, не глупость, а тоже — поэзія... И съ тѣхъ поръ, онъ все больше и больше началъ наклоняться къ этому роду поэзіи. Первые пѣсни, какъ написанные имъ еще до знакомства съ пѣснями Дельвига, такъ и многія, написанныя до 1835 года, были чѣмъ-то среднімъ между романсомъ и русской пѣснею, и потому походили на русскія пѣсни то Дельвига, то Мералякова. Но еще съ 1830 года, ему уже удавалось иногда выражать въ русской пѣснѣ всю оригинальность своего таланта и пѣсамъ: „Кольцо“, „Удалецъ“, „Крестьянская пирушка“, „Размышеніе поселянина“ (1830 — 1832), недостаетъ только зрѣлости мысли, чтобы быть образцовыми въ своемъ родѣ произведеніями. Но съ пѣсень: „Ты не пой, соловей“ (1830) и „Не шуми ты, рожь“ (1834), начинается рядъ русскихъ пѣсень, какъ особаго рода, созданнаго Кользовымъ.

Для означенія различныхъ степеней дара творчества употребляются, большою частію, два слова талантъ и геній. Подъ первымъ разумѣется низшая, подъ вторымъ — высшая степень способности творить. Но такое раздѣленіе довольно неопределено: оно не даетъ мѣры (критеріума) для опредѣленія высоты художественной силы. Правда, талантъ и геній отличаются другъ отъ друга тѣмъ, что первый ниже второго, а второй выше первого; но чѣмъ же именно ниже или выше — вотъ вопросъ! одно изъ главнѣйшихъ и существеннѣйшихъ качествъ генія есть оригинальность и самобытность, потомъ всеобщность и глубина его идей и идеаловъ, и, наконецъ, историческое вліяніе ихъ на эпоху, въ которую онъ живетъ. Геній всегда открываетъ своими твореніями новый, никому до него неизвѣстный, никѣмъ не подозрѣваемый міръ дѣйствительности. Толпа живетъ и движется, но безсознательно; переживши извѣстный исторический моментъ и уже нося въ самой себѣ всѣ элементы нового существованія, она тѣмъ упорнѣе держится формъ стараго. Является геній — и возвѣщаетъ людямъ новую жизнь, начала которой они уже носили въ себѣ и корень которой скрывался уже въ самомъ прошедшемъ. Но толпа не признаетъ своего участія въ дѣлѣ генія; дико и враждебно смотритъ она на новый міръ мысли и формы, открывающійся въ его твореніяхъ, и только немногіе берутъ его сторону, и только новые поколѣнія упрочиваются за нимъ побѣду. Имя генія — миллионы, потому-что въ груди своей носить онъ страданія, радости надежды и стремленія миллионы. И вотъ въ чѣмъ заключается всеобщность его идей и идеаловъ: они касаются всѣхъ, они всѣмъ нужны, они существуютъ не для избранныхъ, не для того или для другого сословія, но для цѣлаго народа, а черезъ него и для всего человѣчества. Частность и исключительность, на-противъ, есть достояніе таланта, — и потому бываютъ таланты, произведенія которыхъ нравятся или только веселымъ и счастливымъ, или только меланхоликамъ и несчастнымъ, или только образованнымъ классамъ общества, или только низшимъ слоямъ его и т. д. Есть люди, которые нечаянно

открывали въ себѣ талантъ черезъ какой-нибудь вѣшній и случайный толчокъ: одинъ оттого, что ослѣпъ, другой оттого, что лишился любимой имъ женщины, третій оттого, что пострадалъ за правое дѣло, или за преступление, въ которомъ былъ невиненъ, и т. д. Безъ этихъ случайностей, всѣ эти люди никогда не сдѣались бы поэтами. Естественно, что каждый изъ нихъ поетъ на одинъ и тотъ же ладъ и всегда одно и то же, и потому нравится только людямъ, которые одинаково съ нимъ настроены и находятъ въ его произведеніяхъ отголоски своихъ личныхъ ощущеній, или примѣненія къ обстоятельствамъ своей жизни. Отсутствіе оригинальности и самобытности всегда есть характеристический признакъ таланта: онъ живетъ не своею, а чужою жизнью, его вдохновеніе есть не что иное, какъ „плѣнной мысли раздраженіе“—мысли, захваченной у генія или подслушанной у самой толпы. Талантъ не управляетъ толпою, а льститъ ей, не утверждаетъ даже новой моды, а идеть за модою, куда дуешь вѣтеръ, туда и стремится онъ. Поди онъ противъ—и его сейчасъ забудутъ, а этого-то онъ и боится больше всего на свѣтѣ. Иногда онъ кажется оригинальнымъ и, въ свою очередь, порождаетъ толпу подражателей; но эта оригинальность тотчасъ исчезаетъ, какъ скоро привыкнуть и приглядятся къ ней, и оказывается или результатомъ чуждаго вліянія, или проявленіемъ дурного вкуса эпохи; а толпа подражателей доказываетъ только то, что и талантъ имѣть степени, и менѣе талантливые подражаютъ болѣе талантливому.

Очевидно, что геній и талантъ суть только крайнія степени, противоположные полюсы творческой силы, и что между ними должно быть что-нибудь среднее. Въ самомъ дѣлѣ, иначе міръ искусства былъ бы очень скученъ, состоя изъ однихъ геніальныхъ твореній, окруженныхъ развалинами зфемерныхъ произведеній таланта. Напротивъ, во всѣхъ сферахъ человѣческой дѣятельности, исторія сохранила имена людей, которые не были геніями, не были полномочными властелинами своего времени, но тѣмъ не менѣе имѣли на него свое дѣйствительное вліяніе, и потому заняли хотя и второстепенные, но почетныя мѣста въ благодарной памяти потомства. Въ сферѣ искусства такихъ людей называютъ большими и великими талантами, въ отличіе отъ геніевъ и обыкновенныхъ талантовъ. Но это название довольно неопределѣленно. Мы думаемъ, къ такимъ людямъ лучше бы шло название геніальныхъ талантовъ, какъ выражающее и ихъ сродство съ геніемъ и съ талантомъ, и ту средину, которую они занимаютъ между тѣмъ и другимъ.

Но слова ничего не значатъ, если не выражаютъ идеи, доказывающей ихъ необходимость и дѣйствительность. И потому, мы должны оправдать употребленное нами выраженіе „геніального таланта“, показавши его отношеніе къ генію“ и „таланту“. Геніальный талантъ отличается отъ обыкновенного таланта тѣмъ, что, подобно генію, живетъ собственnoю жизнью, творить свободно, а не подражательно, и на свои творенія налагаетъ пе-

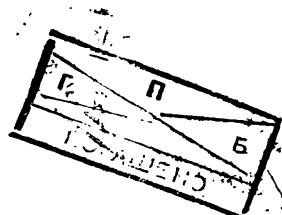
чать оригинальности и самобытности, со стороны какъ содержанія, такъ и формы. Отъ генія же онъ отличается объемомъ своего содержанія, которое у него бываетъ менѣе обще и болѣе частно. И потому, геній есть полный владѣніе своего времени, которое носить на себѣ его имя,—тогда какъ вліяніе геніального таланта, какъ бы оно ни было сильно, всегда простирается только на одну какую-нибудь сторону искусства и жизни. Другими словами: геній захватываетъ и наполняетъ собою цѣлую область современной ему дѣйствительности, геніальный талантъ—одинъ уголокъ ея. Чѣмъ въ геніи составляетъ полноту его существованія,—то въ геніальномъ талантѣ есть какъ бы отблескъ генія. Но сходное и общее между ними, несмотря на всю огромность раздѣляющаго ихъ пространства—это та оригинальность и самобытность, которая порождаетъ множество подражателей, но ни одного самостоятельнаго таланта, которой можно подражать, но которой невозможно усвоить. И вотъ гдѣ существенное отличіе геніального таланта отъ обыкновеннаго. Послѣдній есть не болѣе, какъ посредникъ между геніемъ и толпою, родъ фактора, необходимаго для облегченія сношеній между ними: невольно увлекаясь идеями генія, онъ ихъ совлекаетъ съ ихъ высокаго, недоступнаго толпѣ пьедестала, и тѣмъ самыемъ приближаетъ ихъ къ разумѣнію толпы. Подъ рукою таланта, идеи генія, какъ сказать, мельчаютъ и опошлываются, но этимъ самыемъ онъ и дѣлается популярными, становятся всѣмъ доступными и каждому извѣстными. И потому, талантъ совершаѣтъ великое дѣло; но въ этомъ случаѣ, онъ дѣлается жертвою собственнаго успѣха: по мѣрѣ того, какъ онъ болѣе знакомить и сближаетъ толпу съ геніемъ, добродушно думая знакомить и сближать ее только съ самимъ собою—толпа все болѣе и болѣе отворачивается отъ него, обращаясь все болѣе и болѣе къ самому генію, непосредственныя сношения съ которымъ стали для нея уже возможными и доступными. Сдѣлавши свое дѣло, таланты (потому что для такого дѣла одного таланта мало, а нужна толпа талантовъ) забываются: имена ихъ остаются въ исторіи литературы, но сочиненія предаются болѣе или менѣе полному забвенію.

Но мы все-таки еще не сказали послѣдніго слова о существенномъ различіи между геніальнымъ и обыкновеннымъ талантомъ. Оно заключается въ тайнѣ натуры человѣка. Въ человѣкѣ, владѣющемъ обыкновеннымъ талантомъ, талантъ есть сила абстрактная, родъ капитала, который принадлежитъ своему владѣльцу, но который—не одно съ нимъ. Продолжимъ наше сравненіе. Потерявши капиталъ, можно нажить другой: капиталъ—внѣшнее средство для жизни, но не сама жизнь. Какъ часто видимъ мы людей, которые долгое время пользовались огромною извѣстностью своего таланта, пережили свой талантъ и свою извѣстность, и которые, несмотря на то, сумѣли вознаградить себя другими благами жизни: пріобрѣли большия чины или большия деньги, и прекрасно живутъ себѣ безъ таланта и безъ славы. Не таковъ человѣкъ, одаренный геніальнымъ талантомъ: его нельзя отдѣ-

житъ отъ его таланта, его талантъ—его жизнь, его кровь, его духъ, его плоть, биение его сердца, дыханіе его груди, словомъ—весь онъ самъ. Это роковая сила, которая всегда будетъ мчать его къ одной цѣли, къ одной дѣятельности, наперекоръ судьбѣ, рождению, воспитанію, всѣмъ вѣшнимъ обстоятельствамъ его жизни, какъ бы ни были они сильны. Онъ страстенъ къ славѣ и очень не чуждъ самолюбія; но еще не въ этомъ только источникъ его ничѣмъ неудержимаго стремленія къ творчеству: оно у него—истинность, натура, страсть. Въ отношеніи къ своему призванію, онъ смѣло можетъ сказать о себѣ:

Я зналъ одной лишь думы власть,  
Одну, но пламенную страсть:  
Она, какъ червь, во мнѣ жила,  
Изгрызла душу и сожгла.

Я эту страсть во тьмѣ ночной  
Вскормилъ слезами и тоской;  
Ее предъ небомъ и землей  
Я нынѣ, громко признаю  
И о прощеньи не молю.



Сила геніального таланта основана на живомъ, неразрывномъ единстве человѣка съ поэтомъ. Тутъ замѣчательность таланта происходитъ отъ замѣчательности человѣка, какъ личности, какъ натуры; тогда какъ обыкновенный талантъ отнюдь не условливаетъ собою необыкновенного человѣка: тутъ человѣкъ и талантъ—каждый самъ по-себѣ, и человѣкъ, въ отношеніи къ таланту, есть то же, что ящикъ въ отношеніи къ деньгамъ, которыя въ немъ лежать. Сильная и богатая натура всегда отличается отъ натуры обыкновенныхъ, никогда на нихъ не похожа, всегда оригинална,—и удивительно ли, если печать этой оригинальности налагаетъ она и на свои творенія? Самобытность поэтическихъ произведеній есть отраженіе самобытности создавшей ихъ личности.

У всякаго человѣка есть лицо, слѣдовательно, всякий человѣкъ есть личность; и однажды въ человѣческомъ родѣ гораздо больше существъ непредѣленныхъ, безцвѣтныхъ, безхарактерныхъ, слѣдовательно, безличныхъ, нежели существъ съ рѣзкимъ выраженіемъ особности. Лицо есть выраженіе душа человѣка; но вѣдь есть лица, которыхъ нельзя забыть, разъувидѣвши, и есть лица, которыхъ видишь безпрестанно цѣлые годы и забываешь, не видя недѣлю. Слѣдовательно, личность имѣть свои степени и свою постепенность. Чѣмъ общѣе, тѣмъ ничтожнѣе она; чѣмъ больше поражаетъ оригинальностью, тѣмъ она выше. Поэтому, геній есть высочайшее развитіе личности. Тайну генія составляетъ собственно не умъ: умъ, и часто весьма замѣчательный, бываетъ и у обыкновенныхъ людей; не талантъ: талантъ, и притомъ весьма замѣчательный, часто бываетъ и у обыкновенныхъ людей; не сердце: оно тоже, и очень часто, бываетъ удѣломъ людей.

обыкновенныхъ. Нѣтъ, тайна генія заключается больше всего въ какой-то непосредственной творческой способности вдохновенія, похожаго на откровеніе и составляющаго тайну личности человѣка. Это что-то такъ же неуловимое и невыразимое словомъ, какъ выраженіе физіономіи, какъ органическая жизнь. Намъ извѣстны средства жизни, ея органы, ихъ отправленія; но физіологическая жизнь все-таки для насъ тайна. Мы не можемъ выразить сущности генія, но всегда вѣрно чувствуемъ преобладающее надъ нами вліяніе не только генія, но и всякой сколько-нибудь высшей насъ личности. Иногда геніальная личность, обдѣленная образованіемъ и не подозвѣвающая своего значенія, съ смиреніемъ и съ робостью подходить къ человѣку обыкновенному, но образованному, развитому и ученiemъ и свѣтскою жизнью; но дѣло всегда оканчивается тѣмъ, что первая незамѣтно беретъ верхъ надъ послѣднимъ, и обыкновенный человѣкъ, въ присутствіи геніального невѣжды, какъ-то невольно дѣлается осторожнымъ, какъ бы боясь проговориться. Вотъ что значитъ личность, натура,—и талантъ тогда только бываетъ плодотворенъ и живучъ, когда онъ тѣсно соединенъ съ личностью, съ натурою человѣка. И вотъ почему иногда бываютъ люди съ талантомъ, не имѣя ни ума, ни сердца: это таланты обыкновенные, которые могутъ существовать безъ связи съ личностью и натурою человѣка.

Когда талантъ въ человѣкѣ есть не просто виѣшняя сила производить на основанія влеченія самобытными образцами, но выраженіе внутренней сущности человѣка, его личности, его натуры—тогда, каковъ бы ни былъ объемъ этого таланта, но онъ уже сила творческая, зиждительная, слѣдовательно, въ немъ уже заключается искра геніальности,—и если, по его объему, его нельзя назвать „геніемъ“, то можно и должно назвать „геніальнымъ талантомъ“.

Къ числу такихъ талантовъ принадлежитъ и талантъ Кольцова.

Пока сочиненія Кольцова были разбросаны по разнымъ періодическимъ изданіямъ, подобное заключеніе о его талантѣ не безъ основанія могло бы показаться нѣсколько преувеличеннymъ; но теперь, когда все написанное имъ собрано въ одной книжѣ, и наше мнѣніе можетъ быть повѣреннымъ, мы смѣло выговариваемъ его не какъ простое мнѣніе, но какъ глубокое и обдуманное убѣжденіе.

Кромѣ пѣсень, созданныхъ самимъ народомъ, и потому называющихся „народными“, до Кольцова у насъ не было художественныхъ народныхъ пѣсень, хотя многие русские поэты и пробовали свои силы въ этомъ родѣ, а Мерзляковъ и Дельвигъ даже пріобрѣли себѣ большую извѣстность своими русскими пѣснями, за которыми публика охотно утвердила титулъ „народныхъ“. Въ самомъ дѣлѣ, въ пѣсняхъ Мерзлякова попадаются иногда мѣста, въ которыхъ онъ удачно подражаетъ народнымъ мелодіямъ, и вообще онъ по этой части сдѣлалъ все, что можетъ сдѣлать талантъ. Но, несмотря на то, въ цѣломъ, его русскія пѣсни не что иное, какъ романсы, пропѣтые

на русский народный мотивъ. Въ нихъ виденъ баринъ, которому пришла охота попробовать сыграть роль крестьянина. Чѣдже касается до русскихъ пѣсень Дельвига—это уже рѣшительно романсы, въ которыхъ русскаго—одни слова. Это чистая поддѣлка, въ которой роль русскаго крестьянина игралъ даже и не совсѣмъ русскій, а скорѣе нѣмецкій, или, еще ближе къ дѣлу, итальянскій баринъ. Мерзляковъ, по крайней мѣрѣ, перенесъ въ свои русскія пѣсни русскую грусть—тоску, русское гореванье, отъ котораго щемить сердце и захватываетъ духъ. Въ пѣсняхъ Дельвига нѣть ничего, кроме сладенъкаго любезничанья и сладенъкай задумчивости, слѣдовательно, нѣть ничего русскаго. Впрочемъ, наше мнѣніе о пѣсняхъ Мерзлякова клонится не къ униженію его таланта, весьма замѣчательнаго; но мы хотимъ только сказать, что русскія пѣсни могъ создать только русскій человѣкъ, сынъ народа, въ такомъ смыслѣ, въ какомъ и самъ Пушкинъ не былъ и не могъ быть русскимъ человѣкомъ, по причинѣ рѣзкаго разрыва, произведенаго реформою Петра Великаго между образованными классами русскаго общества и массою народа. Въ пьесахъ Пушкина, содержаніе которыхъ взято изъ народной жизни и выражено въ народной формѣ, видна душа глубоко-русская, но, въ то же время, видна и та художественная объективность, которая дѣлала для Пушкина возможнымъ быть какъ у себя дома во всѣхъ сферахъ жизни, даже самыхъ противоположныхъ другъ другу, и благодаря которой онъ въ „Каменномъ гостѣ“ изобразилъ природу и нравы Испаніи съ такою же поразительной вѣрностью, какъ въ „Русалкѣ“ изобразилъ природу и нравы Руси временъ удѣловъ. Сверхъ того, въ этой „Русалкѣ“, если внимательнѣе прислушаться къ ея звукамъ, приглядѣться къ ея колориту,—нельзя не открыть въ ней примѣси поэтическихъ элементовъ, болѣе обрусѣнныхъ поэтомъ, если можно такъ выразиться, нежели чисто русскихъ. Сейчасъ видно, что эта пьеса писана поэтомъ, который образованъ европейски и который безъ этого обстоятельства не могъ бы написать ее такъ. Не таковъ міръ русскихъ пѣсень Кольцова: въ нихъ и содержаніе и форма чисто-русская,—и несмотря на всю объективность своего гenія, Пушкинъ не могъ бы написать ни одной пѣсни въ родѣ Кольцова, потому что Кольцовъ одинъ и безраздѣльно владѣлъ тайною этой пѣсни. Этюю пѣсней онъ создалъ свой особенный, только одному ему довѣрившій міръ, въ которомъ и самъ Пушкинъ не могъ бы съ нимъ соперничествовать,—но не по недостатку таланта, а потому, что міръ пѣсни Кольцова требуетъ всего человѣка, а для Пушкина, какъ для гenія, этотъ міръ былъ бы слишкомъ тѣснъ и малъ, и потому могъ входить только, какъ элементъ, въ огромный и необъятный міръ Пушкинской поэзіи.

Кольцовъ родился для поэзіи, которую онъ создалъ. Онъ былъ сыномъ народа, въ полномъ значеніи этого слова. Быть, среди котораго онъ воспитался и выросъ, былъ тотъ же крестьянскій быть, хотя нѣсколько и выше его. Кольцовъ выросъ среди степей и мужиковъ. Онъ не для фразы, не для

краснаго словца, не воображеніемъ, не мечтою, а душою, сердцемъ, кровью любилъ русскую природу, и все хорошее и прекрасное, что, какъ зародышъ, какъ возможность, живетъ въ натурѣ русскаго селянина. Не на сло-вахъ, а на дѣлѣ сочувствовалъ онъ простому народу въ его горестяхъ, радостяхъ и наслажденіяхъ. Онъ зналъ его бытъ, его нужды, горе и радость, прозу и поэзію его жизни,—знать ихъ не по наслышкѣ, не изъ книгъ, не черезъ изученіе, а потому, что самъ, и по своей натурѣ и по своему положенію, былъ вполнѣ русскій человѣкъ. Онъ носилъ въ себѣ всѣ элементы русскаго духа, въ особенности—страшную силу въ страданіи и въ наслажденіи, способность бѣшено предаваться и печали и веселью, и, вмѣсто того, чтобы падать подъ бременемъ самого отчаянія, способность находить въ немъ какое-то буйное, удалое, размашистое упоеніе, а если уже пасть, то спокойно, съ полнымъ сознаніемъ своего паденія, не прибѣгая къ ложнымъ утѣшениямъ, не ища спасенія въ томъ, чего не нужно было ему въ его лучшіе дни. Въ одной изъ своихъ пѣсень, онъ жалуется, что у него нѣть воли,

Чтобъ въ чужой сторонѣ  
На людей поглядѣть;  
Чтобъ порой предъ бѣдой  
За себя постоять;  
Подъ грозой роковой  
Назадъ шагу не дать;  
И чтобы съ горемъ, въ пиру,  
Быть съ веселымъ лицомъ;  
На погибель итти—  
Пѣсни пѣть соловьемъ.

Нѣть, въ томъ не могло не быть такой воли, кто въ столь мощныхъ обра-захъ могъ выразить свою тоску по такой волѣ...

Нельзя было тѣснѣе слить своей жизни съ жизнью народа, какъ это само собою сдѣлалось у Кольцова. Его радовала и умнѣляла рожь, шумящая спѣльмъ колосомъ, и на чужую ниву смотрѣлъ онъ съ любовью крестьянина, который смотрѣть на свое поле, орошенное его собственнымъ пѣтомъ. Кольцовъ не былъ земледѣльцемъ, но урожай былъ для него свѣтлымъ праздни-комъ: прочтите его „Пѣсню пахаря“ и „Урожай“. Сколько сочувствія къ крестьянскому быту въ его „Крестьянской пирушкѣ“ и въ пѣснѣ: „Что ты спиши, мужичокъ?“!

Кольцовъ зналъ и любилъ крестьянскій бытъ такъ, какъ онъ есть на самомъ дѣлѣ, не украшая и не поэтизируя его. Поэзію этого быта нашелъ онъ въ самомъ этомъ бытѣ, а не въ реторикѣ, не въ пѣтикѣ, не въ мечтѣ, даже не въ фантазіи своей, которая давала ему только образы для выра-женія уже даннаго ему дѣйствительностью содержанія. И потому въ его пѣсни смѣло вошли и лапти, и рваные кафтаны, и вскочченныя бороды, и

старья онучи—и вся эта грязь превратилась у него въ чистое золото поэзии. Любовь играетъ въ его пѣсняхъ большую, но далеко не исключительную роль: нѣтъ, въ нихъ вошли и другіе, можетъ быть, еще болѣе общіе элементы, изъ которыхъ слагается русскій простонародный бытъ. Мотивъ многихъ его пѣсень составляетъ то нужда и бѣдность, то борьба изъ копейки, то прожитое счастье, то жалобы на судьбу-мачеху.

Въ одной пѣснѣ крестьянинъ садится за столъ, чтобы подумать, какъ ему жить одинокому; въ другой выражено раздумье крестьянина, на что ему рѣшиться—жить ли въ чужихъ людяхъ, или дома браниться съ старикомъ-отцомъ, рассказывать ребятишкамъ сказки, бояться, старѣться. Такъ, говорить онъ, хоть оно и не тово, но ужъ такъ бы и быть, да кто пойдетъ за нищаго? „Гдѣ избытокъ мой зарытъ лежить?“ И это раздумье разрѣшается въ саркастическую русскую иронію:

Куда глянешь—всюду наша степь;  
На горахъ—лѣса, сады, дома;  
На днѣ моря—груды золота;  
Облака идутъ—нарядъ несутъ!..

Но если гдѣ идетъ дѣло о горѣ и отчаяніи русскаго человѣка—тамъ поэзія Кольцова доходитъ до высокаго, тамъ обнаруживается она страшную силу выраженія, поразительное могущество образовъ.

Пала грусть-тоска тяжелая  
На кручинную головушку;  
Мучить душу мука смертная,  
Вонъ изъ тѣла душа просится.

И какая же вмѣстѣ съ тѣмъ сила духа и воли въ самомъ отчаяніи:

Въ ночь, подъ бурей, я коня сѣдлалъ,  
Безъ дороги въ путь отправился—  
Горе мыкать, жизнью тѣшиться:  
Съ злокою долей перевѣдаться...

И послѣ этой пѣсни („Измѣна суженой“), прочтите пѣсню: „Ахъ, зачѣмъ меня“—какая разница! Тамъ буря отчаянія сильной мужской души, можно опирающейся на самое себя; здѣсь грустное воркованіе горлицы, глубокая, раздирающую душу жалоба нѣжной женской души, осужденной на безвыходное страданіе...

Когда форма есть выраженіе содержанія, она связана съ нимъ такъ тѣсно, что отѣлить ее отъ содержанія значитъ уничтожить самое содержаніе; и наоборотъ: отѣлить содержаніе отъ формы значитъ уничтожить форму. Эта живая связь, или, лучше сказать, это органическое единство и тождество идеи съ формою и съ идею бываетъ достояніемъ только одной геніальности. Простой талантъ всегда опирается или преимущественно на содержаніе, и тогда его произведенія не долговѣчны со стороны формы, или

преимущественно блестаетъ формою, и тогда его произведенія эфемерны со стороны содержанія; но главное, и въ томъ и другомъ случаѣ, богатыя мыслю, или щеголяющія виѣшнею красотою, они лишены оригинальности формы, свидѣтельствующей о самобытности мысли. Здѣсь-то всего яснѣе и открывается, что обыкновенный талантъ основанъ на способности подражанія, на способности увлеченія образцами,—и въ этомъ заключается причина недолговѣчности, а чаше всего и эфемерности таланта. И потому, оригинальность есть не случайное, но необходимое свойство геніальности, есть черта, которая отдѣляетъ геніальность отъ простой талантливости или даровитости. Но эта оригинальность, прежде всего поражающая читателя въ языкѣ поэта, не должна быть искусственною, или изысканною: тогда она увлекаетъ только на минуту и потомъ тѣмъ болѣе дѣлается предметомъ осмѣянія и презрѣнія, чѣмъ больше сперва имѣла успѣха. Поэтъ долженъ быть оригиналъ, самъ не зная, какъ, и если долженъ о чѣмъ-нибудь заботиться, такъ это не обѣ оригинальности, а обѣ истинѣ выраженія: оригинальность придетъ сама-собою, если, въ талантѣ его есть геніальность. Истинная оригинальность въ изобрѣтеніи, а слѣдовательно, и въ формѣ, возможна только при вѣрности дѣйствительности и истинѣ.

Такою оригинальностію Кольцовъ обладалъ въ высшей степени. Съ этой стороны его пѣсни смѣло можно равнять съ баснями Крылова.



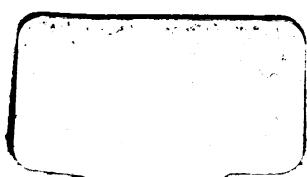


4. 7/1987 P.

U.C. BERKELEY LIBRARIES  
MK



0006679716



красного словца, не воображеніемъ, не мечтою, а душою, сердцемъ, кровью любилъ русскую природу, и все хорошее и прекрасное, что, какъ зародышъ, какъ возможность, живетъ въ натурѣ русскаго селянина. Не на сло-вахъ, а на дѣлѣ сочувствовалъ онъ простому народу въ его горестяхъ, радостяхъ и наслажденіяхъ. Онъ зналъ его бытъ, его нужды, горе и радость, прозу и поэзію его жизни,—зналъ ихъ не по наслышкѣ, не изъ книгъ, не черезъ изученіе, а потому, что самъ, и по своей натурѣ и по своему положенію, былъ вполнѣ русскій человѣкъ. Онъ носилъ въ себѣ всѣ элементы русскаго духа, въ особенности—страшную силу въ страданіи и въ наслажденіи, способность бѣшено предаваться и печали и веселью, и, вместо того, чтобы падать подъ бременемъ самаго отчаянія, способность находить въ немъ какое-то буйное, удающее, размашистое упоеніе, а если уже пастъ, то спокойно, съ полнымъ сознаніемъ своего паденія, не прибѣгая къ ложнымъ утѣшениямъ, не ища спасенія въ томъ, чего не нужно было ему въ его лучшіе дни. Въ одной изъ своихъ пѣсенъ, онъ жалуется, что у него нетъ воли,

Чтобъ въ чужой сторонѣ  
На людей поглядѣть;  
Чтобъ порой предъ бѣдой  
За себя постоять;  
Подъ грозой роковой  
Назадъ шагу не дать;  
И чтобы съ горемъ, въ пиру,  
Быть съ веселымъ лицомъ;  
На погибель итти—  
Пѣсни пѣть соловьемъ.

Нѣтъ, въ томъ не могло не быть такой воли, кто въ столь мощныхъ обра-захъ могъ выразить свою тоску по такой волѣ...

Нельзя было тѣснѣе слить своей жизни съ жизнью народа, какъ это само собою сдѣлалось у Кольцова. Его радовала и умилляла рожь, шумящая спѣльмъ колосомъ, и на чужую ниву смотрѣлъ онъ съ любовью крестьянина, который смотрѣть на свое поле, орошенное его собственнымъ пѣтомъ. Кольцовъ не былъ земледѣльцемъ, но урожай былъ для него свѣтлымъ праздни-комъ: прочтите его „Пѣсню пахаря“ и „Урожай“. Сколько сочувствія къ крестьянскому быту въ его „Крестьянской пирушкѣ“ и въ пѣснѣ: „Что ты спишишь, мужичокъ?“!

Кольцовъ зналъ и любилъ крестьянскій бытъ такъ, какъ онъ есть на самомъ дѣлѣ, не украшая и не поэтизируя его. Поэзію этого быта нашелъ онъ въ самомъ этомъ бытѣ, а не въ реторикѣ, не въ пѣтицѣ, не въ мечтѣ, даже не въ фантазіи своей, которая давала ему только образы для выра-женія уже даннаго ему дѣйствительностью содержанія. И потому въ его пѣсни смѣло вошли и лапти, и рваные кафтаны, и вскоченные бороды, и